Генрик Сенкевич
КАМО ГРЯДЕШИ

Глава I

Петроний пробудился лишь около полудня, и, как обычно, с ощущением сильной усталости. Накануне он был у Нерона на пиру, затянувшемся до глубокой ночи. Здоровье его в последнее время стало сдавать. Он сам говорил, что просыпается по утрам с какой-то одеревенелостью в теле и неспособностью сосредоточиться. Однако утренняя ванна и растирание, которое усердно проделывали хорошо вышколенные рабы, оживляли движение медлительной крови, возбуждали, бодрили, возвращали силы, и из элеотезия[1], последнего отделения бань, он выходил будто воскресший – глаза сверкали остроумием и весельем, он снова был молод, полон жизни и так неподражаемо изыскан, что сам Отон не мог бы с ним сравниться, – истинный arbiter elegantiarum[2], как называли Петрония.

В общественных банях он бывал редко: разве что появится какой-нибудь вызывающий восхищение ритор, о котором идет молва в городе, или когда в эфебиях[3] происходили особенно интересные состязания. В усадьбе у Петрония были свои бани, которые Целер, знаменитый сотоварищ Севера[4], расширил, перестроил и украсил с необычайным вкусом, – сам Нерон признавал, что они превосходят императорские бани, хотя императорские были просторнее и отличались несравненно большей роскошью.

И после этого пира – на котором он, когда всем наскучило шутовство Ватиния[5], затеял вместе с Нероном, Луканом и Сенецией[6] спор, есть ли у женщины душа, – Петроний встал поздно и, по обыкновению, принял ванну. Два могучих бальнеатора[7] уложили его на покрытый белоснежным египетским виссоном[8] кипарисовый стол и руками, умащенными душистым маслом, принялись растирать его стройное тело – а он, закрыв глаза, ждал, когда тепло лаконика[9] и тепло их рук сообщится ему и прогонит усталость.

Но через некоторое время Петроний заговорил – открыв глаза, спросил о погоде, потом о геммах, которые обещал прислать ему к этому дню ювелир Идомен для осмотра… Выяснилось, что погода стоит хорошая, с небольшим ветерком со стороны Альбанских гор[10] и что геммы не доставлены. Петроний опять закрыл глаза и приказал перенести его в тепидарий[11], но тут из-за за-

[1] *Элеотезий* – комнаты для умащения.

[2] Arbiter elegantiarum – «законодатель изящного вкуса» *(лат.)*, несколько измененное выражение Тацита («Анналы», XVI, 18).

[3] *Эфебии* – площадки для гимнастических состязаний эфебов (юноши от 16 до 20 лет).

[4] *Целер и Север* – архитекторы, строители «Золотого дворца» Нерона.

[5] *Ватиний Тит* – сапожник, впоследствии шут и приближенный Нерона.

[6] *Сенецион Клавдий* – приближенный Нерона, впоследствии участник заговора Пизона.

[7] *Бальнеатор* – раб-банщик.

[8] *Виссон* – тонкое, почти прозрачное хлопковое полотно, обычно белого, иногда пурпурного цвета. В эпоху империи ценилось на вес золота.

[9] *Лаконик* – отделение горячей бани с большим, но мелким бассейном.

[10] Собственно, *Альбанская гора* (ныне Монте-Каво), самая высокая вершина Лация (прибл. в 30 км к юго-востоку от Рима), у подножья которой был расположен древнейший город латинян Альба-Лонга.

[11] *Тепидарий* – теплая (прохладная) баня.

весы выглянул номенклатор[12] и сообщил, что молодой Марк Виниций, недавно возвратившийся из Малой Азии, пришел навестить Петрония.

Петроний распорядился провести гостя в тепидарий, куда перешел сам. Виниций был сыном его старшей сестры[13], которая когда-то вышла замуж за Марка Виниция, консула при Тиберии. Молодой Марк служил под началом Корбулона в войне против парфян[14], и теперь, когда война закончилась, вернулся в город. Петроний питал к нему слабость, даже привязанность, – Марк был красивый юноша атлетического сложения, к тому же он умел соблюдать в разврате некую эстетическую меру, что Петроний ценил превыше всего.

– Приветствую тебя, Петроний! – воскликнул молодой человек, пружинистой походкой входя в тепидарий. – Пусть даруют тебе удачу все боги, особенно же Асклепий и Киприда[15], – ведь под их двойным покровительством тебе не грозит никакое зло.

– Добро пожаловать в Рим, и пусть отдых после войны будет для тебя сладостен, – ответил Петроний, протягивая руку меж складок мягкого полотна, которым его обернули. – Что слышно в Армении и не случилось ли тебе, будучи в Азии, заглянуть в Вифинию?

Петроний был когда-то наместником Вифинии[16] и управлял ею деятельно и справедливо. Это могло показаться невероятным при характере этого человека, известного своей изнеженностью и страстью к роскоши, – потому он и любил вспоминать те времена как доказательство того, чем он мог и сумел бы стать, если б ему заблагорассудилось.

– Мне довелось побывать в Гераклее[17], – сказал Виниций. – Послал меня туда Корбулон с приказом собрать подкрепления.

– Ах, Гераклея! Знавал я там одну девушку из Колхиды[18], за которую отдал бы всех здешних разведенных жен, не исключая Поппеи. Но это давняя история. Лучше скажи, как дела там, у парфян. Право, наскучило уж слушать обо всех этих Вологезах, Тиридатах, Тигранах[19], об этих дикарях, которые, как говорит юный Арулен[20], у себя дома еще ходят на четвереньках и только перед нами притворяются людьми. Но теперь в Риме много о них говорят, верно потому, что о чем-нибудь другом говорить опасно.

– В той войне дела наши были плохи, и, когда бы не Корбулон, мы могли потерпеть поражение.

---

[12] *Номенклатор* – «именователь», раб, в обязанности которого входило знать и называть хозяину гостей, всех рабов дома, а также подаваемые кушанья.

[13] В действительности *Марк Виниций*, консул 30 и 45 гг., в 33 г. женился на Юлии, внучатой племяннице Тиберия.

[14] Рим постоянно соперничал с Парфией (мощным государством на территории современных Ирака и Ирана) за влияние на Ближнем Востоке и в Армении. Имеется в виду неудачная для римлян кампания 62–63 гг., приведшая к переходу Армении под контроль парфян. *Домиций Корбулон* – талантливый римский полководец; покончил с собой в 67 г. по приказу Нерона.

[15] *Асклепий* – в греческой мифологии бог врачевания, сын Аполлона. Тождествен римскому Эскулапу. *Киприда* – эпитет Афродиты (Венеры). По одной из версии мифа, Афродита родилась из морской пены у берегов Кипра.

[16] Об этом сообщает Тацит («Анналы», XVI, 18). Годы наместничества Петрония неизвестны. *Вифиния* – область на северо-западе М. Азии. Римская провинция с 74 г. до н.э.

[17] *Гераклея* – город в Вифинии на побережье Черного моря.

[18] *Колхида* – область на юго-восточном побережье Черного моря.

[19] *Вологез I* – парфянский царь (ок. 57–76). *Тиридат* – брат Вологеза, в 66 г. возведен Нероном на армянский престол. *Тигран IV* – царь Армении (60–62).

[20] Имеется в виду *Юний Арулен Рустик*, философ-стоик. В 66 г., будучи народным трибуном, выступал в поддержку Тразен Пета.

– Корбулон! Клянусь Вакхом! Да, он истинный бог войны, настоящий Марс, великий полководец, но вместе с тем запальчив, честен и глуп. Мне он симпатичен, хотя бы потому, что Нерон его боится…

– Корбулон отнюдь не глуп.

– Возможно, ты прав, а впрочем, это не имеет значения. Глупость, как говорит Пиррон[21], ничуть не хуже мудрости и ничем от нее не отличается.

Виниций начал рассказывать о войне, но, когда Петроний прикрыл глаза, молодой человек, глядя на его утомленное и слегка осунувшееся лицо, сменил тему разговора и стал заботливо расспрашивать о здоровье.

Петроний опять открыл глаза.

Здоровье!.. Нет, он не чувствует себя здоровым. Конечно, он еще не дошел до того, до чего дошел молодой Сисенна[22], который настолько отупел, что, когда его по утрам приносят в бани, он спрашивает: «Это я сижу?» И все же он нездоров. Виниций поручил его покровительству Асклепия и Киприды. Но он в Асклепия не верит. Неизвестно даже, чьим сыном был Асклепий – Арсинои или Корониды[23], – а если нельзя с уверенностью назвать мать, что уж говорить об отце! Кто нынче может поручиться, что знает даже собственного отца!

Тут Петроний рассмеялся, потом продолжал:

– Правда, два года тому назад я послал в Эпидавр[24] три дюжины живых серых дроздов и чашу золотых монет, но знаешь почему? Я себе сказал так: поможет или нет – неизвестно, но не повредит. Если люди еще приносят жертвы богам, все они, думаю, рассуждают так, как я. Все! За исключением, может быть, погонщиков мулов, которые предлагают свои услуги путникам у Капенских ворот[25]. Кроме Асклепия, пришлось мне также иметь дело с его служителями – асклепиадами, когда в прошлом году у меня была болезнь мочевого пузыря. За меня тогда они совершали инкубацию[26]. Я-то знал, что они обманщики, но тоже сказал себе: чем это мне повредит! Мир стоит на обмане, и вся жизнь – мираж. Душа – тоже мираж. Надо все же иметь достаточно ума, чтобы отличать миражи приятные от неприятных. Я приказываю в моем гипокаустерии[27] топить кедровыми дровами, посыпанными амброй, ибо в жизни предпочитаю ароматы смраду. Что ж до Киприды, которой ты меня также поручил, я уже столько пользовался ее покровительством, что в правой ноге колотье началось. Впрочем, это богиня добрая! Полагаю, теперь и ты – раньше или позже – понесешь белых голубей на ее алтарь.

– Ты угадал, – молвил Виниций. – Стрелы парфян меня не тронули, зато ранила меня стрела Амура… и совсем неожиданно, в нескольких стадиях[28] от ворот города.

---

[21] *Пиррон* (ум. 275 или 270 до н.э.) – греческий философ, основатель скептической школы. Скептики отрицали познаваемость сущности вещей и призывали воздерживаться от суждений, утверждая, что всякое положение ничуть не более истинно, чем любое другое.

[22] *Сисенна* – Вероятно, лицо вымышленное.

[23] По одной из версий мифа, Асклепий был сыном Аполлона и Арсинои, дочери мессенского царя Левкиппа, по другой – Аполлона и нимфы Корониды.

[24] *Эпидавр* – прибрежный город в Арголиде (область на северо-востоке п-ова Пелопоннес), известный своим храмом Асклепия.

[25] *Капенские ворота* – в южной части Рима, между холмами Авентином и Целием. Через них проходила Аппиева дорога в Капую (главный город провинции Кампания, ок. 200 км к юго-востоку от Рима).

[26] *Инкубация* – обычай проводить ночь в храме с целью увидеть вещий сон.

[27] *Гипокаустерий* – подвальное помещение, откуда нагретый воздух по трубам поступал в жилую часть дома.

[28] *Стадий* – ок. 185 м.

– Клянусь белыми коленами Харит![29] Ты расскажешь мне об этом на досуге, – сказал Петроний.

– Я как раз пришел спросить у тебя совета, – возразил Марк.

Но в эту минуту явились эпиляторы[30] и занялись Петронием, а Марк, сбросив тунику[31], вошел в бассейн с теплой водой – Петроний предложил ему искупаться.

– Ах, я и спрашивать не буду, пользуешься ли ты взаимностью, – сказал Петроний, глядя на юное, словно изваянное из мрамора тело Виниция. – Видел бы тебя Лисипп[32], ты был бы теперь украшением ворот Палатинского дворца[33] в образе статуи юного Геркулеса.

Молодой человек удовлетворенно улыбнулся и начал окунаться в бассейне, обильно выплескивая теплую воду на мозаику с изображением Геры[34], просящей Сон усыпить Зевса. Петроний смотрел на него глазами художника.

Но когда Марк вышел из бассейна и отдал себя в распоряжение эпиляторов, вошел лектор с висевшим у него на животе бронзовым футляром, из которого торчали свитки папируса.

– Хочешь послушать? – спросил Петроний.

– Если произведение твое, то с удовольствием! – ответил Виниций. – Но если не твое, лучше побеседуем. Поэты теперь ловят слушателей на каждом углу.

– Еще бы! Возле каждой базилики, возле терм, библиотеки или книжной лавки нельзя пройти, чтобы не встретить поэта, который жестикулирует, как обезьяна. Агриппа[35], когда приехал сюда с Востока, принял их за одержимых. Но такие нынче времена. Император пишет стихи, и все подражают ему. Не дозволяется только писать стихи лучше, чем император, и по этой причине я слегка опасаюсь за Лукана… Я-то пишу прозой – правда, не щадя ни самого себя, ни других. А лектор собирался нам читать «Завещание» бедняги Фабриция Вейентона[36].

– Почему бедняги?

– Потому что ему приказали сыграть роль Одиссея и не возвращаться к домашнему очагу до нового распоряжения. Эта «одиссея» окажется для него куда менее трудной, чем некогда для самого Одиссея, ибо его жена не Пенелопа. Словом, я не должен тебе говорить, что поступили глупо. Но у нас здесь ни о чем особенно не задумываются. Книжонка довольно дрянная и скучная, ее начали с увлечением читать лишь тогда, когда автора изгнали. Теперь же вокруг только и слышно: «Скандал! Скандал!» Возможно, Вейентон кое-что присочинил, но я-то знаю город, знаю наших отцов сенаторов и наших женщин и уверяю тебя, что все его выдумки меркнут перед действительностью. Ну, понятно, каждый в этой книге что-то ищет – себя со страхом, других с удовольствием.

---

[29] *Хариты* – в греческой мифологии три дочери Зевса (Аглая, Евфросина и Талия), богини юности, изящества и красоты; тождественны римским Грациям. В различных версиях мифа имена Харит и их число варьируются.

[30] *Эпиляторы* – рабы-массажисты, удалявшие волоски на теле.

[31] *Туника* – длинная рубашка, одевавшаяся на голое тело; повседневная домашняя одежда.

[32] *Лисипп* – выдающийся греческий скульптор (2-я пол. IV в. до н.э.); излюбленной темой его творчества был образ Геракла.

[33] Со времен Августа резиденцией императора становится дворец на Палатинском холме (центральный холм Рима наряду с Капитолийским).

[34] *Гера* (в римской мифологии Юнона) – сестра и супруга Зевса (Юпитера), верховная олимпийская богиня. Согласно мифу, Гера уговорила бога сна (Гипноса) усыпить Зевса, пока она преследует Геракла. Второй раз Гипнос усыпил Зевса по просьбе Геры, чтобы ахейцы смогли победить в Троянской войне.

[35] *Агриппа Марк Випсаний* (62–12 до н.э.) – приближенный и зять Августа, крупный полководец. Прославился также сооружением в Риме двух водопроводов и первых терм (общественных бань).

[36] *Фабриций Вейентон*, известный доносчик, написал, по сообщению Тацита («Анналы», XIV, 50), книгу под названием «Завещание», полную нападок на неугодных ему лиц. За злоупотребления Нерон приказал изгнать Вейентона и сжечь его книгу.

В книжной лавке Авириа сотня писцов переписывает ее под диктовку – успех обеспечен.

– Твои делишки там не описаны?

– Есть и они, но тут автор оплошал – на самом деле я и хуже, и не столь примитивен, как он меня изобразил. Видишь ли, мы тут давно утратили чувство того, что пристойно и что непристойно; мне самому уже кажется, что тут нет различия, хотя Сенека, Музоний[37] и Тразея притворяются, будто его видят. Мне на это наплевать! Клянусь Геркулесом, я говорю, что думаю! Но я все же превосхожу их кое в чем, я знаю, что безобразно и что прекрасно, а это, например, наш меднобородый поэт, возница, певец, танцор и актер не понимает.

– Все же мне жаль Фабриция! Он славный товарищ.

– Его погубила собственная его любовь. Все это подозревали, никто не знал точно, но он сам не мог сдержаться и по секрету разбалтывал всем. Историю с Руфином слышал?

– Нет.

– Тогда перейдем во фригидарий[38], охладимся немного, и я тебе все расскажу.

Они перешли во фригидарий, посреди которого бил фонтан розоватой воды, распространяя аромат фиалок. Там, усевшись в устланных шелком нишах, они стали наслаждаться прохладой. Несколько минут оба молчали. Виниций задумчиво смотрел на бронзового фавна, который, неся на плече нимфу, пригнул ее голову и страстно прижимался губами к ее губам.

– Он поступает правильно, – сказал Марк. – Это лучшее, что есть в жизни.

– Пожалуй. Но ты, кроме этого, еще любишь войну, которая мне не по душе – потому что в шатрах ногти портятся, трескаются и теряют розовый цвет. В общем, у каждого свои увлечения. Меднобородый[39] любит пенье, особенно свое собственное, а старик Скавр – свою коринфскую вазу[40], которая ночью стоит у его ложа и которую он целует, когда ему не спится. Уже выцеловал на ее краях выемки. Скажи, а стихов ты не пишешь?

– Нет, я ни разу не сочинил полного гекзаметра[41].

– И на лютне не играешь и не поешь?

– Нет.

– А колесницей правишь?

– Когда-то участвовал в ристаниях в Антиохии[42], но неудачно.

– Тогда я за тебя спокоен. А к какой партии на ипподроме ты принадлежишь?

– К зеленым.

– Тогда я совершенно спокоен, тем более что, хотя состояние у тебя изрядное, ты все же не так богат, как Паллант или Сенека. У нас теперь, видишь ли, похвально писать стихи, петь в сопровождении лютни, декламировать и мчать в колеснице по цирку, но еще лучше, а главное, безопаснее, не писать стихов, не играть, не петь и не состязаться в гонках. А самое выгодное – уметь восхищаться, когда все это делает Меднобородый. Ты красивый юноша – стало быть, тебе может угрожать разве лишь то, что в тебя влюбится Поппея. Но для этого она чересчур опытна. Любовью она досыта насладилась при первых двух мужьях, а при третьем ей нужно кое-что другое. Ты зна-

[37] *Музоний Руф* – известный философ-стоик, учивший в Риме при Нероне; сослан в связи с раскрытием заговора Пизона.

[38] *Фригидарий* – прохладная комната в бане.

[39] *Меднобородый* (лат. Ahenobarbus) – родовое прозвище фамилии Домициев, к которой принадлежал Нерон; внешность императора отвечала этому прозвищу.

[40] Видимо, вымышленное лицо, так как Эмилий Мамерк Скавр, известный оратор и поэт-трагик, покончил с собой в 34 г. Вазы из коринфской бронзы (от названия города Коринф, расположенного на северо-востоке Пелопоннеса, у Истмийского перешейка) ценились за красоту чеканки и особое качество металла, содержавшего примеси золота и серебра.

[41] *Гекзаметр* – шестистопный дактиль с последней усеченной стопой, особенно характерен для эпической поэзии.

[42] *Антиохия* – крупный город в северной Сирии близ побережья Средиземного моря.

ешь, этот дурак Отон до сих пор любит ее безумно. Бродит там по испанским скалам и вздыхает – он настолько утратил прежние свои привычки и так перестал следить за собой, что на завивку волос ему теперь хватает трех часов в день. Кто бы мог этого ожидать от нашего Отона?

– Я его понимаю, – возразил Виниций. – Но я на его месте поступал бы иначе.

– А именно?

– Я бы создавал преданные мне легионы из тамошних горцев. Иберы – храбрые воины.

– Виниций, Виниций! Мне так и хочется сказать, что ты не был бы на это способен. И знаешь, почему? Такие вещи, конечно, делают, но о них не говорят, даже в условной форме. Что до меня, я бы на его месте смеялся над Поппеей, смеялся над Меднобородым и сколачивал бы себе легионы – но не из иберов, а из иберик. Ну, самое большее, писал бы эпиграммы, которых, впрочем, никому бы не читал, в отличие от бедняги Руфина.

– Ты хотел рассказать его историю.

– Расскажу в унктории[43].

Но в унктории внимание Виниция привлекли красивые рабыни, ожидавшие там купающихся. Две из них, негритянки, походившие на великолепные эбеновые статуи, принялись умащать тела господ тончайшими аравийскими благовонными маслами, другие, фригиянки, искусные причесывальщицы, держали в нежных и гибких, как змеи, руках шлифованные стальные зеркала и гребни, еще две, прелестные, как богини, девушки – гречанки с острова Коса[44], вестиплики[45], ждали минуты, когда надо будет живописно уложить складки тог[46] на обоих мужчинах.

– Клянусь Зевсом Тучесобирателем! – сказал Марк Виниций. – Какой тут у тебя цветник!

– А я больше забочусь о качестве, чем о числе, – отвечал Петроний. – Вся моя фамилия[47] в Риме составляет не более четырехсот человек, и я полагаю, что разве только выскочкам требуется больше прислуги.

– Пожалуй, и у Меднобородого нет таких прекрасных тел, – сказал, раздувая ноздри, Виниций.

Петроний на это ответил с любезной небрежностью:

– Ты мой родственник, и я не такой черствый человек, как Басс[48], и не такой педант, как Авл Плавтий[49].

Виниций, однако, услыхав последнее имя, забыл на миг о девушках с Коса и, быстро взглянув на Петрония, спросил:

– Почему тебе вспомнился Авл Плавтий? Знаешь, подъезжая к городу, я сильно разбил себе руку и провел в его доме больше десяти дней. Когда со мной это случилось, Плавтий как раз проезжал по дороге, он увидел, что мне худо, и забрал меня к себе; там его раб, лекарь Мерион, вылечил меня. Именно об этом я и хотел с тобою поговорить.

– Чего это вдруг? Не влюбился ли ты случайно в Помпонию? Тогда мне тебя жаль: она немолода и добродетельна! Худшего сочетания не могу себе представить. Бр-р!

– Не в Помпонию, увы! – ответил Виниций.

---

[43] *Унктории* – комната в бане, предназначенная для растираний и умащений.

[44] *Кос* – остров близ юго-западного побережья М. Азии.

[45] *Вестиплика* – рабыня, наблюдавшая за одеждой.

[46] *Тога* – верхняя одежда совершеннолетних граждан, кусок ткани, особым образом оборачивавшийся вокруг тела. Юноши до 17 лет, а также жрецы и магистраты носили т.н. претексту – тогу с пурпурной каймой.

[47] Домашние рабы назывались «фамилия». *(Примеч. автора.)* Термин «фамилия» обозначал дом как совокупность всех домочадцев, включая рабов.

[48] Вероятно, *Ауфидий Басс*, известный историк и философ-эпикуреец, которого высоко ценил Сенека.

[49] *Авл Плавтий* – известный полководец, завоеватель и наместник Британии (в 43–47 гг.).

– Тогда в кого же?

– Если б я сам знал в кого! Но я даже не знаю точно ее имени – Лигия или Каллина? В доме ее называют Лигией, потому что она из народа лигийцев[50], и у нее есть свое варварское имя: Каллина. Странный дом у этих Плавтиев! Народу много, а тишина, как в лесах Сублаквея[51]. Более десяти дней я не знал, что там живет богиня. Но раз на заре я увидел, как она умывалась у фонтана в саду. И клянусь тебе пеной, из которой родилась Афродита, что лучи зари пронизывали ее тело насквозь. Мне думалось, когда взойдет солнце, она растворится в его свете, как исчезает из глаз утренняя звезда. С той поры я ее видел еще два раза, и с той поры, поверь, я не знаю другого желания, мне не в радость все утехи города, я не хочу женщин, не хочу золота, не хочу коринфской бронзы, ни янтаря, ни жемчуга, ни вина, ни пиров, хочу только Лигию. Говорю тебе, Петроний, чистосердечно, я тоскую по ней, как тосковал Сон, изображенный на мозаике в твоем тепидарии, по Пасифее[52], тоскую днем и ночью.

– Если она рабыня – купи ее.

– Она не рабыня.

– Кто же она? Вольноотпущенница Плавтия?

– Она никогда не была невольницей и не могла быть отпущена на волю.

– Так кто же она?

– Сам не знаю – царская дочь или что-то в этом роде.

– Ты пробудил мое любопытство, Виниций.

– Но если тебе будет угодно меня выслушать, я его быстро удовлетворю. История не слишком длинная. Ты, возможно, был знаком с Ваннием, царем свебов[53], – народ его изгнал, он долго жил в Риме и даже прославился удачливой игрой в кости и счастливой судьбой. Цезарь Друз[54] вернул ему трон. По сути, Ванний был человеком твердым, вначале он правил неплохо и воевал успешно, но потом начал слишком ретиво грабить не только соседей, но и своих свебов. Тогда Вангион и Сидон, два его племянника, сыновья его сестры и Вибилия, царя гермундуров[55], решили вынудить его опять отправиться в Рим… искать счастье в игре.

– А, помню, это было при Клавдии, совсем недавно.

– Вот-вот. Началась война. Ванний призвал на помощь язигов[56], а его любезные племянички – лигийцев, которые, прослышав о богатствах Ванния и надеясь на жирную добычу, явились с такими полчищами, что сам император Клавдий встревожился. Вмешиваться в войну варваров Клавдий не хотел, но все же написал Ателию Гистру, командовавшему придунайским легионом[57], чтобы тот внимательно следил за ходом войны и не позволил нарушить наш покой. Гистр потребовал от лигийцев обещания не переходить границу, на что они не только согласились, но еще дали заложников, среди которых были жена и дочь их вождя. Ты же знаешь, варвары отправляются

[50] *Лигийцы* (лугии) – собирательное название ряда племен, обитавших на территории современной западной Польши.

[51] *Сублаквей* – вилла Нерона близ т. н. Симбруинских озер (прибл. 60 км к юго-востоку от Рима).

[52] *Пасифея* (в некоторых версиях мифа – младшая из Харит) была обещана Сну Герой в награду за усыпление Зевса. История не слишком длинная. – Нижеследующая история сообщается Тацитом («Анналы», XII, 29–30), за исключением эпизода с девушкой, и происходила в 50 г.

[53] *Свебы* – собирательное название ряда германских племен, обитавших на северо-востоке Германии. Царем свебов сделал Ванния в 16 г.

[54] *Цезарь Друз Младший* (13 до н.э. – 23 н.э.), сын Тиберия.

[55] *Гермундуры* – германское племя, обитавшее на территории современных Баварии и Тюрингии.

[56] *Язиги* – сарматское племя, обитавшее между Дунаем и Тиссой.

[57] В действительности командира дунайского легиона и наместника Паннонии звали Секст Палпеллий Гистр.

на войну с женами и детьми. Так что моя Лигия – дочь того вождя.

– Откуда ты все это знаешь?

– Мне рассказал сам Авл Плавтий. Лигийцы тогда действительно границу почти не нарушали, но ведь варвары налетают, как буря, и, как буря, исчезают. Так исчезли и лигийцы с турьими рогами на головах. Свебов и язигов Ванния они разбили, но их царь погиб, и они ушли с добычей, а заложники остались во власти Гистра. Мать вскоре умерла, дочку Гистр, не зная, что с нею делать, отослал правителю всей Германии Помпонию. Закончив войну с хаттами[58], Помпоний возвратился в Рим, где Клавдий, как тебе известно, разрешил ему триумфальные почести. Девушка шла за колесницей победителя, но когда торжества кончились, Помпоний тоже не знал, что с нею делать, – ведь заложницу нельзя было считать пленницей, – и в конце концов отдал ее своей сестре, Помпонии Грецине, жене Плавтия. В этом доме, где всё, начиная с господ и кончая птицей в курятнике, преисполнено добродетели, девушка выросла, увы, столь же добродетельной, как сама Грецина, и стала такой красавицей, что даже Поппея рядом с нею выглядела бы, как осенняя фига рядом с яблоком Гесперид[59].

– Ну, и дальше что?

– Повторяю тебе, с той минуты, что я увидел ее у фонтана, увидел, как лучи солнца пронизывают насквозь ее тело, я без памяти влюбился.

– Выходит, она прозрачна, как медуза или как маленькая сардинка?

– Не шути, Петроний, а если тебя ввело в заблуждение то, что я так свободно говорю о своем увлечении, знай, что под нарядным платьем часто скрываются глубокие раны. Еще должен тебе сказать, что по пути из Азии я провел одну ночь в храме Мопса[60], надеясь получить оракул. И вот во сне мне явился сам Мопс и изрек, что в моей жизни произойдет большая перемена вследствие любви.

– Слыхал я, как Плиний говаривал[61], что не верит в богов, но верит в сны, и, возможно, он прав. Несмотря на все мои шутки, я и сам временами думаю, что существует лишь одно вечное, всемогущее, творящее божество – Венера Родительница. Она соединяет души, соединяет тела и предметы. Эрос вывел мир из хаоса. Хорошо ли он поступил, это другой вопрос, но раз уж так случилось, мы должны признать его могущество, хотя можем и не благословлять его.

– Ах, Петроний, куда легче услышать философское рассуждение, чем добрый совет.

– Но скажи, чего ты собственно хочешь?

– Хочу-получить Лигию. Хочу, чтобы вот эти мои руки, которые сейчас обнимают только воздух, могли обнять ее и прижать к груди. Хочу дышать ее дыханием. Будь она рабыней, я бы дал за нее Авлу сотню девушек, у которых ноги выбелены известью в знак того, что они в первый раз выставлены на продажу. Хочу иметь ее у себя в моем доме до тех пор, пока голова моя не побелеет, как вершина Сораkта[62] зимою.

– Она не рабыня, но все-таки принадлежит к фамилии Плавтия, а поскольку она покинутое дитя, ее можно считать воспитанницей. Если бы Плавтий захотел, он мог бы тебе ее уступить.

– Ты, наверно, не знаешь Помпонии Грецины. Впрочем, оба они привязались к ней, как к родной дочери.

– Помпонию я знаю. Уныла, как кипарис. Не будь она женою Авла, ее можно было бы нани-

[58] *Хатты* – крупное германское племя, обитавшее в верхнем течении р. Везер.

[59] *Гесперuды* – в греческой мифологии нимфы, жившие на краю света у берегов Океана. Они охраняли золотые яблоки вечной молодости, которые Гера получила в подарок от Геи-Земли.

[60] *Мопс* – легендарный прорицатель, сын пророчицы Манто.

[61] Имеется в виду Гай Плиний Секунд (Старший) (23–79), римский государственный деятель, историк и ученый-энциклопедист, погибший при извержении Везувия.

[62] *Соракт* – высокая гора в южной Этрурии (к северу от Рима).

мать в плакальщицы. Со дня смерти Юлии она не снимает темной столы[63], и вообще вид у нее такой, будто она уже при жизни бродит по лугам, где растут асфодели[64]. Вдобавок она – одномужняя жена, а стало быть, среди наших женщин, разводившихся по четыре-пять раз, истинный феникс. Да, слышал ты, будто в Верхнем Египте недавно вылупился из яйца феникс, что с ним случается не чаще чем раз в пятьсот лет?

– Ох, Петроний, Петроний, о фениксе мы поговорим когда-нибудь в другой раз.

– Что же сказать тебе, милый мой Марк? Я знаю Авла Плавтия, он, хотя и осуждает мой образ жизни, все же питает ко мне известную слабость, а может быть, даже уважает меня больше, чем других, зная, что я никогда не был доносчиком, как, к примеру, Домиций Афр[65], Тигеллин и вся свора дружков Агенобарба. Я не притворяюсь стоиком, а между тем порицал не раз такие поступки Нерона, на которые Сенека и Бурр смотрели сквозь пальцы. Если ты считаешь, что я могу чего-нибудь добиться для тебя у Авла, – я к твоим услугам.

– Да, считаю, что можешь. Ты имеешь на него влияние, к тому же твой ум неисчерпаемо изобретателен. Если бы ты все это хорошенько обдумал и поговорил с Плавтием…

– У тебя преувеличенное представление о моем влиянии и изобретательности, но, коль дело только в этом, я поговорю с Плавтием, сразу как они приедут в город.

– Они вернулись вот уже два дня.

– В таком случае идем в триклиний, там нас ждет завтрак, а потом, подкрепившись, прикажем отнести нас к Плавтию.

– Я всегда тебя любил, – с живостью ответил на это Виниций, – но теперь, пожалуй, прикажу поставить твою статую среди моих ларов[66] – такую же прекрасную, как вот эта, – и буду приносить ей жертвы.

Говоря это, он повернулся к статуям, украшавшим целую стену наполненной благоуханием залы, и указал на статую Петрония в виде Гермеса с посохом в руке.

– Клянусь светом Гелиоса! – прибавил Марк. – Если «божественный» Александр[67] был схож с тобою, я не дивлюсь Елене.

В возгласе этом звучала не просто лесть, но искреннее восхищение, – хотя Петроний был старше и не столь атлетического сложения, он был красивее даже Виниция. Женщины в Риме восхищались его острым умом и вкусом, доставившим ему прозвище «арбитра изящества», но также его телом. Восхищение было заметно даже на лицах девушек с Коса, которые теперь укладывали складки его тоги и одна из которых, по имени Эвника, тайно в него влюбленная, смотрела ему в глаза покорно и восторженно.

Но Петроний на это не обращал внимания и, с улыбкой обернувшись к Винициюю, начал цитировать ему в ответ сентенцию Сенеки о женщинах:

– «Animal impudens»[68], – и т.д.

Затем, обняв его за плечи, повел Марка в триклиний.

В унктории две девушки-гречанки, две фригиянки и две негритянки принялись убирать сосуды с душистыми маслами. Но вдруг из-за занавеса, отделявшего фригидарий, показались головы бальнеаторов и послышалось тихое «тсс». По этому знаку одна из гречанок, фригиянки и эфиопки

---

[63] *Стола* – длинное просторное платье, отличительная одежда римской матроны.

[64] *…где растут асфодели…* – т.е. в царстве мертвых.

[65] *Домиций Афр* (ум. 59) – способный оратор, запятнавший себя, однако, многочисленными доносами.

[66] *Лары* – боги – хранители домашнего очага (в римской мифологии).

[67] *Александр* (*греч.* «Отражающий мужей») – прозвище Париса, сына троянского царя Приама и Гекубы. Прекрасная Елена (дочь Зевса и супруга царя Менелая) пленилась красотой Париса и бежала с ним в Трою, что послужило причиной Троянской войны.

[68] Бесстыдное животное *(лат.)*

встрепенулись и вмиг исчезли за занавесом. Начиналась в термах пора вольности и разгула, чему надзиратель не препятствовал, так как сам нередко принимал участие в подобных развлечениях. Догадывался о них и Петроний, но, как человек снисходительный и не любивший наказывать, смотрел на это сквозь пальцы.

Осталась в унктории одна Эвника. С минуту она прислушивалась к удалявшимся в направлении лаконика голосам и смеху, потом взяла выложенный янтарем и слоновой костью табурет, на котором только что сидел Петроний, и осторожно поставила его возле статуи своего господина.

Унктории был весь залит солнечными лучами и сиял цветными бликами, игравшими на радужном мраморе, которым были отделаны стены.

Эвника встала ногами на табурет и, оказавшись вровень со статуей, вдруг обвила ее шею руками; затем, откинув назад свои золотистые волосы и прижимаясь розовым телом к белому мрамору, страстно припала губами к холодным устам Петрония.

Глава II

После угощенья, которое называлось завтраком и за которое оба друга уселись в час, когда обычные смертные уже давно съели свою полуденную трапезу, Петроний предложил немного вздремнуть. Идти с визитом было, по его словам, еще слишком рано. Есть, правда, люди, которые начинают посещать знакомых с восходом солнца, полагая, что таков старинный римский обычай. Но он, Петроний, считает его варварским. Самое подходящее время для визитов – после полудня, однако не раньше, чем солнце перейдет на сторону храма Юпитера Капитолийского и не начнет глядеть на Форум[69] искоса. Осенью в эту пору бывает еще жарко, и люди после трапезы любят поспать. И как приятно слушать шум фонтана в атрии[70] и после обязательной тысячи шагов задремать в алом свете, льющемся сквозь неплотно натянутый пурпуровый навес.

Виниций не возражал, и они стали прохаживаться, беседуя о том, что слышно на Палатине и в городе, и слегка философствуя о жизни. Затем Петроний отправился в кубикул[71], но спал недолго. Через полчаса он вышел и, приказав подать ему вербену, стал ее нюхать и натирать ею руки и виски.

– Ты не поверишь, – сказал он, – как это освежает и бодрит. Теперь я готов.

Носилки уже давно ждали, оба друга уселись и велели нести их на улицу Патрициев, к дому Авла. Дом Петрония находился на южном склоне Палатина, невдалеке от Карин[72], поэтому кратчайший путь лежал ниже Форума; Петроний, однако, желал заглянуть к ювелиру Идомену и распорядился нести их по улице Аполлона и Форуму в направлении Злодейской улицы, на углу которой было множество различных таверн.

Гиганты негры подняли носилки и тронулись в путь, а впереди бежали рабы-педисеквы[73]. Спустя некоторое время Петроний молча поднес к носу свои пахнущие вербеной руки – казалось, он о чем-то размышляет.

– Мне пришло в голову, – сказал он, – что, если твоя лесная богиня не невольница, она могла бы оставить дом Плавтиев и переселиться к тебе. Ты бы окружил ее любовью, осыпал роскошными дарами, как я мою обожаемую Хрисотемиду, которая, между нами говоря, надоела мне при-

[69] *Форум* – центральная площадь, средоточие общественной и политической жизни Рима. Главным форумом считался т.н. Римский Форум (или просто Форум), расположенный на юго-западном склоне Капитолийского холма. К нему примыкали форумы, построенные императорами – Цезарем, Августом и др.

[70] *Атрий* – передняя (вообще первое помещение от входа в дом).

[71] *Кубикул* – спальня.

[72] *Карины* – богатый аристократический квартал, располагавшийся в юго-восточной части центра города, между Палатинским и Эсквилинским холмами.

[73] *Педисеквы* – рабы-скороходы, сопровождавшие господина.

мерно так же, как я ей.

Марк отрицательно покачал головой.

– Нет? – спросил Петроний. – На самый худой конец дело это будет представлено императору, и можешь быть уверен, что наш Меднобородый, хотя бы благодаря моему влиянию, станет на твою сторону.

– Ты не знаешь Лигии! – возразил Виниций.

– А позволь тебя спросить, ты-то ее знаешь иначе как с виду? Говорил ты с ней? Признался в любви?

– Я видел ее сперва у фонтана, потом встречал еще два раза. Помню, когда я жил у Авла, меня поместили в соседней вилле, предназначенной для гостей, – и с поврежденной своей рукой я не мог садиться за общий стол. Лишь накануне дня, назначенного мною для отъезда, я встретил Лигию за ужином – и не мог даже слова ей сказать. Я должен был слушать Авла, рассказы о его победах в Британии, а потом об упадке мелких хозяйств в Италии, чему пытался воспрепятствовать еще Лициний Столон[74]. Вообще я сомневаюсь, способен ли Авл говорить о чем-либо другом, и нам наверняка не удастся этого избежать, разве что ты захочешь послушать об изнеженности нынешних нравов. Они держат у себя на птичнике фазанов, но не едят их из убеждения, что каждый съеденный фазан приближает конец римского могущества. Во второй раз я встретил ее возле садовой цистерны с только что вырванным камышом в руке, она опускала его кисть в воду и кропила росшие вокруг ирисы. Погляди на мои колени. Клянусь щитом Геркулеса, они не дрожали, когда на наши манипулы[75] шли с воем полчища парфян, но у той цистерны они задрожали. И я, смущенный, как мальчик, который еще носит буллу[76] на шее, одними лишь глазами молил о жалости и долго не мог слова вымолвить.

Петроний взглянул на него с легкой завистью.

– Счастливец! – сказал Петроний. – Пусть весь мир и жизнь погрязнут в зле, одно благо пребудет вечно – молодость!

Немного помолчав, он спросил:

– И ты с ней не заговорил?

– Заговорил. Придя в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что вблизи города расшиб себе руку и страдал от сильной боли, но в эту минуту, когда мне приходится покинуть их дом, я понял, что страдание в нем отрадней, чем наслаждение в другом месте, и болезнь здесь приятней, чем в другом месте здоровье. Она слушала мои речи тоже в смущении и, потупив голову, чертила что-то камышом на шафранно-желтом песке. Потом подняла глаза, а потом снова взглянула на начерченные ею знаки и еще раз на меня, будто желая что-то спросить, – и вдруг убежала, как гамадриада[77] от глупого фавна.

– У нее, наверное, красивые глаза?

– Глаза как море – и я утонул в них, как в море. Поверь, море Архипелага[78] не такое синее. Через минуту прибежал сынок Плавия и стал что-то спрашивать. Но я не понимал, чего ему надо.

– О Афина! – воскликнул Петроний. – Сними у этого юноши повязку с глаз, которой его наградил Эрос, не то он расшибет себе голову о колонны храма Венеры. – И, снова обратясь к Винициюю, продолжал: – О ты, весенний бутон на древе жизни, ты, первый зеленый побег винограда!

---

[74] *Лициний Столон Гай* – народный трибун, в 367 г. до н.э. вместе с Луцием Секстием Латераном провел законы в пользу плебса и рядового крестьянства.

[75] *Манипул* – боевое подразделение римской армии (180–200 чел.), состоявшее из двух центурий. Три манипула составляли когорту, десять когорт – легион (5000–6000 чел).

[76] *Булла* – шейный амулет в виде шарика или кружка (часто золотого), который носили до совершеннолетия дети полноправных граждан.

[77] *Гамадриада* – лесное божество, нимфа дерева, которая (в отличие от дриады) рождается и умирает вместе с ним.

[78] *Море Архипелага* – Эгейское море.

Да ты должен был приказать нести себя не к Плавтиям, а в дом Гелотия, где помещается школа для не знающих жизни мальчишек.

– Чего ты надо мною смеешься?

– А что она чертила на песке? Не имя ли Амура, не сердце ли, пронзенное стрелой, или что другое, из чего ты мог бы понять, что сатиры уже нашептывали этой нимфе на ухо некие тайны жизни? Как можно было не посмотреть на эти знаки!

– Я надел тогу раньше, чем ты думаешь, – сказал Виниций. – Пока не прибежал маленький Авл, я внимательно рассматривал эти знаки. Я ведь знаю, что и в Греции и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которые отказываются произнести их уста. Но угадай, что она начертила?

– Если что другое, я, пожалуй, не угадаю.

– Рыбу.

– Как ты сказал?

– Говорю, рыбу. Должно ли это было означать, что в ее жилах течет такая же холодная кровь, – не знаю! Но ты, назвавший меня весенним бутоном на древе жизни, – ты, надеюсь, лучше сможешь понять этот знак?

– Дорогой мой! Об этих вещах спрашивай Плиния. Уж он-то в рыбах разбирается. Будь еще жив старик Апиций[79], он, возможно, тоже смог бы тебе что-нибудь сказать – за свою жизнь он съел больше рыб, чем их может поместиться в Неаполитанском заливе.

Но на этом беседа прервалась – их теперь несли по людным улицам, и шум толпы мешал разговаривать. С Аполлоновой улицы они повернули на Римский Форум, где в погожие дни, перед заходом солнца, толпился праздный люд, чтобы побродить между колонн, рассказать и послушать новости, поглазеть на носилки с известными особами, посетить лавки ювелирные, книжные, меняльные, лавки с шелковым товаром, бронзовыми изделиями и всяческие другие, которых было превеликое множество в домах, окаймлявших часть Форума напротив Капитолия. Находившаяся у самых склонов Капитолийского холма половина Форума уже была погружена в тень, тогда как колонны храмов, расположенных выше, золотились в закатном свете на голубом небе. Колонны же, стоявшие внизу, отбрасывали длинные тени на мраморные плиты, и так много было этих колонн, что взор терялся, как в лесу. Казалось, всем этим колоннам здесь тесно – они тянулись кто выше, разбегались направо и налево, взбирались вверх по склонам, прижимались к крепостной стене или друг к другу, похожие на древесные стволы, – одни повыше, другие пониже, толстые и тонкие, золотистые и белые, то расцветая под архитравами цветками аканта[80], то увенчанные ионическими закрученными рогами, то завершаясь простым дорическим квадратом. Над этим лесом блестели разноцветные триглифы, из тимпанов[81] выпячивались скульптурные фигуры богов, крылатые позолоченные квадриги, казалось, вот-вот взлетят с высоких кровель в воздух, в голубое небо, мирно осенявшее этот город бесчисленных храмов. Посреди Форума и по его окружности двигался людской поток: толпы людей проходили под арками храма Юлия Цезаря, другие сидели на ступенях храма Кастора и Поллукса[82] или сновали вокруг небольшого святилища Весты[83], напоминая на

[79] *Апиций* – богач и гастроном времен Августа и Тиберия. Под его именем до нас дошло сочинение «О кулинарном искусстве» (вероятно, гораздо более позднего происхождения).

[80] *Архитрав* – опирающаяся на капители колонн горизонтальная несущая балка, нижняя из трех частей перекрытия (антаблемента). *Акант* – распространенное в Средиземноморье растение, причудливо изрезанные листья которого послужили прототипом архитектурного орнамента, в особенности капителей коринфского ордера.

[81] *Триглифы* – вытянутые по вертикали плиты с продольными желобками; чередуясь с метопами (горизонтально вытянутыми плоскими плитами), образуют фриз (в дорическом ордере) – среднюю часть перекрытия. *Тимпан* – треугольное поле фронтона (верхней части торцевого фасада) без обрамляющих его карнизов; часто украшалось рельефами и скульптурными изображениями.

[82] *Кастор и Поллукс* – в греческой мифологии т.н. Диоскуры, братья-близнецы, сыновья Зевса, боги – покровители воинов и моряков.

фоне всего этого нагромождения мрамора рои разноцветных мотыльков или жуков. По гигантским ступеням, ведущим от храма, посвященного «Jovi Optimo Maximo»[84], спускались сверху все новые людские волны: у ростральной[85] трибуны слушали случайных ораторов, громко кричали торговцы фруктами, вином или водой, смешанной с соком смокв; тут были и шарлатаны, выхвалявшие чудодейственные снадобья, и предсказатели будущего, и угадчики зарытых кладов, и толкователи снов. Местами среди гомона и выкриков слышались звуки систра, египетской самбуки[86] или греческих флейт. Люди больные, благочестивые или чем-то озабоченные несли в храмы свои жертвы. На каменных плитах собирались, жадно клюя жертвенное зерно, стайки голубей, напоминавшие подвижные пестрые и темные пятна; они то вдруг с громким шумом крыльев взлетали в воздух, то опять опускались на не занятые людьми места. Время от времени толпа расступалась давая дорогу носилкам, из которых выглядывали холеные женские лица или лица сенаторов и всадников[87] с застывшим на них выражением равнодушия и пресыщенности. Разноязычная толпа громко повторяла их имена, прибавляя язвительные или хвалебные прозвища. Между беспорядочными группами кое-где проходили чеканным военным шагом отряды солдат или стражей, наблюдавших за порядком на улицах. Греческий язык был слышен вокруг столь же часто, как и латинский.

Виниций, давно не бывавший в городе, смотрел с некоторым любопытством на это скопление людей и на Римский Форум, господствующий над миром и вместе с тем настолько затопленный его волнами, что Петроний, угадав мысль своего спутника, назвал Форум «гнездом квиритов[88] – без квиритов». И действительно, местное население тонуло в толпе, состоявшей из представителей всех рас и народов. Здесь можно было увидеть эфиопов и рослых, светловолосых людей с далекого севера, бриттов, галлов и германцев, косоглазых серов[89], людей с берегов Евфрата и людей с берегов Инда, чьи бороды выкрашены в кирпичный цвет, сирийцев с берегов Оронта[90] с черными, томными глазами, иудеев со впалой грудью, египтян с неизменной равнодушной усмешкой на лице, нумидийцев и африканцев, греков из Эллады, которые наравне с римлянами господствовали в городе, но господствовали благодаря знаниям, искусству, разуму и плутовству, греков с островов и из Малой Азии, из Египта, из Италии, из Нарбоннской Галлии[91]. В толпе рабов с продырявленными ушами немало было и свободных, праздношатающихся горожан, которых император развлекал, кормил и даже одевал; были тут и пришлые свободные люди, привлеченные в огромный город легкой жизнью и возможностью разбогатеть; то и дело попадались на глаза разносчики мелкого товара, жрецы Сераписа[92] с пальмовыми ветвями в руках, и жрецы Исиды[93], на алтарь ко-

[83] *Веста* – в римской мифологии богиня – покровительница домашнего очага и государства.

[84] «Юпитеру Наилучшему Величайшему» *(лат.)*. Имеется в виду храм Юпитера Капитолийского, главный храм Римского государства.

[85] *Ростральная трибуна* – трибуна, украшенная рострами (загнутыми носами захваченных вражеских кораблей).

[86] *Систр* – трещотка типа кастаньет. *Самбука* – разновидность арфы.

[87] *Всадники* – члены сословия всадников (следующего за высшим, сенаторским).

[88] *Квирит* – полноправный римский гражданин.

[89] *Серы* – китайцы.

[90] *Оронт* – главная река Сирии, впадавшая в Средиземное море против Антиохии.

[91] *Нарбоннская Галлия* – юго-восточная часть современной Франции у побережья Средиземного моря.

[92] *Серапис* – синкретическое божество эллинистического Востока, соединявшее в себе функции египетского Осириса, греческих Зевса, Аполлона, Посейдона и Плутона; повелитель стихий природы.

[93] *Исида* – в египетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, покровительница мореплавателей. Культ Исиды, как и культ Сераписа, был весьма популярен в греко-римском мире.

торой приносилось больше жертв, чем в храм Юпитера Капитолийского, и жрецы Кибелы[94] с золотистыми колосьями риса в руках, и странствующие жрецы, и восточные танцовщицы в ярких митрах, и продавцы амулетов, и заклинатели змей, и халдейские маги, и, наконец, множество людей без какого-либо занятия, которые каждую неделю приходили к зернохранилищам на берегу Тибра за своей долей зерна, дрались за лотерейные таблички в цирках, проводили ночи в часто обрушивавшихся домах квартала за Тибром, а теплые, солнечные дни – в крытых портиках, в грязных харчевнях Субуры[95], на Мульвиевом мосту или возле особняков богачей, где время от времени им выбрасывали объедки со стола рабов.

Петрония толпа хорошо знала. До слуха Виниция то и дело доносилось «Hic est!» – «Это он!» Петрония любили за щедрость, но популярность его особенно возросла с той поры, как узнали, что он высказался перед императором против смертного приговора всей фамилии, то есть всем, без различия пола и возраста, рабам префекта Педания Секунда, за то, что один из них в порыве отчаяния убил этого изверга[96]. Петроний, правда, уверял, что его это дело мало волнует и что говорил он с императором только как частное лицо, как «арбитр изящества», чье эстетическое чувство оскорбляла столь варварская бойня, приличествующая разве каким-нибудь скифам, но не римлянам. И все же народ, возмутившийся из-за этой резни, относился с тех пор к Петронию с любовью.

Но ему это было безразлично. Он помнил, что тот же народ любил и Британника, которого Нерон отравил, и Агриппину, которую Нерон приказал убить, и Октавию, которую задушили на Пандатерии[97], предварительно вскрыв ей вены в жарко натопленной бане, и Рубеллия Плавта[98], которого изгнали, и Тразею, которому каждое утро могло принести смертный приговор. Любовь народа можно было скорее считать зловещим признаком, а скептик Петроний был суеверен. Толпу он презирал вдвойне: как аристократ и как эстет. Люди, от которых воняло жареными бобами, заложенными за пазуху, всегда охрипшие и потные от игры в мору[99] на уличных перекрестках и в перистилях, недостойны были в его глазах называться людьми.

Итак, не отвечая ни на рукоплескания, ни на воздушные поцелуи, посылаемые со всех сторон, он рассказывал Марку о деле Педания, насмехаясь над изменчивостью уличного сброда, который на следующий день после бурного возмущения аплодировал Нерону, ехавшему в храм Юпитера Статора[100]. Перед книжной лавкой Авирна Петроний велел остановиться – выйдя из носилок, он купил красивую рукопись и вручил ее Винициу.

– Это тебе подарок, – сказал он.

– Благодарю, – ответил Виниций. И, взглянув на название, спросил: – «Сатирикон»? Что-то новое. Чье произведение?

– Мое. Но я не желаю подвергнуться ни участи Руфина[101], чью историю я собирался тебе

---

[94] *Кибела* – фригийское божество плодородия, «Мать богов». Оргиастический культ Кибелы стал распространяться в Риме с II в. до н.э.

[95] *Субура* – оживленный район Рима (в низине между холмами Эсквилином, Квириналом и Виминалом, к северу от Карин) с одноименной улицей, изобиловавшей харчевнями и притонами.

[96] В 61 г. Педаний Секунд был префектом (градоначальником) Рима.

[97] *Пандатерия* – остров у побережья Кампании; в императорское время – место ссылки.

[98] *Рубеллий Плавт* – потомок Августа по женской линии; Нерон, опасаясь Плавта как возможного претендента на престол, приказал сослать его (в 59 или 60 г.).

[99] *Мора* – популярная игра, состоящая в отгадывании числа внезапно раскрываемых игроками пальцев.

[100] Этот храм был расположен на склоне Палатинского холма, где, по преданию, основатель Рима Ромул взмолился к Юпитеру, прося его остановить бежавшее от неприятеля римское войско («Статор» – по-латыни «Остановитель»).

[101] Имеется в виду римский всадник Виниций Руфин, изгнанный в 61 г. за подделку завещания.

рассказать, ни участи Вейентона, – поэтому никто об этом не знает, и ты никому не проговорись.

– Ты сказал, что не пишешь стихов, – заметил Виниций, заглядывая в середину рукописи, – а тут, как я вижу, проза густо ими усеяна.

– Когда будешь читать, обрати внимание на пир Тримальхиона[102]. Что ж до стихов, они мне опротивели с того времени, как Нерон стал писать эпическую поэму. Ты знаешь, Вителлий, чтобы облегчить себе желудок, пользуется палочками из слоновой кости, засовывая их себе в глотку, другие применяют перья фламинго, смоченные в оливковом масле или в отваре чабреца, – я же читаю стихи Нерона, и действие их мгновенное. Потом я могу хвалить их – коль не с чистой совестью, то с чистым желудком.

Сказав это, он опять остановил носилки у лавки ювелира Идомена и, договорись насчет гемм, велел нести себя прямо к Авлу.

– По дороге расскажу тебе историю Руфина как пример того, к чему приводит авторское тщеславие, – сказал он.

Но Петроний не успел приступить к рассказу, как они свернули на улицу Патрициев и вскоре оказались у дома Авла. Молодой мускулистый привратник открыл им дверь в остий – первую прихожую, – над дверью висела клетка с сорокой, верещавшей гостям приветствие «Salve»[103].

Проходя из этой первой прихожей в атрий, Виниций сказал:

– Ты заметил, что привратник здесь без цепи?

– Странный дом, – вполголоса ответил Петроний. – Наверно, тебе известно, что Помпонию Грецину[104] подозревали в приверженности восточному суеверию, состоящему в почитании какого-то Хрестоса. Удружила ей, говорят, Криспинилла[105], которая не может простить Помпонии, что ей хватило одного мужа на всю жизнь. Унивира!..[106] Да в Риме легче найти миску рыжиков из Норика![107] Ее судили домашним судом.

– Ты прав, дом странный. Немного погодя расскажу тебе, что я тут слышал и видел.

Тем временем они пришли в атрий. Распоряжавшийся здесь раб, называемый «атриенсис»[108], послал номенклатора, чтобы тот известил о приходе гостей, а другие рабы подали, им кресла и скамеечки для ног. Петроний, который прежде думал, что в этом строгом доме царит вечное уныние, и потому никогда здесь не бывал, осматривался с известным удивлением и даже недоумением – атрий производил впечатление скорее радостное. Через большое отверстие в потолке лился сноп яркого света, рассыпаясь в фонтане тысячами искр. Квадратный бассейн с фонтаном в центре, называвшийся «имплувий», был предназначен для дождевой воды, падавшей в ненастье через отверстие в крыше, и обсажен анемонами и лилиями. В этом доме, видимо, особенно любили лилии, их было множество – и белых, и красных; обильно росли также сапфировые ирисы, чьи нежные лепестки серебрились от водяной пыли. Среди скрывавшего горшки с лилиями влажного мха и пышных листьев виднелись бронзовые статуэтки детей и водяных птиц. На одном углу бассейна отлитая также из бронзы лань склоняла позеленевшую от влаги голову к воде, как бы желая напиться. Пол в атрии был мозаичный, стены, частью облицованные красным мрамором, частью расписанные изображениями деревьев, рыб, птиц и грифов, радовали глаз гармоничной игрой кра-

---

[102] *Тримальхион* – персонаж из «Сатирикона» Петрония, тип самовлюбленного богача.

[103] Здравствуй! *(Лат.)*

[104] Об этом сообщает Тацит («Анналы», XIII, 32), не указывая, правда, в каком именно «суеверии» обвиняли Помпонию.

[105] *Криспинилла Кальвия* – богатая матрона, устраивавшая для Нерона оргии.

[106] *Унивира* – «одномужница» *(лат.)*

[107] *Норик* – римская провинция на территории совр. Австрии.

[108] *Атриенсис* – раб, смотритель дома, кастелян.

сок. Косяки дверей в боковые комнаты были украшены черепахой и даже слоновой костью, в простенках стояли статуи предков Авла. Везде ощущалось мирное довольство, чуждающееся роскоши, исполненное благородства и уверенности в себе.

Петроний, чье жилище было украшено гораздо более пышно и изысканно, не мог, однако, найти здесь ни одного предмета, который оскорблял бы его вкус; этой мыслью он тут же поделился с Виницием, но вот раб-веларий[109] отодвинул завесу, отделявшую атрий от таблиния[110], и в глубине дома показался спешивший к гостям Авл.

Это был человек, достигший вечерней поры жизни, но еще крепкий, с убеленной серебром головою и энергичным, быть может, несколько коротковатым лицом, в котором зато было что-то напоминавшее орла. Сейчас оно выражало удивление, даже беспокойство, вызванное неожиданным приходом Неронова друга, сотрапезника и наперсника.

Петроний был человек достаточно светский и наблюдательный, чтобы сразу это заметить, и после первых приветствий он со всем присущим ему красноречием и непринужденностью объяснил, что явился поблагодарить за заботу, которой окружили в этом доме сына его сестры, и что благодарность – единственный повод его прихода, на который он отважился, памятуя о давнем знакомстве с Авлом.

Авл со своей стороны уверил, что рад видеть такого гостя, а что до благодарности, то, мол, сам он преисполнен этого чувства, хотя о причине Петроний, наверно, и не догадывается.

Петроний и впрямь не догадывался. Напрасно он, подняв свои орехового цвета глаза к потолку, пытался припомнить хоть самую малую услугу, когда-либо им оказанную Авлу или кому другому. Ни одной не мог вспомнить, разве что ту, которую собирался оказать Виницию. О, разумеется, нечто подобное могло случиться помимо его воли, но только помимо воли.

– Я сердечно люблю и высоко ценю Веспасиана, – молвил Авл, – а ты спас ему жизнь, когда однажды, на свое несчастье, он заснул, слушая стихи императора.

– Напротив, то было его счастье, – возразил Петроний, – ибо он их не слышал, но не стану спорить, что оно могло закончиться несчастьем. Меднобородый так и рвался послать к нему центуриона с дружеским советом вскрыть себе вены.

– А ты, Петроний, тогда его высмеял.

– Да, верно, а точнее, наоборот, ему польстил: я сказал, что, ежели Орфей[111] умел песнею усыплять диких зверей, триумф Нерона не меньше, раз он сумел усыпить Веспасиана. Агенобарба можно порицать, но при условии, чтобы в малом порицании заключалась большая лесть. Наша всемилостивейшая Августа, Поппея, превосходно это понимает.

– К сожалению, такие ныне времена, – сказал Авл. – У меня недостает двух передних зубов, они выбиты камнем, брошенным рукою бритта, и с тех пор я говорю с присвистом, но в Британии я провел счастливейшие дни своей жизни…

– Потому что победоносные, – вставил Виниций.

Но тут Петроний, испугавшись, как бы старый полководец не пустился рассказывать о прошлых войнах, переменил тему. Вот, говорят, в окрестностях Пренесты[112] крестьяне нашли мертвого волчонка о двух головах, а во время недавней грозы был разрушен громом угол храма Луны – дело неслыханное в такую позднюю осеннюю пору. Некий Котта, сообщив ему об этом, прибавил, что жрецы храма предсказывают по сей причине падение города или, по крайней мере, разрушение какого-либо большого здания, что можно предотвратить лишь чрезвычайными жертвоприношениями.

---

[109] *Веларий* – раб, раздвигавший занавеси.

[110] *Таблиний* – галерея, крытая терраса.

[111] *Орфей* – в греческой мифологии знаменитый певец и музыкант, магическое искусство которого покоряло даже животных и растения.

[112] *Пренеста* – древний город Лация в 30 км к востоку от Рима.

Выслушав эту новость, Авл сказал, что, по его мнению, такими приметами пренебрегать нельзя. Боги, возможно, разгневаны неслыханными злодеяниями, и в этом нет ничего удивительного, стало быть, умилостивляющие жертвы вполне уместны.

– Твой-то дом, Плавтий, не слишком велик, – отвечал на это Петроний, – хотя живет в нем великий человек; мой же дом, конечно, слишком велик для такого плохого хозяина, как я, но он тоже мал. Если же дело идет о разрушении какого-то очень большого здания, вроде Проходного Дома[113], то стоит ли нам приносить жертвы, чтобы предотвратить его падение?

Плавтий на этот вопрос не ответил, и его осторожность слегка задела Петрония – хотя ему несвойственно было различать между злом и добром, он доносчиком никогда не был, и с ним можно было разговаривать вполне свободно. Снова переменив тему, он стал хвалить жилище Плавтия и заметный во всем убранстве хороший вкус.

– Дом этот старый, – сказал Плавтий, – и я ничего в нем не менял с той поры, как унаследовал его.

После того как отодвинули завесу, отделявшую атрий от таблиния, дом был виден во всю длину – через таблиний, через расположенный за ним перистиль[114] и следовавшую далее залу, или экус, взору открывался вид сада, как светлая картина в темной раме. Оттуда в атрий доносился веселый детский смех.

– Ах, доблестный вождь, – сказал Петроний, – разреши нам послушать вблизи этот искренний смех, который ныне так редок.

– С удовольствием, – ответил, вставая, Плавтий. – Там играют в мяч сын мой Авл и Лигия. Что ж до смеха, Петроний, мне кажется, у тебя вся жизнь проходит в нем.

– Жизнь достойна смеха, вот я и смеюсь, – отвечал Петроний, – но у вас тут смех звучит по-другому.

– Кроме того, – прибавил Виниций, – Петроний не то чтобы смеется целые дни, скорее он смеется целые ночи.

Так беседуя, они прошли по дому в сад, где Лигия и маленький Авл играли мячами, а предназначенные для этой игры рабы-сферисты подбирали мячи с земли и подавали играющим. Петроний окинул Лигию быстрым внимательным взглядом, маленький Авл, увидев Виниция, подбежал с ним поздороваться, а тот склонил голову, проходя мимо прелестной девушки, которая стояла с мячом в руке разрумянившаяся, слегка запыхавшаяся, с рассыпавшимися по плечам волосами.

Но так как в садовом триклинии, затененном плющом, виноградом и каприфолией, сидела Помпония Грецина, гости направились поздороваться с нею. Хотя Петроний прежде не бывал у Плавтия, жену его он знал – встречал ее у Антистии, дочери Рубеллия Плавта, и в доме Сенеки, и у Поллиона[115]. И все же ее грустное, но спокойное лицо, исполненная благородства осанка, движения, речь вызвали в нем чувство невольного удивления. Весь облик Помпонии настолько противоречил его понятиям о женщинах, что этот человек, славившийся в Риме своей испорченностью и самоуверенностью, питал к Помпонии известное уважение и даже иногда в ее присутствии терял привычную невозмутимость. Вот и теперь, принося ей благодарность за заботу о Виниции, он как бы нехотя то и дело вставлял обращение «домина»[116], которое не приходило ему на ум, когда он говорил, например, с Кальвией Криспиниллой, со Скрибонией, с Валерией, Солиной и другими знатными женщинами. После приветствий и изъявлений благодарности Петроний перешел к упрекам – он укорял Помпонию, что она так редко показывается на людях, ее не встретишь ни в

[113] *Проходной дом* – название дворца Нерона на Палатине и Эсквилине до пожара 64 г. (после восстановления – Золотой дворец); дворец этот отличался огромными размерами и походил скорее на небольшой город.

[114] *Перистиль* – внутренний двор, обнесенный колоннадой.

[115] Скорее всего, Анний Поллион, друг Клавдия Сенециона.

[116] *Домина* – госпожа *(лат.)*

цирке, ни в амфитеатре, на что она, положив руку на руки мужа, спокойно ему отвечала:

– Мы стареем и оба все больше ценим домашнюю тишину.

Петроний хотел что-то возразить, но Авл Плавтий, говоря, как всегда, с легким присвистом, дополнил слова жены:

– И чувствуем себя все более чужими среди людей, которые даже наших римских богов называют греческими именами.

– Боги с некоторых пор стали чисто риторическими фигурами, – небрежно возразил Петроний, – а поскольку риторике нас обучали греки, мне самому, например, легче произнести «Гера», чем «Юнона».

При этих словах он взглянул на Помпонию, как бы давая понять, что в ее присутствии никакое другое божество не могло прийти ему на память, а затем принялся оспаривать то, что она говорила о старости.

– О, конечно, люди быстро стареют, но это относится к тем, кто ведет совершенно иной образ жизни; кроме того, есть лица, о которых Сатурн словно бы забывает.

Это было сказано даже с долей искренности – Помпония Грецина, хотя и достигла послеполуденной поры жизни, сохранила необычайно свежий цвет лица, черты которого были мелки и изящны, и, несмотря на темную одежду, степенную осанку и грустный вид, производила временами впечатление совсем молодой женщины.

Между тем маленький Авл, подружившийся с Виницием, когда тот жил у них в доме, стал просить юношу поиграть в мяч. Вслед за мальчиком вошла в триклиний и Лигия. Под сенью плюща, с трепетными бликами света на лице, она теперь показалась Петронию красивее, чем при первом взгляде, и действительно напоминающей нимфу. Он встал, склонил перед нею голову и вместо обычных приветствий – а он ведь еще не сказал ей ни слова – обратился к ней со стихами, которыми Одиссей приветствовал Навсикаю[117]:

> Руки, богиня иль смертная дева, к тебе простираю,
> Если одна из богинь ты, владычиц пространного неба,
> То с Артемидою только, великою дочерью Зевса,
> Можешь сходна быть лица красотою и станом высоким;
> Если ж одна ты из смертных, под властью судьбины живущих,
> То несказанно блаженны отец твои и мать, и блаженны
> Братья твои…[118]

Даже Помпонии нравилась изысканная учтивость этого светского человека. Что ж до Лигии, та слушала его в смущении и, краснея, не смела поднять глаза. Но вот в уголках ее рта дрогнула шаловливая улыбка, на лице отразилась борьба между девической стыдливостью и желанием ответить – и, видимо, это желание победило: глянув в упор на Петрония, она ответила ему словами Навсикаи, произнеся их единым духом, будто заученный урок:

> Странник, конечно, твой род знаменит: ты, я вижу, разумен.

После чего, быстро повернувшись, упорхнула, точно спугнутая птица.

Теперь пришел черед Петрония удивляться – он не ожидал услышать Гомеровы стихи из уст девушки, которая, как он узнал от Виниция, была родом из варварского племени. Он вопросительно посмотрел на Помпонию, но та, не заметив его взгляда, ничего не сказала – в эту минуту она, улыбаясь, смотрела на сиявшее гордостью лицо Авла.

Гордость эту Авл и не пытался скрыть. Он был привязан к Лигии, как к родной дочери, и

[117] *Навсикая* – в греческой мифологии дочь царя феаков Алкиноя, оказавшая помощь Одиссею, выброшенному бурей на остров феаков.

[118] *Гомер*. Одиссея, VI, 149–155 (перев. В. Жуковского)

вдобавок, несмотря на свои древнеримские предрассудки, побуждавшие его метать громы и молнии против греческого влияния и его распространения в Риме, греческий язык был в его глазах признаком высшей светской утонченности. Сам Авл так и не овладел им, о чем втайне сокрушался, и теперь ему было приятно, что знатному гостю, да кстати и писателю, видимо считавшему его дом чуть ли не варварским, ответили на языке Гомера и его стихами.

– У нас в доме есть учитель-грек, – сказал он, обращаясь к Петронию, – он учит нашего мальчика, а девушка слушает. Она еще воробышек, но милый воробышек, и мы оба к ней привыкли.

Петроний смотрел сквозь переплетение плюща и каприфолии на игравшую в саду юную тройку. Виниций сбросил тогу и в одной тунике подбрасывал мяч, а стоявшая напротив него с поднятыми руками Лигия старалась мяч поймать. При первом взгляде девушка не произвела на Петрония большого впечатления. Она показалась ему слишком худощавой. Но, приглядевшись в триклинии поближе, он подумал, что, пожалуй, именно такой можно себе представить юную Аврору, – и как знаток женщин отметил в ней нечто необычное. Он все увидел и все оценил: и розовое, будто святящееся личико, и свежие, точно для поцелуя сложенные, губки, и голубые, как морская лазурь, глаза, и алебастровую белизну лба, и пышные темные волосы, отливающие на извивах янтарем или коринфской медью, и стройную шею, и божественную линию плеч, и всю ее гибкую, тонкую фигуру, юную и свежую, как майский день, как только что распустившийся цветок. В нем пробудился художник и почитатель красоты, который почувствовал, что к статуе этой девушки можно было бы сделать надпись «Весна». Тут ему вдруг вспомнилась Хрисотемида, и он едва не рассмеялся вслух. С золотистой пудрой на волосах, с подведенными черною краской бровями, она показалась ему такой безнадежно увядшей, какой-то пожелтевшей, осыпающейся розой. А ведь из-за Хрисотемиды ему завидовал весь Рим. Затем он вспомнил Поппею – да, всеми восхваляемая Поппея, подумал он, похожа на бездушную восковую маску. А в этой девушке с фигурой танагрской статуэтки[119] дышит не только весна – в ней живет лучезарная Психея, светясь в ее розовом теле, как огонь светится в лампе.

«Виниций прав, – подумал Петроний, – а моя Хрисотемида стара, стара… как Троя!»

И, оборотясь к Помпонии Грецине, он указал рукою в сад.

– Теперь я понимаю, домина, – сказал он, – что, имея такую пару, вы предпочитаете быть дома, чем на пиру в Палатинском дворце или в цирке.

– Да, верно, – ответила Помпония, устремив взгляд на играющих Авла и Лигию.

А старый полководец начал рассказывать историю девушки и то, что когда-то слышал от Ателия Гистра о живущем на сумрачном севере народе лигийцев.

В саду тем временем закончили играть в мяч, и все трое стали прохаживаться по песчаным дорожкам, выделяясь на темном фоне миртов и кипарисов наподобие трех белых статуй. Лигия держала маленького Авла за руку. Немного погуляв, они уселись на скамью у бассейна в центре сада. Маленький Авл тут же вскочил с места и стал пугать рыбок в прозрачной воде. Виниций же продолжал разговор, начатый во время прогулки.

– Было так, – говорил он тихо, с дрожью в голосе. – Едва я снял претексту, меня отправили в азиатский легион. В городе я почти не жил – не изведал ни жизни, ни любви. Я знаю наизусть кое-что из Анакреонта и Горация[120], но не сумел бы, как Петроний, читать стихи, когда ум от удивления немеет и неспособен найти собственных слов. Мальчиком ходил я в школу Музония, который говорил нам: счастье состоит в том, чтобы желать того, чего желают боги, – и потому зависит от нашей воли. Я же думаю, что есть другое, большее и более ценное счастье, которое не зависит от воли, ибо его может дать только любовь. Этого счастья сами боги ищут, вот и я, о Лигия, до сих пор не знавший любви, подражаю им и также ищу ту, которая пожелала бы дать мне счастье…

[119] Город *Танагра* (вост. часть Средней Греции) был известен как центр изготовления терракотовых статуэток, отличавшихся замечательной пластикой.

[120] *Анакреонт* (2-я пол. VI в. до н.э.) – греческий лирический поэт, для творчества которого характерны темы любви и веселого застолья. *Гораций Флакк Квинт* (65–8 до н.э.) – выдающийся римский поэт.

Он умолк, и некоторое время слышен был только легкий плеск воды, в которую маленький Авл кидал камешки, пугая рыб. Наконец Виниций снова заговорил голосом мягким и приглушенным:

– Ты, конечно, знаешь Тита, сына Веспасиана? Говорят, он, едва выйдя из детского возраста, так полюбил Беренику[121], что любовная тоска чуть не высосала из него жизнь. И я бы сумел так полюбить, о Лигия! Богатство, слава, власть – все это дым, суета! Богатый встретит еще более богатого, славного затмит чужая, еще более великая слава, могучего одолеет более могучий. Но разве сам император или даже кто-либо из богов может испытывать большее наслаждение, быть счастливее, чем простой смертный в тот миг, когда у его груди дышит дорогая ему грудь или когда он целует любимые уста? Ведь любовь делает нас богоравными, о Лигия!

А она слушала с тревогой, с изумлением, но также и с упоением, как слушала бы звуки греческой флейты или кифары. Порою ей чудилось, будто Виниций поет какую-то дивную песнь, которая льется ей в уши, приводит в волнение кровь и наполняет сердце томлением, страхом и непонятной радостью. И еще ей чудилось, будто он говорит то, что было и раньше в ней самой, только она не могла это выразить. Казалось, он будит в ней что-то до сих пор спавшее, и в эту минуту туманные сновидения обретают контуры, все более отчетливые, манящие и притягивающие.

Между тем солнце уже давно передвинулось за Тибр и стояло низко над Яникулом[122]. Багряный свет падал на неподвижные кипарисы – им был пронизан воздух. Лигия подняла свои голубые, словно пробудившиеся от сна глаза на Виниция, и вдруг, в вечерних этих лучах, склонившийся над нею с мольбой во взоре, он показался ей прекраснее всех людей, всех греческих и римских богов, чьи статуи она видала на фронтонах храмов. А он, нежно взяв ее руку повыше запястья, спрашивал:

– Неужто ты не догадываешься, почему я говорю тебе это?

– Нет! – шепнула она так тихо, что Виниций едва расслышал.

Но он ей не поверил и все сильнее притягивал к себе ее руку – еще немного, и он привлек бы девушку к своей груди, в которой сердце стучало как молот от желания, разбуженного этим прелестным существом, и обратился бы к ней с жгучими словами страсти, если бы на окаймленной миртами дорожке не показался старик Авл.

– Солнце заходит, – молвил он, приближаясь к ним, – берегитесь вечерней прохлады и не шутите с Либитиной![123]

– О нет, – возразил Виниций, – я даже тоги не надел и холода не чувствую.

– Глядите, уже только половина солнечного диска видна из-за холмов, – отвечал старый воин. – Вот если бы у нас был мягкий климат Сицилии!.. Там по вечерам народ собирается на рынках, чтобы хоровыми напевами прощаться с заходящим Фебом.

И, позабыв, что сам только что пугал Либитиной, Авл начал рассказывать о Сицилии, где у него были поместья и большое, дорогое его сердцу земледельческое хозяйство. Не преминул он также заметить, что у него не раз появлялась мысль переехать на Сицилию и там спокойно доживать век. Зимний иней уже не радует того, кому зима убелила голову. Пока еще листья с деревьев не осыпались и над городом милостиво улыбается ясное небо, но, когда виноград пожелтеет, когда в Альбанских горах выпадет снег и боги нашлют на Кампанию пронзительные ветры, тогда, кто знает, не переселится ли он всем домом в свое уютное сельское имение.

– Ты бы хотел покинуть Рим, Плавтий? – с внезапной тревогой спросил Виниций.

– Желание такое у меня есть давно, – ответил Авл, – жизнь там спокойней и безопасней.

И он снова принялся расхваливать свои сады, стада, окруженный зеленью дом и поросшие тмином и чабрецом холмы, над которыми жужжат рои пчел. Но Виниция эти буколические картины не трогали, он думал лишь о том, что может потерять Лигию, и глядел туда, где сидел Петро-

[121] *Береника* – сестра иудейского царя Ирода Агриппы II, возлюбленная Тита.

[122] *Яникул* – холм на правом берегу Тибра, за чертой города.

[123] *Либитина* – римская богиня мертвых, смерти и погребения.

ний, точно от него одного ждал спасения.

А Петроний, сидя рядом с Помпонией, любовался видом заходящего солнца, сада и стоявших у бассейна людей. Их белые одежды на темном фоне миртов золотились в закатных лучах. Западная часть неба окрасилась в пурпурные и фиолетовые тона, переливчатые, как опал. Остальная часть небосвода была сиреневого цвета. Черные силуэты кипарисов вырисовывались еще отчетливей, чем днем, – в людях, в деревьях, во всем саду воцарился вечерний покой.

Покой этот поразил Петрония, особенно покой в людях. От лиц Помпонии, старика Авла, мальчика и Лигии исходило нечто такое, чего он никогда не видел на тех лицах, которые его окружали каждый день, а вернее, каждую ночь, – в них были свет, умиротворенность и ясность, видимо, от той жизни, которую все они здесь вели. И с легким удивлением он подумал, что, оказывается, могут существовать красота и наслаждение, которых он, вечно ищущий красоты и наслаждения, не знает. Не в силах скрыть эту мысль, он сказал Помпонии:

– Я думаю о том, насколько отличается ваш мир от того мира, которым правит наш Нерон.

Она подняла свое небольшое лицо к закатному небу и ответила с удивительной простотой:

– Миром правит не Нерон, а бог.

Наступила минута молчания. Вблизи триклиния послышались шаги старого военачальника, Виниция, Лигии и маленького Авла, но, прежде чем они вошли, Петроний успел спросить:

– Значит, ты веришь в богов, Помпония?

– Верую в бога единого, справедливого и всемогущего, – отвечала жена Авла Плавтия.

Глава III

– Она верит в бога единого, всемогущего и справедливого, – повторил Петроний, уже снова сидя в носилках рядом с Виницием. – Если ее бог всемогущ, стало быть, он властен над жизнью и смертью; а если он справедлив, стало быть, ниспосылает смерть правильно. Так почему же Помпония носит траур по Юлии? Скорбя о Юлии, она ропщет на своего бога. Сие рассуждение мне надо бы повторить перед нашей меднобородой обезьяной – полагаю, что в диалектике я не слабее Сократа[124]. А что касается женщин, я согласен, что каждая из них обладает тремя или четырьмя душами, но ни у одной нет души разумной. Пусть себе Помпония рассуждает вместе с Сенекой или Корнутом[125] о том, что такое их великий Логос. Пусть себе призывают тени Ксенофана, Парменида, Зенона и Платона, которые в киммерийских пределах скучают[126], как чижи в клетке. Совсем о другом хотел я поговорить с нею и Плавтием. Клянусь священным лоном египетской Исиды! Но скажи я им так попросту, зачем мы явились, их добродетель, вероятно, зазвенела бы, как медный щит от удара палкой. И я не решился! Поверишь ли, Виниций, не решился! Павлины – красивые птицы, да кричат слишком пронзительно. Я убоялся крика. Но твой выбор я одобряю. Поистине «розовоперстая Аврора»[127]… И знаешь, что еще она мне напомнила? Весну! Причем не нашу здесь, в Италии, где лишь изредка увидишь яблоню в цвету и где оливковые рощи все такие

[124] *Сократ* (ок. 470–399 до н.э.) – греческий философ, учитель Платона. Открытый Сократом метод философствования заключался в разыскании истины с помощью диалога, беседы двух или нескольких собеседников. Диалектика в данном случае означает искусство вести философскую беседу.

[125] *Корнут Луций Анней* – философ-стоик, вольноотпущенник Сенеки, учитель поэтов Лукана и Персия; изгнан Нероном в 68 г.

[126] *Ксенофан* (ок. 570–478 до н.э.) из Колофона (город на западном побережье М. Азии), Парменид (ок. 540–480 до н.э.) и *Зенон* (ок. 490–430 до н.э.) (оба из г. Элеи в Южной Италии) – представители т. н. Элейской школы древнегреческой философии. Элеаты полагали, что истина достижима не чувственным путем, но лишь с помощью разума; их исходная установка состояла в утверждении тождества мыслимого и сущего. Киммерийские пределы – по представлениям древних, область на краю света, где в вечном мраке обитает сказочный народ киммерийцев.

[127] *«Розовоперстая Аврора»* – эпитет богини зари Эос (римской Авроры); часто встречается в поэмах Гомера.

же серые, как были зимою, но весну, которую я когда-то видел в Гельвеции[128], – юную, свежую, ярко-зеленую. Клянусь этой бледной Селеной[129], я тебе не удивляюсь, Марк, но ты должен знать, что влюбился в Диану[130] и что Авл и Помпония готовы тебя растерзать, как некогда собаки растерзали Актеона[131].

Не подымая головы, Виниций с минуту помолчал, потом заговорил прерывающимся от волнения голосом:

– Я хотел ее и раньше, но теперь хочу еще больше. Когда я взял ее руку, меня обожгло огнем. Она должна быть моей. Будь я Зевсом, я бы окутал ее облаком, как он окутал Ио, или дождем на нее пролился, как он – на Данаю.[132] Я хочу целовать ее уста до боли! Хочу слышать ее стон в моих объятиях. Хочу убить Авла и Помпонию, а ее похитить и отнести на руках в мой дом. Сегодня я не буду спать. Прикажу наказывать какого-нибудь раба и буду слушать его вопли.

– Успокойся, – молвил Петроний, – у тебя прихоти, достойные плотника из Субуры.

– Ах, мне все равно. Она должна быть моей. Я обратился к тебе за помощью, но если ты не найдешь выхода, я сам его найду. Авл считает Лигию дочерью, почему же мне смотреть на нее как на рабыню? Уж если нет иного пути, пусть она обовьет пряжей дверь моего дома, смажет ее волчьим жиром и сядет у моего очага как жена.

– Успокойся, безумный потомок консулов. Не для того тащили мы варваров на веревках за нашими колесницами, чтобы жениться на их дочерях. Бойся всего окончательного. Прибегни сперва к простым, пристойным способам и оставь себе и мне время на размышление. Мне тоже Хрисотемида казалась дочерью Юпитера, а все же я на ней не женился – как и Нерон не женился на Акте, хоть ее сделали дочерью царя Аттала[133]. Успокойся. Подумай о том, что, коль она захочет ради тебя покинуть дом Авла, они не вправе ее удерживать, и знай, что не только ты пылаешь, но и в ней Эрос зажег огонь. Я это видел, а мне ты можешь верить. Имей терпение. Все можно преодолеть, но сегодня я уже и так слишком много думал, это меня утомило. Зато обещаю тебе завтра еще поразмыслить о твоей любви, и верь – Петроний не будет Петронием, если не найдет какого-нибудь выхода.

Оба помолчали. Но вот Виниций заговорил уже спокойнее:

– Благодарю тебя, и пусть Фортуна будет к тебе благосклонна.

– А ты будь терпелив.

– Куда ты приказал себя отнести?

– К Хрисотемиде.

– Счастливец, ты владеешь той, которую любишь.

– Я? Знаешь, что меня еще забавляет в Хрисотемиде? То, что она изменяет мне с моим же вольноотпущенником, лютнистом Теоклом, и думает, что я этого не вижу. Когда-то я любил, а теперь меня забавляют ее ложь и глупость. Пойдем к ней вдвоем. Если она начнет тебя завлекать и

[128] *Гельвеция* – область на территории современной Швейцарии.

[129] *Селена* – в греческой мифологии олицетворение луны.

[130] *Диана* – римская богиня растительности, покровительница охоты, родов, олицетворение луны; тождественна греческой Артемиде.

[131] Согласно мифу, юный охотник Актеон, случайно увидевший омовение Артемиды, был превращен ею в оленя и разорван собственными собаками.

[132] В греческой мифологии *Ио* – дочь аргосского царя Инаха, возлюбленная Зевса, который явился к ней в виде облака. *Даная* – дочь аргосского царя Акрисия, также возлюбленная Зевса. Узнав от оракула, что ему суждена смерть от руки внука, Акрисий заключил дочь в подземелье, но Зевс проник туда в виде золотого дождя.

[133] *Акта* – наложница Нерона. Задумав вступить с ней в брак, Нерон заставил нескольких сенаторов ложно поклясться, будто она происходит из пергамского царского рода Атталидов. Сенкевич допускает неточность, называя Акту «дочерью Аттала», так как последний царь Пергама (государство на северо-западе М. Азии) по имени Аттал правил в 139–133 гг. до н.э., после чего Пергам стал римской провинцией.

чертить тебе на столе буквы омоченным в вине пальцем, помни, что я не ревнив.

И он приказал нести их обоих к Хрисотемиде.

В прихожей Петроний, положив руку на плечо Виницию, вдруг сказал:

– Постой, мне кажется, я нашел способ.

– Да вознаградят тебя все боги!

– Да, да, конечно! Думаю, способ будет верный. Слышишь, Марк?

– Внимаю тебе, моя Афина.

– Так вот, через несколько дней божественная Лигия будет в твоем доме вкушать зерна Деметры[134].

– Ты могущественнее императора! – с восторгом воскликнул Виниций.

Глава IV

И Петроний обещание выполнил.

После посещения Хрисотемиды он, правда, целый день проспал, однако вечером приказал нести себя на Палатин, где у него состоялась доверительная беседа с Нероном, вследствие которой на другой день перед домом Плавтия появился центурион во главе отряда из полутора десятка преторианцев.

Время было смутное, страшное. Подобные гости бывали обычно и вестниками смерти. Поэтому с минуты, когда центурион ударил молотком в дверь Авла и смотритель дома доложил, что воины уже в прихожей, смятение воцарилось в доме. Вся семья окружила старого полководца – никто не сомневался, что опасность прежде всего грозит ему. Обвив руками шею мужа, Помпония судорожно прильнула к нему, ее посиневшие губы, быстро шевелясь, шептали что-то невнятное; Лигия с бледным как полотно лицом целовала его руку, маленький Авл цеплялся за тогу, а из коридоров, из комнат, расположенных в верхнем этаже и предназначенных для прислуги, из людской, из бань, из сводчатых нижних помещений, словом, со всех концов дома сбегались рабы и рабыни. Слышались возгласы: «Heu, heu, me miserum!»[135], женщины плакали в голос, некоторые, покрыв головы платками, уже царапали себе щеки.

Один только старый воин, издавна привыкший смотреть смерти в глаза, оставался невозмутим; лишь его небольшое, с орлиным профилем лицо словно окаменело. Довольно скоро он, успокоив рыдавших и приказав челяди удалиться, промолвил:

– Пусти меня, Помпония. Если пришел мой конец, у нас еще будет время проститься.

И он слегка отстранил ее.

– Дай бог, чтобы твоя судьба, – сказала она, – была также и моею, о Авл!

После чего, упав на колени, принялась молиться с таким жаром, какой придает лишь страх за дорогое существо.

Авл вышел в атрий, где его ждал центурион. Это был немолодой воин Гай Хаста, бывший его подчиненный и товарищ по британским войнам.

– Здравствуй, Авл, – произнес центурион. – Я принес тебе приказ и привет от императора – вот таблицы и знак, что я явился от его имени.

– Благодарю императора за привет, а приказ исполню, – ответил Авл. – Здравствуй, Хаста, говори же, с каким поручением ты пришел.

– Авл Плавтий, императору стало известно, что в твоем доме живет дочь царя лигийцев, которую этот царь еще при жизни божественного Клавдия отдал во власть римлян в залог того, что лигийцы никогда не нарушат границ империи. Божественный Нерон благодарит тебя, Авл, за то, что ты столько лет давал ей приют у себя, но, не желая долее обременять твой дом, а также памятуя, что девушка, будучи заложницей, должна пребывать под опекой самого императора и сена-

[134] *Деметра* – греческая богиня плодородия и земледелия; тождественна римской Церере.

[135] «Увы, увы, мне несчастному!» *(Лат.)*

та, – приказывает тебе выдать ее мне.

Как бывалый воин и закаленный невзгодами муж, Авл не мог себе позволить, чтобы ответом на приказ были тщетные слова обиды или жалобы. Лишь складка гнева и скорби вдруг появилась на его челе. При виде этой складки дрожали некогда британские легионы – и даже в эту минуту на лице Хасты выразился испуг. Однако теперь Авл Плавтий, выслушав приказ, почувствовал свое бессилие. Поглядев на таблицы, на знак, он поднял взор на центуриона и уже спокойно сказал:

– Подожди, Хаста, в атрии, пока заложница будет тебе выдана.

После чего он пошел на другой конец дома, в залу, где Помпония Грецина, Лигия и маленький Авл ждали его в тревоге и страхе.

– Никому не грозит ни смерть, ни ссылка на далекие острова, – сказал Авл, – и все же посланец императора – вестник горя. Дело идет о тебе, Лигия.

– О Лигии? – с изумлением воскликнула Помпония.

– Да, о ней, – ответил Авл и, обращаясь к девушке, продолжал: – Ты, Лигия, воспитывалась у нас в доме как родное наше дитя, и мы с Помпонией оба любим тебя как дочь. Но ты знаешь, что ты не наша дочь. Ты заложница, которую твой народ дал Риму, и опека над тобою возложена на императора. Посему император забирает тебя из нашего дома.

Полководец говорил спокойно, но каким-то странным, необычным голосом. Лигия слушала его слова, недоуменно моргая, точно не понимая, о чем речь; Помпония побледнела; в дверях, выходивших из залы в коридор, снова начали появляться взволнованные лица рабынь.

– Воля императора должна быть исполнена, – молвил Авл.

– О Авл! – воскликнула Помпония, обеими руками прижимая к себе девушку, как бы порываясь защитить ее. – Лучше бы ей умереть!

А Лигия, припав к ее груди, повторяла: «Матушка! Матушка!», не в силах среди рыданий вымолвить что-либо иное.

На лице Авла снова появилось выражение гнева и скорби.

– Будь я один на свете, – угрюмо произнес он, – я не отдал бы ее живой, и родственники наши могли бы уже сегодня принести за нас жертвы Юпитеру Освободителю. Но я не вправе губить тебя и нашего мальчика, который, быть может, доживет до более счастливых времен. Сегодня же отправлюсь к императору и буду его умолять, чтобы он отменил свой приказ. Выслушает ли он меня, не знаю. А пока, Лигия, будь здорова и помни, что и я, и Помпония всегда благословляли тот день, когда ты села у нашего очага.

Промолвив это, он положил руку на голову девушки, стараясь сохранить спокойствие, но, когда Лигия обратила к нему залитое слезами лицо, а потом, схватив его руку, стала целовать ее, старик сказал голосом, в котором слышалась дрожь глубокого отцовского горя:

– Прощай, радость наша, свет очей наших!

И он поспешил обратно в атрий, дабы не позволить волнению, недостойному римлянина и военачальника, овладеть его душой.

Тем временем Помпония увела Лигию в опочивальню, кубикул, и принялась ее успокаивать, утешать, подбадривать, произнося слова, звучавшие странно в этом доме, где тут же, в соседней горнице, еще помещались ларарий[136] и очаг, на котором Авл Плавтий, соблюдая древний обычай, приносил жертвы домашним богам. Да, пробил час испытания. Вергиний некогда пронзил грудь собственной дочери, чтобы спасти ее от Аппия[137]; еще раньше Лукреция добровольно заплатила жизнью за свой позор[138]. – «Но мы с тобою, Лигия, знаем, почему мы не вправе наложить на себя

[136] *Ларарий* – домашнее святилище, где помещались изображения ларов.

[137] По сообщению Тита Ливия (III, 44–50), *Вергиний*, представитель древнего плебейского рода, был вынужден убить свою дочь, которую пожелал сделать наложницей Аппий Клавдий, римский государственный деятель и законодатель сер. V в. до н.э.

[138] По преданию, сын последнего римского царя Тарквиния Гордого обесчестил жену своего родственника Лукрецию, которая покончила самоубийством. Смерть Лукреции вызвала восстание, приведшее к падению царской власти в Риме (51–09 до н.э.).

руки!» Не вправе! Однако закон, которому обе они повинуются, закон более великий, более святой, позволяет все же защищаться от зла и позора, хотя бы и пришлось ради этого претерпеть муки, даже проститься с жизнью. Кто выходит чистым из обиталища порока, того заслуга ценнее. Такое обиталище земля наша, но, к счастью, жизнь – это всего лишь миг, а воскресение ждет нас на том свете, где царит уже не Нерон, но Милосердие, – там вместо горя будет радость, вместо слез – веселье.

Потом Помпония заговорила о себе. Да, она спокойна, но и в ее груди немало жгучих ран. Вот с глаз ее Авла еще не спала пелена, еще не пролился на него луч света. И сына она не властна воспитывать в истине. И когда она подумает, что так может продолжаться до конца ее дней и что может настать миг разлуки с ними, во стократ более страшной, непоправимой, чем эта, временная разлука, о которой обе они теперь сокрушаются, – она и вообразить не в силах, как сможет она без них быть счастлива даже на небесах. О, много ночей проплакала она, много ночей провела в молитвах о милости и помощи. Но горе свое она вверяет господу – и ждет, верит, надеется. А теперь, когда ее постиг новый удар, когда приказ изверга отымает у нее дорогое существо, ту, которую Авл назвал светом очей своих, она все равно уповает, ибо верит, что есть сила могущественнее власти Нероновой – есть милосердие, которое сильнее его злобы.

И она еще крепче прижала к груди головку девушки. Немного погодя Лигия склонилась к ней на колени и, спрятав лицо в складках ее пеплума[139], долго молчала, но, когда наконец выпрямилась, лицо ее было уже более спокойно.

– Мне жаль тебя, матушка, жаль отца и брата, но я знаю, что сопротивление бесполезно и только погубило бы вас всех. Зато я обещаю тебе, что слов твоих я в доме императора не забуду никогда.

Она еще раз обвила руками шею Помпонии и, когда обе они вышли в экус, стала прощаться с маленьким Плавтием, со старичком-греком, который был их учителем, со своей служанкой, что когда-то нянчила ее, и со всеми рабами.

Один из них, высокий, широкоплечий лигиец по имени Урс, который некогда вместе с матерью Лигии и с нею самой был отправлен в лагерь римлян, упал к ее ногам, а потом склонился перед Помпонией.

– О госпожа! – сказал он. – Позволь мне пойти с моей госпожой, чтобы служить ей и охранять ее во дворце императора.

– Ты слуга не наш, а Лигии, – возразила Помпония Грецина. – Но вряд ли тебя допустят во дворец. И каким образом сумеешь ты ее оберегать?

– Не знаю, госпожа, знаю лишь, что в моих руках железо крошится, как дерево…

Вошедший в эту минуту Авл Плавтий, узнав, о чем речь, не только не воспротивился желанию Урса, но заявил, что даже не имеет права его удерживать. Они ведь отдают Лигию как заложницу, которую требует к себе император, а потому обязаны отправить и ее свиту – та вместе с нею перейдет под его опеку. И он шепнул Помпонии, что под видом свиты может дать Лигии столько рабынь, сколько она, Помпония, сочтет уместным, – центурион не вправе отказаться взять их.

Для Лигии это было некоторым утешением, и Помпония тоже была рада, что сможет окружить воспитанницу прислугой по своему выбору. Кроме Урса, она назначила ей старушку-горничную, двух кипрских девушек, искусных причесывальщиц, и двух германок для банных услуг. Выбраны ею были только приверженцы нового учения – Урс тоже исповедовал его уже несколько лет, – так что Помпония могла положиться на преданность их всех и вдобавок тешить себя мыслью, что в императорском дворце будут посеяны семена истины.

Еще написала Помпония несколько слов, поручая Лигию покровительству Нероновой вольноотпущенницы Акты. Правда, на собраниях верующих в новое учение она Акту не встречала, но слышала от них, что та никогда не отказывает им в помощи и жадно читает послания Павла из Тарса. К тому же ей было известно, что молодая вольноотпущенница постоянно грустит, что она

[139] *Пеплум* – широкое платье из тонкой ткани.

резко отличается от всех прочих женщин в Нероновом доме и вообще среди домочадцев слывет добрым гением.

Хаста взялся собственноручно передать письмо Акте. Он также счел вполне естественным, что царская дочь должна иметь при себе свиту, и даже не подумал отказываться доставить всех во дворец – напротив, удивился малочисленности прислуги. Он лишь просил поторопиться, опасаясь получить выговор за медлительность в исполнении приказа. Настал час прощанья. Глаза Помпонии и Лигии снова наполнились слезами, Авл еще раз положил руку на головку девушки, и минуту спустя воины, за которыми, пытаясь защитить сестру и грозя кулачками центуриону, с плачем бежал маленький Авл, повели Лигию в императорский дворец.

Старый полководец между тем приказал приготовить себе носилки и, уединившись с Помпонией в смежной с экусом пинакотеке, сказал:

– Выслушай меня, Помпония. Я отправляюсь к императору, хотя думаю, что понапрасну, и, хотя слова Сенеки уже для него не имеют веса, побываю также и у Сенеки. Ныне обладают влиянием Софроний, Тигеллин, Петроний, Ватиний… Что ж до императора, он, возможно, в жизни не слыхал о народе лигийцев и потребовал выдать Лигию как заложницу лишь потому, что кто-то его подговорил, а кто мог это сделать, угадать нетрудно.

Тут Помпония вскинула на него глаза.

– Петроний?

– Разумеется.

Оба они помолчали, затем старый воин продолжил:

– Вот что значит пустить в дом кого-нибудь из этих людей без чести и совести. Да будет проклят тот миг, когда Виниций ступил на порог нашего дома! Это он привел к нам Петрония. Горе нашей Лигии – ведь им нужна вовсе не заложница, а наложница.

И от гнева, от бессильной ярости и боли за отнятое дитя в его речи еще сильнее слышался присвист. Прошло несколько минут, пока он овладел своими чувствами, и лишь по его судорожно сжимавшимся кулакам можно было судить, сколь тяжкой была эта внутренняя борьба.

– До сих пор я чтил богов, – молвил он, – но сейчас мне кажется, что не они правят миром, что существует только один злобный, бешеный изверг, имя которому Нерон.

– О Авл! – вздохнула Помпония. – Пред богом Нерон – только горсть смрадного праха.

Муж ее начал расхаживать широкими шагами по мозаичному полу пинакотеки. В его жизни было немало больших деяний, но больших несчастий не случалось, и к ним он не имел привычки. Старый воин был привязан к Лигии сильнее, чем сам думал, и теперь не мог примириться с мыслью, что ее потерял. Вдобавок он чувствовал себя униженным. Им распоряжалась сила, которую он презирал, в то же время понимая, что против этой силы он ничто.

Когда ж ему наконец удалось подавить гнев, мутивший его мысли, он сказал:

– Я думаю, что Петроний отнял ее у нас не для императора, он вряд ли захотел бы рассердить Поппею. Стало быть – либо для себя самого, либо для Виниция… Сегодня же я это выясню.

Вскоре носилки его уже двигались по направлению к Палатину. А Помпония, оставшись одна, пошла к маленькому Авлу, который все еще плакал по сестре и грозил императору.

Глава V

Авл не ошибся, полагая, что его не допустят пред лицо Нерона. Ему ответили, что император занят пеньем с лютнистом Терпносом и вообще не принимает тех, кого не вызвал сам. Это означало, что Авлу нечего пытаться и впредь увидеть Нерона. Зато Сенека, хотя был болен лихорадкой, принял старого военачальника с подобающим почетом; выслушав, однако, о чем тот хлопочет, Сенека горько усмехнулся.

– Могу тебе оказать лишь одну услугу, добрый мой Плавтий, – никогда не открывать императору, что мое сердце сочувствует твоему горю и что я желал бы тебе помочь; если бы у императора появилось на этот счет хоть малейшее подозрение, поверь, он никогда бы не отдал Лигию, не имея для этого никаких иных поводов, кроме желания поступить мне назло.

Сенека также не советовал обращаться ни к Тигеллину, ни к Ватинию, ни к Вителлию. Воз-

можно, с помощью денег от них удалось бы чего-то добиться, они, пожалуй, охотно бы сделали неприятное Петронию, чье влияние стараются подорвать, но уж наверняка не скрыли бы от императора, сколь дорога Лигия семье Плавтиев, и тогда император тем более не отдал бы ее. Тут старый философ заговорил с едкой иронией, которая относилась к нему самому:

– Ты молчал, Плавтий, молчал долгие годы, а император не любит тех, кто молчит! Как же это ты не восторгался его красотой, его добродетелью, его пеньем, декламацией, искусством править колесницей и его стихами! Как это ты не прославлял гибели Британника, не произнес похвальной речи в честь матереубийцы и не принес поздравления по поводу удушения Октавии! Да, не хватает тебе, Авл, благоразумия, которым мы, счастливо при дворе живущие, обладаем в достаточной степени.

С этими словами он взял висевший у его пояса кубок, зачерпнул воды в имилувии, освежил запекшиеся губы и продолжал:

– О, у Нерона благодарное сердце. Он любит тебя, потому что ты служил Риму и пронес славу его имени на край света, любит он и меня, потому что я был его наставником в юности. Поэтому я знаю, что моя вода не отравлена и, как видишь, пью ее спокойно. Вино в моем доме было бы менее безопасно, но эту воду, если тебя томит жажда, можешь пить смело. Она течет по водопроводам от самых Альбанских гор, и, чтобы ее отравить, пришлось бы отравить все бассейны в Риме. Как видишь, в этом мире еще можно жить без страха и наслаждаться спокойной старостью. Я, правда, болен, но хворает скорее душа, не тело.

И это была правда. Сенека не обладал той силой духа, которой отличались, например, Корнут или Тразея, – поэтому его жизнь была рядом уступок перед злодейством. Он сам это чувствовал, он сознавал, что последователь принципов Зенона из Китиона[140] должен идти иным путем, и страдал от этого даже больше, чем от страха смерти.

Но старый воин прервал его полное горечи рассуждение.

– Благородный Анней, – сказал Авл, – я знаю, как тебе отплатил император за заботу, которою ты окружал его юные годы. Однако виновник похищения нашего дитяти – Петроний. Скажи мне, как на него подействовать, кто может оказать на него влияние. Но ведь ты тоже мог бы применить тут все свое красноречие, на какое способно тебя вдохновить давнее твое дружеское чувство ко мне.

– Петроний и я, – отвечал Сенека, – мы из двух противоположных станов. Я не знаю, как на него подействовать, он не поддается ничьим влияниям. Возможно, что при всей своей порочности он все же лучше тех негодяев, которыми ныне окружает себя Нерон. Но доказывать ему, что он совершил дурной поступок, – пустая трата времени: Петроний давно лишился способности различать добро и зло. Надо доказать ему, что его поступок безобразен, тогда он устыдится. При встрече я скажу ему: «Твой поступок достоин вольноотпущенника». Если это не поможет, ничто не поможет.

– И на том благодарствуй, – молвил старый военачальник.

После чего он приказал нести себя к Виницию, которого застал за фехтованием со своим наставником в этом искусстве. Видя, как спокойно молодой человек упражняется в ловкости, когда совершено покушение на Лигию, Авл пришел в ярость, и, едва за учителем опустилась завеса, гнев его излился потоком горьких упреков и оскорблений. Но Виниций, узнав, что Лигию забрали из дому, так страшно побледнел, что Авл ни на мгновение не мог заподозрить его в соучастии. Лоб юноши покрылся каплями пота, кровь, отхлынувшая было к сердцу, снова горячей волною бросилась в лицо, глаза метали молнии, из уст сыпались беспорядочные вопросы. Ревность и бешенство бушевали в его груди. Ему казалось, что если Лигия переступит порог императорского дворца, она для него навеки потеряна, а когда Авл произнес имя Петрония, в мозгу молодого воина молнией блеснуло подозрение, что Петроний над ним подшутил и либо хотел, доставив императору Лигию, снискать новые милости, либо намеревался удержать ее для себя. Чтобы кто-то, увидав Лигию, не пожелал тотчас ею завладеть, этого Виниций не мог себе представить.

[140] *Зенон* (ок. 336–264 до н.э.) из Китиона (город на Кипре) – основатель стоической философской школы.

Горячность, наследственная черта в его роду, понесла его, как взыгравший конь, и отняла способность рассуждать.

– Авл, – сказал он прерывающимся голосом, – возвращайся домой и жди меня. Знай, что если бы Петроний был моим отцом, я и то отомстил бы ему за Лигию. Возвращайся домой и жди меня. Она не будет принадлежать ни Петронию, ни императору.

И, подняв сжатые кулаки к стоявшим на полках в атрии восковым маскам, Виниций вскричал:

– Клянусь этими посмертными масками! Прежде я убью ее и себя.

Он быстро повернулся и, еще раз бросив Авлу: «Жди меня», – выбежал как безумный из атрия, спеша к Петронию и расталкивая по дороге прохожих.

Авл воротился домой несколько утешенный. Если Петроний, полагал он, убедил императора забрать Лигию, с тем чтобы отдать ее Виницию, то Виниций приведет ее обратно в их дом. Немалым утешением была также мысль, что если Лигию и не удастся спасти, она будет отомщена, и смерть защитит ее от позора. Видя ярость Виниция и зная о присущей всему его роду вспыльчивости, Авл был уверен, что юноша исполнит все, что обещал. Он сам, хоть и любил Лигию, как родной отец, предпочел бы ее убить, чем отдать императору, и, когда бы не мысль о сыне, последнем потомке их рода, Авл совершил бы это, не колеблясь. Он был воином, о стоиках знал только понаслышке, но характером был не чужд им, и гордость его легче мирилась с мыслью о смерти, чем о позоре.

Он постарался успокоить Помпонию, вселить в нее немного бодрости, и оба стали ждать вестей от Виниция. Послышатся в атрии шаги кого-нибудь из рабов, и обоим уже казалось, что, может быть, это Виниций ведет к ним любимое их дитятко, и в глубине души они были готовы благословить молодую пару. Но время шло, а никаких вестей не было. Только вечером раздался стук молотка в ворота.

Минуту спустя появился раб и вручил Авлу письмо. Старый воин, обычно любивший показывать свое самообладание, взял табличку слегка дрожащей рукой и начал читать с такой поспешностью, точно речь шла о судьбе всего его дома.

Внезапно лицо его омрачилось, как будто упала на него тень быстро летящего облака.

– Читай, – сказал он, обращаясь к Помпонии.

Помпония взяла письмо и прочла следующее:

«Марк Виниций приветствует Авла Плавтия. То, что произошло, произошло по воле императора, пред которой вы должны склонить головы, как склоняем я и Петроний».

Наступило долгое молчание.

Глава VI

Петроний был дома. Его привратник не посмел остановить Виниция, влетевшего в атрий как вихрь; узнав, что хозяина надобно искать в библиотеке, он столь же стремительно помчался в библиотеку; Петроний что-то писал, Виниций выхватил у него из рук стиль[141], сломал его, швырнул на пол и, судорожно схватив Петрония за плечи, приблизив лицо к его лицу, спросил хриплым голосом:

– Что ты с нею сделал? Где она?

Но тут случилось нечто удивительное. Утонченный, изнеженный Петроний сжал впившуюся ему в плечо руку молодого атлета, оторвал ее от себя, затем оторвал другую и, держа их обе в своей одной с силою железных клещей, промолвил:

– Я только по утрам размазня, а вечером ко мне возвращается прежняя сила. А ну-ка, попробуй вырваться. Гимнастике тебя, видно, обучал ткач, а манерам – кузнец.

На его лице не было и тени гнева, лишь в глазах мелькнула искорка былой отваги и энергии.

[141] *Стиль* – палочка с одним острым концом для писания по навощенной дощечке и другим, тупым, для стирания написанного.

Минута, и он выпустил руки Виниция, который стоял униженный, сконфуженный и разъяренный.

– Рука у тебя стальная, – сказал Виниций, – но, клянусь всеми богами ада, если ты меня предал, я всажу тебе нож в горло, пусть даже в палатах императора.

– Поговорим спокойно, – отвечал ему Петроний. – Как видишь, сталь сильней железа – хотя из одной твоей руки можно сделать две моих, мне тебя нечего бояться. Но я огорчен твоей грубостью, и, если бы меня могла еще удивлять неблагодарность человеческая, я удивился бы твоей неблагодарности.

– Где Лигия?

– В лупанарии[142], сиречь в доме императора.

– Петроний!

– Успокойся, сядь. Я высказал императору две просьбы, которые он обещал исполнить: во-первых, извлечь Лигию из дома Авла и, во-вторых, отдать ее тебе. Нет ли у тебя там ножа в складках тоги? Может быть, проткнешь меня? Но я советую тебе подождать с этим день-другой, ведь тебя заточили бы в тюрьму, а Лигия тем временем скучала бы в твоем доме.

Виниций молча с изумлением смотрел на Петрония и наконец произнес:

– Прости меня. Я ее люблю, и любовь помутила мой разум.

– Восхищайся мною, Марк. Третьего дня я сказал императору следующее: «Мой племянник Виниций так влюбился в некую тщедушную девицу, которая воспитывается у Авла, что его дом от жарких вздохов уподобился паровой бане. Ни ты, император, сказал я, ни я, знающие, что такое истинная красота, не дали бы за нее и тысячи сестерциев, но этот мальчишка всегда был глуп, как треножник, а теперь поглупел окончательно».

– Петроний!

– Если ты не понимаешь, что я сказал это с целью уберечь Лигию от опасности, я готов поверить, что сказал ему правду. Я убедил Меднобородого, что такой эстет, как он, не может считать подобную девушку красавицей, и Нерон, который пока не решается смотреть на вещи иначе, чем моими глазами, не найдет в ней и следа красоты, а не найдя, не пожелает ею завладеть. Надо ведь было обезопасить обезьяну, посадить ее на веревочку. Лигию теперь будет оценивать не он, а Поппея, а уж та, бесспорно, постарается побыстрее спровадить ее из дворца. Я же, будто нехотя, говорил Медной Бороде: «Возьми Лигию у Авла и отдай ее Виницию! Ты имеешь на это право, потому что она заложница, а заодно досадишь Авлу». И он согласился. У него не было повода не согласиться, тем паче что я указал ему способ досадить порядочным людям. Тебя назначат государственным стражем заложницы, отдадут в твое распоряжение это лигийское сокровище, а ты как союзник доблестных лигийцев и вдобавок верный слуга императора не только не растратишь сокровище, но постараешься его приумножить. Для приличия император подержит ее несколько дней у себя во дворце, а потом отошлет в твой дом, ты счастливец!

– Это правда? Ей и в самом деле ничего не грозит во дворце?

– Если бы ей пришлось там жить постоянно, Поппея поговорила бы о ней с Лукустой[143]. Но в эти несколько дней ей ничего не грозит. Во дворце императора обитает десять тысяч человек. Нерон, возможно, и не увидит ее, тем более что он все доверил мне – недавно у меня даже был центурион с известием, что он отвел девушку во дворец и передал ее Акте. Акта – добрая душа, поэтому я и приказал поручить девушку ей. Помпония Грецина, кажется, такого же мнения об Акте, даже написала ей. Завтра у Нерона пир. Я выпросил для тебя местечко рядом с Лигией.

– Прости мне, Гай, мою горячность, – сказал Виниций. – Я думал, ты приказал ее забрать для себя или для императора.

– Горячность я могу тебе простить, но куда труднее простить эти жесты мужлана, бесцеремонные крики и тон игроков в мору. Мне это не по душе, Марк, предупреждаю тебя. Знай, сводником при императоре служит Тигеллин, и еще знай, что пожелай я взять девушку себе, я бы сей-

[142] *Лупанарий* – публичный дом.

[143] Т.е. попыталась бы отравить. *Лукуста* (Локуста) – знаменитая смесительница ядов, с помощью которой были отравлены Клавдий и Британник.

час, глядя прямо тебе в глаза, сказал бы следующее: «Виниций, я забираю у тебя Лигию и буду держать ее, пока она мне не наскучит».

Говоря это, он глядел своими глазами цвета орехового дерева в глаза Винициюю, глядел холодно и надменно.

– Я виноват, – сказал молодой человек, вконец смущенный. – Ты добр, ты благороден, и я благодарю тебя от всего сердца. Позволь только задать еще один вопрос. Почему ты не приказал отвести Лигию прямо в мой дом?

– Потому что император хочет соблюсти приличия. В Риме будут об этом говорить, а так как Лигию мы забираем в качестве заложницы, то, пока будут идти разговоры, она поживет во дворце императора. Потом ее отошлют к тебе без шума, и делу конец. Меднобородый – трусливый пес. Он знает, что власти его нет пределов, и все же старается пристойно обставить каждый свой шаг. Ну как, остыл ты уже настолько, чтобы немного пофилософствовать? У меня не раз появлялась мысль – почему злодейство, даже у таких могущественных особ, как император, и, как он, уверенное в своей безнаказанности, всегда тщится соблюсти видимость справедливости и добродетели? К чему эти усилия? Убить брата, мать и жену – это, по-моему, деяния, достойные азиатского царька, а не римского императора; но, случись такое со мной, я бы не писал сенату оправдательных писем. А Нерон пишет – Нерон заботится о приличиях, потому что Нерон трус. Но вот Тиберий же не был трусом и тоже старался оправдаться в каждом своем поступке. Почему это происходит? Что за удивительная вынужденная дань, приносимая злом добродетели? И знаешь, что я думаю? Происходит такое, по-моему, оттого, что поступки эти безобразны, а добродетель прекрасна. Ergo[144], истинный эстет – тем самым добродетельный человек. Ergo, я – добродетельный человек. Сегодня я должен совершить возлияние теням Протагора, Продика и Горгия[145]. Оказывается, и софисты могут на что-то сгодиться. Но слушай, я продолжаю. Я отнял Лигию у Авла, чтобы отдать ее тебе. Это так. Лисипп создал бы из вас дивную скульптурную группу. Вы оба красивы, но ведь и мой поступок красив, а раз он красив, он не может быть дурным. Гляди, Марк, вот перед тобою сидит сама добродетель, воплощенная в Петронии! Живи теперь Аристид[146], он должен был бы прийти ко мне и наградить меня сотней мин[147] за краткую лекцию о добродетели.

Однако Виниций, как человек, которого действительность волнует больше лекций о добродетели, сказал:

– Завтра я увижу Лигию, а потом она будет жить в моем доме, и я буду видеть ее каждый день, всегда, до самой смерти.

– У тебя будет Лигия, а у меня – Авл, отныне мой злейший враг. Он призовет на мою голову месть всех богов подземного царства. И хотя бы этот дурень загодя взял урок декламации! Куда там! Он будет браниться так, как бранил моих клиентов бывший привратник, которого я, впрочем, за это отослал в деревню в эргастул[148].

– Авл был у меня. Я обещал сообщить ему, что узнаю о Лигии.

– Напиши ему, что воля божественного императора высший закон и что твой первенец будет наречен Авлом. Надо же чем-то утешить старика. Я готов просить Меднобородого, чтобы он пригласил Авла на завтрашний пир. Пусть бы старик увидел тебя в триклинии рядом с Лигией.

---

[144] Следовательно *(лат.)*

[145] *Протагор* из Абдер (город в Северной Греции), *Продик* с Кеоса (остров у восточного побережья Средней Греции) и *Горгий* из Леонтины (город в Южной Италии) (все – V в. до н.э.) – основатели софистики. Учение софистов провозглашало абсолютный ценностный релятивизм; в своих рассуждениях софисты часто прибегали к логическим парадоксам, «софизмам».

[146] *Аристид* (ок. 540–468 до н.э.) – афинский государственный деятель; вошел в историю как образец честности и неподкупности.

[147] *Мина* – греческая денежная единица (25–30 руб. золотом).

[148] *Эргастул* – каторжная тюрьма.

– Не делай этого, – возразил Виниций. – Мне все-таки жаль их, особенно Помпонию.

И он сел писать то письмо, которое отняло у старого полководца последнюю надежду.

Глава VII

Перед Актой, бывшей любовницей Нерона, когда-то склонялись знатнейшие головы Рима, но даже и тогда она не желала вмешиваться в публичную жизнь, и если порою пользовалась своим влиянием на молодого государя, то лишь для просьб о милосердии. Тихая, скромная, она снискала благодарность многих и не сделала своим врагом никого. Даже Октавия не сумела ее возненавидеть. Завистники не почитали ее опасной. Было известно, что Акта продолжает любить Нерона любовью печальной и страдальческой, которая питается уже не надеждой, но лишь воспоминаниями о тех днях, когда Нерон был не только более молодым и любящим, но был лучше. Все знали, что к этим воспоминаньям прикованы ее душа и помыслы, но что она ничего уже не ждет, а так как можно было не опасаться, что император к ней вернется, на Акту смотрели как на вполне безобидное существо и не трогали ее. Для Поппеи она была лишь смиренной прислужницей, настолько безвредной, что она даже не требовала удалить Акту из дворца.

Но так как император когда-то ее любил и расстался с нею без оскорблений, спокойно, почти по-дружески, Акта продолжала пользоваться уважением. Отпустив ее на волю, Нерон дал ей покои во дворце с отдельным кубикулом и несколькими служанками. В прежние времена Паллант и Нарцисс, вольноотпущенники Клавдия, не только садились с Клавдием за трапезу, но как могущественные его министры занимали почетные места, и Акту тоже иногда приглашали к императорскому столу. Делали это, возможно, еще и потому, что ее красота составляла истинное украшение пира. Впрочем, в выборе сотрапезников император давно уже перестал считаться с какими бы то ни было приличиями. За его столом сидела пестрая смесь людей всех сословий и занятий. Были среди них сенаторы, но главным образом такие, которые заодно могли быть шутами. Были старые и молодые патриции, жаждавшие забав, роскоши и наслаждений. Бывали там женщины, носившие громкие имена, но не стыдившиеся надевать вечером белокурые парики и отправляться на поиски приключений в темных закоулках города. Бывали и высокие сановники, и жрецы, которые за полными чашами охотно насмехались над своими богами, а наряду с ними толпился всяческий сброд – певцы, мимы, музыканты, танцовщики и танцовщицы, поэты, которые, декламируя стихи, думали о сестерциях, что, возможно, им перепадут за восхваления стихов императора, голодные философы, провожавшие жадными взглядами подаваемые на стол блюда, наконец, прославленные возницы, фокусники, чудотворцы, краснобаи, остряки да всевозможные, модой или глупостью людской вознесенные знаменитости-однодневки, проходимцы, среди которых было немало прятавших под длинными волосами продырявленные уши рабов.

Более знаменитые прямо садились к столу, прочие развлекали пирующих во время еды, поджидая минуту, когда слуги разрешат им наброситься на остатки еды и напитков. Подобных гостей доставляли Тигеллин, Ватиний и Вителлий, и частенько им приходилось позаботиться и о приличествующей императорским палатам одежде для всего этого сброда – впрочем, императору такое общество нравилось, в нем он чувствовал себя вполне непринужденно. Придворная роскошь все золотила, всему придавала блеск. Великие и ничтожные, потомки знатных родов и голытьба с римских мостовых, вдохновенные артисты и жалкие бездарности, все стремились во дворец, чтобы насладиться зрелищем ослепительной роскоши, превосходящей воображение человеческое, и приблизиться к подателю всяческих милостей, богатств и благ, прихоть которого могла, конечно, унизить любого, но также могла безмерно вознести.

В тот день предстояло и Лигии присутствовать на таком пиру. Страх, робость и понятная при столь резкой перемене ошеломленность противостояли в ее душе желанию воспротивиться насилию. Она боялась императора, боялась людей, боялась дворца, шум которого доводил ее до дурноты, боялась пиров, о бесстыдстве которых наслушалась от Авла, от Помпонии Грецины и их друзей. Несмотря на молодость, Лигия многое понимала – впрочем, в те времена отголоски окружающего зла доходили даже до детских ушей. И Лигия знала – в этом дворце ее ждет гибель, о чем в миг расставанья предупреждала ее, впрочем, и Помпония. Но юное сердце девушки, не-

знакомое с развратом и глубоко усвоившее уроки, преподанные названой матерью, было готово защищаться от грозящей гибели: Лигия давала в этом обет матери, себе, а также тому божественному учителю, в которого она не только верила, но которого полюбила своим полудетским сердцем за сладость его учения, за муки его кончины и за славу воскресения из мертвых.

Теперь она была к тому же уверена, что ни Авл, ни Помпония Грецина не будут в ответе за ее поступки, и она раздумывала, не лучше ли воспротивиться и не пойти на пир. Страх и тревога владели ее душою, но они не могли заглушить все возраставшую жажду выказать мужество, стойкость, пойти на муки и на смерть. Ведь так учил божественный учитель. Ведь сам он явил тому пример. Ведь Помпония рассказывала ей, что наиболее ревностные приверженцы его учения всею душой жаждут такого испытания, молят о нем. И Лигией, когда она еще жила в доме Авла, порою овладевало такое желание. Она видела себя мученицей, видела раны на своих ладонях и ступнях, видела, как ее, с лицом белее снега, сияющим неземною красотой, уносят такие же белоснежные ангелы в голубое небо, и воображение ее упивалось этими грезами. Тут много было детской мечтательности, но была также доля самолюбования, за что ее корила Помпония. А теперь, когда сопротивление воле императора могло навлечь жестокую кару и когда грезившиеся ей муки могли стать действительностью, к упоительным ее мечтам, к этим страстным стремленьям примешивалось, наряду со страхом, известное любопытство – как же ее покарают, какие муки для нее придумают.

Подобные мысли смущали во многом еще детское сердце Лигии. Но Акта, узнав о них, взглянула на нее с таким удивлением, точно девушка говорит в лихорадочном бреду. Противиться воле императора? С первой же минуты навлечь его гнев? Для этого надо быть сущим ребенком, не ведающим, что он лепечет. Да ведь из слов Лигии ясно, что она не заложница, а просто забытая своим народом девушка. Ее не охраняет никакой закон, а если бы и охранял, император достаточно могуществен, чтобы в минуту гнева растоптать любой закон. Императору было угодно взять ее, и отныне он ею распоряжается. Отныне она в его власти, выше которой нет на свете ничего.

– Да, конечно, – говорила Акта, – я тоже читала послания Павла из Тарса и знаю, что в небесах, над землею, есть бог и есть сын божий, который воскрес из мертвых, но здесь, на земле, есть только император. Помни об этом, Лигия. Знаю я также, что твое учение не дозволяет тебе быть тем, чем была я, и что вам, как и стоикам, о которых мне рассказывал Эпиктет[149], когда приходится выбирать между позором и смертью, дозволено избрать лишь смерть. Но откуда ты можешь знать, что тебя ждет смерть, а не позор? Разве не слышала ты о дочери Сеяна[150], которая была еще девочкой и по приказу Тиберия для соблюдения закона, запрещающего карать смертью девственниц, должна была перед своей гибелью подвергнуться бесчестью? О Лигия, Лигия, бойся прогневить императора! Когда настанет решающий миг, когда тебе придется выбирать между позором и смертью, ты поступишь так, как велит тебе твоя истина, но не ищи гибели добровольно и не раздражай по пустячному поводу земного и притом жестокого бога.

Акта говорила с чувством глубокой жалости, даже со страстью, – немного близорукая, она приблизила свое нежное лицо к лицу Лигии, как бы приглядываясь, какое впечатление производят ее слова.

– Какая ты добрая, Акта! – сказала Лигия, с детской доверчивостью обняв ее.

Польщенная похвалой и доверием, Акта прижала девушку к своей груди, а затем, высвободясь из ее объятия, сказала:

– Счастье мое миновало, и радость миновала, но злой я не стала.

Быстро прохаживаясь по комнате, она заговорила как бы сама с собою, и отчаяние слышалось в ее голосе:

– Нет, он не был злым. Он сам тогда считал себя добрым и хотел быть добрым. Я это знаю

[149] *Эпиктет* (ок. 50–130) – популярный философ-стоик, сначала раб, затем вольноотпущенник. Упоминание его в данном контексте является анахронизмом.

[150] *Элий Сеян*, фаворит императора Тиберия, был изобличен в заговоре и казнен (в 31 г.). Обстоятельства гибели Сеяна и его детей сообщает Тацит («Анналы», V, 9).

лучше, чем кто-либо. Все пришло потом… когда он перестал любить… Это другие сделали его таким, какой он теперь, да, другие – и Поппея!

Тут на ее ресницах блеснули слезы. Лигия водила вслед за ней своими голубыми глазами и наконец спросила:

– Ты о нем тоскуешь, Акта?

– Да, тоскую, – глухо ответила гречанка.

И снова принялась ходить по комнате, заломив руки, словно от боли, и на лице ее была скорбь.

– Ты его еще любишь, Акта? – робко спросила Лигия.

– Люблю… – И минуту спустя прибавила: – Ведь его никто, кроме меня, не любит.

Наступило молчание. Акта, видимо, старалась обрести нарушенное воспоминаниями спокойствие и, когда на ее лицо вернулось обычное выражение тихой грусти, сказала:

– Поговорим о тебе, Лигия. Ты и не думай противиться императору. Это было бы безумием. А впрочем, ты не тревожься. Я хорошо знаю здешние нравы и полагаю, что со стороны императора тебе ничто не грозит. Если бы Нерон приказал тебя похитить для себя самого, тебя бы не привели на Палатин. Тут повелевает Поппея, и с тех пор как она родила дочь, Нерон еще больше подпал под ее власть. Да, Нерон приказал, чтобы ты была на пиру, но он же до сих пор тебя не видел, не спрашивал о тебе, значит, он тобою не интересуется. Возможно, он забрал тебя у Авла и Помпонии только оттого, что зол на них. Петроний написал мне, чтобы я тебя опекала, но, как ты знаешь, писала мне и Помпония – так может быть, они меж собой договорились. Может быть, он это сделал по ее просьбе. Если так, если он, по просьбе Помпонии, будет заботиться о тебе, тогда тебе ничто не угрожает и, возможно, что Нерон, склонясь на его уговоры, отошлет тебя обратно в дом Авла. Я не знаю, очень любит ли Нерон Петрония, но знаю, что император редко решается противиться его мнению.

– Ах, милая Акта, – отвечала Лигия, – Петроний был у нас перед тем, как меня забрали, и матушка моя была уверена, что Нерон потребовал выдать меня по его наущению.

– Это было бы печально, – сказала Акта. Но, минуту подумав, снова продолжала в утешающем тоне: – А может быть, Петроний проговорился перед Нероном как-нибудь за ужином, что видел у Авла заложницу лигийцев, и Нерон, ревниво оберегающий свою власть, потребовал тебя потому, что заложники принадлежат императору. Вдобавок он Авла и Помпонию терпеть не может. Нет, я не думаю, чтобы Петроний, если бы захотел отнять тебя у Авла, прибег бы к такому способу. Не знаю, можно ли сказать, что Петроний лучше тех, кто окружает императора, но он другой. А может быть, ты найдешь и кроме него кого-нибудь, кто пожелает за тебя заступиться. Не случалось ли тебе в доме Авла познакомиться с кем-то из приближенных императора?

– Я там видела Веспасиана и Тита.

– Император их не любит.

– И Сенеку.

– Стоит Сенеке дать совет, чтобы Нерон поступил наоборот.

Нежное личико Лигии начало заливаться румянцем.

– И Виниция.

– Я его не знаю.

– Это родственник Петрония, недавно вернулся из Армении.

– Ты полагаешь, Нерон будет рад его видеть?

– Виниция все любят.

– И он захочет заступиться за тебя?

– Да.

– Так на пиру ты, наверно, его увидишь, – ласково улыбаясь, сказала Акта. – А быть там ты должна прежде всего потому, что иначе нельзя. Только такое дитя, как ты, могло рассудить по-другому. И потом, если ты хочешь вернуться в дом Авла, на пиру тебе может представиться возможность попросить Петрония и Виниция, чтобы они своим влиянием добились для тебя разрешения вернуться. Будь они сейчас здесь, они оба сказали бы тебе то же, что я, – что попытка сопротивления была бы безумием и гибелью. Император, конечно, может и не заметить твоего

отсутствия, но если бы заметил и подумал, что ты посмела противиться его воле, спасения для тебя уже не было бы. Но пойдем, Лигия. Слышишь, как шумно стало во дворце? Солнце уже опускается, скоро начнут собираться гости.

– Ты права, Акта, – отвечала Лигия, – и я послушаюсь твоего совета.

Что в этом решении было от желания увидеть Виниция и Петрония, а что от женского любопытства, от стремления хоть разок поглядеть на такой пир, на императора, на его двор, на знаменитую Поппею и других красавиц, на всю эту неслыханную роскошь, о которой рассказывали в Риме всякие небылицы, – сама Лигия вряд ли могла бы отдать себе отчет. Но и доводы Акты были разумны, девушка это хорошо понимала. Надо было идти, и, когда необходимость и здравый смысл подкрепили затаившийся в ее душе соблазн, Лигия перестала колебаться.

Акта провела ее в свой собственный унктории, чтобы умастить и нарядить – рабынь в императорском доме было достаточно, и у самой Акты не было недостатка в прислужницах; однако из сочувствия девушке, чья красота и невинность тронули ее сердце, Акта решила сама ее одеть, и тут сразу стало ясно, что в молодой гречанке, при всей ее грусти и увлечении посланиями Павла из Тарса, много еще осталось от прежней эллинской души, которой красота тела говорит больше, чем что-либо иное на земле. Раздев Лигию донага, при виде ее гибкого и в то же время мягко округлого стана, словно изваянного из жемчужно-белой массы и роз. Акта не могла сдержать восхищенного возгласа и, отойдя на несколько шагов, стала любоваться этой несравненной, полной весеннего очарования красотой.

– Лигия, – воскликнула она наконец, – да ты во сто раз прекраснее Поппеи!

Но девушка, воспитанная в строгом доме Помпонии, где соблюдалась скромность даже тогда, когда женщины были одни, стояла неподвижно – прекрасная, как дивный сон, исполненная гармонии, как творение Праксителя[151] или как чудная песня, но смущенная, порозовевшая от стыда, стояла, сдвинув колени, прикрывая руками грудь и опустив веки. Но вот Лигия внезапно подняла руки, выдернула шпильки, и в одно мгновение, слегка тряхнув головою, прикрылась волосами, как плащом.

– О, какие у тебя волосы! – сказала Акта, подойдя к ней и касаясь ее темных локонов. – Я не стану посыпать их золотой пудрой, они сами на изгибах светятся золотом. Разве кое-где добавлю золотистого блеска, но слегка, чуть-чуть, как если бы их озарял луч солнца. Прекрасен, наверно, ваш край, где родятся такие девушки.

– Я его не помню, – ответила Лигия. – Только Урс мне рассказывал, что у нас все леса, леса да леса.

– А в лесах цветут цветы, – приговаривала Акта, окуная руки в вазу с вербеновым настоем и увлажняя им волосы Лигии.

Покончив с этим делом, Акта принялась умащать ее тело благовонными аравийскими маслами, а затем надела на нее мягкую золотистую тунику без рукавов, поверх которой полагалось надеть белоснежный пеплум. Но прежде надо было причесать Лигию, и Акта, окутав ее широким одеянием, называвшимся синтесис, и усадив в кресло, отдала девушку на время в руки рабынь, чтобы самой издали наблюдать за их работой. В это же время две рабыни стали надевать на ножки Лигии белые, вышитые пурпуром туфли и прикреплять их, обвязывая крест-накрест золотой тесьмой алебастровые лодыжки. Когда наконец прическа была готова, пеплум на Лигии уложили красивыми легкими складками, после чего Акта застегнула на ее шее жемчужное ожерелье и, слегка тронув ее локоны золотой пудрой, приказала наряжать себя, не сводя с Лигии восхищенных глаз.

Акту одели быстро, а так как перед главными воротами уже начали появляться первые носилки, обе пошли в боковой криптопортик[152], откуда были видны главные ворота, внутренние галереи и дворцовая площадь, окаймленная колоннадой из нумидийского мрамора.

Все больше и больше гостей проходило под высоким сводом ворот, над которыми велико-

[151] *Праксителъ* (сер. IV в. до н.э.) – выдающийся греческий скульптор; его произведения отличаются великолепной передачей пластики движения.

[152] *Криптопортик* – крытая галерея.

лепная квадрига Лисиппа, казалось, увлекала ввысь Аполлона и Диану. Лигия была поражена зрелищем, какого она в скромном доме Авла не могла даже вообразить. Был час заката, последние лучи солнца ложились на желтый нумидийский мрамор колонн, который в их свете отливал золотистыми и розоватыми тонами. Между колоннами, мимо белых статуй Данаид[153] и статуй богов и героев, двигались группы мужчин и женщин, похожих на эти статуи, ибо все они были в тогах, пеплумах и столах, красиво ниспадавших до земли мягкими складками, на которых угасали лучи заходящего солнца. Гигант Геркулес, чья голова еще была освещена, а торс уже погрузился в тень колонны, взирал с высоты на толпу. Акта указывала Лигии сенаторов в тогах с широкою каймой, в цветных туниках и с полумесяцами на обуви, и всадников, и знаменитых актеров, и римских дам, одетых то на римский лад, то на греческий, то в фантастические восточные наряды, с прическами в виде башен и пирамид, а у иных волосы были зачесаны гладко, как у статуй богинь, и украшены цветами. Многих мужчин и женщин Акта называла по именам, прибавляя короткие и порой ужасные истории, наполнявшие Лигию недоумением, изумлением и страхом. Странен был ей этот мир, чьей красотою упивались ее глаза, но чьих контрастов не мог постигнуть ее девичий ум. В звездах на небе, в рядах неподвижных колонн, уходящих куда-то в глубину, и в этих, подобных статуям, людях было удивительное спокойствие; казалось, среди мраморных этих громад должны обитать чуждые забот и тревог, блаженные полубоги, а между тем тихий голос Акты открывал Лигии одну за другой жуткие тайны и этого дворца, и этих людей. Вон там, вдали, виден криптопортик, на колоннах которого и на полу еще темнеют пятна крови, брызнувшей на белый мрамор из тела Калигулы, когда он упал, заколотый Кассием Хереей; там убили его жену, там размозжили о камни голову ребенка; а вон под тем крылом есть подземелье, где от голода грыз собственные руки Друз[154]; там отравили его старшего брата[155], там извивался от ужаса Гемелл[156], там бился в конвульсиях Клавдий, там – Германик[157]. Все эти стены слышали стоны и хрипенье умирающих, а люди, что спешат теперь на пир в тогах, в ярких туниках, украшенные цветами и драгоценностями, – они, быть может, завтрашние смертники; быть может, у многих из них улыбка на лице скрывает тревогу, страх, неуверенность в завтрашнем дне; быть может, в эти минуты лихорадочная страсть, алчность, зависть гложут сердца этих с виду беспечных, увенчанных цветами небожителей. Смятенный ум Лигии не мог поспеть за словами Акты, и, хотя волшебный мир все сильнее приковывал ее взор, сердце ее сжималось от испуга, и внезапно на душу нахлынула безмерная тоска по любимой Помпонии Грецине и по спокойному дому Авла, где царила любовь, а не злодейство.

Тем временем со стороны улицы Аполлона волнами надвигались все новые толпы гостей. Из-за ворот доносились шум и возгласы клиентов, провожавших своих патронов. По всей усадьбе и в колоннадах замелькали несчетные императоровы рабы, рабыни, мальчики и охранявшие дворец солдаты-преторианцы. Среди светлокожих и смуглых лиц чернели здесь и там физиономии нумидийцев с большими золотыми кольцами в ушах и в шлемах с перьями. Во дворец несли лютни, кифары, охапки искусственно выращенных поздней осенью цветов, ручные серебряные, золотые и медные лампы. Все нараставший гул голосов смешивался с шумом фонтанов – розовеющие

[153] *Данаиды* – в греческой мифологии 50 дочерей Даная, сына египетского царя Бела; спасаясь от преследования своих двоюродных братьев, они вместе с отцом бежали в Аргос (город на восточном побережье п-ва Пелопоннес), но были настигнуты и принуждены ко вступлению в брак. В брачную ночь Данаиды закололи своих мужей и за это были подвергнуты каре: вечно наполнять сосуд без дна в подземном мире.

[154] *Друз Юлий Цезарь* (8–33) – приемный внук Тиберия; опасаясь соперничества, император уморил его голодом в подземелье Палатинского дворца.

[155] Старшин брат Друза, *Нерон Цезарь* (6–30) в 29 г. был сослан на остров Понтия (у побережья Лация) и умерщвлен голодом (или отравлен).

[156] *Гемелл Тиберий* (19–37) – внук императора Тиберия; убит по приказу Калигулы.

[157] *Германик Юлий Цезарь* (15 до н.э. – 19 н.э.) – приемный сын Тиберия и его предполагаемый преемник, способный полководец; отравлен с ведома Тиберия.

в закатном свете их струи, падая с высоты на мрамор, разбивались с плеском, похожим на рыданья.

Акта умолкла, но Лигия все всматривалась в толпу, будто ища там кого-то. Вдруг лицо ее зарделось. Между колонн показались Виниций и Петроний, они направлялись в большой триклиний, оба великолепные, невозмутимые, похожие в своих белых тогах на богов. Когда среди всех этих чужих людей Лигия увидела два знакомых, дружеских лица, особенно же когда увидела Виниция, ей показалось, будто огромная тяжесть свалилась с ее сердца. Она почувствовала себя не такой одинокой. Охватившая было тоска по дому Авла и Помпонии стала вдруг не такой мучительной. Соблазн увидеть Виниция поговорить с ним заглушил в ее сердце все прочие голоса. Напрасно старалась она вспомнить все дурное, что слышала об императорском доме, и слова Акты, и предостережения Помпонии. Вопреки этим словам и предостережениям Лигии внезапно стало ясно, что она не только должна быть на пиру, но хочет на нем быть; при мысли, что через минуту она услышит милый, любезный ей голос, который говорил ей о любви и о счастье, достойном богов, и который до сих пор звучал, словно песня, в ее ушах, радость объяла ее.

Но Лигия тут же испугалась этой радости. А не предает ли она в этот миг и то чистое учение, в котором воспитана, и Помпонию, и себя самое? Одно дело идти по принуждению, другое – радоваться такой необходимости. Она почувствовала себя виновной, недостойной, погибшей. Отчаяние овладело ею, слезы подступили к глазам. Будь она одна, она бы упала на колени и била бы себя в грудь, повторяя: моя вина, моя вина! Но Акта взяла ее за руку и повела через внутренние покои в большой триклиний, где должен был состояться пир, а меж тем у Лигии темнело в глазах, шумело от волнения в ушах и сердце так билось, что мешало дышать. Будто сквозь сон увидела она тысячи мерцающих ламп на столах и на стенах, будто сквозь сон услышала возглас приветствия императору, будто сквозь сон заметила его самого. Возглас оглушил ее, свет ослепил, закружилась голова от благовоний, и она, почти теряя сознание, с трудом различала Акту, которая, уложив Лигию у стола, сама возлегла рядом.

Но минуту спустя зазвучал низкий знакомый голос по другую сторону от Лигии.

– Приветствую тебя, прекраснейшая из дев на земле и из звезд на небе! Приветствую тебя, божественная Каллина!

Немного придя в себя, Лигия обернулась: рядом с нею возлежал Виниций.

Он был без тоги – ради удобства и по обычаю тоги на пирах снимали. Тело его прикрывала только алая туника без рукавов, с вышитыми серебром пальмами. Руки юноши были обнажены и по восточной моде украшены выше локтей двумя широкими золотыми браслетами – гладкие, тщательно очищенные от волос, но чересчур мускулистые, настоящие руки солдата, созданные для меча и щита! На голове у него был венок из роз. Сросшиеся густые брови, сверкающие глаза, смуглый цвет лица делали Виниция воплощением молодости и силы. Он показался Лигии таким красивым, что она, уже оправившись от первого испуга, все же еле сумела ответить:

– Приветствую тебя, Марк…

– Счастливы глаза мои, что тебя видят; счастливы уши, что слышали твой голос, который для меня слаще флейт и кифар. Предложили бы мне выбирать, кого я хочу видеть рядом с собою на этом пиру, тебя, Лигия, или Венеру, я выбрал бы тебя, о божественная!

И он вперил в нее свой взор, будто желая насытиться ее видом, – его глаза прямо жгли ее. Они скользили по ее лицу, по шее, по обнаженным рукам, ласкали ее прелестную фигуру, любовались ею, обнимали ее, вбирали в себя, но вместе с желанием в них светились счастье, и страстная любовь, и безграничное восхищение.

Мысли Лигии прояснились, и она, чувствуя, что в этой толпе и в этом доме он единственное близкое ей существо, начала говорить с ним, расспрашивать обо всем, что было ей непонятно и пугало. Откуда он знал, что найдет ее во дворце императора, и зачем она здесь? Зачем император отнял ее у Помпонии? Ей здесь страшно, она хотела бы вернуться домой. Она бы умерла от тоски и тревоги, если бы не надежда, что Петроний и он заступятся за нее перед императором.

Виниций объяснял ей, что о ее уводе он сам узнал от Авла. А зачем она здесь, он не знает. Император никому не дает отчета в своих распоряжениях и приказах. Но все равно ей не надо бояться. Он, Виниций, рядом с нею и останется с нею. Он предпочел бы лишиться глаз, чем ее не ви-

деть, лишиться жизни, чем ее покинуть. Она – его душа, вот он и будет ее беречь, как собственную душу. Он соорудит в своем доме ей алтарь, как своему божеству, и будет приносить в жертву мирру и алоэ, а весной – анемоны и яблоневый цвет. И если ей страшен дом императора, он, Виниций, обещает ей, что она в этом доме не останется.

И хотя Виниций говорил уклончиво, а порою лгал, голос его звучал искренне, потому что чувство было подлинным. И жалость его к девушке была чистосердечной, а ее слова так трогали юношу, что, когда она стала его благодарить и уверять, что Помпония его полюбит за доброту, а сама она всю жизнь будет ему благодарна, Виниций не мог подавить волнения, и ему начало казаться, что он будет не в силах устоять перед ее мольбой. Сердце его таяло от нежности. Красота Лигии опьяняла его, он желал ее и чувствовал, что она ему безмерно дорога, что он и впрямь мог бы поклоняться ей, как божеству; и еще он ощущал неукротимую потребность говорить о ее красоте и о своем преклонении перед нею, но шум пиршества становился все оглушительней, и Виниций, подвинувшись ближе, начал шептать Лигии нежные, сладостные, из глубины души лившиеся слова, звучные, как музыка, и пьянящие, как вино.

И они опьяняли ее. Среди окружавших ее чужих людей Виниций казался ей все более близким и дорогим, вполне надежным и беззаветно преданным. Он успокоил ее, обещал забрать ее из императорского дома, обещал, что ее не покинет, что будет ей служить. Прежде, в доме Авла, он говорил с нею о любви вообще и о счастье, которое может дать любовь, а теперь уже прямо говорил, что любит ее, Лигию, что она ему милее и дороже всех на свете. Лигия впервые слышала такие слова из уст мужчины, они как будто пробуждали что-то спавшее в ее душе, ее охватывало чувство счастья, в котором безмерная радость смешивалась с безмерной тревогой. Щеки Лигии пылали, сердце колотилось, губы приоткрылись, точно от удивления. Ей было страшно, что она слышит такие речи, но ни за что в мире она не согласилась бы упустить хоть одно из его слов. Временами она опускала глаза, потом опять устремляла на Виниция сияющий свой взгляд, робкий и вопрошающий, будто внушая ему: «Говори еще!» Шум, музыка, запах цветов и аравийских курений опять стали туманить ей голову. Выросши в Риме, Лигия свыклась с римским обычаем возлежать на пирах, но в доме Авла ее место было между ложем Помпонии и маленького Авла, а теперь рядом с нею возлежал Виниций, молодой, могучий, влюбленный, пылающий страстью, и она, ощущая веющий от него жар, испытывала и стыд, и наслаждение. Ею овладевали сладостное бессилие, томность, забытье, будто она засыпает.

Но и Виниция волновала ее близость. Лицо его побледнело, ноздри раздувались, как у арабского коня. Видимо, и его сердце под алой туникой билось с необычной силой – дыхание стало частым, речи прерывистыми. Ведь он тоже впервые был так близко от нее. Мысли его начали путаться, по жилам пробегал огонь, который он тщетно пытался погасить вином. Но сильнее вина опьяняли его прелестное ее лицо, ее голые руки, девичья грудь, вздымающаяся под золотистой туникой, вся ее фигура, прикрытая белыми складками пеплума – он пьянел все больше и больше. Наконец он взял ее руку выше запястья, как это сделал однажды в доме Авла, и, притянув девушку к себе, зашептал дрожащими губами:

– Я люблю тебя, Каллина… божественная моя!

– Пусти меня, Марк, – молвила Лигия.

Но он продолжал говорить, и глаза его подернулись туманом.

– Божественная! Люби меня!

В эту минуту раздался голос Акты, возлежавшей по другую сторону рядом с Лигией:

– Император смотрит на вас.

Виниция вдруг охватил гнев – на императора, на Акту. Ее слова разрушили чары упоительного мгновения. Даже дружеский голос показался бы ему в такой миг несносным, и юноша решил, что Акта хочет помешать его беседе с Лигией.

Он поднял голову, взглянул поверх плеч Лигии на молодую вольноотпущенницу и со злостью сказал:

– Прошло то время, Акта, когда на пирах ты возлежала рядом с императором, и говорят, тебе угрожает слепота. Как же ты можешь его разглядеть?

– И все же я его вижу… – как бы с печалью ответила Акта. – Он тоже близорук, и он смотрит

на вас сквозь изумруд.

Все, что ни делал Нерон, настораживало даже самых близких к нему людей – Виниций тоже встревожился, поостыл и начал украдкой поглядывать на императора. Лигия, которая от смущения в начале пира видела императора, будто в тумане, а потом, взволнованная присутствием Виниция и его речами, вообще на Нерона не смотрела, теперь также обратила на него любопытный и испуганный взор.

Акта сказала правду. Император, склонясь над столом и прищурив один глаз, а перед другим держа круглый шлифованный изумруд, с которым не расставался, смотрел на них. В какой-то миг его взгляд встретился с глазами Лигии, и сердце девушки сжалось от страха. Когда она в детстве бывала в сицилийском поместье Авла, старая рабыня-египтянка рассказывала ей про драконов, живущих в горных ущельях, и теперь ей померещилось, что на нее вдруг глянул зеленый глаз дракона. Как перепуганное дитя, ухватилась она за руку Виниция, и в голове у нее замелькали беспорядочные, отрывочные мысли. Значит, это он, этот страшный, всесильный владыка? Она его никогда не видела и воображала себе другим. Ей представлялось ужасное лицо с окаменевшими от злости чертами, а тут она увидела крупную, сидевшую на толстой шее голову, действительно страшную, но немного и смешную, потому что издали она напоминала детскую. От туники аметистового цвета – что было запрещено обычным смертным – ложился синеватый отсвет на широкое, квадратное лицо. Волосы были темные, уложенные, по заведенной Отоном моде, четырьмя рядами локонов. Бороды не было. Нерон недавно посвятил ее Юпитеру, за что весь Рим приносил ему благодарения, хотя потихоньку шептались, что посвятил он ее потому, что она, как у всех в его семье, была рыжая. Лоб сильно выдавался над бровями, и в этом было что-то олимпийское. Сдвинутые брови выражали сознание своего всемогущества, но чело полубога венчало лицо обезьяны, пьяницы и комедианта, отмеченное суетностью, сменяющимися прихотями, обрюзгшее от жира, несмотря на молодость, и в то же время болезненное и отталкивающее. Лигии он показался недобрым, но прежде всего омерзительным.

Наконец император отложил изумруд и перестал смотреть на Лигию. Тогда она увидела его выпуклые голубые глаза, щурившиеся от яркого света, – они были как стеклянные, без всякого выражения, похожие на глаза мертвеца.

А Нерон, обратясь к Петронию, спросил:

– Это и есть та заложница, в которую влюблен Виниций?

– Да, она, – подтвердил Петроний.

– Как называется ее народ?

– Лигийцы.

– Виниций считает ее красивой?

– Наряди в женский пеплум трухлявый ствол оливы, и Винициюон покажется прелестным. Но на твоем лице, о несравненный знаток, я уже читаю ей приговор! Тебе незачем его объявлять! Да, да! Слишком тощая! Худющая, сущая маковая головка на тонком стебельке, а ведь ты, божественный эстет, ценишь в женщине стебель, и ты трижды, четырежды прав! Лицо само по себе ничего не значит. Я много почерпнул от тебя, но такого верного глаза у меня еще нет. И я готов поспорить с Туллием Сенецион[158] на его любовницу, что, хотя на пиру, когда все лежат, нелегко судить обо всей фигуре, ты уже себе сказал: «Слишком узка в бедрах».

– Слишком узка в бедрах, – закрыв глаза, повторил Нерон.

На устах Петрония появилась еле заметная усмешка, и Туллий Сенецион, занятый разговором с Вестином[159], точнее, издевками над снами, в которые Вестин верил, повернулся к Петронию и, хотя понятия не имел, о чем речь, сказал:

– Ты ошибаешься! Я заодно с императором.

– Превосходно, – согласился Петроний. – Я как раз доказывал, что у тебя есть кроха ума, а

[158] Правильно – Клавдий Сенецион.

[159] *Вестин Аттик Марк* – консул 65 г., приближенный Нерона; покончил с собой после раскрытия заговора Пизона.

вот император утверждает, что ты осел без всякой примеси.

– Habet![160] – рассмеялся Нерон и опустил вниз большой палец, как делали в цирке в знак того, что гладиатор получил удар и его надо добить.

Вестин, полагая, что речь еще идет о снах, воскликнул:

– А я верю в сны, и Сенека мне когда-то говорил, что он тоже верит.

– Прошлой ночью мне приснилось, что я стала весталкой[161], – сказала, наклонясь через стол, Кальвия Криспинилла.

Тут Нерон захлопал в ладоши, остальные последовали его примеру, и зал загремел от рукоплесканий – ведь Криспинилла, несколько раз уже разведенная, славилась в Риме баснословной распущенностью.

Ничуть не смущаясь, она сказала:

– Ну и что! Они все старые да уродливые. Одна Рубрия еще похожа на человека, а так нас было бы две, хотя у Рубрии летом бывают веснушки.

– Прости меня, пречистая Кальвия, – заметил Петроний, – но весталкой ты могла бы стать разве что во сне.

– А если бы император приказал?

– Тогда я бы поверил, что даже самые удивительные сны сбываются.

– Они и впрямь сбываются, – сказал Вестин. – Я понимаю людей, которые не верят в богов, но как можно не верить снам?

– А гаданьям? – спросил Нерон. – Мне когда-то предсказали, что Рим перестанет существовать, а я буду царить над всем Востоком.

– Гаданья и сны часто совпадают, – сказал Вестин. – Как-то один проконсул, ни во что не веривший, послал в храм Мопса раба с запечатанным письмом, запретив его вскрывать, – он хотел проверить, сумеет ли бог ответить на содержавшийся в письме вопрос. Раб провел ночь в храме, чтобы ему приснился вещий сон, потом возвратился и сказал следующее: «Мне снился юноша, светозарный, как само солнце, который промолвил только одно слово: „Черного“. Услыхав это, проконсул побледнел и, обращаясь к своим гостям, таким же неверующим, как он, сказал: „Знаете, что было в письме?“

Тут Вестин остановился и, взяв со стола чашу с вином, начал пить.

– Что же там было? – спросил Сенецион.

– В письме был вопрос: «Какого быка я должен принести в жертву: белого или черного?»

Но впечатление от рассказа нарушил Вителлий, который явился на пир уже навеселе, – без всякого повода он разразился глупейшим хохотом.

– Чего хохочет эта бочка сала? – спросил Нерон.

– Смех отличает людей от животных, – молвил Петроний, – а у него нет иного доказательства, что он не кабан.

Вителлий так же внезапно перестал смеяться и, причмокивая лоснящимися от жирных соусов губами, стал всматриваться в окружающих с таким удивлением, будто никогда их не видел.

Потом поднял пухлую, как подушка, руку и прохрипел:

– У меня свалился с пальца всаднический перстень, от отца унаследованный.

– Который был сапожником, – прибавил Нерон.

Но Вителлий опять неожиданно захохотал и принялся искать перстень в складках пеплума Кальвии Криспиниллы.

Тогда Ватиний, кривляясь, стал вскрикивать голосом испуганной женщины, а Нигидия, подруга Кальвии, молодая вдова с лицом девочки и развратными глазами, громко заметила:

– Ищет то, чего не терял.

– И что ему никак не пригодится, даже если найдет, – заключил поэт Лукан.

---

[160] Получил (по заслугам)! *(лат.)*

[161] *Весталки* – жрицы богини Весты (числом 6), дававшие обет безбрачия.

Веселье разгоралось. Рабы вносили все новые и новые яства, из больших ваз, наполненных снегом и увитых плющом, вынимали менее крупные кратеры с винами всевозможных сортов. Все много пили. С потолка на столы и на гостей то и дело сыпались розы.

Но вот Петроний стал упрашивать Нерона, чтобы, пока гости еще не перепились, император украсил пир своим пеньем. Его поддержал хор льстивых голосов, однако Нерон отнекивался. Дело тут не в храбрости, хотя ему всегда ее не хватает. Богам известно, чего стоят ему все эти выступления. Он, правда, не отказывается от них, надо ведь что-то делать для искусства, и если Аполлон одарил его неплохим голосом, грешно пренебрегать божьими дарами. Он понимает, что это даже его долг перед государством. Но нынче он в самом деле охрип. Положил себе ночью оловянные гирьки на грудь – не помогло. Он даже подумывает о поездке в Анций[162], чтобы подышать морским воздухом.

Лукан, однако, заклинал императора спеть ради блага искусства и человечества. Ведь всем известно, что божественный поэт и певец сложил новый гимн Венере, в сравнении с которым гимн, сочиненный Лукрецием[163], – вой годовалого волка. Пусть же этот пир будет истинным пиром. Столь милостивый государь не должен причинять мучений своим подданным. «Не будь жестоким, император!»

– Не будь жестоким! – повторили хором все, кто находился поближе.

Нерон развел руками, показывая, что вынужден уступить. Тотчас же на всех лицах изобразилась благодарность, и взоры всех обратились к императору. Но он еще приказал известить Поппею о том, что он будет петь, и объяснил присутствующим, что Поппея не пришла на пир по причине нездоровья, а его пенье помогает ей как ни одно лекарство, и ему было бы жаль лишить ее такою случая.

Поппея вскоре явилась. Она во всем распоряжалась Нероном, как своим подданным, но знала, что, когда дело идет о его самолюбии певца, возницы или поэта, раздражать императора опасно. Итак, она вошла в пиршественный зал, прекрасная, как богиня, в одеждах такого же аметистового цвета, как у Нерона, и в ожерелье из необыкновенно крупных жемчужин, отнятом некогда у Масиниссы[164], – златокудрая, нежная и, хотя уже разведенная с двумя мужьями, сохранившая лицо и взгляд девушки.

Ее приветствовали громкими криками, называя «божественной Августой». Никогда в жизни Лигия не видела подобной красоты и с трудом верила своим глазам – ведь Поппея Сабина была одна из самых распутных женщин в Риме. Лигия слышала от Помпонии, что Поппея заставила императора умертвить мать и жену, об этом также говорили гости Авла и слуги; слышала, что статуи Поппеи в городе по ночам опрокидывают, слышала о надписях, за которые виновников карают самыми жестокими карами, но которые появляются каждое утро на стенах домов. А между тем, когда она глядела на эту страшную Поппею, слывшую среди приверженцев Христа воплощением зла и нечестия, ей чудилось, что подобный облик может быть у ангелов или других небесных духов. Лигия была не в силах отвести глаза от «божественной», и невольно из ее уст вырвался вопрос:

– Ах, Марк, возможно ли это?

А он, разгоряченный вином и раздраженный тем, что столько всяческих помех отвлекают ее внимание от него и его речей, возразил:

– Да, она красива, но ты во сто раз красивее. Ты себя не знаешь, не то влюбилась бы сама в себя, как Нарцисс. Она купается в молоке ослиц, а тебя, наверно, искупала Венера в своем соб-

[162] *Анций* – прибрежный город в 50 км к югу от Рима.

[163] *Лукреций Кар* (ок. 96–55 до н.э.) – выдающийся римский поэт и философ-эпикуреец; его философская поэма «О природе вещей» начинается обращением к Венере.

[164] *Масинисса* (ок. 238–149 до н.э.) – нумидийский царь (Нумидия – область на северном побережье Африки), сначала противник Рима, затем его союзник в борьбе с Карфагеном (город и государство на территории современного Туниса).

ственном молоке. Нет, ты себя не знаешь, ocelle mi! Не смотри на нее. Обрати взор на меня, ocelle mi! Пригубь свою чашу, а потом я приложусь к этому месту своими губами.

И он придвигался все ближе, а Лигия отодвигалась к Акте. Но тут кругом зашикали – император встал. Певец Диодор подал ему лютню из тех, что назывались «дельта», другой певец, Терпнос, сопровождавший его игру, подошел со своим инструментом, наблием[165]; оперши свою дельту о стол, Нерон поднял глаза к потолку, и с минуту в триклинии стояла тишина, нарушаемая лишь шорохом падавших с потолка роз.

Наконец император запел, а точнее, начал напевно и ритмично декламировать в сопровождении двух лютен гимн Венере. И глуховатый голос его, и стихи звучали приятно, так что бедную Лигию снова одолели сомнения – гимн этот, прославлявший нечистую языческую Венеру, показался ей великолепным, да и сам император в лавровом венке и с возведенным кверху взором – более величественным, не таким страшным и отталкивающим, как в начале пира.

Но вот раздался гром рукоплесканий. Вокруг слышались возгласы: «О, небесный голос!» Кое-кто из женщин, воздев руки вверх, так и застыли в порыве восхищения, другие утирали слезы на глазах, весь пиршественный зал гудел, будто улей. Склонив златокудрую головку, Поппея поднесла к устам руку Нерона и долго держала ее так в молчании, а юный Пифагор, красавец грек, с которым впоследствии полубезумный Нерон приказал фламинам[166] обвенчать себя с соблюдением всех обрядов, опустился на колени у его ног.

Сам Нерон, однако, пристально смотрел на Петрония, чья похвала была для него наиболее желанной.

– Если говорить о музыке, – сказал Петроний, – то Орфей в этот миг, должно быть, пожелтел от зависти, так же как наш сотрапезник Лукан; что ж до стихов, я огорчен, что они слишком хороши и я не в силах найти слова для достойной похвалы.

Лукана ничуть не обидел намек на его зависть, напротив – он взглянул на Петрония с благодарностью и, притворяясь опечаленным, пробормотал:

– Будь проклят рок, судивший мне быть современником такого поэта. Я мог бы занять место в памяти людской и на Парнасе[167], а так я померкну, как светильник при свете солнца.

Обладавший удивительной памятью Петроний стал повторять строфы гимна, цитировать отдельные стихи, разбирать и превозносить удачные выражения. Лукан, как бы позабыв о зависти под действием чар поэзии, присоединил к хвалам Петрония свои восторги. На лице Нерона появилось выражение блаженства и безмерного тщеславия, не только граничащего с глупостью, но вполне с нею тождественного. Он сам подсказывал наиболее изящные, по его мнению, стихи, потом начал утешать Лукана – не надо, мол, падать духом, разумеется, кем ты родился, тем и будешь, но все же почет, оказываемый Юпитеру, не исключает поклонения другим богам.

Затем он поднялся, чтобы проводить Поппею, которой действительно нездоровилось. Но вставшим было сотрапезникам император велел оставаться на местах, пообещав вернуться. И немного спустя он снова был в триклинии, чтобы, вдыхая дурманящий дым курений, смотреть на зрелища, которые он, Петроний или Тигеллин обычно устраивали для гостей.

Началось чтение стихов и представление диалогов, в которых было не столько остроумия, сколько желания поразить. Потом знаменитый мим Парис изображал приключения Ио, дочери Инаха. Гостям, особенно Лигии, непривычной к подобным зрелищам, казалось, что они воочию видят чудо, волшебство. Движениями рук и всего тела Парис умел изображать то, что как будто невозможно передать пляской. От мелькания его рук воздух как бы потемнел и сгустился в сияющее, живое, трепещущее, сладострастное облако, которое обволакивало клонившуюся в истоме девичью фигуру, сотрясаемую судорогами блаженства. То была не пляска, а картина, ярко рисо-

[165] *Наблий* – разновидность арфы.

[166] *Фламин* – жрец.

[167] *Парнас* – горный массив в Фокиде (Средняя Греция); в греческой мифологии место обитания Аполлона и муз. У подножия Парнаса находился Кастальский ключ – источник вдохновения.

вавшая таинство любви, картина чарующая и бесстыдная, а когда это закончилось и в зал вбежали корибанты с сирийскими девушками и под звуки кифар, флейт, кимвалов и бубнов закружились в вакхической пляске с дикими выкриками и еще более непристойными телодвижениями, Лигии показалось, что она сейчас сгорит со стыда, или же молния испепелит этот дом, или потолок обрушится на головы пирующих.

Но из подвешенной к потолку золотой сети сыпались только розы, а полупьяный Виниций рядом с нею вел дальше свои речи:

– Я видел тебя в доме Авла у фонтана и полюбил тебя. Было это на заре, ты думала, что никто не смотрит, а я тебя видел. И такой вижу сейчас, хотя этот пеплум скрывает тебя. Сбрось пеплум, как Криспинилла. Видишь? И боги, и люди ищут любви. Кроме нее, нет на свете ничего! Положи головку мне на грудь и закрой глаза.

Лигия ощущала биение пульса в висках и в руках – чудилось ей, будто летит она в бездну, а этот Виниций, который представлялся ей прежде таким родным и надежным, не спасает ее, а, напротив, тянет ее туда. И он ей стал неприятен. Она опять начала бояться и пира этого, и Виниция, и себя самой. Некий голос, схожий с голосом Помпонии, еще взывал в ее душе: «Лигия, спасайся!», но тут же что-то в ней говорило, что слишком поздно – и что тот, кого обжигало таким огнем, кто видел творившееся на этом пиру, у кого сердце колотилось так, как у нее от речей Виниция, и кого пронизывал такой трепет, как ее, когда он приближался к ней, – тот погиб и спасенья ему нет. Силы ее покидали. Минутами ей казалось, что она лишится чувств, а потом произойдет что-то ужасное. Она знала – никто не смеет, под страхом навлечь гнев императора, подняться с ложа, пока не поднимется он, но у нее и без того уже не хватило бы сил встать на ноги.

А до конца пира было еще далеко. Рабы продолжали вносить новые блюда, наполняли кувшины вином, а перед столами, расположенными покоем, появились два атлета, чтобы потешить гостей зрелищем борьбы.

Началось состязание. Могучие, блестящие от масла тела сплетались в единый узел, хрустели кости в железных объятьях, стиснутые челюсти зловеще скрежетали. Временами слышались быстрые, глухие удары ног о побрызганный шафраном пол, а то оба вдруг застывали в неподвижности, и перед зрителями была словно бы высеченная из камня скульптура. Глаза римлян сладострастно следили за игрою набухших в страшном напряжении мышц на спинах, бедрах, руках. Борьба, впрочем, была недолгой – Кротон, учитель и начальник школы гладиаторов, недаром слыл самым сильным человеком в стране. Противник Кротона начал дышать все чаще, потом захрипел, потом лицо его посинело – вдруг кровь хлынула из его рта, и он поник.

Конец борьбы был встречен громом рукоплесканий – Кротон, поставив ногу на спину поверженному и скрестив на груди могучие руки, обводил зал торжествующим взором.

Его сменили потешники, подражавшие повадкам животных и их голосам, жонглеры и шуты, но на них уже почти не смотрели – в глазах у пьяных зрителей мутилось. Пир все больше превращался в попойку, в разнузданную оргию. Сирийские девушки, прежде участвовавшие в вакхических плясках, рассыпались среди гостей. Вместо музыки раздавался нестройный, дикий шум кифар, лютен, армянских цимбал, египетских систров, труб и рогов, – а там кое-кому из гостей захотелось поговорить, и музыкантам закричали, чтобы они убирались. Воздух был насыщен ароматами цветов, благовонных масел, которыми во время пира красивые мальчики кропили столы, запахами шафрана и разгоряченных тел, становилось очень душно, лампы горели тускло, венки на головах пирующих сбились набок, лица были бледны и усеяны каплями пота.

Вителлий свалился под стол. Обнажившаяся до пояса Нигидия приникла своей пьяной девичьей головкой к груди Лукана, и он, не менее пьяный, сдувал золотую пудру с ее волос, то и дело подымая кверху светящиеся блаженством глаза. Вестин с пьяным упрямством в десятый раз повторял ответ Мопса на запечатанное письмо проконсула. А насмехавшийся над богами Туллий прерывистым от икоты голосом рассуждал:

– Видишь ли, ежели Сферос Ксенофана[168] круглый, то ведь такого бога можно катить перед

[168] Ксенофан утверждал, что единое и тождественное мирозданию божество напоминает шар (греч. «сфера»); это утверждение, однако, следует понимать не буквально, а как философскую аналогию.

собою ногами, как бочку.

Слыша такие речи, Домиций Афр, гнусный, старый доносчик, возмутился и от негодования облил свою тунику фалернским. Уж он-то всегда верил в богов. Вот люди говорят, что Рим погибнет, а некоторые даже считают, что уже гибнет. Пожалуй, что так! Но ежели это произойдет, так лишь оттого, что у молодежи нет веры, а без веры не может быть добродетели. К тому же старинные строгие обычаи пришли в упадок, никому и в голову не приходит, что эпикурейцам не устоять против варваров. Ничего не поделаешь! Что до него, он сожалеет, что дожил до таких времен, и вынужден искать в наслаждениях лекарство от огорчений, которые иначе быстро бы его прикончили.

И, обняв сирийскую танцовщицу, он принялся целовать беззубым ртом ее затылок и спину, при виде чего консул Меммий Регул[169] засмеялся и, подняв плешивую голову в надетом набекрень венке, заметил:

– Кто говорит, что Рим гибнет? Ерунда! Я, консул, лучше других знаю. Videant consules…[170] Тридцать легионов… охраняют нашу pax romana[171]!

Он сжал кулаками виски и закричал на весь зал:

– Тридцать легионов! Тридцать легионов! От Британии до страны парфян! – Но вдруг остановился и, приставив палец ко лбу, уточнил: – Пожалуй, даже тридцать два…

После чего повалился под стол. Вскоре его стошнило, и он начал извергать языки фламинго, жареные рыжики, замороженные грибы, саранчу в меду, куски рыбы, мяса, – словом все, что съел и выпил.

Но Домиция не успокоило число легионов, охраняющих покой Рима. Нет, нет! Рим должен погибнуть, потому что исчезла вера в богов и строгость нравов! Рим должен погибнуть, а жаль – ведь жизнь хороша, император милостив, вино вкусно! Ах, как жаль!

И, уткнувшись головою в лопатки сирийской вакханки, он разрыдался:

– Какой толк от будущей жизни! Ахиллес был прав[172]: лучше быть батраком в подлунном мире, чем царствовать в киммерийских пределах. Да еще вопрос, существуют ли какие-нибудь боги, – и в то же время неверие губит молодежь.

Лукан между тем сдул всю золотую пудру с волос Нигидии, которая спьяну уснула. Сняв несколько стеблей плюща со стоявшей перед ним вазы, он обвил ими спящую и, совершив этот подвиг, обвел присутствующих радостным вопрошающим взглядом. Затем украсил и себя плющом, повторяя с глубокой убежденностью:

– Никакой я не человек, я фавн.

Петроний не был пьян, зато Нерон, который, оберегая свой «небесный» голос, вначале пил мало, разошелся потом и, осушая один кубок за другим, сильно опьянел. Он даже вздумал снова петь свои стихи, теперь уже греческие, но забыл их и по ошибке затянул песню Анакреонта. Ему вторили Пифагор, Диодор и Терпнос, но у всех у них ничего не получалось, и вскоре они умолкли. Тогда Нерон принялся восхвалять как знаток и эстет красоту Пифагора и в восторге целовать его руки. Такие прекрасные руки он где-то видел однажды… У кого бишь?

И, приложив ладонь к мокрому лбу, стал вспоминать. Вдруг на лице его изобразился страх.

– Ах, да! У матери, у Агриппины! – пробормотал он и, одолеваемый мрачными виденьями, продолжал: – Говорят, будто она ночами при луне ходит по морю, между Байями и Бавлами…[173]

---

[169] *Меммий Регул Гай* – консул 63 г.

[170] Пусть следят консулы… – *(лат.)* – начало формулы, объявлявшей о введении чрезвычайного положения и наделении консулов экстраординарными полномочиями.

[171] Римский мир, римскую империю *(лат.)*

[172] См. «Одиссея», XI, 488–491.

[173] *Байи* – известный курортный город в Кампании (к западу от Неаполя), излюбленное место отдыха римской знати. Неподалеку от него располагался городок Бавлы.

Вот просто ходит и ходит, будто чего-то ищет. А если приблизится к лодке, так поглядит и уйдет, но рыбак, на которого она взглянула, умирает.

– Недурная тема! – сказал Петроний.

А Вестин, вытянув, как журавль, длинную шею, таинственно прошептал:

– В богов я не верю, но в духов верю… О!

Не обращая внимания на их слова, Нерон продолжал:

– Но ведь я справил Лемурии[174]. Я не хочу ее видеть! Уже пятый год пошел. Я должен был, должен был ее покарать, она подослала ко мне убийцу, и, если бы я ее не опередил, не слушать бы вам нынче моего пения.

– Благодарим, император, от имени Рима и мира, – воскликнул Домиций Афр. – Эй, вина! И пусть ударят в тимпаны!

Снова поднялся шум. Стараясь его перекричать, увитый плющом Лукан встал и завопил:

– Я не человек, а фавн, я живу в лесу. Ээ-хооо!

Наконец напились до бесчувствия и император, и все мужчины и женщины вокруг. Виниций охмелел не менее других, но у него вместе с похотью разгорелось желание буянить, что случалось с ним всегда, когда он выпивал лишнее. Смуглое лицо стало совсем бледным, язык заплетался.

– Дай мне твои губы! – говорил он возбужденным и повелительным тоном. – Сегодня ли, завтра ли, какая разница! Довольно хитрить! Император забрал тебя у Авла, чтобы подарить мне. Поняла? Завтра, как стемнеет, я пришлю за тобой. Поняла? Император мне обещал еще до того, как тебя забрал. Ты должна быть моей! Дай губы! Не хочу ждать до завтра! Ну, поскорее, дай губы!

И он обнял Лигию. Акта начала защищать девушку, да и та пыталась обороняться из последних сил, чувствуя, что гибнет. Но тщетно старалась она обеими руками оторвать от себя его руки, тщетно дрожащим от обиды и страха голосом умоляла не быть таким жестоким, сжалиться над нею. Хмельное его дыхание обдавало ее все ближе, лицо было уже рядом с ее лицом. Но то был не прежний, добрый, дорогой ее сердцу Виниций, а пьяный, злобный сатир, внушавший страх и отвращение.

Лигия все больше слабела. Как ни уклонялась она, как ни отворачивалась, чтобы избежать его поцелуев, все было напрасно. Виниций встал, схватил ее обеими руками и, прижав ее голову к своей груди, тяжело дыша, начал разжимать губами ее побледневшие уста.

Но в эту минуту какая-то неимоверная сила оторвала его руки от шеи девушки с такой легкостью, будто руки ребенка, а его самого отстранила от Лигии как сухую ветку или увядший листок. Что случилось? Виниций, пораженный, протер глаза и увидел возвышавшуюся над ним гигантскую фигуру лигийца по имени Урс, которого он встречал в доме Авла.

Лигиец стоял спокойно, но смотрел на Виниция голубыми своими глазами так странно, что у юноши застыла кровь в жилах. Немного погодя Урс взял свою царевну на руки и ровными, мягкими шагами вышел из триклиния.

Акта последовала за ним.

Виниций минуту сидел, будто окаменев, потом вскочил и побежал к выходу с криком:

– Лигия! Лигия!

Однако похоть, изумление, бешенство и вино едва не свалили его с ног. Он пошатнулся раз, другой и, ухватясь за голые плечи одной из вакханок, недоуменно захлопал веками.

– Что случилось? – спросил он.

А она подала ему кубок с вином, затуманенные глаза ее улыбались.

– Пей! – сказала вакханка.

Виниций выпил и свалился в бесчувствии.

Большинство гостей уже лежали под столами, другие нетвердыми шагами бродили по триклинию, иные спали на ложах, громко храпя или изрыгая в полусне излишек выпитого вина, – и на

[174] *Лемурии* – день лемуров (духов усопших); отмечался 9 мая.

охмелевших консулов и сенаторов, на перепившихся всадников, поэтов, философов, на спящих пьяным сном танцовщиц и патрицианок, на все это общество, еще всевластное, но уже лишенное души, увенчанное цветами и предающееся разврату, но уже теряющее силу, из золотой сети под потолком сыпались и сыпались розы.

Занимался рассвет.

Глава VIII

Урса никто не остановил, никто даже не спросил, что он делает. Те из гостей, кто не лежал под столом, разбрелись по залу, а челядь, видя гиганта, несущего на руках гостью императора, полагала, что это раб уносит свою опьяневшую госпожу. К тому же рядом шла Акта, и ее присутствие устраняло подозрения.

Так они прошли из триклиния в соседний покой, а оттуда – на галерею, которая вела в покои Акты.

Лигия настолько обессилела, что лежала на плече Урса будто мертвая. Но когда ее обдало прохладным, чистым утренним воздухом, она открыла глаза. Становилось все светлее. Пройдя вдоль колоннады, они свернули в боковой портик, выходивший не во двор, а в дворцовый сад, где верхушки пиний и кипарисов уже алели в лучах зари. В этой части дворца было пусто, отголоски музыки и пиршественного веселья становились все менее слышными. Лигии показалось, что ее вырвали из ада и вынесли на свет божий. Было все же в мире что-то, кроме этого омерзительного триклиния. Были небо, заря, свет, тишина. Девушка внезапно разрыдалась и, прижавшись к плечу великана, стала, всхлипывая, повторять:

– Домой, Урс, домой, к Плавтиям!

– Мы туда идем! – ответил Урс.

Покамест они, однако, очутились в небольшом атрии, принадлежавшем к покоям Акты. Там Урс усадил Лигию на мраморную скамью возле фонтана. Акта принялась ее успокаивать и убеждать, чтобы отдохнула, – ведь сейчас ей ничто не угрожает, пьяные гости будут после пира спать до вечера. Но Лигия долго не могла успокоиться и, сжимая руками виски, лишь повторяла, как ребенок:

– Домой, к Плавтиям!

Урс был готов исполнить ее просьбу. Конечно, у ворот стоят преторианцы, но он все равно пройдет. Выходящих солдаты не задерживают. Перед входной аркой носилок видимо-невидимо. Гости будут выходить толпами. Никто их не остановит. Они выйдут вместе с другими и прямо направятся домой. А впрочем, он тут не указ! Как царевна повелит, так и будет. Для того он здесь.

– Да, Урс, мы выйдем, – повторяла Лигия.

Пришлось Акте проявить благоразумие за них обоих. Выйдут! О да! Никто их не задержит. Но бежать из дома императора не дозволено, и кто это сделает, совершит преступление, государственную измену. Да, они выйдут, а вечером центурион с отрядом солдат принесет смертный приговор Авлу и Помпонии Грецине, а Лигию опять заберет во дворец, и тогда уже ей не будет спасенья. Если семья Авла примет ее под свой кров, их наверняка ждет смерть.

У Лигии опустились руки. Выхода не было. Надо было выбирать между гибелью семьи Плавтиев и своей. Отправляясь на пир, она надеялась, что Виниций и Петроний выпросят ее у императора и вернут Помпонии, но теперь она знала, что именно они и уговорили императора отнять ее у Плавтиев. Выхода не было. Только чудо могло спасти ее из этой бездны. Чудо и всемогущество божие.

– Акта, – с отчаянием молвила она, – ты слышала, как Виниций говорил, что император подарил меня ему и что нынче вечером он пришлет за мною рабов и заберет меня в свой дом?

– Слышала, – ответила Акта.

И, разведя руками, замолчала. Звучавшее в голосе Лигии отчаяние не находило отклика в ее душе. Ведь она прежде была любовницей Нерона. Сердце ее при всей ее доброте не могло проникнуться чувством стыда за такие отношения. Сама недавняя рабыня, Акта слишком свыклась с рабской долей, к тому же она продолжала любить Нерона. Пожелай он вернуться к ней, она бы

встретила его с распростертыми объятьями, была бы счастлива. Понимая, что Лигия либо должна стать любовницей молодого красавца Виниция, либо навлечь на себя и на семью Плавтиев погибель, Акта не могла взять в толк, как девушка может колебаться.

– Оставаться в доме императора, – помолчав, сказала она, – тебе не более безопасно, чем в доме Виниция.

Ей и в голову не пришло, что, хотя она права, слова ее означали: «Смирись со своим жребием и стань наложницей Виниция». Но Лигии, еще ощущавшей на своих устах его дышащие животной страстью и жгучие, как раскаленный уголь, поцелуи, краска стыда бросилась в лицо при одном воспоминании о них.

– Ни за что! – пылко воскликнула она. – Я не останусь ни здесь, ни у Виниция, ни за что не останусь!

– Неужели Виниций так тебе ненавистен? – спросила Акта, удивленная этой вспышкой.

Но Лигия не могла ответить, рыдания опять сотрясали ее. Акта прижала девушку к своей груди и принялась ее утешать. Урс тяжело дышал и сжимал огромные кулаки – преданный, как пес, своей любимой царевне, он не мог снести вида ее слез. В его лигийском полудиком сердце росло желание вернуться в зал и задушить Виниция, а коль понадобится, и императора, но он боялся, что может погубить свою госпожу, и вдобавок не был уверен, что такой поступок, показавшийся ему сперва совсем простым, приличествовал приверженцу распятого агнца.

– Неужели он тебе так ненавистен? – повторила свой вопрос Акта, обнимая Лигию.

– Нет, нет, – возразила Лигия, – я не должна его ненавидеть, ведь я христианка.

– Я знаю, Лигия. Знаю также из посланий Павла из Тарса, что запрещено мириться с бесчестьем и страшиться смерти больше, чем греха, но скажи мне, дозволяет ли твое учение причинять смерть.

– Нет.

– Так как же можешь ты навлекать месть императора на дом Авла?

Наступило минутное молчание. Опять перед Лигией разверзалась бездонная пропасть.

– Я спрашиваю это, – заговорила опять молодая вольноотпущенница, – потому что мне жаль тебя и жаль добрую Помпонию, и Авла, и их мальчика. Я-то давно живу в этом доме и знаю, чем грозит гнев императора. Нет, бежать отсюда вам нельзя. У тебя остается один путь: умолять Виниция, чтобы он отдал тебя Помпонии.

Но Лигия уже опустилась на колени, обращаясь с мольбой к другому. Рядом с нею преклонил колени Урс, и оба начали молиться – молиться в доме императора при свете утренней зари.

Акта впервые видела такую молитву и не могла оторвать глаз от Лигии – обращенная к ней в профиль девушка, подняв лицо и руки к небесам, глядела ввысь, словно ожидая оттуда спасения. Лучи зари освещали темные волосы и белый пеплум, отражались в зрачках – вся в их сиянии, она сама, казалось, светилась. В побледневшем лице, приоткрытых губах, в поднятых к небу руках и глазах было что-то экстатическое, неземное. И Акта вдруг поняла, почему Лигия не может стать ничьей наложницей. Перед бывшей любовницей Нерона как бы приоткрылся уголок завесы, скрывавшей мир, совершенно отличный от того, к какому она привыкла. Ее изумляла эта молитва в доме злодеяний и срама. Раньше она думала, что для Лигии нет спасенья, но теперь начала верить, что может произойти нечто необыкновенное, что на помощь девушке может явиться такая могучая сила, с которой самому императору не справиться, что с неба спустится вдруг крылатое воинство либо солнце поднимет ее своими лучами и увлечет к себе. Она слыхала о многих чудесах, совершавшихся у христиан, и теперь подумала, что, видимо, все это правда, если Лигия так молится.

Но вот Лигия наконец поднялась с колен, лицо ее светилось надеждой. Урс тоже встал и, присев на корточки возле скамьи, смотрел на свою госпожу, ожидая, что она скажет.

Глаза девушки подернулись туманом, и две крупные слезы медленно потекли по щекам.

– Да благословит господь Помпонию и Авла, – сказала Лигия. – Я не вправе накликать на них гибель, а стало быть, я больше никогда их не увижу.

Потом, оборотясь к Урсу, она сказала ему, что теперь он один у нее остался на целом свете и должен быть ей отцом и опекуном. Им нельзя искать убежища у Авла, чтобы не навлечь на стариков гнев императора. Но она также не может оставаться ни во дворце императора, ни в доме Ви-

ниция. Пусть же Урс выведет ее из города, пусть спрячет где-нибудь, где ее не найдут Виниций и его слуги. Она пойдет за Урсом куда угодно, за моря и за горы, к варварам, где не слышали слова «Рим» и куда не достигает власть императора. Пусть заберет ее отсюда и спасет, он один у нее остался.

Лигиец был готов на все – в знак покорности он склонился и обнял ее ноги. Но на лице у Акты, которая ожидала от молитвы чуда, изобразилось разочарование. Только и всего? Бежать из дворца императора – значит совершить преступление, именуемое государственной изменой, кара за него неминуема, и даже если Лигия сумеет спрятаться, император отомстит Авлу. Хочет она бежать, пусть лучше бежит из дома Виниция. Тогда император, который не любит заниматься чужими делами, возможно, не пожелает помогать Винициюв поисках, и во всяком случае не будет совершена государственная измена.

Но Лигия и сама так думала. Семья Авла даже знать не будет, где она, даже Помпонии они не скажут. Только бежать ей надо не из дома Виниция, а по дороге. Он спьяну сообщил ей, что вечером пришлет за нею рабов. Наверно, он говорил правду, которой не сказал бы, будь он трезв. Видимо, Виниций, один или с Петронием, был перед пиром у императора и добился обещания, что на другой день вечером император ее отдаст. А если сегодня они забудут, так пришлют за нею завтра. Но Урс ее спасет. Он придет, возьмет ее из носилок, как взял из триклиния, и они пойдут странствовать по свету. Урса никто не одолеет. С ним не справился бы даже тот страшный борец, который вчера в триклинии победил. Но Виниций может прислать за нею очень много рабов, поэтому Урс сейчас же пойдет за советом и за помощью к епископу Лину. Епископ пожалеет ее, не оставит во власти Виниция и прикажет христианам идти за Урсом ее спасать. Они ее отобьют и уведут, а потом Урс постарается вывести ее из города и спрятать где-нибудь от римского всемогущества.

И лицо Лигии зарумянилось, повеселело. Она снова ободрилась, точно надежда на спасение стала действительностью. Бросившись на шею Акте и припав своими прелестными губками к ее щеке, Лигия зашептала:

– Ты же нас не выдашь, Акта, правда?

– Клянусь тенью моей матери, – отвечала вольноотпущенница, – я вас не выдам, только проси своего бога, чтобы Урсу удалось тебя отбить.

Голубые, детски чистые глаза великана сияли счастьем. Вот он, как ни ломал свою бедную голову, ничего не мог придумать, а уж это он сумеет. Хоть днем, хоть ночью, ему все равно! Он пойдет к епископу, ведь епископ читает в небесах, что надо делать и что не надо. Но собрать христиан он бы и так собрал. Разве мало у него знакомых рабов, гладиаторов да и свободных людей в Субуре и за мостами. Тысячу человек соберет, а то и две. И он отобьет свою госпожу, а вывести из города тоже сумеет и дальше пойти сумеет. Они пойдут вместе хоть на край света, хоть туда, откуда оба они родом, где никто и не слыхивал о Риме.

Тут глаза его уставились в пространство, словно он пытался разглядеть что-то исчезнувшее, страшно далекое.

– В бор? – пробормотал он. – Гей, какой бор, какой там бор!

Еще мгновенье, и он вернулся к действительности.

Да, сейчас он пойдет к епископу, а вечером, уже с какой-нибудь сотнею друзей, будет поджидать носилки. И пусть Лигию сопровождают не просто рабы, но сами преторианцы! Он никому не советует попасть под его кулак, даже в железных доспехах. Разве железо такое уж крепкое! Если по железу стукнуть хорошенько, так голова под ним не уцелеет.

Но Лигия с глубокой и вместе детской важностью подняла указательный палец.

– Урс! «Не убий!» – молвила она.

Лигиец закинул за голову огромную, похожую на дубинку руку и стал, ворча, скрести себе затылок с весьма озабоченным видом. Он ведь должен отбить ее, царевну, свет свой. Она сама сказала, что теперь его черед действовать. Конечно, он будет стараться. Но если случится что против его воли? Он ведь должен ее отбить! Но уж если случится, он так будет каяться, что распятый агнец смилуется над ним, горемычным. Он не хотел бы агнца обидеть, да что делать, когда рука у него такая тяжелая.

И глубокое волнение отразилось на его лице. Желая скрыть его, Урс поклонился со словами:

– Ну что ж, пойду к святому епископу.

Акта, обняв Лигию, расплакалась.

Она еще раз почувствовала, что есть некий мир, где даже страдание дает больше счастья, чем все утехи и наслажденья во дворце императора; еще раз приоткрылась перед нею дверь к свету, однако она сознавала, что недостойна в эту дверь войти.

Глава IX

Лигии было жаль Помпонию Грецину, которую она сердечно любила, жаль всю семью Плавтиев, но отчаянье прошло. Ей даже доставляла некую приятность мысль о том, что вот она, ради истины, жертвует богатством, удобствами и избирает незнакомую ей, скитальческую жизнь. Возможно, тут была и доля детского любопытства – какой же будет эта жизнь в дальних краях, среди варваров и диких зверей, – но, конечно, гораздо больше было глубокой, беззаветной веры, что она поступает так, как велит божественный учитель, и что отныне он сам будет опекать ее, как послушное, любящее дитя. А если так, что дурного может с нею приключиться? Суждены ли ей страдания – она перенесет их во имя его. Суждена ли внезапная смерть – ее заберет к себе он, и когда-нибудь, когда умрет Помпония, они будут вместе всю вечность. Много раз, еще в доме Авла, ее детскую головку мучил вопрос – почему она, христианка, ничего не может сделать для распятого, о котором с таким умилением говорил Урс? Но теперь этот миг настал. Лигия была почти счастлива и начала рассказывать о своем счастье Акте, но та не могла ее понять. Покинуть все, покинуть дом, богатство, город, сады, храмы, портики, все прекрасное в жизни, покинуть солнечный край и близких людей – для чего? Для того, чтобы сбежать от любви молодого, красивого воина? Это в голове у Акты не укладывалось. Минутами она чувствовала, что какая-то правда тут есть, что, возможно, есть даже великое, таинственное счастье, но понять это до конца она не могла, тем более что Лигии еще предстояло подвергнуться похищению, которое могло окончиться неудачей, могло даже стоить ей жизни. Акта по натуре была боязлива и со страхом думала о том, что принесет этот вечер. Но Лигии она о своих опасениях говорить не хотела, а тем временем стало совсем светло, солнце заглянуло в атрий. Акта начала убеждать Лигию отдохнуть – ведь это так необходимо после бессонной ночи. Лигия не сопротивлялась, и обе они пошли в кубикул, просторную опочивальню, убранную с роскошью, достойной бывшей любовницы императора. Обе легли рядом, но Акте, несмотря на усталость, не спалось. Жить в печали и тоске она давно привыкла, однако теперь душу ее смущало прежде неведомое ей беспокойство. До сих пор ее жизнь виделась ей просто безрадостной и лишенной надежды на лучшее завтра, теперь же она вдруг показалась Акте позорной.

Мысли ее все больше приходили в смятение. Дверь к свету то опять приоткрывалась, то закрывалась. Но в тот миг, когда она приоткрывалась, свет был так ослепителен, что Акта ничего не могла различить. Она скорее лишь догадывалась, что в этом сиянии таится безмерное блаженство, рядом с которым всякое другое настолько ничтожно, что, если бы, например, император удалил Поппею и снова полюбил ее, Акту, то даже это было бы сущей мелочью. И вдруг ей подумалось, что император, которого она любила и невольно почитала неким полубогом, такое же жалкое существо, как любой раб, и что дворец с колоннадами из нумидийского мрамора ничем не лучше груды камней. В конце концов смутные эти чувства и мысли стали для нее невыносимы. Ей хотелось уснуть, но тревога отгоняла сон.

Думая, что Лигия, которой грозило столько опасностей и неожиданностей, тоже не спит, Акта повернулась к ней, чтобы поговорить о предстоящем побеге.

Но Лигия спала спокойно. В затемненный кубикул из-за неплотно задернутого занавеса проникала узкая полоска света, и в его лучах плясали золотые пылинки. Акта разглядела нежное личико Лигии, покоившееся на обнаженной руке; веки были опущены, рот слегка приоткрыт. Лигия дышала ровно, как дышат во сне.

«Она спит, она может спать! – подумала Акта. – Она еще дитя».

Минуту спустя ей, однако, пришло на ум, что дитя это предпочитает бежать, чем стать лю-

бовницей Виниция, нищету предпочитает позору, скитания – великолепному дому в Каринах, нарядам, драгоценностям, звукам лютен и кифар.

«Почему?»

И она стала приглядываться к Лигии, словно пытаясь прочитать ответ на лице спящей. Акта смотрела на ее чистый лоб, на изящные дуги бровей, на темные ресницы, на приоткрытые уста, на колеблемую спокойным дыханием девическую грудь.

«Как она отличается от меня!» – подумала Акта.

Лигия представилась ей неким чудом, божественным видением, любимицей богов, во сто раз более прекрасной, чем все цветы в императорских садах и все статуи в его дворце. Но зависти в сердце гречанки не было. Напротив, при мысли о грозящих девушке опасностях глубокая жалость объяла ее. В ней пробудилось материнское чувство: Лигия казалась ей не только прекрасной, как дивный сон, но была бесконечно дорогим существом, и, припав губами к темным волосам девушки, Акта принялась ее целовать.

А Лигия спала спокойно, как дома, под кровом Помпонии Грецины. И спала довольно долго. Полдень уже миновал, когда она раскрыла голубые свои глаза и с изумлением стала осматриваться. Ее, вероятно, удивляло, что она не дома, не у Плавтиев.

– Это ты, Акта? – спросила она наконец, разглядев в полумраке лицо гречанки.

– Да, я.

– Уже вечер?

– Нет, дитя мое, но время уже после полудня.

– Урс не вернулся?

– Он и не говорил, что вернется, он только сказал, что будет вечером вместе с христианами поджидать носилки.

– Да, верно.

Они встали и обе пошли мыться. Акта помогла Лигии в бане и повела ее завтракать, а потом – в дворцовый сад, где можно было не опасаться нежелательных встреч, так как император и его приближенные еще спали. Лигия впервые в жизни видела эти великолепные сады, где в изобилии росли кипарисы, пинии, дубы, оливы и мирты, меж которыми белело множество статуй, блестели спокойные зеркала прудов, красовались заросли роз, орошаемых водяной пылью фонтанов; где входы в чарующие гроты были увиты плющом или виноградом; где в прудах плавали серебристые лебеди, а посреди статуй и деревьев бродили прирученные газели из пустынь Африки да порхали разноцветные птицы, привезенные со всех концов света.

В садах было пустынно, только здесь и там трудились с лопатами в руках рабы, вполголоса напевая; другие поливали розы и бледно-сиреневые цветы шафрана, а те, которым разрешили минуту отдыха, сидели у прудов или в тени дубов, сквозь листву которых пробивались солнечные лучи и ложились на всё дрожащими бликами. Акта и Лигия гуляли довольно долго, осматривая всяческие диковины, и хотя дух Лигии был угнетен, она была еще настолько ребенком, что интерес, любопытство и восхищение взяли верх. Она даже подумала, что, будь император добрым человеком, то в таком дворце и среди таких садов мог бы чувствовать себя очень счастливым.

Наконец, слегка утомившись, они присели на скамью, скрытую в зарослях кипарисов, и заговорили о том, что более всего волновало их сердца, – о предстоящем вечернем побеге Лигии. Акта была гораздо меньше, чем Лигия, уверена в успехе. Минутами ей даже казалось, что это безумная затея, которая не может осуществиться. Ее все сильнее томила жалость к Лигии и не покидала мысль, что во сто крат безопасней было бы попытаться переубедить Виниция. И она принялась выспрашивать у Лигии, давно ли та знакома с Виницием и не думает ли, что он мог бы склониться на их просьбы и возвратить ее Помпонии.

– О нет, – сказала Лигия, печально покачав темноволосой своей головкой. – Дома, у Плавтиев, Виниций был другой, очень добрый, но после вчерашнего пира я его боюсь и лучше хотела бы бежать к лигийцам.

– Но в доме Плавтиев он был тебе мил? – продолжала спрашивать Акта.

– Да, – ответила Лигия, потупившись.

– Все же ты не рабыня, как была я, – молвила Акта после минутного размышления. – Вини-

ций мог бы на тебе жениться. Ты заложница и дочь царя лигийцев. Авл и его супруга любят тебя, как родное дитя, и я уверена, что они охотно бы тебя удочерили. Да, Виниций мог бы на тебе жениться, Лигия.

На это Лигия ответила совсем тихо и еще печальней:

– Лучше я убегу к лигийцам.

– Скажи, Лигия, хочешь, я сейчас пойду к Винициюю, разбужу его, если он спит, и скажу то, что говорю тебе в эту минуту? Да, дорогая, я пойду к нему и скажу: «Виниций, она царская дочь и любимое дитя достойного Авла. Если ты ее любишь, возврати ее Авлу, а потом возьми как жену из его дома».

Но девушка ответила уже так тихо, что Акта с трудом расслышала:

– Лучше к лигийцам.

И на опущенных ее ресницах блеснули две слезы.

Беседу их прервал шум приближающихся шагов, и прежде чем Акта успела разглядеть, кто идет, вблизи их скамьи появилась Сабина Поппея с небольшой свитой рабынь. Две из них держали над ее головой пучки страусовых перьев на золотых прутьях и слегка шевелили этими опахалами, заодно защищая госпожу от еще жаркого осеннего солнца, а черная, как эбеновое дерево, эфиопка с торчащими, набухшими от молока грудями несла перед нею на руках младенца, завернутого в пурпур с золотою бахромой. Акта и Лигия привстали, полагая, что Поппея пройдет мимо их скамьи, не обратив внимания, но она, поравнявшись с ними, остановилась.

– Акта, – сказала Поппея, – бубенчики, которые ты пришила на куклу, были плохо пришиты – ребенок оторвал один бубенчик и поднес ко рту, еще счастье, что Лилит вовремя заметила.

– Прости, божественная, – отвечала Акта, скрестив руки на груди и опустив голову.

– А это что за рабыня? – спросила Поппея, глядя на Лигию.

– Она не рабыня, о божественная Августа, а воспитанница Помпонии Грецины и дочь царя лигийцев, который отдал ее как заложницу Риму.

– Она пришла к тебе в гости?

– Нет, Августа. С позавчерашнего дня она живет во дворце.

– Она была вчера на пиру?

– Была, Августа.

– По чьему приказанию?

– По приказанию императора.

Поппея стала еще внимательнее разглядывать Лигию, которая стояла перед нею, склонив голову, то с любопытством вскидывая свои лучистые глаза, то опуская веки. Вдруг брови Августы сдвинулись, лоб прорезала вертикальная складка. Ревниво оберегая свою красоту и власть, Поппея жила в постоянной тревоге, что какая-нибудь счастливая соперница может погубить ее так, как сама она погубила Октавию. Поэтому всякое красивое лицо во дворце пробуждало в ней подозрения. Опытным глазом она вмиг охватила всю дивную фигуру Лигии, оценила каждую черточку лица и испугалась. «Да это нимфа! – сказала она себе. – Ее родила сама Венера». И в уме у нее мелькнула мысль, никогда еще не посещавшая ее при виде других красавиц, – что она намного старше! Самолюбие Поппеи было больно задето, беспокойство пронзило душу, и тревожные предположения вихрем закружились в мозгу. «Может быть, Нерон ее не видел или, глядя сквозь изумруд, не оценил. Но что будет, если он встретит ее днем, при свете солнца, такую прелестную? К тому же она не рабыня! Она царская дочь, правда, из племени варваров, но все же царская дочь! О бессмертные боги! Она так же хороша, как я, но она моложе!» И складка между бровями стала глубже, а глаза из-под золотистых ресниц блеснули холодным огнем.

С притворным спокойствием, обращаясь к Лигии, она стала ее расспрашивать.

– Ты говорила с императором?

– Нет, Августа.

– Почему же ты хочешь жить здесь, а не у Авла?

– Я не хочу, госпожа. Это Петроний уговорил императора забрать меня у Помпонии, но я здесь против воли, о госпожа!

– И ты хотела бы вернуться к Помпонии?

Последний вопрос Поппея произнесла более мягким и ласковым голосом, так что в сердце Лигии затеплилась надежда.

– Госпожа, – сказала девушка, простирая руки к Поппее, – император обещал отдать меня, как рабыню, Виницию, но ты заступись за меня и верни Помпонии.

– Стало быть, Петроний уговорил императора, чтобы он забрал тебя у Авла и отдал Винициюю?

– Да, госпожа. Виниций уже сегодня пришлет за мною, но ты, милосердная, пожалей меня.

С этими словами она поклонилась низко и, ухватясь за подол платья Поппеи, с бьющимся сердцем ждала ответа. Лицо Поппеи осветилось злой усмешкой, она в упор поглядела на Лигию.

– Ну, так я тебе обещаю, что уже сегодня ты станешь рабыней Виниция, – промолвила Поппея.

И она удалилась – восхитительное, но злобное видение. До слуха Лигии и Акты донесся лишь крик ребенка, который почему-то вдруг заплакал.

У Лигии глаза тоже налились слезами, но минуту спустя она взяла Акту за руку и сказала:

– Пойдем обратно. Помощи надлежит ждать только оттуда, откуда она может прийти.

И они вернулись в атрий, где и остались уже до вечера. Когда стемнело и рабыни внесли светильники, каждый с четырьмя большими языками огня, обе были очень бледны. Разговор ежеминутно прерывался, они все прислушивались не идет ли кто. Лигия твердила, что ей, конечно, жаль покидать Акту, но ведь Урс там, в темноте, ждет, и ей бы хотелось, чтобы все произошло сегодня же. Дыхание ее выдавало тревогу, оно становилось все более частым и напряженным. Акта лихорадочно собирала свои драгоценности и, увязывая их в узелок, заклинала Лигию не отказываться от ее дара, который может сгодиться при побеге. Временами воцарялось мертвое молчание, и тогда обеим чудилось, будто они слышат шепот за завесой, или плач ребенка, или лай собак.

Внезапно отделявшая прихожую завеса бесшумно отодвинулась, и в атрии появился высокий, черноволосый мужчина с изрытым оспою лицом. Лигия вмиг узнала Атацина, вольноотпущенника Виниция, – он бывал в доме Авла.

Акта испуганно вскрикнула, но Атацин с низким поклоном сказал:

– Привет божественной Лигии от Марка Виниция, который ждет ее на ужин в убранном зеленью доме.

Губы девушки побелели как полотно.

– Иду, – промолвила она.

И на прощанье обвила руками шею Акты.

Глава X

А дом Виниция и в самом деле был убран зеленью мирта и плюща, развешанной по стенам и над дверями. Колонны были увиты виноградными лозами. В атрии, где над верхним отверстием натянули для защиты от ночного холода пурпурно-красную шерстяную ткань, было светло как днем. Ярко горели светильники с восемью и двенадцатью огнями, они имели форму кувшинов, деревьев, животных, птиц или статуй, поддерживавших лампы с ароматным маслом, сами же лампы были из алебастра, мрамора, позолоченной коринфской бронзы, не такие великолепные, как знаменитый светильник из храма Аполлона, которым пользовался Нерон, но весьма красивые и изготовленные знаменитыми мастерами. Некоторые лампы были прикрыты александрийским стеклом или прозрачными тканями с берегов Инда, красными, голубыми, желтыми, фиолетовыми, – весь атрий переливался разноцветными огнями. Воздух был напоен ароматом нарда, полюбившегося Винициюю на Востоке. В глубине дома, где сновали фигуры рабов и рабынь, тоже было много света. В триклинии стол был накрыт на четырех человек – кроме Виниция и Лигии, ужинать должны были Петроний и Хрисотемида.

Виниций во всем следовал советам Петрония, который убедил его не идти за Лигией, а послать Атацина с полученным у императора разрешением, – сам же Виниций должен был принять ее дома, и принять любезно, даже с почетом.

– Вчера ты был пьян, – говорил Петроний. – Я тебя видел, ты вел себя, как каменотес с Аль-

банских гор. Не будь слишком настойчив, помни, что хорошее вино надо пить медленно. Знай также, что желать приятно, но еще приятнее быть желанным.

У Хрисотемиды было на сей счет свое, несколько иное мнение, и Петроний, называя ее своей весталкой и голубкой, стал ей объяснять разницу между искусным цирковым возницей и юнцом, который впервые правит квадригой. Затем, обращаясь к Виницию, он сказал:

– Завоюй ее доверие, развесели ее, будь с нею великодушен. Мне не хотелось бы, чтобы этот ужин был печальным. Поклянись ей хоть Гадесом[175], что возвратишь ее к Помпонии, а там уж от тебя будет зависеть, предпочтет ли она завтра вернуться или остаться здесь. – И, указывая на Хрисотемиду, прибавил: – Я уже пять лет каждый божий день примерно так поступаю с этой пугливой горлицей и не могу пожаловаться на ее суровость.

– Разве ж я не сопротивлялась, ты, сатир! – возмутилась Хрисотемида и ударила Петрония веером из павлиньих перьев.

– Тому виною был мой предшественник.

– Как будто ты не валялся у моих ног!

– Чтобы надевать на их кончики кольца.

Хрисотемида невольно опустила взор – на пальцах ее ног и впрямь искрились драгоценные камни, и оба они рассмеялись. Но Виниций не слушал их препирательства. Сердце у него билось тревожно под узорчатым облачением сирийского жреца, в которое он нарядился для встречи с Лигией.

– Они должны были уже выйти из дворца, – сказал он, как бы говоря с собою.

– Да, должны были, – согласился Петроний. – А пока я могу рассказать о предсказаниях Аполлона Тианского[176] или ту историю о Руфине, которую я, не помню уж почему, не закончил.

Но Виниция Аполлоний Тианский интересовал столь же мало, как и история Руфина. Мысли его были с Лигией и, хотя он понимал, что встретить ее дома более пристойно, чем самому идти за нею во дворец наподобие судебного стражника, минутами он сожалел, что не пошел, – тогда он скорее бы увидел Лигию и сидел бы с нею рядом в темноте в двухместных носилках.

Тем временем рабы внесли украшенные бараньими головами бронзовые сосуды на треножниках – в сосудах были раскаленные угли, на которые рабы стали сыпать измельченные кусочки мирры и нарда.

– Они уже сворачивают к Каринам, – опять пробормотал Виниций.

– Он не выдержит, он побежит навстречу, да еще с ними разминется, – воскликнула Хрисотемида.

– Да нет, выдержу, – с бессмысленной улыбкой сказал Виниций.

Однако ноздри у него раздувались, он шумно дышал, и Петроний, глядя на него, пожал плечами.

– Нет в нем философа ни на сестерций, – сказал Петроний, – и мне никогда не удастся сделать этого сына Марса человеком.

Виниций даже не слышал его слов.

– Они уже в Каринах!

А они действительно уже повернули к Каринам. Рабы-лампадарии шли впереди, другие, педисеквы, – по обе стороны носилок. Атацин следовал позади, наблюдая за процессией.

Двигались они, однако, медленно. Город совсем не освещался, и фонари в руках рабов едва светили на погруженных в темноту улицах. В окрестностях дворца было безлюдно, лишь кое-где показывался прохожий с фонариком, но чем дальше, тем оживленнее становилась дорога. Почти из каждого переулка выходили группы по три, по четыре человека, все без факелов, все в темных плащах. Некоторые присоединялись к процессии, смешивались с рабами, другие, более многочис-

[175] Т.е. Аидом (греч. Hades), богом смерти и царством мертвых. Такая клятва считалась нерушимой.

[176] *Аполлоний*, философ-пифагореец из г. Тианы в М. Азии, жил в I в. н.э. и прославился как маг и прорицатель. Вокруг его личности сложилось множество легенд, послуживших основой для обширного романа «Жизнь Аполлония Тианского» греческого писателя III в. н.э. Флавия Филострата.

ленные группы толпились впереди, какие-то люди лезли наперерез, шатаясь, будто пьяные. Временами становилось так трудно двигаться, что лампадарии начинали кричать:

– Дорогу благородному трибуну Марку Виницию!

Из-за раздвинутых занавесок Лигия видела эти темные группы фигур, от волнения ее бил озноб. Надежда и тревога попеременно овладевали ее сердцем. «Это он! Это Урс и христиане! Сейчас все произойдет, – шептала она дрожащими губами. – О Христос, помоги! О Христос, спаси!»

Но уже и Атацин, который сперва не обращал внимания на необычное уличное оживление, начал беспокоиться. Все было как-то странно. Лампадариям[177] приходилось все чаще выкрикивать: «Дорогу носилкам благородного трибуна!»[178] Неведомые люди так напирали на носилки с обеих сторон, что Атацин приказал рабам отгонять их дубинками.

Внезапно впереди поднялся крик, и все огни мигом погасли. Возле носилок началась толкотня, суматоха, драка.

Атацин понял: это нападение.

И его охватил страх. Все знали, что император частенько забавы ради бесчинствует с отрядом августиан и в Субуре, и в других концах города. Было известно, что иногда после этих ночных стычек он даже появлялся с шишками и синяками и что тот, кто ему сопротивлялся, шел на смерть, будь он хоть сенатор. Казарма ночных стражей, чьей обязанностью было охранять город, находилась неподалеку, но в подобных случаях стража притворялась глухой и слепой. А между тем вокруг носилок кипела борьба: люди дрались, колотили друг друга, валили с ног, топтали. Атацин мгновенно решил, что прежде всего надо спасать Лигию и себя, а остальное предоставить судьбе. И, вытащив девушку из носилок, он подхватил ее одной рукой и пытался скрыться во мраке.

Но Лигия закричала:

– Урс! Урс!

Ее белое платье легко было разглядеть, и Атацин другой, свободной рукой стал поспешно накрывать ее своим плащом, как вдруг могучие клещи сжали ему затылок и на голову обрушилось, будто камень, что-то огромное, сокрушительное.

Атацин рухнул наземь, как вол под ударом обуха у алтаря Юпитера.

Большинство рабов лежало, другие спасались бегством, натыкаясь в непроглядной темноте на стены домов. Изломанные во время драки носилки валялись на земле. Урс уносил Лигию в Субуру, его друзья шли позади, постепенно по пути рассеиваясь в разные стороны.

Кучка рабов собралась у дома Виниция и в замешательстве стояла, не смея войти. После короткого совета они возвратились на место стычки, где нашли несколько трупов и среди них Атацина. Он еще корчился, но вот сильная судорога пробежала по его телу, Атацин вытянулся и застыл недвижим.

Рабы подняли его и, снова подойдя к дому Виниция, остановились у ворот. Надо было все же сообщить господину о случившемся.

– Пусть Гулон скажет, – зашептало несколько голосов. – У него, как и у нас, кровь по лицу течет, и господин его любит. Гулону безопасней, чем нам.

И германец Гулон, старый раб, который вынянчил Виниция и достался ему в наследство от матери, сестры Петрония, сказал:

– Я-то скажу, но пойдем мы все. Пусть гнев его обрушится не на меня одного.

Нетерпение Виниция все возрастало. Петроний и Хрисотемида посмеивались над ним, а он, быстрыми шагами кружа по атрию, все повторял:

– Они уже должны быть здесь! Должны быть здесь!

И все порывался идти навстречу, но гости его удерживали.

---

[177] *Лампадарий* – раб-факелоносец.

[178] *Трибун* – должностное лицо, защищавшее интересы плебеев и обладавшее правом вето в сенате; Виниций был, по-видимому, военным трибуном, одним из шести высших командиров легиона.

Вдруг в передней послышались шаги, и в атрий целою толпой вошли рабы – быстро выстроившись у стены, они подняли руки и испуганно завопили:

– А-а-а-а! А-а-а-а!

– Где Лигия? – кинувшись к ним, вскричал Виниций изменившимся грозным голосом.

– А-а-а-а!

Тут Гулон, выставляя вперед свое окровавленное лицо, жалобно зачастил:

– Вот моя кровь господин! Мы защищались! Вот кровь, вот кровь!

Но договорить ему не пришлось – Виниций схватил бронзовый светильник и одним ударом раскроил рабу череп, потом сжал обеими руками свою голову и застонал.

– Me miserum! Me miserum![179] – хрипло повторял он.

Его лицо посинело, глаза закатились, на губах выступила пена.

– Розог! – прорычал он наконец нечеловеческим голосом.

– Смилуйся, господин! А-а-а-а! – стонали рабы.

Но тут Петроний поднялся с выражением досады на лице.

– Пойдем, Хрисотемида! – сказал он. – Если ты хочешь смотреть на мясо, я прикажу разбить лавку мясника в Каринах.

И они удалились из атрия. Вскоре в этом доме, украшенном зеленью плюща и убранном для пира, раздались вопли и свист розог, не стихавшие почти до утра.

Глава XI

В ту ночь Виниций вовсе не ложился. После ухода Петрония он, убедясь, что стоны избиваемых рабов не умеряют ни его огорченья, ни ярости, собрал с десяток других слуг и уже поздней ночью отправился на поиски Лигии. Они обошли все улицы Эсквилина, Субуру, Злодейскую улицу и все прилегающие улочки. Затем Виниций со своим отрядом обогнул Капитолий, перешел по мосту Фабриция на остров и обследовал квартал за Тибром. Но погоня была бессмысленной, он не очень надеялся найти Лигию, и если искал ее, то лишь затем, чтобы как-нибудь скоротать эту страшную ночь. Домой Виниций вернулся уже на рассвете, когда в городе стали появляться повозки и мулы зеленщиков и хлебопеки открывали свои лавки. Виниций приказал обрядить тело Гулона, к которому пока никто не посмел притронуться, а тех рабов, которые не сумели отстоять Лигию, повелел отправить в деревню, в эргастулы, работать на плантациях, что было наказанием едва ли не более страшным, чем смерть, и наконец, бросившись на устланную ковром скамью в атрии, предался беспорядочным мыслям о том, как найти и захватить Лигию.

Отказаться от нее, утратить ее, никогда ее больше не видеть казалось ему невозможным, при одной мысли об этом он впадал в бешенство. Своевольная натура молодого воина впервые в жизни встретила сопротивление, встретила другую несокрушимую волю, и он просто не мог понять, как возможно, чтобы кто-то чинил препятствия его желаниям. Виниций скорее превратил бы и Рим и мир в развалины, чем отказался от того, чего ему хочется. У него отняли, из рук вырвали вожделенное блаженство, и ему казалось, что произошло нечто неслыханное, вопиющее о мести по законам божеским и человеческим.

Но главное, он не хотел и не мог примириться с таким поворотом судьбы – ведь никогда в жизни своей он ничего так страстно не желал, как Лигию. Без нее он не мыслил себе существования, не мог себе ответить, что будет делать завтра, как будет жить в последующие дни. Минутами его охватывала ненависть к ней, близкая к безумию. Ему хотелось видеть ее тут, рядом, чтобы ее избивать, тащить за волосы в кубикул, издеваться над ней, а то вдруг пронзала невыносимая тоска по ее голосу, ее телу, ее глазам, и он готов был валяться у нее в ногах. Он призывал ее, грыз себе пальцы, стискивал голову руками, изо всех сил стараясь рассуждать спокойно о том, как ее найти, но не мог. Тысячи разных способов и средств мелькали в его мозгу, одно безумнее другого. Наконец его осенила мысль, что Лигию отбил не кто иной, как Авл, и, уж во всяком случае, Авл дол-

[179] Несчастный я! *(лат.)*

жен знать, где она скрывается.

Виниций вскочил на ноги, чтобы бежать к Авлу. Если ее не отдадут ему, не испугаются угроз, он пойдет к императору, обвинит старого воина в непокорстве и добьется для него смертного приговора, но прежде исторгнет признание, где находится Лигия. И даже если Лигию отдадут ему добровольно, он все равно отомстит. Да, конечно, Плавтии приютили его под своим кровом, выхаживали его, но это не имеет значения. Одним этим нынешним поступком они освободили его от долга благодарности. И его мстительное, неистовое сердце радостно затрепетало при мысли об отчаянии Помпонии Грецины, когда центурион принесет старому Авлу смертный приговор. Он был уверен, что добьется такого приговора. Петроний поможет. Впрочем, император и так ни в чем не отказывает своим любимцам августианам, разве что его побудит к отказу личная неприязнь или страсть.

И вдруг в жилах Виниция кровь застыла от страшного предположения.

А что, если Лигию отбил сам император?

Всем было известно, что ночные бесчинства служили императору средством разгонять скуку. Даже Петроний принимал участие в этих забавах. Главной их целью было хватать женщин и подбрасывать их на солдатском плаще до обморока. Но сам Нерон называл эти походы «ловлей жемчужин», потому что случалось, что в недрах густо заселенных беднотою кварталов удавалось обнаружить истинную жемчужину красоты и молодости. Тогда «сагатио», как называлось подбрасывание на солдатском суконном плаще, превращалось в похищение, и «жемчужину» отправляли либо на Палатин, либо на какую-нибудь из бесчисленных вилл императора, либо Нерон уступал ее кому-то из своих любимцев. Так могло случиться и с Лигией. На пиру император разглядывал ее, и Виниций ни секунды не сомневался, что она должна была показаться Нерону прекраснейшей из всех женщин, каких тот когда-либо видел. Могло ли быть иначе? Она, правда, была на Палатине во власти Нерона, и он мог открыто удержать ее у себя, но, как справедливо говорит Петроний, императору в его преступлениях недостает смелости, и он, имея возможность действовать открыто, всегда предпочитает действовать тайно. На сей раз его к этому мог побудить также страх перед Поппеей. И тут Виницию пришло в голову, что Авл, пожалуй, не решился бы насильно отбирать девушку, подаренную ему, Виницию, самим императором. Но кто же все-таки решился? Да не тот ли голубоглазый великан, тот лигиец, который ведь посмел зайти в триклиний и на руках унести ее с пира? Но куда бы он с нею скрылся, где мог бы ее спрятать? Нет, раб на это неспособен. Значит, похищение совершил не кто иной, как император.

От этой мысли у Виниция потемнело в глазах и лоб покрылся испариной. Если так, Лигия потеряна навсегда. Из рук любого другого человека ее можно было бы вырвать, но не из этих рук. Теперь он с большим, чем прежде, основанием мог восклицать: «Vae misero mihi!»[180] Воображение рисовало ему Лигию в объятиях Нерона, и он впервые в жизни понял, что есть мысли, которые перенести невозможно. Лишь теперь ему стало ясно, как сильно он ее полюбил. Подобно тому, как в памяти утопающего молниеносно проносится вся жизнь его, так перед мысленным взором Виниция проносились все его встречи с Лигией. Он видел ее, слышал каждое ее слово. Видел у фонтана, видел в доме Авла и на пиру. Он опять чувствовал ее близость, слышал запах ее волос, ощущал тепло ее тела, сладость поцелуев, которыми на пиру разжимал ее невинные уста. Она теперь казалась ему во сто крат более прекрасной, желанной, нежной, во сто крат более необыкновенной, избранной среди всех смертных и всех небожителей. И когда он подумал, что всем этим, так глубоко волнующим его сердце, ставшим его кровью, его жизнью, возможно, завладел Нерон, юноша содрогнулся от боли, пронзившей его тело, боли такой мучительной, что он готов был биться головою о стены атрия, пока не треснет череп. Он почувствовал, что может сойти с ума, и наверняка сошел бы, если бы не жажда мести. И как прежде ему казалось, что он не сможет жить, если не отыщет Лигию, так теперь он говорил себе, что не может умереть, пока не отомстит за нее. Эта мысль доставляла ему некоторое утешение. «Я буду твоим Кассием Хереей!» – повторял он, имея в виду Нерона. И, зачерпнув обеими руками земли из цветочных горшков, окружавших имплувий,

[180] Горе мне, несчастному! *(лат.)*

он принес страшную клятву Эребу, Гекате[181] и своим домашним ларам, что свершит месть.

И ему действительно стало легче. Теперь, по крайней мере, было для чего жить, чем заполнить дни и ночи. Отказавшись от мысли посетить Авла, Виниций приказал нести себя на Палатин. Если его не пустят к императору, рассуждал он по дороге, или захотят проверить, нет ли при нем оружия, это будет доказательством, что Лигию похитил император. Оружия он, впрочем, с собою не взял. Он был не в состоянии рассуждать здраво, но, как бывает с людьми, поглощенными одной мыслью, в том, что касалось мести, Виниций действовал обдуманно. Он тут не желал действовать сгоряча и прежде всего наметил встретиться с Актой, полагая, что сумеет от нее узнать правду. Временами у него вспыхивала надежда увидеть во дворце Лигию, и от этой мысли его кидало в дрожь. А вдруг император похитил ее, не зная, кого похищает, и сегодня же ее возвратит? Но это предположение Виниций сразу же отверг. Если бы ее хотели ему отослать, то сделали бы это вчера. Одна только Акта может всё объяснить, и ее надо повидать раньше, чем кого-либо другого.

Утвердившись в таком решении, Виниций приказал рабам ускорить шаг, а сам предался беспорядочным мыслям то о Лигии, то о мести. Он слышал, будто египетские жрецы умеют наводить болезнь, на кого захотят, и решил у них выведать, как это делается. Еще говорили ему на Востоке, будто иудеи знают заклятие, с помощью которого могут покрыть нарывами все тело врага. Среди рабов в его доме было десятка полтора иудеев, и Виниций поклялся в душе, что, когда вернется, прикажет их сечь, пока они не откроют тайну. Но наибольшую приятность доставляла ему мысль о коротком римском мече, от удара которым кровь бьет струей, вот так, как била она из тела Гая Калигулы, оставив несмываемые пятна на колонне в портике. Он теперь готов был перебить всех жителей Рима, и, если бы божества мести пообещали ему, что все люди на земле, кроме него и Лигии, погибнут, он бы на это согласился.

Перед входной аркой Виниций внутренне подтянулся и, глядя на охранников-преторианцев, подумал: если они будут чинить ему при входе хоть малейшие помехи, это будет означать, что Лигия находится во дворце по воле императора. Но центурион дружелюбно ему улыбнулся и, сделав навстречу несколько шагов, сказал:

– Приветствую тебя, благородный трибун! Если ты желаешь явиться с поклоном к императору, минута выбрана неудачная, и я не знаю, сможешь ли ты его увидеть.

– Что случилось? – спросил Виниций.

– Божественная маленькая Августа вчера внезапно захворала. Император и Августа Поппея находятся подле нее вместе с врачами, которых созвали со всего города.

Событие было серьезное. Когда у Нерона родилась дочь, он просто обезумел от счастья и встретил ее с extra humanum gaudium[182]. Сенат еще до родов торжественно препоручил богам лоно Поппеи. Приносились обеты, и в Анции, где произошло разрешение от бремени, были устроены великолепные игры и вдобавок сооружены храмы двум Фортунам. Ни в чем не знавший меры Нерон и этого ребенка полюбил безмерно. Поппее, разумеется, дитя также было дорого, хотя бы потому, что делало более прочным ее положение и неодолимым влияние.

От здоровья и жизни маленькой Августы могла зависеть судьба всей империи, однако Виниций был настолько поглощен собою, своим делом и своей любовью, что пропустил мимо ушей сообщение центуриона.

– Я хочу увидеть только Акту, – сказал он и прошел во дворец.

Но Акта тоже была занята ребенком, и ему пришлось долго ее ждать. Лишь около полудня она появилась, лицо у нее было бледное, измученное, а при виде Виниция побледнело еще больше.

– Акта, – вскричал Виниций, схватив ее за руку и потянув на середину атрия, – где Лигия?

---

[181] *Эреб* – в греческой мифологии персонификация мрака, сын Хаоса и брат Ночи. *Геката* – древнее божество малоазийского происхождения; в греческой мифологии – богиня мрака, ночных видений и чародейства. Изображалась со змеями в волосах и факелом в руках. Римляне отождествляли Гекату с Тривией – «богиней трех дорог», изображение которой в виде трех фигур часто устанавливали на перекрестках.

[182] сверхчеловеческой радостью *(лат.)*

– Я тебя хотела об этом спросить, – отвечала она, с укором глядя ему в глаза.

А он, хотя обещал себе, что будет расспрашивать ее спокойно, стиснул себе голову обеими руками и с лицом, искаженным от страдания и гнева, стал повторять:

– Нет ее. Ее похитили на пути ко мне!

Но Виниций быстро опомнился и, приблизив свое лицо к лицу Акты, заговорил сквозь стиснутые зубы:

– Акта, если ты дорожишь жизнью, если не хочешь стать причиною несчастий, которых ты даже вообразить себе не можешь, отвечай мне правду: не император ли ее похитил?

– Император вчера не выходил из дворца.

– Клянись тенью матери твоей, клянись всеми богами! Нет ли ее во дворце?

– Клянусь тенью матери моей, Марк, во дворце ее нет, и отбил ее не император. Со вчерашнего дня маленькая Августа больна, и Нерон не отходит от ее колыбели.

Виниций вздохнул с облегчением. То, что казалось ему страшней всего, больше не угрожало.

– Стало быть, – сказал он, садясь на скамью и сжимая кулаки, – ее похитили люди Авла, и в таком случае – горе им!

– Авл Плавтий был здесь утром. Ему не удалось меня увидеть, я была занята ребенком, но он расспрашивал о Лигии у Эпафродита и других слуг императора, а потом сказал им, что придет еще – ему, мол, надо повидаться со мною.

– Хотел отвести от себя подозрения. Если бы он не знал, что случилось с Лигией, он пошел бы ее искать в моем доме.

– Он оставил мне несколько слов на табличке, из них ты все поймешь. Авл, зная, что Лигию взяли из его дома по желанию твоему и Петрония, полагал, что ее отослали к тебе, и нынче рано утром побывал у тебя дома, где ему рассказали, что произошло.

После этих слов Акта пошла в свой кубикул и вскоре вернулась с табличкой, оставленной для нее Авлом.

Виниций молча пробежал ее глазами. Акта, словно читая мысли на хмуром его лице, сказала:

– Нет, Марк. Случилось то, чего хотела сама Лигия.

– Так ты знала, что она хочет бежать! – взорвался Виниций.

Акта посмотрела на него затуманенными своими глазами почти строго.

– Я знала, что она не хочет стать твоей наложницей.

– А ты чем была всю жизнь?

– Я-то до того была рабыней.

Но Виниций не унимался. Император подарил ему Лигию, и ему, Винициию, вовсе не интересно знать, кем она была прежде. Он разыщет ее хоть под землею и сделает с нею все, что ему захочется. Да, да! Она будет его наложницей. Он прикажет хлестать ее бичом, покуда ему не надоест. Когда она ему опротивеет, он отдаст ее последнему из рабов или пошлет вращать жернова в своих африканских поместьях. А теперь он будет ее искать и найдет только для того, чтобы ее раздавить, растоптать, унизить.

Все сильнее разгорячаясь, он вовсе утратил чувство меры, и даже Акта поняла, что он обещает больше, чем способен выполнить, и что его устами говорят гнев и душевные муки. За муки она готова была его пожалеть, но не знающие меры гневные его речи истощили ее терпение, и в конце концов она спросила напрямик, зачем он к ней пришел.

Виниций не сразу нашелся что ответить. Пришел, потому что так ему захотелось, потому что думал у нее что-нибудь узнать, но пришел он собственно к императору и, не имея возможности увидеть его, зашел к ней. Лигия своим побегом восстала против воли императора, и он, Виниций, добьется от императора приказа искать ее по всему городу и государству, хотя бы пришлось для этого созвать все легионы и обшарить каждый дом в империи. Петроний поддержит его просьбу, розыски начнут сегодня же.

– Берегись, как бы ты не утратил ее навек именно тогда, – молвила Акта, – когда ее, по приказу императора, найдут.

– Что это значит? – спросил Виниций, хмуря брови.

– Выслушай меня, Марк! Вчера мы с Лигией были в здешнем саду и встретили Поппею, а с

нею маленькую Августу, которую несла негритянка Лилит. Вечером ребенок заболел, и Лилит уверяет, будто девочку сглазили, и будто сглазила чужеземка, повстречавшаяся им в саду. Если ребенок выздоровеет, про это забудут, но если нет – Поппея первая обвинит Лигию в колдовстве, и тогда, где бы ее не нашли, спасенья не будет.

Наступило короткое молчание, затем Виниций сказал:

– А может быть, действительно сглазила? Ведь и меня сглазила.

– Лилит все повторяет, что, когда дитя пронесли мимо нас, оно сразу заплакало. И верно: заплакало! Скорее всего девочку принесли в сад уже больной. Ищи Лигию сам, где хочешь, Марк, но пока маленькая Августа не выздоровеет, не говори о ней с императором, ты только навлечешь на себя месть Поппеи. Довольно уже пролили слез глаза Лигии из-за тебя, и отныне да охранят боги бедную ее голову.

– Ты ее любишь, Акта? – мрачно спросил Виниций.

В глазах вольноотпущенницы блеснули слезы.

– Да, я ее полюбила.

– Потому что тебе она не отплатила ненавистью, как мне.

Акта с минуту смотрела на него, точно колеблясь или пытаясь понять, искренне ли он говорит.

– О необузданный слепец! Она же тебя любила!

Услышав эти слова, Виниций вскочил, себя не помня. Неправда! Она его ненавидела. Откуда Акта может знать?! Неужели после одного дня знакомства Лигия ей призналась? И что это за любовь, которая предпочитает скитания, унижение нищенства, неуверенность в завтрашнем дне и, возможно, жалкую смерть убранному цветами дому, где ее ждет на пиршество влюбленный! Лучше бы ему не слышать таких речей, не то он с ума сойдет. Ведь эту девушку он не отдал бы за все сокровища здешнего дворца, а она сбежала. Что это за любовь, которая страшится наслаждений и порождает страдания! Кто ее поймет? Кто сумеет объяснить? Когда бы не надежда отыскать Лигию, он пронзил бы себя мечом! Любовь отдает себя, а не отнимает. Когда он жил у Авла, бывали минуты, что он верил в близость счастья, но теперь-то он знает, что она его ненавидела, ненавидит и умрет с ненавистью в сердце.

Но Акта, обычно робкая и спокойная, в свой черед возмутилась. Как он поступал, стараясь заполучить Лигию? Вместо того чтобы смиренно просить ее у Авла и Помпонии, он предательски отнял дитя у родителей. Нет, не женой хотел он сделать ее, а наложницей, ее, воспитанную в почтенной семье, ее, царскую дочь. И он привел ее сюда, в этот дом злодеяний и срама, он осквернил ее невинные глаза зрелищем гнусного пира, он вел себя с нею как с распутницей. Неужто он забыл, какой дом у Авла, кто такая Помпония Грецина, воспитавшая Лигию? Неужто у него не хватает ума понять, что это женщины не такие, как Нигидия, или Кальвия Криспинилла, или Поппея и все те, которых он встречает в доме императора? Неужто, увидев Лигию, он не понял сразу, что это девушка чистая, которая предпочтет смерть позору? Откуда ему знать, каким богам она поклоняется и что это за боги, – возможно, они чище и лучше, чем беспутная Венера или Ирида[183], которых чтят развратные римлянки? Нет, признаний Лигия ей не делала, но говорила, что спасенья ждет от него, от Виниция, она надеялась, что он упросит императора вернуть ее домой, что он возвратит ее Помпонии. И, говоря об этом, она краснела, как девушка, которая любит и верит. И сердце ее билось для него, но он сам ее напугал, оскорбил, возмутил, так пусть же теперь ищет ее с помощью императорских солдат, но пусть знает, что, если дочь Поппеи умрет, подозрение падет на Лигию, и гибель ее будет неотвратима.

Гнев и отчаяние Виниция начали стихать, уступая место нежности. Слова о том, что Лигия его любила, потрясли его до глубины души. Он вспомнил ее в саду Авла, когда она слушала его речи с зардевшимся лицом и сияющими глазами. Он подумал, что, видно, тогда она и полюбила его, и при этой мысли на него вдруг нахлынуло чувство счастья, еще неведомого ему и бесконечно более глубокого, чем то, которого он добивался. Да, он мог привести ее в свой дом, покорную и

[183] *Ирида* – в греческой мифологии олицетворение радуги, вестница богов.

вдобавок любящую. Она обвила бы его двери пряжей и помазала бы их волчьим жиром, а потом села бы как жена на овечьей шерсти у его очага. И он услышал бы из ее уст священные слова: «Где ты Гаий, там я Гаия», и она была бы его навеки. Почему ж он не поступил так? Ведь он был на это готов. А теперь ее нет, и, быть может, он ее не найдет, а если и найдет, может ее потерять, а если не потеряет, все равно его не захотят ни Авл с Помпонией, ни она. Тут у него от гнева стали глаза наливаться кровью, но теперь гневался он уже не на чету Плавтиев и не на Лигию, а на Петрония. Да, Петроний во всем виноват. Кабы не Петроний, Лигии не пришлось бы скитаться, она была бы его невестой, и никакая опасность не грозила бы ее драгоценной головке. Но все уже свершилось, слишком поздно пытаться исправить зло, которое исправить невозможно.

– Слишком поздно!

И словно пропасть разверзлась под его ногами. Он не знал, что придумать, как поступить, куда бежать. Акта, будто эхо, повторила его слова «слишком поздно», и в чужих устах они прозвучали для него смертным приговором. Он понимал лишь одно – он должен найти Лигию, иначе с ним произойдет что-то ужасное.

Машинально запахнув тогу, Виниций хотел было уйти, даже не простясь с Актой, но вдруг завеса, отделявшая прихожую от атрия, отодвинулась, и он увидел перед собой скорбную фигуру Помпонии Грецины.

Должно быть, она тоже узнала об исчезновении Лигии и, полагая, что ей будет легче, нежели Авлу, говорить с Актой, пришла в надежде получить какие-нибудь сведения.

Увидев Виниция, она повернула к нему свое небольшое бледное лицо и сказала:

– Да простит тебе бог, Марк, то горе, которое ты причинил нам и Лигии.

А он стоял, потупив голову, с чувством тяжкой вины, и не понимал, какой это бог может или должен его простить и почему Помпония говорит о прощении, когда ей следовало бы говорить о мести.

Наконец Виниций вышел из атрия – в полной растерянности, удрученный горькими мыслями, мучительной заботой и недоумением.

Во дворе и в галерее толпились встревоженные люди. Среди дворцовых рабов можно было увидеть всадников и сенаторов, явившихся осведомиться о здоровье маленькой Августы и кстати показаться во дворце хотя бы императорским рабам – в доказательство своей озабоченности. Весть о болезни «богини», видимо, распространилась быстро – в воротах появлялись все новые посетители, а за входной аркой виднелась большая толпа. Некоторые из новоприбывших, видя, что Виниций выходит из дворца, спрашивали у него, что нового, однако он, не отвечая на вопросы, шел прямо к воротам, пока Петроний, также явившийся узнать новости и едва не задевший его плечом, остановил юного воина.

Виниций наверняка вспылил бы при этой встрече и совершил бы какое-нибудь бесчинство в императорском дворце, если бы после свидания с Актой не вышел весь разбитый и настолько угнетенный и измученный, что его даже покинула обычная вспыльчивость. Он все же отстранил Петрония и хотел пройти мимо, но тот чуть ли не силой удержал его.

– Как здоровье божественной? – спросил Петроний.

Неожиданное насилие пробудило гневливость Виниция, он вмиг разъярился.

– Пусть ад поглотит ее и весь этот дворец! – ответил Виниций, скрипя зубами.

– Молчи, несчастный! – молвил Петроний и, оглянувшись вокруг, торопливо прибавил: – Если хочешь что-нибудь узнать про Лигию, идем со мной. Нет, тут я ничего не скажу! Идем со мной, в носилках я изложу тебе свои догадки.

И, обняв молодого человека за плечи, поскорее увел его из дворца.

Это и было главной целью Петрония, новостей же он не знал никаких. Несмотря на вчерашнюю вспышку, он сочувствовал Виницию, а вдобавок сознавал себя отчасти виновным в том, что произошло, и как человек деятельный кое-что уже предпринял.

– Я приказал своим рабам караулить у всех городских ворот, – сказал Петроний, когда они сели в носилки, – и дал им подробные приметы девушки и того великана, что унес ее с императорского пира, – несомненно, это он ее похитил. Слушай меня, Марк! Авл и его жена, возможно, надумают ее укрыть в одном из своих обширных поместий, тогда мы узнаем, в каком направлении

ее уведут. А если ее не приметят у ворот, это будет означать, что она осталась в городе, и мы сегодня же начнем искать ее здесь.

– Авл и Помпония не знают, где она, – возразил Виниций.

– Ты уверен в этом?

– Я видел Помпонию. Они тоже ее ищут.

– Вчера она не могла уйти из города, ночью ворота заперты. У каждых ворот следят двое моих людей. Один должен пойти за Лигией и великаном, другой – тотчас вернуться и сообщить. Если она в городе, мы ее найдем, потому что этого лигийца легко узнать хотя бы по росту и плечам. Да, тебе повезло, что похитил ее не император, а я могу тебя уверить, что не он, – на Палатине от меня нет тайн.

Но Виниций, охваченный горем еще больше, чем гневом, начал прерывающимся от волнения голосом рассказывать Петронию то, что слышал от Акты, – какие новые опасности нависли над головою Лигии, причем столь ужасные, что если беглецы и сыщутся, их придется тщательно прятать от Поппеи. Затем Виниций осыпал Петрония горькими упреками за его советы. Если бы не Петроний, все обернулось бы по-другому. Лигия осталась бы в доме Авла, и он, Виниций, мог бы видеть ее каждый день и был бы счастливей императора. И, распаляясь от собственных речей, он все больше приходил в волнение, пока наконец слезы горя и бешенства не показались на его глазах.

Петроний, никак не ожидавший, что молодой человек способен так сильно любить и желать, с удивлением глядя на эти слезы отчаяния, говорил про себя: «О, могучая владычица Кипра! Ты одна царишь над богами и над людьми!»

Глава XII

Однако, когда они вышли из носилок у дома Петрония, смотритель дома сообщил, что из рабов, посланных к воротам, ни один еще не вернулся. По его словам, он распорядился отнести им еду и снова передать приказ под страхом плетей смотреть в оба на всех выходящих из города.

– Вот видишь, – сказал Петроний, – они, без сомнения, еще в городе, значит, мы их найдем. Прикажи все же и своим людям наблюдать у ворот, лучше всего тем, кого посылал за Лигией, эти ее скорее узнают.

– Я велел их всех отправить в деревенские эргастулы, – сказал Виниций, – но я отменю свой приказ, пусть идут к воротам.

И, начертив несколько слов на навощенной табличке, он дал ее Петронию, который приказал тотчас отнести ее в дом Виниция.

Затем они прошли во внутренний портик и, усевшись на мраморную скамью, продолжили разговор.

Златоволосая Эвника и Ираида поставили им под ноги бронзовые скамеечки, придвинули к скамье небольшой стол и принялись наливать в чаши вино из дивных узкогорлых кувшинов, которые доставляли из Волатерр и Цере[184].

– Есть ли среди твоей челяди кто-нибудь, кто знает этого гиганта лигийца? – спросил Петроний.

– Его знали Атацин и Гулон. Но Атацин вчера был убит при нападении, а Гулона прикончил я.

– Жаль мне его, – сказал Петроний. – Он носил на руках не только тебя, но и меня.

– Я даже собирался было его освободить, – молвил Виниций, – да что об этом толковать. Поговорим о Лигии. Рим – это море…

– В море и добывают жемчужины. Скорее всего, мы не найдем ее ни сегодня, ни завтра, но вообще-то найдем обязательно. Вот ты меня коришь за то, что я посоветовал такой способ ее заполучить, но ведь способ сам по себе хорош, а стал плох лишь тогда, когда дело обернулось пло-

[184] *Волатерры и Цере* – древние города в Этрурии, соответственно в 200 и 40 км к северо-западу от Рима.

хо. Как бы там ни было, ты сам слышал от Авла, что он намерен со всей семьей переселиться на Сицилию. Так что девушка все равно была бы далеко.

– Я бы тоже поехал туда, – возразил Виниций, – и, во всяком случае, Лигия была бы в безопасности. А теперь, если этот ребенок умрет, Поппея и сама поверит, и императора убедит, что виновата Лигия.

– Да, ты прав. Меня это тоже встревожило. Но эта маленькая кукла еще может выздороветь. А коль ей суждено умереть, мы и тогда что-нибудь придумаем. – Тут Петроний ненадолго задумался, потом продолжил: – Говорят, Поппея придерживается религии иудеев и верит в злых духов. Император суеверен. Если мы пустим слух, будто Лигию похитили злые духи, этому поверят, тем паче что ее похитил не император и не Авл Плавтий, а исчезла она загадочным образом. Лигиец один не смог бы этого сделать. Ему потребовалась бы помощь, а как бы мог простой раб за один день собрать столько народу?

– Рабы поддерживают друг друга во всем Риме.

– Который когда-нибудь поплатится за это кровью. Да, они друг друга поддерживают, но ведь своим они не вредят, а тут было ясно, что на твоих рабов падет и ответственность, и кара. Если ты внушишь своим рабам мысль о злых духах, они охотно подтвердят, что видели их собственными глазами, – ведь для них это будет оправданием. Спроси любого из них для пробы, не видел ли он, как Лигию унесли в воздух, и он тотчас поклянется тебе эгидой Зевса, что так и было.

Виниций, который сам был суеверен, взглянул на Петрония с внезапно вспыхнувшей безумной тревогой.

– Если Урс не мог собрать людей на помощь и не мог похитить ее в одиночку, тогда кто же ее похитил?

Петроний на это только рассмеялся.

– Вот видишь, – сказал он, – они, конечно, поверят, раз и ты уже наполовину поверил. Таков наш мир, насмехающийся над богами. Все поверят и не станут ее искать, а мы тем временем поместим ее где-нибудь вдали от города, на какой-нибудь моей или твоей вилле.

– Но все же кто мог ей помочь?

– Ее единоверцы, – ответил Петроний.

– Какие единоверцы? Какое божество она чтит? Я-то, правда, должен был знать это лучше, чем ты.

– Почти каждая женщина в Риме чтит особого бога. Помпония, разумеется, воспитала ее в духе почитания того божества, которому сама поклоняется, а вот какому божеству поклоняется Помпония, я не знаю. Одно можно сказать с уверенностью – никто не видел, чтобы она в каком-нибудь из наших храмов приносила жертву нашим богам. Ее даже обвиняли в том, будто она христианка, но это невероятно. Домашний суд очистил ее от этого обвинения. О христианах говорят, что они не только почитают ослиную голову, но что они враги рода человеческого и совершают ужаснейшие злодеяния. Хотя бы поэтому Помпония не может быть христианкой, ведь ее добродетель всем известна, и ненавистница рода человеческого не обращалась бы со своими рабами так, как она.

– Да, ни в одном доме не обходятся с ними так, как в доме Авла, – подтвердил Виниций.

– Вот видишь! Помпония говорила мне о каком-то боге – единственном, всемогущем и милосердном. Куда она подевала всех прочих, это ее дело, довольно того, что этот ее Логос не был бы таким уж всемогущим, а скорее был бы самым жалким божком, если бы имел только двух почитательниц, сиречь Помпонию и Лигию, а в придачу к ним Урса. Их наверняка больше, его почитателей, они-то и оказали помощь Лигии.

– Их вера велит прощать, – молвил Виниций. – У Акты я встретил Помпонию, и она мне сказала: «Пусть бог тебе простит обиду, которую ты нанес Лигии и нам».

– Видно, их бог – весьма благодушный покровитель. Гм, если так, пусть он тебя простит и в знак прощения вернет тебе девушку.

– Я бы завтра же совершил ему гекатомбу. А сейчас я не хочу ни есть, ни купаться, ни спать. Возьму потайной фонарь и пойду бродить по городу. Может быть, переодетый, я найду ее. Я болен!

Петроний взглянул на него с некоторой жалостью. В самом деле, глаза Виниция были обведены темными кругами, зрачки лихорадочно блестели, на небритом со вчерашнего утра лице темная поросль покрыла резко очерченные челюсти, волосы на голове взъерошены, он действительно имел вид больного. Ираида и златоволосая Эвника тоже смотрели на него с участием, но он, казалось, их не замечал – впрочем, оба они, и он, и Петроний, на присутствие рабынь обращали внимания не более, чем обращали бы на собак, крутящихся у их ног.

– У тебя лихорадка, – заметил Петроний.

– Ты прав.

– Так послушай меня. Не знаю, что прописал бы тебе врач, но знаю, как бы я поступил на твоем месте. А именно – пока не найдется та девица, я поискал бы у другой то, чего лишился вместе с первой. Я видел у тебя на вилле изумительные тела. Не возражай мне. Я знаю, что такое любовь, я знаю, что, если желаешь одну, никакая другая ее не заменит. Но в объятиях красивой рабыни можно все же найти минутное развлечение.

– Не хочу! – отрезал Виниций.

Петроний, который питал к юноше слабость и искренне желал облегчить его страдания, задумался.

– Может быть, твои рабыни, – сказал он после недолгой паузы, – не обладают для тебя прелестью новизны, тогда (тут Петроний задумчиво поглядел на Ираиду и на Эвнику и наконец положил руку на бедро златоволосой гречанки) посмотри на эту нимфу. Несколько дней назад младший Фонтей Капитон[185] давал мне за нее трех чудных мальчиков из Клазомен[186] – более прекрасных тел, наверное, не создал сам Скопас[187]. Сам не понимаю, почему я до сих пор остаюсь к ней равнодушен, – ведь не мысль о Хрисотемиде удерживает меня. Так вот, дарю ее тебе, возьми ее!

Златоволосая Эвника, услышав эти слова, вмиг побледнела как полотно и, вперив испуганный взор в лицо Виниция, казалось, перестала дышать, с тревогой ожидая его ответа.

Но Виниций вдруг вскочил с места и, сжав руками виски, заговорил быстро, как истерзанный болезнью человек, ничего не желающий слушать:

– Нет, нет! Не нужна мне она! Не нужны и другие! Благодарю тебя, но я не хочу! Пойду искать по городу. Прикажи дать мне галльский плащ с капюшоном. Я пойду за Тибр. Если бы мне хоть Урса встретить!

И он быстро вышел. Петроний, видя, что Виниций действительно не в состоянии усидеть на месте, не пытался его остановить. И все же, истолковав отказ Виниция как минутное отвращение к любой женщине, которая не была Лигией, и не желая, чтобы великодушный его жест пропал втуне, Петроний сказал гречанке:

– Эвника, выкупаешься, умастишь тело, нарядишься и пойдешь в дом Виниция.

Но рабыня упала перед ним на колени и, заломив руки, стала умолять, чтобы он не гнал ее из дому. Она не пойдет к Винициию, лучше она будет здесь носить дрова в гипокаустерий, чем будет там первой из служанок. Она не хочет! Не может! И молит его сжалиться над ней. Пусть прикажет бить ее плетьми каждый день, только не отсылает из дома.

И, трепеща как древесный лист от робости и волнения, она простирала к Петронию руки, а он слушал ее удивленно. Рабыня, которая смеет отказываться от исполнения воли господской, которая говорит: «Не хочу и не могу!» – это было в Риме нечто столь необычное, что Петроний сперва не верил своим ушам. Но потом нахмурил брови. Он был слишком утонченной натурой, чтобы быть жестоким. Его рабам, особенно в дни разгула, жилось привольнее, чем рабам других хозяев, – при условии что они образцово исполняли свои обязанности и волю господина чтили как волю богов. Однако в случае нарушения этих двух правил Петроний умел не скупиться на наказа-

[185] *Фонтей Капитон* – консул 59 г., наместник Нижней Германии, где он и погиб в 68 г.

[186] *Клазомены* – город на западном побережье М. Азии.

[187] *Скопас* с о. Парос – известный греческий скульптор и архитектор 1-й пол. IV в. до н.э.

ния, каким, по принятому обычаю, подвергали рабов. А кроме того, он не терпел, когда ему прекословили и когда что-либо мешало его спокойствию.

– Позови ко мне Тейрезия, – молвил он, поглядев с минуту на коленопреклоненную, – и вернешься сюда с ним.

Дрожа всем телом, Эвника встала со слезами на глазах и вышла. Вскоре она возвратилась со смотрителем дома, критянином Тейрезием.

– Возьмешь Эвнику, – приказал ему Петроний, – и дашь ей двадцать ударов плетью, только так, чтобы не испортить кожу.

Отдав это приказание, он пошел в библиотеку и, сев за стол из розового мрамора, занялся своим «Пиром Тримальхиона».

Но бегство Лигии и болезнь маленькой Августы отвлекали его мысли, долго работать он не смог. Особенно важным событием была болезнь девочки. Петронию пришло на ум, что если Нерон поверит, будто Лигия навела чары на маленькую Августу, это могут и ему вменить в вину – ведь привели девушку во дворец по его просьбе. Он, однако, надеялся, что при первой же встрече с императором сумеет как-нибудь растолковать Нерону всю нелепость подобных домыслов, а отчасти рассчитывал и на слабость к нему Поппеи, которая, правда, тщательно скрывала свое чувство, но не настолько, чтобы он не мог его угадать. Так поразмыслив о своих опасениях, Петроний пожал плечами и решил сойти в триклиний, чтобы подкрепиться и снова отправиться во дворец, затем на Марсово поле и, наконец, к Хрисотемиде.

По дороге в триклиний, проходя мимо предназначенной для челяди галереи, он вдруг заметил среди стоявших у стены рабов стройную фигурку Эвники и, позабыв, что не дал Тейрезию другого распоряжения, кроме как отхлестать ее плетьми, снова нахмурил брови и стал искать глазами Тейрезия.

Однако Тейрезия среди слуг не было, и Петроний обратился к Эвнике:

– Тебя отхлестали?

А она опять кинулась к его ногам и, припав устами к краю его тоги, ответила:

– О да, господин! Отхлестали! О да, господин!

В ее голосе слышались как бы радость и благодарность. Она, видимо, полагала, что порка ей заменила изгнание из дома и что теперь она может остаться. Поняв это, Петроний удивился такому страстному сопротивлению рабыни, но он был слишком опытным знатоком натуры человеческой, чтобы не догадаться, что причиной этого сопротивления могла быть единственно любовь.

– У тебя есть тут в доме возлюбленный? – спросил он.

Эвника подняла на него свои голубые, полные слез глаза и еле слышно ответила:

– Да, господин!

Ее глаза, ее отброшенные назад золотистые волосы, все ее лицо, выражавшее страх и надежду, были так прелестны и смотрела она так умоляюще, что Петроний, который как философ всегда провозглашал могущество любви, а как эстет чтил всяческую красоту, почувствовал некоторую жалость к рабыне.

– Который из них твой любовник? – спросил он, кивая в сторону группы рабов.

Но ответа не последовало, Эвника лишь прижалась лицом к его ногам и застыла в неподвижности. Петроний обвел взглядом рабов, среди которых были красивые, рослые молодцы, но ни на одном лице не мог заметить и тени смущения, напротив, все они глядели с какой-то странной усмешкой; он еще раз посмотрел на лежавшую у его ног Эвнику и молча пошел в триклиний.

Подкрепившись, Петроний приказал отнести себя во дворец, а затем к Хрисотемиде, у которой и пробыл до поздней ночи. Но по возвращении домой он призвал к себе Тейрезия.

– Эвнику наказали? – спросил Петроний.

– Да, господин. Но я следил, чтобы кожу ей не испортили.

– Разве я больше ничего не приказал относительно ее?

– Нет, господин, – с беспокойством отвечал смотритель.

– Ну что ж, хорошо. Кто из рабов ее любовник?

– Никто, господин.

– Что ты о ней знаешь?

– Эвника по ночам никогда не покидает кубикул, – начал Тейрезий не очень уверенным тоном, – там она спит вместе со старухой Акризионой и с Ифидой; после твоего купанья, господин, она никогда не остается в бане. Другие рабыни смеются над нею и называют ее Дианой.

– Довольно, – молвил Петроний. – Мой родственник, Виниций, которому я нынче утром подарил Эвнику, не принял ее, стало быть, она остается дома. Можешь идти.

– Могу я еще сказать об Эвнике, господин?

– Я велел тебе сообщить все, что знаешь.

– Вся челядь говорит о побеге девушки, которую должны были доставить в дом благородного Виниция, господин. После твоего ухода Эвника пришла ко мне и сказала, будто знает человека, который может найти беглянку.

– Вот как! – сказал Петроний. – Что это за человек?

– Я не знаю, господин, но я подумал, что должен тебя об этом известить.

– Хорошо. Пусть этот человек завтра ждет в моем доме прихода трибуна, которого ты завтра же утром попросишь от моего имени посетить меня.

Смотритель поклонился и вышел.

Петроний невольно стал думать об Эвнике. Вначале он решил, что молодая рабыня, должно быть, хочет помочь Виницию найти Лигию лишь для того, чтобы ее самое не принуждали заменить Лигию в его доме. Но потом ему пришло на ум, что человек, которого Эвника пришлет, возможно, и есть ее любовник, и мысль эта почему-то была Петронию неприятна. Разумеется, был самый простой способ узнать правду – он мог приказать позвать Эвнику, но час был поздний, и после длительного пребывания у Хрисотемиды Петроний чувствовал себя утомленным, хотелось поскорее лечь. Направляясь в кубикул, он почему-то вспомнил, что заметил сегодня морщинки у глаз Хрисотемиды. И еще он подумал, что о ее красоте только слава идет по всему Риму, а на деле не так уж она хороша, и что Фонтей Капитон, предлагавший ему за Эвнику трех мальчиков из Клазомен, хотел ее купить чересчур дешево.

Глава XIII

На другой день, едва Петроний успел одеться в унктории, как явился приглашенный Тейрезием Виниций. Трибун уже знал, что никаких вестей от карауливших у ворот пока нет, и, хотя это могло означать, что Лигия находится в городе, тревога его лишь усилилась – теперь он начал предполагать, что Урс мог увести Лигию из города сразу после похищения, а значит, до того, как рабы Петрония были поставлены сторожить у ворот. Правда, осенью, когда дни становились короче, ворота запирались довольно рано, но их все равно открывали для всех выходящих из города, а таковых бывало довольно много. За городскую стену можно было пробраться и другими способами – рабы, желавшие бежать из города, хорошо их знали. Виниций, впрочем, разослал своих людей и на дороги, которые вели в провинцию, и к стражам в ближайших городах – с оповещением о сбежавшей паре рабов, с подробным описанием Урса и Лигии и с обещанием награды за их поимку. Было, однако, сомнительно, что поиски увенчаются успехом, а если бы даже беглецов опознали – что местные власти сочтут себя вправе задержать их по приватной просьбе Виниция, не подтвержденной претором[188]. Добывать же подтверждение было некогда. Виниций и сам, переодевшись рабом, весь вчерашний день искал Лигию по всем закоулкам города, но не сумел найти ни малейшего следа, ни намека на след. Ему, правда, повстречались люди Авла, но те, видимо, тоже что-то искали, и это лишь подкрепило убеждение Виниция, что отбили Лигию не слуги Авла и что они тоже не знают, куда она исчезла.

Услыхав от Тейрезия, что есть человек, берущийся найти Лигию, Виниций поспешил к Петронию и, второпях поздоровавшись, спросил, что это за человек.

– Скоро мы его увидим, – сказал Петроний. – Это знакомый Эвники, а она сейчас придет

[188] *Претор* – высшее должностное лицо, ведавшее судом и юрисдикцией. Первоначально преторов было двое (по делам граждан и иноземцев), при Нероне – до восемнадцати.

уложить складки моей тоги и сообщит о нем более подробно.

– Это та, которую ты вчера хотел мне подарить?

– Да, та, которую ты вчера отверг, за что, впрочем, я тебе благодарен, так как она, пожалуй, лучшая вестиплика в городе.

Едва он договорил, как Эвника действительно появилась и, взяв с инкрустированного слоновой костью стула тогу, развернула ее, чтобы набросить на плечи Петрония. Лицо у нее было спокойное, в глазах светилась радость.

Петроний внимательно на нее посмотрел и нашел, что она очень хороша. Когда ж она, запахнув на нем тогу, стала укладывать ее складки, то и дело нагибаясь, чтобы их выровнять сверху донизу, он заметил, что руки у нее дивного цвета бледной розы, а грудь и плечи отливают нежными тонами перламутра или алебастра.

– Эвника, – сказал он, – пришел уже тот человек, о котором ты вчера говорила Тейрезию?

– Да, господин.

– Как его зовут?

– Хилон Хилонид, господин.

– Кто он?

– Он врач, мудрец и прорицатель, он умеет читать судьбы людей и предсказывать будущее.

– А тебе он тоже предсказывал будущее?

Эвника залилась румянцем, от которого порозовели даже ее уши и шея.

– Да, господин.

– Что ж он тебе напророчил?

– Что меня ждут боль и счастье.

– Боль досталась тебе вчера от рук Тейрезия, значит, и счастье должно прийти.

– Оно уже пришло, господин.

– Какое же?

И она прошептала.

– Я осталась здесь.

Петроний положил руку на ее золотистую голову.

– Ты нынче хорошо уложила складки, Эвника, я тобою доволен.

От прикосновения его руки глаза у нее вмиг затуманились слезами счастья, учащенное дыхание заволновало грудь.

Петроний и Виниций, не мешкая, пошли в атрий, где их ждал Хилон Хилонид, который при их появлении отвесил глубокий поклон. Вспомнив о своем вчерашнем предположении, что это, возможно, любовник Эвники, Петроний улыбнулся. Стоявший перед ним человек не мог быть ничьим любовником. В странной его фигуре было что-то жалкое и вместе с тем смешное. Он был не стар: в неухоженной бороде и курчавой шевелюре лишь кое-где белели седые волоски. Худощавый, с очень сутулою спиной, он на первый взгляд даже казался горбатым; над горбом торчала большая голова, лицо напоминало сразу и обезьяну, и лису, взгляд был пронзительный. Желтоватая кожа на лице была вся в прыщах, и усеянный ими сизый нос, видимо, указывал на пристрастие к вину. Неряшливая одежда – темная туника из козьей шерсти и такой же дырявый плащ – говорила о подлинной или притворной бедности. При виде его Петронию пришел на ум Гомеров Терсит[189], и, ответив взмахом руки на поклон гостя, он сказал:

– Приветствую тебя, божественный Терсит! Что сталось с шишками, которые тебе набил под Троей Улисс[190], и что сам-то он поделывает на Елисейских полях?[191]

– Благородный господин, – ответствовал Хилон Хилонид, – мудрейший из умерших, Улисс,

[189] *Терсит* – согласно Гомеру («Илиада», II, 212–270), незнатный воин в лагере ахейцев, враг Ахилла и Одиссея; изображен Гомером как сварливый демагог.

[190] *Улисс* – латинская форма имени Одиссей.

[191] *Елисейские поля* – область в Аиде, где, по мнению древних, помещались души героев и праведных людей.

шлет через меня мудрейшему из живущих, Петронию, свой привет и просьбу прикрыть мои шишки новым плащом.

– Клянусь Гекатой Трехликой, – вскричал Петроний, – твой ответ заслуживает плаща!

Но тут их беседу прервал нетерпеливый Виниций.

– Знаешь ли ты, – спросил он напрямик, – за что берешься?

– Когда две фамилии двух знатных домов ни о чем ином не толкуют, а вслед за ними эту новость повторяет пол-Рима, знать немудрено, – возразил Хилон. – Вчера ночью была похищена девушка, воспитанная в доме Авла Плавтия, по имени Лигия, а вернее Каллина, которую твои рабы, господин, препровождали из дворца императора в твой дом, и я берусь ее отыскать в городе либо, если она покинула город, – что маловероятно, – указать тебе, благородный трибун, куда она сбежала и где спряталась.

– Хорошо! – сказал Виниций, которому понравилась точность ответа. – Какие у тебя есть для этого средства?

Хилон лукаво усмехнулся.

– Средствами владеешь ты, господин, у меня же есть только разум.

Петроний тоже усмехнулся, гость пришелся ему по душе.

«Этот человек сумеет найти девушку», – подумал он.

Тем временем Виниций, нахмурив свои сросшиеся брови, сказал:

– Если ты, голодранец, обманываешь меня ради прибыли, я прикажу тебя забить палками насмерть.

– Я философ, благородный господин, а философ не может быть жаден до прибыли, особенно до такой, какую ты столь великодушно сулишь.

– Так ты философ? – спросил Петроний. – Эвника мне говорила, что ты врач и гадатель. Откуда ты знаешь Эвнику?

– Она приходила ко мне за советом, ибо слава моя достигла ее ушей.

– Какого же совета она просила?

– По любовному делу, господин. Хотела излечиться от безответной любви.

– И ты ее излечил?

– Я сделал больше, господин, я дал ей амулет, который принесет ей взаимность. В Пафосе, на Кипре, есть храм, где хранится пояс Венеры. Я дал ей две нити из этого пояса, заключенные в скорлупку миндального ореха.

– И потребовал хорошей платы?

– За взаимность невозможно заплатить слишком дорого, а я, лишившись двух пальцев на правой руке, собираю деньги на раба-писца, чтобы записывал мои мысли и сохранил для мира мое учение.

– К какой же школе ты принадлежишь, божественный мудрец?

– Я киник[192], господин, потому что у меня дырявый плащ, я стоик, потому что терпеливо переношу бедствия, и перипатетик, потому что за неимением носилок хожу пешком от трактира к трактиру и по дороге поучаю тех, кто обещает заплатить за кувшин вина.

– А за кувшином ты становишься ритором?

– Гераклит[193] сказал: «Все течет», – а можешь ли ты, господин, отрицать, что вино течет?

---

[192] *Киники* – популярная греческая философская школа, возникшая в IV в. до н.э. Киники демонстративно отвергали общепринятые социальные и моральные нормы, проповедуя максимальное опрощение. *Стоицизм* – одно из самых влиятельных философских направлений античности; провозглашенный стоиками тип мудреца, стойкого и независимого от внешних обстоятельств, особенно характерен для римского стоицизма. *Перипатетики* – общее название школы Аристотеля и его последователей. Название это происходит от греческого слова «перипатос» (крытая галерея, где происходили занятия школы), но не от глагола «перипатейн» («прохаживаться»), так как обычай прогуливаться во время занятий был распространен во всех прочих философских школах.

[193] *Гераклит* (конец VI – начало V в. до н.э.) из Эфеса (город на западном побережье Малой Азии) – один из популярных во все времена древнегреческих философов-диалектиков; его учению, которое реконструируется по сохранившимся фрагментам, присущи идеи непрерывного изменения, становления («все течет», «в одну реку нельзя войти дважды»); противоположности пребывают в вечной борьбе, в то же время в космосе существует «скрытая гармония»

– Он также изрек, что огонь – это божество, и божество это пылает на твоем носу.

– А божественный Диоген из Аполлонии[194] учил, что основа всего – воздух и что чем воздух теплее, тем более совершенные существа возникают из него, а из самого теплого воздуха возникают души мудрецов. И так как осенью наступают холода, истинный мудрец должен согревать душу вином. Ибо ты, господин, не станешь отрицать, что кувшин хотя бы слабого винца из Капуи или Телесии[195] разносит тепло по всем косточкам бренного тела человеческого.

– Где твоя родина, Хилон Хилонид?

– На берегах Понта Эвксинского[196]. Я родом из Месембрии[197].

– Ты великий человек, Хилон!

– И непризнанный! – меланхолически прибавил мудрец.

Но Виниций снова стал проявлять нетерпение. Возникла некоторая надежда, ему хотелось, чтобы Хилон тотчас отправился на розыски, и вся эта беседа показалась ему пустой тратой времени. Он злился на Петрония.

– Когда ты приступишь к поискам? – спросил он, обращаясь к греку.

– А я уже приступил, – отвечал Хилон. – И находясь здесь, отвечая на твои любезные вопросы, я тоже ищу. Ты только верь мне, почтенный трибун, и знай, что, кабы у тебя потерялась завязка сандалии, я сумел бы найти завязку или того, кто ее поднял на улице.

– Приходилось ли тебе прежде оказывать подобные услуги? – спросил Петроний.

Грек поднял глаза к потолку.

– Слишком низко ценятся ныне добродетель и мудрость, и даже философ бывает вынужден искать иных средств к существованию.

– Какие они у тебя?

– Все знать и доставлять новости тем, кто их желает знать.

– И тем, кто за них платит?

– Ах, господин, мне ведь необходимо купить себе писца. Иначе мудрость моя умрет вместе со мною.

– Но если ты до сих пор не скопил даже на целый плащ, заслуги твои, видно, не слишком велики.

– Скромность не позволяет мне ими хвалиться. Но сам посуди, господин, теперь ведь нет таких благодетелей, каких было так много в старину и которым было столь же приятно осыпать золотом за услугу, как проглотить устрицу из Путеол[198]. Не заслуги мои малы, мала людская благодарность. А когда порою сбежит ценный раб, кто его находит, если не единственный сын моего отца? Когда на стенах появляются надписи против божественной Поппеи, кто указывает виновников? Кто откопает у книготорговца стишки против императора? Кто донесет, о чем говорят в домах сенаторов и всадников? Кто разносит письма, которые не хотят доверить рабам? Кто подслушивает новости у дверей цирюлен? От кого нет тайн у виноторговцев и хлебопеков? Кому доверяют рабы? Кто способен видеть каждый дом насквозь, от атрия до сада? Кому известны все улицы, переулки, притоны? Кто знает, о чем толкуют в термах, в цирке, на рынке, в школах ланист, в лавках работорговцев и даже в аренариях?

– Клянусь всеми богами, довольно, почтенный мудрец! – вскричал Петроний. – Не то мы по-

---

и т.п.

[194] *Диоген* из Аполлонии (город в М. Азии или на Крите) – греческий натурфилософ (2-я пол. V в. до н.э.), близкий к традиции Гераклита.

[195] *Телесия* – город в области Самний (прибл. 180 км к юго-востоку от Рима).

[196] *Понт Эвксинский* – греческое название Черного моря.

[197] *Месембрия* – город во Фракии на юго-западном побережье Черного моря.

[198] *Путеолы* – приморский курортный город в Кампании; здесь были расположены виллы Калигулы, Нерона и др.

тонем в твоих заслугах, добродетели, мудрости и красноречии. Довольно! Мы хотели знать, кто ты, и теперь знаем.

Но Виниций приободрился, он подумал, что этот человек, как пущенная по следу гончая, не остановится, пока не найдет убежище Лигии.

– Превосходно, – сказал Виниций. – Нужны ли тебе какие-нибудь указания?

– Мне надобно оружие.

– Какое? – с удивлением спросил Виниций.

Грек протянул ладонь, а другою рукой изобразил, будто считает монеты.

– Уж такие нынче времена, господин! – со вздохом сказал он.

– Стало быть, – сказал Петроний, – ты будешь ослом, который завоевывает крепость с помощью мешков золота.

– Я всего лишь бедный философ, господин, – смиренно возразил Хилон, – золотом же владеете вы.

Виниций бросил ему кошелек, который грек поймал на лету, хотя у него действительно не хватало двух пальцев на правой руке.

– Я, господин, уже знаю больше, чем ты предполагаешь, – сказал он с повеселевшим лицом. – Я пришел сюда не с пустыми руками. Я знаю, что девушку похитили не люди Авла, с ними я уже говорил. Знаю, что ее нет на Палатине, – там все заняты болезнью маленькой Августы – и, возможно, я даже догадываюсь, почему вы предпочли искать девушку с моей помощью, а не с помощью императорских стражей и солдат. Я знаю, что бежать ей помог слуга, который родом из того же края, что она. Он не мог прибегнуть к помощи рабов, потому что рабы держатся сплоченно и не стали бы ему помогать против твоих людей. Помочь ему могли только единоверцы…

– Вот-вот, Виниций, слушай! – перебил его Петроний. – Разве я не говорил тебе то же самое, слово в слово?

– Мне это лестно, – молвил Хилон. – А девушка, господин, – продолжал он, обращаясь к Винициию, – бесспорно, поклоняется тому же божеству, что и добродетельнейшая из римлянок, истинная матрона, Помпония. Слышал я также, будто Помпонию судили домашним судом за почитание чужих богов, но мне не удалось выведать у слуг, что это за божество и как называются его приверженцы. Если бы мне это узнать, я бы пошел к ним, сделался бы среди них самым благочестивым и снискал бы их доверие. А ведь ты, господин, провел в доме благородного Авла несколько недель, – я и это знаю, – так не можешь ли ты сообщить мне хоть что-нибудь?

– Не могу, – сказал Виниций.

– Вы долго расспрашивали меня о разных вещах, милосердные господа, и я отвечал на ваши вопросы, позвольте же теперь и мне спросить вас. Не случалось ли тебе, почтенный трибун, видеть какие-нибудь статуэтки, жертвы или эмблемы, какие-нибудь амулеты на Помпонии или на твоей божественной Лигии? Не видел ли ты, чтобы они чертили друг другу какие-то знаки, понятные только им одним?

– Знаки? Погоди! Да! Однажды я видел, как Лигия начертила на песке рыбу.

– Рыбу? А-а-а! О-о-о! Один раз она это сделала или несколько?

– Один раз.

– И ты, господин, уверен, что она начертила… рыбу? О-о-о!

– Именно так! – ответил заинтригованный Виниций. – Неужели ты догадываешься, что это означает?

– Догадываюсь ли я?! – воскликнул Хилон.

И, отвешивая прощальный поклон, прибавил:

– Да осыплет вас обоих Фортуна поровну всеми своими дарами, достойнейшие господа.

– Скажи, чтобы тебе дали плащ! – бросил ему вслед Петроний.

– Улисс шлет тебе благодарность за Терсита, – ответил грек и, поклонясь вторично, удалился.

– Что ты скажешь об этом благородном мудреце? – спросил Виниция Петроний.

– Скажу, что он отыщет Лигию! – радостно воскликнул Виниций. – Но еще скажу, что, если бы существовало государство прохвостов, он мог бы там быть царем.

– Без сомнения. Надо мне завести с этим стоиком более короткое знакомство, ну а покамест я прикажу окурить после него атрий благовониями.

А Хилон Хилонид, запахнувшись в новый плащ, под складками его подбрасывал на ладони полученный от Виниция кошелек и наслаждался и тяжестью его, и звоном монет. Шел он не спеша, то и дело оглядываясь, не следят ли за ним из дома Петрония; миновав портик Ливии и дойдя до угла Вербиева склона, он повернул на Субуру.

«Надо пойти к Спору, – говорил он себе, – и совершить небольшое возлияние Фортуне. Наконец-то я нашел то, что давно искал. Он молод, вспыльчив, щедр, как кипрские рудники, и за эту лигийскую дурочку готов отдать половину состояния. Да, такого я искал с давних пор. Однако с ним надо быть начеку, складка между его бровями ничего хорошего не сулит. Ах, миром нынче правят волчьи выкормыши! Пожалуй, другого, Петрония, я меньше опасаюсь. О боги! Почему сводничество в наши времена куда доходнее, чем добродетель? Ха! Она тебе начертила на песке рыбу? Чтоб мне подавиться куском козьего сыру, если я знаю, что это означает! Но я непременно узнаю! А поелику рыбы живут в воде и искать в воде труднее, чем на суше, следовательно, за эту рыбу он мне заплатит особо. Еще один такой кошелек, и я смогу расстаться с нищенскою сумой и купить себе раба. А что бы ты сказал, Хилон, кабы я тебе посоветовал купить не раба, а рабыню? Я тебя знаю! Знаю, что согласишься! Если бы она была красивая, например, вроде Эвники, ты бы и сам рядом с нею помолодел, а заодно имел бы честный и верный заработок. Этой бедняжке Эвнике я продал две нитки из моего собственного старого плаща. Дурочка она, но если бы Петроний мне ее подарил, я бы ее взял. Да, да, Хилон сын Хилона! Ты потерял отца и мать! Ты сирота! Так купи же себе в утешение хотя бы рабыню. Ей, правда, надо где-то жить – ну что ж, Виниций снимет ей жилье, где и ты приютишься; ей надо одеться, значит, Виниций заплатит за ее наряды, и еще ей надо есть, значит, он будет ее кормить. Ох, какая трудная пошла жизнь! Где те времена, когда за один обол можно было получить столько бобов с салом, сколько вмещалось в двух горстях, или кусок козьей кровяной колбасы длиною в руку двенадцатилетнего отрока! А вот и этот ворюга Спор! В винной лавке скорее всего что-то узнаешь!»

С этими словами он вошел в лавку и спросил кувшин «темного»; заметив недоверчивый взгляд хозяина, он достал из мешочка золотую монету и положил ее на стол.

– Вот, Спор, – молвил Хилон, – нынче я трудился с Сенекой от зари до полудня, и мой друг одарил меня на прощанье.

Круглые глазки Спора при виде монеты еще больше округлились, и вмиг перед Хилоном оказалось вино. Грек, обмакнув в нем палец, начертил на столе рыбу.

– Ты знаешь, что это значит? – спросил он.

– Рыба? Чего там, рыба – это рыба!

– Ты глуп, хотя доливаешь столько воды в вино, что в нем могла бы оказаться и рыба. Это символ, на языке философов он означает «улыбка Фортуны». Если бы ты его разгадал, может быть, и тебя бы Фортуна одарила. Уважай философию, говорю тебе, не то я переменю винную лавку – мой личный друг Петроний давно уже уговаривает меня это сделать.

Глава XIV

Несколько дней Хилон нигде не появлялся. Виниций же, с тех пор как услыхал от Акты, что Лигия его любила, еще сильнее горел желанием ее найти и начал поиски на свой страх и риск – он не хотел, да и не смог бы просить помощи у императора, пребывавшего в тревоге по поводу болезни маленькой Августы.

Не помогли жертвоприношения в храмах, ни молебствия, ни обеты, не помогло врачебное искусство и всевозможные колдовские средства, к которым прибегали в отчаянии. Спустя неделю ребенок умер. Двор и Рим погрузились в траур. Император, который при рождении дочки сходил с ума от радости, теперь сходил с ума от горя: он заперся в своих покоях, два дня не принимал пищи и, хотя во дворце толпились сенаторы и августианы, спешившие выразить свое горе и соболезнование, не желал никого видеть. Сенат собрался на чрезвычайное заседание, на котором умершая девочка была провозглашена богиней; было решено соорудить ей храм и назначить для служения

ей особого жреца. А пока в память умершей приносили жертвы, отливали ее статуи из драгоценных металлов, и похороны ее были совершены с неслыханной торжественностью – народ дивился необузданным проявлениям скорби, которым предавался император; народ плакал с ним вместе, тянул руки за подачками, а главное, развлекался необычным зрелищем.

Петрония эта смерть встревожила. Весь Рим уже знал, что Поппея ее приписывает действию чар. Вслед за Поппеей это повторяли и врачи, которые таким образом могли оправдать тщетность своих усилий, и жрецы, чьи жертвоприношения оказались напрасными, и дрожавшие за свою жизнь знахари, и народ. Петроний теперь был даже рад тому, что Лигия сбежала; семье Авла он не желал зла, но он также беспокоился о благе своем и Виниция. Поэтому, как только убрали поставленный перед Палатином в знак траура кипарис, Петроний поспешил на прием, устроенный для сенаторов и августианов, дабы самому убедиться, насколько Нерон дал веру россказням о чарах, и предотвратить возможные последствия.

Зная Нерона, он также допускал, что тот, хотя сам в колдовство не верил, станет притворяться, будто верит, – чтобы заглушить свое горе, чтобы кому-нибудь отомстить и, наконец, чтобы пресечь предположения, будто боги начали его карать за злодейства. Петроний не допускал мысли, что император мог даже собственное дитя любить искренне и глубоко, хотя и изображал бурное чувство, зато ему было ясно, что скорбь свою Нерон будет преувеличивать. И он не ошибся. Нерон выслушивал утешительные речи сенаторов и всадников с каменным лицом, неподвижно устремив взор в одну точку, и было видно, что, если он и в самом деле страдает, его в то же время не покидает мысль о том, какое впечатление производит его скорбь на окружающих, и он позирует, подражая Ниобе[199], представляет сцену отцовской скорби, как если бы то выступал актер в театре. Но и тут он не мог долго выдержать позу безмолвной и словно окаменевшей печали – то и дело он приподнимал руку и как бы посыпал голову прахом земным, временами глухо стонал, а завидев Петрония, вскочил на ноги и трагическим тоном возгласил так, чтобы все могли его слышать:

– Увы! И ты повинен в ее смерти! Ведь по твоему совету проник в эти стены злой дух, который одним взглядом высосал жизнь из ее груди! Горе мне! Я хотел бы, чтобы очи мои не глядели на свет Гелиоса![200] Горе мне! Увы! Увы!

И, все повышая голос, он перешел на безудержный крик. Тогда Петроний, мгновенно решив поставить все на один бросок костей, вытянул руку, резко сдернул с шеи Нерона шелковый платок, который тот носил постоянно, и прикрыл им Нерону рот.

– Государь, – торжественно произнес Петроний, – сожги с горя Рим и мир, но сохрани нам твой голос!

Присутствующие опешили, сам Нерон опешил на миг, один Петроний стоял с невозмутимым видом. Он хорошо знал, что делает. Он помнил, что Терпносу и Диодору был дан строгий приказ прикрывать императору рот, если он, слишком повышая голос, подвергал его опасности.

– О император, – продолжал Петроний столь же торжественно и печально, – мы понесли безмерную утрату, так пусть же останется нам в утешение хоть это сокровище.

Лицо Нерона задергалось, еще минута, и из его глаз потекли слезы; он вдруг положил руки на плечи Петронию и, припав головою к его груди, стал, всхлипывая, повторять:

– Ты один из всех об этом подумал, ты один, Петроний! Ты один!

Тигеллин пожелтел от зависти, а Петроний сказал:

– Поезжай в Анций. Там она появилась на свет, там снизошла на тебя радость, там снизойдет исцеление. Пусть морской воздух освежит твое божественное горло, пусть грудь твоя вдохнет соленую влагу. Мы же, преданные твои друзья, последуем за тобою повсюду, и, если мы будем уте-

[199] *Ниоба* – в греческой мифологии дочь царя Тантала, супруга фиванского царя Амфиона. Имея много детей (по наиболее распространенной версии мифа, семь сыновей и семь дочерей), Ниоба возгордилась перед матерью Аполлона и Артемиды богиней Лето (Латоной). В отместку Аполлон и Артемида поразили всех детей Ниобы, которая от горя окаменела.

[200] *Гелиос* – в греч. мифологии бог солнца.

шать твою печаль дружбой, ты нас утешишь песней.

– Да, – жалобно ответил Нерон, – я напишу гимн в ее честь и сочиню к нему музыку.

– А потом отправишься искать солнечного тепла в Байях.

– А потом – забвения в Греции!

– На родине поэзии и песни!

И каменно тяжелое, мрачное настроение владыки постепенно рассеивалось, как рассеиваются тучи, закрывающие солнце. Завязалась беседа, вначале еще как бы полная грусти, но также и всяческих замыслов на будущее – о путешествиях, артистических выступлениях, даже о торжествах по случаю прибытия царя Армении Тиридата[201]. Тигеллин попытался было еще раз упомянуть о чарах, но Петроний, уже уверенный в победе, открыто принял вызов.

– Думаешь ли ты, Тигеллин, – сказал он, – что колдовство может вредить богам?

– Сам император о нем говорил, – возразил придворный.

– Это горе говорило; а не император, но что об этом думаешь ты?

– Да, боги слишком могущественны, чтобы им мог быть опасен сглаз.

– Будешь ли ты отрицать божественность императора и его семьи?

– Peractum est[202], – пробурчал стоявший рядом Эприй Марцелл[203], повторяя возглас народа в цирке, когда гладиатор на арене получал такой удар, что добивать уже не требовалось.

Тигеллин подавил свою ярость. Между ним и Петронием существовало давнее соперничество за милость Нерона – преимущество Тигеллина было в том, что перед ним Нерон ни в чем не стеснялся, но при всякой стычке Петроний до сих пор побеждал его своим умом и находчивостью.

Так произошло и теперь. Тигеллин умолк и лишь отмечал в уме тех сенаторов и всадников, которые, едва Петроний удалился в глубину зала, сразу его окружили, полагая, что после случившегося он непременно будет первым любимцем императора.

Покинув дворец, Петроний направился к Виницию и рассказал ему о своем столкновении с императором и с Тигеллином.

– Я отвел опасность не только от Авла Плавтия и Помпонии, а заодно и от нас обоих, но даже от Лигии – теперь ее не станут разыскивать, хотя бы потому, что я убедил эту меднобородую обезьяну ехать в Анций, а оттуда в Неаполис или в Байи. И он поедет, ведь в Риме он доныне не решался выступать публично в театре, и я знаю, что он уже давно собирается выступить в Неаполисе. Потом он мечтает о Греции, ему хочется там петь во всех больших городах и, собрав все поднесенные ему греками венки, совершить триумфальный въезд в Рим. Тем временем мы сможем свободно искать Лигию и надежно ее спрятать. А как наш благородный философ? Он с тех пор не приходил?

– Твой благородный философ обманщик. Нет, не приходил, не появлялся и уже не появится!

– А я лучшего мнения если не о его честности, то о его уме. Он один раз уже пустил кровь твоему кошельку и явится хотя бы для того, чтобы пустить ее во второй раз.

– Пусть остерегается, как бы я не пустил кровь ему!

– Не делай этого, будь с ним терпелив, пока не убедишься в обмане. Денег больше не давай, но обещай щедрую награду, если он принесет тебе надежные сведения. Предпринял ли ты что-нибудь сам?

– Два моих вольноотпущенника, Нимфидий и Демас, ищут ее с отрядом в шестьдесят человек. Тому из рабов, кто ее обнаружит, обещана свобода. Кроме того, я разослал гонцов на все дороги, ведущие из Рима, чтобы они спрашивали в гостиницах о лигийце и о девушке. Я и сам брожу по городу днем и ночью, надеясь на счастливый случай.

– Если что узнаешь, сообщи мне сразу, потому что я должен ехать в Анций.

---

[201] По условиям мирного договора Тиридат должен был получить царский венец из рук Нерона.

[202] Готов! *(лат.)*

[203] *Эприй Марцелл Тит Клавдий* – приближенный Нерона, известный доносчик. Покончил с собой в 79 г., будучи обвинен в заговоре против Веспасиана.

– Хорошо.

– А если когда-нибудь, проснувшись поутру, ты скажешь себе, что не стоит ради одной девушки терзать себя и тратить столько усилий, тогда приезжай в Анций. Там не будет недостатка ни в женщинах, ни в развлечениях.

Виниций начал кружить по комнате быстрыми шагами. Петроний некоторое время наблюдал за ним и наконец спросил:

– Скажи мне искренне – не как пылкий юнец, который сам себе что-то внушил и сам себя распаляет, но как разумный человек, отвечающий на вопрос друга: всегда ли тебе Лигия одинаково дорога?

Виниций на минуту остановился и глянул на Петрония так, словно никогда его прежде не видел, потом опять начал ходить. Было видно, что он старается сдержать вспышку. Наконец от сознания своего бессилия, от горя, гнева и неодолимой тоски на его глаза навернулись две слезы, которые все объяснили Петронию убедительней, чем самые красноречивые признания.

И, немного подумав, Петроний сказал:

– Вселенную несет на своих плечах не Атлант[204], а женщина, и порой играет ею как мячом.

– Ты прав! – сказал Виниций.

Они стали прощаться. Но в эту минуту вошел раб с известием, что в прихожей ждет Хилон Хилонид, который просит допустить его пред очи господина.

Виниций приказал тотчас впустить.

– Ну что? – сказал Петроний. – Не говорил я тебе? Клянусь Геркулесом! Ты только сохраняй спокойствие, иначе он возьмет верх над тобою, а не ты над ним.

– Привет и почет благородному военному трибуну и тебе, господин! – молвил Хилон, войдя в комнату. – Да будет ваше счастье равно вашей славе, а слава да обойдет весь мир, от столбов Геркулесовых до границ земли Аршакидов[205].

– Привет тебе, законодатель добродетели и мудрости! – ответствовал Петроний.

Виниций с деланным спокойствием спросил:

– Что принес?

– В первый раз я принес тебе, господин, надежду, теперь же приношу уверенность, что девушка будет найдена.

– Это значит, что до сих пор ты ее не нашел?

– Да, господин, но я нашел, что означает знак, который она начертила; я знаю, кто те люди, что ее отбили, и знаю, среди приверженцев какого божества надобно ее искать.

Виниций хотел было вскочить со стула, на котором сидел, но Петроний положил ему руку на плечо и, обращаясь к Хилону, сказал:

– Продолжай!

– Вполне ли ты уверен, господин, что девушка начертила на песке рыбу?

– Вполне! – хмуро подтвердил Виниций.

– Так, значит, она христианка, и отбили ее христиане.

Наступила пауза.

– Послушай, Хилон, – сказал наконец Петроний. – Мой родственник назначил тебе за отыскание девушки изрядную сумму денег, но также не менее изрядное количество розог, если ты вздумаешь его обманывать. В первом случае ты сможешь купить себе не одного, а трех писцов, во втором же философия всех семерых мудрецов с твоею в придачу не послужит тебе спасительным бальзамом.

– Девушка эта – христианка, господин! – воскликнул грек.

– Подумай-ка, Хилон. Ты же человек неглупый! Мы знаем, что Юлия Силана вместе с Каль-

[204] *Атлант* – в греческой мифологии титан, брат Прометея. После поражения титанов в борьбе с олимпийскими богами Атлант был принужден поддерживать небесный свод на крайнем западе, близ сада Гесперид.

[205] *Аршакиды* – парфянская династия. Т.е. от Гибралтарского пролива до Парфии. *Геракловы столбы* – по преданию, две каменные стелы, которые Геракл установил на берегах пролива, отделяющего Европу от Африки.

вией Криспиниллой обвинили Помпонию Грецину в приверженности христианскому суеверию, но мы также знаем, что домашний суд снял с нее этот навет. Неужели ты хочешь теперь снова его вспомнить? Неужели ты хотел бы нас убедить, будто Помпония, а с нею вместе Лигия, могут принадлежать к врагам рода человеческого, к отравителям фонтанов и колодцев, к почитателям ослиной головы, к людям, которые убивают детей и предаются самому гнусному разврату? Подумай, Хилон, как бы этот тезис, который ты нам высказываешь, не отразился в виде антитезиса на твоей спине.

Хилон развел руками, показывая, что он не виноват.

– Попробуй, господин, – предложил он, – произнести по-гречески следующую фразу: Иисус Христос, бога сын, спаситель.

– Ладно. Сказал. Ну и что?

– А теперь возьми первые буквы каждого из этих слов и сложи так, чтобы получилось одно слово.

206

– Рыба! – удивленно сказал Петроний.

– Вот почему рыба стала символом христиан, – с гордостью сообщил Хилон.

Воцарилось минутное молчание. В рассуждении грека было что-то настолько необычное, что оба друга не могли оправиться от удивления.

– Виниций, – спросил Петроний, – а ты не ошибаешься? Лигия действительно начертила рыбу?

– Клянусь всеми богами подземного царства, тут можно рехнуться! – запальчиво вскричал молодой человек. – Если бы она начертила птицу, я сказал бы, что птицу!

– Стало быть, она христианка, – повторил Хилон.

– Это означает, – сказал Петроний, – что Помпония и Лигия отравляют колодцы, убивают схваченных на улице детей и предаются разврату! Вздор! Ты, Виниций, больше жил в их доме, я же там был недолго, но я достаточно знаю и Авла и Помпонию, даже Лигию знаю настолько, чтобы сказать: клевета и вздор! Если рыба – символ христиан, что и впрямь трудно отрицать, и если обе они христианки, тогда – клянусь Прозерпиной![207] – христиане, очевидно, совсем не то, чем мы их считаем.

– Ты рассуждаешь, как Сократ, господин, – отвечал Хилон. – Разве кто-нибудь пытался понять христиан? Пытался ознакомиться с их учением? Три года тому назад, когда я шел из Неаполиса сюда в Рим, – о, зачем я там не остался! – в пути присоединился ко мне некий лекарь по имени Главк, про которого говорили, будто он христианин, но, несмотря на это, я убедился, что он был добрый и честный человек.

– Не от этого ли доброго и честного человека ты теперь узнал, что означает рыба?

– Увы, господин! По дороге, в гостинице, кто-то ударил почтенного старика ножом, а его жену и ребенка увели работорговцы – защищая их, я и потерял эти два пальца. Но, говорят, у христиан то и дело случаются чудеса, и я питаю надежду, что они у меня отрастут.

– Как так? Ты стал христианином?

– Со вчерашнего дня, господин! Со вчерашнего дня! Им сделала меня эта рыба. Видишь, какая все-таки в ней сила! И через несколько дней я буду самым ревностным из ревностных, чтобы они меня допустили ко всем своим тайнам, а когда меня допустят ко всем тайнам, я буду знать, где прячется девушка. Тогда, возможно, мое христианство окажется для меня доходнее моей философии. Я также принес обет Меркурию[208], что, если он мне поможет найти девушку, я принесу

---

[206] Слово «рыба» (греч. ichthys) складывалось из начальных букв греческих слов I(esoys) Ch(ristos), Th(eoy) Hy(ios), S(oter). Изображение рыбы было наиболее употребимым криптографическим знаком среди ранних христиан.

[207] *Прозерпина* – римская богиня царства мертвых, дочь Цереры; тождественна греческой Персефоне, дочери Деметры.

[208] *Меркурий* – римский бог торговли, покровитель путешественников; тождествен греческому Гермесу.

ему в жертву двух телок одного возраста и роста, которым прикажу вызолотить рога.

– Выходит, твое однодневное христианство и твоя более давняя философия разрешают тебе верить в Меркурия?

– Я всегда верю в то, во что мне выгодно верить, и в этом состоит моя философия, которая Меркурию должна быть особенно по вкусу. К сожалению, вы ведь знаете, милосердные господа, какой это подозрительный бог. Он не доверяет обетам даже самых безупречных философов и, наверно, предпочел бы получить телок наперед, а ведь это огромный расход. Не каждый человек – Сенека, и мне этого не осилить, но если бы благородный Виниций соизволил в счет той суммы, которую он мне обещал… сколько-нибудь…

– Ни обола, Хилон! – отрезал Петроний. – Ни обола! Щедрость Виниция превзойдет твои упования, но лишь тогда, когда Лигия будет найдена, то есть когда ты нам укажешь ее убежище. Придется Меркурию записать двух телок в твой кредит, хоть я не удивлюсь, что ему не захочется это делать, и в том усматриваю его ум.

– Выслушайте меня, достойные господа! Мое открытие чрезвычайно важно – хотя девушку я до сих пор не нашел, но нашел путь, на котором следует ее искать. Вы вот разослали вольноотпущенников и рабов по всему городу и провинции, а разве хоть один доставил вам какую-то весть? Нет! Один я доставил. И больше вам скажу. Среди ваших рабов могут быть христиане, о которых вы не знаете, – ведь суеверие это уже распространилось повсюду, – и они не помогать вам будут, а предадут вас. Худо даже то, что меня видят здесь, – посему ты, благородный Петроний, прикажи Эвнике молчать, а ты, равно благородный Виниций, всем говори, будто я продаю тебе мазь, которая, если помазать ею лошадей, приносит им победу в цирке. Я один буду искать ее, я один найду беглецов, а вы верьте мне и знайте – все, что я получу вперед, будет для меня только поощрением, ибо вселит надежду на большее и уверенность, что обещанная награда меня не минует. О да, как философ я презираю деньги, хотя их не презирают ни Сенека, ни даже Музоний или Корнут, а они все же не лишились пальцев, защищая других, и могут сами писать и передать свои имена потомству. Но, кроме раба, которого я собираюсь купить, и кроме Меркурия, которому я обещал телок – а вы знаете, как подорожал нынче скот, – сами розыски требуют больших расходов. Только имейте терпение выслушать меня. За эти несколько дней у меня от беспрерывного хождения сделались раны на ногах. Я заходил в винную лавку, чтобы поговорить с людьми, заходил к хлебопекам, к мясникам, к продавцам оливкового масла и рыбакам. Я обошел все улицы и переулки, побывал в убежищах беглых рабов, проиграл в мору около сотни ассов, посетил прачечные, сушильни и харчевни, посудачил с погонщиками мулов и с ваятелями, повидал людей, которые лечат мочевой пузырь и рвут зубы, беседовал с продавцами сушеных фиг, побывал на кладбищах – все это знаете зачем? А затем, чтобы повсюду чертить рыбу, смотреть людям в глаза и слушать, что они при этом знаке скажут. Долгое время я не мог ничего обнаружить, но как-то раз увидел у фонтана старого раба, он черпал ведрами воду и плакал. Подойдя поближе, я спросил, какова причина его слез. И когда мы уселись на каменном ободе фонтана, он мне рассказал, что всю жизнь копил сестерций по сестерцию, чтобы выкупить любимого сына, но его хозяин, некий Панса, завидев деньги, отобрал их у него, а сына так и оставил в неволе. «Вот я и плачу, – говорил старик, – и хотя твержу себе, что на все воля божия, но я, бедный грешник, не могу удержать слез». Тогда я, словно предчувствуя что-то, обмакнул палец в ведро и начертил рыбу. Старик на это сказал: «И моя надежда во Христе». Я тогда спросил: «Ты узнал меня по знаку?» Он ответил: «Именно так, мир тебе». Тут начал я тянуть его за язык, и добряк все мне выболтал. Его хозяин Панса – это вольноотпущенник великого Пансы[209], он доставляет по Тибру камень в Рим; рабы его и наемные работники сгружают камень с плотов и переносят его к строящимся домам ночью, чтобы днем не мешать движению на улицах. Среди них работает много христиан, работает и сын старика, но труд непосильный, поэтому старик и хотел его выкупить. А Пансе вздумалось и деньги забрать, и раба не отпустить. Рассказывая все это, старик опять заплакал, и я к его слезам прибавил свои, что мне

[209] Неточность. Речь может идти лишь о Гае Вибии Пансе, друге Цезаря, консуле 43 г. до н.э. Панса погиб в том же 43 г., т.е. более чем за 100 лет до описываемых событий.

было нетрудно сделать по доброте сердечной и из-за колотья в ногах, мучающего меня от неустанного хождения. Тут и я стал жаловаться, что вот уже много дней, как пришел из Неаполиса, а не знаю никого из братьев, не знаю, где они собираются для общей молитвы. Он удивился, что христиане в Неаполисе не дали мне писем к римским братьям, на что я ответил, будто письма у меня украли в пути. Тогда он сказал, чтобы я пришел ночью к реке, он меня познакомит с братьями, а уж те поведут меня в молитвенные дома и к старшим, которые управляют христианской общиной. Услыхав это, я так обрадовался, что дал ему сумму, необходимую для выкупа сына, – в надежде на то, что великодушный Виниций возместит мне ее вдвойне…

– Хилон, – перебил его Петроний, – в твоем рассказе ложь плавает на поверхности правды, как оливковое масло на воде. Ты принес важные сведения, я этого не отрицаю. Я даже готов утверждать, что на пути к отысканию Лигии сделан большой шаг, но не приправляй свои вести ложью. Как зовут старика, который тебе открыл, что христиане узнают друг друга при помощи знака рыбы?

– Эвриций, господин, зовут его. Бедный, несчастный старик! Он напомнил мне лекаря Главка, которого я защищал от убийц, и этим меня особенно тронул.

– Я верю, что ты с ним познакомился и что ты сумеешь из этого знакомства извлечь пользу, но денег ты ему не давал. Ты не дал ему ни асса, не лги! Ничего не дал!

– Но я помог ему таскать ведра и о его сыне говорил с величайшим сочувствием. Ты прав, господин! Может ли что-нибудь укрыться от проницательности Петрония? Да, я не дал ему денег, вернее, дал, но только в душе, в мыслях, и, будь он истинным философом, этого ему должно было быть достаточно. Дал же я их потому, что признал такой поступок необходимым и выгодным, – сам посуди, господин, как бы он сразу привлек ко мне всех христиан, как расположил бы их сердца и какое доверие внушил.

– Разумеется, – сказал Петроний, – ты должен был это сделать.

– Для того-то я и пришел сюда, чтобы иметь возможность это сделать.

– Прикажи отсчитать ему пять тысяч сестерциев, – сказал Петроний, обращаясь к Винипию, – но только в душе, в мыслях…

Однако Виниций сказал:

– Я дам тебе мальчика, который понесет нужную сумму, а ты скажешь Эврицию, что мальчик этот – твой раб, и отсчитаешь при нем деньги старику. Но поскольку ты нынче принес важную новость, такую же сумму ты получишь для себя. Приходи за деньгами и за мальчиком сегодня вечером.

– Ты – истинный император! – сказал Хилон. – Позволь, господин, посвятить тебе мое сочинение, но также позволь сегодня вечером прийти только за деньгами. Эвриций сказал мне, что все плоты уже разгружены, а новые пригонят из Остии лишь через несколько дней. Мир с вами! Так прощаются христиане. Куплю себе рабыню, то бишь раба. Рыбы попадаются на удочку, а христиане на рыбу. Pax vobiscum! Pax!.. Pax!.. Pax!..[210]

Глава XV

Петроний – Винипию:

«Посылаю тебе из Анция с надежным рабом это письмо, на которое, надеюсь, – хотя рука твоя более привычна к мечу и щиту, чем к стилю, – ты не мешкая пришлешь ответ с тем же нарочным. Я оставил тебя на верном пути, полного надежд, и полагаю, что ты либо уже утолил сладостную жажду в объятьях Лигии, либо утолишь ее прежде, нежели настоящий зимний ветер повеет на Кампанию с вершин Сорактa. О мой Виниций! Да будет твоею наставницей золотая богиня Кипра, а тебе желаю быть наставником этой лигийской Авроры, что сбежала от солнца любви. И всегда помни, что мрамор, пусть самый дорогой, ничего не стоит, и что истинную ценность он получает лишь тогда, когда его превратит в чудо искусства рука ваятеля. Будь же таким ваятелем,

[210] Мир с вами! Мир!.. Мир!.. Мир!.. *(лат.)*

carissime[211]! Недостаточно только любить, надо уметь любить и надо уметь научить любви. Ведь наслаждение испытывает и плебей, и даже животные, но настоящий человек тем собственно от них и рознится, что обращает любовь как бы в благородное искусство и, наслаждаясь ею, знает об этом, осознает божественную ее сущность и тем самым насыщает не только тело, но и душу. Когда я тут размышляю о тщете, ненадежности и скуке нашей жизни, мне нередко приходит на ум, что, возможно, ты сделал лучший выбор и что не императорский двор, но война и любовь – вот две единственные вещи, ради которых стоит родиться и жить.

В ратных делах ты был счастлив, пусть будет так же и в любви, а если ты хочешь знать, что делается при дворе, я время от времени буду тебе об этом сообщать. Итак, мы сидим здесь, в Анции, и лелеем наш небесный голос, однако нас не покидает ненависть к Риму, и мы собираемся на зиму ехать в Байи, чтобы публично выступить в Неаполисе, жители коего, подобно грекам, лучше сумеют нас оценить, нежели обитающее на берегах Тибра потомство волчицы.[212] Нахлынет народ из Байев, из Помпей, из Путеол, из Кум, из Стабий[213], в рукоплесканиях и венках недостатка не будет, и это поддержит нас в намерении отправиться в Ахайю[214].

А как же с памятью о маленькой Августе? О да, мы все еще ее оплакиваем. Мы поем гимны собственного сочинения, да такие чудесные, что сирены от зависти попрятались в самых глубоких гротах Амфитриты[215]. Вместо них могли бы нас слушать дельфины, но этим мешает шум моря. Скорбь наша доныне не утихла, и мы показываемся во всех позах, коим учит ваяние, причем внимательно следим, к лицу ли нам скорбь и способны ли зрители эту красоту понять. Ах, дорогой мой! Мы и умрем шутом и комедиантом.

Здесь находятся все августианы и августианки, не считая пятисот ослиц, в молоке которых купается Поппея, да десяти тысяч слуг. Иногда бывает весело. Кальвия Криспинилла стареет, она, говорят, упросила Поппею разрешить ей принимать ванну сразу после божественной. Нигидия получила пощечину от Лукана, заподозрившего ее в связи с гладиатором. Спор проиграл в кости жену Сенециону. Торкват Силан предложил мне за Эвнику четырех лошадей каштановой масти, которые в этом году непременно выиграют. Я не согласился! А тебе я тоже благодарен за то, что ты ее принял. Еще о Торквате Силане[216] – бедняга и не догадывается, что он уже больше тень, нежели человек. Гибель его решена. А знаешь ли, в чем его вина? Он правнук божественного Августа. Спасенья для него нет. Таков наш мир!

Как тебе известно, мы здесь ждали Тиридата, а тем временем Вологез прислал оскорбительное письмо. Он, дескать, покорил Армению, а потому просит оставить ее за ним для Тиридата, а коли нет, он все равно ее не отдаст. Какая наглость! Вот мы и решили воевать. Корбулон получит такую власть, какую во времена войны с морскими разбойниками имел великий Помпей[217]. У Нерона все же было минутное колебание; он, видимо, опасается славы, которая в случае победы может достаться Корбулону. Было даже намерение предложить высшее командование нашему

---

[211] дражайший! *(лат.)*

[212] Т.е. римляне. По преданию, основатели Рима Ромул и Рем были вскормлены волчицей. В честь этого на Капитолии было установлено (в нач. V в. до н.э.) бронзовое изображение волчицы, сохранившееся до нашего времени.

[213] *Помпеи и Стабии* – городки в Кампании близ Везувия, погибшие при его извержении в 79 г.

[214] *Ахайя* – историческая область на севере п-ова Пелопоннес. В римскую эпоху – название всей Греции как римской провинции.

[215] *Амфитрита* – в греческой мифологии богиня моря, супруга Посейдона.

[216] *Децим Юний Торкват Силан*, консул 53 г., приходился Августу, как сообщает Тацит («Анналы», XV, 35), праправнуком; покончил с собой в 64 г., будучи обвинен в заговоре.

[217] *Помпей* (106–48 до н.э.) – выдающийся государственный деятель и полководец, противник Цезаря. В 67 г. получил для борьбы с пиратами чрезвычайные полномочия: право распоряжаться государственной казной, доходами провинций, назначать наместников и проч.

Авлу. Воспротивилась Поппея – добродетель Помпонии для нее что бельмо в глазу.

Ватиний сулил нам какие-то необыкновенные бои гладиаторов в Беневенте. Подумай, до чего доходят вопреки поговорке: ne sutor supra crepidam[218] – в наше время сапожники! Вителлий – потомок сапожника, а Ватиний – родной сын! Возможно, он сам еще сучил дратву! Вчера гистрион[219] Алитур превосходно изображал Эдипа. Я спросил у него как у иудея, одно ли и то же христиане и иудеи? Он ответил, что у иудеев религия древняя, а христиане – это новая секта, недавно возникшая в Иудее. Во времена Тиберия там распяли одного человека, приверженцы которого умножаются с каждым днем и считают его богом. Никаких других богов, особенно же наших, они как будто и знать не хотят. Не понимаю, чем бы это им повредило.

Тигеллин выказывает уже явную враждебность. Покамест он одолеть меня не может, однако у него надо мною есть одно преимущество. Он больше дорожит жизнью и вместе с тем больше подлец, чем я, что сближает его с Агенобарбом. Эти двое раньше или позже договорятся, и тогда настанет мой черед. Когда это произойдет, я не знаю, но раз когда-нибудь это все равно должно произойти, стоит ли тревожиться о сроке. А пока надо развлекаться. Жизнь, как она есть, была бы сносной, кабы не Меднобородый. Из-за него становишься иной раз самому себе противен. Напрасно рисуешь себе борьбу за его милости неким цирковым номером, игрою, соревнованием, победа в котором льстит самолюбию. Я, признаться, часто стараюсь так это себе представить, но порой мне кажется, что я живу, как тот Хилон, и ничем не лучше его. Кстати, когда он тебе будет не нужен, пришли его мне. Его поучительные речи пришлись мне по душе. Передай привет твоей божественной христианке, вернее, попроси ее от моего имени, чтобы она для тебя не была рыбой. Сообщи о своем здоровье, о любви, умей любить, научи любить и прощай!»

М.Г. Виниций – Петронию:

«Лигии до сих пор нет! Не будь у меня надежды, что скоро ее найду, ты бы не получил ответа – ведь когда жизнь противна, то и писать не хочется. Я решил проверить, не обманывает ли меня Хилон, и в ту ночь, когда он пришел за деньгами для Эврития, я накинул солдатский плащ и пошел крадучись вслед за ним и за мальчиком, которого дал ему в провожатые. Когда они прибыли на место, я, притаясь за столбом в порту, наблюдал за ними издали и убедился, что Эвриций не выдуманная фигура. Внизу, у реки, несколько десятков человек разгружали при свете факелов камень с большого плота и складывали его на берегу. Я видел, как Хилон подошел к ним и заговорил с каким-то стариком, который через минуту кинулся ему в ноги. Прочие окружили их, издавая возгласы удивления. На моих глазах мальчик отдал мешок Эврицию, а тот, схватив мешок, стал молиться с воздетыми кверху руками, и рядом с ним стоял на коленях еще кто-то, вероятно, его сын. Хилон говорил что-то еще, чего я не мог расслышать, и благословил обоих коленопреклоненных, а также всех остальных, чертя в воздухе знаки, напоминающие крест, – этот знак они, должно быть, чтят, ибо все стали на колени. Мне хотелось подойти к ним и пообещать три таких мешка тому, кто укажет, где Лигия, но я боялся испортить игру Хилону и, после минутного колебания, ушел.

Было это примерно дней через двенадцать после твоего отъезда. С тех пор Хилон был у меня несколько раз. Он сам мне сказал, что приобрел у христиан большой вес. Если он еще не нашел Лигию, говорит он, причина в том, что христиан в Риме уже несчетное множество, а потому не все они знают друг друга и не все осведомлены о том, что среди них происходит. Вдобавок они осторожны, неразговорчивы, но он ручается, что, как только доберется до старейшин, которых называют пресвитерами, он сумеет выведать у них все тайны. С несколькими пресвитерами он уже познакомился и пробовал их расспрашивать, но осторожно, чтобы не вызвать подозрений и не усложнить дело. Хотя ожидание мучительно и терпение иссякает, я чувствую, что он прав, и жду.

[218] Пусть сапожник судит не выше сапога *(лат.)*

[219] *Гистрион* – актер, комедиант. Эдип – в греческой мифологии сын фиванского царя Лая. Дельфийский оракул предсказал ему, что он убьет своего отца и женится на собственной матери Иокасте. История Эдипа была популярным сюжетом греческой трагедии.

Мне уже известно и то, что для молитв сообща у них имеются особые места, – некоторые за городскими воротами в пустых домах и даже в аренариях. Там они поклоняются Христу, поют и трапезуют. Таких мест есть много. По мнению Хилона, Лигия умышленно ходит не в те дома, где бывает Помпония, чтобы в случае суда и допроса та смело могла поклясться, что не знает, где скрывается Лигия. Эту предосторожность, возможно, Лигии подсказали пресвитеры. Когда Хилон разузнает все эти места, я буду ходить с ним вместе и, коль боги позволят мне увидеть Лигию, клянусь тебе Юпитером, что на сей раз она из моих рук не ускользнет.

Непрестанно думаю об этих местах молитвы. Хилон не хочет, чтобы я с ним ходил. Он боится, но я не в силах сидеть дома. Я сразу ее узнаю, даже переодетую, даже за завесой. Собираются они по ночам, но я ее узнаю и ночью. Я всюду узнал бы ее голос, ее движения. Пойду переодетый и буду разглядывать каждого, кто входит или выходит. Я все время о ней думаю, стало быть, узнаю. Завтра Хилон должен зайти за мной, и мы пойдем. Я возьму с собой оружие. Несколько моих рабов, посланных в провинцию, вернулись ни с чем. Но теперь я уверен, что она здесь, в городе, и, возможно, даже недалеко. Я сам обошел немало домов под предлогом, будто хочу нанятся служить. У меня ей будет во сто раз лучше, ведь там ютится сплошная голытьба. Я же ничего для нее не пожалею. Ты пишешь, что я сделал хороший выбор: да, выбрал хлопоты и терзания. Сперва мы пойдем в те дома, которые в городе, а потом уж за ворота. Надежда каждое утро чем-то манит, иначе было бы невозможно жить. Ты говоришь, что надо уметь любить; прежде я умел говорить Лигии о любви, но теперь лишь тоскую, лишь жду прихода Хилона, и находиться дома для меня невыносимо. Прощай!»

Глава XVI

Однако Хилон довольно долго не появлялся. Виниций уже просто не знал, что думать. Напрасно он убеждал себя, что, если хочешь добиться надежного успеха, поиски надо вести не торопясь. Пылкая его кровь, порывистая натура противились голосу разума. Ничего не делать, ждать, сидеть сложа руки было настолько противно его нраву, что он с этим никак не мог примириться. Хождение по городским закоулкам в темном плаще раба было явно бессмысленным – он понимал, что это лишь попытка обмануть собственную бездеятельность, и успокоения она не приносила. Вольноотпущенники его, люди бывалые, вели, по его приказу, самостоятельные поиски, но оказывались куда менее дельными, чем Хилон. А тем временем, вместе с любовью к Лигии, пробудился в Виниции еще азарт игрока, жаждущего выиграть. Виниций всегда был таков. С юных лет он привык добиваться желаемого с необузданностью человека, не понимающего, что его может ждать неудача и что придется от чего-то отказаться. Правда, военная дисциплина на время усмирила его своеволие, но заодно внушила убеждение, что всякий приказ нижестоящим должен быть исполнен, а долгое пребывание на Востоке, среди людей угодливых и привычных к рабской покорности, лишь укрепило его в мнении, что для его «хочу» нет пределов. Поэтому тяжко страдало теперь и его самолюбие. Во всех этих препятствиях, в сопротивлении, в самом бегстве Лигии было для Виниция нечто непонятное, какая-то загадка, над которой он мучительно ломал себе голову. Он чувствовал, что Акта сказала правду и что он Лигии не был безразличен. Но если так, почему ж она предпочла скитания и нищету его любви, его ласкам, пребыванию в его роскошном доме? Ответа на этот вопрос он не находил, только мало-помалу начинал смутно ощущать, что между ним и Лигией и их понятиями, между миром его и Петрония и миром Лигии и Помпонии Грецины существует различие и непонимание, глубокое, как пропасть, которую ему не под силу заполнить и сгладить. Временами ему казалось, что он Лигию потеряет, и при этой мысли его покидали те остатки хладнокровия, которые пытался в нем поддержать Петроний. В иные мгновения он сам не знал, любит он Лигию или ненавидит, а понимал лишь то, что должен ее найти, и предпочел бы, чтобы земля его поглотила, нежели ему не видеть ее и не завладеть ею. В воображении своем Виниций иногда видел ее так отчетливо, будто она стояла перед ним; он вспоминал каждое слово, им сказанное ей и от нее услышанное. Он ощущал ее рядом, на своей груди, в своих объятьях, и тогда желание, как пламя, возгоралось в нем. Он любил ее, призывал ее. А при мысли, что он был любим и что она могла бы по доброй воле исполнить все, чего он от нее желал, его охва-

тывала глубокая, неодолимая печаль, и беспредельная нежность волнами затопляла сердце. Но бывали также минуты, когда, бледнея от бешенства, он упивался мечтами о том, какие унижения и муки причинит Лигии, когда ее найдет. Ему хотелось не только владеть ею, но видеть ее униженной, покорной рабыней, и вместе с тем он сознавал, что, если бы у него был выбор – стать ее рабом или никогда в жизни больше ее не увидеть, – он бы предпочел быть ее рабом. А в иные дни он с наслаждением представлял себе следы, какие оставила бы на ее розовом теле плеть, и то, как он целовал бы эти следы. И часто ему приходило на ум, что он был бы счастлив, если бы мог ее убить.

От таких терзаний, грез, сомнений и тоски он совсем извелся и даже подурнел лицом. И с челядью своей стал обращаться сурово и жестоко. Его рабы, даже вольноотпущенники, приближались к нему с трепетом, а так как немилосердные и несправедливые наказания сыпались без всякой причины, в их сердцах пробудилась тайная ненависть. Виниций же, чувствуя это и сознавая свое одиночество, мстил им с удвоенной яростью. Только в обращении с Хилоном он себя сдерживал, опасаясь, как бы тот не прекратил поиски, а грек, смекнув это, все уверенней подчинял его волю и становился все более требовательным. Сперва он в каждый свой приход уверял Виниция, что дело пойдет легко и быстро, теперь же стал придумывать всяческие трудности и, хотя по-прежнему ручался в успехе поисков, не скрывал, что продолжаться они будут еще немало.

И вот, после долгих дней ожидания, Хилон наконец явился с таким мрачным лицом, что Виниций при виде его побледнел и, бросившись навстречу, едва нашел силы спросить:

– Ее нет среди христиан?

– Ты угадал, господин, – отвечал Хилон, – но зато я нашел среди них лекаря Главка.

– О чем ты говоришь? Кто это такой?

– Ты, видно, забыл, господин, про старика, с которым я шел из Неаполиса в Рим и защищая которого лишился этих двух пальцев, отчего не могу держать в руке стиль. Разбойники, захватившие его жену и детей, пырнули его ножом. Я оставил его умирающим в гостинице возле Минтурн и долго его оплакивал. Увы! Я убедился, что он до сих пор жив и состоит в христианской общине Рима.

Виниций, все еще не понимая, к чему клонит Хилон, понял только, что этот Главк, видимо, почему-то является помехой в поисках Лигии. Подавив закипающий в нем гнев, Виниций заметил:

– Если ты его защищал, он должен быть тебе благодарен и помогать.

– Ах, достойный трибун! Даже боги не всегда бывают благодарны, что уж говорить о людях! Да, разумеется, он должен бы мне быть благодарен. К сожалению, у старика ум слабоват, да еще затуманен годами и горестями, по этой причине он не только не благодарен мне, но, как узнал я от его единоверцев, обвиняет меня в том, будто я сговорился с разбойниками и будто я виновник его несчастий. Вот и награда мне за мои два пальца!

– Я уверен, негодяй, что так и было, как он говорит, – сказал Виниций.

– Тогда тебе известно больше, чем ему, господин, – с достоинством возразил Хилон. – Он-то лишь предполагает, что так было, однако это не помешало бы ему созвать христиан и жестоко мне отомстить. И он наверняка сделал бы так, а они наверняка бы ему помогли. К счастью, он не знает моего имени, а в молитвенном доме, где мы встретились, он меня не заметил. Я-то сразу его признал и в первую минуту хотел броситься ему на шею. Удержало только благоразумие да привычка взвешивать каждый шаг. И вот, выйдя из молитвенного дома, я стал расспрашивать о нем, и те, кто его знает, сказали, что это, мол, человек, которого предал его дорожный спутник, когда они шли из Неаполиса. Иначе мне бы и невдомек было, что он такое рассказывает.

– Какое это имеет для меня значение! Говори, что ты видел в молитвенном доме?

– Для тебя это не имеет значения, господин, но для меня имеет, причем как раз такое, как собственная моя шкура. И поскольку я желал бы, чтобы мое учение пережило меня, я предпочитаю отказаться от обещанной тобою награды, чем рисковать жизнью ради ублажения мамоны, без которой я как истинный философ тоже сумею и жить, и искать божественную истину.

Но тут Виниций, приблизясь к нему с угрожающим выражением лица, заговорил приглушенным голосом:

– А кто тебе сказал, будто смерть от руки Главка поразит тебя быстрее, чем от моей руки?

Откуда ты знаешь, собака, что тебя через минуту не закопают в моем саду?

Хилон, который был трусом, взглянул на Виниция и вмиг понял, что еще одно неосторожное слово, и он погиб бесповоротно.

– Я буду ее искать, господин, и я ее найду! – поспешно воскликнул он.

Наступила тишина, в которой слышалось лишь учащенное дыхание Виниция да отдаленное пенье трудившихся в саду рабов.

Только когда грек убедился, что молодой патриций несколько успокоился, он заговорил снова.

– Смерть прошла рядом со мною, но я смотрел на нее столь же спокойно, как Сократ.[220] Нет, господин, я не говорил, что отказываюсь искать девушку, я только хотел сказать, что теперь поиски связаны для меня с большой опасностью. Ты вот сомневался, существует ли на свете Эвриций, и, хотя убедился собственными глазами, что сын моего отца говорил тебе правду, теперь ты считаешь, будто я выдумал Главка. Увы, если бы он был только моим вымыслом, если бы я мог, как прежде, бывать у христиан, ничего не опасаясь, я бы за это отдал жалкую, старую рабыню, которую купил третьего дня, чтобы она заботилась обо мне, дряхлом и увечном. Но Главк жив, господин, и, если он меня увидит, ты уже меня не увидишь, и тогда кто тебе найдет девушку?

Тут он опять умолкнул и утер слезы, после чего продолжал:

– Но пока Главк жив, как мне ее искать, если каждую минуту я могу его встретить, а коль встречу, мне конец, и со мною вместе конец поискам.

– К чему ты клонишь? Как тут быть? И что ты намерен делать? – спросил Виниций.

– Аристотель учит нас, господин, что менее важное надлежит приносить в жертву более важному, а царь Приам говаривал, что старость – тяжкое бремя. Так вот – бремя старости и несчастий гнетет Главка уже давно и так немилосердно, что смерть будет для него благодеянием. И согласно Сенеке, что есть смерть, как не освобождение?

– Паясничай с Петронием, а не со мною, лучше скажи, чего ты хочешь.

– Ежели добродетель – это паясничанье, да позволят мне боги остаться паяцем навек. А хочу я устранить Главка, господин, ибо, пока он жив, и моя жизнь, и наши розыски под угрозой.

– Так найми людей, которые забьют его насмерть палками, а я им заплачу.

– Они с тебя сдерут, господин, а потом еще будут наживаться, угрожая выдать тайну. Разбойников в Риме – сколько песчинок на арене, но ты не поверишь, как они запрашивают, когда честному человеку необходимо нанять их бандитский нож. Нет, достойный трибун! А что будет, если стражи схватят убийц на деле? Они непременно сознаются, кто их нанял, и у тебя будут неприятности. А на меня они не укажут, потому что я им своего имени не открою. Ты неправ, что мне не доверяешь, – уж не говоря о моей расторопности, помни, что для меня дело тут идет еще о двух вещах – о собственной моей шкуре и о тобою обещанной награде.

– Сколько тебе надо?

– Мне нужна тысяча сестерциев. Сам посуди, господин, я ведь должен найти честных разбойников, таких, которые, получив задаток, не исчезли бы с ним вместе. За хорошую работу хорошая плата! Кое-что перепало бы и мне – чтобы осушить слезы, которые я пролью, скорбя по Главку. Призываю богов в свидетели того, как я его любил. Если нынче я получу тысячу сестерциев, через два дня его душа будет в Гадесе, и только там, если души сохраняют память и дар мышления, он узнает, как я его любил. Людей я найду сегодня же и объявлю им, что начиная с завтрашнего вечера я за каждый день жизни Главка вычитаю по сто сестерциев. Кстати, у меня возник некий замысел, который кажется мне совершенно надежным.

Виниций еще раз пообещал требуемую сумму, но запретил дальнейшие разговоры о Главке и стал спрашивать, какие другие новости принес Хилон, где он был за это время, что видел, что обнаружил. Но грек мог рассказать ему мало нового. Побывал он еще в двух молитвенных домах и внимательно ко всем присматривался, особенно к женщинам, но не заметил ни одной, которая бы-

[220] По сообщению Платона (Федон, 117, н.э.), Сократ, по приговору суда принявший в тюрьме яд, встретил смерть с исключительным самообладанием.

ла бы похожа на Лигию. Христиане уже видят в нем своего и, с тех пор как он выкупил сына Эврикия, почитают его как человека, идущего по стезе Христовой. Еще он узнал от них, что в Риме теперь находится великий их законоучитель, некий Павел из Тарса, заточенный в тюрьму по жалобе, поданной иудеями, и он, Хилон, намерен с этим Павлом познакомиться. Но больше всего порадовала его другая новость – что верховный жрец всей секты, который был учеником Иисуса и которому тот поручил управлять христианами во всем мире, тоже должен со дня на день прибыть в Рим. Разумеется, все христиане пожелают его увидеть и послушать его поучения. Состоятся многолюдные сборища, на которых и он, Хилон, будет присутствовать, – больше того, поскольку в толпе легко скрыться, он проведет туда и Виниция. Тогда-то они наверняка найдут Лигию. Если Главка убрать, это даже не будет связано с какой-либо опасностью. Отомстить, конечно, могут и христиане, но в общем люди они мирные.

Тут Хилон стал с известным удивлением рассказывать, что ни разу не видел, чтобы они предавались разврату, отравляли колодцы и фонтаны, вели себя как враги рода человеческого, чтили осла или питались мясом детей. Нет, нет, такого он не видал! Он, несомненно, найдет среди них и таких, что за деньги прикончат Главка, но, насколько ему известно, их учение преступлений не поощряет и, напротив, велит прощать обиды.

Виницию при этом вспомнилось то, что сказала ему у Акты Помпония Грецина, и вообще речи Хилона он слушал с радостью. Хотя чувство его к Лигии временами становилось похожим на ненависть, ему было приятно слышать, что учение, которому следовали и она и Помпония, не имеет в себе ничего преступного, гнусного. Но в душе его рождалось смутное предчувствие, что именно это учение, это неведомое ему, загадочное почитание Христа, создало преграду между ним и Лигией, – и он начинал страшиться этого учения и ненавидеть его.

Глава XVII

А Хилону и впрямь было важно убрать Главка, который, хотя лет насчитывал немало, отнюдь не был немощным стариком. В том, что Хилон рассказывал Виницию, была большая доля правды. Он когда-то был знаком с Главком, предал его, продал разбойникам, лишил семьи, имущества и выдал на смерть убийцам. Однако воспоминание об этих событиях его не тяготило, так как он оставил Главка умирающим не в гостинице, а на поле возле Минтурн, и не предвидел лишь одного – того, что Главк излечится от ран и явится в Рим. И когда Хилон увидел его в молитвенном доме, то действительно испугался и в первую минуту хотел отказаться от поисков Лигии. Но, с другой стороны, Виниций напугал его еще сильнее. Хилон понял, что придется выбрать между страхом перед Главком и преследованием и местью могущественного патриция, которому, конечно, придет на помощь другой, еще более могущественный, а именно Петроний. Рассудив это, Хилон перестал колебаться. Лучше иметь врагами людей маленьких, чем знатных, решил он, и, хотя трусливой его душе претили кровавые средства, он пришел к выводу, что Главка необходимо прикончить чужими руками.

Теперь надо было только найти таких людей, и к ним собственно относился тот план, на который он намекнул Виницию. Проводя ночи напролет в винных лавках, среди людей без крова, без чести и совести, Хилон легко мог бы отыскать молодцов, что взялись бы за любое дело, но еще легче было наткнуться на таких, которые, пронюхав про его деньги, начали бы свою работу с него или же, взяв задаток, выудили бы у него остальные монеты угрозой выдать в руки стражей. Впрочем, у Хилона с некоторых пор появилось отвращение к голытьбе, к омерзительным и внушающим страх типам, ютившимся в притонах Субуры или за Тибром. Меряя всех своей меркой и недостаточно глубоко узнав христиан и их учение, он полагал, что и среди них найдет послушное орудие. К тому же они казались ему более толковыми, и он решил обратиться к ним, представив дело таким образом, чтобы они взялись за него не только ради денег, но также из ревности к вере.

С этой целью он отправился вечером к Эврицию, зная, что тот предан ему всею душой и охотно окажет любую помощь. Однако осторожный по натуре Хилон и не думал открывать истинные свои замыслы, которые, конечно, оказались бы в вопиющем противоречии с верой старика в его добродетель и богобоязненность. Ему надо было только найти людей, готовых на все, и до-

говориться с ними о деле так, чтобы они ради самих себя свято хранили тайну.

Выкупив сына, старик Эвриций взял в аренду одну из лавчонок, которых видимо-невидимо возле Большого Цирка[221], и продавал там оливки, бобы, пресные лепешки и подслащенную медом воду приходившим на соревнования зрителям. Хилон застал его дома, старик прибирал в лавке, и гость, произнеся приветствие во имя Христа, сразу завел речь о деле, которое привело его к Эврицию. Как-никак он ведь оказал услугу старику и его сыну и надеется, что они отплатят ему благодарностью. Ему нужны два-три человека сильных и смелых, чтобы уберечь его от опасности, грозящей не только ему, но всем христианам. Он, конечно, человек бедный, потому что отдал почти все, что имел, Эврицию, но все же этим людям он бы заплатил при условии, что они будут ему доверять и точно исполнят все, что он им прикажет.

Эвриций и его сын Кварт слушали Хилона как своего благодетеля, чуть ли не коленопреклоненно. Оба сразу сказали, что готовы сделать все, чего он потребует, ибо верят, что муж столь праведный не может потребовать ничего такого, что не согласуется с учением Христа.

Хилон уверил их, что именно так обстоит дело, и, возведя глаза горе, сделал вид, будто молится, а на самом деле размышлял, не принять ли их предложение, что могло бы ему сберечь тысячу сестерциев. Но после минутного размышления он от этого отказался. Эвриций был стар и немощен – не столько от прожитых лет, сколько от забот и болезней; а Кварту минуло всего шестнадцать. Хилону же нужны были люди ловкие и, главное, сильные. Что ж до тысячи сестерциев, он надеялся, что возникший у него замысел поможет ему сэкономить большую часть этой суммы.

Старик и сын некоторое время настаивали, но, когда Хилон решительно отказал им, уступили.

– Я знаю пекаря Демаса, – сказал Кварт, – у него крутят жернова рабы и наемные работники. Один из этих работников такой сильный, что силы его хватило бы не то что на двоих, а на четверых, я сам видел, как он поднимал камни, которые не могли стронуть с места четыре человека.

– Ежели он человек богобоязненный и способный пожертвовать собою ради братьев, познакомь меня с ним, – сказал Хилон.

– Он христианин, – ответил Кварт. – У Демаса большинство работников христиане, господин. Есть там работники дневные и ночные, этот как раз из ночных. Если бы мы пошли сейчас, мы застали бы их за ужином и могли бы свободно с ними поговорить. Живет Демас возле Торговой пристани.

Хилон с готовностью согласился. Торговая пристань находилась у подножья Авентинского холма, а значит, недалеко от Большого Цирка. Идти туда можно было, не обходя холмов, вдоль реки, через Портик Эмилиев, что значительно сокращало путь.

– Стар я уже, – сказал Хилон, когда они вошли в колоннаду, – и порою память моя туманится. Вот, к примеру, наш Христос был предан одним из своих учеников, а имени предателя я что-то никак не могу вспомнить.

– Это Иуда, который повесился, господин, – отвечал Кварт, слегка удивляясь, как можно не помнить этого имени.

– Ах, да! Иуда! Благодарю тебя, – сказал Хилон.

И некоторое время они шли молча. Дойдя до Торговой пристани, уже закрытой, они миновали ее и, обогнув склады, из которых производились раздачи хлеба народу, повернули налево, к домам, тянувшимся вдоль Остийской дороги до холма Тестация и Хлебного Форума. Там они остановились у деревянного строения, из которого доносился стук жерновов. Кварт вошел внутрь, а Хилон, не любивший показываться многим людям сразу и опасавшийся, что злой рок может столкнуть его с Главком, остался на улице.

– Любопытно взглянуть на этого Геркулеса, что работает мельником, – говорил себе грек, поглядывая на ярко светившую луну. – Если он негодяй и человек умный, придется мне раскоше-

[221] Этот цирк, построенный, по преданию, еще Тарквинием Гордым, был расположен между Палатином и Авентином.

литься, но если он добродетельный христианин и дурак, то сделает даром все, чего я от него потребую.

Его размышления были прерваны Квартом, который вышел из дома с человеком, одетым в тунику, называвшуюся «экзомис», скроенную так, что правое плечо и правая грудь оставались обнаженными. В такой одежде, не препятствующей свободе движений, ходили обычно работники. Взглянув на силача, Хилон удовлетворенно вздохнул – в жизни не приходилось ему видеть таких рук и такой груди.

– Вот это и есть, – сказал Кварт, – тот брат, которого ты желал видеть.

– Да будет с тобою мир Христов, – молвил Хилон, – а ты, Кварт, скажи этому брату, заслуживаю ли я доверия, а потом ступай домой во имя божие, ибо не годится оставлять престарелого отца в одиночестве.

– Он святой человек, – сказал Кварт. – Он отдал все свое достояние, чтобы меня, ему не знакомого, выкупить из рабства. Да отплатит же ему за это господь наш спаситель наградой на небесах.

Услыхав эти слова, силач склонился и поцеловал Хилону руку.

– Как твое имя, брат? – спросил грек.

– При святом крещении, отче, мне дали имя Урбан.

– Урбан, брат мой, есть ли у тебя время, чтобы нам побеседовать не торопясь?

– Работа у нас начинается в полночь, а покамест нам только готовят ужин.

– Значит, времени достаточно, пойдем к реке, и там ты выслушаешь меня.

Они спустились к реке и присели на каменном парапете – кругом стояла тишина, которую нарушал лишь отдаленный стук жерновов да тихий плеск воды внизу. Хилон внимательно изучал лицо работника – хотя взгляд силача был угрюм и печален, как обычно у живших в Риме варваров, Хилону показалось, что выражение его лица говорит о добродушии и прямоте нрава.

«Да, конечно, – сказал он про себя, – это человек добрый и глупый, он убьет Главка бесплатно».

– Урбан, ты любишь Христа? – спросил Хилон.

– Люблю всей душой, всем сердцем, – отвечал работник.

– А братьев своих? А сестер, которые научили тебя истине и вере в Христа?

– Их я тоже люблю, отче.

– Тогда да пребудет с тобою мир.

– И с тобою, отче.

Опять наступила тишина – лишь вдалеке громыхали жернова, а внизу журчала вода.

Глядя на яркий диск луны, Хилон начал протяжно, приглушенным голосом говорить о смерти Христа. Говорил он как бы и не Урбану, а будто себе самому припоминал обстоятельства этой смерти или же поверял ее тайну спящему городу. В рассказе его было что-то волнующее и торжественное. Работник плакал, а когда Хилон, стеная, начал сетовать на то, что в минуту смерти спасителя не было никого, кто бы его защитил, пусть не от распятия, так хотя бы от издевательств солдат и иудеев, варвар сжал огромные свои кулаки, обуреваемый горем и сдерживая ярость. Сама смерть лишь умиляла его, но мысль о черни, глумящейся над пригвожденным к кресту агнцем, возмущала его простую душу и вызывала дикую жажду мести.

– Урбан, а знаешь ли ты, кто был Иуда? – внезапно спросил Хилон.

– Знаю, знаю! Но он же удавился! – воскликнул работник.

И в голосе его слышалось сожаление, что предатель уже сам покарал себя и не сможет попасть в его руки.

А Хилон продолжал:

– Ну а если бы он не удавился и если бы кто-нибудь из христиан повстречал его на суше или на море, не должен ли этот человек отомстить за муки, кровь и гибель спасителя?

– Всякий бы отомстил, отче!

– Мир тебе, верный раб агнца! Да, свои обиды надлежит прощать, но кто вправе прощать оскорбление бога? Увы, как змея порождает змею, злоба злобу и измена измену, так из яда Иудина родился другой предатель, и как тот выдал иудеям и римским солдатам спасителя, так и этот, жи-

вущий среди нас, хочет выдать волкам его овечек, и, если никто не помешает предательству, не раздавит заблаговременно голову змеи, всех нас ждет погибель, а вместе с нами погибнет и слава агнца.

Работник глядел на него в сильной тревоге, словно не совсем понимая то, что слышит. А грек, накинув на голову угол плаща, запричитал глухим, будто из-под земли исходившим голосом:

– Горе вам, слуги бога истинного, горе вам, христиане и христианки!

И снова наступило молчание, в котором слышались только стук жерновов, заунывное пенье работников да шум реки.

– Отче, – спросил наконец работник, – а кто этот предатель?

Хилон опустил голову. Кто предатель? Сын Иуды, порождение яда Иудина, он прикидывается христианином, ходит в молитвенные дома лишь для того, чтобы обвинить братьев пред лицом императора, – они, дескать, не желают признавать императора богом, отравляют фонтаны, убивают детей и хотят уничтожить этот город, чтобы камня на камне не осталось. Через несколько дней будет отдан приказ преторианцам схватить стариков, женщин и детей и казнить их, как недавно предали смерти рабов Педания Секунда. И все это будет делом рук того второго Иуды. Но если первого никто не покарал, никто ему не отомстил, никто не защитил Христа в час его мучений, так кто же покарает этого, кто раздавит змею прежде, чем его выслушает император, кто его уничтожит, кто защитит от погибели братьев и веру Христову?

Тут Урбан, сидевший на каменном парапете, вскочил на ноги и сказал:

– Я это сделаю, отче.

Хилон тоже поднялся. С минуту он смотрел на озаренное лунным светом лицо работника, потом поднял руку вперед и медленно положил ее на его голову.

– Ступай к христианам, – торжественно произнес грек, – иди в молитвенные дома и спрашивай братьев про лекаря Главка, а когда тебе его укажут, тогда, во имя Христово, убей его!

– Про Главка?.. – повторил работник, как бы стараясь закрепить это имя в памяти.

– Ты его знаешь?

– Нет, не знаю. Христиан в Риме тысячи, и не все друг друга знают. Но завтра к ночи соберутся в Остриане братья и сестры, все до единого, потому что прибыл в Рим великий апостол Христов и будет там поучать, – там братья укажут мне Главка.

– В Остриане? – спросил Хилон. – Это, кажется, за городскими воротами? Братья и сестры? Ночью? За воротами, в Остриане?

– Да, отче. Там наше кладбище, между Соляной дорогой и Номентанской[222]. А ты разве не знал, что там будет поучать великий апостол?

– Я два дня не был дома, потому и не получил его письмо, а где находится Остриан, я не знаю, потому что недавно приехал из Коринфа, я там возглавляю христианскую общину. Но все верно! И ежели Христос тебя вдохновил, ты, сын мой, пойдешь вечером в Остриан, найдешь там среди братьев Главка и убьешь его на обратном пути в город, за что тебе будут отпущены все грехи. А теперь да пребудет с тобою мир…

– Отче…

– Слушаю тебя, слуга агнца.

Лицо работника выражало сильное смущение. Вот недавно он убил человека, а может, и двух, а ведь учение Христово запрещает убивать. Правда, убил-то он, не себя обороняя, но ведь и это не дозволено! И не корысти ради, упаси бог! Сам епископ дал братьев ему на подмогу, но убивать не разрешал, а он убил нечаянно, потому что бог покарал его чрезмерной силой. И теперь он несет покаяние. Другие, вращая жернова, поют, а он, несчастный, все думает о своем грехе, о том, что агнца обидел. Сколько уже молитв прочитал, сколько слез пролил! Сколько раз просил у агнца прощения! И все равно чует его сердце, что еще недостаточно покаялся. А теперь вот он опять пообещал убить предателя… И правильно! Прощать можно только собственные обиды, а он убьет –

[222] Соляная дорога шла на северо-восток, к берегу Адриатического моря. Параллельная ей *Номентанская дорога*, проходя через небольшой город Номента (в 30 км от Рима), вскоре соединялась с Соляной.

хоть и на глазах у всех братьев и сестер, которые завтра будут в Остриане. Но только пусть Главка сперва осудят старейшины общины, епископ или апостол. Убить дело нехитрое, а предателя убить даже приятно, вроде как убить волка или медведя, но вдруг Главк погибнет безвинно? Как же ему брать на свою совесть новое убийство, новый грех, новую обиду агнцу?

– Для суда нет времени, сын мой, – возразил Хилон, – предатель либо прямо из Остриана поспешит к императору в Анций, либо спрячется в доме одного патриция, которому он оказывает услуги, но я дам тебе знак – когда убьешь Главка, ты этот знак покажешь, и епископ, и великий апостол благословят твой поступок.

С этими словами грек достал монету, вытащил из-за пояса нож и, нацарапав на сестерции знак креста, протянул его работнику.

– Вот приговор Главку и знак для тебя. Когда прикончишь Главка и покажешь это епископу, он отпустит тебе и то убийство, которое ты совершил нечаянно.

Работник невольно потянулся рукой к монете, но, видно, память о недавнем убийстве была слишком свежа, и он, как бы устрашась, вздрогнул.

– Отче, – сказал он с мольбою в голосе, – ты и вправду берешь на свою совесть это дело и ты сам слышал, как Главк предавал братьев?

Хилон понял, что надо дать какие-то доказательства, назвать имена, не то в душу великана может закрасться сомнение. И вдруг у него блеснула счастливая мысль.

– Послушай, Урбан, – сказал он, – я живу в Коринфе, но родом я с Коса и здесь, в Риме, учу вере Христовой одну рабыню с моей родины, зовут ее Эвника. Она служит вестипликой в доме приближенного императора, некоего Петрония. В том доме и слышал я, как Главк брался выдать всех христиан, а кроме того, обещал другому любимцу императора, Виницию, что отыщет для него среди христиан девушку…

Тут он остановился и с удивлением взглянул на работника, глаза Урбана вдруг вспыхнули, как глаза хищника, а лицо исказила гримаса неистового гнева и злобы.

– Что с тобою? – спросил грек почти с испугом.

– Ничего, отче. Завтра я убью Главка!

Хилон молчал, но немного погодя взял работника за плечи, повернул его так, чтобы свет луны падал прямо на его лицо, и вперил в него пристальный взгляд. Видимо, грек колебался – спрашивать ли еще, чтобы выведать все до конца, или же остановиться на том, что он уже узнал и о чем догадался.

В конце концов победила присущая ему осторожность. Хилон глубоко вздохнул раз-другой, затем опять возложил руку на голову работника и, произнося слова торжественно и четко, спросил:

– Так ты говоришь, при святом крещении тебя нарекли Урбаном?

– Да, отче.

– Тогда да пребудет с тобою мир, Урбан.

Глава XVIII

Петроний – Виницию:

«Плохо твое дело, carissime! Должно быть, Венера помутила твои мысли, отняла разум, память и способность думать о чем-либо ином, кроме любви. Прочитай когда-нибудь то, что ты написал мне в ответ на мое письмо, и ты увидишь, насколько ум твой стал равнодушен ко всему, что не есть Лигия, насколько он занят одной ею, постоянно возвращается к ней, кружа над нею, как ястреб над намеченной жертвой. Клянусь Поллуксом! Найди ее поскорее, иначе, если любовный жар не испепелит тебя, ты превратишься в египетского Сфинкса – он, говорят, полюбив бледную Исиду, стал ко всему глух, безразличен и ждет только ночи, чтобы смотреть на возлюбленную каменными своими очами.

Броди переодетый ночью по городу, посещай вместе с твоим философом молитвенные дома христиан. Все, что пробуждает надежду и убивает время, я готов одобрить. Но ради дружбы нашей прошу тебя об одном: я слышал, что Урс, раб Лигии, это человек силы необычайной, и я

прошу тебя нанять Кротона, тогда вы можете втроем ходить куда вам заблагорассудится. Это будет безопасней и разумней. Христиане, раз к ним принадлежат Помпония Грецина и Лигия, вероятно, не такие злодеи, какими их все считают, однако при похищении Лигии они показали, что, когда речь идет о какой-нибудь овечке из их стада, они шутить не любят. Если тебе случится увидеть Лигию, я знаю, ты не сможешь себя сдержать и захочешь тотчас ее увести, а как ты это сделаешь с помощью одного Хилона? Кротон же с этим справится, хотя бы ее охранял десяток таких лигийцев, как этот Урс. Не позволяй Хилону обирать тебя, но на Кротона денег не жалей. Это, пожалуй, лучший из всех советов, какие я могу тебе дать.

О маленькой Августе и о том, что она умерла от чар, здесь уже перестали говорить. Порой вспоминает о ней Поппея, но мысли императора поглощены теперь другим; к тому же, если верно, что божественная Августа опять в положении, так и у нее воспоминание о том ребенке исчезнет бесследно. Вот уже недели две как мы в Неаполисе, вернее, в Байях. Будь ты способен чем-либо интересоваться, слухи о нашей жизни здесь наверняка дошли бы до твоих ушей – я думаю, весь Рим только об этом и толкует. Мы прямо поехали в Байи, и там на нас сразу обрушились воспоминания о матери и угрызения совести. Но знаешь ли, до чего уже дошел Агенобарб? Даже убийство матери – это лишь тема для его стихов и предлог для разыгрывания шутовских трагических сцен. Прежде он испытывал угрызения лишь потому, что он трус. Теперь же, когда он убедился, что мир остался в его власти и что ни один бог не отомстил ему, он только притворяется терзающимся, чтобы возбуждать сочувствие к своей судьбе. Иногда он вскакивает ночью с постели, уверяя, что его преследуют Фурии, будит нас, озирается, становится в позы актера, играющего роль Ореста[223] – и притом дрянного актера, – декламирует греческие стихи и примечает, восхищаемся ли мы. А мы, конечно же, восхищаемся! И вместо того чтобы ему сказать: «Пошел спать, шут!», мы тоже настраиваемся на трагедийный лад и защищаем великого актера от Фурий. Клянусь Кастором! До тебя, во всяком случае, должно было дойти, что он уже выступал публично в Неаполисе. Собрали всех голодранцев греков из Неаполиса и ближних городов, от их дыхания арена наполнилась препротивными запахами чеснока и пота, и я благодарил богов, что сижу не в первых рядах с августианами, а нахожусь вместе с Агенобарбом за сценой. И поверишь ли, он трусил! В самом деле трусил! Он брал мою руку, прикладывал ее к своему сердцу, которое действительно билось учащенно. Он тяжело дышал и, когда надо было выходить, побледнел, как пергамент, и на лбу проступила испарина. А он ведь знал, что во всех рядах сидят преторианцы, что у них наготове палки, которыми при надобности они будут подогревать восторг публики. Но надобности не было. Ни одна стая обезьян из окрестностей Карфагена не сумела бы так выть, как выла эта голытьба. Уверяю тебя, запах чеснока был слышен и на сцене. А Нерон кланялся, прижимал руки к сердцу, посылал воздушные поцелуи и плакал. Потом прибежал за сцену, где мы стояли и ждали, и как пьяный завопил: «Чего стоят все триумфы в сравнении с этим моим триумфом!» А голытьба там еще выла и рукоплескала, зная, что хлопками этими добывает себе милости, подарки, угощенья, лотерейные тессеры и новые потехи с императором-шутом. Я даже не дивлюсь их рукоплесканиям – ведь такого прежде не видывали. А он ежеминутно повторял: «Вот что значит греки! Вот что значит греки!» И, кажется мне, его ненависть к Риму с тех пор еще усилилась. Разумеется, в Рим были посланы гонцы с сообщением о триумфе, и в ближайшие дни мы ждем благодарений сената. Сразу же после первого выступления Нерона произошел необычный случай – театр внезапно обрушился, но случилось это, когда люди уже вышли. Я был на месте происшествия и не видел, чтобы из развалин извлекли хоть один труп. Многие – даже среди греков – усматривают тут гнев богов за унижение достоинства императора, он же, напротив, утверждает, что это знак милости богов, несомненно опекающих и его пенье, и тех, кто его слушает. Посему во всех храмах идут молебствия и торжественные благодарения, и это еще больше укрепляет в нем желание отправиться в Ахайю. Правда, несколько дней тому назад он мне говорил, что тревожится, как отнесет-

[223] В греческой мифологии *Орест* – сын ахейского царя Агамемнона и Клитемнестры. После того как Агамемнон был убит Клитемнестрой, Орест получил от оракула приказ отомстить за отца и убил свою мать. За это его преследуют богини мести Эринии (которым тождественны римские Фурии).

ся к этому римский народ, не взбунтуется ли из любви к нему, но также из опасения, что из-за долгого отсутствия императора могут прекратиться раздачи хлеба и устройство зрелищ.

А пока мы едем в Беневент[224] любоваться сапожничьей роскошью, которой там будет щеголять Ватиний, а оттуда, под покровительством божественных братьев Елены[225], – в Грецию. Что до меня, я заметил одну странность: среди безумных сам становишься безумным и, более того, начинаешь находить в безумии некую прелесть. Греция и путешествие с тысячью кифар, триумфальная процессия Вакха среди увенчанных миртом, виноградными лозами и жимолостью нимф и вакханок, колесницы с запряженными в них тиграми, цветы, тирсы, венки, возгласы «эвоэ!» музыка, поэзия и рукоплещущая Эллада – все это прекрасно, но мы лелеем еще более дерзкие планы. Нам хотелось бы создать некую сказочную восточную империю, царство пальм, солнца и поэзии, где действительность превратится в дивный сон, а жизнь будет сплошным наслажденьем. Нам хотелось бы забыть о Риме и перенести центр вселенной в края между Грецией, Азией и Египтом, жить жизнью не людей, но богов, не ведать серых будней, плавать в водах Архипелага на золотых галерах под сенью пурпурных парусов, быть Аполлоном, Осирисом, Ваалом[226] в одном лице, купаться в алых лучах зари, в золотых лучах солнца, в серебряных лучах луны, повелевать, петь, грезить… И веришь ли, я, у которого еще сохранилось ума на сестерций и трезвости на асс, даю себя увлечь этим фантазиям, да, даю себя увлечь, ибо, хотя они несбыточны, в них, по крайней мере, есть величие и необычность. Подобная сказочная империя была бы все же чем-то, что когда-нибудь, через многие века, показалось бы людям чудесным сновиденьем. Если Венера порой не принимает облика какой-нибудь Лигии или хотя бы моей рабыни Эвники и если искусство не украшает жизнь, то сама по себе она бессмысленна и частенько скалится нам обезьяньей мордой. Но Меднобородому не осуществить своих замыслов уж потому, что в этом сказочном царстве поэзии и восточной неги не должно быть места предательству, подлости и смерти, а в нем под личиною поэта прячется бездарный комедиант, тупой возница и пошлый тиран. Вот мы тем временем и губим людей, которые нам почему-то мешают. Бедный Торкват Силан уже обратился в тень, несколько дней тому он вскрыл себе вены. Леканий и Лициний[227] со страхом вступают в консульские должности, старику Тразее не избежать смерти, так как он смеет быть честным. Тигеллин все не может добиться приказа, чтобы я вскрыл себе вены. Я еще необходим не только как арбитр изящества, но как человек, без чьего совета и вкуса поездка в Ахайю может оказаться неудачной. Все же я часто подумываю о том, что рано или поздно этим должно кончиться, и знаешь, что меня беспокоит? Мне хотелось бы, чтобы Меднобородому не досталась моя мурринская чаша[228], которую ты видел и восхищался ею. Если в час моей кончины ты будешь подле меня, я отдам ее тебе, а если будешь далеко, я ее разобью. А покамест у нас еще впереди сапожничий Беневент, олимпийская Греция и фатум, который каждому назначает путь неведомый и непредсказуемый. Будь здоров и найми Кротона, не то у тебя во второй раз отберут Лигию. Хилонида, когда он тебе уже будет не нужен, пришли мне, где бы я ни находился. Может быть, я сделаю его вторым Ватинием, и консулы и сенаторы еще будут трепетать перед ним, как трепещут они перед сим рыцарем Дратвой. До этого зрелища стоило бы дожить. Как найдешь Лигию, дай мне знать, чтобы я принес за вас в жертву пару лебедей и пару голубей в здешнем круглом храме Венеры. Как-то во сне я видел Лигию у тебя на коленях, она искала твоих поцелуев. Постарайся, чтобы сон оказался вещим. Да не будет на твоем небе облаков, а коль появятся, пусть у них будут цвет и запах роз. Будь здоров и

[224] *Беневент* – город в области Самний, в 40 км к востоку от Капуи.

[225] Т.е. Кастора и Поллукса.

[226] *Осирис* – египетский бог производительных сил природы, царь загробного мира. *Ваал* – божество семитского происхождения; чаще всего почитался как бог плодородия и бог солнца.

[227] *Леканий и Лициний* – консулы 64 г. Гай Леканий Басс и Марк Лициний Красс Фруги.

[228] *Мурринская чаша* – белая чаща из плавикового шпата; такие чаши привозились в Рим с Востока и считались чрезвычайной редкостью.

прощай!»

Глава XIX

Едва Виниций успел дочитать письмо, как в библиотеку бесшумно проскользнул никем не приглашенный Хилон, – у слуг был приказ впускать его в любой час дня и ночи.

– Да будет столь же милостива к тебе мать великодушного твоего предка Энея[229], – молвил грек, – сколь милостив ко мне был божественный сын Майи[230].

– Что это значит? – спросил Виниций, резко вставая из-за стола, за которым сидел.

Хилон же, гордо подняв голову, только произнес:

– Эврика!

Молодой патриций был так поражен, что долго не мог слова вымолвить.

– Ты видел ее? – спросил он наконец.

– Я видел Урса, господин, и говорил с ним.

– И ты знаешь, где они скрываются?

– Нет, господин. Другой человек просто из самолюбия дал бы понять лигийцу, что угадал, кто он; другой постарался бы выведать у него, где он живет, – ну и получил бы либо удар кулаком, после которого ему стали бы безразличны все земные дела, либо возбудил бы недоверие великана, и тогда, возможно, они в эту же ночь стали бы искать для девушки другое убежище. Мне довольно знать, что Урс работает возле Торговой пристани у мельника, которого зовут Демас, как твоего вольноотпущенника, а довольно мне этого потому, что теперь любой надежный твой слуга может утром пойти следом за ним и высмотреть их убежище. Я только принес тебе, господин, уверенность, что если Урс здесь, то и божественная Лигия находится в Риме, и еще сообщаю вторую весть: нынче ночью она почти наверняка будет в Остриане.

– В Остриане? Где это? – прервал его Виниций, видимо намереваясь тотчас бежать в указанное место.

– Это старое кладбище со склепом между Соляной и Номентанской дорогами. Верховный жрец христиан, о котором я тебе, господин, говорил и которого ждали гораздо позднее, уже приехал и этой ночью будет крестить и поучать там, на кладбище. Они, видишь ли, прячутся, сборища их происходят тайно – правда, эдиктов, запрещающих их вероучение, пока нет, но народ их ненавидит, так что им приходится быть осторожными. Сам Урс говорил мне, что нынче все они до единого соберутся в Остриане, ведь каждому охота увидеть и услышать того, кто был учеником Христа и кого они называют посланцем. А женщины у них слушают поучения наравне с мужчинами, и, возможно, из женщин не будет только одной Помпонии – ей, я думаю, трудно было бы объяснить Авлу, почитателю древних богов, зачем она ночью уходит из дому. Но Лигия, которая теперь под опекой Урса и старейшин их общины, несомненно придет вместе со всеми женщинами.

Виниций, который до тех пор жил как в лихорадке и держался только надеждой, теперь, когда надежда эта, казалось, вот-вот сбудется, почувствовал вдруг отчаянную слабость, какая одолевает человека, достигнувшего цели после непосильного пути. Хилон это заметил и решил не упускать случая.

– Я знаю, у ворот караулят твои люди, господин, и христиане, конечно, об этом знают. Но им ворота не нужны. К тому же на Тибре и вовсе нет ворот, и, хотя от реки далековато до тех дорог, не беда и крюк сделать, чтобы увидеть великого апостола. Впрочем, у них есть тысячи способов перебраться через стены, мне это известно. В Остриане, господин, ты найдешь Лигию, а если – чего я не могу допустить – ее вдруг не будет, Урс придет, потому что дал мне клятву убить Главка. Он сам мне сказал, что там будет и там же его прикончит, – слышишь, благородный трибун? Итак,

[229] Сын Венеры Эней считался родоначальником римского народа и основателем рода Юлиев, к которому должен был принадлежать молодой Виниций по женской линии.

[230] Т.е. *Гермес* (Меркурий), родившийся от союза Зевса и нимфы гор Майи.

ты либо пойдешь вслед за ним и узнаешь, где живет Лигия, либо прикажешь своим людям схватить его как убийцу, и, когда он будет в твоих руках, ты заставишь его признаться, где он спрятал Лигию. Я свое дело сделал! Другой сказал бы тебе, господин, будто он выпил с Урсом десяток кувшинов лучшего вина, пока выудил из него тайну; другой сказал бы тебе, будто продул ему тысячу сестерциев в «двенадцать линий» или же будто купил эти сведения за две тысячи… Да, знаю, ты возместил бы все вдвойне, и все же я впервые в жизни… то есть, я хотел сказать, как всегда в жизни, буду честен, ибо уповаю, что, как говорил великодушный Петроний, твое великодушие превзойдет все мои затраты и надежды.

Однако Виниций, который был солдатом и привык не только принимать решения в трудных обстоятельствах, но и действовать, быстро справился с минутной слабостью и сказал:

– В моем великодушии ты не разочаруешься, но сперва ты пойдешь со мною в Остриан.

– Я – в Остриан? – спросил Хилон, у которого не было ни малейшего желания туда идти. – Я, благородный трибун, обещал найти Лигию, но не обязывался ее похищать. Посуди сам, господин, что со мною будет, коли этот лигийский медведь, растерзав Главка, тут же убедится, что растерзал его не вполне за дело? Не сочтет ли он меня – впрочем, несправедливо – виновником содеянного убийства? Знай, господин, что чем больше человек философ, тем труднее отвечать ему на глупые вопросы невежд, и что я бы ему ответил, спроси он меня, почему я обвинил лекаря Главка? Но если ты подозреваешь, что я тебя обманываю, изволь, заплати мне, лишь когда я укажу тебе дом, где живет Лигия, а сегодня выкажи только часть твоей щедрости, дабы, если вдруг и ты – от чего да охранят тебя все боги! – случайно пострадал бы, мне не довелось бы остаться без всякой награды. Твое сердце не перенесло бы этого.

Виниций подошел к стоявшему на мраморной подставке сундуку, называемому «арка», и, достав оттуда кошелек с монетами, бросил его Хилону.

– Здесь скрупулы[231], – сказал он. – Когда Лигия будет в моем доме, ты получишь такой же кошелек с ауреусами.

– О Юпитер! – воскликнул Хилон.

Но Виниций нахмурил брови.

– Тебе дадут поесть, потом можешь отдохнуть. До вечера ты отсюда не уйдешь, а как стемнеет, проводишь меня в Остриан.

На лице грека изобразились страх и колебание, но он быстро успокоился.

– Кто может тебе противиться, господин! – сказал он. – Прими эти слова за доброе пророчество, как принял их наш великий герой в храме Аммона. Что до меня, то сии скрупулы, – тут он встряхнул кошельком, – перевесили мою скрупулезную честность, уж не говоря о твоей дружбе, которая для меня великое счастье и наслаждение…

Виниций нетерпеливо прекратил его болтовню и начал расспрашивать о подробностях разговора с Урсом. Из них было ясно, что либо убежище Лигии будет этой же ночью обнаружено, либо удастся ее похитить на обратном пути из Остриана. И при этой мысли Виниций испытывал безумную радость. Теперь, когда он был уже почти уверен, что обретет Лигию, гнев и обида на нее рассеялись. За одну эту радость он прощал ей все. Он теперь думал о ней только как о дорогом и желанном существе, и такое у него было чувство, словно он ждет ее возвращения из долгого путешествия. Ему хотелось созвать рабов и приказать им украсить дом цветочными гирляндами. Даже на Урса он в эту минуту не злился. Он готов был всем все простить. Даже Хилон, к которому, несмотря на его хлопоты, Виниций испытывал неприязнь, показался ему теперь человеком забавным и незаурядным. Светом озарился для него весь дом, посветлели и глаза его, и лицо. Виниций снова почувствовал себя молодым, почувствовал радость жизни. Прежнее состояние мрачной тоски еще не вполне показало ему, как сильно полюбил он Лигию. Он понял это лишь теперь, когда появилась надежда ее обрести. Стремление к ней пробуждалось в юноше, как пробуждается весною пригретая солнцем земля, но его желания ныне были не так безудержны, не так дики, в

[231] *Скрупул* (scripulum, или scrupulum) – маленькая золотая монета, равная одной трети золотого динария, или ауреуса. *(Примеч. автора.)*

них больше было радости и нежности. И еще он в себе ощущал силу безграничную и уверенность, что стоит ему увидеть Лигию, и ее уже не отнимут у него все христиане на свете и даже сам император.

Ободренный его радостным видом, Хилон начал давать советы. По мнению грека, рано еще было считать дело выигранным и следовало вести себя с сугубой осторожностью, без которой все может потерпеть крах. Он также умолял Виниция не похищать Лигию в Остриане. Отправиться туда им надо в капюшонах, прикрыв лица, и ограничиться разглядыванием всех присутствующих из какого-нибудь темного угла. А когда они увидят Лигию, безопасней всего будет пойти за нею, держась на отдалении, приметить, в какой дом она войдет, а уж завтра на заре окружить этот дом большим отрядом рабов и взять ее среди бела дня. Поскольку она заложница и, по сути, принадлежит императору, это можно сделать, не опасаясь правосудия. Если же они в Остриане ее не увидят, надо пойти вслед за Урсом, и результат будет тот же. Идти на кладбище с большим числом рабов нельзя, они могут привлечь к себе внимание, тогда христианам достаточно будет только погасить факелы, как было сделано при похищении Лигии, и рассеяться, раствориться во мраке, скрыться в известных им одним тайниках. Но оружие взять необходимо, а еще лучше взять двух надежных, крепких молодцов, чтобы в случае чего они могли защитить.

Виниций признал его правоту и, вспомнив кстати совет Петрония, велел рабам призвать к нему Кротона. Знавший всех в Риме Хилон, услыхав имя знаменитого атлета, чьей сверхчеловеческой силой он не раз восхищался на арене, заметно успокоился и заявил, что пойдет в Остриан. Ему подумалось, что с помощью Кротона кошелек, набитый ауреусами, будет куда легче заполучить.

С этой приятной мыслью грек сел за стол, к которому его пригласил смотритель дома, и, подкрепляясь, стал рассказывать рабам, какую необыкновенную мазь он принес их господину, – достаточно смазать ею копыта самым незавидным лошадям, и они оставят всех прочих далеко позади. А готовить эту мазь научил его один христианин, ведь среди стариков христиан многие в колдовских делах посильнее даже фессалийцев, хотя Фессалия[232] славится своими колдуньями. Он, Хилон, пользуется у христиан полным доверием, а почему – о том легко догадается всякий знающий, что означает рыба. Говоря это, он внимательно смотрел на лица рабов, надеясь, что сможет среди них обнаружить христианина и донести об этом Винициюю. Но надежда не оправдалась, и Хилон усердно принялся за еду и питье, не скупясь на похвалы повару и уверяя, что постарается откупить его у Виниция. Веселое его настроение нарушала только мысль, что ночью надо идти в Остриан, но он утешал себя тем, что пойдет переодетый, в темноте и в компании двух человек, один из которых силач, кумир всего Рима, а второй – патриций и большой военный начальник. «Если Виниция и обнаружат, – размышлял Хилон, – они не посмеют поднять на него руку, что ж до меня, вряд ли им удастся увидеть хоть кончик моего носа».

После чего он принялся вспоминать свою беседу с работником, и воспоминания эти еще больше ободрили его. Он ничуть не сомневался, что работник – это Урс. Из рассказов Виниция и тех, кто сопровождал Лигию на пути из императорского дворца, Хилон знал о необычайной силе лигийца. А так как у Эвриция он спрашивал о силачах, то неудивительно, что ему указали на Урса. Потом, замешательство и гнев работника при упоминании о Виниции и Лигии не оставляли сомнений в том, что к этой паре у него особое отношение; вдобавок работник упомянул о покаянии за убийство, а ведь Урс убил Атацина; и, наконец, облик работника вполне согласовался с рассказами Виниция о лигийце. Не совпадало только имя, и это могло бы вызвать сомнения, но Хилон уже знал, что христиане при крещении принимают новые имена.

«Если Урс убьет Главка, – говорил себе Хилон, – будет превосходно, а если не убьет, это тоже будет хорошим знаком, ибо покажет, насколько трудно христианам совершить убийство. Я ведь изобразил Главка родным сыном Иуды и предателем всех христиан, я был так красноречив, что камень и тот бы растрогался и пообещал бы свалиться на голову Главка, и, однако, едва уломал этого лигийского медведя, чтобы он поклялся придушить его своею лапой. Все колебался, от-

[232] *Фессалия* – область на востоке северной Греции.

некивался, болтал о своем горе и покаянии. Видно, у них это не принято. Свои обиды надобно прощать, за чужие не очень-то можно мстить, следовательно, Хилон, рассуди, что тебе тут может угрожать? Отомстить тебе – Главку не дозволяется; Урс, если он не убьет Главка за столь огромную вину, как предательство всех христиан, тем паче не убьет тебя за такую маленькую вину, как предательство одного-единственного христианина. Впрочем, как только я укажу этому пылкому голубю гнездышко его горлицы, я умываю руки и отправляюсь обратно в Неаполис. Христиане тоже любят говорить о каком-то умывании рук – должно быть, это у них принято, когда окончательно улаживается какое-то дело. Славные люди эти христиане, а как дурно о них говорят! О боги! Такова справедливость в мире. А все же мне нравится их учение за то, что не разрешает убивать. Но если оно не разрешает убивать, значит, уж наверняка не разрешает ни красть, ни обманывать, ни лжесвидетельствовать, так что я сказал бы, что ему не больно-то легко следовать. Оно, видно, учит не только добродетельно умирать, как учат стоики, но и добродетельно жить. Если когда-нибудь я разбогатею и буду иметь такой дом, как у этого трибуна, и столько рабов, может, стану и я христианином и буду им, доколе мне это будет на руку. Богач может себе все позволить, даже добродетель. Да, ясно, это религия для богатых, но тогда я не понимаю, почему среди них столько бедняков. Им-то что за корысть и почему они разрешают добродетели связывать себе руки? Да, над этим надо когда-нибудь подумать. А пока, слава тебе, Гермес, за то, что помог мне найти этого барсука. Но если ты сделал это ради двух телок, белых однолеток с позолоченными рогами, то я тебя не узнаю. Постыдись, победитель Аргуса![233] Ты, такой премудрый бог, да чтобы не знал наперед, что ничего не получишь! Вместо них я приношу тебе свою благодарность, а если ты предпочитаешь моей благодарности двух скотин, тогда ты сам – третья, и в лучшем случае тебе надо быть пастухом, а не богом. Берегись также, чтобы я как философ не доказал людям, что тебя нет, – тогда все перестанут приносить тебе жертвы. С философами лучше быть в ладу».

Так беседуя с самим собою и с Гермесом, грек растянулся на скамье, подложив под голову плащ, и, когда рабы убрали посуду, уснул. Проснулся он, вернее его разбудили, только когда пришел Кротон. Хилон тогда направился в атрий и с удовольствием оглядел могучую фигуру ланисты, бывшего гладиатора, настолько огромную, что она, казалось, заполняла весь атрий. О цене за услугу Кротон уже успел договориться.

– Клянусь Геркулесом! – говорил силач Виницию. – Хорошо, что ты, господин, обратился ко мне сегодня, потому что завтра я отправляюсь в Беневент, меня пригласил туда благородный Ватиний, чтобы я в присутствии императора померялся с неким Сифаксом, самым сильным негром, какого когда-либо порождала Африка. Представляешь себе, как захрустит его позвоночник в моих объятиях, но вдобавок я еще расквашу кулаком его черную рожу.

– Клянусь Поллуксом! – отвечал Виниций. – Я уверен, что ты это сделаешь, Кротон.

– И прекрасно поступишь, – прибавил Хилон. – О да, вдобавок расквась ему рожу! Славная мысль и достойный тебя поступок! Готов биться об заклад, что ты расквасишь ему рожу. Но хорошенько умасти себе тело оливковым маслом, мой Геркулес, да потуже опояшься – помни, что тебе, возможно, придется иметь дело с настоящим Каком[234]. Человек, охраняющий девушку, которая интересует достойного Виниция, тоже как будто отличается незаурядной силой.

Хилон говорил это, чтобы раздразнить самолюбие Кротона, но Виниций его поддержал:

– Это верно. Сам-то я не видел, но мне говорили, что он может схватить быка за рога и оттащить куда захочет.

– Ой-ой! – ужаснулся Хилон, который не представлял себе, что Урс настолько силен.

Но Кротон презрительно усмехнулся.

– Я, достойный господин, – сказал он, – берусь этой вот рукой схватить кого прикажешь, а вот этой другой обороняться от семерых таких лигийцев и принести девушку тебе домой, пусть

[233] *Аргус* – в греческой мифологии многоглазый великан, которого Гера приставила сторожем к возлюбленной Зевса Ио. Гермес убил Аргуса, предварительно усыпив его игрой на свирели.

[234] *Как* – в римской мифологии чудовищный великан, сын Вулкана.

все христиане Рима гонятся за мною как калабрийские[235] волки. Если я этого тебе не докажу, я позволю отстегать себя плетьми тут, в этом атрии.

– Не разрешай ему этого, господин! – вскричал Хилон. – Они начнут кидать в нас камнями, и тогда что толку в его силе? Не лучше ли взять девушку из дому и не подвергать ни ее, ни нас смертельной опасности?

– Слышишь, Кротон, так и будет, – сказал Виниций.

– Твои деньги – твоя воля! Только помни, господин, завтра я еду в Беневент.

– У меня тут, в городе, пятьсот рабов, – отвечал Виниций.

После чего он сделал им рукою знак удалиться, а сам прошел в библиотеку и, сев за стол, написал Петронию следующее:

«Хилон отыскал Лигию. Нынче вечером я с ним и с Кротоном иду в Остриан, мы похитим ее сегодня или же завтра из дому. Да осыплют тебя боги всяческими удачами. Будь здоров, carissime, радость мешает мне продолжать письмо».

Положив стиль, Виниций принялся расхаживать быстрыми шагами по комнате – душа его не только была полна радости, но также терзалась тревогой. Он говорил себе, что вот уже завтра Лигия будет в его доме. Он сам еще не знал, как поведет себя с нею, однако чувствовал, что, коль захочет она его полюбить, он будет ее рабом. Ему вспоминались уверения Акты, что он был любим, и это волновало его до глубины души. Стало быть, препятствиями будут всего только девичья стыдливость да какие-то обеты, которых, видимо, требует христианское учение? Но если так, то, когда Лигия окажется в его доме и уступит уговорам или силе, тогда ей придется сказать себе: «Свершилось!», и потом она, конечно, уже будет покорной и любящей.

Течение этих блаженных мыслей было прервано приходом Хилона.

– Слушай, господин, – сказал грек, – вот что мне еще пришло в голову: а вдруг у христиан есть какие-то знаки, какие-нибудь тессеры, без которых никого в Остриан не допустят? В молитвенных домах, я знаю, так бывает, подобную тессеру я получил от Эврития. Разреши же мне сходить к нему, господин, я подробно его расспрошу и, если надо, запасусь такими тессерами.

– Согласен, благородный мудрец, – весело отвечал Виниций. – Ты рассуждаешь как человек предусмотрительный и достоин за это всяческих похвал. Ступай к Эврицию и куда тебе вздумается, но для верности оставь вот на этом столе полученный тобою мешочек.

Хилон, который всегда неохотно расставался с деньгами, поморщился, но приказ исполнил и вышел из библиотеки. От Карин до Цирка, близ которого находилась лавчонка Эврития, было не слишком далеко, и грек возвратился задолго до сумерек.

– Вот тессеры, господин. Без них нас бы не пропустили. Я также разузнал дорогу да кстати сказал Эврицию, что тессеры мне нужны только для моих друзей, а сам я не пойду, для меня, старика, это, мол, чересчур далеко, да, кроме того, завтра я увижу великого апостола, и он повторит мне самые лучшие места из своей проповеди.

– Как это – не пойдешь? Ты должен пойти! – сказал Виниций.

– Знаю, что должен, но я пойду, хорошенько прикрыв лицо капюшоном, и вам советую поступить так же, иначе мы можем спугнуть пташек.

Вскоре они начали собираться, сумерки уже сгущались. Надели галльские плащи с капюшонами, взяли фонари, Виниций вооружился коротким кривым ножом и дал такие же своим спутникам. Хилон еще напялил парик, которым запасся по дороге от Эврития, и все трое поспешили выйти, чтобы добраться до Номентанских ворот – а они находились не близко – прежде, чем их закроют.

Глава XX

Они шли улицей Патрициев, вдоль Виминала[236], по направлению к древним Виминальским

[235] *Калабрия* – область на юго-восточной оконечности Италии.

[236] *Виминал* – один из семи холмов Рима, расположенный на северо-востоке города, между Эсквилином и Квирина-

воротам, к которым прилегает площадь, где впоследствии Диоклетиан соорудил великолепные бани[237]. Миновав остатки стены Сервия Туллия[238], они, уже по более пустынным местам, дошли до Номентанской дороги, а там, свернув налево, к Соляной дороге, очутились среди холмов, где было много песчаных карьеров и размещалось несколько кладбищ. Тем временем совершенно стемнело, а луна еще не взошла, и им было бы трудновато найти дорогу, если бы – как это предвидел Хилон – ее не указывали им сами христиане. Справа, слева, впереди виднелись темные фигуры, осторожно двигавшиеся к песчаным оврагам. Некоторые из них несли фонари, стараясь, однако, прикрывать их плащами, другие, лучше знавшие дорогу, шли в темноте. Опытный солдатский глаз Виниция отличал по походке мужчин помоложе от стариков, что брели, опираясь на палки, и от женщин, плотно укутанных в длинные столы. Редкие путники и шедшие из города крестьяне, вероятно, принимали этих ночных странников за спешащих к карьерам работников или за членов похоронных братств, которые иногда устраивали себе ночью ритуальные трапезы. Однако чем больше отдалялись от города молодой патриций и его спутники, тем больше фонарей мерцало вокруг и гуще становился людской поток. Некоторые идучи пели негромкими голосами песни, которые, казалось Виницию, были исполнены тоски. Иногда слух его улавливал отдельные слова или фразы песен, например: «Пробудись спящий» или «Восстань из мертвых»; из уст идущих мужчин и женщин то и дело слышалось имя «Христос». Но Виниций не очень-то прислушивался к словам, он все думал о том, что, быть может, какая-нибудь из темных фигур – это Лигия. Иные, проходя близ него, говорили: «Мир вам», или: «Слава Христу», и Виниций всякий раз вздрагивал от волнения, и сердце его начинало биться чаще – ему чудилось, будто он слышит голос Лигии. В темноте ему ежеминутно мерещилось, что кто-то из идущих напоминает ее фигурой или походкой, и только убедившись не раз, что он обманулся, Виниций перестал доверять своим глазам.

Дорога показалась ему долгой. Окрестности Рима он знал хорошо, но теперь, в ночной тьме, шел как по незнакомым местам. То и дело надо было пробираться какими-то узкими проходами, попадались остатки стен, какие-то дома, которых он не помнил вблизи города. Наконец из-за густой пелены туч показался краешек луны и сразу осветил местность куда лучше, чем слабые огоньки фонарей. Вот и вдали что-то блеснуло, похожее на костер или пламя факела. Наклонясь к Хилону, Виниций спросил, не Остриан ли там.

Хилон, на которого мрак, удаленность от города и все эти похожие на призраки фигуры, видимо, производили сильное впечатление, ответил несколько неуверенно:

– Не знаю, господин, я в Остриане никогда не был. Но, право же, они могли бы славить Христа где-нибудь поближе к городу.

Минуту спустя, испытывая потребность поговорить и укрепить свой дух, он прибавил:

– Собираются здесь точно разбойники, а ведь им убивать не разрешено – разве что этот лигиец подло меня обманул.

Но и Виниция, поглощенного мыслями о Лигии, удивило, с какой осторожностью и таинственностью собираются ее единоверцы, чтобы послушать своего верховного жреца.

– Эта религия, – сказал он, – как и все прочие, имеет среди нас своих приверженцев, но ведь в основном христиане – секта иудейская. Почему же они собираются здесь, когда за Тибром есть иудейские храмы, в которых иудеи приносят жертвы середь бела дня?

– Нет, господин, иудеи, – они-то и есть их самые заклятые враги. Сказывали мне, что еще до правления нынешнего императора едва не вспыхнула война между ними и иудеями. Императору Клавдию так надоели эти беспорядки, что он всех иудеев изгнал, но теперь этот эдикт отменен. И все же христиане прячутся от иудеев и от римского народа, который, как тебе известно, обвиняет

лом.

[237] Имеются в виду *грандиозные термы*, сооруженные императором Диоклетианом (284–305), остатки которых сохранились до нашего времени.

[238] *Сервий Туллий* – предпоследний римский царь (прибл. 578–534 до н.э.). Ошибочно относимая к его эпохе стена вокруг Рима была возведена, по-видимому, на 200 лет позже. Ее остатки сохранились до нашего времени.

их во всяческих преступлениях и ненавидит.

Некоторое время они шли молча, наконец Хилон, чей страх все возрастал по мере того, как они удалялись от ворот, сказал:

– Когда я шел от Эврития, то одолжил у одного цирюльника парик, да еще засунул в обе ноздри по бобу. Они не должны меня узнать. А коль и узнают, все равно не убьют. Они люди неплохие! Даже очень хорошие люди, я их люблю и уважаю.

– Не хвали их прежде времени, – возразил Виниций.

Они вошли в узкий овраг, по его сторонам тянулись как бы два вала, через которые в одном месте был переброшен акведук. Между тем луна полностью вышла из-за туч, и в конце этого ущелья они увидели стену, густо обросшую плющом, который серебрился в лунном свете. Это был Остриан.

Сердце Виниция забилось сильнее.

У ворот два могильщика отбирали тессеры. Виниций и его спутники оказались на довольно большой, кругом обнесенной стеною площади. Кое-где высились отдельные памятники, а посреди кладбища находился собственно склеп, или гипогей, нижняя часть которого располагалась под землею, и там были гробницы, – перед входом в склеп бил небольшой фонтан. Было ясно, что в самом гипогее большое число людей никак не поместится. Виниций догадался, что собрание будет происходить под открытым небом, и действительно внутри ограды вскоре собралась многолюдная толпа. Кругом, сколько хватал глаз, мерцали огоньки, но многие пришли без фонарей. Лишь несколько человек стояли с обнаженной головой, все прочие – то ли опасаясь предателей, а может, и холода – не снимали капюшонов, и молодой патриций с тревогой подумал, что если так будет до конца, то в этой густой толпе, при тусклом свете, ему не удастся увидеть Лигию.

Но внезапно возле склепа зажгли несколько смоляных факелов и сложили из них костер. Стало светлее. Толпа затянула сперва тихо, потом все громче какой-то странный гимн. Никогда в жизни Виниций такого пенья не слышал. Тоска, поразившая его в мелодиях, которые напевали вполголоса путники, идя на кладбище, звучала и в этом гимне, но гораздо отчетливее и выразительнее, и постепенно набрала такой пронзительности и мощи, словно вместе с людьми изливали тоску и кладбище это, и холмы, и овраги, и вся земля вокруг. Была в этом пенье мольба о свете, смиренная просьба о спасении заблудших во мраке. Подняв кверху головы, люди словно видели кого-то там, в вышине, и воздетые их руки призывали это божество сойти на землю. Но вот пенье смолкло, наступила минута тишины и ожидания, настолько напряженного, что и Виниций, и его спутники невольно стали поглядывать на звезды, как бы опасаясь, что может произойти нечто необычное и что в самом деле кто-то сойдет с небес. В Малой Азии, в Египте и в самом Риме Виниций повидал множество разнообразных храмов, познакомился со многими верованиями и слышал всевозможные песнопения, но здесь он впервые увидел людей, которые взывали к божеству своим пеньем, не просто выполняя установленный обряд, а из глубины души и с такой доподлинно сердечной тоской, с какой тоскуют дети по отцу и матери. Надо было быть слепым, чтобы не видеть, – эти люди не только чтят своего бога, но любят его всем сердцем, а этого Виницию не довелось видеть ни в одном краю, ни в одном из обрядов, ни в одном храме. Ведь и в Риме, и в Греции те, кто еще почитали богов, делали это, чтобы получить их помощь или из страха, но никому и в голову не приходило их любить.

Хотя мысли Виниция были заняты Лигией, а все внимание устремлено на поиски ее среди толпы, он все же не мог не заметить этой странности, необычности поведения людей вокруг него. В костер меж тем подбросили еще несколько факелов, красное зарево осветило кладбище и затмило огоньки фонарей – и в эту минуту из гипогея вышел старик в плаще с откинутым капюшоном и поднялся на лежавший вблизи костра камень.

При виде его толпа заволновалась. Вокруг Виниция раздался шепот: «Петр! Петр!» Некоторые опустились на колени, другие простирали к нему руки. Наступила такая глубокая тишина, что слышно было, как падает с факелов каждый уголек, как стучат колеса вдали на Номентанской дороге и шумит ветер в кронах пиний, растущих рядом с кладбищем.

Оборотясь к Виницию, Хилон прошептал:

– Это он! Первый ученик Христа, рыбак!

Старик поднял руку и осенил присутствующих крестным знамением, и тут все пали на колени. Спутники Виниция и сам он, чтобы себя не выдать, последовали примеру прочих. Молодой человек еще не вполне мог отдать себе отчет в своих впечатлениях, но ему показалось, что в фигуре старика, стоявшего перед ним, есть что-то и очень простое, и вместе необычное, – удивительным образом необычность как бы и состояла в простоте. Не было у старика ни митры на голове, ни дубового венка, ни пальмовой ветви в руке, ни золотой таблицы на груди, ни облачения, усеянного звездами или белоснежного, – словом, никаких атрибутов, какими украшали себя жрецы восточные, египетские, греческие, а также римские фламины. И тут Виниция поразила та же особенность, которую он почувствовал, слушая христианские песнопения, – «рыбак» этот имел вид вовсе не какого-то искусного в церемониях верховного жреца, но словно бы совсем простого человека преклонных лет, бесконечно почтенного свидетеля, пришедшего издалека, дабы поведать о некой истине, которую он видел, к которой прикасался, в которую уверовал, как верят в нечто очевидное, и которую полюбил, ибо в нее уверовал. И лицо его светилось такой силой убеждения, какая присуща одной истине. Будучи скептиком, Виниций не желал поддаваться обаянию старца, однако его охватило лихорадочное любопытство – что же все-таки изрекут уста этого приспешника таинственного «Христа» и в чем состоит учение, которое исповедуют Лигия и Помпония Грецина.

Тем временем Петр начал говорить. Вначале он говорил как отец, увещевающий детей и поучающий их, как надобно жить. Он наказывал им отречься от богатств и наслаждений, возлюбить бедность, чистоту нравов, истину, терпеливо сносить обиды и гонения, повиноваться вышестоящим и властям, чуждаться предательства, обмана и клеветы и, наконец, подавать пример друг другу среди своих и даже язычникам. Виниция, для которого хорошим было лишь то, что могло ему вернуть Лигию, а дурным – все, что воздвигало преграду меж ними, некоторые из этих советов взволновали и рассердили – ему показалось, что, восхваляя чистоту и борьбу со страстями, старик тем самым не только смеет осуждать его любовь, но настраивает Лигию против него и укрепляет ее сопротивление. Он понял, что, если она сейчас здесь, среди собравшихся, и слышит эти слова, внимает им всей душой, то в эту минуту она должна думать о нем как о враге их учения и нечестивце. При этой мысли его обуяла злоба. «Что же нового я услышал? – говорил он себе. – И это – их таинственное учение? Да ведь каждый это знает, каждый это слышал. Бедность и воздержание проповедуют киники, добродетель восхвалял и Сократ как свойство людей доброго старого времени; да ведь любой стоик, даже какой-нибудь Сенека, у которого пятьсот столов из туевого дерева, прославляет умеренность, советует быть правдивым, выказывать терпение в невзгодах, стойкость в несчастьях – и все это вроде лежалого зерна, которое едят мыши, а людям есть его уже не хочется, потому что от времени оно протухло». И вместе с гневом было в нем разочарование – он-то надеялся узнать неведомые, чародейские тайны, в крайнем случае послушать поражающего красноречием ритора, а меж тем тут говорились самые что ни на есть простые слова, без каких-либо прикрас. Удивляла Виниция лишь тишина и сосредоточенность, с какими толпа слушала поучение. А старик продолжал наставлять этих притихших людей, что они должны быть добрыми, смиренными, справедливыми, бедными и праведными не для того, чтобы при жизни наслаждаться покоем, но чтобы после смерти жить вечно во Христе, жить в таком веселии, в такой славе, в таком блаженстве и ликовании, каких на земле никто никогда не удостоился. И тут Виниций, хотя только что он думал об этом с враждебностью, не мог не сказать себе, что все же есть различие между поучениями старика и тем, что говорят киники, стоики или другие философы, – все они учат благой жизни и добродетели, потому что это единственно разумное и выгодное поведение в жизни, а старик сулил за это в награду бессмертие, причем не какое-то жалкое бессмертие в подземном царстве, где тоска, тщета и пустота, но бессмертие великолепное, в котором люди почти равны богам. Говорил он об этом как о чем-то вполне достоверном, и при такой вере добродетель обретала ценность безграничную, а горести жизни казались безмерно ничтожными: ведь претерпеть минутное страдание ради вечного блаженства – это совсем другое дело, чем страдать лишь потому, что таков порядок вещей в природе. Но дальше старец говорил, что добродетель и благо надо возлюбить ради них самих, ибо наивысшее предвечное благо и предвечная добродетель есть бог; кто возлюбит их, тот возлюбит бога и сам становится его возлюбленным чадом. Виниций не вполне это понимал, но из слов, сказанных Помпонией Грециной Петронию, он уже знал, что, по

учению христиан, бог един и всемогущ; когда же теперь он еще услышал, что бог этот есть высшее благо и высшая истина, то невольно подумал, что рядом с таким демиургом[239] Юпитер, Сатурн, Аполлон, Юнона, Веста и Венера похожи на жалкую, шумливую ватагу, участники которой проказничают то вместе, то порознь. Но более всего был удивлен молодой патриций, когда старик заговорил о том, что бог – это также высшее милосердие, а значит, кто любит людей, тот исполняет самый важный его завет. Но любить людей своего народа недостаточно, ибо бог-человек пролил кровь за всех и нашел даже среди язычников таких своих избранников, как центурион Корнилий; также недостаточно любить тех, кто делает нам добро, ибо Христос простил и иудеям, выдавшим его на смерть, и римским солдатам, которые пригвоздили его к кресту, а посему надлежит оскорбляющих нас не только прощать, но любить их и платить им добром за зло; и недостаточно любить добрых, но надо любить и злых, ибо только любовью можно истребить в них зло.

Слыша такое, Хилон подумал, что все его усилия будут напрасны и что Урс ни за что не решится убить Главка ни в эту ночь, ни в какую-либо другую. Но тут же он утешился другим выводом, сделанным из поучений старика: и Главк тоже не убьет его, хотя бы увидел и узнал.

Виниций теперь уже не считал, что в словах старика нет ничего нового, но с изумлением спрашивал себя: что это за бог? что это за учение? что это за люди? Все услышанное им просто не вмещалось в его уме. Для него это была целая лавина непривычных, новых понятий. Вздумай он следовать этому учению, размышлял он, ему пришлось бы отречься от своих мыслей, привычек, характера, от всего, что составляет его натуру, сжечь все это дотла, после чего заполнить себя какой-то совершенно иной жизнью и новою душой. Учение, приказывавшее ему любить парфян, сирийцев, греков, египтян, галлов и бриттов, прощать врагам, платить им добром за зло и любить их, казалось ему безумным, но одновременно он смутно чувствовал, что в самом этом безумии есть что-то более могучее, чем во всех прежних философских учениях. Он подумал, что по безумию своему оно неисполнимо, но по неисполнимости – божественно. Душа Виниция его отвергала, но он чувствовал, что от учения этого, как от усеянного цветами луга, словно бы исходит дурманящий аромат, и кто раз его вдохнет, тот, как в краю лотофагов, забудет обо всем ином и лишь его будет желать. Виницию казалось, что в этом учении нет ничего жизненного, но также, что рядом с ним жизнь нечто столь жалкое, что и думать о ней не стоит. Открывались неведомые просторы, вставали громады гор, плыли облака. Кладбище предстало в воображении Виниция местом сборища безумных, но также местом таинственным и страшным, где, будто на некоем мистическом ложе, рождается нечто, чего в мире еще не бывало. Он припомнил все, что с самого начала говорил старик о жизни, истине, любви, боге, и мысли его туманились от сияния этих слов, как туманится в глазах от беспрерывно сверкающих молний. Подобно тем, у кого жизнь сосредоточилась в одной-единственной страсти, он обо всем думал исходя из своей любви к Лигии, и при свете этих молний ясно увидел одно: если Лигия сейчас здесь, на кладбище, если она признает это учение, слышит эти слова, то она никогда не станет его любовницей.

И впервые с тех пор, как он познакомился с нею в доме Авла, Виниций осознал, что если бы даже нашел ее сейчас, ему все равно ее не обрести вновь. Прежде ему такие мысли не приходили в голову, но и теперь он не мог это вполне себе уяснить, ибо то было не столько понимание, сколько смутное ощущение невозместимой утраты и нависшей беды. Тревога охватила его, которая сразу перешла в неистовый гнев – он гневался на всех христиан и в особенности на старика. Этот рыбак, показавшийся ему на первый взгляд человеком простым, неотесанным, теперь внушал чуть ли не страх и представал воплощением таинственного фатума, неумолимо и жестоко определяющего его судьбу.

Могильщик незаметно подложил в огонь еще несколько факелов, ветер в пиниях утих, пламя поднималось прямым, заостренным языком к мерцавшим на очистившемся небе звездам, а старик, упомянув о смерти Христа, говорил уже только о нем. Все слушали, затаив дыхание, тишина стала еще более глубокой – казалось, можно было услышать биение сердца у каждого. Этот человек ви-

[239] *Демиург (греч.)* – искусный мастер, создатель, творец (мира); термин, употреблявшийся в греческой философской литературе.

дел воочию! И повествовал как очевидец, в чьей памяти каждое мгновение запечатлелось так, что, стоит закрыть глаза, и все видишь снова. Он рассказывал, как, удалившись от креста, они с Иоанном просидели два дня и две ночи в трапезной без сна и без пищи, в терзаниях, скорби, тревоге и отчаянии, обхватив голову руками и размышляя о том, что он скончался. Ох, горе! Как тяжко было! Как тяжко! И вот настал третий день, и заря осветила стены, а они с Иоанном все сидели без сил, без надежды. То сморит их сон – ведь и ночь перед казнью они провели бодрствуя, – то проснутся и вновь начинают горевать. Но едва взошло солнце, как прибежала Мария Магдалина[240], задыхаясь, с распущенными волосами и с криком: «Взяли господа!» Услышав это, оба вскочили, побежали туда. Иоанн, тот помоложе, он прибежал первым, увидел, что гроб пуст, и не посмел войти. Лишь когда все трое собрались у входа, он, который им это рассказывает, вошел в пещеру, увидел на камне пелены и свивальники, но тела не было.

И тут испугались они, ибо подумали, что Христа похитили иудейские священники, и оба воротились домой в еще большем горе. Потом пришли другие ученики, и они начали оплакивать его то все вместе, чтобы лучше слышал их владыка сил ангельских, то по очереди. Пали духом они, ибо прежде надеялись, что учитель искупит грехи Израиля, а вот пошел уже третий день, как умер он, и они не понимали, почему отец покинул сына, и предпочли бы не видеть света белого, умереть – так тяжко было бремя отчаяния.

От воспоминаний о тех страшных часах на глазах у старца проступили слезы, и при свете костра было видно, как текли они по щекам и седой его бороде. Лысая старческая голова затряслась, голос пресекся. Виниций сказал себе: «Этот человек говорит правду и плачет над нею!» – а у простодушных слушателей перехватило от горя дыхание. Они уже не раз слышали о гибели Христа и знали, что после печали придет радость, но тут об этом рассказывал апостол, который сам все видел, и, потрясенные его словами, они, стеная, заламывали руки, ударяли себя в грудь.

Но мало-помалу все успокоились – победило желание слушать дальше. Старик прикрыл глаза, точно чтобы мысленно лучше видеть далекое, и продолжал:

– Когда мы вот так горевали, опять прибежала Мария Магдалина, крича, что видела господа. Сияние от него исходило такое сильное, что она не узнала его, подумала, это садовник. Он же сказал ей: «Мария!» Тогда она воскликнула: «Раввуни!» – и припала к его ногам. А он повелел ей идти к ученикам и потом исчез. Но они, ученики, не верили ей, а когда она плакала от радости, одни ее осуждали, другие думали, что она повредилась в уме, ибо еще она говорила, будто видела у гроба ангелов, а они, прибежав туда во второй раз, увидели, что гроб пуст. Потом, ввечеру, пришел Клеопа, который еще с одним учеником ходил в Эммаус[241], и оба вскорости вернулись, говоря: «Воистину воскрес господь». Начали они спорить, замкнув дверь из опасения перед иудеями. И тут он стал между ними, хотя дверь и не скрипнула, и, видя, что они устрашились, сказал: «Мир вам».

И я видел его, как видели все, и был он как свет и блаженство для сердец наших, ибо мы поверили, что он воскрес, что моря высохнут, горы обратятся в прах, но его слава не прейдет вовеки.

А после восьми дней Фома Дидим[242] вложил персты в его раны и трогал грудь его, а потом упал к его стопам и воскликнул: «Господь мой и бог мой!» А он ему ответил: «Ты поверил, потому что увидел меня; блаженны неувидевшие и уверовавшие». И мы слышали эти слова, и глаза наши глядели на него, ибо он был среди нас.

Виниций слушал, и что-то странное творилось с ним. Он вдруг забыл, где находится, утратил

[240] *Мария Магдалина* – согласно христианскому преданию, женщина из Галилеи (прибрежная область в северной Палестине); стала последовательницей Христа после того, как он исцелил ее от одержимости бесами.

[241] *Клеопа* – один из учеников Христа; *Эммаус* – селение близ Иерусалима.

[242] В христианском предании *Фома Дидим* – один из 12 апостолов; он отказывался поверить в воскресение Христа, пока сам не увидел его ран и не вложил в них персты. Имя Фомы стало нарицательным – «Фома неверующий».

чувство реальности, трезвость суждения. Невероятное предстало перед ним воочию. Он не мог верить тому, что говорил старик, и, однако, чувствовал, что надо быть слепым, надо отречься от собственного разума, чтобы допустить, будто этот человек, говорящий: «Я видел», лжет. В его волнении, в его слезах, во всем его облике и в подробностях описываемых событий было что-то делавшее невозможным сомнение. Минутами Винициюю казалось, что это ему снится. Но вокруг себя он видел притихшую толпу, копоть от фонарей щекотала его ноздри, чуть поодаль пылали факелы, а рядом с костром, на камне, стоял дряхлый старик с трясущейся головою и, свидетельствуя о чуде, повторял: «Я видел!»

Он рассказал им дальше все до мига вознесения на небо. Иногда он умолкал, чтобы отдохнуть, ибо рассказ его был очень обстоятелен, но было видно, что каждая мельчайшая подробность врезалась в его память навсегда. Слушали его с упоением, многие откинули капюшоны, чтобы лучше слышать и не проронить ни единого из этих бесценных слов. Им чудилось, будто некая сверхчеловеческая сила перенесла их в Галилею, будто бродят они вместе с его учениками по тамошним лесам и у вод, будто кладбище это превратилось в Тивериадское море, и на берегу в утренней мгле стоит Христос, как стоял он тогда, когда Иоанн, глядя из лодки, сказал: «Это господь!» – а Петр бросился вплавь, чтобы поскорее припасть к любимым его стопам. На лицах изображались безграничный восторг и отрешенность от жизни, счастье и безмерная любовь. Во время долгого рассказа Петра у некоторых, вероятно, были видения, а когда он заговорил о том, как в миг вознесения облака начали подвигаться под ноги спасителю, и, наплывая на него, заслонять от глаз апостолов, все головы невольно обратились к небу, и наступила минута, насыщенная ожиданием, точно все эти люди надеялись, что увидят его там или что он сойдет с горних полей посмотреть, как старый апостол пасет доверенных ему овец, и благословить его и его стадо.

И в этот миг для людей тех не существовало Рима, не было безумного императора, не было храмов, богов, язычников, а был лишь Христос, заполнявший собою землю, море, небо, весь свет.

Издали, от домов, разбросанных вдоль Номентанской дороги, донеслось пенье петухов, возвещая полночь. В эту минуту Хилон потянул Виниция за край плаща и шепнул:

– Господин, там, недалеко от старика, я вижу Урбана, а рядом с ним девушку.

Виниций вздрогнул, будто пробудясь ото сна, и, взглянув в указанном Хилоном направлении, увидел Лигию.

Глава XXI

Кровь закипела в жилах у молодого патриция при виде девушки. Он забыл о толпе, о старике, о своем удивлении перед теми непонятными вещами, что он слышал, – теперь он видел перед собой лишь ее одну. Наконец-то, после всех усилий, после многих дней тревоги, метаний, разочарований, он ее нашел! Впервые в жизни Виниций узнал, что радость может обрушиться на твою грудь как дикий зверь и сдавить так, что не вздохнешь. Он, который прежде полагал, что Фортуна чуть ли не обязана исполнять все его желания, не верил своим глазам, своему счастью. Не будь этого недоверия, пылкая натура могла толкнуть его на неосторожный поступок, но он решил вначале убедиться, не продолжаются ли это чудеса, о которых он здесь наслушался, не грезит ли он. Но сомненья не было: он видел Лигию, его отделяли от нее всего несколько десятков шагов. Она стояла на свету, в зареве костра, и он мог налюбоваться ею вволю. Капюшон Лигии сдвинулся назад, открыв распущенные волосы, рот был приоткрыт, глаза обращены к апостолу, она слушала с восторгом. Плащ на ней был из темного сукна, какие носили женщины из народа, однако Виниций никогда не видел ее более прекрасной и при всем смятении душевном не мог не подивиться, насколько эта одежда рабов оттеняла благородство ее прелестного лица. Любовь огненным вихрем опалила его душу, в чувствах его странно смешивались тоска, преклонение, обожание и вожделение. Он наслаждался одним видом Лигии, словно после долгой жажды пил прохладную живительную воду. Рядом с гигантом лигийцем она казалась Винициюю меньше, чем прежде, почти девочкой. Он заметил также, что она исхудала, лицо ее стало почти прозрачным – нежный цветок, сама душа. Но тем сильнее он желал обладать этим созданием, столь отличным от женщин, которых он видел или любил на Востоке и в Риме. Он готов был отдать за нее их всех, а с ними Рим и мир в

придачу.

Виниций так загляделся, что забыл обо всем, но тут Хилон потянул его за плащ, опасаясь, как бы Виниций не натворил чего-нибудь, что могло бы навлечь на них опасность. Христиане между тем начали молиться и петь. Грянуло мощное «Маран-ата!»[243], потом великий апостол начал крестить водой из фонтана тех, кого пресвитеры подводили к нему как готовых к принятию крещения. Виницию казалось, что эта ночь никогда не кончится. Ему хотелось поскорее пойти вслед за Лигией и похитить ее по дороге или из ее дома.

Наконец люди стали понемногу расходиться.

– Выйдем за ворота, господин, – шепнул Хилон, – мы же не сняли капюшонов, и на нас смотрят.

Он был прав. Когда во время проповеди апостола все откинули капюшоны, чтобы лучше слышать, они трое не последовали примеру верующих. Совет Хилона был дельным. Стоя у ворот, они, кроме того, могли видеть всех выходивших, а узнать Урса было нетрудно по росту и по осанке.

– Мы пойдем за ними, – сказал Хилон, – приметим, в какой дом они войдут, а завтра или даже еще сегодня ты, господин, поставишь рабов у всех входов в дом и возьмешь ее.

– Нет! – отрезал Виниций.

– Что же ты хочешь делать, господин?

– Мы следом за нею войдем в дом и сразу ее уведем – ведь ты, Кротон, взялся так сделать?

– Конечно, – ответил ланиста, – и я готов стать твоим рабом, господин, если не переломаю хребет этому буйволу, что ее стережет.

Однако Хилон принялся отговаривать и заклинать всеми богами не делать этого. Кротона ведь взяли только для защиты, на тот случай, если бы их узнали, а не для похищения девушки. Идти на такое дело вдвоем – значит, подвергать себя смертельной опасности, и, более того, они могут выпустить ее из рук, она скроется в другом месте или вообще покинет Рим. Что они тогда будут делать? Не лучше ли действовать наверняка, не идти на погибель и не ставить под угрозу всю затею?

Хотя Виниций с величайшим усилием сдерживал себя, чтобы тут же на кладбище не заключить Лигию в свои объятия, он сознавал, что грек прав, и, возможно, прислушался бы к его совету, если бы не Кротон, которого прельщала награда.

– Вели замолчать этому старому козлу, господин, – сказал Кротон, – или разреши мне опустить кулак на его голову. Однажды в Буксенте[244] – меня туда пригласил на игры Луций Сатурнин[245] – напало на меня в гостинице семеро пьяных гладиаторов, и ни один не ушел с целыми ребрами. Я не говорю, что надо умыкать девушку сейчас, среди толпы, потому что они могут начать кидать камни нам в ноги, но, когда она уже будет дома, я схвачу ее и отнесу, куда прикажешь.

– Так и будет, клянусь Геркулесом! – ответил Виниций, с удовольствием выслушав слова Кротона. – Завтра мы могли бы случайно уже не застать ее дома, а если бы устроили там переполох, они обязательно ее спрятали бы.

– Этот лигиец с виду ужасно силен! – простонал грек.

– Не тебе же придется держать его за руки, – возразил Кротон.

Им, однако, пришлось еще долго ждать – уже запели первые утренние петухи, когда они увидели, что из ворот выходит Урс, а с ним Лигия и еще несколько человек. Хилону показалось, что он узнал среди них великого апостола, – рядом шел другой старик, намного ниже ростом, две немолодые женщины и мальчик-подросток с фонарем. За этой группой следовала толпа человек в двести. Виниций, Хилон и Кротон смешались с толпой.

– Да, господин, – сказал Хилон, – твоя девица находится под могучим покровительством. С

[243] «Господь грядет!» *(сирийск.)*

[244] *Буксент* – приморский город на западном побережье Южной Италии.

[245] *Лузий* (а не Луций) Сатурнин Гета командовал преторианцами при Клавдии.

нею сам великий апостол – видишь, как там, впереди, люди становятся перед ним на колени.

Люди действительно преклоняли колени, но Виниций на них не смотрел. Ни на миг не теряя из глаз Лигию, он думал только о ее похищении и, понаторев на войне во всевозможных хитростях, с военной точностью намечал в уме план похищения. Он понимал, что решается на дерзкий шаг, но знал по опыту, что дерзкие нападения обычно кончаются успехом.

Дорога была дальняя, Виниций имел время подумать и о той пропасти, которую проложило меж ним и Лигией исповедуемое ею странное вероучение. Теперь ему было понятно все, что произошло, и стало ясно, почему произошло. На это у него проницательности хватило. Просто раньше он Лигию не знал. Он видел в ней только девушку редкой красоты, воспламенившую его чувства; теперь же ему открылось, что новое учение делало ее существом, отличающимся от других женщин, и надеяться, что ее тоже увлекут чувственность, вожделения, богатство, наслаждения, – пустая мечта. Он наконец понял то, о чем оба они с Петронием не догадывались, – что новая эта религия прививает душам нечто неведомое тому миру, в котором он жил, и что Лигия, даже если бы его любила, не пожертвует ради него ни единой из своих христианских истин; что если для нее и существует наслаждение, то оно ничуть не похоже на те, к каким стремятся он и Петроний, императорский двор и весь Рим. Любая другая женщина, которую он знал, могла стать его любовницей, но эта христианка могла быть только его жертвой.

Мысли эти причиняли ему жгучую боль, возбуждали гнев, но он сознавал, что гнев его бессилен. Он надеялся, что Лигию удастся похитить, даже был в этом уверен, но заодно в нем крепла уверенность и в том, что против ее религии и он, и его отвага, его сила – ничто, и тут он беспомощен. Этот римский военный трибун, убежденный, что сила меча и кулака, овладевшая миром, всегда будет им владеть, впервые в жизни увидел, что может существовать что-то еще, кроме этой силы, и с изумлением задавал себе вопрос: что же это?

Толком ответить себе он не мог, в уме его лишь чередой проносились картины: кладбище, густая толпа и Лигия, с беззаветным преклонением слушающая слова старика о муках, смерти и воскресении бога-человека, который спас мир и обещал людям блаженство по ту сторону Стикса[246].

И когда Виниций об этом думал, голова у него шла кругом.

От этих хаотических мыслей его отвлекли сетования Хилона на свою судьбу: да, конечно, он взялся отыскать Лигию, и вот с опасностью для жизни нашел ее, указал. Чего же еще хотят от него? Разве он брался ее похищать, да и кто бы мог потребовать этакого от калеки, лишившегося двух пальцев, от старого человека, посвятившего себя размышлениям, науке и добродетели? Что будет, ежели достойнейший Виниций потерпит неудачу при похищении девушки? Разумеется, боги должны опекать избранных, но разве иногда не бывает так, словно боги, вместо того чтобы следить, что делается в мире, играют в шашки? У Фортуны, дело известное, на глазах повязка, она не видит ничего даже днем, не токмо что ночью. А если случится беда, если этот лигийский медведь кинет в Виниция каменный жернов, бочку вина или, что еще хуже, воды, тогда кто поручится, что отвечать за это не придется бедному Хилону? Он, нищий мудрец, привязался к благородному Винициюю, как Аристотель к Александру Македонскому[247], и, если бы благородный Виниций хотя бы вернул ему тот кошелек, который у него на глазах заткнул за пояс, выходя из дому, то в случае несчастья можно было бы сразу же нанять подмогу или умилосердить самих христиан. О, почему они не желают слушать советов старика, подсказанных осмотрительностью и опытом?

Слыша это, Виниций достал из-за пояса кошелек и бросил его на ладонь Хилону.

– Возьми и молчи.

Грек почувствовал, что кошелек изрядно тяжел, и приободрился.

– Вся моя надежда зиждется на том, – сказал он, – что Геркулес или Тесей[248] совершали по-

[246] *Стикс* – река в царстве мертвых.

[247] Аристотель был воспитателем (с 343 г. до н.э.) Александра и пользовался у него большим авторитетом.

[248] *Тесей* – в греческой мифологии герой, сын царя Эгея; совершил многочисленные подвиги, в том числе убил чудовищного человеко-быка Минотавра. Тесей считался основателем Афинского государства.

двиги еще труднее, а кто таков мой личный, ближайший друг Кротон, как не Геркулес? Тебя же, достойнейший господин мой, я не назову полубогом, ты – бог, и, думаю, ты и впредь не забудешь о своем нищем, но преданном слуге, чьи потребности время от времени надо удовлетворять, ибо сам он, углубясь в книги, нимало о них не заботится. Мне бы всего несколько десятин сада да домик хоть с самым крохотным портиком, чтобы летом иметь немного прохлады, – вот дар, достойный такого благодетеля. А покамест я буду издали восхищаться вашими геройскими деяниями и молить Юпитера, чтобы помогал вам, а в случае чего подыму такой шум, что пол-Рима проснется и прибежит вам на помощь. Что за дрянная, неровная дорога! И масло в моем фонаре выгорело. Вот если бы Кротон, который столь же благороден, сколь могуч, взял меня на руки и донес до ворот, он бы, во-первых, загодя проверил, легко ли ему будет нести девушку, а во-вторых, поступил бы подобно Энею[249], умилостивил бы всех порядочных богов настолько, что я был бы вполне спокоен за успех нашего дела.

– Я предпочел бы нести труп овцы, издохшей от коросты месяц назад, – возразил ланиста, – но если ты отдашь мне кошелек, что тебе бросил достойный трибун, я понесу тебя до самых ворот.

– Чтоб тебе отбить большой палец на ноге! – отвечал грек. – Так-то усвоил ты уроки почтенного старика, который поучал, что бедность и сострадание – две важнейшие добродетели? Разве не повелел он тебе любить меня? Нет, вижу, что мне никогда не сделать из тебя даже плохонького христианина и что легче солнцу проникнуть сквозь стены Мамертинской тюрьмы[250], нежели истине сквозь твой череп гиппопотама.

На что Кротон, наделенный звериною силой, но не обладавший ни одним из человеческих чувств, возразил:

– Не тревожься! Христианином я не стану! Не хочу лишаться куска хлеба!

– Это так. Но имей ты хоть малейшее понятие о философии, ты бы знал, что золото – прах!

– Подойди-ка поближе со своей философией, и я разок ударю тебя головой в живот – посмотрим, кто выиграет.

– То же самое мог бы сказать вол Аристотелю, – возразил Хилон.

Постепенно светало. В предутреннем тусклом свете стали видны основания стены. Из мрака проступили придорожные деревья, дома и разбросанные там и сям могильные памятники. Дорога уже не была безлюдной. Поспешая к открытию ворот, зеленщики вели нагруженных овощами ослов и мулов, скрипели повозки с дичью. На дороге и по обе ее стороны стелилась легкая дымка, предвещая ясную погоду. В этой дымке на расстоянии люди казались туманными призраками. Виниций не сводил глаз со стройной фигурки Лигии – в нежном свете зари она словно бы серебрилась.

– Я оскорбил бы тебя, господин, – сказал Хилон, – мыслью, что твоя щедрость когда-нибудь иссякнет, но теперь, когда ты мне заплатил, тебе нельзя будет меня упрекнуть, будто говорю я только корысти ради. Итак, советую тебе еще раз, чтобы ты, разузнав, в каком доме живет Лигия, вернулся к себе за рабами и носилками и не слушал, что гудит этот слоновий хобот, этот Кротон, – ведь он лишь для того берется один похитить девушку, чтобы выжать твою мошну, как мешочек с творогом.

– Получишь у меня удар кулаком между лопатками, а это значит – тебе конец, – отозвался Кротон.

– А ты у меня получишь кувшин кефалленского вина[251], и это значит, что я буду жив-

[249] По преданию, в ночь падения Трои Эней на плечах вынес своего отца Анхиза из горящего города.

[250] *Мамертинская тюрьма* – построена, по-видимому, еще в царскую эпоху на восточном склоне Капитолийского холма. Под ней располагалась круглая подземная камера – т.н. Туллианум (будто бы возведенная Сервием Туллием), первоначально служившая как цистерна для воды.

[251] *Кефаллением* называлась группа островов у западных берегов Греции, вокруг о. Итаки; в нее входили о-ва Зам, Закинф и Дулихий.

здоров, – возразил грек.

Виниций ничего ему не ответил – они уже подошли к городским воротам, и их взорам предстало удивительное зрелище. Когда в ворота проходил апостол, двое солдат преклонили колени, а он, возложив руки на их железные шлемы и минутку подержав так, осенил их знаком креста. Молодому патрицию не приходило раньше в голову, что и среди солдат уже могут быть христиане, и он с удивлением подумал, что, как пожар в пылающем городе захватывает все новые дома, так и учение это, видимо, с каждым днем пленяет новые души и ширится неслыханно быстро. Это снова навело его на мысли о Лигии, теперь он убедился, что, вздумай она бежать из города, нашлись бы стражи, которые сами помогли бы ей выбраться тайком. И он возблагодарил всех богов, что этого не произошло.

Пройдя по пустырям, лежавшим за стеною, христиане начали расходиться по сторонам. Теперь следовать за Лигией надо было на большем расстоянии и осторожней, чтобы не привлечь внимание. Хилон, жалуясь на раны и колотье в ногах, все сильнее отставал, и Виниций ему не препятствовал, полагая, что трусливый и хворый грек ему уже не понадобится. Он и вовсе разрешил бы Хилону уйти, когда бы тот пожелал. Но если осторожность удерживала грека, то любопытство, очевидно, толкало вперед; он все время плелся за ними, а порой даже подходил поближе, повторял свои советы, а также высказал предположение, что старик, сопровождавший апостола, будь он чуть повыше ростом, мог быть Главком.

Шли они еще долго, пересекли Тибр, и солнце должно было уже вскоре взойти, когда небольшая группа, где была Лигия, разделилась – апостол, старые женщины и мальчик пошли берегом вверх по течению реки, а невысокий старик, Урс и Лигия свернули в узкую улочку и, пройдя еще шагов сто, вошли в прихожую дома, в котором находились две лавки: продавца оливок и продавца птицы.

Хилон, который плелся шагах в пятидесяти позади Виниция и Кротона, остановился как вкопанный и, прижавшись к стене, стал шепотом их подзывать.

Они послушались и подошли посоветоваться.

– Иди, – сказал Виниций, – и посмотри, нет ли у этого дома выхода на другую улицу.

Хотя грек только что жаловался на больные ноги, побежал он так проворно, точно на щиколотках у него были крылышки Меркурия, и через минуту вернулся.

– Нет, выход только один, – сказал он. И, молитвенно сложив руки, снова завел свое: – Заклинаю тебя, господин, Юпитером, Аполлоном, Вестой, Кибелой, Исидой и Осирисом, Митрой[252], Ваалом и всеми богами Востока и Запада, откажись от этой затеи! Послушай меня!

Но тут он осекся, заметив, что лицо Виниция от волнения побелело, а зрачки сузились, как у волка. Достаточно было на него взглянуть, чтобы понять – ничто на свете не удержит его. Кротон начал набирать воздух в свою богатырскую грудь и поводить из стороны в сторону маленькой недоразвитой головой, как медведь в клетке. Впрочем, на лице его не было и тени беспокойства.

– Я войду первым! – сказал он.

– Нет, ты пойдешь за мной, – повелительным тоном сказал Виниций.

И через мгновение оба скрылись в темной прихожей.

Хилон отбежал от дома до поворота на ближайшую улицу и, выглядывая из-за угла, стал ждать, что произойдет.

Глава XXII

Лишь очутившись в прихожей, Виниций осознал всю трудность положения. Дом был большой, в несколько этажей, один из тех, какие в Риме строились тысячами для прибыльной сдачи внаем, причем обычно строили их так торопливо и скверно, что редко выпадал год, когда бы несколько таких домов не обрушилось на головы их обитателей. То были настоящие ульи – чересчур высокие и узкие, со множеством каморок и чуланов, где в страшной тесноте ютился бедный люд.

[252] *Митра* – древнеиранский бог солнца.

В городе многие улицы не имели названий, и неудивительно, что дома не имели номеров; сбор платы за жилье хозяева поручали рабам, а те, поскольку городские власти не требовали сообщать имена жильцов, часто и сами их не знали. Разыскать кого-либо в таком доме бывало невероятно трудно, особенно если не было привратника.

По длинной, напоминавшей коридор прихожей Виниций и Кротон подошли к выходу в маленький внутренний дворик, своего рода атрий для всего дома, с фонтаном посреди, струя которого падала в каменный чан, вкопанный в землю. У всех четырех стен были наружные лестницы, частично каменные, частично деревянные, они вели на галереи, откуда можно было пройти в квартиры. Внизу тоже были жилые помещения – некоторые с дверями деревянными, другие были отделены от двора только суконными завесами, большей частью истрепанными и рваными.

Час был ранний, во дворе ни души. По-видимому, в доме еще все спали, кроме тех, кто возвратился из Остриана.

– Что будем делать, господин? – остановившись, спросил Кротон.

– Подождем здесь, может, кто-нибудь появится, – ответил Виниций. – Будет нехорошо, если нас заметят во дворе.

И он подумал, что совет Хилона, пожалуй, был дельным. С несколькими десятками рабов можно было бы преградить ворота, которые, видимо, были единственным выходом, и обыскать все жилые помещения. А теперь надо было сразу попасть туда, где жила Лигия, не то христиане – а их в этом доме наверняка предостаточно – могут ее предупредить, что ее ищут. Поэтому и спрашивать о ней у кого-то было опасно. С минуту Виниций раздумывал, не возвратиться ли и не привести ли рабов, но тут из-за одной из завес, отгораживавшей вход напротив, вышел человек с решетом в руках и направился к фонтану.

Молодой патриций с первого взгляда узнал Урса.

– Это лигиец! – шепнул Виниций.

– Переломать ему кости сейчас?

– Погоди!

Урс их не заметил, потому что они все еще стояли в темной прихожей, и принялся спокойно ополаскивать лежавшие в решете овощи. Очевидно, он после проведенной на кладбище ночи собирался готовить завтрак. Быстро управившись, Урс взял мокрое решето и скрылся с ним за завесой. Кротон и Виниций устремились вслед, уверенные, что прямо попадут в жилье Лигии.

Но каково же было их удивление, когда они убедились, что завеса отделяет от двора не жилье, а другой темный коридор, в конце которого виднелся небольшой садик – несколько кипарисов да миртовых кустов – и крошечный домишко, прилепившийся к глухой задней стене соседнего большого дома.

Оба сразу поняли, что обстоятельство это для них благоприятно. Во двор могли бы сбежаться все жильцы, а то, что домик стоял в стороне, облегчало их предприятие. Они быстро справятся с защитниками, точнее, с Урсом, затем, схватив Лигию, так же быстро выберутся на улицу, а там уже дело просто. Скорее всего, никто не станет их останавливать, а если остановят, они скажут, что ведут сбежавшую заложницу императора, и в самом худшем случае Виниций назовет себя стражам и попросит у них помощи.

Урс уже был у входа в домик, когда звук шагов привлек его внимание, – он остановился и, увидав приближавшихся двух человек, поставил решето на балюстраду.

– Чего вам тут надо? – спросил он.

– Тебя! – ответил Виниций.

И, оборотясь к Кротону, быстро ему шепнул:

– Убей!

Как тигр, Кротон бросился на Урса и, прежде чем лигиец успел опомниться и разглядеть противника, схватил его в свои стальные объятия.

Виниций был слишком уверен в сверхчеловеческой силе Кротона, чтобы дожидаться исхода борьбы, – не глядя на них, он ринулся к двери домика, толкнул ее и очутился в полутемной комнате, освещенной лишь огнем, горевшим в очаге. Свет от огня падал прямо на лицо Лигии. У очага сидел еще кто-то – это был старик, сопровождавший девушку и Урса на пути из Остриана.

Виниций стремительно вбежал в комнату и, не дав Лигии времени узнать его, обхватил ее стан и, взяв ее на руки, бросился обратно к выходу. Старик пытался преградить дорогу, но Виниций, одной рукой прижимая девушку к себе, другой, свободной рукой отшвырнул его. При этом движении капюшон слетел с головы Виниция, и у Лигии при виде этого столь знакомого, но в этот миг страшного для нее лица кровь застыла в жилах и ужас сжал горло. Она хотела позвать на помощь, но не могла. Столь же тщетной была попытка ухватиться за дверной косяк, чтобы воспротивиться похитителю. Пальцы ее скользнули по камню, и девушка, наверно, потеряла бы сознание, если бы не ужасное зрелище, представшее перед нею, когда Виниций, неся ее на руках, выбежал в сад.

Урс держал в объятьях какого-то человека, изогнувшегося далеко назад, с бессильно отвисающей головой и окровавленным ртом. Увидав их, лигиец еще раз ударил кулаком по этой голове и, как разъяренный зверь, одним прыжком очутился подле Виниция.

«Смерть!» – мелькнуло в уме у молодого человека.

Как сквозь сон, он услышал крик Лигии: «Не убивай!» и почувствовал, что его руки, державшие девушку, разжались, будто от удара молнии, потом земля закружилась под его ногами и свет померк в глазах.

Тем временем Хилон, спрятавшись за стеною углового дома, ждал, что будет дальше, – любопытство боролось в нем со страхом. Ободряла его также мысль, что, если удастся похитить Лигию, ему будет выгодно оставаться при Виниции. Урбана он уже не опасался, он тоже был уверен, что Кротон его прикончит. А если бы на пустые покамест улицы вдруг сбежался народ и христиане или другие люди стали бы задерживать Виниция, думал Хилон, он обратится к ним как представитель властей или исполнитель приказа императора и в крайнем случае призовет стражей на помощь молодому патрицию против уличного сброда и тем заслужит новые милости. Но все же его не оставляла мысль, что поступок Виниция неразумен, хоть он и допускал, что невероятная сила Кротона поможет успеху замысла. «Если им придется туго, трибун сам понесет девушку, а Кротон будет прокладывать ему дорогу». Но время шло, и Хилона уже начала беспокоить тишина в прихожей, за входом в которую он наблюдал издали.

«Если они не сразу найдут ее убежище и вызовут переполох, они ее спугнут».

Впрочем, и это предположение не слишком его огорчало, он понимал, что в таком случае опять будет нужен Виницию и опять сумеет выудить немалую толику сестерциев.

– Что бы они не сделали, – говорил он себе, – все мне на благо, хотя никто из них об этом не догадывается. О боги, боги, позвольте мне только…

Тут он запнулся – ему показалось, будто из прихожей что-то выглянуло; прижавшись к стене и затаив дыхание, он стал приглядываться.

Грек не ошибся – из прихожей высунулась чья-то голова и, повернувшись направо и налево, оглядела улицу.

Еще минута, и голова исчезла.

«Это Виниций или Кротон, – размышлял грек, – но если они похитили девчонку, почему ж она не кричит и зачем они осматривают улицу? Так и так им не миновать встретиться с людьми, ведь пока доберутся до Карин, в городе начнется движение. Но что это? Клянусь всеми бессмертными богами!..»

И вдруг остатки волос на его голове поднялись дыбом.

В дверях показался Урс с перекинутым через плечо телом Кротона и, еще раз осмотрев пустынную улицу, побежал к реке.

Хилон распластался у стены так, что стал не толще слоя штукатурки.

«Если он меня заметит, я погиб!» – подумал он.

Но Урс бегом миновал его угол и скрылся за соседним домом. А Хилон, долго не раздумывая и стуча от страха зубами, побежал в сторону по улочке с таким проворством, которое было бы удивительным и у молодого.

– Если, возвращаясь, он заметит меня издали, так догонит и убьет, – говорил он себе. – Спаси меня, Зевс, спаси, Аполлон, спаси, Гермес, спаси, христианский бог! Я покину Рим, я возвра-

щусь в Месембрию, только спасите меня от рук этого демона.

И убивший Кротона лигиец действительно чудился ему в эти минуты сверхъестественным существом. Он бежал и думал, что это, возможно, какой-то бог, принявший облик варвара. Он сейчас верил во всех богов на свете и во все мифы, над которыми в обычное время насмехался. Мелькала у него также мысль, что Кротона мог убить христианский бог, и снова волосы становились у него дыбом от мысли, что он вступил в спор с такой страшной силой.

Лишь пробежав по нескольким улицам и заметив идущих навстречу работников, Хилон немного успокоился. Он совершенно запыхался и присел на порог какого-то дома, утирая краем плаща вспотевший лоб.

– Я уже стар, и мне нужен покой, – сказал он.

Шедшие навстречу люди свернули на боковую улицу, и вокруг снова стало пусто. Город еще спал. По утрам движение начиналось раньше в более богатых кварталах, где рабы в домах людей состоятельных должны были вставать до зари, а там, где проживали свободные римляне, кормившиеся за счет государства, а значит, бездельничавшие, просыпались, особенно зимою, довольно поздно. Посидев на пороге, Хилон почувствовал пронизывающий холод – тогда он встал и, убедившись, что полученный от Виниция кошелек не потерян, направился уже более медленным шагом к реке.

– Может, где-нибудь там я замечу тело Кротона, – говорил он себе. – О боги! Этот лигиец, если он человек, мог бы за один год заработать миллион сестерциев – коли Кротона он задушил как щенка, кто ж его одолеет? За каждое выступление на арене ему дали бы золота столько, сколько весит он сам. Он стережет эту девчонку лучше, чем Цербер[253] – ад. Но пусть он сам отправится в ад! Я не желаю с ним иметь дела. Слишком уж он могуч. Как же быть дальше? Страшные дела творятся. Если он такому вот Кротону переломал кости, так, наверно, и душа Виниция скулит где-то над тем проклятым домом, прося о погребении. Клянусь Кастором! Он же все-таки патриций, друг императора, родственник Петрония, человек во всем Риме известный да еще военный трибун. Его смерть им не сойдет с рук. А что, если мне, например, сходить в лагерь преторианцев или к стражам?

Тут он умолкнул, призадумался, но минуту спустя сказал себе:

– О, горе мне! Кто же привел его в этот дом, если не я? Его вольноотпущенники и рабы знают, что я к нему приходил, а некоторым даже известно, зачем приходил. Что будет, если они обвинят меня, будто я умышленно указал ему дом, в котором его настигла гибель? Пусть даже потом, на суде, выяснится, что я этого не хотел, все равно скажут, что я всему виновник. А он же патриций, стало быть, мне это никак не сойдет безнаказанно. Но если бы я тайком покинул Рим и убрался куда-нибудь подальше, то вызвал бы еще больше подозрений.

И так и эдак – все худо. Оставалось только выбрать меньшее зло. Рим был городом громадным, однако Хилон понимал, что и он может оказаться ему тесен. Всякий другой мог бы пойти прямо к префекту стражи, рассказать, что произошло, и, хотя бы и пало на него подозрение, спокойно ждать расследования. Но все прошлое Хилона было таково, что более близкое знакомство с префектом стражи или с префектом города сулило ему слишком опасные осложнения, а также могло бы укрепить любые подозрения блюстителей правосудия.

С другой стороны, бегство навело бы Петрония на мысль, что Виниций был предан и убит вследствие заговора. А Петроний был человек влиятельный, к его услугам были бы стражи всего государства, и он непременно постарался бы разыскать виновников хоть на краю света. И все же Хилону пришло в голову, что можно бы обратиться прямо к нему и сообщить о случившемся. Да, это наилучший выход! Петроний – человек спокойный, и можно надеяться, что он хотя бы выслушает Хилона до конца. Кроме того, Петронию было известно об этом деле все, с самого начала, и он поверит в невиновность Хилона скорее, чем префекты.

Однако, чтобы отправиться к нему, надо было сперва выяснить, что сталось с Виницием. А этого Хилон не знал. Он, правда, видел лигийца, видел, как тот пробирался с телом Кротона к ре-

[253] *Цербер* – в греческой мифологии чудовищный многоглавый пес, охраняющий вход в Аид.

ке, – и только. Виниций, возможно, был убит, а возможно, ранен или захвачен христианами. Лишь теперь Хилону пришло на ум, что христиане вряд ли решились бы убить столь могущественного человека, августиана и высокого военачальника – такой поступок мог бы навлечь гонения на них всех. Вероятно, они насильно удержали его в доме, чтобы Лигия успела спрятаться в другом месте.

Эта мысль принесла Хилону огромное облегчение.

«Если лигийский дракон не растерзал его при первом наскоке, тогда он жив, а если он жив, то сам засвидетельствует, что я его не предал, и тогда мне не только ничто не угрожает, но – Гермес, можешь опять рассчитывать на двух телок! – предо мною открываются новые возможности. Я могу сообщить одному из вольноотпущенников, где ему искать своего господина, а уж пойдет ли он к префекту или нет, это его дело, лишь бы я не ходил. Могу также отправиться к Петронию и надеяться на награду. То я искал Лигию, теперь буду искать Виниция, а потом опять Лигию. Надо бы все же сперва узнать, жив он или убит».

Тут Хилон подумал, что мог бы ночью пойти к пекарю Демасу и узнать это у Урса. Но мысль эту он сразу отверг. Иметь дело с Урсом ему вовсе не хотелось. Раз Урс не убил Главка, его, вероятно, удержало от этого предостережение кого-то из христианских старейшин, которому он открыл свое намерение. Ему, возможно, сказали, что дело тут нечисто и что подговаривал его на убийство какой-то предатель. Да что там! При одном воспоминании об Урсе дрожь пронизывала Хилона с головы до пят. Нет, подумал он, лучше вечером послать Эврициа в этот дом, где все случилось, и пусть он все разузнает. А покамест надо бы подкрепиться, искупаться и отдохнуть. Бессонная ночь, поход в Остриан и бегство из-за Тибра и впрямь истощили его силы.

Одно утешало грека: при нем были оба кошелька – тот, который Виниций дал ему дома, и тот, который был ему брошен на обратном пути с кладбища. Это счастливое обстоятельство, а также перенесенные волнения укрепили Хилона в намерении устроить себе знатный ужин и выпить более дорогого вина, нежели обычно.

И когда наконец двери винной лавки открылись, он исполнил свое намерение так усердно, что позабыл про купанье. Ему хотелось только спать, сон валил его с ног, и Хилон, шатаясь, доплелся до своего жилья в Субуре, где его ждала купленная на деньги Виниция рабыня.

Войдя в темный, как лисья нора, кубикул, он бросился на постель и мгновенно уснул.

Проснулся Хилон только вечером, вернее, его разбудила рабыня – кто-то, мол, пришел к нему и хочет с ним поговорить по неотложному делу.

Чутко спавший Хилон вмиг очнулся ото сна, накинул второпях плащ с капюшоном и, отстраняя рабыню, сперва осторожно выглянул за дверь.

И обомлел! В соседней комнате он увидел гигантскую фигуру Урса.

При этом зрелище грек почувствовал, что ноги и голова у него похолодели как лед, сердце в груди перестало биться, по спине ползут рои мурашек. С минуту он не мог слова вымолвить, наконец, стуча зубами, с трудом произнес, вернее, простонал:

– Сира, меня нет дома… я не знаю… этого… доброго человека…

– Я сказала ему, что ты дома, что ты спишь, господин, – возразила рабыня, – а он потребовал тебя разбудить.

– О боги! Я же сказал тебе…

Но тут Урс, видимо, раздраженный задержкой, приблизился ко входу в кубикул и, наклонясь, просунул голову в дверной проем.

– Хилон Хилонид! – позвал он.

– Pax tecum![254] Pax, pax! – отвечал Хилон. – О, лучший из христиан! Да, я Хилон, но это ошибка… Я тебя не знаю!

– Хилон Хилонид, – повторил Урс, – твой господин, Виниций, зовет тебя, ты должен вместе со мной идти к нему.

[254] Мир с тобой! *(лат.)*

Глава XXIII

Виниций очнулся от пронзительной боли. В первую минуту он не мог понять, где он и что с ним происходит. В голове шумело, перед глазами все было как в тумане. Но мало-помалу сознание его прояснялось, и наконец сквозь застилавший глаза туман он различил три склоненные над ним фигуры. Двоих он узнал: один был Урс, второй – тот старик, которого он сбил с ног, унося Лигию. Третий, незнакомый, держал его левую руку и, трогая ее от локтя до плеча и ключицы, причинял ужасную боль; Виниций, предположив, что это особая, из мести придуманная пытка, стиснув зубы, произнес:

– Убейте меня.

Но на его слова не обратили внимания – как будто не слышали или сочли обычным возгласом страдающего от боли. Урс, глядя исподлобья, как все варвары, держал пучок белых, разорванных на длинные полосы тряпок, а старик говорил человеку, нажимавшему на руку Виниция:

– Ты уверен, Главк, что рана на голове не смертельна?

– Уверен, почтенный Крисп, – отвечал Главк. – Будучи рабом на корабле и живя потом в Неаполисе, я излечил множество ран и на деньги, полученные за этот труд, выкупил наконец себя и родных. Рана на голове не тяжелая. Когда этот человек, – тут он кивком указал на Урса, – отнял у молодого патриция девушку и оттолкнул его к стене, тот, падая, видимо, прикрылся рукою; руку он ушиб и сломал, но зато спас голову – и жизнь.

– Да, в твоих руках перебывало уже немало братьев, – отвечал Крисп, – и слывешь ты опытным врачом. Потому я и послал за тобой Урса.

– Который по дороге признался мне, что еще вчера был готов меня убить.

– Но прежде, чем тебе, он открыл свое намерение мне – а я, зная тебя и твою любовь ко Христу, объяснил ему, что вовсе не ты предатель, а тот незнакомец, который его подговаривал на убийство.

– Это был злой дух, а я принял его за ангела, – со вздохом промолвил Урс.

– Об этом расскажешь когда-нибудь в другой раз, – сказал Главк, – а теперь мы должны думать о раненом.

И он принялся вправлять руку Виниция, который, хотя Крисп кропил ему лицо водой, то и дело терял сознание от боли. Впрочем, для него это было лучше – он уже не ощущал боли, когда ему вправляли вывихнутую ногу и перевязывали сломанную руку, которую Главк зажал меж двумя дощечками, а затем быстро и туго перевязал, чтобы была неподвижна.

Но после того как операция была закончена, Виниций опять очнулся – и увидел склонившуюся к нему Лигию.

Она стояла подле его ложа, держа в обеих руках медное ведерко с водою, куда Главк время от времени опускал губку, чтобы смачивать ему голову.

Виниций смотрел и глазам своим не верил. Ему казалось, что либо это сон, либо он в жару и ему мерещится дорогой сердцу призрак. Он долго вглядывался, прежде чем решился прошептать:

– Лигия…

При звуке его голоса ведерко в ее руках задрожало, но она лишь обратила на него полный печали взор.

– Мир тебе! – тихо ответила девушка.

И все так же стояла она, держа перед собою ведерко, и на лице ее были жалость и скорбь.

А Виниций жадно смотрел на нее, точно желал наполнить ее образом свои глаза, чтобы и опустив веки видеть его перед собой. Он смотрел на ее лицо, побледневшее и осунувшееся, на завитки темных волос, на бедное платье, смотрел так упорно, что под его взглядом белоснежный ее лоб начал слегка розоветь, – и тут он подумал, что любит ее по-прежнему и что в этой вот бледности ее и нищете повинен он, что это он забрал ее из дома, где ее любили, где она была окружена достатком и удобствами, он загнал ее в эту жалкую лачугу и одел в бедняцкий плащ из темной шерсти.

А ведь он хотел бы нарядить ее в драгоценную парчу и украсить всеми сокровищами мира! Изумление, тревога, жалость объяли его и скорбь столь глубокая, что он упал бы к ее ногам, если

бы мог пошевелиться.

– Лигия, – сказал он, – ты не разрешила меня убить.

А она ласково ему ответила:

– Пусть бог возвратит тебе здоровье.

Для Виниция, сознававшего и зло, которое он причинил ей прежде, и то, которое хотел причинить совсем недавно, слова Лигии были истинным бальзамом. В этот миг он забыл, что ее устами, возможно, говорит христианская вера; и чувствовал лишь, что это говорит любимая женщина и что в ее ответе есть лишь ей присущая нежность и сверхчеловеческая доброта, перевернувшая ему душу. И как нахлынула на него недавно слабость от боли, так теперь он вдруг ослабел от волнения. Неодолимое, сладостное бессилие разлилось по телу. Чудилось, будто падает он в какую-то бездну, но при этом ему было хорошо – и он был счастлив. И еще в эту минуту расслабленности он подумал, что рядом с ним стоит божество.

Главк между тем кончил промывать рану на голове и приложил к ней целебную мазь. Урс забрал из рук Лигии ведерко, а она, взяв со стола чашу воды, разбавленной вином, поднесла ее к губам раненого. Виниций с жадностью выпил, и ему сразу стало гораздо легче. После промываний и перевязок боль почти прекратилась. Раны и место перелома стали задубевать. Сознание Виниция окончательно прояснилось.

– Дайте мне еще пить, – сказал он.

Лигия вышла с порожнею чашей в соседнюю комнату, но тут, обменявшись несколькими фразами с Главком, к ложу приблизился Крисп.

– Слушай, Виниций, – сказал он, – бог не позволил тебе совершить злодеяние, но сохранил тебе жизнь, дабы душа твоя пробудилась. Тот, пред кем человек есть только прах, предал тебя беззащитного в наши руки, но Христос, в коего мы веруем, велел нам любить даже недругов. Вот мы и полечили твои раны и, как сказала Лигия, будем молиться, чтобы бог вернул тебе здоровье, но дальше ухаживать за тобою мы не можем. Итак, пребудь в мире и подумай о том, не стыдно ли тебе продолжать преследовать Лигию, которую ты лишил ее опекунов и крова, да и нас, заплативших тебе добром за зло?

– Вы хотите меня покинуть? – спросил Виниций.

– Мы хотим покинуть этот дом, где нас может настичь рука городского префекта. Твой товарищ убит, а ты, человек среди своих могущественный, ты лежишь раненый. Случилось это не по нашей вине, но на нас падет месть закона.

– Не бойтесь преследования, – сказал Виниций. – Я вас защищу.

Крисп не стал ему говорить, что дело не только в префекте и в стражах, но что к нему самому они также не питают доверия и хотели бы обезопасить Лигию от возможных его посягательств.

– Твоя правая рука цела, господин, – сказал Крисп, – вот тебе таблички и стиль: напиши своим слугам, чтобы они пришли за тобою нынче вечером с носилками и отнесли тебя в твой дом, где тебе будет удобней, нежели тут, среди убожества нашего. Мы тут живем у бедной вдовы, скоро она придет со своим сыном, мальчик снесет твое письмо, а нам всем надобно искать другое убежище.

Виниций побледнел. Ему стало ясно, что его хотят разлучить с Лигией и что, если он опять ее утратит, то, возможно, уже никогда в жизни не увидит. Он, конечно, понимал, что меж ним и Лигией встало стеною очень многое, и теперь, если он хочет ею завладеть, ему придется искать каких-то новых путей, о которых у него еще не было времени подумать. И еще он понимал: что бы он ни сказал этим людям – пусть даже поклянется им, что возвратит Лигию Помпонии Грецине, – они вправе ему не поверить и, конечно, не поверят. Ведь это он мог сделать и прежде: вместо того чтобы преследовать Лигию, мог явиться к Помпонии, поклясться ей, что отказывается от поисков, и тогда сама Помпония нашла бы ее и снова взяла бы к себе. О нет! Никакой словесный отказ не удержит их, никакая торжественная клятва не поможет, тем паче что он, не будучи христианином, мог бы только поклясться бессмертными богами, в которых и сам не очень-то верил и которых они считали злыми духами.

И все же Виницию безумно хотелось умилосердить и Лигию, и ее покровителей – любыми средствами, но на это требовалось время. Столь же страстно он желал хоть несколько дней видеть

ее. Как тонущему каждый обломок доски или весла кажется спасеньем, так и ему казалось, что за эти несколько дней он, быть может, сумеет ей сказать нечто такое, что его приблизит к ней, или вдруг он что-то придумает, вдруг случится что-то для него благоприятное.

И, собравшись с мыслями, Виниций сказал:

– Выслушайте меня, христиане. Вчера я был вместе с вами в Остриане и слушал проповедь вашей веры, но, даже если бы я и не знал ее, ваши поступки убедили бы меня, что вы люди честные и добрые. Скажите вдове, что живет в этом доме, пусть она в нем остается, останьтесь также вы и позвольте остаться мне. Пусть этот человек, – он глазами указал на Главка, – который, видимо, врач или, во всяком случае, разбирается в лечении ран, скажет, можно ли меня сегодня переносить. Я болен, у меня сломана рука, и она должна хоть несколько дней находиться в покое. Поэтому я объявляю вам, что не двинусь отсюда, разве что меня вынесут насильно.

Тут он остановился – после паденья сильно болела грудь, и ему не хватило дыхания.

– Никто не применит к тебе насилия, господин, – возразил Крисп, – мы только уйдем отсюда, чтобы спасти наши головы.

Непривычный к противодействию своим желаниям Виниций нахмурил брови.

– Позволь, я передохну, – сказал он. Но после минутного молчания он снова заговорил: – О Кротоне, которого убил Урс, никто не спросит – он должен был сегодня ехать в Беневент, куда его вызвал Ватиний, и все будут думать, что он уехал. Когда мы с Кротоном входили в этот дом, нас не видел никто, кроме одного грека, который был с нами в Остриане. Я вам скажу, где он живет, вы приведете его ко мне, и я прикажу ему молчать, а человеку этому я плачу. Домой я напишу, что тоже уехал в Беневент. Если же грек успел сообщить префекту, я заявлю, что я сам убил Кротона и что это он сломал мне руку. Да, я это сделаю, клянусь тенями моих отца и матери! И значит, вы можете тут остаться спокойно, ни с одной головы и волос не упадет. Поскорей приведите сюда грека, которого зовут Хилон Хилонид!

– Тогда Главк останется подле тебя, господин, – сказал Крисп, – и вместе с вдовой будет за тобою ухаживать.

Виниций нахмурился еще сильнее.

– Послушай, старик, что я тебе скажу, – промолвил он. – Я обязан тебе благодарностью, и ты кажешься мне человеком добрым и честным, но ты не говоришь мне всего, что у тебя на душе. Ты боишься, как бы я не призвал своих рабов и не приказал им увести Лигию? Разве не так?

– Да, верно, – с некоторой жесткостью ответил Крисп.

– Но ты сам подумай – с Хилоном я буду говорить при вас и также при вас напишу домой, что уехал, – и других посыльных, кроме вас, у меня потом не будет. Подумай хорошенько и не раздражай меня больше. – Тут Виниций пришел в волнение, лицо его исказилось от гнева, и он с горячностью продолжал: – Неужто ты думал, я стану отрицать, что хочу остаться, чтобы ее видеть? Тут и глупец догадался бы, даже если бы я отрицал. Но действовать силой я уже не хочу. А сейчас я тебе скажу кое-что еще. Если она здесь не останется, я вот этой здоровой рукой сорву повязки, не буду принимать ни пищи, ни питья – и пусть моя смерть падет на твою голову и на головы твоих братьев. Зачем ты меня лечил? Зачем не приказал меня убить?

И он побледнел от гнева и от слабости. Но Лигия, которая слышала из соседней комнаты весь разговор и была уверена, что Виниций исполнит то, о чем сказал, испугалась его слов. Ни за что не могла она допустить, чтобы он умер. Раненый и беззащитный, он внушал ей только жалость, не страх. После побега она жила среди людей, постоянно пребывавших в религиозном экстазе, толковавших о жертвах, самоотречении и безграничном милосердии, и сама прониклась новым учением настолько, что оно заменило ей дом, семью, утраченное счастье и сделало ее одной из тех дев-христианок, которые впоследствии изменили старую душу мира. Виниций сыграл слишком большую роль в ее судьбе, слишком много для нее значил, чтобы она могла о нем попросту забыть. Она думала о нем целыми днями и не раз просила бога послать ей случай, когда бы она, вдохновленная новым учением, могла отплатить юноше добром за зло, милосердием за преследование, переубедить его, привести к Христу и спасти. И вот теперь ей казалось, что такая минута настала и молитвы ее услышаны.

Она подошла к Криспу. Лицо ее светилось вдохновением, и заговорила она так, будто ее

устами вещал какой-то иной голос:

– Пусть он останется среди нас, Крисп, и мы останемся с ним, пока Христос его не исцелит.

И старый пресвитер, привыкший во всем искать промысел божий, глядя на ее лицо, озаренное экстатическим восторгом, подумал, что, быть может, ее устами глаголет высшая сила, и, убоявшись в душе, склонил седую голову.

– Да будет так, как ты сказала, – молвил он.

На Виниция, не сводившего с нее глаз, быстрое согласие Криспа произвело впечатление странное и волнующее. Ему показалось, будто Лигия у христиан, как некая Сивилла[255] или жрица, окружена преклонением и почитанием. И невольно он также проникся этими чувствами. К любви примешалась теперь странная робость, и сама его любовь представилась чем-то неслыханно дерзким. И все же он не мог свыкнуться с мыслью, что теперь уже не она зависит от него, но он зависит от ее воли, что вот он лежит тут больной, весь разбитый, что он перестал быть силой нападающей, побеждающей, что он, словно беспомощное дитя, находится под ее опекой. Для его гордой, своевольной натуры такие отношения с любым другим существом были бы унизительны – но тут он не только не чувствовал себя униженным, а был ей благодарен, как своей госпоже. Такие чувства были для Виниция внове, днем раньше он бы не мог их себе вообразить, и даже теперь они бы повергли его в изумление, будь он способен дать себе в них отчет. Теперь же он не спрашивал, почему так получилось, словно все это было совершенно естественным делом, он только чувствовал себя счастливым, что остается.

И ему очень хотелось ее поблагодарить – с глубокой нежностью и еще с каким-то чувством, настолько ему незнакомым, что он и назвать его не мог, а была это просто покорность. Но недавнее возбуждение истощило силы Виниция, он уже не мог говорить и благодарил ее одними глазами, в которых сияла радость, что он остается рядом с нею и сможет смотреть на нее и завтра, и послезавтра, и, возможно, еще долго. И радость смешивалась у него со страхом потерять то, что он обрел, и страх этот был так велик, что, когда Лигия опять поднесла ему воду и его охватило желание сжать ее руку, он побоялся это сделать, да, побоялся, – он, тот самый Виниций, который на пиру у императора насильно лобзал ее уста, а после ее побега клялся, что потащит ее за волосы в кубикул или прикажет стегать плетью.

Глава XXIV

У Виниция, впрочем, тут же появилось опасение, что какая-нибудь неуместная помощь извне может омрачить его радость. О его исчезновении мог сообщить Хилон – городскому префекту или вольноотпущенникам в его доме, – тогда надо было ожидать прихода стражей. Что греха таить, мелькнула даже мысль, что в этом случае он мог бы приказать схватить Лигию и запереть ее в своем доме, но он почувствовал, что делать этого не должен – и не решился. Был он своеволен, дерзок и достаточно развращен, а коль понадобится, неумолим, но он все же не был ни Тигеллином, ни Нероном. Военная жизнь внушила ему некое понятие о справедливости, чести и совести – он чувствовал, что подобный поступок был бы чудовищной подлостью. Быть может, в приступе гнева и в здоровом состоянии он бы и мог пойти на такое, но в эту минуту он был полон нежности, был болен и мечтал лишь о том, чтобы ничто не стало между ним и Лигией.

С удивлением он отметил, что, с тех пор как Лигия за него заступилась, ни она, ни Крисп не требуют от него никаких заверений, точно убеждены, что в случае опасности их защитит сверхъестественная сила. В голове у Виниция, после того как он послушал в Остриане поучения и рассказ апостола, смешалось возможное и невозможное, грань между ними почти исчезла – и он готов был допустить, что все может случиться. Однако, взвесив положение более трезво, он сам напомнил про грека и опять попросил, чтобы привели Хилона.

Крисп согласился, послать решили Урса. Так как Виниций за несколько дней до похода в

[255] *Сивиллами* назывались боговдохновенные пророчицы различных времен и народов. Самой известной была т.н. Сивилла Кумская, по преданию, пророчившая еще Энею.

Остриан часто – иногда и напрасно – посылал своих рабов за Хилоном, он сумел подробно описать лигийцу его жилище и, начертав на табличке несколько слов, обратился к Криспу:

– Я даю табличку, потому что он человек подозрительный и хитрый – когда я вызывал его к себе, он часто наказывал отвечать моим людям, будто его нет дома, если не имел для меня хороших вестей и опасался моего гнева.

– Только бы его найти, а уж я его приведу, захочет он или не захочет, – ответил Урс.

И, накинув плащ, быстро вышел.

Найти кого-нибудь в Риме было не просто, даже при самых подробных указаниях, но Урсу в таких случаях помогал инстинкт лесного жителя, а также хорошее знание города, и вскоре он уже был в жилище Хилона.

Правда, грека он не узнал. До этого он видел Хилона только раз, да и то ночью. Вдобавок тот важный, самоуверенный старик, который убеждал его убить Главка, нисколько не был похож на согнувшегося от страха в три погибели грека – никто бы не догадался, что оба они одно и то же лицо. И Хилон, сообразив, что Урс смотрит на него как на совершенно чужого человека, быстро оправился от испуга. Табличка с посланием Виниция еще больше успокоила его. По крайней мере, подозрение, что он нарочно заманил патриция в ловушку, ему явно не угрожало. Христиане, решил он, не убили Виниция, вероятно потому, что не осмелились поднять руку на столь известного человека.

«А коль понадобится, то Виниций и меня защитит, – сказал себе Хилон, – уж наверняка он вызывает меня не затем, чтобы предать убийцам».

– Добрый человек, – спросил он, набравшись смелости, – неужто мой друг, благородный Виниций, не прислал за мною носилки? Ноги у меня распухли, я не смогу идти так далеко.

– Нет, – ответил Урс, – пойдем пешком.

– А если я откажусь?

– И не думай, ты должен пойти.

– Да, я пойду, но по доброй воле. Иначе никто бы меня не заставил, ведь я свободный человек и друг городского префекта. К тому же, будучи мудрецом, я знаю способы защититься от насилия, я умею превращать людей в деревья и в животных. Но я пойду, пойду! Вот только надену плащ потеплее да капюшон, чтобы меня не узнали рабы в том квартале, – не то они непременно будут нас останавливать, чтобы целовать мне руки.

С этими словами он накинул другой плащ и нахлобучил на голову большой галльский капюшон, опасаясь, как бы Урс не припомнил черты его лица, когда они выйдут на свет.

– Куда ты меня ведешь? – спросил он по дороге.

– За Тибр.

– Я в Риме недавно и никогда там не был, однако полагаю, что и там живут люди, любящие добродетель.

Но простодушный Урс, который слышал слова Виниция о том, что грек был с ним на кладбище в Остриане и видел, как они с Кротоном входили в дом, где жила Лигия, минутку подумал и сказал:

– Не лги, старик, ты же сегодня был с Виницием в Остриане и возле наших ворот.

– Ах, – сказал Хилон, – так это ваш дом за Тибром? Я в Риме недавно и еще хорошенько не знаю, как называются разные части города. Ты прав, друг! Я был возле ваших ворот и во имя добродетели заклинал Виниция не входить. Был я и в Остриане, а знаешь, зачем? Я, видишь ли, с некоторых пор тружусь над тем, чтобы обратить Виниция, и повел его послушать старшего из апостолов. Да прольется свет в его душу и в твою! Ведь ты христианин и, разумеется, хочешь, чтобы истина победила ложь?

– Да, конечно, – кротко согласился Урс.

Тут Хилон совершенно осмелел.

– Виниций – очень важный господин, – сказал он, – и друг императора. Бывает, что он поддается наущениям злого духа, но если бы хоть волос упал с его головы, император отомстил бы всем христианам.

– Нас хранит высшая сила.

– Справедливо, справедливо! Но как вы намерены поступить с Виницием? – снова встревожась, спросил Хилон.

– Не знаю. Христос велит быть милосердными.

– Это ты превосходно сказал. Всегда об этом помни, не то будешь жариться в аду, как колбаса на сковородке.

Урс вздохнул, и Хилон подумал, что с этим столь опасным при первом порыве человеком он всегда сумеет сделать, что захочет.

Сейчас он желал узнать, что же все-таки произошло при похищении Лигии, и строгим голосом судьи стал спрашивать:

– Что вы сделали с Кротоном? Говори правду, не лги.

Урс снова вздохнул.

– Виниций тебе скажет.

– Это означает, что ты пырнул его ножом или убил палкой?

– Я был без оружия.

Грек не мог скрыть изумления нечеловеческой силой варвара.

– А чтоб тебя Плутон!.. То есть, я хотел сказать, чтоб Христос тебя простил!

Некоторое время они шли молча, затем Хилон сказал:

– Я тебя не предам, но ты все же берегись стражей.

– Я боюсь Христа, а не стражей.

– И это справедливо. Нет более тяжкого греха, чем убийство. Я буду молиться за тебя, но не знаю, сумеет ли даже моя молитва чего-нибудь достичь, – разве что ты дашь обет, что никогда в жизни никого пальцем не тронешь.

– Я и так убил неумышленно, – ответил Урс.

Однако Хилон, желая на всякий случай обезопасить себя, не переставал толковать Урсу о грехе убийства и убеждать его принести клятву. Спрашивал и о Виниции, но лигиец на его вопросы отвечал неохотно, твердя одно: он, мол, услышит из уст самого Виниция то, что ему следует слышать. Так, беседуя, они в конце концов одолели долгий путь от дома грека до квартала за Тибром и оказались у того самого дома. Сердце Хилона опять тревожно забилось. Со страху ему почудилось, будто Урс бросает на него какие-то алчные взгляды. «Невелико утешение, – думал грек, – если он убьет меня неумышленно, и в любом случае я желал бы, чтобы его разбил паралич, а с ним вместе всех лигийцев, о чем и прошу тебя, Зевс!» С этой мыслью он все плотнее укутывался в свою галльскую хламиду, приговаривая, что боится холода. Наконец, когда они, пройдя по прихожей и по первому двору, оказались в коридоре, который вел в сад при домике, грек внезапно остановился.

– Позволь мне перевести дух, – сказал он, – иначе я не смогу беседовать с Виницием и давать ему спасительные советы.

И, не трогаясь с места, он убеждал себя, что никакая опасность ему не грозит, однако при мысли, что сейчас он покажется среди тех таинственных людей, которых видел в Остриане, ноги его слегка дрожали.

Между тем из домика донеслось пенье.

– Что это? – спросил Хилон.

– Говоришь, ты христианин, а не знаешь, что у нас есть обычай после каждой трапезы славить спасителя нашего пеньем, – ответил Урс. – Мириам с сыном, наверное, уже вернулись, а может, и апостол там, с ними, он каждый день навещает вдову и Криспа.

– Веди меня прямо к Виницию.

– Виниций лежит в той комнате, где все собираются, – она самая большая, а остальные – это темные кубикулы, где мы только спим. Ну, пойдем, там отдохнешь.

И они вошли в дом. В комнате было сумрачно, вечер стоял пасмурный, зимний, и огонь нескольких светильников не вполне разгонял темноту. Виниций скорее догадался, чем узнал Хилона под огромным его капюшоном, а грек, заметив в углу ложе и на нем Виниция, направился, не глядя на остальных, прямо к нему – словно полагал, что возле Виниция он будет в наибольшей безопасности.

– О господин, – воскликнул он, умоляюще сложив руки, – почему ты не послушался моих советов!

– Молчи, – сказал Виниций, – и слушай!

Впиваясь взглядом в глаза Хилона, он начал говорить медленно и четко, как бы желая, чтобы каждое его слово было воспринято как приказ и прочно врезалось в память грека.

– Кротон набросился на меня, чтобы убить меня и ограбить, – понял? Тогда я убил его, а эти люди перевязали мне раны, которые я получил в борьбе с ним.

Хилон вмиг догадался, что за словами Виниция стоит уговор с христианами и он желает, чтобы ему поверили. О том же сказало греку и выражение лица молодого патриция. Не выказав ни сомнения, ни удивления, Хилон возвел глаза к потолку и воскликнул:

– Он был отъявленный негодяй! А ведь я предупреждал тебя, господин, чтобы ты не доверял ему. Мои наставления отскакивали от его башки, как горох от стенки. Да, во всем Гадесе не сыщется для него достойной кары. Кто не может быть честным, тот в известной степени вынужден быть негодяем, а кому же труднее стать честным, как не негодяю? Но чтобы напасть на своего благодетеля и столь великодушного господина… О боги!

Тут он вдруг вспомнил, что по дороге представился Урсу как христианин, и замолк.

– Не будь при мне кинжала, он бы меня убил.

– Благословляю ту минуту, когда посоветовал тебе взять хотя бы кинжал.

Но Виниций, устремив на грека испытующий взгляд, спросил:

– Что ты сегодня делал?

– Я-то? Разве я не сказал тебе, господин, что я давал обеты во твое здравие?

– И ничего больше?

– И как раз собирался проведать тебя, когда пришел этот добрый человек и сказал, что ты меня зовешь.

– Вот табличка. Пойдешь с нею ко мне домой, найдешь моего вольноотпущенника и вручишь ему. Здесь написано, что я уехал в Беневент. А от себя Демасу скажешь, что выехал я сегодня поутру, что меня срочно вызвал письмом Петроний. – И, подчеркивая каждое слово, он повторил: – Уехал в Беневент – понял?

– Да, да, ты уехал, господин! Нынче утром я простился с тобою у Капенских ворот – и после твоего отъезда на меня напала такая тоска, что, если твое великодушие ее не уймет, я изойду слезами, как несчастная жена Зета, скорбя по Итилу[256].

Хотя Виниций был болен и к уловкам грека уже привык, он не удержался от улыбки. К тому же он обрадовался, что Хилон его понял.

– Ладно уж, припишу, чтобы осушили твои слезы. Дай-ка сюда светильник.

Хилон, уже вполне успокоенный, встал и, сделав несколько шагов к очагу, взял один из стоявших на выступе светильников.

Но при этом движении откинулся назад капюшон, и свет упал прямо на его лицо. Тут Главк вскочил со скамьи и, подбежав, стал перед ним.

– Не узнаешь меня, Цефас? – спросил Главк.

И голос его прозвучал так грозно, что все вздрогнули.

Хилон, который приподнял было светильник, уронил его на пол и, скорчившись, застонал:

– Это не я… не я… пощади!

Главк повернулся к сидевшим за трапезой.

– Вот человек, – сказал он, – который продал и погубил меня и мою семью!

Его история была известна и христианам, и Виницию, который не догадался, кто ему перевязывал раны, лишь потому, что от боли несколько раз терял сознание и не слышал его имени. Но для Урса этот миг и слова Главка были как молния, блеснувшая во мраке. Узнав Хилона, Урс од-

[256] *Аэдона, превращенная в соловья. (Примеч. автора.)* Согласно мифу, Аэдона, жена фиванского героя Зета, из зависти попыталась убить старшего сына своей невестки Ниобы, но по ошибке убила своего собственного – Итила. Сжалившись над скорбью Аэдоны, боги превратили ее в соловья.

ним прыжком очутился возле него, схватил его за руки и, отогнув их ему за спину, закричал:

– Это он уговаривал меня убить Главка!

– Пощадите! – хныкал Хилон. – Я вам отдам… Господин! – воскликнул он, поворачивая голову к Винициюю. – Спаси меня! Я же тебе поверил, заступись за меня! Твое письмо… я отнесу. Господин! Господин мой!

Но из всех присутствующих Виниций наиболее равнодушно наблюдал за тем, что происходит, – все дела грека были ему известны, а кроме того, сердце его не знало, что такое жалость.

– Закопайте его в саду, – сказал он, – а письмо отнесет кто-нибудь другой.

Хилон решил, что эти слова – окончательный приговор. Кости его уже трещали в страшных лапах Урса, из глаз от боли полились слезы.

– Заклинаю вашим богом! Пощадите! – стонал он. – Я христианин! Pax vobiscum! Я христианин, а если не верите, окрестите меня еще раз, два раза, хоть десять раз! Главк, это ошибка! Разрешите мне сказать! Возьмите меня в рабы! Не убивайте! Пощадите!

И приглушаемый болью его голос все слабел. Но тут из-за стола поднялся апостол Петр. Он скорбно покачал белой своей головой, склоняя ее на грудь, и глаза его были закрыты; потом он открыл глаза и среди наступившей тишины заговорил:

– Вот что сказал нам спаситель: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз обратится, и скажет: каюсь, – прости ему».

После этих слов апостола стало еще тише. Главк долго стоял, закрыв лицо руками; наконец он отвел руки и сказал:

– Цефас, пусть бог простит тебе причиненное мне зло так, как я его прощаю тебе во имя Христа.

И Урс, отпустив руки грека, поспешно прибавил:

– Пусть спаситель будет ко мне так же милостив, как и я прощаю тебя.

А Хилон рухнул на колени и, упершись в пол руками, вертел головою, как пойманный в сети зверь, испуганно озирался, словно не зная, откуда ждать смерти. Он еще не верил глазам своим и ушам и не смел надеяться на прощение.

Но постепенно он приходил в себя, лишь посиневшие губы дрожали с перепугу.

– Отыди с миром! – промолвил апостол.

Хилон поднялся на ноги, но говорить еще не мог. Он безотчетно сделал несколько шагов к ложу Виниция, как бы ища защиты, – видимо, в голове у него еще не укладывалось, что Виниций, хотя и пользовался его услугами и в известной мере был его союзником, осудил его на смерть, между тем как люди, которым эти его услуги были во вред, его простили. Эта мысль появилась у него позднее. А теперь в его взгляде были только изумление и недоверие. Он уже понял, что прощен, но все же хотел поскорее унести ноги от этих непонятных людей, чья доброта страшила его почти так же, как устрашала бы жестокость. Ему казалось, что, если он задержится здесь подольше, произойдет опять что-то неожиданное. Поэтому, остановясь подле Виниция, он прерывающимся голосом попросил:

– Дай письмо, господин! Дай письмо!

Схватив протянутую Винициюем табличку, он отвесил один поклон христианам, второй – больному и, горбясь, прижимаясь к стене, выбежал из комнаты.

Когда он очутился в саду, среди ночной тьмы, волосы у него опять стали дыбом от страха – он был уверен, что Урс поспешит вслед за ним и прикончит его. Он побежал бы сломя голову, да ноги не повиновались, а еще через мгновение и вовсе обмякли – рядом с ним действительно стоял Урс.

Хилон упал ничком на землю и заскулил:

– Урбан! Во имя Христа!..

– Не бойся, – сказал Урбан. – Апостол наказал проводить тебя за ворота, чтобы ты в темноте не заблудился, а если у тебя нет сил идти самому, отвести домой.

Хилон приподнял голову.

– Что ты сказал? Как? Ты меня не убьешь?

– Нет, не убью, а если я слишком крепко тебя схватил и повредил тебе кости, уж ты меня прости.

– Помоги встать, – сказал грек. – Так ты меня не убьешь? Нет? Проводи меня на улицу, дальше пойду сам.

Урс поднял его с земли как перышко и поставил на ноги, потом проводил по темному переходу во двор, из которого через длинную прихожую был выход на улицу. Идя по коридору, Хилон повторял в ужасе про себя: «Я погиб!» – и лишь когда они оказались на улице, успокоился.

– Дальше я пойду сам, – сказал он.

– Да будет мир с тобой!

– И с тобой, и с тобой! Вот только передохну.

После ухода Урса он наконец вздохнул полной грудью. Ощупал себе живот, грудь, точно желая убедиться, что жив, и торопливо зашагал вперед.

Но через несколько десятков шагов он остановился и спросил себя:

– Почему он все-таки меня не убил?

И хотя он уже толковал с Эврицием о христианском учении, и с Урбаном беседовал у реки, и в Остриане слышал проповедь, ответа на этот вопрос он не мог найти.

Глава XXV

Также Виниций не мог себе уяснить, что произошло, и был удивлен почти не менее Хилона. То, что с ним самим эти люди обошлись таким образом и, вместо того чтобы отомстить за нападение, заботливо перевязали его раны, он приписывал частью их вероучению, а в большей мере – Лигии, но также значительности своей особы. Однако их обращение с Хилоном превосходило его понятия о человеческой способности прощать. И невольно он задавался вопросом – почему они не убили грека? Ведь они могли это сделать вполне безнаказанно. Урс закопал бы его труп в саду или ночью унес бы к Тибру, чьи воды в те времена, когда ночной разбой нередко учинял сам император, сплошь да рядом выносили по утрам на берег человеческие трупы, и никто даже не задумывался, откуда они. Вдобавок, по мнению Виниция, христиане не только могли, но должны были убить Хилона. Впрочем, жалость была не вовсе чужда миру, к которому принадлежал молодой патриций. Афиняне как-никак соорудили ей алтарь и долго противились учреждению в Афинах гладиаторских боев. Бывало, что и в Риме к побежденным относились милостиво, – например, Калликрат, царь бриттов[257], взятый в плен при Клавдии и щедро одаренный этим императором, свободно проживал в городе. Но месть за личные оскорбления была в глазах Виниция, как и всех римлян, вполне законной и оправданной. Пренебрежение ею было противно его сердцу. Правда, в Остриане он слышал, что следует любить даже недругов, но он считал это некой теорией, не имеющей значения в жизни. И еще у него теперь появлялась мысль, что Хилона, возможно, не убили потому лишь, что в этот день был какой-то праздник или какая-то четверть луны, при которой христианам не дозволялось убивать. Он слышал, что у некоторых народов в иные дни не разрешается даже войну начинать. Но в таком случае почему не отдали грека в руки правосудия, почему апостол говорил, что если кто-нибудь согрешит семь раз, то следует ему семь раз простить, и почему Главк сказал Хилону: «Пусть бог простит тебя так, как я тебя прощаю?» Ведь Хилон причинил ему самое страшное зло, какое только может причинить человек человеку, и у Виниция при одной лишь мысли, как поступил бы он с тем, кто, например, убил бы Лигию, кровь закипала в жилах – каких бы только мук не причинил он, мстя убийце! А тот – простил! И Урс простил, он, который, по сути, мог бы убить в Риме любого, и совершенно безнаказанно, – для этого ему потребовалось бы лишь убить «Неморенского царя» и занять его место… А с человеком, победившим Кротона, разве сумел бы справиться гладиатор, носящий это звание, которое получали, только убив предыдущего «царя»? На все эти вопросы был только один ответ. Они не убивали, ибо были полны такой доброты, какой еще на свете никогда не бывало, и безграничной любви к лю-

[257] *Царя бриттов*, плененного в 52 г. и помилованного Клавдием, звали Каратак.

дям, повелевавшей забывать о себе, о своих обидах, о своем счастье и своей беде – и жить для других. Какую награду люди должны были за это получить, о том Виниций слышал в Остриане, но понять до конца не мог. Более того, он полагал, что земная жизнь, в которой ты должен отречься от всего, что есть счастье и наслаждение, ради блага других, немногого стоит. И в его мыслях о христианах, вместе с величайшим удивлением, были в это время и жалость, и толика презрения. Он находил, что они подобны овцам, которых рано или поздно съедят волки, а его натура римлянина неспособна была уважать тех, кто отдает себя на съедение. Все же одно поразило его: после ухода Хилона глубокая радость просияла на всех лицах. Апостол подошел к Главку и, возложив руку на его голову, молвил:

– Христос в тебе победил!

А тот возвел глаза горе, и была в них такая вера и сердечная радость, словно на него свалилось огромное, неожиданное счастье. Виниций, которому была бы понятна только радость свершенной мести, смотрел на него расширенными от лихорадки глазами, как смотрел бы на одержимого. Однако затем он увидел – не без тайного возмущения, – как Лигия приложилась своими устами царевны к руке этого человека, с виду похожего на раба, и ему показалось, что в мире все перевернулось. Потом возвратился Урс и стал рассказывать, как он вывел Хилона на улицу да как просил у него прощения за то, что мог повредить ему кости, – и апостол за это благословил и его, а Крисп заметил, что ныне день великой победы. Услышав слова о победе, Виниций окончательно перестал что-либо понимать.

Но когда Лигия опять принесла ему прохладительный напиток, он на миг удержал ее руку и спросил:

– Значит, и ты мне простила?

– Мы христиане. Нам нельзя таить в сердце злобу.

– Лигия, – сказал он, – кто бы ни был твой бог, я почту его гекатомбой только потому, что он твой.

На что она возразила:

– Ты почтишь его в сердце, когда полюбишь его.

– Только потому, что он твой… – слабеющим голосом повторил Виниций и прикрыл глаза – на него опять нахлынуло бессилие.

Лигия ушла, но через минуту воротилась и, подойдя совсем близко, склонилась над Виницием посмотреть, спит ли он. Виниций ощутил ее близость и, приоткрыв глаза, улыбнулся, а она легонько приложила к ним руку, словно желая его усыпить. И тогда невыразимое блаженство разлилось по его телу, но заодно он почувствовал, что очень болен. И действительно – с наступлением ночи жар усилился. Виниций не мог заснуть и все время следил глазами за Лигией, что бы она ни делала. Временами, однако, он впадал в полузабытье, при котором видел и слышал все, что вокруг происходило, но явь смешивалась с лихорадочными видениями. Ему чудилось, будто на старом, заброшенном кладбище стоит храм в виде башни, и Лигия там жрица. Он не сводил с нее глаз, а она стояла на верхушке башни, с лютней в руках, вся озаренная светом, похожая на жриц, которые по ночам поют гимны луне, – он видел таких на Востоке. А он с огромным напряжением поднимался по винтовой лестнице, чтобы ее схватить, и за ним полз Хилон, стуча от страха зубами и повторяя: «Не делай этого, господин, она жрица, за которую он отомстит…» Виниций не знал, кто этот «он», но понимал, что намерен совершить святотатство, и также испытывал жгучий страх. Но когда он добрался до балюстрады на верхушке башни, возле Лигии вдруг оказался апостол с серебряной бородой и молвил: «Не прикасайся к ней, она принадлежит мне». Сказав это, апостол вместе с нею пошел по полосе лунного света, будто по небесной дороге, а он, Виниций, простирал к ним руки и умолял, чтобы они взяли его с собой.

Тут он проснулся, пришел в себя и обвел взором комнату. Огонь в очаге уже едва горел, но свет от углей шел достаточно яркий – все, греясь, сидели у очага, так как ночь стояла холодная и в комнате было не тепло. Виниций видел вылетающие из их уст облачка пара. Посредине сидел апостол, у его ног, на низенькой скамеечке, Лигия, рядом с ним Главк, Крисп, Мириам, а по краям с одной стороны Урс, а с другой стороны Назарий, сын Мириам, отрок с миловидным лицом и длинными, до плеч, черными волосами.

Лигия, подняв глаза, слушала апостола, и все лица были обращены к нему, а он что-то говорил вполголоса. Виниций теперь глядел на него с суеверным страхом, почти таким же, какой испытал в лихорадочном сне. И он подумал, что в горячечном бреду ему явилась истина и что этот почтенный пришелец из дальних краев действительно отнимает у него Лигию и ведет ее неведомыми путями. Он также был уверен, что старик говорит о нем и, может быть, сейчас рассуждает о том, как его с ней разлучить, – Винициюказалось невероятным, чтобы кто-то мог говорить о чем-то другом, и он, напрягши все свои умственные силы, стал прислушиваться к словам Петра.

Но он ошибся. Апостол опять говорил о Христе.

«Только этим именем они и живут!» – подумал Виниций.

Старик рассказывал о том, как Христа взяли под стражу.

– Пришел отряд воинов и служители первосвященников, чтобы взять его. Когда спаситель спросил у них, кого они ищут, они отвечали: «Иисуса Назарея!» Но когда он им сказал: «Это я!» – они упали на землю и не смели поднять на него руку и только после вторичного вопрошания взяли его.

Тут апостол сделал паузу, протянул руки к огню, затем продолжал:

– Ночь была холодная, как эта, но сердце во мне вскипело, и я выхватил меч, чтобы его защитить, и отрубил ухо рабу первосвященника. И я защищал бы его усердней, чем собственную жизнь, если бы он не сказал мне: «Вложи меч в ножны; неужели мне не выпить чаши, которую дал мне отец?..» И тогда его взяли и связали…

Вымолвив это, старик приложил руки ко лбу, желая, видимо, успокоить вихрь воспоминаний, прежде чем продолжить рассказ. Но тут Урс, не в силах сдержать себя, вскочил на ноги, поправил кочережкой дрова в очаге, так что искры брызнули золотым дождем и пламя заиграло ярче, после чего лигиец сел снова и воскликнул:

– Ну и пусть бы сталось, что суждено, – гей!..

И мгновенно умолк, когда Лигия приложила палец к его губам, только шумно дышал, и было видно, что в душе он возмущен. Он, конечно, всегда готов целовать апостолу ноги, но этот один его поступок одобрить не может – да если бы при нем, Урсе, кто-нибудь вот так поднял руку на спасителя, да если бы он был рядом с ним в ту ночь, ой-ой, только косточки бы захрустели у солдат, у служителей первосвященника… И у него даже слезы навернулись на глаза при мысли об этом – от горя и от мучительного сомнения, ибо, подумав о том, что защищал бы он спасителя не один, но призвал бы на помощь других лигийцев, молодцов хоть куда, он в то же время понимал, что, поступив так, выказал бы неповиновение спасителю и помешал бы спасению мира.

Потому-то он и не мог сдержать слез.

Наконец Петр отнял руки ото лба и продолжил свое повествование, но Виниций опять впал в лихорадочное полузабытье. Нынешние речи апостола смешивались у него в мозгу со слышанным прошлою ночью в Остриане рассказом о том дне, когда Христос явился ученикам на берегу Тивериадского моря. Винициювиделась широкая морская гладь, на ней рыбачья лодка, а в лодке Петр и Лигия. Сам же он плыл изо всех сил за ними, но боль в сломанной руке мешала их догнать. Поднялась буря, волны заливали ему глаза, и он стал тонуть, громко призывая на помощь. Тогда Лигия опустилась на колени перед апостолом, и тот повернул лодку и протянул ему весло, ухватившись за которое Виниций с помощью их обоих забрался в лодку и упал на ее дно.

Но потом, чудилось ему, он, встав на ноги, увидел множество плывущих за лодкою людей. Пенистые волны накатывались на их головы, у иных были уже видны лишь торчавшие из водоворота руки, но Петр спасал тонущих одного за другим и брал их в лодку, а та каким-то чудом все расширялась. Наконец целая толпа народу наполнила ее, не меньше, чем та, что собралась в Остриане, и толпа эта еще росла и росла. Виниций диву давался, как могли все они там уместиться, и ему стало страшно, что лодка пойдет на дно. Но Лигия начала его успокаивать и показывать ему сияние на далеком берегу, к которому они плыли. Это видение Виниция опять смешалось с тем, что он слышал в Остриане из уст апостола о явлении Христа у озера. И теперь в ореоле этого сияния на берегу он видел фигуру человека, к которой Петр вел лодку. И чем ближе подходила лодка, тем тише становился ветер, спокойней была поверхность воды и ярче сияние. Толпа запела сладкозвучный гимн, в воздухе запахло нардом, вода заиграла радужными красками, будто на дне

расцвели лилии и розы, и наконец лодка мягко уткнулась в песок. Тогда Лигия взяла его за руку и молвила: «Идем, я поведу тебя!» И повела его туда, где было сияние.

Виниций опять проснулся, но видение рассеялось не сразу, и ясность ума возвращалась постепенно. Еще какое-то время ему мерещилось, что он на берегу озера и что его окружает толпа, в которой, сам не зная зачем, он разыскивает Петрония и удивляется, что не может его найти. Яркое пламя очага, у которого уже никто не сидел, окончательно протрезвило его мысли. Ветки олив лениво рдели под розовым пеплом, зато пиниевые щепки, видимо, недавно подброшенные на жаркие угли, с треском выбрасывали языки яркого пламени, и в его свете Виниций увидел Лигию, сидевшую вблизи его ложа.

Ее вид взволновал его до глубины души. Он помнил, что ночь она провела в Остриане и целый день помогала при лечении его ран, а теперь, когда все удалились на покой, она одна бодрствовала у его постели. Легко было догадаться, что она утомлена, – сидела она неподвижно, с закрытыми глазами. Виниций не знал, спит она или просто о чем-то задумалась. Он смотрел на ее профиль, на опущенные ресницы, на лежавшие на коленях руки, и в языческой его голове с трудом пробивалось понимание того, что рядом с греческой и римской красотой обнаженного, уверенного в себе и гордого своими формами тела есть на свете иная, для него новая, беспредельно чистая духовная красота.

Назвать эту красоту христианской у него не хватало смелости, однако, думая о Лигии, он уже не мог ее отделить от ее веры. Он даже понимал, что, если все прочие удалились на покой и одна Лигия, она, которой он причинил зло, бодрствует подле него, то причина здесь в том, что так велит ее учение. Но такая мысль, вселяя в него восхищение этой верой, была ему также и неприятна. Он предпочел бы, чтобы Лигия поступала так из любви к нему, к его лицу, к его глазам, к его будто скульптором изваянной фигуре, словом, ко всему тому, ради чего его шею не раз обвивали белоснежные руки гречанок и римлянок.

Но вдруг он осознал, что, будь она такой, как другие женщины, ему бы в ней уже чего-то недоставало. Это его удивило, он сам не понимал, что с ним творится, – и замечал, что в нем возникают какие-то новые чувства и новые склонности, незнакомые миру, в котором он жил до сих пор.

Тем временем Лигия открыла глаза и, видя, что Виниций на нее смотрит, подошла к нему.

– Я здесь, с тобой, – сказала она.

И он ответил:

– Я видел во сне твою душу.

Глава XXVI

Наутро он проснулся ослабевший, но голова была холодная, жар прошел. Ему показалось, что его разбудил разговор шепотом, но, когда он раскрыл глаза, Лигии возле него не было, только Урс, нагнувшись над очагом, ворошил серую золу и искал под нею огонька, а найдя, принялся дуть на угли так, будто работал кузнечными мехами. Виниций, вспомнив, что этот человек вчера задушил Кротона, с восхищением истинного любителя арены глядел на его могучую спину, подобную спине циклопа, и на мощные, как колонны, ноги.

«Благодарю Меркурия, что он не свернул мне шею, – подумал Виниций. – Клянусь Поллуксом, если прочие лигийцы похожи на него, дунайским легионам когда-нибудь туго с ними придется!»

– Эй, раб! – позвал он.

Урс приподнял голову, обернулся, и улыбаясь почти приветливо, сказал:

– Дай тебе бог добрый день, господин, и доброе здоровье, только я не раб, я свободный человек.

Виницию, желавшему расспросить Урса про родной край Лигии, было приятно это слышать – беседа со свободным человеком, пусть простолюдином, не так умаляла его достоинство римлянина и патриция, как беседа с рабом, которого ни закон, ни обычай не признавали человеком.

– Так ты не из рабов Авла? – спросил Виниций.

– Нет, господин. Я служу Каллине, как служил ее матери, но по доброй воле.

Тут он опять нагнул голову к огню, чтобы подуть на угли, на которые набросал щепок, потом распрямился и сказал:

– У нас нет рабов.

– Где Лигия? – спросил Виниций, не слушая его.

– Только что ушла, а мне надо сготовить для тебя завтрак, господин. Она сидела возле тебя всю ночь.

– Почему же ты ее не сменил?

– Так она захотела, а мое дело – слушаться. – Тут глаза его помрачнели, и, помолчав, он прибавил: – Кабы я ее не слушался, не быть бы тебе, господин, живым.

– Ты что же, сожалеешь, что меня не убил?

– Нет, господин. Христос не велел убивать.

– А Атацин? А Кротон?

– Иначе я не мог, – пробормотал Урс.

И словно бы с огорчением посмотрел на свои руки – видать, остались они языческими, хотя душа приняла крещение.

Затем он поставил на треножник глиняный горшок и, присев перед очагом на корточки, задумчиво уставился на огонь.

– Это твоя вина, господин, – сказал он наконец. – Зачем ты хотел насильно ее забрать, ее, царскую дочь?

В первое мгновение гордость Виниция возмутилась – этот невежа и варвар посмел не только первый заговорить с ним, но еще и упрекал. К необычным, невероятным событиям, что произошли с ним со вчерашнего вечера, прибавилось еще одно. Однако теперь Виниций от болезни был слаб, позвать на подмогу своих рабов не мог и он подавил гнев, тем более что ему хотелось выведать подробности о жизни Лигии, и это желание победило.

Итак, успокоясь, он начал расспрашивать про войну лигийцев против Ванния и свебов. Урс отвечал охотно, но мало мог прибавить к тому, что Винициюв свое время рассказывал Авл Плавтий. В битве Урс не участвовал, он сопровождал заложниц, направлявшихся в лагерь Ателия Гистра. Он только знал, что лигийцы побили свебов и язигов, но их вождь и царь был убит стрелою язига. Сразу после этого они получили известие, что семноны подожгли леса на их границе, и поспешили вернуться, чтобы отомстить за ущерб, а заложницы остались у Ателия, который сперва распорядился оказывать им царский почет. Потом мать Лигии умерла. Римский вождь не знал, что делать с девочкой. Урс хотел вернуться с нею на родину, но дорога была опасная – и звери могли напасть, и дикие племена, – так что, когда пришла весть о том, будто у Помпония находится посольство лигийцев, предлагающих помощь против маркоманов, Гистр отправил их двоих к Помпонию. Но, добравшись туда, они узнали, что никаких послов у Помпония не было, да так и остались в лагере, а уж оттуда Помпоний привез их в Рим и после триумфа отдал царское дитя Помпонии Грецине.

Хотя в этом рассказе для Виниция были новы лишь мелкие подробности, слушал он с удовольствием – его безмерному фамильному тщеславию было лестно, что есть свидетель, подтверждающий царское происхождение Лигии. Как царская дочь она могла бы занять при императорском дворе положение, равное девушкам из самых знатных семейств – тем более что народ, которым правил ее отец, никогда не воевал с Римом, и, хотя лигийцы были варварами, они могли представлять для Рима угрозу, ибо, по свидетельству самого Ателия Гистра, располагали «несметным числом» воинов.

Урс полностью подтвердил это свидетельство. На вопрос Виниция о лигийцах он ответил так:

– Живем мы в лесах, но земли у нас столько, что никто не знает, где конец нашей пуще, и народу в ней сила. Есть в пуще и деревянные города, богатые города – что семноны, маркоманы, вандалы да квады[258] повсюду награбят, то мы у них отбираем. А они к нам соваться не смеют,

[258] *Семноны и маркоманы* – ветви германского племени свебов. *Вандалы* – германское племя, первоначально оби-

только как ветер от них подует, поджигают наши леса. Но мы не боимся ни их, ни римского императора.

– Боги даровали римлянам господство над всей землей, – строго произнес Виниций.

– Боги – это злые духи, – простодушно возразил Урс, – и где нет римлян, там нет и господства. – Он поправил огонь и продолжал, как бы говоря с самим собою: – Когда император взял Каллину во дворец и я подумал, что там могут ее обидеть, хотел я пойти в те далекие леса, привести лигийцев на помощь царевне. И лигийцы двинулись бы к Дунаю, они народ добрый, хоть и язычники. Вот, кстати, и принес бы я им «благую весть». Но я и так решил, что, как вернется Каллина к Помпонии, поклонюсь я ей да попрошу дозволения идти к ним, потому как Христос родился далеко, и они даже не слышали о нем. Он, конечно, лучше меня знал, где ему родиться, но вот кабы он у нас, в пуще, на свет появился, уж мы-то его не замучили бы, мы бы младенца растили, лелеяли, чтоб ему всегда было вдоволь и дичи, и грибов, и шкур бобровых, и янтаря. А уж что у свебов или у маркоманов награбили бы, все бы ему отдали, чтоб жил младенец в достатке и в холе.

Говоря это, он поставил поближе к огню сосуд с похлебкой для Виниция и умолкнул. Видимо, мысли его блуждали по лигийской пуще, и только когда жидкость в горшке забулькала, он налил похлебку в плоскую миску и, хорошенько остудив, сказал:

– Главк велел тебе поменьше двигаться, господин, даже той рукой, что осталась цела, не шевелить, и Каллина приказала мне тебя накормить.

Лигия приказала! Что тут было говорить! Виницию даже в голову не пришло воспротивиться ее воле, точно она была дочерью императора или богиней, и он не сказал ни слова. Урс сел рядом с его постелью и, зачерпывая похлебку из миски маленькой чашкой, начал кормить Виниция. Делал он это так заботливо и так ласково улыбались его голубые глаза, что Виницию даже не верилось – неужели это тот же грозный титан, который вчера, удушив Кротона, обрушился как вихрь на него самого и растерзал бы, если бы не милосердие Лигии. Впервые в жизни молодой патриций задумался над тем, что может происходить в душе простолюдина, слуги, варвара.

Урс, однако, оказался нянькой столь же заботливой, сколь неуклюжей. Чашка совершенно тонула в его геркулесовой ладони, не оставалось даже места для губ Виниция. После нескольких неудачных попыток великан, сильно смущенный, сказал:

– Эге, легче зубра из загородки вывести…

Виниция позабавило смущение лигийца, но также заинтересовало его восклицание. Ему приходилось видеть в цирках страшных диких быков, доставленных из северных пущ, – искуснейшие бестиарии[259] опасались вступать с ними в единоборство, и только слонам они уступали в величине и в силе.

– Неужели ты пробовал брать этих зверюг за рога? – спросил Виниций с удивлением.

– Пока не пролетело надо мною двадцать зим, я побаивался, – отвечал Урс, – а потом – бывало.

И он снова принялся кормить Виниция, еще более неловко, чем раньше.

– Лучше я попрошу Мириам или Назария, – сказал он наконец.

Но тут из-за завесы выглянуло бледное личико Лигии.

– Сейчас я помогу, – сказала она.

И через минуту вышла из кубикула, где, видимо, готовилась прилечь, – на ней была только облегающая тело туника, которую в древности называли «капитий», плотно облегавшая грудь, и волосы были не подвязаны. При ее появлении сердце Виниция забилось чаще, и он начал ее журить, что она до сих пор и не подумала о сне, на что она весело ответила:

– Как раз это я и хотела сделать, но сперва я сменю Урса.

И, взяв чашку, присела на край постели и начала кормить Виниция, который при этом испы-

---

тавшее на побережье Балтийского моря. *Квады* – племя, обитавшее на юго-востоке Германии.

[259] *Бестиарий* – цирковой боец, выступавший против животных (наемный – с оружием, по приговору суда – безоружный).

тывал и чувство унижения, и счастье. Когда она склонялась к нему, на него веяло теплом ее тела, и распущенные волосы ложились на его грудь; от волнения он бледнел, но в порыве страсти, в смятении, он чувствовал, что эта головка для него дороже всего и выше всего на свете, что в сравнении с нею весь мир для него ничто. Прежде он ее желал, теперь начинал любить всей душой. Прежде он и в делах своих, и в чувствах был, подобно всем людям того времени, слепым, жестоким эгоистом, для которого существовало только его удовольствие, теперь же он начал думать и о ней.

Вскоре Виниций сказал, что уже сыт, хотя смотреть на нее и чувствовать ее рядом доставляло ему величайшее наслаждение.

– Довольно. Иди спать, моя божественная.

– Не называй меня так, – отвечала она, – негоже мне слушать такое.

Все же она улыбалась ему и сказала, что спать ей не хочется, нисколько она не устала и не пойдет отдыхать, пока не появится Главк. Он слушал ее слова, как музыку, сердце его переполняли сладостное волнение, восторг, благодарность, и он мучительно думал, как выказать ей эту благодарность.

– Лигия, – сказал он после минутной паузы, – раньше я тебя не знал. Но теперь я понимаю, что шел к тебе по ложному пути, и знаешь, что я тебе скажу: возвращайся к Помпонии Грецине и не тревожься – отныне никто не посягнет на тебя.

Ее лицо вдруг стало печальным.

– Я была бы счастлива, – ответила она, – если бы могла хоть издали ее увидеть, но возвратиться к ней я не могу.

– Почему? – с недоумением спросил Виниций.

– Мы, христиане, благодаря Акте знаем, что делается на Палатине. Разве ты не слышал, что император, вскоре после моего бегства и еще до отъезда в Неаполис, призвал Авла и Помпонию. Полагая, что они мне помогли, он пригрозил им своей немилостью. К счастью, Авл мог ему ответить: «Ты знаешь, государь, что никогда ложь не оскверняла мои уста; я клянусь тебе, что мы не помогли ей бежать и так же, как ты, не знаем, что с нею». И император поверил, потом об этом забыл – а я по совету наших старейшин ни разу матери не написала, где я, чтобы она могла смело поклясться, что ничего обо мне не знает. Тебе, Виниций, может быть, этого не понять, но нам ведь нельзя лгать, даже если дело идет о жизни. Таково наше учение, до которого мы хотим возвысить свои сердца; поэтому я и не видела Помпонию с тех пор, как оставила ее дом, а до нее лишь иногда доходят слухи, что я жива и в безопасности.

Тут, видимо, тоска сжала ей сердце, на глазах блеснули слезы, но вскоре она успокоилась и сказала:

– Я знаю, Помпония скучает по мне, но у нас есть особое утешение, которого нет у других.

– Да, – согласился Виниций, – ваше утешение – Христос, только мне это непонятно.

– Погляди на нас: для нас нет разлуки, нет болезней и страданий, а коль приходят они, то превращаются в радость. И сама смерть, которая для вас – конец жизни, для нас – лишь начало ее и замена меньшего счастья на более полное, счастья тревожного на счастье безмятежное и вечное. Посуди, сколь высоким должно быть учение, которое велит нам оказывать милосердие даже недругам, запрещает ложь, очищает наши души от злобы и обещает после смерти блаженство беспредельное.

– Я слышал об этом в Остриане и видел, как вы поступили со мною и с Хилоном, и, когда об этом думаю, мне все сдается, что это сон, что я не должен верить ни ушам своим, ни глазам. Но ты ответь мне на другой вопрос: ты счастлива?

– О да! – ответила Лигия. – Веруя во Христа, я не могу быть несчастливой.

Виниций взглянул на нее так, словно ее речи выходили за пределы человеческого разумения.

– И ты не хотела бы вернуться к Помпонии?

– От всей души хотела бы и вернусь, если на то будет воля божья.

– Вот я и говорю тебе: возвращайся, а я поклянусь моими ларами, что посягать на тебя больше не буду.

Лигия на минуту задумалась, потом ответила:

– Нет, я не могу подвергать опасности своих близких. Император питает неприязнь к роду Плавтиев. Если бы я вернулась, – а ты ведь знаешь, что рабы разносят любую новость по всему Риму, – о моем возвращении стало бы известно в городе, и Нерон, без сомнения, узнал бы о нем от своих рабов. Он тогда покарал бы Авла и его семью или, в лучшем случае, снова бы отнял меня у них.

– Да, – нахмурясь, согласился Виниций, – это вполне возможно. Он сделает это хотя бы ради того, чтобы показать, что его воля должна исполняться неукоснительно. Он, правда, как будто забыл о тебе или не желает об этом думать, полагая, что тут задет не он, а я. Но, быть может, он… отняв тебя у Авла… отдал бы мне, а я тебя возвратил бы Помпонии.

– Неужели, Виниций, ты хотел бы опять увидеть меня на Палатине? – с грустью спросила Лигия.

– О нет, – ответил он, стискивая зубы. – Ты права. Я говорил как глупец! Нет!

И вдруг перед ним как бы разверзлась бездонная пропасть. Да, он был патрицием, был военным трибуном, был человеком влиятельным, но над всеми сильными того мира, к которому он принадлежал, стоял помешанный, чьи прихоти и гнев невозможно было предвидеть. Не считаться с ним, не бояться его могли лишь такие люди, как христиане, для кого весь этот мир, его разлуки, страдания и сама смерть были ничто. Все прочие не могли не дрожать перед ним. Весь ужас времени, в котором они жили, явился Винициюю в чудовищной своей беспредельности. Да, он не мог отдать Лигию семье Авла из опасения, как бы изверг не вспомнил о ней и не обрушил на нее свой гнев; и по той же причине, если бы он теперь взял ее себе в жены, он мог погубить и ее, и себя, и семью Авла. Довольно минуты дурного настроения – и всем им конец. Впервые в жизни Виниций почувствовал, что либо мир должен измениться, переродиться, либо жизнь вообще станет невозможной. Понял он и то, что еще недавно было от него скрыто, – что в такие времена быть счастливыми могут одни лишь христиане.

Но главное, ему стало очень горько от сознания, что он сам так беспросветно запутал свою жизнь и жизнь Лигии и что из этого положения, вероятно, нет выхода.

– А знаешь, ты счастливее меня! – заговорил он, весь во власти своих горестных мыслей. – В бедности, в жалкой комнатушке, среди простых людей, у тебя есть твоя вера и твой Христос, а у меня есть только ты, и когда я тебя лишился, я был подобен нищему, у которого нет ни крова над головой, ни хлеба. Ты мне дороже всего мира. Я искал тебя, потому что не мог без тебя жить. Мне постыли пиры, я потерял сон. Если бы не надежда найти тебя, я бросился бы на меч. Но смерть меня страшит – ведь тогда я не смогу видеть тебя. Я говорю чистую правду, да, я не смогу жить без тебя и до сих пор жил лишь надеждой, что тебя найду и увижу. Помнишь наши беседы в доме Авла? Однажды ты начертила на песке рыбу, и я не понимал, что это означает. А помнишь, как мы играли в мяч? Уже тогда я любил тебя больше жизни, но ведь и ты начинала догадываться, что я тебя люблю… Подошел к нам Авл, стал пугать Либитиной и прервал наш разговор. Помпония сказала Петронию на прощанье, что бог един, всемогущ и всеблаг, но нам и в голову не приходило, что ваш бог – Христос. Пусть он даст мне тебя, и я полюблю его, хотя он представляется мне богом рабов, чужеземцев и бедняков. Ты вот сидишь рядом со мною, а думаешь только о нем. Думай обо мне, не то я его возненавижу. Для меня одна ты – божество. Да будут благословенны твои отец и мать и твоя земля, что тебя породили. Я хотел бы пасть тебе в ноги и молиться тебе, поклоняться тебе, приносить тебе жертвы, мольбы – о трижды божественная! Нет, ты не знаешь, ты не можешь знать, как я тебя люблю…

Он провел рукою по побледневшему лбу и закрыл глаза. Его натура никогда не знала удержу ни в гневе, ни в любви. Он говорил с жаром, как человек, уже не владеющий собою и не желающий думать о сдержанности ни в речах, ни в чувствах. Но говорил он искренне, от чистого сердца. Было видно, что скопившиеся в его груди страдание, восторг, страсть и преклонение вырвались наконец на волю неудержимым потоком слов. Лигии его речи показались кощунственными, но сердце у нее так отчаянно билось, точно хотело разорвать стеснявшую грудь тунику. Она не могла совладать с жалостью к Винициюю и к его страданиям. Ее волновало почтение, с каким он к ней обращался. Она чувствовала, что ее безгранично любят, обожествляют, что этот могучий, опасный человек теперь принадлежит ей душою и телом, как раб, и сознание его покорности и своей власти

над ним наполняло ее счастьем. В памяти мгновенно возникало прошлое. Он снова был для нее тем великолепным и прекрасным, как языческий бог, Виницием, который в доме Авла говорил ей о любви, как бы пробуждая от сна ее тогда еще полудетское сердце; был тем, чьи поцелуи она еще чувствовала на своих губах и из чьих объятий вырвал ее на Палатине Урс, словно из огня унес. Но теперь, глядя на мужественное лицо, исполненное восторга и страдания, на бледный его лоб и умоляющие глаза, на этого раненого, сраженного любовью, пылкого, преклоняющегося перед нею и покорного ей юношу, она увидела его таким, каким хотела бы видеть тогда, прежде, и какого могла бы тогда полюбить всею душой, – и он был ей дороже, чем когда-либо.

Внезапно она поняла, что может прийти минута, когда его любовь, как вихрь, захватит ее и унесет, и тут она испытала то же чувство, какое было у него: будто она стоит на краю пропасти. И для этого покинула она дом Авла? Для этого спасалась бегством? Для этого так долго пряталась в бедных кварталах города? И кто он, этот Виниций? Августиан, солдат и придворный Нерона! Ведь он был участником разврата и безумств императора, что было видно по тому пиру, которого Лигия не могла забыть; ведь он вместе с прочими ходил в храмы и приносил жертвы нечистым божествам, в которых, может, и не верил, но отдавал им установленную обычаем дань. Ведь он преследовал ее, чтобы сделать своею рабой и любовницей, увести в страшный мир роскоши, наслаждения, злодейств и бесчинств, вопиющих о гневе и мести господних. Правда, ей казалось, он изменился, но вот давеча он сам сказал, что, если она будет думать о Христе больше, чем о нем, то он готов Христа возненавидеть. Одна мысль о какой-либо иной любви, чем любовь к Христу, думала Лигия, – это уже грех против него и против его учения, а когда она заметила, что где-то в глубине ее души могут пробудиться другие чувства и желания, ей стало тревожно за свое будущее и свое сердце.

В эту минуту ее душевного смятения вошел в комнату Главк – он хотел осмотреть больного, проверить, как заживают раны. Лицо Виниция вмиг помрачнело от досады и гнева. Он сердился, что прервали его разговор с Лигией, и, когда Главк начал задавать ему вопросы, отвечал чуть ли не с презрением. Правда, он быстро успокоился, но если у Лигии была какая-то надежда, что услышанное в Остриане могло повлиять на его неукротимый нрав, то надежда эта должна была исчезнуть. Он изменился только по отношению к ней, но в груди его по-прежнему билось жестокое, себялюбивое, истинно римское, а стало быть, волчье сердце, неспособное не только к восприятию кроткого христианского учения, но даже к благодарности.

Лигия вышла из комнаты, удрученная печалью и тревогой. Прежде она в молитвах приносила Христу сердце спокойное и чистое, как слеза. Теперь ее покой был нарушен. Ядовитый червь проник в сердечко цветка и копошился там. Даже сон – хотя она провела две бессонные ночи – не принес умиротворения. Ей снилось, что в Остриане Нерон со свитой августианов, вакханок, корибантов и гладиаторов давит украшенной розами колесницей толпы христиан, а Виниций хватает ее в объятья, втаскивает на колесницу и, прижимая к груди, шепчет: «Идем к нам!»

Глава XXVII

С этого часа Лигия стала реже появляться в общей комнате и реже подходила к постели Виниция. Однако покой не возвращался к ней. Она видела, что Виниций следит за ней умоляющими глазами, что он ждет каждого ее слова, как милости, что он страдает и не смеет жаловаться, боясь вызвать у нее неприязнь, что в ней одной его здоровье и радость, – и тогда ее сердце переполнялось состраданием. Вскоре она также заметила, что чем больше старается его избегать, тем острее в ней жалость к нему и тем больше нежности в ее душе. Прежняя ее безмятежность исчезла. Иногда Лигия говорила себе, что ей надо все время быть рядом с Виницием, ибо, во-первых, учение господне велит платить добром за зло и, во-вторых, беседуя с ним, она могла бы привлечь его к истинной вере. Но тут же совесть укоряла ее, что она сама себя обманывает и что влечет ее к нему не что иное, как любовь и его обаяние. Эти душевные терзания не оставляли ее, но с каждым днем только усиливались. Минутами ей казалось, будто она опутана сетью и, чем больше старается вырваться, тем больше запутывается. Ей также пришлось признаться себе, что видеть Виниция, слышать его голос становится для нее с каждым днем все более необходимо и сладостно и что ей

приходится изо всех сил бороться с желанием сидеть у его постели. Когда она приближалась к нему и лицо его сияло от радости, ее сердце также трепетало от счастья. Однажды она заметила на его глазах следы слез и в первый раз в жизни подумала, что она могла бы осушить эти слезы поцелуями. Устрашенная этой мыслью и убитая презрением к себе, она проплакала всю следующую ночь.

А он был так терпелив, словно дал обет кротости. Когда порою в глазах его вспыхивало раздражение, своеволие, гнев, он мгновенно гасил эти вспышки, а потом смотрел на нее с беспокойством, как бы моля о прощении, и ее это волновало еще больше. Никогда еще не приходилось ей чувствовать, что ее так сильно любят, и, думая об этом, она ощущала себя виноватой и счастливой. Виниций тоже сильно переменился. Разговаривая с Главком, он уже не был так высокомерен. Часто у него появлялась мысль, что и этот бедный, врачующий его раб, и чужеземка старуха Мириам, окружавшая его своею заботой, и Крисп, которого он всегда видел погруженным в молитву, – что все они как-никак люди. Эти мысли удивляли его – однако они появлялись. Постепенно он полюбил Урса, они беседовали по целым дням – с ним Виниций мог говорить о Лигии, а гигант был неистощим в своих рассказах и, ухаживая за больным изо дня в день, тоже стал испытывать к нему известную привязанность. Лигия же всегда была для Виниция существом как бы иной породы, бесконечно более высоким, чем те, кто ее окружал, и все же он начал приглядываться к этим простым и бедным людям – чего с ним еще никогда не бывало – и обнаруживать в них разные примечательные качества, о которых прежде и не подозревал.

Только Назария он не выносил – ему казалось, что этот юноша смеет питать нежные чувства к Лигии. Виниций долго скрывал свою враждебность к нему, но однажды, когда Назарий принес девушке двух перепелок, купленных на заработанные им деньги, в Виниции пробудился потомок квиритов, для которого пришелец из чужого народа ничтожнее самого жалкого червяка. Услыхав, что Лигия благодарит за подарок, он страшно побледнел, и, когда Назарий вышел за водой для птиц, Виниций сказал:

– Лигия, как ты можешь терпеть, чтобы он делал тебе подарки? Разве ты не знаешь, что греки называют людей его народа иудейскими собаками?

– Я не знаю, как их называют греки, – отвечала девушка, – но знаю, что Назарий христианин и мой брат.

Вымолвив это, Лигия посмотрела на него с удивлением и печалью – она уже отвыкла от подобных вспышек, – а он стиснул зубы, чтобы не сказать ей, что такого брата он приказал бы засечь насмерть или сослал бы его в деревню, чтобы он как компедитус[260] копал там землю в его сицилийских виноградниках. Виниций, однако, сдержал себя, подавил свой гнев и, немного помолчав, сказал:

– Прости меня, Лигия. Ведь ты для меня – царская дочь и приемное дитя Плавтиев.

И он настолько овладел собой, что, когда Назарий опять появился в комнате, Виниций пообещал ему, возвратясь на свою виллу, подарить пару павлинов или пару фламинго, которых в его садах великое множество.

Лигия понимала, во что обходятся ему подобные победы над собою. И чем чаще он их одерживал, тем больше к нему склонялось ее сердце. Однако его подвиг по отношению к Назарию был не так уж труден, как она думала. Виниций мог ненадолго рассердиться на него, но ревновать к нему не стал бы. В его глазах сын Мириам действительно стоял почти не выше собаки, к тому же Назарий был еще совсем юн, и если любил Лигию, то безотчетно и смиренно. Куда более серьезную борьбу с собою должен был вести молодой трибун, чтобы соглашаться хотя бы с тем почитанием, каким в среде этих людей было окружено имя Христа и его учение. И тут в душе Виниция творилось что-то странное. Как-никак это было учение, которое исповедовала Лигия, – по одной этой причине Виниций готов был его признать. И по мере того, как к нему возвращалось здоровье и он припоминал лавину событий, происшедших после той ночи в Остриане, и новых понятий, хлынувших в его сознание, он все больше дивился сверхчеловеческому могуществу этого учения,

[260] *Компедитус* – раб в ножных оковах.

которое столь неслыханно преображало души людей. Виниций понимал, что оно несет в себе нечто необычное, чего еще не бывало на свете, и чувствовал, что если бы это учение охватило весь мир, если бы привило миру свою любовь и милосердие, то, пожалуй, наступила бы эра вроде той, когда еще правил миром не Юпитер, а Сатурн[261]. Не смел он также усомниться ни в божественном происхождении Христа, ни в его воскресении, ни в других чудесах. Рассказывавшие о том очевидцы были людьми слишком достойными доверия и слишком презиравшими ложь, чтобы он мог предположить, будто они выдумывают небылицы. В конце концов римский скептицизм, допуская неверие в богов, сохранял веру в чудеса. Здесь перед Виницием была странная загадка, решить которую он не мог. В то же время все это учение казалось ему противоречащим существующему порядку вещей, невозможным для исполнения в жизни и безумным, как никакое другое. По мнению Виниция, люди в Риме и во всем мире могли быть дурными, но миропорядок был хорош. Если бы, к примеру, император был порядочным человеком, если бы сенат состоял не из гнусных развратников, но из людей вроде Тразеи, чего бы, казалось, еще желать? Ведь римский миропорядок и господство римлян были по сути хороши, и различия между людьми законны и справедливы. А это учение, считал Виниций, может нарушить всякий порядок, господство высших над низшими, может уничтожить все различия меж людьми. И что тогда сталось бы с римским владычеством и римским государством? Неужели римляне могли бы отказаться от власти или признать несметные полчища покоренных народов равными себе? Вот это уж никак не вмещалось в мозгу патриция. Вдобавок новое учение противоречило и всем личным его представлениям, привычкам, его характеру и понятиям о жизни. Он просто не мог себе вообразить, как бы он существовал, если бы вдруг перешел в эту веру. Он страшился ее, изумлялся ей, но все его естество содрогалось от мысли, что он мог бы ее принять. И в то же время только она – а не что-либо другое – разделяла его и Лигию, и, думая об этом, Виниций ненавидел христианское учение всей душой.

Однако он уже отдавал себе отчет, что именно оно украсило Лигию тем необычным, несказанным очарованием, которое в его сердце пробудило рядом с любовью почитание, рядом с вожделением преклонение и сделало Лигию самым дорогим на свете существом. И тогда ему хотелось возлюбить Христа. Да, он сознавал, что должен либо его возлюбить, либо возненавидеть, но равнодушным остаться не может. И будто две встречные волны сталкивались в его душе, внося колебания и в мысли его, и в чувства, – он не мог решиться на выбор, но, склоня голову, выказывал безмолвное почтение этому непонятному для него богу лишь потому, что то был бог Лигии.

Лигия видела, что с ним происходит, как он борется с собою, как натура его отвергает веру, и, хотя это смертельно ее удручало, скорбь, жалость и признательность за такое безмолвное почтение, оказываемое Христу, влекли к нему ее сердце с неодолимой силой. Она вспоминала Помпонию Грецину и Авла. Для Помпонии источником непрестанной печали и непросыхающих слез была мысль о том, что после смерти она не встретит Авла. Теперь Лигии стали понятнее эта скорбь и тоска. Вот и у нее был дорогой ей человек, с которым ей грозила вечная разлука. Временами она, правда, тешила себя надеждой, что его душа еще откроется истине Христовой, но надежда быстро рассеивалась. Лигия уже слишком хорошо знала и понимала его. Виниций – христианин? Даже в ее неискушенном уме два эти понятия не могли совместиться. Если рассудительный, степенный Авл не стал христианином под влиянием мудрой и добродетельной Помпонии, как же мог им стать Виниций? Ответа не было, вернее, был только один ответ: для него нет ни надежды, ни спасения.

Но эта обреченность Виниция не только не отвращала от него Лигию, но, как она со страхом стала замечать, внушала ей острую жалость, и от этого Виниций становился ей еще дороже. Минутами ей хотелось поговорить с ним напрямик о его греховном прошлом, но, когда однажды, сидя возле него, она сказала, что вне христианского учения нет жизни, он, уже несколько окрепший, приподнялся, опираясь на здоровую руку, и вдруг положил голову ей на колени со словами: «Ты и есть жизнь!» И тут дыхание замерло у нее в груди, в глазах потемнело, трепет блаженства пробе-

[261] *Сатурн* (тождествен греческому Кроносу) – отец Юпитера (Зевса). Будучи низложен своим сыном, по преданию, воцарился в Лации. Время его правления считалось «золотым веком».

жал по всему телу. Обхватив руками его голову, она пыталась его уложить, но при этом сама наклонилась над ним так, что губами коснулась его волос, и с минуту, охваченные упоением, они, сдерживая себя, боролись с любовью, которая толкала их друг к другу.

Наконец Лигия поднялась и выбежала из комнаты, чувствуя, что кровь кипит у нее в жилах и голова идет кругом. Но то была капля, переполнившая чашу. Виниций и не догадывался, как дорого придется ему заплатить за блаженную минуту, но Лигия, однако, поняла, что теперь она сама нуждается в спасении. После этого вечера она провела бессонную ночь в слезах и молитвах, чувствуя, что недостойна молиться и быть услышанной. Утром она вышла из кубикула очень рано и, позвав Криспа в садовую беседку, увитую плющом и увядшими вьюнками, открыла ему душу, умоляя разрешить ей покинуть дом Мириам, потому что она уже не доверяет себе и не может победить любовь к Винициюв своем сердце.

Крисп, человек немолодой, суровый и обычно погруженный в молитвенный экстаз, согласился, что ей надо уйти из дома Мириам. Он не находил слов, чтобы выразить свое возмущение этой, по его понятиям, греховной любовью. Сердце в нем переворачивалось от мысли, что у Лигии, которую он опекал со дня ее бегства, которую полюбил и укрепил в вере, которой он любовался, как белой лилией, выросшей на почве христианского учения и не оскверненной ни единым земным веянием, что у этой Лигии могло найтись в душе место для иной любви, кроме любви небесной. А он-то верил, что нет в мире более чистого сердца, каждое биение которого во славу Христа, и надеялся ему принести ее в жертву, как жемчужину, как драгоценность, как любимейшее творение рук своих, – и неожиданное разочарование повергло его в глубокое горе.

– Иди и моли бога, чтобы он простил твою вину, – мрачно промолвил он. – Беги, пока злой дух, тебя опутавший, не довел тебя до окончательного падения и не заставил отречься от спасителя. Ради тебя бог умер на кресте, дабы собственной кровью искупить твою душу, а ты предпочла полюбить того, кто хотел сделать тебя своей наложницей. Бог чудом спас тебя из его рук, а ты открыла сердце нечистой похоти и полюбила исчадие тьмы. Кто он? Друг и слуга антихриста, соучастник в разврате и злодействах. Куда он заведет тебя, коли не в ту пропасть, не в тот Содом, в котором сам живет и который будет уничтожен богом в пламени его гнева? А я говорю тебе: лучше бы ты умерла, лучше бы стены этого дома обрушились на твою голову прежде, чем этот змей заползет в твою грудь и отравит ее ядом своего нечестия.

И он горячился все сильнее – вина Лигии возбудила в нем не только гнев, но также отвращение и презрение к природе человеческой вообще, и в особенности к природе женщины, которую даже христианская вера не уберегла от слабостей Евы. Что ему с того, что Лигия еще чиста, что она хочет бежать от этой любви и признается в ней с сокрушением и раскаянием! Он, Крисп, мечтал превратить ее в ангела и вознести на такую высоту, где есть лишь любовь ко Христу, а она полюбила августиана! Одна мысль об этом ужасала его сердце, он не мог в себя прийти от изумления и горя. Нет, этого он ей не может простить! Грозные слова, как пылающие угли, жгли его уста, он боролся с собою, чтобы их не высказать, и потрясал костлявыми своими руками над головою испуганной девушки. Лигия чувствовала себя виноватой, но все же не настолько. Она даже думала, что уход из дома Мириам будет ее победой над соблазном и загладит вину. Но Крисп поверг ее в прах – он показал ей все ничтожество и никчемность ее души, о чем она прежде и не подозревала. А она-то надеялась, что старый пресвитер, бывший для нее после бегства с Палатина как бы отцом, окажет немного жалости, утешит, ободрит, укрепит.

– Бог воззрит на мое разочарование и скорбь мою, – сказал он, – но ты принесла разочарование и спасителю, ты словно бы вошла в болото, испарения коего отравили твою душу. А ведь ты могла принести ее в жертву Христу, как сосуд драгоценный, и сказать ему: «Наполни его, господи, благодатью твоей!», но нет, ты предпочла предложить его духу зла. Да простит тебя бог и да смилуется над тобой, но я, пока ты не исторгнешь змея… я, почитавший тебя избранницей…

И он внезапно умолк, заметив, что они уже не одни.

Сквозь переплетение увядших вьюнков и плюща, зеленого и летом и зимою, Крисп заметил двух человек, одним из которых был апостол Петр. Второго он сразу не мог узнать – плащ из грубой власяной ткани, называвшийся «киликиум», частично прикрывал его лицо. Криспу на минуту показалось, что то был Хилон.

А они, услыхав возбужденный голос Криспа, вошли в беседку и сели на каменную скамью. Спутник Петра открыл свое худощавое лицо, лысеющую посредине голову окаймляли кудрявые волосы, веки были воспаленные, нос кривой – в этом некрасивом, но вдохновенном лице Крисп узнал черты Павла из Тарса.

Лигия, упав на колени, обхватила руками ноги Петра и, прижимаясь своей измученной головкой к подолу его плаща, замерла в немом отчаянии.

– Мир душам вашим, – промолвил Петр.

И, видя девушку у своих ног, спросил, что случилось. Тогда Крисп стал рассказывать то, в чем ему призналась Лигия, – о ее греховной любви, ее желании бежать из дома Мириам и о своем горе, что душа, которую он хотел принести в жертву Христу чистой, как слеза, запятнала себя земным чувством к участнику всяческих злодеяний, в которых погряз языческий мир и которые вопиют о мести господа.

Пока он говорил, Лигия все крепче сжимала ноги апостола, словно искала у него убежища и молила о жалости.

Апостол, выслушав до конца, наклонился и положил старческую свою руку на ее голову, а потом, подняв глаза на старика священника, спросил:

– Ужели ты не слышал, Крисп, что учитель наш возлюбленный был в Кане[262] на брачном пиру и благословил любовь между женщиной и мужчиной?

У Криспа опустились руки, он с изумлением смотрел на апостола, неспособный вымолвить ни слова.

А Петр, немного помолчав, опять спросил:

– Ужели ты полагаешь, Крисп, что Христос, который разрешал Марии Магдалине лежать у своих ног и простил блудницу, отвернулся бы от этого дитяти, чистого, как лилии полевые?

Лигия, всхлипывая, прижалась еще крепче к ногам Петра – она поняла, что не напрасно искала у него защиты. Приподняв ее залитое слезами личико, он обратился к ней:

– Пока глаза того, кто тебе мил, не откроются свету истины, до тех пор, дитя, ты избегай его, дабы он не ввел тебя во грех, но молись за него и знай, что в любви твоей нет вины. А твое желание бежать от соблазна будет тебе зачтено. Не горюй же и не плачь – говорю тебе, милость спасителя не оставит тебя, и молитвы твои будут услышаны, и после дней печали придут дни веселья.

С этими словами апостол возложил обе руки на ее голову и, подняв очи горе, благословил ее. Неземная доброта сияла на его лице.

Сокрушенный Крисп начал смиренно оправдываться:

– Ты прав, я согрешил против милосердия, но я полагал, что, допустив в сердце свое земную любовь, она отреклась от Христа…

– Я трижды отрекся от него, – прервал его Петр, – однако он простил меня и наказал пасти овец своих.

–…тем паче, – заключил Крисп, – что Виниций – августиан.

– Христос побеждал и более твердые сердца, – возразил Петр.

Тогда молчавший до сих пор Павел из Тарса приложил руку к своей груди, указывая на себя, и молвил:

– Я тот, кто преследовал и посылал на смерть слуг Христовых. Когда каменовали Стефана[263], я сторожил одежды тех, кто каменовал его; я хотел истребить истину на всей земле, где обитают люди, и, однако, именно меня предназначил господь, чтобы я на всей земле проповедовал истину его. И я проповедовал ее в Иудее, в Греции, на островах и в этом безбожном городе, где очутился впервые и побывал в узилище. А ныне, призванный Петром, старшим надо мною, я войду в этот дом, дабы привести эту гордую голову к стопам Христа и бросить зерно на каменистую почву, которую господь оживит, дабы принесла она обильный урожай.

---

[262] *Кана* – селение в Галилее.

[263] По преданию, в молодости Павел участвовал в избиении камнями диакона Стефана.

И он встал. Этот невысокий, сгорбленный человек показался в ту минуту Криспу тем, кем и был на самом деле, – великаном, который сдвигает мир с его основ и овладевает людьми и странами.

Глава XXVIII

Петроний – Виницию:

«Помилосердствуй, бесценный мой, не подражай в своих письмах ни лакедемонянам, ни Юлию Цезарю! Когда бы ты мог написать, как он: „Veni, vidi, vici“[264] – мне еще была бы понятна твоя лаконичность. Но истинный смысл твоего письма: veni, vidi, fugi[265], и, поскольку подобный исход дела никак не вяжется с твоим нравом и вдобавок ты был ранен и происходили с тобою вещи необычные, письмо твое требует объяснений. Я не верил глазам своим, читая, что этот лигиец задушил Кротона столь же легко, как каледонский пес душит волка в ущельях Гибернии[266]. Да такой человек должен цениться на вес золота, и стоит ему пожелать, он будет любимцем императора. Когда вернусь в город, непременно завяжу с ним более короткое знакомство и велю отлить из бронзы его статую. Меднобородый лопнет от любопытства когда услышит, что статуя сделана с натуры. Подлинно атлетическое тело все реже встретишь и в Италии и в Греции, о Востоке нечего и говорить, а у германцев, хотя они рослые, мышцы покрыты жиром, и они больше удивляют огромностью своей, чем силой. Узнай у лигийца, исключение ли он или же в его краю есть еще люди ему подобные. А вдруг тебе или мне придется по долгу службы устраивать игры, так не худо бы знать, где можно найти самые лучшие тела.

Но, хвала богам восточным и западным, что ты ушел цел из таких ручищ! Наверно, уцелел потому, что ты патриций и сын консула, однако все, что с тобою случилось, чрезвычайно удивляет меня: и это кладбище, где ты очутился среди христиан, и они сами, и их обхождение с тобою, и бегство Лигии, и, наконец, печаль и тревога, которыми дышит твое короткое письмецо. Жду объяснений, потому что многого не понимаю, а если хочешь знать правду, скажу откровенно, что не понимаю ни христиан ни тебя, ни Лигии. И не дивись, что я, которого мало что на свете волнует, так настойчиво расспрашиваю. Ведь я виновник всего, что произошло, стало быть, это и меня касается. Напиши поскорее, ибо я не могу сказать точно, когда мы свидимся. В голове у Меднобородого намерения меняются, как весенние ветры. Ныне, находясь в Беневенте, он желает ехать прямо в Грецию и в Рим не возвращаться. Тигеллин, однако, советует ему вернуться хотя бы ненадолго, потому что народ, стосковавшись по его особе (читай: по зрелищам и хлебу), может возмутиться. Вот я и не знаю, что будет дальше. Если перевесит Ахайя, нам потом может захотеться в Египет. Я бы настаивал на твоем приезде сюда, ибо полагаю, что в таком душевном состоянии путешествие и наши развлечения были бы тебе лекарством, но ты можешь нас не застать. Подумай все же, не лучше ли тебе отдохнуть в своих поместьях на Сицилии, чем торчать в Риме. Пиши подробней о себе – и на том прощай! Никаких пожеланий, кроме пожелания здоровья, я на сей раз не прибавляю, ибо – клянусь Поллуксом! – не знаю, чего тебе желать».

Получив это письмо, Виниций вначале не испытывал ни малейшей охоты отвечать. У него было смутное чувство, что писать не стоит, что никому от этого пользы не будет, ничего не выяснится и ничего не решится. Им владело отвращение ко всему и ощущение бессмысленности жизни. Петроний, думал он, ни за что его не поймет, ибо случилось нечто такое, что их отдалило друг от друга. Даже с самим собою он не мог прийти в согласие. Воротясь из домика за Тибром в свой

[264] Пришел, увидел, победил *(лат.)*. Эта фраза составляла послание Цезаря сенату, которым он уведомил о победе (весной 47 г. до н.э.) над боспорским царем Фарнаком. Боспорское царство (столица – г. Пантикапей, ныне Керчь) занимало территорию Керченского и Таманского полуостровов.

[265] Пришел, увидел, убежал *(лат.)*

[266] *Каледония* – северо-западная часть Шотландии. *Гиберния* – Ирландия.

роскошный особняк в Каринах, Виниций был еще слаб, измучен и в первые дни испытывал удовольствие от возможности понежиться, от окружавших его удобств и роскоши. Но удовольствие было недолгим. Праздная жизнь претила ему, а все, составлявшее прежде смысл жизни, либо полностью для него перестало существовать, либо виделось чем-то бесконечно ничтожным. Словно в душе его перерезали струны, соединявшие его с жизнью, а новых не натянули. При мысли, что он мог бы поехать в Беневент, а затем в Ахайю, и предаться наслаждениям и безумным прихотям, ему стало бесконечно тоскливо. «Зачем? Что мне это даст?» Таковы были первые мелькнувшие в его уме вопросы. И также первый раз в жизни он подумал, что, если бы поехал, то беседы с Петронием, его остроумие, блеск, умение изысканно и метко выражать свои мысли ему, Винициюю, могли бы теперь показаться в тягость.

С другой стороны, и одиночество также тяготило его. Все знакомые развлекались с императором в Беневенте, приходилось сидеть дома одному, а голове не было покоя от мыслей и сердцу – от чувств, в которых он не мог разобраться. Имей он возможность с кем-нибудь поговорить о том, что с ним творится, тогда, казалось ему, удалось бы все это лучше понять, упорядочить, определить. С этой надеждой он, после нескольких дней колебания, решил все же ответить Петронию, хотя не был уверен, что пошлет этот ответ. Писал он следующее:

«Ты хочешь, чтобы я писал тебе более пространно, – согласен: но сумею ли писать яснее, не знаю, потому что многие узлы сам еще не могу распутать. Я сообщал тебе о своем пребывании у христиан, об их обхождении с врагами, к которым они имели право причислить и меня, и Хилона, и, наконец, о заботливом их уходе за мною и об исчезновении Лигии. Нет, дорогой, не потому они пощадили меня, что я сын консула. Эти соображения для них не существуют, ведь и Хилона они простили, хотя я сам им советовал закопать его в саду. Это люди, каких мир еще не видывал, и учение, какого мир еще не слыхал. Ничего другого я тебе сказать не могу, и всякий, кто вздумает их мерить нашей меркой, ошибется. Зато могу тебе сказать, что, если бы я лежал со сломанной рукой у себя дома и ухаживали бы за мною мои люди или даже мои родные, удобств у меня, разумеется, было бы больше, но я никогда не изведал бы той заботливости, какой они окружили меня. И о Лигии тебе скажу, что она такая же, как они. Будь она мне сестрой или женой, она не могла бы ухаживать за мною более нежно. Бывало, сердце мое трепетало от радости, я думал, что только любовь может быть причиною такой трогательной заботы. И я не раз читал это в ее лице и взгляде и, поверишь ли, среди этих простых людей, в бедной комнатушке, служившей одновременно и кухней, и триклинием, я был счастливее, чем когда-либо в жизни. Нет я не был ей безразличен, и даже сейчас мне кажется нелепостью думать иначе. И однако же, эта самая Лигия тайком от меня покинула жилище Мириам. Вот и сижу целыми днями, подперев руками голову и размышляя, почему она так поступила? Я ведь писал тебе, что сам предложил ей возвратить ее в семью Авла? Она, правда, ответила, что это уже невозможно, – Авл с семьею уехал на Сицилию, и, кроме того, от рабов, переносящих новости из дома в дом вплоть до Палатина, император мог бы проведать о том и снова ее отнять. Это верно! Но ведь ей было известно, что я больше не стал бы ее домогаться, что я отказался от пути насилия, а так как не могу ни перестать ее любить, ни жить без нее я мечтаю ввести ее в свой дом через украшенную цветами дверь и усадить на освященную шкуру у очага. И все же она сбежала! Почему? Ей же ничего не угрожало. Если она меня не любила, она могла меня отвергнуть. За день до ее бегства я познакомился с удивительным человеком, неким Павлом из Тарса, он беседовал со мною о Христе и его учении и говорил так необыкновенно сильно – казалось, каждое его слово, даже против его воли, обращает в прах все основы нашего мира. Этот же человек навестил меня после ее бегства и сказал: „Когда бог откроет твои глаза для света и снимет с них бельмо, как снял его с моих глаз, тогда ты поймешь, что она поступила правильно, и тогда, быть может, ты обретешь ее вновь“. И вот я ломаю голову над этими словами, точно услышал их из уст пифии в Дельфах[267]. Минутами мне чудится, будто я уже что-то пони-

[267] *Пифией* называлась пророчествующая жрица из храма Аполлона в Дельфах (город близ северного побережья Коринфского залива). Оракула вопрошали обычно в самых важных случаях. Ответы пифии, вдохновленной якобы самим Аполлоном, большей частью носили туманный и двусмысленный характер.

маю. Любя людей, они, христиане, враждебно относятся к нашему образу жизни, к нашим богам и… к нашим преступлениям. Потому-то она и убежала от меня как от человека из этого мира, человека, с которым ей пришлось бы разделить порочный, по мнению христиан, образ жизни. Ты скажешь, раз она могла меня отвергнуть, ей незачем было уходить. Но если и она меня любит? В таком случае она хотела убежать от любви. Лишь подумаю об этом, мне хочется разослать рабов по всем закоулкам Рима с приказом кричать у всех домов: «Вернись, Лигия!» Но потом я опять перестаю понимать, зачем она это сделала. Ведь я бы ей не запретил верить в ее Христа и сам бы соорудил в атрии ему алтарь. Чем бы повредил мне еще один новый бог и почему бы мне в него не поверить, мне, который не очень-то верит в старых? Я знаю совершенно точно, что христиане никогда не лгут, а они говорят, что он воскрес из мертвых. Человек не мог бы этого совершить, ведь так? Павел из Тарса – он римский гражданин, но иудей, а потому знает древнееврейские книги, – говорил мне, что пришествие Христа было еще несколько тысяч лет назад предсказано пророками. Все это необычно, но разве необычное не окружает нас со всех сторон? Еще не умолкли рассказы об Аполлонии Тианском. Слова Павла о том, что не существует целого скопища богов, а бог един, кажутся мне разумными. И Сенека как будто того же мнения, а до него его придерживались многие. Христос жил, отдал себя на распятие во спасение мира и воскрес. Все это вполне достоверно, я не вижу причины упорствовать в противном мнении, и почему бы мне не соорудить ему алтарь, как я соорудил бы алтарь, например, Серапису. Мне даже не трудно было бы отречься от прочих богов, ведь ни один разумно мыслящий человек и так в них не верит.

Но, кажется, христианам всего этого мало. Почитать Христа недостаточно, надо еще жить согласно его учению, и тут оказываешься как бы на берегу моря, которое тебе велят перейти пешком. Если бы я им это пообещал, они сами почувствовали бы, что в моих устах это пустые слова. Павел прямо мне это сказал. Ты знаешь, как я люблю Лигию, знаешь, что ради нее я готов на все. Но даже по ее желанию я не смог бы поднять в руках Соракт или Везувий, или уместить на ладони Тразименское озеро[268], или переменить цвет моих глаз с черного на голубой, как у лигийцев. Если бы она пожелала, я хотел бы это сделать, но сие не в моей власти. Я не философ, но все же не настолько глуп, как тебе, быть может, не раз казалось. И скажу тебе так: я не знаю, как устраиваются христиане, чтобы существовать, но знаю одно: где начинается их учение, там кончается римское владычество, кончается Рим, кончается жизнь, различие между побежденным и победителем, богатым и бедным, господином и рабом, кончается всякая власть, кончается император, закон и весь миропорядок, и вместо всего этого приходит Христос и какое-то милосердие, какого до сих пор не было, и какая-то доброта, несвойственная людям и чуждая нашим римским склонностям. По правде сказать, для меня Лигия больше значит, чем целый Рим и его владычество; по мне, хоть провались весь мир, лишь бы она была в моем доме. Но это дело другое. Для них, для христиан, твоего словесного согласия недостаточно, надо еще чувствовать, что это хорошо, и надо, чтобы в душе у тебя ничего другого не было. А я – боги мне свидетели! – так не могу. Ты понимаешь, почему? Есть что-то в моей натуре, что содрогается от этого учения, и если даже уста мои будут его прославлять и я буду соблюдать его предписания, разум мой и душа скажут мне, что я делаю это ради любви, ради Лигии, и что, кабы не она, ничто в мире не было бы мне так противно. И странное дело – Павел из Тарса все это понимает, и при всем своем простодушии и низком происхождении понимает и старик апостол, главный среди них, этот Петр, который был учеником Христа. Знаешь, что они делают? Они молятся за меня и просят для меня что-то, что они называют благодатью, а на меня обрушивается лишь тревога да все более злая тоска по Лигии.

Как я тебе писал, она ушла тайком, но, уходя, оставила мне крест, который сама смастерила из веточек самшита. Проснувшись, я нашел его возле своей постели. Теперь он у меня в ларарии, и я сам не пойму, почему приближаюсь к нему с чувством, будто в нем есть нечто божественное, – то есть с чувством почтения и страха. Я его люблю, ведь его связали ее руки, но и ненавижу, потому что он нас разлучил. Иной раз мне думается, что тут скрыто волшебство, и что Петр – хоть и говорит, будто он простой рыбак, – более могучий волшебник, чем Аполлоний и все ранее суще-

[268] *Тразименское озеро* – большое (свыше 15 км в длину) озеро в 150 км к северу от Рима.

ствовавшие, и что он-то околдовал там их всех, Лигию, Помпонию и меня самого.

Ты пишешь, что в предыдущем моем письме чувствуются тревога и печаль. Печаль неизбежна, ибо я опять потерял Лигию, а тревога – оттого, что во мне все же что-то изменилось. Говорю тебе искренне – нет ничего более противного моей натуре, чем это учение, но с тех пор, как я с ним столкнулся, я сам себя не узнаю. Волшебство или любовь?.. Цирцея[269] своим прикосновением изменяла тела людей, у меня же изменили душу. Пожалуй, Лигия одна тоже могла бы это сделать, но скорее она это сделала с помощью удивительного учения, которое исповедует. Когда я от них возвратился к себе, дома меня не ждали. Думали, я в Беневенте и вернусь нескоро, – поэтому я застал беспорядок, пьяных рабов за пиршеством, которое они себе устроили в моем триклинии. Явился я неожиданно, как внезапная смерть, и, пожалуй, ее они бы меньше испугались. Ты знаешь, дом я веду твердою рукой, и вот все, как один, упали на колени, некоторые от страха потеряли сознание. И знаешь, как я поступил? В первую минуту хотел потребовать розги и раскаленное железо, но тут же меня обуял стыд и – веришь ли? – жалость к этим несчастным; меж ними есть и старые рабы, которых еще мой дед М. Виниций во времена Августа привел с берегов Рейна. Я заперся в библиотеке, и там у меня появились еще более странные мысли, а именно: после того, что я слышал и видел у христиан, мне не подобает поступать с рабами как прежде, они ведь тоже люди. А челядь моя несколько дней была в смертельной тревоге – они думали, я медлю для того, чтобы придумать более жестокое наказание, а я их так и не наказал – потому что не мог! Третьего дня созвал их всех и сказал: «Я вас прощаю, а вы постарайтесь усердною службой искупить свою вину!» Они бросились на колени, обливаясь слезами, с воплями простирая ко мне руки, называя меня владыкой и отцом, так что я – говорю это тебе со стыдом – тоже был растроган. Мне показалось, я в эту минуту вижу нежное лицо Лигии и ее полные слез глаза, благодарящие меня за этот поступок. И – pro pudor![270] – я почувствовал, что и у меня глаза увлажняются… Признаюсь тебе – без нее я себе места не нахожу, мне худо жить одному, я прямо-таки несчастен и моя печаль куда глубже, чем ты предполагаешь. А что до рабов моих, меня удивило одно. Полученное ими прощение не только не возбудило в них наглость и не расшатало послушание – напротив, никогда страх не понуждал их служить столь усердно, как это сделала благодарность. Они не просто прислуживают, но, кажется, наперебой спешат угадать мои мысли. Упоминаю я здесь об этом лишь потому, что за день до расставания с христианами я сказал Павлу: от его учения мир разлетелся бы в щепки, как бочка без обручей; а он мне возразил: «Любовь более крепкий обруч, чем страх». И теперь я вижу, что иногда это верно. Подтвердилось это также на клиентах, которые, узнав о моем возвращении, сбежались меня приветствовать. Ты знаешь, я с ними никогда не скупился, еще отец мой имел правило обходиться с ними великодушно и меня приучил к тому же. И вот, видя их потрепанные плащи и голодные лица, я снова испытал чувство жалости. Я распорядился, чтобы их накормили, да еще с ними поговорил – кого назвал по имени, кого спросил про жену и детей, и опять я увидел слезы на глазах и опять мне почудилось, что Лигия это видит, что она радуется и хвалит меня… То ли ум мой начал мутиться, то ли любовь сводит меня с ума – не знаю, скажу лишь одно: меня не оставляет чувство, что Лигия глядит на меня издали, и я боюсь сделать что-то такое, что могло бы ее огорчить и задеть. Так-то, Гай! Душу мне все же изменили, и порой мне от этого хорошо, а порой это меня мучает – я боюсь, что у меня отняли прежнее мужество, прежнюю энергию и что я, возможно, уже непригоден не только для совета, суда, пиров, но и для войны. Волшебство, не иначе! Когда я еще лежал больной, мне даже приходило в голову, что, будь Лигия похожа на Нигидию, на Поппею, на Криспиниллу и других наших разведенных жен, будь она такая же подлая, немилосердная, доступная, как они, я бы не любил ее так, как люблю. Но если я люблю ее за то, что нас разделяет, сам посуди, какой хаос возникает в моей душе, в каком мраке я живу, не видя перед собою надежного пути и не зная, что предпринять. Если жизнь можно сравнить с ручьем, то в моем ручье вместо воды – сплошная тревога. Живу надеждой ее увидеть, и

[269] *Цирцея* – легендарная волшебница, дочь бога солнца Гелиоса, обитавшая на острове Эя. Всех, кто попадал на остров, Цирцея превращала в различных животных. Лишь Одиссей смог устоять против ее чар.

[270] О, стыд! *(лат.)*

иногда мне кажется, что это сбудется… Но что станет со мною через год-два, не представляю себе. Из Рима я не уеду. Мне было бы несносно общество августианов, к тому же единственное утешение в моей печали и тревоге – мысль, что я недалеко от Лигии, что через лекаря Главка, обещавшего меня навестить, или через Павла из Тарса я иногда смогу что-то о ней узнать. Нет, я не покинул бы Рим, хоть предложите мне править Египтом. Еще сообщаю, что я приказал скульптору сделать надгробный камень для Гулона, которого я убил в гневе. Да, слишком поздно вспомнил я, что он ведь носил меня на руках и первый учил класть стрелу на лук. Не знаю, почему он вдруг мне вспомнился, и думаю о нем со скорбью и раскаяньем. Если тебя удивит то, что я пишу, отвечу: меня это удивляет не меньше, но я пишу чистую правду. Прощай».

Глава XXIX

На это письмо Виниций уже не получил ответа – видимо, Петроний не писал, надеясь, что император вот-вот прикажет возвращаться в Рим. Весть об этом разнеслась по городу и вызвала великую радость в сердцах толпы, соскучившейся по играм и раздачам хлеба и оливкового масла, большие запасы которых скопились в Остии[271]. Гелий, вольноотпущенник Нерона, наконец-то возвестил в сенате о его возвращении. Однако Нерон, взойдя вместе со своим двором на корабль у мыса Мизены[272], не спешил возвращаться, останавливался в прибрежных городах для отдыха или для выступлений в театрах. В Минтурнах, где он опять пел при публике, он провел недели две и даже стал подумывать о том, не вернуться ли в Неаполис и не дождаться ли там весны, которая в том году наступала раньше обычного и была теплой. Все это время Виниций жил уединенно, думая о Лигии и обо всем том новом, что проникло в его душу и принесло ей новые понятия и чувства. Время от времени он видел только лекаря Главка, чьи посещения были ему отрадой, потому что с ним он мог говорить о Лигии. Главк, правда, не знал, где она нашла убежище, но уверял, что старейшины окружили ее нежной заботой. Однажды, тронутый печалью Виниция, он рассказал, как апостол Петр укорял Криспа за то, что тот ставил Лигии в вину ее земную любовь. Услыхав это, молодой патриций побледнел от волнения. Ему ведь не раз казалось, что он Лигии небезразличен, но столь же часто одолевали его сомнения и неуверенность – и вот теперь он впервые услышал подтверждение своих мечтаний и надежд из чужих уст, к тому же из уст христианина. В порыве благодарности он хотел тут же бежать к Петру, но узнал, что апостола, нет в городе, так как он проповедует в окрестностях Рима; тогда Виниций стал умолять Главка свести его к Петру, обещая за это щедро одарить бедняков их общины. Если Лигия его любит, думал он, тогда все препятствия устранены, ведь он-то готов в любую минуту почтить Христа. Но Главк, настойчиво убеждая его принять крещение, не мог поручиться, что благодаря этому Виниций сразу обретет Лигию, и говорил, что крещения следует желать ради самого крещения и ради любви к Христу, а не ради других целей. «Надо, чтоб душа была христианская», – сказал Главк, и Виниций, которого раздражала любая помеха, начинал уже понимать, что Главк говорит то, что должен говорить как христианин. Ему самому еще не вполне была ясна суть одной из самых глубоких перемен в его душе – того, что прежде он смотрел на людей и на все прочее в мире лишь с точки зрения своего эгоизма, теперь же постепенно приучался к мысли, что другие могут смотреть иначе, другое сердце может иначе чувствовать и что справедливость не всегда совпадает с личной выгодой.

Ему часто хотелось свидеться с Павлом из Тарса, чьи речи пробудили в нем любопытство и беспокойство. Он перебирал в уме те доводы, которыми будет опровергать учение Павла, мысленно споря с ним, готовясь к встрече и желая поскорее его увидеть и услышать. Но Павел в это время находился в Арицииа[273], а Главк появлялся все реже, и Виниций оказался в полном одиночестве. Тогда он опять принялся бродить по прилегающим к Субуре местам и по узким улочкам за Тиб-

[271] *Остия* – портовый город близ устья Тибра в 25 км от Рима.

[272] *Мизены* – мыс и город в Кампании близ Байев.

[273] *Арицция* – город в 30 км к юго-западу от Рима.

ром, надеясь хоть издали увидеть Лигию, а когда и эта надежда не осуществилась, скука и нетерпение стали все больше омрачать его душу. И вот настал час, когда прежняя его натура еще раз дала себя знать с такой силой, с какой волна в пору прилива накатывает на берег, от которого отхлынула. Он вдруг подумал, что был глупцом, что попусту морочил себе голову всякими нелепыми мыслями, вогнавшими его в хандру, и что надо брать от жизни все, что можно. Решил забыть о Лигии или, по крайней мере, искать наслаждений и радостей в чем-то ином. Но, смутно догадываясь, что это последняя попытка, он бросился в водоворот наслаждений со свойственной ему пылкостью и безоглядностью. Сама жизнь как бы звала к этому. Притихший и обезлюдевший зимою город начал оживать в надежде на скорый приезд императора. Готовились к торжественной встрече. Вдобавок наступала весна, под дыханием африканских ветров исчез снег на вершинах Альбанских гор. В садах среди зеленой травы расцвели фиалки. На форумах и на Марсовом поле[274] зашумели толпы людей, греясь в лучах все более яркого солнца. По Аппиевой дороге, служившей главным образом для загородных поездок, двигались богато украшенные колесницы. Уже начались увеселительные прогулки к Альбанским горам. Молодые женщины под предлогом чествований Юноны в Ланувии[275] или Дианы в Ариции покидали дома, чтобы за городом искать новых впечатлений, светских знакомств и развлечений. Среди великолепных колесниц Виниций тут однажды заметил ослепительно роскошный выезд Петрониевой Хрисотемиды – впереди бежали две молосские собаки, целая свита молодых и пожилых сенаторов, вынужденных оставаться в городе, сопровождали карету. Хрисотемида сама правила четверкой корсиканских лошадок, расточая направо и налево улыбки и легкие удары золотым бичом, но, заметив Виниция, остановила лошадей, взяла его в карету, а затем и к себе домой на пирушку, продлившуюся всю ночь. Виниций там напился допьяна и даже не помнил, как его отвезли домой, однако ему запомнилось, что, когда Хрисотемида спросила у него про Лигию, он обиделся и, будучи уже изрядно пьян, вылил ей на голову кубок фалернского[276]. Даже размышляя об этом в трезвом виде, он приходил в бешенство. Но день спустя Хрисотемида, позабыв, видимо, про обиду, навестила его и опять увезла на Аппиеву дорогу, после чего напросилась к нему на ужин, во время которого призналась, что не только Петроний, но и его лютнист давно уже ей надоели и что сердце ее свободно. С неделю они появлялись вместе, но связь эта явно была не из долговечных. Хотя после выходки с фалернским имя Лигии не упоминалось, Виниций не мог отогнать мыслей о ней. Ему все чудилось, будто она смотрит на него, но не мог избавиться ни от чувства, что огорчает Лигию, ни от уныния, этим чувством вызванного. После первой же устроенной ему Хрисотемидой сцены ревности по поводу двух сирийских девушек, которых он приобрел, Виниций грубо ее выпроводил. Он, правда, не сразу отказался от жизни разгульной и распущенной, поступая так словно бы назло Лигии, но в конце концов убедился, что мысли о ней не покидают его ни на минуту, что в ней одной причина всех его как дурных, так и добрых поступков и что, кроме нее, ничто на свете его не интересует. И тогда им овладели отвращение и усталость. Утехи разврата стали противны, оставляя в душе лишь угрызения совести. Он чувствовал себя последним негодяем, и это было ему очень странно, так как в прежнее время все, что тешило его, было в его глазах благом. Исчезли его обычная непринужденность, самоуверенность, он впал в душевное оцепенение, от которого его не смогла пробудить даже весть о возвращении императора. Теперь ему уже все было безразлично, даже к Петронию он не собрался до тех пор, пока тот не прислал за ним свои носилки.

Радостно встреченный Петронием, молодой патриций сперва отвечал на его вопросы неохотно, но в конце концов долго сдерживаемые мысли и чувства вырвались на волю и признания полились обильным потоком. Виниций еще раз подробно рассказал историю своих поисков Лигии и пребывания у христиан, рассказал о том, что там видел и слышал, что передумал и перечувство-

[274] *Марсово поле* – площадь на берегу Тибра в северо-западной части Рима; место собраний, прогулок и увеселений.

[275] *Ланувий* – старинный город близ Альбанской горы.

[276] *Фалерн* – прибрежная область на севере Кампании; производимое там вино считалось одним из лучших в Италии.

вал, и в заключение пожаловался, что теперь в его душе царит хаос, что он утратил покой, способность трезво рассуждать. Ничто не влечет, ничто не мило, он не знает, за что ухватиться и как себя вести. Он готов почтить Христа, но также – чинить гонения на него, понимает возвышенность новой веры и в то же время испытывает к ней отвращение неодолимое. Даже если бы он нашел Лигию, ему не удастся полностью владеть ею, он должен будет делить ее с Христом. В общем, он живет и как бы не живет – без надежды, без завтрашнего дня, без веры в счастье, и вокруг него мрак, в котором он на ощупь ищет выхода и найти не может.

Пока он рассказывал, Петроний задумчиво смотрел на его осунувшееся лицо, на его руки, которые он как-то странно вытягивал вперед, будто и впрямь искал в темноте дорогу. Внезапно Петроний встал и, подойдя к Виницию, раздвинул у него над ухом пряди волос.

– А ты знаешь, – спросил Петроний, – что у тебя на виске несколько седых волосков?

– Возможно, – отвечал Виниций. – Я не удивлюсь, если вскоре и вся голова побелеет.

Наступила пауза. Петроний как человек разумный немало размышлял о душе человеческой и о жизни вообще. В том мире, к которому принадлежали они оба, жизнь каждого могла быть внешне счастливой или несчастливой, но душевное состояние людей было спокойным. Подобно тому, как удар молнии или землетрясение может разрушить храм, так несчастье могло погубить жизнь человека, но в остальном она рисовалась прямыми, гармонично упорядоченными линиями, без каких-либо сложностей. А вот в словах Виниция было что-то новое, непривычное, и Петроний впервые видел перед собой человека, чья душевная жизнь превратилась в запутанный клубок вопросов, которые еще никому никогда не приходилось распутывать. Петроний был достаточно умен, чтобы почувствовать их важность, но при всей живости своего ума не мог на них ответить.

– Быть может, это колдовство, – сказал он после долгого молчания.

– И я так думал, – ответил Виниций. – Мне не раз казалось, что нас обоих околдовали.

– А почему бы тебе, – сказал Петроний, – не обратиться к жрецам Сераписа. Среди них, как среди всех жрецов, есть, конечно, много мошенников, однако есть и такие, которым ведомы великие тайны.

Но говорил он без внутренней уверенности и сам сознавал, что в его устах такой совет может показаться никчемным, даже смешным.

– Колдовство! – сказал Виниций, потирая себе лоб. – Да, я видел колдунов, которые пользовались потусторонними, неведомыми силами для своей корысти, видел и таких, которые с их помощью причиняли вред своим врагам. Но христиане живут в бедности, врагам прощают, проповедуют смирение, добродетель и милосердие – на что ж им колдовство, с какой целью могли бы они его применить?

Петронию стало досадно, что он неспособен найти ответ на все эти вопросы, но признаться в этом ему не хотелось.

– Это новая секта, – сказал он, только чтобы сказать что-нибудь. И, помолчав, прибавил: – Клянусь божественной обитательницей пафосских лесов![277] Как все это отравляет жизнь! Ты восхищаешься добротой и милосердием этих людей, а я тебе скажу, что они дурные люди, потому что они враги жизни, подобно болезням и самой смерти. Довольно нам и этих зол, к чему нам еще христиане. Только сосчитай: болезни, император, Тигеллин, стихи императора, сапожники, повелевающие потомками древних квиритов, вольноотпущенники, заседающие в сенате. Клянусь Кастором, довольно и этого! Пагубная, отвратительная секта! А ты не пробовал развеяться, отряхнуться от печальных мыслей, отдаться радостям жизни?

– Пробовал, – ответил Виниций.

Петроний рассмеялся и сказал:

– Ах ты, предатель! Рабы быстро разносят все новости – ты соблазнил мою Хрисотемиду!

Виниций с досадой махнул рукой.

– Во всяком случае, я тебе благодарен, – сказал Петроний. – Пошлю ей пару расшитых жемчугом туфель, на моем любовном языке это означает: «Уходи!» Я должен быть тебе признателен

[277] Т.е. Афродитой. В городе Пафос на Крите находился знаменитый храм Афродиты.

вдвойне: первое, за то, что ты не принял Эвнику, второе – что избавил меня от Хрисотемиды. Послушай, что я тебе скажу. Вот перед тобой человек, который вставал по утрам, купался, пировал, любил Хрисотемиду, пописывал сатиры и иногда даже услащал прозу стихами, но при этом скучал, как император, и часто не мог отогнать мрачных мыслей. А знаешь, почему так было? Потому что я искал далеко то, что было близко. Красивую женщину всегда надо ценить на вес золота, но той, которая еще и любит, вовсе нет цены. Этого не купишь за все сокровища Верреса[278]. И теперь я говорю себе так: я наполняю жизнь счастьем, как кубок самым драгоценным вином, какое рождает земля, и я буду пить, пока не омертвеет рука и не побелеют уста. Что будет дальше, мне горя мало, – вот моя самоновейшая философия.

– Ты всегда ей следовал. В ней нет ничего нового!

– В ней есть содержание, которого прежде недоставало. – С этими словами Петроний позвал Эвнику, и та вошла в белом одеянии, сияющая, золотоволосая, словно уже не рабыня, но богиня любви и счастья.

– Иди ко мне! – сказал Петроний, раскрывая объятья.

Эвника подбежала и, сев к нему на колени, обвила руками его шею и положила голову ему на грудь. Виниций видел, как щеки ее постепенно заливал румянец и глаза застилала дымка. Эта пара являла собой дивное воплощение любви и счастья. Петроний протянул руку к стоявшей рядом на столе невысокой вазе и, зачерпнув пригоршню фиалок, начал осыпать ими голову, грудь и столу Эвники, потом сдвинул тунику с ее плеч и, любуясь, сказал:

– Блажен, кто, подобно мне, нашел любовь, заключенную в таких формах. Порой мне кажется, что мы с нею небожители. Гляди – разве Пракситель, или Мирон[279], или Скопас, или Лисипп создали когда-либо более прекрасные линии? Разве на Паросе или на Пентельской горе[280] есть мрамор, равный этому, такой теплый, розовый, дышащий любовью? Некоторые люди обцеловывают края ваз, я же предпочитаю искать наслажденье там, где его действительно можно найти.

И он стал водить губами по ее плечам и шее, а она, вся трепеща, то закрывала глаза, то приоткрывала их с выражением несказанного блаженства. Но вот Петроний приподнял свою изящную голову и, обращаясь к Винициюю, сказал:

– А теперь подумай, чего стоят рядом с этим твои мрачные христиане, и если не видишь различия, то и ступай себе к ним. Но, думаю, это зрелище должно тебя исцелить.

Виниций, раздувая ноздри, вдыхал наполнявший комнату аромат фиалок, он был бледен, и в уме у него пронеслось, что, если бы он мог вот так целовать плечи Лигии, это было бы наслаждением кощунственным, но столь упоительным, что потом – хотя бы весь мир погиб. Однако, привыкнув уже давать себе отчет в своих чувствах, он отметил, что и в эту минуту думает о Лигии, только о ней.

– Эвника, божественная, – сказал Петроний, – прикажи приготовить нам венки и завтрак.

Когда она удалилась, он сказал Винициюю:

– Я хотел ее освободить, и знаешь, что она мне ответила? «Предпочитаю быть твоей рабыней, чем женой императора». И отказалась. Тогда я отпустил ее на волю без ее ведома. Претор сделал это ради меня, не потребовав ее присутствия. Но она об этом не знает, как и о том, что этот дом и все мои сокровища, кроме гемм, в случае моей смерти будут принадлежать ей. – Он встал, прошелся по комнате, затем продолжал: – Любовь одних меняет больше, других меньше, но и меня она изменила. Когда-то мне нравился запах вербены. Но Эвника предпочитает фиалки, и теперь я тоже полюбил их больше всего – с наступлением весны мы дышим только ароматом фиалок. –

---

[278] *Гай Веррес* (ум. 43 до н.э.) приобрел огромное состояние путем беззастенчивого грабежа Сицилии, которой он управлял в 73–71 гг.

[279] *Мирон* – выдающийся греческий скульптор V в. до н.э.; прославился искусным изображением человеческого тела в движении.

[280] Остров Парос в Эгейском море и Пентельская гора в Аттике (к северо-западу от Афин) славились как месторождения мрамора.

Тут он остановился рядом с Виницием и спросил: – А ты? Ты по-прежнему верен нарду?

– Оставь меня в покое! – ответил молодой человек.

– Мне хотелось, чтобы ты пригляделся к Эвнике, и говорю я тебе о ней не зря – возможно, и ты ищешь далеко то, что находится поблизости. Возможно, и у тебя дома, где-то в кубикулах для рабов, бьется преданное, чистое сердце. Приложи к своим ранам этот бальзам. Ты говоришь, Лигия тебя любит? Возможно! Но что ж это за любовь, которая сама от себя отрекается? Разве это не означает, что тут есть нечто сильнее любви? О нет, дорогой мой, Лигия – не Эвника.

– Все это только удручает меня, – ответил Виниций. – Я смотрел, как ты целуешь плечи Эвники, и думал, что, если бы Лигия вот так обнажила для меня свои плечи, пусть бы потом земля разверзлась под нами! Но от одной этой мысли меня охватил такой страх, словно я покушался на весталку или дерзнул осквернить богиню. Да, Лигия – не Эвника, только я различие между ними понимаю иначе. У тебя любовь изменила обоняние, ты вербене стал предпочитать фиалки, а во мне она изменила душу, и я при всей моей порочности предпочитаю, чтобы Лигия была такой, как она есть, чем чтобы она походила на других.

Петроний пожал плечами.

– В таком случае тебе не на кого обижаться. Но я этого не понимаю.

И Виниций лихорадочно подтвердил:

– Да, да! Мы уже не можем понять друг друга!

Наступило опять минутное молчание, после чего Петроний сказал:

– Пусть Гадес поглотит твоих христиан! Они вселили в тебя тревогу, уничтожили смысл жизни. Пусть поглотит их Гадес! Ты ошибаешься, думая, что учение их благодетельно, – нет, благодетельно то, что дает людям счастье, иначе говоря, красота, любовь, могущество, а они называют это суетой. Ошибаешься ты и считая их справедливыми, – ведь если за зло мы будем платить добром, то чем же платить за добро? И вдобавок, если и за то, и за другое плата одинакова, тогда зачем людям быть добрыми?

– Нет, плата не одинакова, но воздается она, согласно их учению, в будущей жизни, а не в земной, преходящей.

– Об этом я толковать не буду, это мы еще увидим, если можно что-то увидеть… без глаз. А покамест они попросту ничтожества. Да, Урс задушил Кротона, у него-то тело чугунное, но все прочие там недотепы, а будущее не может принадлежать недотепам.

– Жизнь для них начинается с приходом смерти.

– Все равно что сказать: день начинается вместе с ночью. Намерен ли ты похитить Лигию?

– Нет, я не могу платить злом за добро, и я поклялся, что этого не сделаю.

– Ты намерен принять учение Христа?

– Хотел бы, но натура моя противится.

– А забыть Лигию ты сумеешь?

– Нет.

– Тогда отправляйся путешествовать.

Тут рабы доложили, что завтрак готов, но Петроний, которому показалось, что он набрел на удачную мысль, по дороге в триклиний стал ее развивать:

– Ты объездил немалый кусок земли, но только как воин, который спешит к месту назначения и не задерживается в пути. Едем с нами в Ахайю. Император пока не отказался от замысла отправиться туда. По дороге он будет всюду останавливаться, петь, собирать венки, грабить храмы и наконец вернется в Италию как триумфатор. Это будет что-то вроде шествия Вакха и Аполлона в одном лице. Августианы, августианки, тысячи кифар – клянусь Кастором! Стоит это увидеть – ведь мир не видывал ничего подобного.

Он лег на ложе у стола, рядом с Эвникой, и, когда раб надел ему на голову венок из анемонов, продолжал:

– Ну что ты повидал на службе у Корбулона? Ничего! Разве ты осмотрел как должно греческие храмы, в отличие от меня, который почти два года переходил от одного проводника к друго-

му? Побывал ты на Родосе[281], где стоял колосс? Видел ли в Панопе[282], в Фокиде, глину, из которой Прометей лепил людей, или в Спарте снесенные Ледою[283] яйца, или в Афинах знаменитый сарматский панцирь из конских копыт[284], или на Эвбее[285] корабль Агамемнона, или чашу, формою для которой послужила левая грудь Елены? Видел ли ты Александрию, Мемфис, пирамиды, волос Исиды, которая вырвала его, скорбя по Осирису?[286] Слышал ли стоны Мемнона[287]? Мир велик, не все кончается в квартале за Тибром! Я буду сопровождать императора, а когда он решит возвратиться, я его покину и отправлюсь на Кипр – моя златоволосая богиня хочет, чтобы мы вместе принесли в Пафосе на алтарь Киприды пару голубей, а ты должен знать – чего она пожелает, то исполняется.

– Я твоя раба, – молвила Эвника.

А он, положив свою увенчанную цветами голову ей на грудь, улыбаясь, сказал:

– Стало быть, я раб рабыни. Я восхищаюсь тобою, божественная, от головы до пят. – И обратился к Виницию: – Едем с нами на Кипр. Но помни – перед этим ты должен побывать у императора. Нехорошо, что до сих пор ты этого не сделал, – Тигеллин может использовать это во вред тебе. Правда, личной ненависти к тебе у него нет, но любить тебя он не может уж потому, что ты мой племянник. Мы скажем, ты был болен. Надо еще подумать, что ты ответишь, если император спросит тебя про Лигию. Лучше всего махни рукой и скажи, что она была у тебя, пока не надоела. Он это поймет. Скажи ему также: мол, болезнь держала тебя дома, и жар усилился от горя, что ты не можешь быть в Неаполисе и слушать его пение, а выздороветь тебе помогла лишь надежда его услышать. Не бойся преувеличений. Тигеллин хвалится, что придумает для императора нечто не просто великое, но колоссальное. Боюсь все-же, как бы он под меня не подкопался. И еще опасаюсь твоего нрава.

– А ты знаешь, – сказал Виниций, – что есть люди, которые не боятся императора и живут так спокойно, будто его на свете нет?

– Я знаю, кого ты назовешь: христиан.

– Да, они одни такие! А наша жизнь, что она, как не постоянный страх?

– Надоел ты мне со своими христианами! Они не боятся императора, потому что он о них,

---

[281] *Родос* – большой остров близ юго-западного побережья М. Азии с одноименным главным городом; т.н. «колосс родосский», считавшийся в древности одним из семи чудес света, представлял собою гигантскую (свыше 30 м) бронзовую статую бога Гелиоса, воздвигнутую в начале III в. до н.э. у входа в городскую гавань.

[282] *Панопа* – город в Фокиде (область на северном побережье Коринфского залива); здесь еще во II в. н.э. показывали остатки глины, из которой Прометей якобы вылепил первых людей.

[283] *Леда* – согласно мифу, супруга спартанского царя Тиндарея, возлюбленная Зевса, который сочетался с ней в виде лебедя; из снесенного Ледою яйца появилась Елена Прекрасная (по другим версиям мифа, Леда снесла несколько яиц). Скорлупу этого яйца показывали в Спарте еще во II в. н.э.

[284] *Сарматы* (или савроматы) обитали в окрестностях Меотийского озера (Азовского моря); панцирь, о котором идет речь, хранился в храме Асклепия в Афинах и был сделан из роговых пластин, нарезанных из конских копыт.

[285] *Эвбея* – большой остров близ восточного побережья Средней Греции.

[286] Близ Александрии на о-ве Фарос находился знаменитый маяк (свыше 100 м высотой), построенный в нач. III в. до н.э. и считавшийся чудом света. *Мемфис* – столица Древнего Египта (к югу от современного Каира), известная старинными храмами. Осирис, согласно мифу, был убит своим братом Сетом; супруга Осириса, Исида, собрала тело своего мужа, разрезанное на части, и погребла его. Впоследствии с ее помощью Осирис воскрес и воцарился в подземном мире.

[287] В греческой мифологии *Мемнон* – царь Эфиопии, союзник троянцев; изображением Мемнона считалась колоссальная фигура, возведенная в Египте при фараоне Аменхотепе III (2-я пол. XV в. до н.э.). Поврежденная во время землетрясения, статуя издавала на рассвете звук, которым, как полагали древние, Мемнон приветствовал свою мать, богиню Эос; изображение Мемнона также считалось одним из чудес света и еще в начале н.э. привлекало путешественников.

возможно, и не слыхал, во всяком случае, ничего о них не знает, и они его интересуют как прошлогодний снег. А я тебе говорю, они недотепы, ты и сам это сознаешь, и если твоя натура содрогается от их учения, так это потому, что ты чувствуешь их никчемность. Ты вылеплен из другой глины, а потому забудь о них и мне о них не толкуй. Мы умеем жить, сумеем и умереть, а что они умеют – неизвестно.

Виниция эти слова поразили, и, придя домой, он задумался над тем, что, возможно, доброта и милосердие христиан и впрямь доказательство их малодушия. Люди твердые, закаленные не могли бы так прощать. Не в этом ли, подумал он, причина отвращения, которое испытывает его римская душа к этому учению. «Мы умеем жить, сумеем и умереть!» – сказал Петроний. А они? Они умеют лишь прощать, но им неведома ни настоящая любовь, ни настоящая ненависть.

Глава XXX

Возвратясь в Рим, император был недоволен, что вернулся, и уже через несколько дней опять загорелся желанием поехать в Ахайю. Он даже издал эдикт, извещавший, что его отсутствие будет непродолжительным и что публичные дела не потерпят ущерба. После чего, в сопровождении августиан, в числе которых был и Виниций, он направился на Капитолий, дабы принести жертвы богам за удачу в путешествии. Но на другой день, когда он посетил следующую по порядку святыню Весты, произошел случай, изменивший его замыслы. Нерон в богов не верил, однако боялся их, и в особенности устрашала его таинственная Веста – и вот при виде статуи богини и священного огня на него напал такой ужас, что волосы вдруг поднялись дыбом; он заскрипел зубами, дрожь сотрясла все его тело, и он опустился на руки Виниция, оказавшегося позади него. Императора тотчас вынесли из храма и отвезли на Палатин, где он, довольно быстро придя в себя, весь день уже не поднимался с ложа. К большому удивлению окружающих, он заявил, что задуманная поездка откладывается на время, ибо богиня тайно предостерегла его от чрезмерной поспешности. Час спустя было оглашено народу во всем Риме, что император, видя опечаленные лица граждан и движимый любовью к ним, как отец к своим детям, остается с ними, дабы разделять их радости и судьбу. Народ, обрадованный таким решением и уверенный, что теперь-то его ждут игры и раздачи хлеба, собрался толпою у ворот Палатинского дворца, возглашая хвалу божественному императору, а тот, прервав игру в кости, которой он развлекался с августианами, сказал:

– Да, поездку надо было отложить. Египет и владычество над Востоком, по предсказаниям, от меня не уйдут, стало быть, и Ахайя будет моею. Я прикажу перекопать коринфский перешеек, а в Египте сооружу такие памятники, что пирамиды покажутся детскими игрушками. Прикажу изваять Сфинкса всемеро большего, чем тот, что вблизи Мемфиса глядит на пустыню, и лицо ему прикажу сделать мое. Потомство веками будет говорить лишь об этом памятнике да обо мне.

– Ты уже воздвиг себе памятник своими стихами, не в семь раз, а в трижды семь раз более великий, нежели Хеопсова пирамида, – сказал Петроний.

– А пением? – спросил Нерон.

– О, если бы соорудить тебе такую статую, как статуя Мемнона, которая бы пела твоим голосом при восходе солнца! Тогда на омывающих Египет морях в грядущие века теснились бы корабли, на которых толпы людей из всех трех частей света внимали бы твоей песне.

– Увы, кто сумеет это сделать! – сказал Нерон.

– Но ты можешь приказать, чтобы изваяли из базальта тебя, правящего квадригой.

– Верно! И я прикажу.

– Ты сделаешь подарок человечеству.

– В Египте я еще обручусь с Луною – она ведь вдова – и буду воистину богом.

– А нам дашь в жены звезды, и мы создадим новое созвездие, которое будет называться созвездием Нерона. Но Вителлия ты пожени с Нилом, чтобы Нил рождал гиппопотамов. Тигеллину подари пустыню – он будет царем шакалов…

– А мне ты что предназначишь? – спросил Ватиний.

– Да благословит тебя Апис[288]! Ты устроил нам великолепные игры в Беневенте, и я не могу тебе желать дурного: сшей пару сапог Сфинксу, у которого лапы коченеют от ночной росы, а потом будешь мастерить обувь для колоссов, образующих аллеи перед храмами. Каждому там найдется подходящее занятие. Домиций Афр, например, известный своей честностью, станет казначеем. Мне нравится, государь, когда ты мечтаешь о Египте, и я грущу, что ты отложил поездку.

– Ваши смертные глаза, – возразил Нерон, – ничего не видели, ведь боги могут делаться невидимыми для кого захотят. Знайте, когда я был в храме Весты, она сама стала подле меня и сказала мне на ухо: «Отложи поездку». Это произошло так внезапно, что я сам ужаснулся, хотя за такую явную заботу богов мне бы следовало быть им благодарным.

– Мы все ужаснулись, – сказал Тигеллин, – а весталка Рубрия упала без чувств.

– Рубрия! – вскричал Нерон. – Какая у нее белоснежная шея!

– Но и она краснеет, когда появляешься ты, божественный император…

– Да, да! Я тоже это заметил. Удивительно! Весталка! В каждой весталке есть что-то божественное, а Рубрия очень хороша. – Он на минуту задумался, после чего спросил: – Скажите мне, почему люди боятся Весты больше, чем других богов? В чем причина? Вот и меня самого объял страх, хотя я верховный жрец. Помню только, что я упал навзничь и рухнул бы на землю, если бы кто-то меня не поддержал. Кто меня поддержал?

– Я, – ответил Виниций.

– Ах, это был ты, «ярый Арес[289]»? А почему тебя не было в Беневенте? Мне сказали, ты болел – и верно, ты спал с лица. Да, я слышал, будто Кротон хотел тебя прикончить. Это правда?

– Да, правда, он сломал мне руку, но я сумел защититься.

– Сломанною рукой?

– Мне пришел на помощь один варвар, еще более сильный, чем Кротон.

Нерон с удивлением взглянул на него.

– Более сильный, чем Кротон? Ты шутишь? Кротон был сильнейший из людей, а теперь сильнейший – Сифакс из Эфиопии.

– Я говорю тебе, государь, то, что видел собственными глазами.

– Где же этот перл творенья? Он не стал царем Неморенским?

– Не знаю, государь. Я потерял его из виду.

– И ты даже не знаешь, из какого он народа?

– У меня была сломана рука, мне было тогда не до расспросов.

– Поищи мне его и найди.

Тут отозвался Тигеллин:

– Я этим займусь.

А Нерон продолжал беседовать с Виницием.

– Благодарю, что ты меня подхватил. Если бы я упал, я мог бы себе разбить голову. Когда-то ты был славным товарищем, но как пошел на войну да послужил у Корбулона, ты что-то одичал, я редко тебя вижу. – И, помолчав, спросил: – А как поживает та девушка… такая, узковатая в бедрах, которая тебе понравилась и ты забрал ее у Авла для себя?

Виниций смутился, но Петроний мгновенно пришел ему на помощь.

– Бьюсь об заклад, что он забыл, – сказал Петроний. – Видишь, как он смутился? Лучше спроси у него, сколько их с тех пор было, но я не ручаюсь, что он и на это сумеет ответить. Все Виниции – славные солдаты, но еще лучшие петухи. Им нужна целая стая кур. Накажи его за это, государь, и не пригласи на пир, который обещает нам устроить Тигеллин в твою честь на пруду Агриппы[290].

– Нет, нет, я этого не сделаю. Я Тигеллину верю и знаю, что уж там-то стая будет.

---

[288] *Апис* – египетский бог плодородия; почитался в виде быка.

[289] *Арес* – в греческой мифологии бог войны; тождествен Марсу.

[290] Этот пруд, скорее всего, располагался на т.н. Поле Агриппы, восточнее Марсова поля.

– Неужто может не быть Харит там, где будет сам Амур? – отвечал Тигеллин.

– Скука меня томит! – сказал Нерон. – По воле богини я остался в Риме, но я его не выношу. Поеду в Анций. Мне душно на этих узких улицах, среди этих рушащихся домов, этих мерзких переулков. Зловонный воздух доносится даже сюда, в мой дом и в мои сады. Ах, хоть бы землетрясение уничтожило Рим, хоть бы какой-нибудь разгневавшийся бог сровнял его с землею! Вот тогда я показал бы вам, как должно строить город, который является главой мира и моей столицей.

– Государь, – сказал Тигеллин, – ты говоришь: «Хоть бы какой-нибудь разгневанный бог уничтожил город», – так ведь?

– Да, так. Ну и что?

– А разве ты не бог?

Нерон со скучающим видом махнул рукой.

– Посмотрим, – сказал он, – что ты там устроишь на пруду Агриппы. Потом я поеду в Анций. Вы все люди маленькие и не понимаете, что мне надобны деяния великие.

И он прикрыл глаза, давая этим понять, что нуждается в отдыхе. Августианы стали расходиться, Петроний вышел вместе с Виницием.

– Итак, тебя пригласили участвовать в забаве, – сказал Петроний. – Меднобородый отказался от поездки, зато будет безумствовать, как никогда прежде, и безобразничать в городе, как в собственном доме. Постарайся и ты найти себе в безумствах развлечение и забвение. Черт побери! Мы как-никак покорили мир и имеем право веселиться. Ты, Марк, очень красив, этому я отчасти приписываю мою слабость к тебе. Клянусь Дианой Эфесской[291]! Если бы ты мог видеть свои сросшиеся брови и лицо, в котором сказывается древняя кровь квиритов! Те, во дворце, похожи рядом с тобою на вольноотпущенников. О да, кабы не это дикое учение, Лигия была бы нынче в твоем доме. И ты еще будешь мне доказывать, что они не враги жизни и людей! Они обошлись с тобою хорошо, за это можешь им быть благодарен, но я на твоем месте возненавидел бы их учение и искал бы наслаждений там, где их можно найти. Ты красив, повторяю тебе, а в Риме полно разведенных жен.

– Дивлюсь я только, как ты не устаешь от всего этого, – возразил Виниций.

– Кто тебе это сказал? Давно уже устаю, но ведь годы у меня не те, что у тебя. Впрочем, у меня есть другие увлечения, которых у тебя нет. Я люблю книги, а ты их не любишь, люблю поэзию, от которой тебе скучно, люблю красивые сосуды, геммы и многие вещи, на которые ты и не глядишь, у меня боли в крестце, которых у тебя нет, и, наконец, я нашел Эвнику, а ты ничего подобного ей не нашел… Мне хорошо у себя дома, среди прекрасных творений искусства, но из тебя я никогда не сделаю эстета. Я знаю, что уже не найду в жизни ничего больше того, что нашел, а ты сам не сознаешь, что все еще надеешься и чего-то ищешь. Нагрянь вдруг смерть, ты, при всей твоей храбрости и всех огорченьях, умер бы, удивляясь, что уже пора уходить из мира, а я принял бы это как необходимость, сознавая, что нет на свете таких ягод, которых бы я не отведал. Я не спешу, но и не буду упираться, лишь постараюсь, чтобы мне до конца было весело. Есть на свете и веселые скептики. Стоики, на мой взгляд, глупцы, но стоицизм, по крайней мере, закаляет, а твои христиане вносят в жизнь печаль, которая в жизни то же, что дождь в природе. Знаешь, что я узнал? На торжествах, которые устраивает Тигеллин, по берегам пруда Агриппы будут построены лупанарии, куда соберут женщин из знатнейших домов Рима. Неужели не найдется среди них ни одной достаточно красивой, чтобы тебя утешить? Будут и девушки, впервые появляющиеся в свете… в виде нимф. Такова наша римская империя! Да, уже стало тепло! Южный ветер согреет воду, и голым телам не будет зябко. А ты, Нарцисс, знай – не найдется там ни одной, которая бы тебе сопротивлялась. Ни одной – даже будь она весталкой.

Виниций хлопнул себя по голове рукой, как человек, отгоняющий навязчивую мысль.

– Досталось же мне такое счастье, что на такую единственную я и набрел…

– И кто же в том виноват, если не христиане! Но люди, чей символ – крест, не могут быть другими. Слушай, Греция была прекрасна и создала мудрость мира, мы создали могущество, а

[291] Эфес был знаменит своим храмом Артемиды (Дианы).

что, по-твоему, может создать это учение? Коли знаешь, растолкуй мне, а то я – клянусь Поллуксом! – никак не пойму.

Виниций пожал плечами.

– Можно подумать, ты боишься, что я стану христианином.

– Боюсь, что ты себе испортишь жизнь. Если ты не можешь быть Грецией, будь Римом: владей и наслаждайся! Наши безумства имеют некий смысл именно потому, что проникнуты этой мыслью. Меднобородого я презираю, он шут-грек. Считай он себя римлянином, я признал бы, что он вправе позволять себе безумства. Обещай мне, что, если ты сейчас, воротясь домой, застанешь там христианина, ты покажешь ему язык. Если это будет лекарь Главк, он даже не удивится. До свидания на пруду Агриппы!

Глава XXXI

Преторианцы оцепили рощи, обрамлявшие пруд Агриппы, чтобы толпы зевак не мешали императору и его гостям. Все, что только было в Риме выдающегося богатством, умом или красотою, ожидалось на этот пир, равного которому не было в истории города. Тигеллин хотел вознаградить императора за отложенную поездку в Ахайю, а заодно превзойти всех, кто когда-либо принимал у себя Нерона, и доказать ему, что никто не умеет так славно его развлечь. С этой целью он, еще находясь при императоре в Беневенте, делал приготовления и рассылал приказы доставлять из самых отдаленных стран всяких животных, птиц, редкостных рыб и растения, не говоря о сосудах и тканях, которые должны были украсить столы. Доходы с целых провинций шли на безумные прихоти, но всемогущий фаворит мог об этом не тревожиться. Его влияние росло с каждым днем. Тигеллин, возможно, еще не был Нерону милее всех прочих, но становился все более необходим. Петроний бесконечно превосходил его в утонченности, уме, остроумии и искуснее развлекал императора беседой, но, на свою беду, он в этом превосходил и императора, пробуждая в нем зависть. Петроний к тому же не умел быть послушным орудием, и его мнения в делах вкуса император побаивался, а с Тигеллином всегда чувствовал себя совершенно свободно. Само прозвание «арбитр изящества», которое дали Петронию, задевало самолюбие Нерона. Кому же, как не ему самому, пристало так прозываться? У Тигеллина, однако, хватало ума сознавать свои недостатки, и, видя, что ему не под силу тягаться с Петронием, с Луканом и с другими, отличавшимися знатностью, или талантом, или ученостью, он решил затмить их своей угодливостью, а главное, роскошью – такой, чтобы даже воображение Нерона было потрясено.

Пиршество устраивалось на огромном плоту из позолоченных бревен. По краям плот был окаймлен дивными раковинами из Красного моря и Индийского океана, которые играли всеми цветами жемчуга и радуги. По четырем сторонам плота красовались купы пальм, заросли лотосов и цветущих роз, среди которых били фонтаны душистой воды, стояли статуи богов и золотые или серебряные клетки с птицами всевозможных окрасок. Посередине высился гигантский шатер – вернее, чтобы не заслонять пирующим вид на пруд, там был только верх шатра, поддерживаемый серебряными столбиками, а под ним сверкали приготовленные для гостей столы, ломившиеся под тяжестью александрийского стекла, хрусталя и бесценных сосудов, награбленных в Италии, Греции и Малой Азии. Весь покрытый растениями плот походил на островок или сад и был соединен бечевками из золота и пурпура с лодками, имевшими очертания рыб, лебедей, чаек и фламинго, а в лодках этих, положив руки на ярко окрашенные весла, сидели нагие гребцы – юноши и девушки с лицами дивной красоты и стройными телами, с волосами, завитыми на восточный лад или схваченными золотой сеткой. Когда Нерона в сопровождении Поппеи и августиан подвезли к главному плоту и он уселся под пурпурным навесом, весла опустились в воду, лодки двинулись, золотые бечевки натянулись, и плот со столами и гостями поплыл, описывая круги, по пруду. Его окружили еще другие лодки и плоты поменьше, на которых были кифаристки и арфистки, чьи розовые тела на фоне лазурного неба и воды, в отсветах золотых инструментов, казалось, отливали лазурью и золотом и были прекрасны, как цветы.

Из прибрежных рощ, из причудливых домиков, нарочно сооруженных и спрятанных в зелени, также донеслись звуки музыки и пенье. По всей окрестности, по рощам эхо повторяло звуки

рогов и флейт. Сам император, справа от которого сидела Поппея, а слева – Пифагор, был изумлен, особенно когда между лодками появились юные рабыни, наряженные сиренами, в зеленых сетках, изображавших чешую, и не скупился на похвалы Тигеллину. Но по привычке он все поглядывал на Петрония, желая узнать мнение «арбитра», а тот довольно долго сохранял равнодушный вид и, лишь когда Нерон прямо задал ему вопрос, ответил:

– Я полагаю, государь, что десять тысяч обнаженных девиц производят меньше впечатления, чем одна.

Но императору «плавучий пир» понравился, это было что-то новое. Яства, как обычно, подавались такие изысканные, что даже воображение Апиция не могло бы их представить, а различных вин было столько, что Отон, у которого к столу подавали восемьдесят сортов, нырнул бы в воду от стыда, если бы мог видеть эту роскошь. За столом, кроме женщин, сидели одни августианы, среди которых Виниций затмевал всех своей красотой. Прежде в его фигуре и лице слишком чувствовался солдат, теперь же душевные муки и физические страдания, через которые он прошел, придали особую выразительность его чертам, словно их коснулась чуткая рука искусного ваятеля. Исчезла былая смуглость, хотя кожа сохранила золотистый оттенок нумидийского мрамора. Глаза стали больше, печальнее. Только торс по-прежнему поражал могучими формами, будто созданными для панциря, но этот торс легионера венчала голова греческого бога или, по крайней мере, утонченного патриция, и лицо было одухотворенным и прекрасным. Когда Петроний уверял, что ни одна из августианок не сможет и не захочет сопротивляться Винициюю, он говорил как человек искушенный. Теперь на Виниция были обращены взоры всех, не исключая Поппеи и весталки Рубрии, которую император пожелал видеть на пиру.

Охлажденные в горном снегу вина быстро разгорячили сердца и головы пирующих. Из прибрежных чащ выплывали все новые лодки в виде кузнечиков и стрекоз. Казалось, на голубое зеркало пруда рассыпали цветочные лепестки или слетел рой бабочек. Над лодками порхали туда-сюда привязанные на серебряных и голубых нитях или шнурах голуби и птицы из Индии и Африки. Солнце обошло уже большую часть небосвода, но, хотя пир происходил в начале мая, было тепло, даже жарко. Вода в пруде колыхалась от ударов весел, двигавшихся в такт музыке, а в воздухе не было ни малейшего ветерка, и деревья вдоль берега стояли недвижимы, словно заслушавшись и заглядевшись на то, что творилось на воде. Плот все описывал круги, пирующие гости все больше хмелели, все громче становился шум голосов. Еще не была подана и половина перемен, а уже никто не соблюдал того порядка, в каком все расположились вначале. Пример подал сам император – он поднялся, приказал Винициюю уступить ему место рядом с весталкой Рубрией и, улегшись на ложе, принялся что-то нашептывать ей на ухо. Виниций оказался возле Поппеи, которая тут же протянула ему руку, попросив застегнуть расстегнувшийся браслет выше локтя; когда он это исполнил слегка дрожащими руками, она бросила на него из-под длинных своих ресниц притворно стыдливый взгляд и покачала золотоволосой головой, как бы кому-то отказывая. Солнечный диск между тем стал крупнее, приобрел красноватый оттенок и медленно опускался за верхушки деревьев; большинство гостей были уже совершенно пьяны. Плот теперь двигался поближе к берегам, где среди деревьев и цветочных зарослей мелькали фигуры людей, переряженных фавнами или сатирами, играющих на флейтах, свирелях и бряцающих бубнами, и группы девушек, изображавших нимф, дриад и гамадриад. Наконец вечерний мрак сгустился под раздававшиеся на плоту громкие пьяные славословия Луне – тогда в рощах зажглись тысячи огней. Лупанарии на берегу озарились ярким светом, на их террасах показались изящные группы обнаженных красавиц – жен и дочерей из знатнейших римских семейств. Призывными окриками и бесстыдными жестами они манили к себе пирующих. Плот пристал к берегу, император и августианы устремились в рощи, рассыпались кто куда – в лупанарии, в скрытые среди зелени шатры, в искусственные гроты у источников и фонтанов. Всех охватило безумие, никто не знал, куда девался император, кто тут сенатор, кто всадник, кто плясун, а кто музыкант. Сатиры и фавны с диким криком начали гоняться за нимфами. По светильникам ударяли тирсами, чтобы их погасить. В каких-то уголках рощ стало совсем темно, но повсюду слышались то неистовые вопли, то смех, то шепот, то прерывистое шумное дыханье. Действительно, Рим такого еще не видывал.

Виниций был не настолько пьян, как на том пиру в императорском дворце, где была Лигия,

но и его ослепило и одурманило происходившее вокруг – лихорадочная жажда наслаждений вспыхнула в нем. Вместе с прочими он побежал по роще, высматривая среди дриад самую красивую. С пеньем и страстными возгласами мимо него проносились одна за другою стайки прелестниц, за которыми под звуки музыки гнались фавны, сатиры, сенаторы, всадники. Наконец Виниций увидел вереницу девушек во главе с Дианой, он побежал к ним, и вдруг сердце замерло у него в груди – ему показалось, что в богине с полумесяцем на челе он узнал Лигию.

А девушки вмиг окружили его неистово пляшущим хороводом и, видимо, желая его раззадорить погоней, тут же разбежались, как стадо серн. Но Виниций остался на месте – сердце колотилось, он едва мог вздохнуть. Хотя он разглядел, что Диана – это не Лигия и вблизи даже непохожа на нее, впечатление было чересчур сокрушительным и отняло у него силы. Его внезапно пронзила такая невыносимая тоска по Лигии, какой он еще не испытывал, и любовь могучей, всепоглощающей волной хлынула в его сердце. Никогда не виделась ему Лигия более милой, чистой и любимой, чем в этой роще безумств и гнусного разврата. Минуту назад он сам хотел испить из этой чаши и участвовал в этом разгуле чувственности и бесстыдства, а теперь отвращение и ужас сковали его. Он задыхался от омерзения, грудь его томилась по чистому воздуху, глаза – по звездам, не затемненным густою листвою этой страшной рощи, и он решил бежать. Но едва сделал шаг, как перед ним оказалась фигура с окутанной покрывалом головою и, положив руки ему на плечи, обдавая горячим дыханием его лицо, зашептала:

– Я люблю тебя! Идем! Нас никто не увидит. Поскорей!

Виниций словно очнулся ото сна.

– Кто ты?

А она, прижавшись грудью к его груди, твердила свое:

– Поскорей! Смотри, как тут пустынно. Я тебя люблю. Идем!

– Кто ты? – повторил Виниций.

– Угадай!

С этими словами она, не снимая покрывала, приникла губами к его губам, со страстью привлекая к себе его голову, но вдруг у нее как бы не хватило дыхания, и она оторвалась от его уст.

– Заклинаю любовью! Это ночь забвенья! – шептала она, жадно глотая воздух. – Сегодня можно… Я твоя!

Но Виниция этот поцелуй обжег ужасом и пробудил новую волну отвращения. Душа его и сердце были далеко, во всем мире для него не существовало ничего, кроме Лигии.

И, отстраняя от себя окутанную покрывалом фигуру, он сказал:

– Кто бы ты ни была, я люблю другую и не хочу тебя.

А она, склонив к нему голову, шепнула:

– Откинь покрывало!

Но в этот миг зашелестели рядом листья миртов, и фигура исчезла как сновидение, лишь раздался вдали странный и зловещий ее смех.

Перед Виницием стоял Петроний.

– Я все слышал и видел, – сказал он.

– Уйдем отсюда, – попросил Виниций.

И они пошли. Миновали сияющие огнями лупанарии, рощу, цепь конных преторианцев и разыскали носилки Виниция.

– Я с тобой, – сказал Петроний.

Они сели вместе. Всю дорогу оба молчали. Лишь когда вошли в атрий в доме Виниция, Петроний спросил:

– Ты знаешь, кто это был?

– Рубрия? – ужаснулся Виниций, содрогаясь от мысли, что то была весталка.

– Нет, не она.

– Так кто же?

– Огонь Весты осквернен, – сказал Петроний, понизив голос, – Рубрия была с императором. А с тобою говорила… – И он заключил еще тише: – Божественная Августа.

Наступила пауза.

– Император не мог, – сказал Петроний, – скрыть от нее своей страсти к Рубрии, и она, возможно, хотела отомстить, а я помешал вам, ибо мне было ясно: если бы ты, узнав Августу, ее отверг, ты бы погиб: ты, Лигия, а может быть, и я.

– Мне несносны Рим, император, пиры, Августа, Тигеллин и все вы! Я задыхаюсь! Я не могу так жить, не могу! Ты понимаешь? – вспылил Виниций.

– Ты теряешь голову, рассудок, сдержанность! О, Виниций!

– Я люблю только ее!

– Ну и что с того?

– А то, что я не хочу другой любви, не хочу знать вашей жизни, ваших пиров, вашего бесстыдства и ваших бесчинств!

– Что с тобою творится? Ты стал христианином?

И тут молодой патриций схватился обеими руками за голову и в отчаянии стал повторять:

– Еще нет! Еще нет!

Глава XXXII

Петроний отправился домой, пожимая плечами, глубоко раздосадованный. Теперь и он увидел, что они с Виницием перестали друг друга понимать и что между ними пролегла пропасть. Когда-то Петроний имел на юного воина огромное влияние. Он был для Виниция образцом во всем, и нередко бывало достаточно нескольких иронических его слов, чтобы удержать племянника от чего-то или на что-то побудить. Теперь от этого влияния ничего не осталось, Петроний даже не пытался прибегать к прежним приемам, сознавая, что его остроумие и ирония скользнут без следа по новым доспехам, которыми одела душу Виниция любовь и встреча с этим загадочным христианским миром. Опытный скептик понимал, что ключ к этой душе им утрачен. Это наполняло его досадой и даже опасениями, которые только усилились после событий этой ночи. «Если тут со стороны Августы не мимолетное увлечение, а более прочная страсть, – думал Петроний, – то будет одно из двух: либо Виниций перед нею не устоит, и тогда его может погубить любой пустяк, либо, что ныне вероятней, он воспротивится, и тогда он погиб наверняка, а с ним, возможно, и я, хоть бы потому, что я ему родственник, и Августа, проникшись неприязнью ко всей семье, начнет оказывать поддержку Тигеллину…» И так, и этак получалось худо. Петроний был человек мужественный, смерти он не боялся, но, ничего от нее не ожидая, отнюдь не спешил ее накликать. После долгих размышлений он решил, что всего разумнее и безопаснее будет выпроводить Виниция из Рима в путешествие.

О, если б он мог дать племяннику на дорогу еще и Лигию, он бы это сделал с радостью. Но и так он надеялся, что уговорить Виниция будет не слишком трудно. Он бы пустил на Палатине слух, будто Виниций болен, и тем самым отвел бы опасность от него, да и от себя. Августе ведь было не вполне ясно, узнал ли ее Виниций, – она могла допустить, что не узнал, тогда ее самолюбие пока еще не очень задето. Однако в будущем все могло усложниться, и это следовало предотвратить. Петроний прежде всего хотел выиграть время – если император отправится в Ахайю, тогда Тигеллин, который в искусстве ничего не смыслит, отойдет на второй план и потеряет свое влияние. В Греции Петроний был бы уверен, что победит всех своих соперников.

А тем временем он решил наблюдать за Виницием и убеждать его отправиться в путешествие. С неделю раздумывал над тем, не склонить ли императора издать эдикт об изгнании христиан из Рима, – тогда Лигия покинула бы Рим вместе со своими единоверцами, а за нею последовал бы Виниций. И уговаривать бы не пришлось! А сам этот замысел вполне осуществим. Ведь еще не так давно, когда иудеи из ненависти к христианам затеяли беспорядки, император Клавдий, не умея отличить одних от других, изгнал иудеев. Почему бы теперь Нерону не изгнать христиан? В Риме стало бы просторней. После «плавучего пира» Петроний видел Нерона ежедневно на Палатине и в других местах. Подсказать подобную идею было бы нетрудно – император никогда не противился наветам, сулившим кому-то погибель или вред. По зрелом размышлении Петроний составил план действий. Он устроит у себя пир и на этом пиру убедит императора издать эдикт. У него даже была немалая надежда, что император поручит исполнение этой меры ему. Тогда они

бы отправили Лигию со всем подобающим любовнице Виниция почетом, например, в Байи, и пусть бы эти двое там миловались себе и развлекались христианством, сколько им угодно.

Виниция он навещал часто. При всем своем римском эгоизме Петронию не удавалось избавиться от привязанности к юноше, а кроме того, надо же было приучать его к мысли о путешествии. Виниций, сказываясь больным, на Палатине не появлялся, а там, что ни день, возникали новые замыслы. Наконец Петроний услышал из собственных уст императора, что тот твердо решил через три дня ехать в Анций, на другой день Петроний сообщил об этом Винициюю.

Но тот показал ему список приглашенных в Анций, который принес утром вольноотпущенник императора.

– Тут есть мое имя, – сказал Виниций, – есть и твое. Когда придешь домой, ты застанешь там такой же список.

– Если бы меня не было в числе приглашенных, – сказал Петроний, – это означало бы, что мне надо умереть, но я не думаю, чтобы это произошло до поездки в Ахайю. Я там буду Нерону слишком необходим. – И, прочитав список, прибавил: – Вот только приехали в Рим, а уже надо опять оставлять дом и тащиться в Анций. Да, надо! Это же не только приглашение, но приказ.

– А если кто-то не послушается?

– Он получит приглашение другого рода: отправиться в гораздо более длительное путешествие, такое, откуда не возвращаются. Как жаль, что ты не внял моему совету и не уехал, пока было время. Теперь придется ехать в Анций.

– Придется ехать в Анций… Ну, посуди сам, в какое время мы живем и какие подлые рабы все мы!

– Ты это только сегодня заметил?

– Нет. Но вспомни, ты мне доказывал, что христианское учение враждебно жизни, потому что налагает на нее оковы. А могут ли быть более тесные оковы, чем те, которые на нас? Ты говорил: «Греция создала мудрость и красоту, а Рим – силу». Где же наша сила?

– Зови к себе Хилона. У меня нынче нет никакой охоты философствовать. Клянусь Геркулесом, не я создал это время и не я за него в ответе. Поговорим об Анции. Знай, что тебя ждет там большая опасность, лучше бы тебе бороться с этим Урсом, который задушил Кротона, чем ехать туда, однако не поехать ты не можешь.

Виниций пренебрежительно махнул рукой.

– Опасность! Все мы блуждаем посреди мрака смерти, и каждую минуту чья-то голова погружается в этот мрак.

– Должен ли я тебе перечислить всех, у кого была чуточка ума, и поэтому они, несмотря на правление Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона, дожили до восьмидесяти, а то и до девяноста лет? Пусть послужит тебе примером хотя бы Домиций Афр. Дожил до спокойной старости, хотя всю жизнь был преступником и негодяем.

– Может быть, именно поэтому! Именно поэтому! – ответил Виниций и, перечитав еще раз список, сказал: – Тигеллин, Ватиний, Секстий Африкан, Аквилий Регул[292], Суилий Нерулин[293], Эприй Марцелл и так далее! Какое сборище мужланов и мерзавцев! И подумать только, что оно правит миром! Не лучше ли было бы им возить по селениям какое-нибудь египетское или сирийское божество, бряцать систрами и зарабатывать на хлеб ворожбой да плясками?

– Или показывать ученых обезьян, собак, знающих счет, или играющего на флейте осла, – продолжил Петроний. – Все это правда, но шутки в сторону. Будь внимателен, слушай, что я скажу: на Палатине я всем говорил, что ты болен и не можешь выйти из дому, однако твое имя стоит в списке; сие означает, что кто-то не поверил моим рассказам и сделал это нарочно. Нерону это ни к чему, ты для него солдат, с которым, самое большее, можно потолковать о скачках в цирке и который в поэзии и в музыке ничего не понимает. Итак, насчет того, чтобы в список вставили твое

[292] *Секстий Африкан* – знатный сенатор, консул 59 г. н.э. *Аквилий Регул* – известный доносчик и обвинитель.

[293] Неточность: речь должна идти не о Суилии Нерулине, консуле 50 г., а о Публии Суилии Руфе, сводном брате Корбулона, известном доносчике.

имя, вероятно, постаралась Поппея, а это означает, что ее страсть к тебе была не мимолетным увлечением и что она хочет тебя покорить.

– Вот доблестная Августа!

– Действительно доблестная, ибо может тебя погубить бесповоротно. О, хоть бы Венера поскорей вселила в нее другую любовь! Но пока ей нужен ты, и ты должен быть чрезвычайно осторожен. Меднобородому она уже приелась, ему теперь подавай Рубрию или Пифагора, но из одного лишь самолюбия он обрушил бы на вас самую жестокую месть.

– Тогда, в роще, я не знал, что со мною говорит она, но ведь ты подслушивал и знаешь, что я ей ответил: что люблю другую и что не хочу ее.

– А я заклинаю тебя всеми богами подземного царства – не теряй той крохи разума, которую тебе еще оставили христиане. Как можно колебаться, когда перед тобою погибель возможная и погибель верная? Разве я не сказал тебе, что, если ты заденешь самолюбие Августы, спасения не будет? Клянусь Гадесом! Если жизнь тебе надоела, лучше сразу вскрой себе вены или кинься на меч – ведь если ты оскорбишь Поппею, тебе, возможно, достанется смерть не такая легкая. Да, прежде беседовать с тобой было приятнее! И чего ты упираешься? Убудет тебя, что ли? Разве это помешает тебе любить твою Лигию? Не забывай, кстати, что Поппея видела Лигию на Палатине и ей будет нетрудно догадаться, ради кого ты отвергаешь столь высокую милость. И тогда она Лигию разыщет, из-под земли раздобудет. Ты погубишь не только себя, но и Лигию. Понял?

Виниций слушал, но как будто думая о другом.

– Мне надо ее увидеть, – наконец сказал он.

– Кого? Лигию?

– Да, Лигию.

– Ты знаешь, где она?

– Нет.

– Стало быть, опять начнешь ее искать на старых кладбищах и за Тибром?

– Не знаю, но мне необходимо ее увидеть.

– Воля твоя. Она христианка, и, возможно, окажется более осмотрительной, чем ты, и это наверняка так будет, если она не хочет твоей гибели.

Виниций пожал плечами.

– Она спасла меня от Урса.

– В таком случае поторопись, потому что Меднобородый не будет медлить с отъездом. Смертные приговоры он может выносить и в Анции.

Но Виниций его не слушал. Он был поглощен одной мыслью – надо свидеться с Лигией. И он стал размышлять, как это сделать.

Между тем произошло нечто такое, что могло устранить все трудности: назавтра после разговора с Петронием неожиданно появился Хилон.

Пришел он в самом жалком виде – оборванный, с изголодавшимся лицом, плащ на нем висел лохмотьями, однако прислуга, помня прежний приказ пускать его в любое время дня и ночи, не посмела его остановить. Он прошел прямо в атрий, где находился Виниций.

– Да ниспошлют тебе боги бессмертие и да разделят с тобою власть над миром! – приветствовал трибуна Хилон.

В первое мгновение Виниций хотел приказать слугам вышвырнуть его за дверь. Но, подумав, что грек, возможно, что-то знает о Лигии, он пересилил отвращение.

– Это ты? – спросил он. – Что с тобою случилось?

– Беда, сын Юпитера, – отвечал Хилон. – Добродетель – это товар, который никому не нужен, и истинный мудрец должен быть доволен и тем, что раз в пять дней может купить у мясника баранью голову и глодать ее у себя на чердаке, запивая слезами. Ах, господин мой! Все, что ты мне дал, я потратил на книги у Атракта, а потом меня ограбили, разорили, рабыня, которая должна была записывать мои поучения, сбежала, забрав остатки того, чем ты столь великодушно меня одарил. Теперь я нищий, но я подумал – к кому же мне обратиться, как не к тебе, о Серапис, которого я люблю, обожествляю и ради которого рисковал своей жизнью!

– Зачем пришел и что принес?

– Пришел за помощью, о Ваал, а принес тебе мою нищету, мои слезы, мою любовь и кое-какие сведения, которые из любви к тебе раздобыл. Помнишь, господин, я когда-то тебе рассказывал, что я продал рабыне божественного Петрония нитку из пояса Венеры Пафийской? Теперь я узнал, что это ей помогло; ты, о сын Солнца, знаешь ведь, как обстоят дела в том доме, и знаешь, кем стала там Эвника. У меня есть еще одна такая нитка. Я приберег ее для тебя, господин.

Тут он остановился, заметив гневное движение бровей Виниция, и, чтобы предотвратить вспышку, поспешно сказал:

– Я знаю, где живет божественная Лигия, я укажу тебе, господин, этот дом и переулок.

– Где же? – спросил Виниций, ничем не выдав волнения, вызванного этой вестью.

– Она живет у Лина, верховного жреца христиан. Живет там вместе с Урсом, а тот, как и прежде, ходит к мельнику, которого зовут, как твоего вольноотпущенника, господин, Демасом. Да, Демасом! Работает Урс по ночам, так что, если дом окружить ночью, его там не будет. Лин – старик, и в доме, кроме него, только две пожилые женщины.

– Откуда ты все это знаешь?

– А помнишь, господин, я как-то оказался во власти христиан и они меня пощадили? Главк ошибается, полагая, что я виновник его несчастий, вбил это себе в голову, дурачина, и до сих пор в это верит, а все же они меня пощадили! Посему не удивляйся, господин, что сердце мое полно благодарности. Ведь я человек доброго старого времени. Вот я и подумал: неужто я могу забыть о своих друзьях и благодетелях? Разве не проявлю я жестокосердие, если не расспрошу про них, не узнаю, что с ними, как их здоровье и где они проживают? Клянусь Кибелой Пессинунтской[294], нет! Я на это неспособен! Вначале меня, правда, удерживало опасение, что они могут неправильно истолковать мои намерения. Но любовь моя к ним оказалась сильнее опасений, и особенно придала мне смелости мысль о том, как легко они прощают обиды. Но прежде всего я думал о тебе, господин. Последнее наше предприятие окончилось неудачей, но разве ты, сын Фортуны, можешь с этим примириться? И я готовлю тебе победу. Дом стоит на отшибе. Ты можешь приказать своим рабам окружить его так, чтобы ни одна мышь не ускользнула. О господин мой! От тебя одного зависит, окажется ли нынешней же ночью эта великодушная царевна в твоем доме. Но если это произойдет, вспомни, что устроил это обнищавший и изголодавшийся сын моего отца.

Кровь ударила в голову Виницию. Искушение еще раз сотрясло все его естество. Да, это был недурной способ, и на сей раз надежный. А уж если он возьмет к себе Лигию, кто сможет ее отнять у него? Если он сделает Лигию своей любовницей, что ей останется, как не смириться с этим, смириться навсегда? И пропади пропадом все эти вероучения! Что ему тогда христиане с их милосердием и с унылой их верой? Не пора ли освободиться от всего этого? Не пора ли начать жить, как живут все? Что потом сделает Лигия, как она приведет в согласие свою участь и свою веру, это уже не важно. Какое это имеет значение! Главное, она будет ему принадлежать, и это случится уже сегодня. И еще неясно, устоит ли в ее душе вера перед новым для нее миром, миром наслаждений и восторгов, который ей откроется. И все это может произойти еще сегодня. Достаточно лишь не отпускать Хилона и вечером отдать приказание. А там – радость безграничная! «Чем была моя жизнь? – думал Виниций. – Страданьем, неутоленным желаньем и беспрерывным терзаньем себя вопросами без ответов». А теперь он все это оборвет разом, и конец! Ему, правда, вспомнилось, что он обещал Лигии больше не посягать на нее. Но разве он ей чем-то клялся? Своими богами не клялся, потому что в них уже не верил, и Христом не клялся, потому что в него еще не верил. Впрочем, если она почувствует себя оскорбленной, он на ней женится и этим ее успокоит. Да, он должен это сделать, ведь он обязан ей жизнью. И тут он вспомнил тот день, когда с Кротоном проник в ее убежище, вспомнил занесенный над ним кулак Урса и все, что было потом. Он снова увидел ее, склонившуюся над его ложем, одетую, как рабыня, прекрасную, как божество, бесконечно добрую и любимую. Невольно глаза его обратились на ларарий и на тот крестик, который она, уходя, ему оставила. И что ж, неужели он за все отплатит ей новым покушением? Неужели потащит ее за волосы в кубикул, как рабыню? Да как он сможет это сделать, если он не только

[294] *Пессинунт* (город в центральной части М. Азии близ Диндименской горы) был центром культа Кибелы.

жаждет ее, но ее любит, и любит именно за то, что она такая, какая есть? И вдруг он почувствовал, что ему мало иметь ее в своем доме и насильно заключить в объятия, что любовь его жаждет чего-то большего – ее согласия, ее любви и ее души. Благословен будет этот кров, если она войдет под него добровольно, благословен будет тот час, тот день, благословенна будет жизнь. Тогда счастье обоих будет как море бескрайнее, будет как солнце. Но взять ее силой означало бы навеки убить это счастье, а также попрать, запятнать, осквернить самое дорогое, самое любимое в жизни.

При одной мысли об этом его объял ужас. Он взглянул на Хилона, который, не сводя с него глаз и засунув руку под рваный плащ, беспокойно почесывался, и тут на Виниция нахлынуло невыразимое отвращение, ему захотелось раздавить прежнего своего сообщника, как топчут гадкого червя или ядовитую змею. Еще минута, и он решил, что ему делать. Но, ни в чем не зная меры, следуя порывам своей жестокой римской натуры, он обратился к Хилону с такими словами:

– Я не сделаю того, что ты советуешь. Но чтобы ты все же не ушел без заслуженной награды, я велю дать тебе триста розог в моем домашнем эргастуле.

Хилон побледнел. Красивое лицо Виниция выражало непреклонную решимость, и бедняга ни минуты не мог тешить себя надеждой на то, что обещанная награда – это только злая шутка.

Он рухнул на колени и, припав к земле, застонал:

– Как так, о персидский царь? За что? О пирамида милости! О колосс милосердия! За что? Я стар, я голоден, я нищ! Я служил тебе! И такова твоя благодарность?

– Как твоя христианам, – отрезал Виниций.

И он позвал вольноотпущенника.

Но Хилон прильнул к его ногам и, судорожно их обхватив, смертельно бледный, завопил:

– Господин мой, господин мой! Я стар! Пятьдесят, не триста! Хватит пятидесяти! Сто, не триста! Смилуйся, смилуйся!

Виниций ногой оттолкнул его и отдал распоряжение вольноотпущеннику. В единый миг вбежали в атрий два квада, схватили Хилона за остатки его шевелюры и, замотав ему голову его собственными лохмотьями, потащили в эргастул.

– Во имя Христа! – кричал грек, когда его волокли по коридору.

Виниций остался один. Распорядившись наказать Хилона, он приободрился, повеселел и постарался привести в порядок взбудораженные мысли. Он испытывал большое облегчение, одержанная над собой победа наполнила его радостью. Ему казалось, что он сразу приблизился к Лигии и что за это его должна ждать награда. Ему и в голову не пришло, как несправедливо он поступил с Хилоном, приказав его высечь за то, за что прежде награждал. Он был еще слишком римлянином, чтобы страдать из-за чужого страданья и чтобы тревожиться из-за какого-то жалкого грека. Даже если бы он подумал об этом, он решил бы, что поступил правильно, повелев наказать негодяя. Но он думал о Лигии, он говорил ей: «Нет, я не заплачу тебе злом за добро, и если ты когда-нибудь узнаешь, как я обошелся с человеком, убеждавшим меня посягнуть на тебя, ты будешь мне за это благодарна». Но тут он спохватился: а одобрила бы Лигия его поступок по отношению к Хилону? Ведь ее вероучение велит прощать, ведь христиане простили этого негодяя, хотя имели веские причины для мести. Только теперь отозвался в его душе крик: «Во имя Христа!» Он вспомнил, что таким же возгласом Хилон спас себя от рук лигийца, и Виниций решил избавить его от оставшихся розог.

С этой целью он было хотел позвать вольноотпущенника, но тот явился сам.

– Господин, старик лишился чувств, а может, и умер. Продолжать сечь или прекратить?

– Привести его в чувство – и ко мне.

Смотритель дома исчез за завесой но, видимо, расшевелить старика оказалось нелегко – Винициюю пришлось ждать довольно долго, и он начал уже проявлять нетерпение, когда наконец рабы ввели Хилона и затем, повинуясь знаку господина, удалились.

Хилон был бледен как полотно, по ногам его текли на мозаичный пол атрия тонкие струйки крови. Но был он в полном сознании и, упав на колени, простирая к Винициюю руки, стал восклицать:

– Благодарю тебя, господин! Ты милосерден, ты велик!

– Знай, собака, – сказал Виниций, – что я простил тебя ради того Христа, которому я сам

обязан жизнью.

– Я буду служить, господин, и ему, и тебе.

– Молчи и слушай! Встань! Ты пойдешь со мной и покажешь мне дом, в котором живет Лигия.

Хилон быстро вскочил, но едва он стал на ноги, как побледнел еще сильнее.

– Господин, я очень голоден… – простонал он слабеющим голосом. – Я пойду, господин, я пойду, но у меня нету сил… Прикажи дать мне хотя бы остатки из миски твоей собаки, и я пойду!

Виниций приказал накормить его, дать ему золотую монету и плащ. Но ослабевший от розог и от голода Хилон, даже поевши, не мог идти, хотя волосы у него становились дыбом от страха, что Виниций истолкует его бессилие как сопротивление и прикажет продолжить экзекуцию.

– Вот сейчас немного разогреюсь вином, – повторял он, стуча зубами, – и смогу идти хоть до Великой Греции.

Наконец он набрался сил, и они вышли из дому. Дорога была дальняя. Как большинство христиан, Лин жил за Тибром, невдалеке от дома Мириам. Наконец Хилон указал Винициюстоящий особняком небольшой домик с оградой, сплошь покрытой зеленью плюща.

– Здесь, господин, – сказал он.

– Хорошо, – сказал Виниций. – Теперь ступай прочь, но сперва выслушай, что я скажу: забудь, что ты мне служил; забудь, где живут Мириам, Петр и Главк; забудь также об этом доме и обо всех христианах. Будешь каждый месяц приходить в мой дом, и Демас, вольноотпущенник мой, будет тебе давать по две золотые монеты. Но ежели ты и впредь будешь шпионить за христианами, я прикажу тебя засечь насмерть или отдам на расправу префекту города.

– Я забуду все, – сказал Хилон с низким поклоном.

Но когда Виниций скрылся за поворотом улочки, Хилон протянул ему вслед обе руки и, потрясая кулаками, воскликнул:

– Клянусь Атой[295] и Фуриями, не забуду!

И тут силы покинули его.

Глава XXXIII

Виниций направился прямо к дому, где жила Мириам. У ворот он увидел Назария. Юноша смутился, но Виниций приветливо с ним поздоровался и попросил провести к матери.

В доме, кроме Мириам, он застал Петра, Главка, Криспа и еще Павла из Тарса, недавно возвратившегося из Фрегелл. При виде молодого трибуна на лицах у всех выразилось удивление.

– Приветствую вас во имя Христа, которого вы чтите! – сказал он.

– Да будет имя его славно вовеки!

– Я видел вашу добродетель и испытал вашу доброту, а потому прихожу к вам как друг.

– И мы приветствуем тебя как друга, – отвечал Петр. – Садись и раздели с нами трапезу нашу, как гость наш.

– Я сяду и разделю с вами трапезу, но сперва выслушайте меня ты, Петр, и ты, Павел из Тарса, чтобы вы убедились в моей искренности. Я знаю, где находится Лигия, я только что был у дома Лина, он ведь отсюда недалеко. Я имею право взять Лигию, оно дано мне императором; в городе, у меня в доме, около пятисот рабов, и я мог бы окружить ее убежище и захватить ее, однако я этого не сделал и не сделаю.

– За это да пребудет на тебе благословение господа и да очистится сердце твое! – молвил Петр.

– Благодарю тебя, но выслушайте меня до конца: я этого не сделал, хотя живу в мучениях и в тоске. Прежде, когда я не знал вас, я бы непременно захватил ее и удержал насильно, но ваша добродетель и ваше учение – хоть я его не признаю – что-то изменили в моей душе, и я теперь уже не могу решиться на насилие. Сам не знаю почему, но это так! Вот я и пришел к вам, заменившим

[295] *Ата* – в греческой мифологии олицетворение яростного гнева, исступления, помрачения ума.

Лигии отца и мать, и говорю вам: дайте мне ее в жены, и я поклянусь, что не только не буду запрещать ей чтить Христа, но и сам постараюсь постигнуть его учение.

Он говорил это, подняв голову, и голос его звучал решительно, но на душе у него было тревожно, ноги дрожали под плащом с каймою, а когда после его слов наступило молчание, он, немного выждав, поспешно заговорил опять, точно желая предотвратить неблагоприятный ответ:

– Все препятствия мне известны, но она мне дороже зеницы очей моих, и, хоть я еще не христианин, я не враг ни вам, ни Христу. Я хочу быть пред вами правдивым, хочу, чтобы вы мне доверяли. В эту минуту дело идет о жизни моей, и все же я говорю вам чистую правду. Другой, быть может, сказал бы вам: «Окрестите меня!» А я говорю: «Просветите меня!» Я верю, что Христос воскрес из мертвых, ибо это утверждают люди, живущие истиной и видевшие его после смерти. Я верю, ибо сам видел, что ваше учение порождает добродетель, справедливость и милосердие, а не преступления, которые вам приписывают. Покамест я мало что узнал о вашей вере. Лишь то, что видел в вас, в поведении вашем, что слышал от Лигии или в беседах с вами. И все же, повторяю, ваша вера что-то во мне уже изменила. Прежде я своими слугами управлял железной рукой – теперь не могу. Я не знал жалости – теперь она мне знакома. Я любил наслаждения – а теперь сбежал с пруда Агриппы, потому что отвращение душило меня. Прежде я верил в насилие, теперь отказался от него навсегда. Я сам себя не узнаю, но мне опостылели пиры, вино, пенье, кифары и венки, мне противен императорский двор, и нагие тела, и все тамошние бесчинства. И когда я думаю, что Лигия белее горного снега, я люблю ее еще больше; а когда думаю, что она такая благодаря вашему учению, я люблю и это учение и хочу его постичь! Но я его не понимаю, я не знаю, смогу ли жить по нему и снесет ли его моя натура, а потому живу в сомнениях и в муках, как узник в темнице.

Тут брови его сдвинулись, образовав на лбу страдальческую складку, скулы побагровели. Немного помолчав, Виниций заговорил снова, все больше торопясь и волнуясь:

– Вот видите, я терзаюсь и от любви, и от темноты своей. Говорили мне, будто ваше учение не признает ни жизни, ни человеческих радостей, ни счастья, ни закона, ни порядка, ни власти и господства римлян. Так ли это? Говорили, будто вы одержимые. Скажите же, что вы несете людям? Грешно ли любить? Грешно ли испытывать радость? Грешно ли желать счастья? Действительно ли вы враги жизни? Надо ли христианину быть нищим? Должен ли я отказаться от Лигии? Какова ваша истина? Поступки ваши и слова прозрачны, как ключевая вода, но какое у этого ключа дно? Видите, я искренен. Рассейте мои недоумения! А ведь мне еще говорили и такое: «Греция создала мудрость и красоту, Рим – силу, а что несут они?» Так скажите же, что вы несете? Если за вратами вашими свет, тогда отворите их мне!

– Мы несем любовь, – молвил Петр.

А Павел из Тарса прибавил:

– Если бы я говорил языками человеческими и ангельскими, а любви не имел, был бы я как медь звенящая…

Но сердце старого апостола тронули муки этой души, которая, подобно птице в клетке, рвалась к воздуху и солнцу. Он протянул Виницию обе руки и сказал:

– Кто стучится, тому откроется, и милость господа на тебе, посему я благословляю тебя, твою душу и любовь твою во имя спасителя мира.

Слыша это благословение, Виниций, который и без того был сильно возбужден, кинулся к Петру, и тут произошло нечто необычное. Потомок квиритов, до недавних пор не признававший в чужеземце человека, схватил руку старого галилеянина и в порыве благодарности стал ее целовать.

И Петр, видимо, был рад, понимая, что еще одно семя упало на плодородную почву и что его рыбацкий невод уловил еще одну душу.

А присутствующие, также радуясь этому явному доказательству почтения перед апостолом господним, в один голос воскликнули:

– Слава в вышних богу!

Виниций распрямился, лицо его посветлело.

– Вижу, – сказал он, – что среди вас может обитать счастье, ибо я чувствую себя счастливым

и полагаю, что таким же образом вы сумеете разрешить и другие мои сомнения. Но я должен еще сказать вам, что произойдет это не в Риме, – император едет в Анций, и я должен ехать вместе с ним, так мне приказано. Вы ведь знаете, за непослушание – смерть. Но если мне удалось снискать вашу приязнь, прошу вас поехать со мною, чтобы вы наставляли меня в вашей истине. Вы там будете в большей безопасности, чем я сам, – в таком огромном скоплении народа вы сможете излагать вашу истину даже при дворе императора. Говорят, Акта – христианка, но и среди преторианцев есть христиане, я сам видел, как солдаты преклоняли колени перед тобою, Петр, у Номентанских ворот. В Анции у меня вилла, там мы будем собираться, чтобы прямо под боком у Нерона слушать ваши поучения. Главк мне говорил, будто вы ради одной души готовы отправиться на край света, так сделайте для меня то, что сделали для других, ради которых вы пришли из самой Иудеи, сделайте это, не оставляйте душу мою во мраке!

Слыша такие речи, христиане радостно начали совещаться – их тешила мысль о еще одной победе их учения и о том, какое значение для языческого мира будет иметь обращение августиана, потомка одного из древнейших римских родов. Они и впрямь готовы были ради одной души человеческой отправиться на край света и после смерти учителя, по сути, только этим и занимались, посему возможность отрицательного ответа даже не приходила им в голову. Но Петр об эту пору был пастырем всей римской общины и не мог поехать, зато Павел из Тарса, недавно побывавший в Арицции и во Фрегеллах[296] и собиравшийся опять в долгое путешествие на Восток, дабы посетить тамошние церкви и вдохнуть в них новое живительное рвение, согласился сопровождать молодого трибуна в Анций – там, кстати, было легко найти корабль, отправляющийся в греческие моря.

Хотя Виниций огорчился, что Петр, которому он был стольким обязан, не будет ему сопутствовать, он искренне поблагодарил Павла, а затем обратился к старому апостолу с последнею просьбой.

– Я знаю, где живет Лигия, – сказал он, – я мог бы сам пойти к ней и спросить – раз это дозволено, – захочет ли она иметь меня мужем, если душа моя станет христианской, но лучше я попрошу об этом тебя, апостол: разреши мне ее увидеть или сам проводи меня к ней. Я не знаю, сколько мне придется пробыть в Анции, к тому же не забывайте, что возле императора никто не может быть уверен в завтрашнем дне. Петроний тоже говорил, что мне там будет не очень-то безопасно. Так позвольте же мне ее увидеть, пусть глаза мои насытятся лицезрением ее, и я спрошу, забудет ли она причиненное мною зло и разделит ли со мною благо.

И апостол Петр с добродушною улыбкою молвил:

– Кто мог бы тебе отказать в такой безгрешной радости, сын мой!

Виниций снова склонился к его руке, не в силах сдержать порыва взволнованного сердца.

– А императора ты не бойся, – сказал апостол, взяв обеими руками его голову, – говорю тебе, ни один волос не упадет с твоей головы.

И он послал Мириам за Лигией, наказав не говорить, кого она у них застанет, чтобы доставить девушке тем большую радость.

Идти было недалеко, и вскоре все увидели, как среди миртовых кустов сада Мириам ведет за руку Лигию.

Виниций хотел было бежать навстречу, но при виде возлюбленной счастье затопило его душу и лишило сил – он стоял с бьющимся сердцем, не дыша, едва держась на ногах, во сто крат более взволнованный, чем тогда, когда впервые в жизни услышал свист парфянских стрел около своей головы.

Лигия вбежала в дом, не ожидая ничего необычного, и, увидав Виниция, остановилась как вкопанная. Лицо ее заалелось, потом внезапно побледнело, и она изумленным и испуганным взором обвела присутствующих.

Но вокруг были только светлые, исполненные доброты лица. Апостол Петр, подойдя к ней, спросил:

– Лигия, любишь ли ты его по-прежнему?

[296] *Фрегеллы* – город в Лации (90 км к юго-востоку от Рима).

Наступило минутное молчание. Губы Лигии задрожали, как у ребенка, который собирается заплакать и, чувствуя себя виноватым, видит, что надо признать свою вину.

– Отвечай же, – сказал апостол.

Тогда она, опускаясь к коленям Петра, голосом смиренным и робким прошептала:

– Да, люблю…

В единый миг Виниций оказался на коленях рядом с нею, и Петр, возложив руки им на головы, молвил:

– Любите друг друга в господе и во славу его, ибо нет греха в любви вашей.

Глава XXXIV

Прохаживаясь с Лигией по саду, Виниций рассказывал ей отрывистыми, из глубины души идущими словами о том, в чем признался апостолам: о душевном своем смятении, о происшедших в нем переменах и, наконец, о той безграничной тоске, которая омрачила его жизнь после того, как он покинул жилище Мириам. Он признался Лигии, что хотел ее забыть, но не мог. Он думал о ней все дни и ночи. О ней напоминал ему тот крестик из самшитовых веточек, который она оставила ему и который он поместил в ларарий и невольно чтил как нечто божественное. И тосковал он все сильнее, ибо любовь была сильнее его, она еще в доме Авла поглотила целиком его душу. Другим людям нить жизни прядут Парки[297], ему же ее пряли любовь, тоска и печаль. Да, поступки его были дурными, но их порождала любовь. Он любил ее и в доме Авла, и на Палатине, и когда в Остриане смотрел, как она слушает проповедь Петра, и когда шел с Кротоном ее похищать, и когда она сидела у его ложа, и когда покинула его. Пришел к нему Хилон, обнаруживший ее убежище, и уговаривал ее похитить, но он поступил иначе, он наказал Хилона и пошел к апостолам за истиной и за нею… И да будет благословенна та минута, когда появилась у него эта мысль, – теперь он рядом с нею и, наверно, она уже не будет больше убегать от него, как сбежала недавно из дома Мириам?

– Я не от тебя бежала, – сказала Лигия.

– Так почему же ты это сделала?

А она подняла на него свои глаза цвета ирисов, потупила устыдясь голову и сказала:

– Сам знаешь.

Виниций на миг умолк от избытка счастья, потом снова заговорил о том, как ему постепенно становилось все яснее, насколько она отличается от римлянок и, может быть, похожа на одну только Помпонию. Впрочем, выразить свои чувства ему не удавалось, потому что он сам не вполне мог их осознать; он хотел сказать, что с нею приходит в мир совсем новая красота, какой еще не бывало, красота не только прекрасного тела, но и души. Вместо этого он сказал ей слова, от которых сердце ее радостно затрепетало: странно, но он полюбил ее даже за то, что она от него убегала, и теперь, когда она сядет у его очага, она будет для него священна.

Схватив ее за руку, он уже не мог продолжать, только с восторгом смотрел на нее как на обретенное счастье жизни своей и повторял ее имя, точно желая себя уверить, что нашел ее, что он рядом с нею:

– О Лигия! О Лигия!

Затем он наконец стал ее расспрашивать о том, что творилось в ее душе, и она призналась, что полюбила его еще в доме Авла и что, если бы он возвратил ее туда с Палатина, она бы открыла Авлу и Помпонии свою любовь и постаралась бы смягчить их гнев против него.

– Клянусь тебе, – сказал Виниций, – у меня и в мыслях не было отнимать тебя у семьи Авла. Петроний когда-нибудь тебе расскажет, я уже тогда говорил ему, что люблю тебя и хочу на тебе жениться. Я сказал ему: «Пусть она помажет мои двери волчьим жиром и сядет у моего очага!» Но он меня высмеял и навел императора на мысль потребовать тебя как заложницу и передать мне. Сколько раз; беснуясь от горя, я его проклинал, но, возможно, это было устроено судьбою к луч-

[297] *Парки* – в римской мифологии богини судьбы; тождественны греческим Мойрам.

шему – иначе бы я не познакомился с христианами и не понял бы тебя.

– Верь мне, Марк, – сказала Лигия, – это Христос нарочно вел тебя так к себе.

Виниций с некоторым удивлением взглянул на нее.

– И верно! – с живостью подтвердил он. – Все складывалось так странно – разыскивая тебя, я встретился с христианами… В Остриане я дивился, слушая апостола, – таких речей я еще никогда не слышал. Верно, это ты молилась за меня.

– Да, – отвечала Лигия.

Они прошли мимо увитой плющом беседки и приблизились к месту, где Урс, задушив Кротона, бросился на Виниция.

– Вот здесь, – сказал молодой трибун, – если бы не ты, я бы погиб.

– Не вспоминай этого, – сказала Лигия. – И не напоминай об этом Урсу.

– Разве мог бы я мстить ему за то, что он тебя защищал? Будь он рабом, я бы сразу дал ему свободу.

– Будь он рабом, Авл давно бы отпустил его на волю.

– А помнишь, – спросил Виниций, – что я хотел тебя вернуть в семью Авла? Но ты отказалась, ты боялась, что император мог бы об этом проведать и отомстить им. Так вот, теперь ты сможешь их видеть, когда захочешь.

– Почему так, Марк?

– Я говорю «теперь», а на уме у меня то, что ты сможешь их видеть, ничего не боясь, когда будешь моей. О да! Если бы император, узнав об этом, спросил у меня, что я сделал с заложницей, которую он мне доверил, я бы ему сказал: «Я на ней женился, и в дом Авла она ходит по моей воле». В Анции он долго не пробудет, ему не терпится в Ахайю, а если и задержится в Анции, мне вовсе незачем видеть его ежедневно. Когда Павел из Тарса научит меня вашей истине, я сразу же приму крещение и вернусь сюда – постараюсь умилостивить чету Плавтиев, которые в ближайшие дни возвращаются в город, и тогда препятствий больше не будет, я тебя заберу и усажу у своего очага. O carissima, carissima!

С этими словами он воздел руки кверху, словно призывая небо в свидетели своей любви, а Лигия, подняв на него сияющие свои глаза, ответила:

– И тогда я скажу: «Где ты Гаий, там я Гаия».

– О нет, Лигия! – воскликнул Виниций. – Клянусь тебе, никогда еще не была жена в доме мужа так почитаема, как будешь ты в моем доме.

С минуту они шли молча, счастье переполняло их сердца, они влюбленно глядели друг на друга, оба прекрасные как божества, созданные вместе с цветами самою весной.

Наконец они остановились у кипариса, высившегося недалеко от входа в дом. Лигия прислонилась к его стволу, а Виниций опять начал ее просить дрожащим от страсти голосом:

– Вели Урсу пойти в дом Авла, забрать твои вещи и детские игрушки и перенести ко мне.

Но она, заалевшись как роза или как утренняя заря, возразила:

– Обычай велит другое…

– Я знаю. Положено, чтобы их вслед за невестой внесла пронуба[298], но ты сделай это для меня. Я заберу эти вещицы на свою виллу в Анции, и они будут мне напоминать о тебе.

И, сложив руки, он стал повторять просительно, как ребенок:

– Помпония на днях вернется, так сделай это, божественная, сделай, драгоценная моя!

– Пусть Помпония поступит, как ей будет угодно, – ответила Лигия, еще сильнее покраснев при упоминании о пронубе.

И они снова умолкли, оба от страстного чувства едва могли вздохнуть. Лигия стояла опершись спиною о кипарис, лицо ее белело в его тени как лилия, глаза были опущены, грудь часто вздымалась, а Виниций глядел на нее, меняясь в лице и бледнея. В полуденной тишине они слышали биение своих сердец, упоение любви превращало для них этот кипарис, эти миртовые кусты и беседку с плющом в райский сад.

[298] *Пронуба* – матрона, сопровождавшая новобрачную и наставлявшая ее обязанностям жены. (Примеч. автора.)

Но вот в дверях дома показалась Мириам и пригласила их на полдневную трапезу. Они сели между апостолами, а те глядели на них с нежностью как на молодое поколение, которое после их смерти будет хранить и сеять далее семена нового учения. Петр преломил и благословил хлеб, на всех лицах светилось спокойствие – казалось, бедная эта комнатушка озарена безграничным счастьем.

– Гляди сам, – молвил наконец Петр, обращаясь к Виницию, – неужто же мы враги жизни и радости?

И Виниций ответил:

– Вижу, что ты прав, ибо никогда я не был так счастлив, как среди вас.

Глава XXXV

Вечером того же дня Виниций по дороге домой, проходя по Форуму, заметил у поворота на Тускуланскую улицу позолоченные носилки Петрония, которые несли восемь вифинцев; остановив носильщиков взмахом руки, он подошел и заглянул под опущенные занавески.

– Желаю тебе приятных и сладких снов! – воскликнул он со смехом, обращаясь к дремавшему Петронию.

– Ах, это ты! – сказал, просыпаясь, Петроний. – Да, я вздремнул, ведь ночь я провел на Палатине. Теперь вот хочу купить себе что-нибудь для чтения в Анции. Что слышно нового?

– Ты ходишь по книжным лавкам? – спросил Виниций.

– Да, хожу. Не хочется делать беспорядок в своей библиотеке, поэтому на дорогу я запасаюсь особо. Кажется, вышли в свет новые вещи Музония и Сенеки. Еще я ищу Персия[299] и одно издание эклог Вергилия, которого у меня нет. Ох, как я устал, как болят руки от свитков, которые приходится снимать со стержней. Стоит попасть в книжную лавку, любопытство разбирает, хочется посмотреть и то, и другое… Был я у Авирна, у Атракта в Аргилете, а до них еще побывал у Сосиев на Сандальной улице. Клянусь Кастором, смертельно хочу спать!

– Ты был на Палатине, так это я тебя должен спросить, что нового. Или знаешь что? Отошли носилки и футляры со свитками и пойдем ко мне. Поговорим об Анции и еще кое о чем.

– Согласен, – ответил Петроний, выходя из носилок. – Ты же, конечно, знаешь, что послезавтра мы едем в Анций.

– Откуда мне знать?

– На каком свете ты живешь? Значит, я первый сообщаю тебе эту новость? Да, да, послезавтра утром будь готов. Горох с оливковым маслом не помог, платок на толстой шее не помог, и Меднобородый охрип. А раз такое дело, медлить нельзя. Он клянет Рим с его воздухом на чем свет стоит, он хотел бы сровнять его с землей или уничтожить огнем, подавай ему поскорее море. Говорит, что запахи, которые ветер доносит с этих узких улочек, вгонят его в гроб. Сегодня во всех храмах совершаются обильные жертвоприношения, чтобы вернулся его голос, и горе Риму, а особенно сенату, если не вернется быстро.

– Тогда ему незачем будет ехать в Ахайю.

– Разве у нашего божественного императора только один этот талант! – смеясь, возразил Петроний. – Он может выступить на олимпийских играх как поэт со своими стихами о пожаре Трои, как возница, как музыкант, как атлет, ба, даже как танцор, и в любой роли он собрал бы все венки, предназначенные для победителей. А знаешь, почему эта обезьяна охрипла? Вчера ему захотелось сравняться в танце с нашим Парисом, он танцевал историю Леды, да вспотел и простудился. Весь был мокрый, липкий – ну точно вынутый из воды угорь. Он и маски менял одну за другой, и вертелся веретеном, руками махал, будто пьяный матрос, – противно было смотреть на это толстое брюхо и тонкие ноги. Парис две недели учил его, но вообрази себе Агенобарба в виде Леды или бога-лебедя! Ох и лебедь! Да что говорить! Но он хочет выступить с этой пантомимой

[299] *Персий Фланк Авл* (34–62) – римский поэт-сатирик. «Эклоги», или «Буколики», – поэтический сборник выдающегося римского поэта Публия Вергилия Марона (70–19 до н.э.).

публично – сперва в Анции, потом в Риме.

– Люди огорчались уже тем, что он пел при публике, но только подумать, что римский император выступит в качестве мима! О нет, уж этого Рим, наверно, не стерпит!

– Дорогой мой! Рим все стерпит, а сенат постановит вынести благодарность «отцу отечества». – И, немного помолчав, Петроний прибавил: – А чернь еще и гордится тем, что император – ее шут.

– Ну, скажи сам, можно ли пасть ниже!

Петроний пожал плечами.

– Ты вот сидишь у себя дома, погруженный в мысли о Лигии или о христианах, и, пожалуй, не знаешь, что тут случилось несколько дней назад. Вообрази, Нерон публично обвенчался с Пифагором. Император был невестой. Казалось бы, безумие уже перешло все границы, не правда ли? И что же! Явились призванные им фламины и торжественно совершили бракосочетание. Я сам был при этом! Я тоже многое могу стерпеть, но должен признаться, я подумал: боги – если они есть – должны дать какой-нибудь знак… Но император в богов не верит, и он прав.

– Посему он в одном лице верховный жрец, бог и атеист, – сказал Виниций.

– Верно! – рассмеялся Петроний. – Мне это не пришло в голову, а ведь это такое сочетание, какого мир еще не видывал. – И, остановившись, заметил: – Надо добавить, что этот верховный жрец, не верящий в богов, и этот бог, над богами насмехающийся, боится их как истинный атеист.

– Доказательство – то, что произошло в святилище Весты.

– Какой мир!

– Какой мир, такой и император! Но долго это не протянется.

Так, беседуя, они вошли в дом Виниция, который весело приказал подать ужин, а затем, обратясь к Петронию, сказал:

– Нет, мой дорогой, мир должен возродиться.

– Не нам его возродить, – ответил Петроний, – хотя бы потому, что во времена Нерона человек подобен мотыльку: живет при солнце милости, а при первом дуновении холода погибает… Хотя бы и безвременно! Клянусь сыном Майи! Я часто задаю себе вопрос: каким чудом ухитрился такой вот Луций Сатурнин дожить до девяноста трех лет, пережить Тиберия, Калигулу, Клавдия? Но довольно об этом! Не разрешишь ли послать твои носилки за Эвникой? Сонное настроение мое прошло, и мне хотелось бы повеселиться. Прикажи, чтобы к ужину пришел кифаред, а потом мы поговорим об Анции. Тут есть над чем подумать, особенно тебе.

Виниций распорядился отправить носилки за Эвникой, но сказал, что касательно пребывания в Анции он и не думает утруждать себе голову. Пускай ее себе утруждают те, кто не умеет жить иначе, как в лучах императорского благоволения. Мир не сошелся клином на Палатине, особенно для тех, у кого в сердце и в душе есть кое-что иное.

Он говорил это так непринужденно, с таким оживлением и весельем, что Петроний был поражен и, внимательно поглядев на него, сказал:

– Что с тобою? Ты нынче как мальчишка, который еще носит на шее золотую буллу.

– Я счастлив, – ответил Виниций. – Я нарочно пригласил тебя, чтобы это тебе сказать.

– А что с тобою произошло?

– Нечто такое, от чего я бы не отказался за всю римскую империю.

Сказав это, Виниций сел, облокотился о поручень кресла и, подперев рукою голову, заговорил с улыбающимся лицом и сияющими глазами:

– Помнишь ли, как мы оба были у Авла Плавтия и ты там впервые увидел божественную прекрасную девушку, которую ты назвал зарей и весной? Помнишь ту Психею[300], ту несравненную, прекраснейшую из дев и из всех ваших богинь?

Петроний смотрел на него с изумлением, точно подозревая, что у него голова не в порядке.

[300] *Психея* – в античной мифологии олицетворение охваченной любовью человеческой души; изображалась в виде бабочки или крылатой девочки. Распространенным сюжетом античного искусства и литературы была история о союзе Психеи с богом любви Эротом (Амуром).

– На каком языке ты говоришь? – сказал наконец Петроний. – Разумеется, я помню Лигию.

И Виниций сказал:

– Я ее жених.

– Что?!

Но тут Виниций вскочил на ноги и кликнул вольноотпущенника.

– Пусть все рабы предстанут передо мною, все до одного, живо!

– Ты ее жених? – повторил Петроний.

Но он не успел прийти в себя от удивления, как обширный атрий Виниciева дома заполнился людьми. Сбегались задыхающиеся старики, пожилые мужчины, женщины, мальчики и девушки. С каждой минутой в атрии становилось все теснее, а в коридорах, называвшихся «фауции», слышались голоса рабов, которые перекликались на разных языках. Наконец все выстроились у стен и между колоннами, а Виниций, стоя возле имплувия, обратился к вольноотпущеннику Демасу с такой речью:

– Кто прослужил в доме двадцать лет, завтра должны явиться к претору, чтобы получить вольную; кто прослужил меньше, получат по три золотые монеты и двойную порцию еды в течение недели. В сельские эргастулы послать приказ, чтобы отменили наказания, сняли у людей кандалы с ног и кормили их вдоволь. Знайте, нынче у меня счастливый день, и я хочу, чтобы в доме царила радость.

Все с минуту стояли молча, словно не веря своим ушам, потом дружно подняли руки кверху и хором завопили:

– А-а! Господин! А-а!

Виниций взмахом руки отпустил их, и, хотя многим, видимо, хотелось его поблагодарить и упасть в ноги, они быстро разошлись, наполняя весь дом, от подвалов до кровли, веселым гомоном.

– Завтра, – сказал Виниций, – я еще прикажу им выйти в сад и начертить там на земле какие вздумается знаки. Тех, кто начертит рыбу, освободит Лигия.

Но Петроний, который был неспособен долго чему-либо удивляться, уже успокоился и только переспросил:

– Как? Рыбу? А, помню, что говорил Хилон, – это знак христиан. – И, протягивая руку Виницию, сказал: – Счастье всегда там, где человек его видит. Пусть Флора[301] сыплет вам под ноги цветы долгие годы. Желаю тебе всего того, чего ты сам себе желаешь.

– На том благодарствуй. А я-то думал, ты будешь меня отговаривать, но это, знаешь ли, было бы потерянным временем.

– Я – отговаривать? Никогда! Напротив, я говорю тебе, что ты поступаешь правильно.

– Ах ты, непостоянный! – весело укорил его Виниций. – Или ты забыл, что говорил мне, когда мы выходили из дома Грецины?

– Нет, не забыл, но я изменил свое мнение, – хладнокровно возразил Петроний и после паузы прибавил: – Дорогой мой, в Риме все меняется. Мужья меняют жен, жены меняют мужей, так почему бы мне не изменить мнение? Вполне могло случиться так, что Нерон женился бы на Акте, которой нарочно сделали царскую родословную. И тогда у него была бы хорошая жена, а у нас – хорошая Августа. Клянусь Протеем[302] и его морскими пучинами! Я всегда буду менять мнения, когда сочту это уместным или выгодным. Что ж до Лигии, то ее царское происхождение более достоверно, чем пергамские предки Акты. Но в Анции ты берегись Поппеи, она мстительна.

– И не подумаю! В Анции у меня и волос не упадет с головы.

– Если ты полагаешь, что еще раз меня удивил, ты ошибаешься. Откуда у тебя такая уверенность?

– Мне это сказал апостол Петр.

---

[301] *Флора* – римская богиня растительного царства, цветов и садов.

[302] *Протей* – в греческой мифологии сын Посейдона, морское божество, способное принимать облик различных существ.

– Ах, тебе это сказал апостол Петр! Ну, тут нечего возразить, однако разреши мне принять некоторые меры предосторожности, хотя бы для того, чтобы Петр не оказался лжепророком, ибо, если бы апостол Петр случайно ошибся, он потерял бы твое доверие, которое впредь, несомненно, еще пригодится апостолу Петру.

– Поступай, как хочешь, но я ему верю. И если ты думаешь, что возбудишь во мне неприязнь к нему, повторяя с насмешкой его имя, ты ошибаешься.

– Еще только один вопрос: ты уже стал христианином?

– Пока нет, но Павел из Тарса едет со мною, чтобы толковать мне учение Христа, а затем я приму крещение – ведь твои слова о том, будто они враги жизни и радости, это неправда!

– Тем лучше для тебя и для Лигии! – ответил Петроний.

И, пожав плечами, произнес, словно размышляя вслух:

– Удивительно все же, как эти люди умеют привлекать новых приверженцев и как умножается эта секта.

Виниций на это ответил с таким пылом, будто сам уже был крещен:

– Да, тысячи, десятки тысяч есть в Риме, в городах Италии, в Греции, в Азии. Есть христиане в легионах и среди преторианцев, есть они в самом дворце императора. Учение это признают рабы и граждане, бедные и богатые, плебеи и патриции. Ты же знаешь, что некоторые из Корнелиев[303] христиане, что Помпония Грецина христианка, что христианкой, видимо, была Октавия и христианкой считает себя Акта? Да, это учение охватывает весь мир, и оно одно способно его возродить. Не пожимай плечами, кто знает, быть может, через месяц или через год ты сам его примешь.

– Я? – сказал Петроний. – О нет! Клянусь сыном Лето[304], я его не приму, хотя бы в нем заключалась истина и мудрость как человеческая, так и божественная. Это потребовало бы трудов, а я не люблю себе ни в чем отказывать. С твоею натурой – ведь ты огонь, кипяток, – конечно, могло случиться такое, но я? У меня есть мои геммы, мои камеи, мои вазы и моя Эвника. В Олимп я не верю, но я его себе устраиваю на земле и буду процветать, пока не пронзят меня стрелы божественного лучника или пока император не прикажет мне вскрыть вены. Я слишком люблю аромат фиалок и удобный триклиний. Даже наших богов люблю… как риторические фигуры, и Ахайю, куда я отправляюсь с нашим тучным, тонконогим, несравненным, божественным императором. Августом, Периодоникием[305], Геркулесом, Нероном!

Он даже развеселился от одного предположения, что мог бы принять вероучение галилейских рыбаков, и начал вполголоса напевать:

> Зеленью мирта я обовью блестящий свой меч,
> Следуя в этом Гармодию и Аристогитону…[306]

Но умолк, когда раб-именователь объявил, что прибыла Эвника.

Вскоре после ее прихода был подан ужин, во время которого, после нескольких песен, исполненных кифаредом, Виниций рассказал Петронию о посещении Хилона и о том, как это посещение навело его на мысль отправиться прямо к апостолам, – причем появилась эта мысль как раз тогда, когда Хилона секли.

Петроний, которого опять начала одолевать дремота, провел рукою по лбу и сказал:

– Мысль была хорошая, раз хорош результат. Что ж до Хилона, я бы велел дать ему пять золотых монет, но раз уж ты приказал его высечь, лучше бы засечь его насмерть, а то как знать, не

[303] *Корнелии* – старинный и знаменитый патрицианский род.

[304] Т. е. Аполлоном.

[305] *Периодоникий* – постоянный победитель в состязаниях.

[306] *Гармодий* и *Аристогитон* в 514 г. до н. э. убили Гиппарха, брата афинского тирана Гиппия; их имена стали нарицательными для обозначения борцов против тирании.

будут ли ему со временем еще кланяться сенаторы, как кланяются они нашему рыцарю Дратве, Ватинию. Спокойной ночи!

И, сняв венки, Петроний и Эвника стали собираться домой. Когда они ушли, Виниций, уединившись в библиотеке, написал Лигии следующее письмо:

«Я хочу, чтобы, когда ты откроешь дивные свои глаза, о божественная, это письмо сказало тебе: добрый день! Поэтому и пишу, хотя завтра тебя увижу. Послезавтра император уезжает в Анций, и я – увы! – должен его сопровождать. Я ведь тебе говорил, что ослушаться – значит рисковать жизнью, а у меня теперь не хватило бы храбрости умереть. Но если ты не хочешь, напиши одно слово, и я останусь – тогда уже Петронию придется отводить от меня опасность. Нынче, в день радости, я роздал награды всем рабам, а тех, кто прослужил в доме двадцать лет, завтра поведу к претору, чтобы их освободить. Ты, дорогая, должна меня за это похвалить, мне кажется, это в духе того сладостного учения, которое ты исповедуешь, и, кроме того, я это сделал ради тебя. Завтра я им скажу, что свободой они обязаны тебе, пусть будут тебе благодарны и славят твое имя. Зато я сам отдаюсь в рабство блаженству и тебе, и дай бог, чтобы мне никогда не пришлось освободиться. Да будет проклят Анций и поездки Агенобарба! Я трижды, четырежды счастлив, что не так умен, как Петроний, не то мне пришлось бы ехать еще и в Ахайю. А пока миг расставанья мне усладит мысль о тебе. Всякий раз, как только смогу, буду верхом приезжать в Рим, дабы насытить глаза лицезрением тебя и слух – нежным твоим голосом. А когда приехать не смогу, буду посылать раба с письмом и вопросами о тебе. Приветствую тебя, божественная, и обнимаю ноги твои. Не сердись, что я называю тебя божественной. Если запретишь, я послушаюсь, но пока еще не могу иначе. Приветствую тебя из будущего твоего дома – всею душой».

Глава XXXVI

В Риме было известно, что император намерен по дороге посетить Остию и обозреть там самый большой в мире корабль, недавно доставивший зерно из Александрии, а оттуда по Прибрежной дороге[307] направится в Анций. Приготовления начались несколько дней назад, и уже с утра у Остийских ворот собрались толпы городской черни и чужеземцев из всех стран мира, чтобы насладиться видом императорской свиты, – то было зрелище, на которое римский плебс мог глазеть без конца. Путь в Анций не был ни трудным, ни дальним, а в самом городе, где красовались роскошно отделанные дворцы и виллы, можно было найти все, чтобы жить с удобствами и даже с самой изысканной роскошью в понимании того времени. Император, однако, имел обыкновение брать с собою в дорогу и все свои любимые вещи, начиная с музыкальных инструментов и домашней утвари и кончая статуями и мозаиками, которые наскоро выкладывали даже тогда, когда он хоть ненадолго останавливался в пути – для отдыха или чтобы подкрепиться. Поэтому в любой поездке его сопровождали полчища слуг, не считая преторианских отрядов и августиан, при каждом из которых была своя прислуга.

Ранним утром в этот день пастухи из Кампании в козьих шкурах и с загорелыми лицами погнали вперед через ворота пятьсот ослиц, дабы Поппея, прибыв в Анций, могла на следующий же день принять, как обычно, ванну из их молока. Со смехом и веселыми возгласами чернь глазела на колышущиеся в клубах пыли длинные уши ослиц и с удовольствием слушала свист бичей и дикие выкрики пастухов. Когда ослицы прошли, на дорогу высыпал рой дворцовых слуг – тщательно очистив дорогу, они стали разбрасывать по ней цветы и хвою пинии. В толпе с известной гордостью толковали о том, что, мол, вся дорога до самого Анция будет вот так усыпана цветами, собранными из частных садов в окрестностях и даже купленными по дорогой цене у торговок возле Мугионских ворот. Солнце поднималось все выше, и с каждой минутой толпа росла. Иные приходили целыми семьями и, чтобы скоротать время, раскладывали съестные припасы на камнях, предназначенных для сооружения нового храма Цереры, и завтракали под открытым небом. Кое-где образовались кружки, в которых задавали тон бывалые люди. Говорили о нынешней поездке

[307] Via Littoralis. *(Прим. автора.)*

императора, а также о его планах будущих путешествий и о путешествиях вообще – тут моряки и старые солдаты рассказывали небылицы о странах, о которых они слышали в дальних своих походах и куда еще не ступала нога римлянина. Горожане, в жизни не бывавшие дальше Аппиевой дороги, слушали с удивлением о чудесах Индии и Аравии, об архипелагах вокруг Британии, где на одном из островов Бриарей[308] захватил спящего Сатурна и где обитают духи, о странах гиперборейских[309], о застывших морях, о том, как шипят и рычат воды Океана, когда заходящее солнце погружается в их пучину. Подобным россказням римская голытьба легко верила, ведь в них не сомневались даже такие умы, как Плиний и Тацит. Судачили также о корабле, на котором собирался побывать император, – что он, мол, привез запас пшеницы на два года, не считая четырехсот путешественников, да такого же числа матросов и множества диких зверей для будущих летних игр. Всех объединяла любовь к императору, который не только кормил народ, но и забавлял зрелищами, – толпа готовилась встретить его с ликованием.

Тем временем показался отряд нумидийских всадников, входивших в армию преторианцев. Они были в желтых туниках с красными поясами, большие серьги отбрасывали золотистые блики на их черные лица, а острия бамбуковых копий сверкали на солнце, как языки огня. Вслед за нумидийцами началось движение императорского поезда, представлявшего огромную процессию. Толпа прихлынула к дороге, чтобы лучше видеть, но отряды пеших преторианцев, быстро выйдя из ворот, выстроились по обе стороны дороги, сдерживая теснившихся к ней людей. Первыми ехали повозки с шатрами из пурпура, красными и фиолетовыми, и шатрами из белого как снег виссона, затканного золотыми нитями; затем везли восточные ковры, столы из туевого дерева, фрагменты мозаик, кухонную утварь, клетки, где галдели птицы с Востока, Юга и Запада, чьи мозги или языки предназначались для императорского стола, амфоры с вином и корзины с фруктами. Однако более ценные предметы, которые могли погнуться или разбиться на повозках, несли пешие рабы. Сотни и сотни их несли посуду и статуэтки из коринфской бронзы: одним были поручены этрусские вазы, другим – греческие, третьим – сосуды золотые, серебряные либо из александрийского стекла. Их охраняли небольшие отряды пеших и конных преторианцев, и каждую группу рабов сопровождали надзиратели с плетьми, на концах которых были прикреплены кусочки олова и железа вместо трещоток. Это шествие, состоявшее из людей, осторожно и сосредоточенно несших различные предметы, напоминало торжественную религиозную процессию, и сходство стало еще более разительным, когда понесли музыкальные инструменты самого императора и придворных музыкантов. Там были арфы, лютни греческие, иудейские и египетские, лиры, форминги[310], кифары, свирели, длинные витые трубы и кимвалы. Глядя на это море инструментов, сверкающих на солнце золотом, бронзой, драгоценными каменьями и жемчугами, можно было подумать, что сам Аполлон или Вакх собрались в дальнее странствие. Затем показались великолепные колесницы с живописными группами акробатов, танцовщиков и танцовщиц, державших в руках тирсы. За ними ехали рабы, предназначавшиеся не для домашних услуг, а для утоления похоти: красивые мальчики и девочки, которых выискивали во всей Греции и Малой Азии; одни с длинными волосами, у других вьющиеся локоны были забраны золотыми сетками, они походили на амуров, но их прелестные личики были покрыты толстым слоем притираний, чтобы нежную кожу не опалил ветер Кампании.

Потом опять следовал преторианский отряд – светловолосые и рыжие гиганты сикамбры, бородатые, голубоглазые. Знаменосцы, называвшиеся «имагинарии», несли перед ними римских орлов, таблицы с надписями, статуэтки германских и римских богов и, наконец, статуэтки и бюсты императора. Из-под шкур и солдатских панцирей виднелись загорелые мощные руки – то бы-

[308] *Бриарей* – в греческой мифологии один из т.н. сторуких (сыновей бога неба Урана и богини земли Геи), чудовищное существо с пятьюдесятью головами и сотней рук; Бриарей помогал Зевсу в борьбе против титанов и Кроноса, которого (по редкой версии мифа) он захватил спящим на одном из островов Британского моря.

[309] Мифическая страна гипербореев, по понятиям древних, располагалась где-то на Севере, «за Бореем».

[310] *Форминга* – лира, арфа.

ли настоящие военные машины, способные орудовать тяжелым оружием, которое полагалось этому виду воинов. Казалось, земля прогибается под их равномерными, тяжелыми шагами, а сами они, словно сознавая свою силу, которую могут обратить даже против императора, глядели свысока на уличную чернь, очевидно, забыв, что в этот город многие из них пришли в цепях. Но этих было не так много, основные силы преторианцев остались в своих лагерях, чтобы наблюдать за городом и держать его в повиновении. Когда проследовали сикамбры, повели тигров и львов Нерона, приученных к упряжке, чтобы, коль вздумается ему подражать Дионису, запрягать их в колесницу. Вели зверей индусы и арабы на стальных цепях с ошейниками, так искусно увитых цветами, что они казались сплошными цветочными гирляндами. Приученные опытными бестиариями звери смотрели на толпу своими зелеными, как бы сонными глазами, время от времени приподымая огромные головы, шумно втягивая воздух, насыщенный человеческими запахами, и облизываясь длинными, гибкими языками.

Потом потянулись императорские колесницы и носилки, большие и малые, золотые или пурпурные, инкрустированные слоновой костью, жемчугом или радужно искрящиеся самоцветами; далее следовал опять отряд преторианцев в римском вооружении, состоявший из одних итальянских солдат-добровольцев[311], за ними шли толпы изысканно разодетой дворцовой прислуги и мальчиков, и, наконец, ехал сам император, о чьем приближении возвещал уже издалека радостный рев толпы.

Среди теснившихся зрителей находился и апостол Петр, пожелавший раз в жизни увидать императора. Его сопровождали Лигия с закрытым плотной тканью лицом и Урс, чья сила была самой надежной охраной для девушки в этой беспорядочной, разнузданной толпе. Лигиец взял один из камней, предназначенных для строительства храма, и принес его апостолу, чтобы тот, встав на камень, мог лучше видеть. Народ вокруг сперва было возроптал, так как Урс раздвигал всех на своем пути, как судно прорезает волны, но, когда он один поднял камень, который четверо самых могучих силачей из этой толпы не смогли бы с места сдвинуть, ропот недовольства сменился удивлением и криками: «Macte!»[312] Однако в это время показался император. Он сидел в колеснице с шатром, которую везла шестерка белых идумейских жеребцов[313] с золотыми подковами. Шатер на колеснице был с двух сторон нарочно открыт, чтобы толпа могла видеть императора. Места в шатре хватило бы на нескольких человек, но Нерон, желая, чтобы все внимание было сосредоточено на нем, ехал через весь город один, только у его ног сидели два карлика-уродца. Император был в белой тунике и аметистового цвета тоге, от которой на лицо его падал синеватый отсвет, а на его голове красовался лавровый венок. С того времени, как Нерон ездил в Неаполис, он сильно потолстел. Лицо расплылось, под нижней челюстью свисал двойной подбородок, отчего рот, и прежде расположенный слишком близко к носу, теперь оказался под самыми ноздрями. Толстая шея была, как всегда, обмотана шелковым платком, и Нерон ежеминутно поправлял его белой толстой рукою, поросшей на сгибах рыжеватыми волосами, – они напоминали кровавые пятна, но император не разрешал эпиляторам их удалять, потому что слышал, будто от этого появляется дрожь в пальцах, мешающая играть на лютне. Лицо его, как всегда, выражало безграничное тщеславие, но также усталость и скуку. Было в этом лице что-то пугающее и вместе с тем шутовское. Нерон вертел головою то вправо, то влево, прищуривая глаза и чутко прислушиваясь к тому, как его приветствуют. Встречали его бурей рукоплесканий и возгласами: «Привет тебе, божественный! Цезарь, император, привет тебе, победоносный! Привет тебе, несравненный, сын Аполлона, Аполлон!» Слыша эти слова, он улыбался, но временами как бы облачко пробегало по его лицу – римская толпа была насмешлива и, смелея в таких больших сборищах, разрешала себе поиздевать-

[311] Жители Италии были еще при Августе освобождены от военной службы, вследствие чего так называемая cohors italica (италийская когорта), обычно стоявшая в Азии, состояла из добровольцев. Также в преторианских войсках служили либо иноземцы, либо добровольцы. (Примеч. автора.)

[312] Отлично! *(лат.)*

[313] *Идумея* (область на юге Палестины) славилась своими конями.

ся даже над великими триумфаторами, такими, которых народ действительно почитал и любил. Все знали, что когда-то, при въезде в Рим Юлия Цезаря, толпа кричала: «Граждане, прячьте жен, едет плешивый распутник!»[314] Но чудовищное самолюбие Нерона не терпело и малейших колкостей или острот, а тут посреди хвалебных криков иногда слышалось: «Меднобородый! Меднобородый! Куда везешь свою огненную бороду? Или боишься, что Рим от нее сгорит?» И те, кто это кричал, не знали, что в их шутке скрыто ужасное пророчество. Впрочем, императора не так уж злили подобные остроты, тем паче что бороды у него не было, он давно принес ее в золотом футляре на алтарь Юпитера Капитолийского. Но другие шутники, прячась за кучами камней и остовом храма, кричали: «Матереубийца! Нерон! Орест! Алкмеон![315]», или: «Где Октавия?», «Сбрось пурпур!» А ехавшей вслед за ним Поппее кричали: «Flava coma!»[316] – так обзывали уличных девок. Музыкальный слух Нерона улавливал и такие возгласы, и тогда он подносил к глазу шлифованный изумруд, словно желая приметить и запомнить тех, кто это выкрикивает. Так получилось, что его взгляд задержался на стоявшем на камне апостоле. С минуту оба эти человека смотрели друг на друга, и никому в этой великолепной процессии и в этой бесчисленной толпе не пришло в голову, что в этот миг глядят друг на друга два властителя мира, один из которых вскоре исчезнет, как кровавый сон, а второй, этот старик в хламиде бедняка, примет в вечное владение и мир, и Рим.

Но вот император проехал, а за ним восемь африканцев пронесли роскошные носилки, в которых сидела ненавистная народу Поппея. Она, как и Нерон, была в тоге аметистового цвета, и лицо ее покрывал толстый слой притираний; сидя неподвижно, погруженная в свои мысли и равнодушная к окружающему, она походила на статую красивого, но злого божества, которую несут в процессии. Следом за нею валила толпа мужской и женской прислуги и потянулась вереница повозок с разными предметами и нарядами. Солнце уже далеко отошло от полуденной точки, когда началось движение августиан – великолепное, блистательное, переливающееся, подобно змее, всеми красками, бесконечное шествие. Ленивый Петроний, которого тепло приветствовала толпа, пожелал, чтобы его вместе с его богоподобной рабыней несли в носилках. Тигеллин ехал на колеснице, которую везли небольшие лошадки, украшенные белыми и пурпурными перьями. Все видели, как он сходил с колесницы и, вытягивая шею, присматривался, скоро ли император даст ему знак пересесть к нему. Среди других толпа встречала рукоплесканиями Лициниана Пизона[317], смехом – Вителлия, свистом – Ватиния. К консулам Лицинию и Леканию отнеслись равнодушно, но Туллий Сенецион, которого любили невесть за что, равно как и Вестин, снискали приветствия черни. Придворных было без счета. Казалось, все что ни есть в Риме самого богатого, великолепного или знаменитого уезжает в Анций. Нерон никогда не путешествовал иначе, как с тысячью повозок, и количество сопровождавших почти всегда превосходило число солдат в легионе.[318] Люди указывали друг другу и Домиция Афра, и дряхлого Луция Сатурнина; видели там и Веспасиана, который еще не отправился в свой поход в Иудею, откуда он впоследствии возвратился только ради императорского венца, и его сыновей, и молодого Нерву, и Лукана, и Аннея Галлиона, и Квинциана[319], и множество женщин, известных своим богатством, красотой, роскошной жизнью

[314] Этот эпизод произошел в 46 г. до н.э., когда Цезарь отмечал свой галльский триумф; обычай ритуального осмеяния удачливых полководцев был весьма распространен как в армии, так и в народе.

[315] *Алкмеон* – в греческой мифологии герой, убивший свою мать Эрифилу за то, что она некогда предала его отца Амфиарая.

[316] Белокурая! *(лат.)*

[317] *Лициниан Пизон Гай Кальпурний* – знатный патриций, ревнитель строгих нравов; был усыновлен императором Гальбой и погиб вместе с ним в 69 г.

[318] Во время императоров численность легионов составляла около 6000 человек. *(Примеч. автора.)*

[319] *Нарва Марк Кокцей* (р. 32) – римский император (96–98). *Анней Юний Галлион* – брат Сенеки, способный оратор; покончил с собой в 65 г. *Квинциан Афраний* – сенатор, казнен за участие в заговоре Пизона.

и развратом. Взоры любопытных переходили с знакомых лиц на сбрую, на колесницы, на лошадей, на причудливые наряды дворцовых слуг, среди которых были выходцы из всех народов мира. В этом море роскоши и великолепия трудно было решить, на что смотреть раньше, и не только глаза, но и ум туманился от блеска золота, от пурпурных и фиолетовых красок, от мерцанья драгоценных камней, от сверканья бисера, жемчуга, слоновой кости. Мнилось, среди этой пышной процессии рассыпались лучи самого солнца. И хотя в толпе было немало бедняков со впалыми животами и голодными глазами, но зрелище это разжигало в них не только жажду роскоши и зависть, но также наполняло их сердца блаженством и гордостью, порождая ощущение могущества и неиссякаемой силы Рима, которую создавал ему и пред которой склонялся весь мир. Да, во всем мире не было человека, который бы дерзнул подумать, что это могущество не продлится во веки веков, не переживет все народы и что ему сможет что-либо на земле воспротивиться.

Виниций ехал в конце процессии. При виде апостола и Лигии, которых он не ожидал здесь встретить, он соскочил с колесницы и, с сияющим лицом приветствуя их, заговорил торопливо, как человек, дорожащий каждой минутой:

– Ты пришла? Не знаю, как благодарить тебя, о Лигия! Бог не мог бы послать мне лучшего предзнаменования. Еще раз приветствую тебя на прощанье, но я прощаюсь ненадолго. По дороге в разных местах я оставлю парфянских лошадей и в каждый свободный день буду подле тебя, пока не выпрошу разрешения вернуться. Прощай!

– Прощай, Марк! – сказала Лигия и тихо прибавила: – Да ведет тебя Христос и откроет душу твою словам Павла.

Виниций, радуясь, что ей небезразлично, скоро ли он станет христианином, ответил:

– Ocelle mi! Пусть будет так, как ты говоришь. Павел предпочел ехать с моими людьми, но он здесь, со мною, и будет моим наставником и товарищем. Откинь покрывало, радость моя, чтобы я еще раз увидел тебя перед разлукой. Почему ты закрыла лицо?

Она приподняла покрывало, открыв ему свое светлое личико и прекрасные, улыбающиеся глаза.

– Разве это плохо? – спросила она.

И в ее улыбке был оттенок девического кокетства. Но Виниций, с восторгом глядя на нее, ответил:

– Да, плохо для моих глаз, которые готовы до самой смерти смотреть на тебя одну. – И, обращаясь к Урсу, он сказал: – Урс, береги ее, как зеницу ока, потому что она не только твоя, но и моя «домина»!

С этими словами Виниций схватил ее руку и припал к ней устами – к великому удивлению черни, которой было непонятно такое почтение, выказанное блестящим августианом девушке, одетой в простонародное, почти невольничье, платье.

– Прощай, дорогая моя!

И он быстро удалился – вся императорская свита уже ушла далеко вперед. Апостол Петр сделал вдогонку ему крестное знамение, а добродушный Урс сразу начал расхваливать юношу, радуясь, что молодая госпожа жадно слушает эти похвалы и с благодарностью на него смотрит.

Процессия уходила все дальше, клубы золотистой пыли постепенно скрывали ее от глаз, но все трое еще долго смотрели вслед, пока к ним не подошел мельник Демас, тот самый, у которого по ночам работал Урс.

Поцеловав руку апостолу, Демас стал просить зайти к нему подкрепиться – мол, дом его недалеко от Торговой пристани, а они, наверно, проголодались и устали, проведя у ворот большую часть дня.

Итак, они пошли все вместе, а затем, отдохнув и подкрепившись, лишь вечером отправились к себе за Тибр. Намереваясь пройти по мосту Эмилия, они вышли на Публичный склон и пошли вниз по Авентинскому холму между храмами Дианы и Меркурия. Апостол Петр глядел с высоты холма на стоящие вокруг и громоздящиеся в туманной дали здания и, погруженный в молчание, размышлял о величии и власти этого города, в который он пришел возвестить слово божие. До сих

пор он видел римских правителей и римские легионы в разных краях, по которым странствовал, но то были как бы отдельные члены этого могущества, воплощение которого в особе императора он нынче увидел впервые. Бескрайний этот город, хищный, алчный и разнузданный, прогнивший до мозга костей и в то же время непоколебимый в сверхчеловеческом своем могуществе; этот император – братоубийца, матереубийца и женоубийца, за которым тянулась не менее длинная, чем его свита, вереница кровавых призраков, этот развратник и шут в то же время повелитель тридцати легионов и благодаря им – всего мира; эти придворные его, блистающие золотом и пурпуром, неуверенные в завтрашнем дне и в то же время более могущественные, чем цари, – все это вместе представилось апостолу неким кромешным царством зла и беззакония. И удивился апостол в простодушии своем, как это бог мог дать столь непостижимое всемогущество сатане и предать его власти всю землю, чтобы он, сатана, топтал ее, терзал, переворачивал все вверх дном, исторгал слезы и кровь, вихрем опустошал ее, бурею будоражил, огнем сжигал. И от дум этих смутилось сердце апостола, и обратился он мысленно к учителю: «Господи, что мне делать в городе сем, куда ты меня послал? Ему подвластны море и суша, зверь на земле и всякая тварь в воде, ему подвластны все прочие царства и города и тридцать легионов, которые их охраняют, а я, господи, простой рыбак! Что мне делать? И как победить зло его?»

С такою мольбой обращал он седую свою, трясущуюся голову к небесам, взывая из глубины души к божественному учителю, томимый печалью и тревогой.

Но молитву его прервал голос Лигии, сказавшей:

– Глядите, весь город как в огне…

Действительно, закат солнца в тот день был странен. Огромный диск его наполовину уже скрылся за Яникулом, но весь небосвод объяло багряное зарево. С того места, где они стояли, взору открывался далекий вид. Правее себя они видели стены Большого Цирка, над ним высились дворцы Палатина, а прямо впереди, за Бычьим Форумом и Велабром[320] – вершина Капитолия с храмом Юпитера. Стены, колонны и кровли храмов – все утопало в этом золотом и багряном свете. В реке, видимой между зданиями, словно бы кровь текла, и чем больше солнце уходило за холм, тем багровее становилось зарево, тем больше напоминало оно зарево пожара; пуще разгораясь и расширяясь, охватило оно наконец все семь холмов и, казалось, стало растекаться с них по окрестностям.

– Весь город как в огне, – повторила Лигия.

А Петр, прикрыв рукою глаза, молвил:

– Гнев божий на нем.

Глава XXXVII

Виниций – Лигии:

«Раб Флегон, с которым я посылаю тебе это письмо, христианин, поэтому он будет одним из тех, кто получит свободу из твоих рук, моя драгоценная. Он старый наш слуга, и, посылая с ним письмо, я могу писать вполне свободно и не опасаться, что письмо может попасть не в твои, а в чужие руки. Пишу из Лаурента[321], где мы остановились по причине жары. Отону здесь принадлежала великолепная вилла, которую он когда-то подарил Поппее, и та, хотя с ним разведена, сочла не лишним оставить за собой этот приятный подарок… Когда я думаю о тех женщинах, что меня теперь окружают, и о тебе, мне кажется, что из камней Девкалиона образовались различные, вовсе не схожие породы людей, и что ты принадлежишь к породе, возникшей из хрусталя. Я восхищаюсь тобою и люблю тебя так, что хотел бы вечно говорить лишь о тебе, и мне приходится себя сдерживать, чтобы писать о нашем путешествии, о том, что со мною происходит, и о придворных новостях. Итак, император стал гостем Поппеи, которая втайне приготовила роскошный пир. Ав-

[320] *Велабр* – торговый квартал между Капитолием и Палатином.

[321] *Лаурент* – город в Лации между Остией и Анцием.

густиан, впрочем, было там немного, но и я, и Петроний приглашения получили. После пиршества мы плавали в позолоченных лодках по морю, которое было такое спокойное, будто спало, и такое голубое, как твои глаза, о божественная. Гребли мы сами, и Августе явно льстило, что у нее в гребцах консулы или их сыновья. Император, стоя у руля в пурпурной тоге, пел гимн морю, который он сочинил в предыдущую ночь и с помощью Диодора положил на музыку. Ему вторили на других лодках рабы из Индии, умеющие играть на морских раковинах, и вокруг нас резвились стаи дельфинов, точно их и впрямь выманили музыкой из пучин Амфитриты. А я, знаешь, что я делал? Думал о тебе, тосковал по тебе, и мне хотелось взять это море, и этот погожий день, и эту музыку и все отдать тебе. Хотела бы ты, моя Августа, чтобы мы когда-нибудь поселились на морском берегу, вдали от Рима? У меня на Сицилии есть земли, там целые рощи миндальных деревьев, которые весною цветут розовыми цветами и спускаются так близко к морю, что концы их ветвей почти касаются воды. Там я буду любить тебя и постигать учение, в котором меня наставит Павел, – ведь я уже знаю, что оно не враждебно любви и счастью. Хочешь, чтобы так было? Но прежде, чем я услышу ответ из драгоценных уст твоих, опишу, что случилось с нами в лодке. Уже порядочно отойдя от берега, мы увидели в морской дали парус, и тут завязался спор – обычная ли это рыбачья лодка или большой корабль, идущий из Остии. Я первый увидел, что это корабль, и тогда Августа заметила, что от моих глаз, видимо, ничего не скроешь, и, вдруг опустив покрывало на свое лицо, спросила, сумел ли бы я узнать ее в таком виде? Петроний быстро ответил, что за тучею и солнца не увидишь, однако она, словно в шутку, сказала, что такой острый глаз могла бы ослепить только любовь, и, называя по именам наших августианок, стала спрашивать и угадывать, в которую я влюблен. Я отвечал ей спокойно, но под конец она произнесла и твое имя. Упомянув его, она открыла лицо и уставилась на меня злыми, испытующими глазами. Я искренне благодарен Петронию, который в эту минуту накренил лодку, чем отвлек внимание от меня, – ведь доведись мне услышать о тебе неприязненные или насмешливые речи, я бы не сумел сдержать гнев, и мне пришлось бы бороться с желанием разбить веслом голову этой коварной и злобной женщине… Ты же помнишь, что я рассказывал тебе в доме Лина о нашей встрече у пруда Агриппы? Петроний опасался за меня и еще сегодня заклинал не дразнить самолюбие Августы. Но Петроний уже меня не понимает, он не знает, что, кроме тебя, для меня нет ни наслаждений, ни красоты, ни любви и что к Поппее я испытываю лишь отвращение и презрение. Ты сильно изменила мою душу, так сильно, что к прежней жизни я бы уже не мог вернуться. Но ты не бойся, что со мной тут может приключиться беда. Поппея меня не любит, она никого не способна любить, и прихоти ее порождены лишь гневом на императора; он, конечно, еще находится под ее влиянием и даже, возможно, еще ее любит, но, во всяком случае, уже не щадит и не скрывает от нее своих бесчинств и мерзостей. Кстати, могу тебе еще кое-что сообщить, что должно тебя успокоить: перед отъездом Петр сказал мне, чтобы я императора не страшился, ибо и волос не упадет с моей головы, и я ему верю. Какой-то голос в моей душе говорит, что каждое его слово исполнится, и если он благословил нашу любовь, то ни император, ни все силы Гадеса, ни даже сама судьба не сумеют отнять тебя у меня, о Лигия! Как подумаю об этом, я счастлив так, словно я сам бог, который один лишь вечно блажен и спокоен. Но тебя, христианку, может быть, задевает то, что я говорю о боге и о судьбе? В таком случае извини меня, грешу я невольно. Крещение еще меня не очистило, но сердце мое подобно порожней чаше, которую Павел из Тарса должен наполнить сладостным учением вашим, тем более сладостным для меня, что оно твое. Зачти мне как заслугу, божественная, хотя бы то, что я из этой чаши вылил наполнявшую ее прежде жидкость и что я не прячу ее, но протягиваю вперед, как жаждущий, оказавшийся у чистого источника. Прошу тебя быть ко мне милосердной. В Анции я дни и ночи буду слушать Павла, который уже в первый день пути приобрел такое влияние среди моих людей, что они все время толпятся вокруг него, почитая его не только пророком, но чуть ли не сверхъестественным существом. Вчера я заметил радость на его лице, и, когда спросил, что он делает, он ответил: «Сею». Петроний знает, что он находится при мне, и хочет его увидеть, равно как и Сенека, прослышавший о нем от Галлиона. Но вот звезды уже бледнеют, о Лигия, и утренняя звезда становится все ярче. Скоро море порозовеет в лучах зари – вокруг все спит,

только я думаю о тебе и люблю тебя. Приветствую тебя вместе с утренней зарею, sponsa mea![322]»

Глава XXXVIII

Виниций – Лигии:

«Приходилось ли тебе, дорогая, бывать с Плавтиями в Анции? Если нет, я буду счастлив когда-нибудь показать тебе эти места. Начиная от Лаурента тянутся вдоль берега одна вилла за другой, а сам Анций – это сплошь дворцы и портики, их колонны в ясную погоду отражаются в воде. И у меня здесь есть усадьба близ самого моря, с оливковой рощей и зарослями кипарисов позади виллы, и при мысли, что эта усадьба станет твоей, мрамор кажется мне более белым, сады более тенистыми и море более лазурным. О Лигия, как прекрасно жить и любить! Старик Меникл, управляющий на моей вилле, посадил на лугах под миртами целые поляны ирисов, и, глядя на них, я вспомнил дом Авла, ваш имплувий и ваш сад, где я, бывало, сидел рядом с тобой. И тебе ирисы эти будут напоминать родной дом, оттого я уверен, что ты полюбишь Анций и мою виллу. Сразу по приезде я долго беседовал с Павлом во время завтрака. Говорили о тебе, потом он начал меня учить; я долго его слушал и могу сказать лишь одно: даже если бы я умел писать так, как Петроний, мне все равно не удалось бы высказать все, что я передумал и перечувствовал. Я и не подозревал, что на земле могут быть такое счастье, такая красота и покой, о которых люди еще не знают. Но все это я приберегу для беседы с тобою, когда в первую же свободную минуту прискачу в Рим. Скажи мне, как может земля терпеть рядом таких людей, как апостол Петр, как Павел из Тарса – и император? Спрашиваю это потому, что после поучений Павла я вечер провел у Нерона, и знаешь ли, что я там слышал? Вначале он читал свою поэму о разрушении Трои, затем стал сетовать на то, что никогда не видел горящего города. Он позавидовал Приаму, назвал его счастливым человеком – мол, Приам мог любоваться пожаром и гибелью родного города. Тигеллин на это отозвался: „Скажи одно слово, божественный, я возьму факел, и ты, еще этой ночью, увидишь пылающий Анций“. Но император обозвал его дурнем. „Куда бы, – сказал он, – я тогда приезжал дышать морским воздухом и укреплять голос, которым меня одарили боги и который я, говорят, ради блага народа, должен оберегать? Неужто ты не понимаешь, что вреден мне Рим, что от испарений Субуры и Эсквилина усиливается у меня хрипота, и разве пылающий Рим не представил бы во сто крат более великолепное и трагическое зрелище, нежели Анций?“ Тут все наперебой подхватили: о да, какой неслыханной трагедией была бы гибель города, покорившего мир, какую ужасную картину явил бы он, превращенный в кучу серого пепла! Император заявил, что тогда его поэма превзошла бы песни Гомеровы, и стал рассуждать, как бы он отстроил город и как грядущие века дивились бы его творению, рядом с которым померкли бы все прочие создания рук человеческих. Тут пьяные сотрапезники завопили: „Сделай это, сделай!“ На что он возразил: „Для этого мне надобны более верные и преданные друзья“. Признаюсь, слыша это, я сразу встревожился, потому что ведь ты находишься в Риме, carissima. Теперь я сам смеюсь над своими страхами и думаю, что император и августианы, как они ни безумны, не отважились бы на такое безумное дело, и все же – видишь, как человек боится за свою любовь! – все же мне хотелось бы, чтобы дом Лина стоял не на узкой улочке за Тибром, не в квартале, населенном чужеземцами, о котором в случае чего не стали бы тревожиться. На мой взгляд, даже Палатинские дворцы недостойны тебя, и я хотел бы, чтобы ты не была лишена изящной обстановки и удобств, к которым привыкла с детства. Переселись в дом Авла, Лигия моя! Я здесь много об этом думаю. Если бы император был в Риме, весть о твоем возвращении, конечно, могла бы через рабов дойти до Палатина, привлечь к тебе внимание и вызвать преследование за то, что ты посмела поступить вопреки воле императора. Но он в Анции пробудет долго, а когда вернется, и горожане, и рабы перестанут об этом судачить. Лин и Урс могут поселиться с тобою. Впрочем, я живу надеждой, что, прежде чем Палатин увидит императора, ты, божественная моя, будешь жить в собственном доме в Каринах. Благословен день, час и минута, когда ты переступишь мой порог, и, если Христос, которого я учусь чтить, сделает

[322] суженая моя! *(лат.)*

это, да будет благословенно и его имя. Я буду служить ему и отдам за него жизнь свою и кровь. Нет, я неправильно сказал: мы оба будем ему служить, пока не оборвутся нити нашей жизни. Люблю тебя и приветствую всем сердцем!»

Глава XXXIX

Урс набирал воду в цистерне и, вытягивая на бечевке сдвоенные амфоры, вполголоса напевал странно звучавшую лигийскую песню да поглядывал с нежностью на Лигию и Виниция, чьи фигуры белели среди кипарисов в саду Лина, как две статуи. Ни одно дуновение ветра не колебало их одежды. Спускались сумерки, обволакивая все золотистой и фиолетовой мглой, а они среди вечернего покоя, держась за руки, вели тихую беседу.

– Не может ли приключиться с тобою беда, Марк, из-за того, что ты уехал из Анция без ведома императора? – спросила Лигия.

– Нет, дорогая, – отвечал Виниций. – Император объявил, что на два дня уединится с Терпносом и будет сочинять новые песни. Он это часто делает и тогда ни о чем знать не хочет и ничего не помнит. Да что мне император, если я рядом с тобою и смотрю на тебя! Слишком я истосковался по тебе, в последние ночи и сна не стало. Лишь сомкну глаза от усталости, как вдруг пробуждаюсь с чувством, что над тобою нависла опасность; а то снится, будто украли моих лошадей, которых я разместил по дороге, чтобы ездить из Анция в Рим, и на которых примчался быстрее любого императорского гонца. Просто не мог дольше выдержать без тебя. Я слишком люблю тебя, дорогая, бесценная моя!

– Я знала, что ты приедешь. Урс уже два раза ходил по моей просьбе в Карины, спрашивал о тебе в твоем доме. Лин надо мною смеялся и Урс тоже.

Действительно, было видно, что она его ждала, – вместо обычной темной одежды на ней была легкая белая стола, из красивых складок которой ее руки и прелестная головка выглядывали как первоцветы, распустившиеся в снегу. Несколько розовых анемонов украшали ее волосы.

Виниций прижался губами к ее руке, потом они уселись рядом на каменную скамью среди дикого винограда и стали смотреть на закат, последние лучи которого отражались в их зрачках.

Очарование тихого вечера овладевало их сердцами.

– Как тут тихо, как мир прекрасен! – негромко говорил Виниций. – И ночь, кажется, будет необыкновенно ясная. Я чувствую себя счастливым, как никогда в жизни. Скажи ты мне, Лигия, что ж это такое? Я никогда даже не допускал, что возможна такая любовь. Я думал, бывает только огонь в крови да страстное желание, и только теперь вижу, что можно любить каждою каплею крови, каждым дыханием своим и вместе с тем ощущать такой безграничный, такой сладостный покой, словно душу твою убаюкали сон и смерть. Это для меня внове. Гляжу на покой деревьев, и чудится, он проникает в меня. Только теперь я понимаю, что может быть счастье, о котором люди до сих пор не знали. Только теперь понимаю, почему и ты, и Помпония Грецина всегда так безмятежны. О да, это дает вам Христос…

А она, прижавшись лицом к его плечу, сказала:

– Марк, дорогой мой…

И слова замерли на ее устах. От радости, благодарности и сознания того, что теперь наконец-то ей дозволено любить, у нее перехватило горло и глаза наполнились слезами. Обняв ее стройный стан, Виниций слегка привлек ее к себе.

– Да будет благословенна та минута, Лигия, – сказал он, – когда я впервые услышал его имя.

– Я люблю тебя, Марк, – тихо ответила она.

И снова оба они умолкли, от избытка счастья не находя слов. Последние сизые блики на верхушках кипарисов погасли, и сад засеребрился в сиянии лунного серпа.

– Я это знаю, – сказал Виниций. – Едва я вошел сюда, едва поцеловал милые твои руки, я прочитал в твоих глазах вопрос – усвоил ли я божественное учение, которое ты исповедуешь, и принял ли крещение. Нет еще, я пока еще не окрещен, но знаешь, цветок мой, почему? Павел сказал: «Я тебя убедил, что бог явился в мир и отдал себя на распятие ради его спасения, но в источнике благодати пусть омоет тебя Петр, который первый простер над тобою руки и первый тебя

благословил». Да и я, дорогая, хотел бы, чтобы ты присутствовала при моем крещении и чтобы крестной была Помпония. Оттого я до сих пор не крестился, хотя уже уверовал в спасителя и в сладостное его учение. Павел меня убедил, обратил, да разве могло быть иначе? Как мог я не поверить, что Христос явился в мир, когда это говорит Петр, который был его учеником, и Павел, которому он явился? Как мог я не поверить, что он был богом, если он воскрес? Ведь его видели и в городе, и у озера, и на горе, и видели люди, чьим устам неведома ложь! Я этому верил еще тогда, когда слушал Петра в Остриане; еще тогда я сказал себе: любой другой человек на свете мог бы солгать, только не этот, который говорит: «Я видел!» Но учения вашего я страшился. Мне казалось, оно у меня отнимет тебя. Я полагал, что в нем нет ни мудрости, ни красоты, ни счастья. Но теперь, когда я его узнал, хорош бы я был, если бы не желал, чтобы в мире царила истина, а не ложь, любовь, а не ненависть, добро, а не злодейство, верность, а не предательство, жалость, а не месть. Где найдется такой человек, который бы этого не хотел, об этом не мечтал? А ведь вера ваша именно этому учит. Другие учения тоже требуют справедливости, но только ваше делает справедливым сердце человеческое и вдобавок чистым, как чисты сердца твое и Помпонии. Я был бы слеп, если бы этого не видел. И если господь Христос к тому же еще обещал жизнь вечную и такое неслыханное блаженство, какое лишь всемогущество божье может дать, тогда чего же еще желать человеку? Спроси я у Сенеки, почему он советует быть добродетельным, когда неправдой легче достигнуть счастья, он, ручаюсь, не смог бы ответить ничего вразумительного. Но я теперь знаю, зачем надо быть добродетельным. Затем, что добро и любовь исходят от Христа, и еще затем, чтобы, когда смерть сомкнет мне глаза, обрести жизнь, обрести блаженство, обрести самого себя и тебя, драгоценная моя… Как же не возлюбить и не принять учение, которое открывает истину и заодно уничтожает смерть? Кто бы не предпочел добро злу? Я думал, что это учение враждебно счастью, а Павел вот убедил меня, что оно не только ничего у нас не отымает, но еще дает. Все это с трудом умещается в голове, но я чувствую, что это правда, – ведь я никогда не был так счастлив, да и не мог быть, даже если бы забрал тебя насильно и держал в своем доме. Только что ты мне сказала: «Я тебя люблю», а ведь тебя бы не заставило сказать мне эти слова все могущество Рима. О Лигия! И разум говорит мне, что это учение божественное и самое лучшее, и сердце мое это чувствует, а таким двум силам кто сумеет воспротивиться?

Лигия слушала, вперив в него голубые свои глаза, напоминавшие в лунном свете два таинственных цветка и, как цветы в росе, влажно мерцавшие от слез.

– Да, да, Марк, это верно! – сказала она, крепче прижимаясь головою к его плечу.

И в эту минуту оба чувствовали себя бесконечно счастливыми, сознавая, что, кроме любви, их соединяет еще иная сила, сила добрая и неодолимая, благодаря которой сама любовь становится чем-то неиссякаемым, неподвластным перемене, разочарованию, измене и даже смерти. В сердцах обоих жила твердая уверенность, что при любых превратностях они не перестанут любить и принадлежать друг другу. И эта уверенность наполняла их несказанным спокойствием. А Виницию вдобавок было ясно, что их любовь не только чистая и глубокая, но и совершенно новая, какой мир доселе еще не знал и знать не мог. В ней, в этой любви, для него сливалось все – и Лигия, и учение Христа, и тихо дремлющий на кипарисах лунный свет, и ясная ночь, и мнилось ему, что любовью этой наполнена вся вселенная.

Немного помолчав, он снова заговорил тихим, взволнованным голосом:

– Ты будешь душою моей души, будешь самым дорогим для меня существом. Сердца наши всегда будут биться заодно, единой будет молитва наша и благодарность Христу. О дорогая моя! Вместе жить, вместе чтить сладостного бога и знать, что, когда придет смерть, глаза наши опять откроются, как после блаженного сна, для нового света, – можно ли вообразить что-либо прекраснее! И я только дивлюсь тому, что раньше этого не понял. А знаешь, что мне сейчас кажется? Что этому учению никто не сумеет противостоять. Лет через двести или триста его примет весь мир: люди забудут про Юпитера, и не станет других богов, кроме Христа, и других храмов, кроме христианских. Ну кто же не захочет собственного счастья? Ах да, я ведь слышал беседу Павла с Петронием, и знаешь, что Петроний сказал под конец? «Это не для меня», но ничего больше он возразить не мог.

– Повтори мне слова Павла, – попросила Лигия.

– Это было у меня на вилле, вечером. Петроний, как обычно, острил и шутил, и тогда Павел ему сказал: «Как можешь ты, мудрый Петроний, отрицать, что Христос существовал и воскрес, если тебя тогда на свете не было, а Петр и Иоанн видели его и я видел по пути в Дамаск? Сперва пусть твоя мудрость докажет, что мы лжецы, только потом ты можешь отрицать наши свидетельства». Петроний возразил, что он и не думает отрицать, – он знает, что в мире совершается немало удивительных вещей, подлинность которых подтверждают люди, достойные доверия. Но, сказал он, одно дело – узнать о каком-то новом чужеземном боге, и другое – принять его учение. «Я не желаю, – говорил он, – знать ничего такого, что могло бы омрачить мою жизнь и нарушить ее красоту. Мне дела нет, истинны ли наши боги, но они красивы, нам с ними радостно, и мы можем жить беззаботно». На это Павел отвечал так: «Ты отвергаешь учение любви, справедливости и милосердия из опасения перед житейскими невзгодами, но подумай, Петроний, разве ваша жизнь свободна от невзгод? Ведь и ты, и все вы, даже самые богатые и могущественные, не знаете, засыпая вечером, не разбудит ли вас утром смертный приговор. А теперь скажи: если бы император признавал это учение, призывающее к любви и справедливости, разве твое счастье не было бы более прочным? Ты боишься за свои радости, но разве тогда жизнь не была бы более радостной? А что до искусства украшать жизнь, до прекрасного в ней, то скажи: если вы соорудили столько великолепных храмов и статуй в честь божеств злобных, мстительных, распутных и лживых, чего бы вы не создали ради почитания единого бога любви и истины? Ты хвалишься своей судьбой, ты могуществен, ты живешь в роскоши, но ведь точно так же ты мог быть беден и покинут людьми, хотя происходишь из знатной семьи, и тогда, поверь, тебе было бы куда лучше на свете, если бы люди признавали Христа. В вашем городе даже богатые родители, не желая утруждать себя воспитанием детей, часто отдают их в другие семьи, и детей этих называют „питомцами“. Мог ведь и ты оказаться таким вот „питомцем“! Но если бы твои родители жили согласно нашему учению, это с тобою не могло бы случиться. А если бы ты, достигнув зрелых лет, сочетался браком с любимой, ты, вероятно, хотел бы, чтобы она была тебе верна до гроба. А между тем гляди, что у вас творится, сколько срама, сколько позора, как попирают супружескую верность! Ведь вы уже и сами удивляетесь, когда встречается женщина, которую называют „унивира“ – „одномужница“. А я тебе говорю, что те женщины, которые в сердце своем будут носить Христа, не нарушат верности мужьям, равно как мужья-христиане будут хранить верность женам. Да что там! Ведь вы не уверены ни в ваших властителях, ни в ваших отцах, ни в женах, ни в детях, ни в слугах! Весь мир дрожит перед вами, но и вы дрожите перед собственными рабами, ибо знаете, что они в любой час могут восстать против вашего гнета, начать жестокую борьбу, как делали уже не раз. Ты богат, но ты не знаешь, не прикажут ли тебе завтра расстаться с твоим богатством; ты молод, но, возможно, завтра тебе придется умереть. Ты любишь, но измена подстерегает тебя; тебе нравятся виллы и статуи, но завтра тебя могут изгнать в пустыни Пандатерии; у тебя тысячи слуг, но завтра эти слуги могут пустить тебе кровь. И если это верно, то как же можете вы быть спокойны, счастливы и жить в радости? А я вот проповедую любовь и провозглашаю учение, которое велит владыкам любить подданных, господам – любить рабов, рабам – служить из любви, всем поступать справедливо и милосердно, а в конце сулит блаженство вечное и, как море, безбрежное. Как же ты, Петроний, можешь говорить, что такое учение портит жизнь, когда оно ее исправляет, и ты сам был бы во сто раз счастливее и увереннее, если бы это учение овладело миром так, как ваше римское государство».

Так, о Лигия, говорил Павел, а Петроний ответил: «Это не для меня», и, притворяясь, будто хочет спать, удалился, сказав еще на прощанье: «Предпочитаю твоему учению мою Эвнику, иудей, но я не хотел бы состязаться с тобою на трибуне». Я же слушал речи Павла всей душой, а когда он заговорил о наших женщинах, сердце мое исполнилось восхищения этим учением, на котором возросла ты, как весною на доброй почве возрастают лилии. И я тогда подумал: вот Поппея оставила двух мужей ради Нерона, вот Кальвия Криспинилла, вот Нигидия, вот почти все женщины, которых я знаю, кроме одной лишь Помпонии; и все они торговали своей верностью и клятвами, и только она одна, та, моя, не отречется, не обманет и не погасит очага, хотя бы меня обманули и отреклось от меня все, во что я верю. И мысленно я говорил тебе: чем же я тебя отблагодарю, если не любовью и уважением? А слышала ты, как я там, в Анции, обращался к тебе

и разговаривал с тобою все время, беспрерывно, словно ты была рядом со мною? Я люблю тебя во сто раз сильнее за то, что ты убежала от меня из дворца императора. И мне он тоже опротивел. Мне противна и его роскошь, и его музыка, я хочу только одну тебя. Скажи слово, и мы покинем Рим и поселимся где-нибудь далеко-далеко.

А Лигия, все так же прильнув головою к его плечу, устремила задумчивый взор на посеребренные луною верхушки кипарисов.

– Согласна, Марк, – сказала она. – Ты писал мне про Сицилию, там и Плавтии хотят обосноваться на старости…

– Да, да, дорогая моя! – радостно перебил ее Виниций. – Наши земли находятся по соседству. Там дивный берег, и климат там еще мягче, а ночи еще яснее и благоуханнее, чем в Риме. Там жизнь и счастье – это почти одно и то же. – И он начал мечтать вслух о будущем: – Там можно забыть о всех заботах. В лесах, среди оливковых зарослей мы с тобою будем гулять и отдыхать в их тени. О Лигия! Какая это будет жизнь! Мы будем друг друга любить, утешать, вместе глядеть на море, вместе на небо, вместе чтить сладостного бога, спокойно творить добро вокруг нас и поступать справедливо.

И оба надолго замолчали, вглядываясь в грядущее, – он все крепче прижимал ее к себе, и в свете луны мерцал на его руке золотой всаднический перстень. Вокруг все спало, то был квартал, населенный бедным рабочим людом, и ни единый шорох не нарушал ночного безмолвия.

– Ты разрешишь мне видеть Помпонию? – спросила Лигия.

– О да, дорогая. Мы будем приглашать их к нам или сами будем ездить к ним. А хотела бы ты, чтобы мы взяли с собою апостола Петра? Он обременен годами и устал от трудов. Павел тоже будет нас навещать, он обратит Авла Плавтия, и, как солдаты основывают колонии в дальних краях, так и мы положим начало колонии христиан.

Лигия взяла руку Виниция и хотела прижаться к ней устами, но он торопливо зашептал, словно опасаясь спугнуть счастье:

– Нет, Лигия, нет! Это я преклоняюсь перед тобой, я обожаю тебя: дай мне ты свою руку.

– Я люблю тебя.

Он припал губами к ее белым, как жасмин, ручкам, и с минуту они слышали только биение своих сердец. В воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка, кипарисы стояли недвижимы, будто тоже затаили дыхание…

Вдруг тишину нарушил внезапный рев, глубокое, словно из-под земли исходившее, рычанье. У Лигии дрожь пробежала по телу, а Виниций, вставая, сказал:

– Это рычат львы в виварiях.

И оба прислушались. Первому рычанью ответило второе, третье, десятое, со всех сторон, из всех кварталов. В городе бывало временами по нескольку тысяч львов, размещенных при разных аренах, и нередко по ночам они, подойдя к решеткам и упираясь в них огромными своими головами, изливали таким образом тоску по воле и пустыне. Вот и теперь они, тоскуя, перекликались в ночной тишине и оглашали весь город своим рычаньем. Было в нем что-то невыразимо жуткое, зловещее, оно спугнуло светлые и спокойные картины будущего, и Лигия слушала его с сердцем, стесненным смутною тревогой и печалью.

– Не бойся, дорогая, – сказал Виниций, нежно обнимая ее. – Скоро игры, поэтому все виварии переполнены.

И они оба вошли в дом Лина, сопровождаемые все более оглушительным, громоподобным ревом.

Глава XL

Тем временем Петроний в Анции почти каждый день одерживал победы над августианами, пытавшимися его опередить в благоволении императора. Влияние Тигеллина сошло на нет. В Риме, где надо было устранять людей, казавшихся опасными, грабить их имущество, улаживать политические дела, устраивать зрелища, поражавшие пышностью и дурным вкусом, и, наконец, удовлетворять чудовищные прихоти императора, лукавый и готовый на все Тигеллин был незаменим.

Но в Анции, среди дворцов, глядящихся в зеркальную морскую лазурь, император вел жизнь истинного эллина. С утра до вечера читали стихи, рассуждали об их построении и совершенстве, восхищались удачными выражениями, занимались музыкой, театром – то есть исключительно тем, что изобрел и чем украсил жизнь греческий гений. И тут Петрония, несравненно более образованного, чем Тигеллин и прочие августианы, остроумного, красноречивого, отличавшегося утонченностью чувств и вкуса Петрония, разумеется, никто не мог превзойти. Император жаждал его общества, спрашивал его мнения, просил советов, когда сам что-то сочинял, и выказывал более горячую дружбу, чем когда-либо. Окружающие полагали, что влияние Петрония победило окончательно, что дружба между ним и императором останется неизменной и продлится многие годы. Даже те, кто прежде относился с неприязнью к изысканному эпикурейцу, стали его обхаживать и добиваться его расположения. Кое-кто искренне радовался, что одержало верх влияние человека, который, зная, кто чем дышит, и со скептической усмешкой принимая лесть вчерашних врагов, тем не менее – то ли от лени, то ли от чрезмерной утонченности – не был мстительным и не пользовался своей силой, чтобы губить врагов или вредить им. Бывали минуты, когда он мог погубить даже Тигеллина, но Петроний предпочитал высмеивать его и изобличать перед всеми его невежество и заурядность. Сенат в Риме отдыхал – уже целых полтора месяца не было вынесено ни одного смертного приговора. И в Анции, и в городе рассказывали чудеса о том, до какой изощренности дошло распутство императора и его фаворита, но каждый предпочитал быть под властью императора с утонченным вкусом, чем озверевшего под влиянием Тигеллина. Сам Тигеллин ломал себе голову, недоумевая, что предпринять и не признать ли себя побежденным, ибо император уже не раз заявлял, что во всем Риме и среди всех его придворных есть лишь две души, способные понять друг друга, и два истинных эллина: он и Петроний.

Удивительная ловкость фаворита вселяла убеждение, что его влияние будет долговечнее, чем все прочие. Казалось уже немыслимым, чтобы император мог обойтись без Петрония, – с кем бы он тогда беседовал о поэзии, музыке, скачках, кому смотрел бы в глаза, желая убедиться в том, что его сочинения действительно совершенны. Петроний же, с обычной своей беспечностью, словно бы не придавал никакого значения своему могуществу. Как и прежде, он был медлителен, ленив, остроумен, скептичен. Нередко придворным казалось, что он издевается над ними, над собою, над императором, над всем миром. Случалось, он осмеливался порицать императора прямо в глаза, и, когда все думали, что он зашел слишком далеко или просто сам ищет гибели, он умел внезапно истолковать порицание так, что оно оборачивалось к его выгоде, чем возбуждал всеобщее удивление, – казалось, нет такого положения, из которого он бы не вышел с триумфом. Однажды, примерно неделю спустя после возвращения Виниция из Рима, император читал в узком кругу отрывок из своей «Троики», и, когда он закончил чтение и смолкли хвалебные возгласы, Петроний, отвечая на вопросительный взгляд императора, сказал:

– Плохие стихи, они достойны того, чтобы бросить их в огонь.

Присутствующие замерли от страха – Нерону с детских лет ни от кого не доводилось слышать подобного приговора. Только лицо Тигеллина просияло, а Виниций страшно побледнел, решив, что Петроний, который никогда не напивался допьяна, на сей раз пьян.

Медоточивым голосом, чуть дрожавшим от глубоко уязвленного самолюбия, Нерон спросил:

– Что же ты находишь в них плохого?

И тут Петроний дал себе волю.

– Не верь им, – заговорил он, указывая на окружающих, – они ничего не смыслят. Ты спрашиваешь, что плохого в твоих стихах? Если хочешь знать правду, скажу: они хороши для Вергилия, хороши для Овидия[323], даже для Гомера хороши, но не для тебя. Тебе такие стихи непростительны. Пожар, который ты описываешь, недостаточно пылает, твой огонь недостаточно жжет. Не слушай льстивых уверений Лукана. Его за такие стихи провозгласили бы гением, но не тебя. А знаешь почему? Потому что ты более велик, чем все они. Кому боги дали столько, сколько тебе, от того можно больше требовать. Но ты ленишься. Ты предпочитаешь после обеда спать, чем утруж-

[323] *Овидий Назон Публий* (43 до н.э. – 18 н.э.) – выдающийся римский поэт.

дать свои мозги. Ты способен создать нечто такое, чего мир не слыхивал, и посему говорю тебе прямо: напиши лучшие!

И говорил он все это как бы нехотя, как бы с насмешкой и в то же время ворчливо, но глаза императора подернулись дымкой упоения.

– Да, боги дали мне немного таланта, – сказал Нерон, – но, кроме того, дали нечто большее – подлинного знатока и друга, который один умеет говорить правду в глаза.

С этими словами он протянул свою толстую, покрытую рыжими волосами руку к вывезенному из Дельф золотому канделябру, намереваясь сжечь стихи.

Но Петроний выхватил их, прежде чем огонь коснулся папируса.

– Нет, нет! – воскликнул он. – Даже и такие дрянные, они принадлежат человечеству. Оставь их мне.

– В таком случае позволь отослать их тебе в футляре по моему выбору, – отвечал Нерон, обнимая его. И после паузы заговорил снова: – Да, да, ты прав. Мой пожар Трои недостаточно ярко пылает, мой огонь недостаточно жжет. Но я думал, что, если сравняюсь с Гомером, этого довольно. Мне всегда мешала некоторая робость и невысокое мнение о себе. Ты же открыл мне глаза. Но знаешь ли, почему получилось так, как ты определил? Когда ваятель хочет создать фигуру бога, он ищет образец, а у меня-то образца не было. Я никогда не видел горящего города, и потому в моем описании нет правды.

– И еще тебе скажу: надо быть великим артистом, чтобы это понять.

Нерон задумался, потом сказал:

– Ответь мне, Петроний, на один вопрос: сожалеешь ли ты, что Троя сгорела?

– Сожалею ли я?.. Клянусь хромым супругом Венеры, ничуть! Сейчас объясню тебе почему. Троя не сгорела бы, если бы Прометей не подарил людям огонь и если бы греки не объявили Приаму войну; но если бы не было огня, Эсхил[324] не написал бы своего «Прометея», равно как без этой войны Гомер не создал бы «Илиады», а я предпочитаю, чтобы существовали «Прометей» и «Илиада», чем чтобы сохранился городишко, вероятно, жалкий и грязный, в котором теперь, уж наверно, сидел бы какой-нибудь негодяй прокуратор[325] да надоедал бы тебе дрязгами с местным ареопагом[326].

– Вот что называется говорить разумно, – согласился император. – Для поэзии и искусства дозволено, и даже надлежит жертвовать всем. Блаженны ахейцы, доставившие Гомеру предмет для «Илиады», и блажен Приам, наблюдавший гибель отчизны. А я? Я горящего города не видел.

Наступило минутное молчание, которое наконец нарушил Тигеллин.

– Я же тебе уже говорил, император, – сказал он, – вели, и я сожгу Анций. Или знаешь что? Если тебе жаль этих вилл и дворцов, вели сжечь корабли в Остии или же я построю тебе у подножья Альбанских гор деревянный город, который ты сам подожжешь. Хочешь?

Но Нерон бросил на него взгляд, полный презрения.

– Мне – смотреть на горящие деревянные сараи? Ты совершенно отупел, Тигеллин! И кстати, я вижу, что ты не очень-то высоко ценишь мой талант и мою «Троику», раз, по твоему мнению, какая-нибудь иная жертва была бы для нее слишком значительной.

Тигеллин пришел в замешательство. А Нерон чуть погодя и словно желая переменить тему, прибавил:

– Наступает лето… О, какая, наверно, вонь сейчас в этом Риме! И все же придется на летние игры туда возвратиться.

Тут Тигеллин наконец собрался с мыслями.

– Когда ты, повелитель, отошлешь августиан, разреши мне минуту побыть с тобою…

Час спустя Виниций возвращался с Петронием от императора.

---

[324] *Эсхил* (525–456 до н.э.) – великий греческий драматург, основоположник классической греческой драматургии.

[325] *Прокуратор* – в эпоху империи должностное лицо, управляющее провинцией.

[326] *Ареопаг* – собрание старейшин, городской совет.

– Ты мне доставил несколько тревожных минут, – говорил Виниций. – Я уже решил, что ты спьяну погубил себя бесповоротно. Помни, ты играешь со смертью.

– А это моя арена, – беспечно ответил Петроний, – и мне приятно сознавать, что на ней я самый искусный гладиатор. Ты же видел, как все кончилось. Мое влияние в этот вечер только усилилось. Он пришлет мне свои стихи в футляре, который – хочешь биться об заклад? – будет невероятно великолепным и невероятно безвкусным. Я велю моему врачу держать в нем слабительные снадобья. А поступил я так еще и потому, что Тигеллин, видя, как это у меня удачно получается, непременно захочет мне подражать, и я представляю себе, каково это будет, когда он примется острить. Все равно как если бы пиренейский медведь вздумал ходить по канату. Я буду хохотать, как Демокрит[327]. О, если бы мне очень захотелось, я, может быть, сумел бы уничтожить Тигеллина и стать вместо него префектом преторианцев. Тогда сам Агенобарб был бы в моей власти. Но мне лень… Предпочитаю жить так, как живу, даже мириться со стихами императора.

– Ну и ловок ты! Даже упрек сумел превратить в лесть! А стихи действительно так плохи? Я же в этом не разбираюсь.

– Они не хуже других. У Лукана в одном мизинце больше таланта, но и в Меднобородом что-то есть. И прежде всего необычайная любовь к поэзии и музыке. Через два дня мы должны явиться к нему слушать музыку к гимну Афродите, который он не сегодня завтра закончит. Приглашенных будет очень мало. Только я, ты, Туллий Сенецион да молодой Нерва. Что ж до стихов, так мои слова, будто я пользуюсь ими после еды, как Вителлий перьями фламинго, это неправда! Иногда у него получается неплохо. Речи Гекубы просто трогательны… Она сетует на муки родов, и Нерон сумел найти удачные выражения – возможно, потому что сам рождает каждый стих в муках… Порой мне жаль его. Клянусь Поллуксом! Какая странная смесь чувств! У Калигулы мозги были набекрень, но таким чудаком он не был.

– Кто способен сказать, до чего дойдет безумие Агенобарба? – сказал Виниций.

– Никто. Еще могут произойти такие дела, что в течение многих веков у людей волосы будут становиться дыбом от одной мысли о них. Но именно это забавно и интересно, и, хотя я частенько скучаю, как Юпитер-Аммон[328] в пустыне, думаю, что при другом императоре скучал бы куда сильнее. Твой иудей Павел красноречив, отрицать не стану, и если это учение будут излагать подобные люди, нашим богам надо не на шутку опасаться, как бы со временем не очутиться на свалке. Да, конечно, будь император христианином, все мы чувствовали бы себя в большей безопасности. Но, видишь ли, твой пророк из Тарса, применяя свои аргументы ко мне, не подумал, что неуверенность в завтрашнем дне и составляет для меня главную прелесть жизни. Кто не играет в кости, не проигрывает состояния, однако же люди играют в кости. Есть в этом какое-то наслаждение, возможность забыться. Я знавал сыновей всадников и сенаторов, добровольно становившихся гладиаторами. Ты говорил, я играю жизнью, да, это верно, но я поступаю так, потому что меня это забавляет, а ваши христианские добродетели наскучили бы мне, как проповеди Сенеки, в первый же день. Поэтому красноречие Павла было потрачено напрасно. Он должен понять, что люди, вроде меня, никогда этого учения не признают. Ты – другое дело. С твоим нравом ты либо должен был ненавидеть само слово «христианин» как чуму, либо стать христианином. Я признаю, что они правы, но при этом зеваю. Да, мы безумствуем, мы катимся в пропасть, что-то неведомое надвигается на нас из будущего, что-то рушится под нами, что-то умрет рядом с нами, согласен! Но умереть мы сумеем, а пока что нам не хочется осложнять себе жизнь и служить смерти, прежде чем она нас возьмет. Жизнь существует для себя самой, не для смерти.

– А мне тебя жаль, Петроний.

– Не жалей меня больше, чем я сам себя. Когда-то тебе было с нами неплохо, и ты, сражаясь в Армении, скучал по Риму.

– Я и теперь скучаю по Риму.

---

[327] По сообщениям античных авторов, Демокрит (греческий философ-атомист, 460–371 до н.э.) не мог без смеха смотреть на людские страсти и заботы.

[328] *Аммон*, египетский бог солнца, в эпоху империи часто отождествлялся с Юпитером и почитался вместе с ним.

– О да, потому что полюбил христианскую весталку, обитающую за Тибром. Я этому не дивлюсь и тебя не корю. Дивлюсь же я тому, что, несмотря на это учение, в котором, по твоим словам, море счастья, и на любовь, которая вскоре будет увенчана, с лица твоего не сходит грусть. Помпония Грецина постоянно печальна, ты, с тех пор как стал христианином, перестал улыбаться. Так не уверяй же меня, будто это радостное учение! Ты вернулся из Рима еще более печальным. Если это у вас называется любить по-христиански, то, клянусь золотыми кудрями Вакха, я вашему примеру не последую.

– Здесь причина совсем другая, – отвечал Виниций. – Поклянусь тебе не кудрями Вакха, но душою отца моего, что никогда прежде я не испытывал ничего подобного тому счастью, которое узнал теперь. Но тоскую я безмерно, это так, и самое удивительное, что, когда я вдали от Лигии, мне все чудится, будто над нею нависла опасность. Я не знаю, какая, не знаю, откуда она может прийти, но предчувствую ее так, как, бывает, предчувствуют грозу.

– Берусь через два дня добыть для тебя разрешение покинуть Анций на любой срок, какой захочешь. Поппея, кажется, успокоилась, и, насколько мне известно, с ее стороны опасность не грозит ни тебе, ни Лигии.

– Еще сегодня она у меня спросила, что я делал в Риме, хотя мой отъезд был тайным.

– Возможно, она приказала следить за тобой. Однако, теперь и она вынуждена со мной считаться.

– Павел говорит, – сказал Виниций, останавливаясь, – что бог порой сам предупреждает, но не позволяет верить в приметы; вот я и борюсь с этой верой и не могу себя победить. Чтобы снять бремя с души, расскажу тебе, что случилось. Сидели мы с Лигией рядом в такую же тихую, ясную ночь, как нынешняя, и мечтали о будущем. Не могу тебе передать, как были мы счастливы и как спокойны. И вдруг начали рычать львы. В Риме это дело обычное, однако с той минуты я потерял покой. Мне все чудится, что в этом была какая-то угроза, какое-то предвестье беды… Ты знаешь, я нелегко поддаюсь тревоге, но тогда получилось так, что весь объятый тьмою город как бы наполнился тревогой. Это было так странно, так неожиданно, что отзвуки этого рычанья звучат не смолкая у меня в ушах и сердце томит страх, точно Лигия нуждается в моей защите от чего-то ужасного… хотя бы от тех же львов. И я терзаюсь. Прошу, добейся для меня разрешения на отъезд, не то я уеду без разрешения. Я не могу тут усидеть, повторяю тебе, не могу!

Петроний рассмеялся.

– Дело еще не дошло до того, – сказал он, – чтобы сыновей консулов или их жен отдавали львам на растерзание в цирках. Вас может ждать любой другой конец, но не такой. А ты уверен, что это были львы? Ведь германские туры рычат ничуть не хуже. Что до меня, я смеюсь над приметами и гаданьями. Вчера была теплая ночь, и я видел, как звезды сыпались градом. Многим от такого зрелища стало бы жутко, но я подумал: если есть среди них и моя звезда, то, по крайней мере, общество у меня будет!.. – И, помолчав, прибавил: – А знаешь, если ваш Христос воскрес, так он и вас двоих может защитить от смерти.

– Может, – отвечал Виниций, глядя на усыпанное звездами небо.

Глава XLI

Нерон, аккомпанируя себе, пел гимн Владычице Кипра, в котором и стихи, и музыка принадлежали ему. На сей раз он был в голосе и чувствовал, что слушатели по-настоящему увлечены его пением; это чувство придало его голосу звучность и так взволновало его самого, что он и впрямь пел вдохновенно. Под конец он даже побледнел от избытка чувств и, пожалуй, впервые в жизни не захотел слушать похвал. С минуту он сидел, опершись руками на кифару и поникнув головою, потом резко поднялся.

– Я устал, – сказал он, – мне надо подышать воздухом. А вы пока настройте кифары. – И, обмотав шею шелковым платком, обратился к сидевшим в углу Петронию и Виницию: – Ты, Виниций, подай мне руку, я что-то ослабел. А Петроний будет мне говорить о музыке.

Втроем они вышли на вымощенную алебастром и посыпанную шафраном дворцовую террасу.

– Здесь легче дышится, – молвил Нерон. – Душа моя тревожна и печальна, хотя я убедился, что с гимном, который я вам пропел для проверки, я могу выступить публично и что это будет такой триумф, какого еще никогда не одержал ни один римлянин.

– О да, ты можешь выступить и здесь, в Риме, и в Ахайе. И сердце мое, и разум полны восхищения тобою, божественный! – ответил Петроний.

– Знаю. Ты просто слишком ленив, чтобы заставлять себя произносить хвалы. И, как Туллий Сенецион, искренен, но разбираешься лучше него. Скажи, что ты думаешь о музыке.

– Когда я слушаю стихи, когда гляжу на квадригу, которой ты правишь в цирке, на прекрасную статую, прекрасный храм или картину, я чувствую, что объемлю видимое мною все целиком и что в моем восторге умещается все, что могут дать эти вещи. Но когда я слушаю музыку, особенно же твою, предо мною открываются все новые красоты, все новые наслаждения. Я гонюсь за ними, я жадно хватаю их, но, прежде, нежели я успеваю их воспринять, наплывают все новые и новые, в точности как морские волны, идущие из бесконечности. Да, я могу сказать, что музыка подобна морю. Мы стоим на одном берегу и видим морскую даль, но другой берег видеть нам не дано.

– О, какая глубина суждений! – сказал Нерон.

Некоторое время все трое шли молча, лишь тихо шуршал под их ногами шафран.

– Ты высказал мою мысль, – молвил наконец Нерон. – Потому-то я постоянно говорю, что во всем Риме ты один способен меня понять. Да, да, то же думаю о музыке и я. Когда я играю и пою, мне видятся такие вещи, о существовании которых – ни в моем государстве, ни вообще в мире – я и не знал. Я – император, мне подвластен весь мир, я могу все. Однако музыка открывает мне новые царства, новые горы и моря и новые наслаждения, мне еще неведомые. Чаще всего я не могу их назвать, даже умом не могу понять – только чувствую их. Я чувствую богов, я вижу Олимп. Какой-то неземной ветер овевает меня, я вижу, словно в тумане, какие-то колоссальные громады, безмятежные и сияющие, как восходящее солнце… Весь Сферос вокруг меня звучит музыкой, и должен тебе сказать, – тут голос Нерона дрогнул от чистосердечного удивления, – что я, император и бог, чувствую себя тогда ничтожным, как песчинка. Можешь ты этому поверить?

– Разумеется. Только великие артисты способны чувствовать себя ничтожными рядом с искусством…

– Нынче ночь откровенности, и я открою тебе, как другу, свою душу, я скажу тебе больше… Ты думаешь, я слеп или лишен разума? Думаешь, я не знаю, что в Риме пишут на стенах оскорбительные для меня надписи, что меня называют матереубийцей и женоубийцей… что меня считают чудовищем и извергом, потому что Тигеллин выпросил у меня несколько смертных приговоров для моих врагов? Да, да, дорогой мой, меня считают чудовищем, и я об этом знаю. Мне внушают, что я жесток, да так усердно внушают, что я и сам порой задаю себе вопрос: не изверг ли я? Но они не понимают того, что человек иногда может совершать жестокие поступки и при этом не быть жестоким. Ах, никто не поверит, да и ты, дорогой мой, не поверишь, что в минуты, когда музыка баюкает мою душу, я чувствую себя таким добрым, как дитя в колыбели. Клянусь тебе этими звездами, что сияют над нами, я говорю чистую правду: люди не подозревают, как много доброго заключено в этом сердце и какие я сам вижу в нем сокровища, когда музыка открывает доступ к ним.

Петроний ни на миг не сомневался, что Нерон в эту минуту говорит искренне и что музыка действительно способна пробуждать в его душе какие-то более благородные наклонности и извлекать их на свет из-под глыб эгоизма, разврата и злодейств.

– Надо знать тебя так близко, как знаю я, – сказал он. – Рим никогда не умел тебя ценить.

Нерон сильнее оперся на руку Виниция, словно клонясь под бременем несправедливости.

– Тигеллин мне говорил, – сказал император, – что в сенате шепчутся, будто Диодор и Терпнос лучше меня играют на кифаре. Даже в этом мне отказывают! Но ты, который всегда говорит правду, скажи мне искренне: играют ли они лучше меня или так же хорошо, как я?

– Куда им! У тебя удар по струнам гораздо нежнее, и в то же время в нем больше силы. В тебе чувствуется артист, а они – умелые ремесленники. О да! Надо сперва послушать их музыку, тогда можно лучше оценить тебя.

– Если так, пусть живут! Они никогда не догадаются, какую услугу ты им оказал в эту минуту. Впрочем, если бы я их казнил, пришлось бы на их место взять других.

– И люди бы еще говорили, что ты из любви к музыке подвергаешь гонению музыку. О божественный, никогда не убивай искусство ради искусства!

– Как сильно ты отличаешься от Тигеллина, – молвил Нерон. – Но, видишь ли, я артист во всем, и, поскольку музыка открывает предо мною неведомые мне просторы, неподвластные мне страны, не испытанные мною наслаждения и блаженство, я не могу жить обычной жизнью. Музыка мне говорит, что необычное существует, и я ищу его, пользуясь всеми возможностями дарованной мне богами власти. Порой чудится мне, что, если хочешь проникнуть в эти олимпийские края, надобно совершить нечто такое, чего никогда еще не совершил ни один человек, надобно превзойти людское стадо в добре или в зле. Я знаю и то, что люди осуждают меня за безумства. Но нет, я не безумствую, я только ищу! А если и безумствую, так от скуки и от нетерпения, что не могу найти. Я ищу – ты понял меня? – и потому хочу быть больше, чем человеком, ибо лишь таким образом я могу превзойти всех как артист. – Тут он понизил голос, чтобы Виниций не мог его слышать, и стал шептать на ухо Петронию: – Знаешь ли ты, что именно поэтому я осудил на смерть мать и жену? У врат неведомого мира я хотел принести величайшую жертву, на какую способен человек. Мне думалось, потом что-то случится, отворятся какие-то двери, за которыми я увижу нечто мне неизвестное. Пусть бы оно было чудесней или ужасней всего, что может вообразить человек, только бы было необычайным и великим… Но этой жертвы оказалось мало. Чтобы открыть двери эмпирея, видимо, требуется больше – и да сбудется то, о чем гласят пророчества!

– Что ты собираешься сделать?

– Увидишь. Причем увидишь скорее, чем думаешь. А пока помни: существуют два Нерона; один тот, какого знают люди, другой – артист, которого знаешь только ты один и который, разя, как смерть, или безумствуя, подобно Вакху, поступает так из-за того, что его гнетут пошлость и ничтожество обычной жизни и он хотел бы их истребить, хотя бы и пришлось действовать огнем или железом… О, каким серым будет этот мир, когда меня не станет! Никто, даже ты, дорогой мой, не догадывается, какой я великий артист! Но именно поэтому я страдаю, и верь мне, душа моя бывает так мрачна, как эти кипарисы, что чернеют перед нами. Да, тяжко человеку нести бремя высшей власти и величайшего таланта!..

– Я сочувствую тебе, император, всем сердцем, и вместе со мною сочувствуют земля и море, не считая Виниция, который втайне тебя боготворит.

– Он и мне всегда был приятен, – молвил Нерон, – хотя служит Марсу, а не музам.

– Прежде всего он служит Афродите, – возразил Петроний.

И внезапно он решил одним махом уладить дело племянника, а заодно устранить все опасности, которые могли Винициюугрожать.

– Он влюблен, как Троил в Крессиду[329], – продолжал Петроний. – Разреши ему, государь, уехать в Рим, иначе он тут зачахнет. Дело в том, что лигийская заложница, которую ты ему подарил, отыскалась, и Виниций, уезжая в Анций, оставил ее под опекой некоего Лина. Я тебе об этом не говорил, так как ты сочинял свой гимн, что важнее всего. Виниций думал сделать ее своей любовницей, но девица оказалась столь же добродетельной, как Лукреция, и он, очарованный ее добродетелью, желает теперь на ней жениться. Она царская дочь, унижения для него тут не будет, но он ведь истый солдат: вздыхает, сохнет, стонет, однако ждет разрешения своего императора.

– Император не выбирает жен солдатам. Зачем ему мое разрешение?

– Я же сказал тебе, государь, что он тебя боготворит.

– Тем более он может быть уверен в моем согласии. Да, девушка хорошенькая, только узковата в бедрах. Августа Поппея когда-то жаловалась мне на нее, что она сглазила наше дитя в Палатинском саду…

[329] В греческой мифологии *Троил* – троянский царевич, сын Приама (или Аполлона); сюжет о любви Троила и Крессиды появился лишь в средние века и в античной литературе не встречается. Упоминание его в данном контексте является анахронизмом.

– Но я сказал Тигеллину, что божествам злые чары не страшны. Помнишь, божественный, как он смутился и как ты сам крикнул: «Habet!»

– Помню, – ответил Нерон и обратился к Винициюу: – Ты действительно так ее любишь, как говорит Петроний?

– Да, люблю, государь, – отвечал Виниций.

– Тогда я велю тебе завтра же ехать в Рим, жениться на ней и не показываться мне на глаза без обручального перстня.

– Благодарю тебя, государь, от всего сердца.

– О, как приятно дарить людям счастье! – сказал император. – Я хотел бы всю жизнь не делать ничего другого.

– Окажи нам еще одну милость, божественный, – молвил Петроний, – огласи свое желание в присутствии Августы. Виниций никогда не дерзнул бы жениться на девушке, к которой Августа питает неприязнь, но ты, государь, одним своим словом рассеешь ее предубеждение, объявив, что такова твоя воля.

– Согласен, – сказал император. – Тебе и Винициюу я не мог бы ни в чем отказать.

И он повернул к вилле, а вместе с ним обрадованные победою Петроний и Виниций. Виниций еле сдерживал себя, чтобы не кинуться на шею Петронию, – казалось, теперь устранены все опасности и препятствия.

В атрии виллы молодой Нерва и Туллий Сенеционн развлекали беседой Августу, а Терпнос и Диодор настраивали кифары. Нерон сел на инкрустированное черепахой кресло и, шепнув что-то отроку греку, стал ждать.

Мальчик вскоре возратился с золотой шкатулкой – Нерон открыл ее и, выбрав ожерелье из крупных опалов, сказал:

– Вот драгоценность, достойная нынешнего вечера.

– На камнях будто заря играет, – заметила Поппея, убежденная, что ожерелье предназначается ей.

Император, любуясь, то поднимал, то опускал нитку розоватых камней.

– Виниций, – сказал он, – от моего имени подаришь это ожерелье юной лигийской царевне, и я приказываю тебе жениться на ней.

Поппея с гневом и изумлением взглянула на императора, затем на Виниция, и, наконец, глаза ее остановились на Петронии.

Но тот, небрежно перегнувшись через поручень кресла, водил рукою по раме арфы, словно стараясь запомнить ее очертания.

А Виниций, поблагодарив императора за подарок, подошел к Петронию и тихо сказал:

– Чем же я отблагодарю тебя за то, что ты сегодня для меня сделал?

– Принеси в жертву Эвтерпе[330] пару лебедей, – так же тихо ответил Петроний, – хвали песни императора и смейся над приметами. Надеюсь, что рычанье львов отныне не будет нарушать сон ни тебе, ни твоей лигийской лилии.

– О да, – сказал Виниций, – теперь я совершенно успокоился.

– Да будет Фортуна милостива к вам. Но внимание! Император опять берет формингу. Затаи дыхание, слушай и роняй слезы.

Император и впрямь взял в руки формингу и возвел глаза кверху. Разговоры в зале прекратились, все застыли, точно окаменели. Только Терпнос и Диодор, которым предстояло аккомпанировать императору, вертели головами, поглядывая то друг на друга, то на его рот в ожидании первых звуков песни.

Вдруг в прихожей послышались топот ног и шум голосов, через минуту из-за завесы выглянул императоров вольноотпущенник Фаон, а вслед за ним появился консул Леканий.

Нерон нахмурил брови.

– Прости, божественный император, – тяжело дыша, произнес Фаон. – В Риме пожар! Боль-

[330] *Эвтерпа* – муза лирической поэзии.

шая часть города в огне!

При этой вести все вскочили с мест. Нерон, отложив в сторону формингу, воскликнул:

– Боги! Я увижу горящий город, я закончу «Троику»! – И обратился к консулу: – Если выехать немедленно, успею я еще увидеть пожар?

– Повелитель, – отвечал бледный как полотно консул, – над городом бушует сплошное море огня – люди задыхаются от дыма, одни падают без чувств, другие бросаются в огонь… Рим гибнет, государь!

Наступила минутная тишина, которую нарушил вопль Виниция:

– Vae misero mihi!

И, сбросив с себя тогу, в одной тунике, молодой трибун выбежал из дворца.

А Нерон, подняв руки к небу, громко возгласил:

– Горе тебе, священный град Приама!

Глава XLII

Виниций второпях крикнул нескольким рабам, чтобы ехали вслед за ним и, вскочив на коня, помчался в этот поздний ночной час по пустынным улицам Анция в направлении Лаурента. Ужасная весть повергла его в состояние неистовства, близкое к помешательству, временами он даже не вполне сознавал, что с ним происходит, только чувствовал, что тут же, на его коне, сидит за его спиною беда и кричит ему в уши: «Рим горит!», хлещет плетью его самого, коня его и гонит их туда, в огонь. Припав непокрытою головою к холке коня, он в одной тунике мчался наугад, не разбирая дороги, не замечая препятствий, где мог расшибиться. Среди ночного безмолвия, под спокойным звездным небом, озаренные лунным светом наездник и его конь казались призрачными видениями. Идумейский жеребец, прижав уши и вытянув шею, несся стрелой мимо недвижных кипарисов и прячущихся за ними белых вилл. Топот копыт по каменным плитам будил собак – то тут, то там они провожали лаем странного всадника и, взбудораженные его молниеносным появлением и исчезновением, принимались выть, задирая морды к луне. Сопровождавшие Виниция рабы ехали на менее быстрых лошадях и вскоре отстали. А он, вихрем промчавшись по спящему Лауренту, свернул к Ардее[331], где у него, равно как в Арицции, в Бовиллах и в Устрине[332], стояли наготове с самого его приезда в Анций лошади, чтобы он мог в кратчайший срок преодолевать расстояние от Анция до Рима. Помня об этом, Виниций безжалостно гнал своего коня. За Ардеей ему показалось, что на северо-восточной окраине неба брезжит розоватый свет. То могла быть утренняя заря – ведь выезжал он позднею ночью, а в июле светает рано. Но Виниций не мог сдержать возгласа отчаяния и бешенства, ему почудилось, что это зарево пожара. Вспомнились слова Лекания: «Весь город – сплошное море огня!», и в этот миг он устрашился, что и в самом деле может сойти с ума, – у него вдруг исчезла надежда спасти Лигию или хотя бы домчаться до города прежде, чем Рим станет грудой пепла. Мысли Виниция мчались теперь быстрее его коня, они летели впереди, подобно стае черных птиц, жутких, зловещих. Не зная, с какой части города начался пожар, Виниций допускал, что первою добычей огня, вероятней всего, могло стать Заречье, где теснились дома бедноты, дровяные склады и деревянные сараи, в которых торговали рабами. Пожары в Риме случались довольно часто, и столь же часто их сопровождали бесчинства и грабежи, особенно в кварталах, населенных бедным людом и варварами, – так что же творилось там, за Тибром, где находился главный очаг голытьбы, пришельцев со всех концов земли? Тут в мозгу Виниция промелькнул образ Урса с его сверхчеловеческой силой, но что мог поделать человек или даже титан со всеуничтожающим пламенем? Вдобавок, был еще страх перед бунтом рабов, этот кошмар, мучивший Рим уже многие годы. Говорили, что сотни тысяч невольников мечтают о

[331] *Ардея* – прибрежный город в 40 км к югу от Рима.

[332] *Бовиллы и Устрин* – городки на Аппиевой дороге близ Рима.

временах Спартака[333] и только ждут удобного часа, чтобы взяться за оружие и восстать против угнетателей, против города. И вот час настал! Возможно, что там, в городе, вместе с пожаром бушует резня, идет бой. Возможно даже, что на город напали преторианцы и убивают по приказу императора. У Виниция волосы поднялись дыбом от ужаса. Он вспомнил разговоры о пожарах, разговоры, которые со странным постоянством велись с недавних пор при императорском дворе, вспомнил сетования Нерона, что ему надо описывать горящий город, а он, мол, никогда не видел настоящего пожара, его презрительный ответ Тигеллину, бравшемуся поджечь Анций или нарочно построенный деревянный город, вспомнил наконец жалобы Нерона на Рим и на зловонные закоулки Субуры. Да, бесспорно, это император приказал сжечь город! Только он один мог решиться на это, и только Тигеллин мог взяться исполнить подобный приказ. Но если Рим горит по воле императора, тогда кто поручится, что и жители не будут перебиты по его воле. Это чудовище способно на все! Стало быть, пожар, бунт рабов и бойня! Какой ужасный хаос, какой разгул губительных инстинктов и человеческой ярости, и среди всего этого – Лигия! Стоны Виниция смешивались с храпом и ржаньем коня, который, скача по дороге в Арицию, все время идущей в гору, бежал уже из последних сил. Кто вырвет ее из пылающего города, кто спасет ее? Тут Виниций, упав плашмя на спину коня, схватил себя за волосы – от неистового горя он готов был кусать хребет коня. Но в эту минуту какой-то всадник, также мчавший как вихрь, но в противоположную сторону, в Анций, пролетая мимо Виниция, крикнул: «Рим гибнет!» – и унесся прочь. До слуха Виниция еще донеслось лишь слово: «боги», остальное заглушил топот копыт. Но слово это отрезвило его. Боги!.. Виниций вдруг поднял голову и, воздев руки к звездному небу, стал молиться: «Я призываю не вас, чьи храмы горят, но тебя! Ведь ты сам страдал. Один ты милосерден! Один ты понимал человеческое горе! Ты пришел в мир, чтобы научить людей жалости, так яви же ее теперь! Если ты таков, как говорят Петр и Павел, тогда спаси Лигию! Возьми ее на руки и вынеси из огня. Ты это можешь! Отдай ее мне, а я отдам тебе свою кровь. Если же ты не захочешь сделать это для меня, сделай для нее. Она тебя любит, на тебя уповает. Ты обещаешь жизнь после смерти и блаженство, но посмертное блаженство не уйдет от нас, а она еще не хочет умирать. Дай ей пожить. Возьми ее на руки и вынеси из Рима. Ты можешь, стоит только тебе захотеть…»

Тут он запнулся, почувствовав, что дальше молитва может перейти в угрозу; он побоялся оскорбить бога в минуту, когда более всего нуждался в его сострадании и милосердии. Сама мысль об этом испугала Виниция, и, чтобы отогнать даже тень угрозы, он снова принялся хлестать коня – стены Арицции, расположенной на полпути к Риму, уже белели перед ним в лунном сиянии. Во весь опор промчался он мимо храма Меркурия, стоявшего в пригородной роще. Здесь, видимо, уже знали о бедствии – возле храма было необычное движение. Пролетая мимо, Виниций заметил на ступенях и между колоннами группы людей с факелами, ищущих защиты в святилище. Дорога тоже не была теперь такой пустынной, как сразу за Ардеей. Множество людей направлялось в рощу боковыми тропинками, но и на главной дороге толпились встревоженные кучки, поспешно расступавшиеся перед неистово скачущим всадником. Из города доносился гул голосов. Виниций бурей ворвался в город, сбил с ног нескольких человек. И сразу его оглушили крики: «Рим горит! Город в огне! Боги, спасите Рим!»

Но вот конь споткнулся и, удерживаемый мощной рукой, осел на задние ноги перед постоялым двором, где Виниций держал другого на смену. Рабы, будто ожидая его приезда, стояли у ворот и, по его приказанию, бросились наперегонки выводить свежую лошадь. А Виниций, заметив отряд из десяти конных преторианцев, видимо, направлявшихся с вестями из города в Анций, подбежал к ним.

– Какая часть города горит? – спросил он.

– Кто ты? – в свою очередь, спросил командир десятки.

– Виниций, военный трибун и августиан! Отвечай, если тебе дорога твоя голова!

– Пожар начался в лавках возле Большого Цирка. Когда нас отправили, в огне был центр города.

[333] *Спартак* – предводитель восстания рабов в 74–71 гг. до н.э.

– А Заречье?

– Туда пламя еще не дошло, но распространяется оно быстро и захватывает все новые участки. Люди погибают от огня и от дыма, спасать невозможно.

В этот миг Виницию подвели нового коня. Молодой трибун вскочил на него и поскакал дальше.

Теперь он направлялся к Альбану, оставляя по правую руку Альбалонгу с ее дивным озером. От Арриции дорога шла под уклон к подошве горы, которая совершенно закрывала горизонт и лежавший по другую сторону Альбан. Но Виниций знал, что, когда он доберется до вершины, то увидит не только Бовиллы и Устрин, где его ждали свежие лошади, но также Рим, – за Альбаном, по обе стороны Аппиевой дороги, расстилалась низменность Кампании, где виднелись лишь тянувшиеся к городу аркады акведуков и уже ничто не заслоняло горизонт.

– С вершины я увижу огонь, – говорил себе Виниций.

И он с новой силой стал хлестать коня.

Но прежде чем он добрался до вершины, его лицо обдал порыв ветра, донесшего запах дыма.

Одновременно на вершину упал золотистый свет.

«Зарево!» – подумал Виниций.

Однако ночная тьма давно уже начала рассеиваться, лунный свет сменили предрассветные сумерки, и на всех окрестных холмах теплились такие же золотисто-розовые отсветы – не то пожара, не то зари. Виниций въехал на вершину, и тут перед ним предстало ужасное зрелище.

Вся местность внизу была покрыта клубами дыма, которые сливались в гигантскую, стелющуюся по земле тучу, скрывшую от глаз селения, акведуки, виллы, деревья, а вдали, за этой страшной серой равниной, горел на холмах город.

Но огонь пожара не взвивался к небу столбом, как бывает, когда горит одно, пусть самое большое здание. Нет, то была длинная, напоминавшая зарю полоса.

А над этой полосой поднимался огромный вал дыма, местами непроглядно черный, местами отливающий розовым и кровавым светом, плотный, выпуклый, густой, клубящийся, похожий на змею, которая то сжимается, то вытягивается. Порой этот чудовищный вал как бы наползал на огненную полосу, и она становилась вроде узкой ленты, а порой она освещала его снизу, и тогда нижние клубы превращались в огненные волны. И полоса огня, и дымный вал тянулись вдоль всего горизонта, закрывая его, как закрывает иногда полоса леса. Сабинских гор[334] вовсе не было видно.

С первого взгляда Виницию показалось, будто пылает не только город, но весь мир, и ни одному живому существу не спастись из этого океана огня и дыма.

Все усиливающийся ветер дул порывами со стороны пожара, неся запах гари и сизую мглу, которая уже заволакивала даже ближние предметы. Вскоре совсем рассвело, солнце озарило вершины холмов, окружающих Альбанское озеро. Но из-за дымной мглы утренний свет был какой-то рыжеватый, болезненный. Спускаясь к Альбану, Виниций погружался в пелену все более густого, все менее прозрачного дыма. Само селение целиком тонуло в нем. Испуганные жители высыпали на улицы, страшно было подумать о том, что творится в Риме, если уже здесь было трудно дышать.

И снова отчаяние охватило Виниция, волосы на голове у него зашевелились от ужаса. Но он изо всех сил старался себя ободрить. «Не может быть, – думал он, – чтобы весь город загорелся одновременно. Ветер дует с севера, он гонит весь дым только в эту сторону. С другой стороны города нет дыма. Заречье, отделенное рекою, возможно, и вовсе не задето, и во всяком случае Урсу довольно будет выйти вместе с Лигией через Яникульские ворота, чтобы уйти от опасности. И конечно же, не может того быть, чтобы погибло все население и чтобы город, владеющий миром, был стерт с лица земли вместе со всеми своими обитателями. Даже в завоеванных городах, где победители режут и жгут, всегда остается в живых некоторое число жителей, так почему же должна непременно погибнуть Лигия? Ведь ее охраняет бог, который сам победил смерть!» С такими

[334] *Сабинские горы* – горный хребет к северо-востоку от Рима.

мыслями Виниций снова начал молиться и, по усвоенному им обычаю, давать обеты Христу и сулить всяческие дары и жертвы. Промчавшись по Альбану, где почти все жители взобрались на кровли да на деревья, чтобы смотреть на горящий Рим, он немного успокоился и стал рассуждать хладнокровнее. Он подумал, что Лигию охраняют не только Урс и Лин, но также апостол Петр. И от одной этой мысли у него полегчало на сердце. Петр всегда казался ему непостижимым, чуть ли не сверхъестественным существом. С той поры, как он слушал Петра в Остриане, у Виниция осталось странное впечатление, о чем он писал Лигии в первые дни своего пребывания в Анции: он был убежден, что каждое слово старца истинно или должно стать истинным. Более близкое знакомство с апостолом во время болезни лишь укрепило это впечатление, став затем неколебимой верой. Но раз Петр благословил его любовь и обещал ему Лигию, значит, Лигия не может погибнуть в огне. Город, разумеется, может сгореть, но ни одна искра пожара не упадет на ее платье. Бессонная ночь, бешеная скачка и тревога привели Виниция в состояние странной экзальтации, в котором все казалось возможным: Петр сделает над огнем крестное знамение, от одного его слова огонь расступится, и они пройдут невредимыми по огненной аллее. Петру, кроме того, ведомо грядущее, он, конечно, предвидел и этот злосчастный пожар, так мог ли он не предупредить и не вывести из города христиан, а с ними и Лигию, которую он любит как родное дитя. И надежда все живее разгоралась в душе Виниция. Ему подумалось, что, если они бежали из города, он, возможно, встретит их в Бовиллах или на дороге. Быть может, лицо любимой вот-вот покажется средь этого дыма, все шире расстилающегося по равнине Кампании.

Это казалось тем более вероятным, что на дороге встречалось все больше людей, покинувших город и направлявшихся к Альбанской горе, чтобы, спасшись от огня, уйти также от дыма. Еще не доехав до Устрина, пришлось замедлить бег коня – дорога была забита людьми. Одни шли пешком, таща свои пожитки на спине, другие вели навьюченных лошадей, мулов, ехали в повозках, груженных всяким добром, встречались и носилки, в которых рабы несли граждан побогаче. Устрин настолько был наводнен бежавшими из Рима, что сквозь толпу трудно было протиснуться. На рынке, в колоннадах храмов и на улицах кишмя кишели спасшиеся от пожара. Тут и там уже разбивали шатры, которые должны были стать приютом для целых семей. Другие располагались под открытым небом, громко кричали, призывая богов или проклиная судьбу. В этой сумятице и разузнать что-нибудь было непросто. Те, к кому обращался Виниций, либо вовсе ему не отвечали, либо глядели на него безумными от ужаса глазами и говорили, что гибнут город и мир. Со стороны Рима ежеминутно прибывали все новые толпы, шли мужчины, женщины, дети, отчего смятение и гам все усиливались. Одни, потеряв своих в толпе, исступленно их искали. Другие дрались за место для привала. Ватаги полудиких пастухов из Кампании нахлынули в городок, надеясь узнать новости да поживиться в суматохе чужим добром. Тут и там разноплеменные толпы рабов и гладиаторов уже начали грабить дома и виллы, вступая в драку с защищавшими жителей солдатами.

Сенатор Юний, которого Виниций увидел возле постоялого двора с целой гурьбой рабов-батавов[335], первый сообщил подробнее о пожаре. Огонь действительно вспыхнул возле Большого Цирка, между Палатином и Целием, но стал распространяться с непонятной быстротой, и вскоре охватил всю середину города. Еще никогда со времен Бренна[336] не постигало город столь ужасное бедствие.

– Цирк сгорел дотла, а также лавки и дома вокруг него, – рассказывал Юний, – Авентин и Целий в огне. Пламя окружило Палатин и добралось до Карин…

Тут Юний, у которого в Каринах были роскошный дом со множеством дорогих его сердцу произведений искусства, зачерпнул пригоршню дорожной пыли и, посыпав ею голову, в отчаянии застонал.

– Мой дом тоже в Каринах, – сказал Виниций, с негодованием схватив его за плечи, – но раз

[335] *Батавы* – германское племя, обитавшее на левом берегу Рейна в его нижнем течении.

[336] Бренн предводительствовал галлами, которые в 390 или 387 г. до н.э. захватили и сожгли Рим.

гибнет все, пусть и он пропадает. – И, вспомнив, что Лигия могла послушаться его совета и переселиться в дом Авла, спросил: – А как улица Патрициев?

– В огне, – отвечал Юний.

– А Заречье?

Юний посмотрел на него с удивлением.

– Чего о нем тревожиться? – сказал он, сжимая руками ноющие виски.

– Для меня Заречье важнее, чем весь Рим, – с жаром воскликнул Виниций.

– Так к нему ты, пожалуй, сможешь пробраться по Портовой дороге, а ближе к Авентину задохнешься от жара. Заречье?.. Не знаю… Вероятно, туда огонь еще не мог дойти, но не дошел ли в действительности, о том знают лишь боги. – Тут Юний запнулся, словно охваченный колебанием, затем продолжал: – Знаю, ты меня не предашь, и потому скажу тебе, что пожар этот – необычный. Спасать Цирк не разрешали. Я сам слышал. Когда запылали дома вокруг него, тысячи голосов кричали: «Смерть спасающим!» Какие-то люди бегают по городу и швыряют в дома горящие факелы. Вдобавок народ волнуется, люди кричат, что город подожгли по приказу. Ничего больше не скажу. Горе городу, горе нам всем и горе мне! Что там творится, для этого нет слов в языке человеческом. Люди гибнут в огне, давят один другого в толчее… Риму конец!

И он снова стал повторять: «Горе! Горе городу и нам!» – но Виниций уже был на коне и скакал дальше по Аппиевой дороге.

Теперь, однако, ему приходилось пробиваться в потоке людей и повозок, двигавшемся навстречу, из города. А город был перед Винициem весь как на ладони, объятый чудовищным пожаром. От бушующего огня и дыма шел нестерпимый зной, и вопли людей не могли заглушить шипенья и рева пламени.

Глава XLIII

Чем ближе подъезжал Виниций к городской стене, тем яснее становилось ему, что доехать до Рима было легче, чем пробраться в середину города. По Аппиевой дороге он продвигался с трудом из-за густого встречного потока. Дома, поля, кладбища, сады и храмы по обе ее стороны превратились в лагери беженцев. В храме Марса, стоявшем у самых Аппиевых ворот, толпа выбила двери, чтобы найти себе внутри приют на ночь. На кладбищах захватывали склепы побольше, из-за них вступали в драки, иногда кровопролитные. Смятение в Устрине было всего лишь скромным предвестьем того, что делалось у стен самого города. Исчезло уважение к законам, к властям, к родственным узам, к высшим сословиям. Там можно было увидеть рабов, колотивших палками римских граждан. Опьяневшие от награбленного на Торговой пристани вина гладиаторы, соединясь в большие ватаги, носились с дикими воплями по обе стороны дороги, разгоняя людей, избивая и грабя. Множество варваров, привезенных в город на продажу, сбежали из сараев, где были заперты. Пожар и гибель города были для них концом их рабства и часом мести – и в то время как жители Рима, терявшие в огне все свое достояние, воздевали руки к небесам и молили о спасении, варвары с ликующим воем врывались в толпы, сдирая у людей одежды с плеч и хватая молодых женщин. К ним присоединялись рабы, прослужившие в Риме уже много лет, бедняки, не имевшие иной одежды, кроме шерстяной набедренной повязки, какие-то вылезшие из закоулков жуткие личности, которых никогда не видно было на улицах днем и существование которых в Риме трудно было предположить. Эта толпа, состоявшая из азиатов, африканцев, греков, фракийцев, германцев и бриттов, вопившая на всех языках, какие есть на земле, толпа дикая и разнузданная, бесчинствовала, полагая, что настал миг, когда ей можно вознаградить себя за годы страданий и нищеты. Среди бушующих этих полчищ при свете дня и пожара мелькали шлемы преторианцев, чьей защиты искали люди более мирные, и во многих местах им приходилось с ходу вступать в сражение с разъяренными толпами насильников. Виниций повидал на своем веку немало завоеванных городов, но еще никогда глазам его не представало подобное зрелище, в котором отчаяние, слезы, боль, стоны, дикая радость, безумие, бешенство и разнузданность смешивались воедино, создавая немыслимый хаос. А над этой колышущейся, исступленной толпой ревел пожар, пылал на семи холмах величайший город мира, обдавая мятущихся людей пламенным дыханием и

накрывая дымом, за которым уже не видно было голубого неба. С нечеловеческим напряжением, ежеминутно рискуя жизнью, молодой трибун пробился наконец к Аппиевым воротам, но тут он понял, что, двигаясь к Капенским воротам, ему в центр города не пробраться не только из-за толчеи, но также из-за невероятного жара, от которого тут, за воротами, стояло в воздухе дрожащее марево. Моста у Тригеминских ворот[337], против храма Доброй Богини[338], тогда еще не было, и, чтобы добраться на другой берег Тибра, надо было пробиться к Свайному мосту, то есть проехать возле Авентина, через участок города, залитый сплошным морем пламени. Это было совершенно невозможно. Виниций понял, что ему придется поехать назад по направлению к Устрину, затем свернуть с Аппиевой дороги, пересечь реку ниже города и выехать на Портовую дорогу, которая вела прямо в Заречье. Это тоже было нелегко, так как давка на Аппиевой дороге все увеличивалась. Дорогу надо было себе прокладывать силой, тут сгодился бы меч, но Виниций был безоружен, он выехал из Анция как стоял, когда весть о пожаре застала его в императорском дворце. Однако возле Меркуриева источника[339] он увидел знакомого центуриона преторианцев, который, командуя несколькими десятками солдат, защищал от натиска толпы храм; Виниций приказал ему следовать за собою, а тот, узнав в нем трибуна и августиана, не посмел воспротивиться.

Виниций сам стал во главе отряда и, позабыв в эти минуты поучения Павла о любви к ближнему, пробивался вперед, разгоняя перед собою толпу с ожесточением, принесшим гибель многим, кто не успел вовремя отбежать. Вслед ему и его отряду сыпались проклятия и град камней, но он не обращал на это внимания, торопясь выбраться в более свободные места. Двигаться вперед можно было только ценою неимоверных усилий. Люди, уже расположившиеся лагерем, не желали освобождать дорогу солдатам и громко проклинали императора и преторианцев. В некоторых местах толпа вела себя угрожающе. До слуха Виниция долетали фразы с обвинениями Нерона в поджоге. Раздавались открытые угрозы убить его и Поппею. Возгласы: «Sannio!», «Histrio!»[340], «Матереубийца!» – то и дело раздавались вокруг. Одни кричали, что надо его бросить в Тибр, другие – что Рим уже достаточно терпел. Угрозы явно могли перейти в прямой бунт, который, если бы нашелся предводитель, мог вспыхнуть в любую минуту. А покамест ярость и отчаяние толпы обрушивались на преторианцев, которым мешало двигаться еще и то, что дорогу загромождали груды вынесенных наспех из огня вещей: сундуки и бочки с провизией, ценная утварь, сосуды, детские колыбели, постельные принадлежности, повозки, тюки. Местами дело доходило до стычек, однако преторианцы живо расправлялись с безоружною толпой. Пересекши с трудом дороги Латинскую, Нумицийскую, Ардейскую, Лавинийскую и Остийскую, огибая виллы, сады, кладбища и храмы, Виниций наконец добрался до селения вдоль Александрийской улицы, за которым был мост через Тибр. Там стало уже посвободнее и дыма было меньше. От беглецов, которых и здесь встречалось немало, он узнал, что за Тибром только некоторые улицы охвачены пожаром, но что перед силой огня, наверное, ничто не устоит, ибо всюду снуют люди, которые нарочно поджигают да еще не разрешают спасать и кричат, что делают это по приказу. Теперь у молодого трибуна не оставалось и тени сомнения, что поджечь Рим действительно велел император, и месть, о которой кричала толпа, показалась ему делом законным и справедливым. Мог ли совершить худшее Митридат[341] или кто-либо из самых заклятых врагов Рима? Все границы были перейдены, безумие стало слишком чудовищным, а жизнь человеческая под его властью – невыносимой. У Виниция появилось убеждение, что час Нерона пробил, что эти обломки, на которые рассыпается город, должны раздавить страшного шута со всеми его злодействами. Найдись достаточно смелый

[337] *Тригеминские ворота* – у южного склона Авентина.

[338] *Добрая Богиня* – древнее римское божество плодородия и изобилия.

[339] *Меркуриев источник* – на Аппиевой дороге перед Капенскими воротами.

[340] «Шут!», «Актер!» *(лат.)*

[341] Имеется в виду *Митридат VI Евпатор*, царь (111–63 до н.э.) Понта (государство на юго-восточном побережье Черного моря), упорнейший враг Рима.

человек, чтобы возглавить доведенный до отчаяния народ, все могло бы свершиться в несколько часов. Тут в уме Виниция замелькали дерзкие и мстительные мысли. А что, если это сделает он? Дом Винициев, который дал множество консулов и в древности, и в недавние времена, был известен во всем Риме. Толпе нужно только имя. Ведь однажды из-за смертного приговора четыремстам рабам префекта Педания Секунда едва не вспыхнули мятеж и гражданская война, так что бы произошло теперь, при этом страшном бедствии, превзошедшем почти все бедствия, какие довелось испытать Риму на протяжении восьми веков. Кто призовет к оружию квиритов, размышлял Виниций, тот безусловно сумеет свергнуть Нерона и сам наденет императорский пурпур. Так почему бы этого не сделать ему? Он сильнее, деятельнее и моложе прочих августиан. Правда, Нерон повелевает тридцатью легионами, стоящими на границах государства, но разве эти легионы и их командиры не возмутятся, узнав о поджоге Рима и его храмов? В таком случае он, Виниций, мог бы стать императором. Шептались ведь меж собой августианы, что какой-то прорицатель предсказал пурпурную мантию Отону. А он, Виниций, чем хуже? Может быть, и Христос поддержал бы его своим божественным всемогуществом, а может, и мысли эти им посланы? «О, если б так было!» – взывал в душе Виниций. Тогда он отомстил бы Нерону за нависшую над Лигией опасность и за свою тревогу, он сделал бы так, чтобы повсюду царили справедливость и истина, он распространил бы учение Христово от Евфрата до туманных берегов Британии и надел бы на Лигию пурпур, сделал бы ее владычицей мира.

Но эти мысли, вдруг вспыхнув в его мозгу, как вырвавшийся из горящего дома сноп искр, тут же, как искры, и погасли. Прежде всего надо было спасать Лигию. Теперь он наблюдал весь этот ужас вблизи, и его снова охватил страх – при виде моря огня и дыма, столкнувшись с жестокой действительностью, он почувствовал, что от прежней его веры в то, что апостол Петр спасет Лигию, ничего не осталось. И во второй раз объяло его отчаяние, и, выбравшись на Портовую дорогу, ведущую прямо в Заречье, он пришел в себя, только оказавшись у ворот, где ему повторили то, что он уже слышал от бегущих из города, – что большая часть Заречья еще не затронута пожаром, хотя в нескольких местах огонь перекинулся через реку.

Однако и Заречье было все в дыму, и улицы так же были запружены толпами, пробиться сквозь которые было еще труднее, так как здешние жители, имея больше времени, выносили из домов больше вещей. Портовая дорога во многих местах была совершенно загромождена этим скарбом, и возле Навмахии Августа[342] высились целые горы его. А узкие улочки, где к тому же дым ложился гуще, были и вовсе непроходимы. Оттуда валом валили тысячи жителей. По дороге Виниций видел страшные сцены. Кое-где два человеческих потока, двигавшиеся с противоположных сторон, встречались в тесном проходе и, напирая один на другой, затевали смертоубийственное сражение. Люди дрались ожесточенно, топтали упавших. В суматохе многие теряли близких, матери отчаянными криками звали детей. У Виниция волосы становились дыбом при мысли о том, что должно твориться ближе к огню. Среди гама и грохота невозможно было о чем-либо спросить, понять, что кричат. То и дело из-за реки надвигались новые громады черного дыма, такого тяжелого, что они стелились у самой земли, подобно ночному мраку скрывая дома, людей и все предметы. Но временами порожденный пожаром ветер рассеивал дым, и тогда Винициюудавалось продвинуться по направлению к улочке, на которой стоял дом Лина. Июльский дневной зной, усиленный пышущим от горящих участков жаром, становился невыносим. Дым разъедал глаза, дышать было нечем. Теперь даже те жители, которые, надеясь, что огонь не перейдет через реку, оставались в домах, тоже высыпали на улицы, и толпа час от часу росла. Сопровождавшие Виниция преторианцы отстали. В толчее кто-то ударил молотом его коня, и тот, дергая окровавленной головой, взвиваясь на дыбы, перестал слушаться всадника. По богатой тунике Виниция в нем узнали августиана, вокруг послышались выкрики: «Смерть Нерону и его поджигателям!» Положение было чрезвычайно опасным, сотни рук протянулись к Винициюю, но напуганный конь, топча людей, рванулся вперед, и тут же нахлынула новая волна черного дыма, погрузившая улицу в

[342] *Навмахия Августа* – искусственное озеро за Тибром, устроенное по приказу Августа для показа морского сражения.

темноту. Убедившись, что верхом ему не проехать, Виниций соскочил с коня и дальше побежал, то прижимаясь к стенам, то выжидая, пока очередная толпа беглецов пройдет мимо. Он говорил себе, что все его усилия напрасны, – Лигии, возможно, уже нет в городе, она в эту минуту, скорее всего, спасается бегством, и легче было бы найти иголку в стоге сена, чем ее в этой толчее и сумятице. И все же он хотел во что бы то ни стало добраться до дома Лина. Приходилось поминутно останавливаться и протирать глаза. Оторвав край туники, Виниций закрыл им нос и рот и побежал дальше.

Чем ближе подходил он к реке, тем становилось жарче. Зная, что пожар начался возле Большого Цирка, Виниций сперва думал, что жар идет оттуда, а также от Бычьего форума и Велабра, находившихся поблизости от Цирка и, вероятно, также охваченных огнем. Но жар становился нестерпимым. Кто-то из бегущих, последний, кого видел Виниций, какой-то старик на костылях, крикнул ему: «Не подходи к мосту Цестия! Весь остров в огне!»[343] Обманывать себя долее было невозможно. У поворота на Иудейскую улицу, где стоял дом Лина, молодой трибун увидел среди дымовой тучи пламя: горел не только остров, но и Заречье, во всяком случае, горел другой конец небольшой улицы, на которой жила Лигия.

Виниций, однако, помнил, что дом Лина окружен садом, позади которого простирается в сторону Тибра не слишком большой незастроенный участок. Эта мысль ободрила его – у пустыря огонь мог задержаться. Окрыленный надеждою, он продолжал бежать вперед, хотя каждый порыв ветра приносил уже не только дым, но и мириады искр, от которых мог вспыхнуть пожар в другом конце улочки и отрезать путь.

Наконец сквозь дымовую пелену Виниций разглядел кипарисы в саду Лина. Дома на другом краю незастроенного участка уже полыхали как поленницы дров, но домик Лина стоял, еще не затронутый огнем. Виниций с благодарностью взглянул на небо и поспешил к дому, хотя сам воздух уже обжигал. Ворота были прикрыты, Виниций сильным толчком распахнул их и вбежал в сад.

Там не было ни души, и казалось, что дом также безлюден.

«Может, все они потеряли сознание от дыма и жара», – подумал Виниций.

– Лигия! Лигия! – позвал он.

Ответа не было, лишь слышалось вдали гуденье полыхающего огня.

– Лигия!

Внезапно до его слуха донеслись зловещие звуки, которые ему уже довелось однажды слышать в этом саду. На острове, видимо, загорелся виварий, расположенный вблизи храма Эскулапа, – и всевозможные звери, среди них и львы, в испуге завыли, зарычали. Дрожь пробежала по телу Виниция. Вот уже второй раз в минуту, когда все его существо было сосредоточено на мыслях о Лигии, жуткие эти голоса звучали как предвестье беды, как странное пророчество грядущего несчастья.

Но то было беглое, мимолетное впечатление – гул пожара, еще более страшный, чем вой зверей, властно понуждал думать о другом. Да, Лигия не отвечала на зов, но все же она, возможно, находится в этом доме, которому грозит огонь, – вдруг у нее обморок или удушье? Виниций вбежал в дом. В небольшом атрии было пусто и от дыма темно. Ища на ощупь входы в кубикулы, Виниций заметил мерцающий язычок лампадки и, подойдя поближе, увидел ларарий, в котором вместо ларов был крест. У основания креста горела масляная лампадка. В мозгу молодого «оглашенного»[344] молнией промелькнула мысль, что этот крест посылает ему огонек, при свете которого он сможет найти Лигию, – он взял лампадку и отправился искать кубикулы. Найдя вход в один из них, Виниций отодвинул завесу и принялся осматривать помещение.

Но и тут никого не было. И все же Виниций был убежден, что это кубикул Лигии, – на вбитых в стену гвоздях висела ее одежда, а на постели лежал капитий, узкий корсаж, который женщины надевали прямо на тело. Виниций схватил его, прижал к губам и, перекинув капитий через

[343] Т.н. остров *Эскулапа* на Тибре против Капитолия; остров, на котором находился храм Эскулапа, соединяется с берегами Тибра мостами Фабриция и Цестия, сохранившимися до нашего времени.

[344] *Оглашенный* – человек, приготовляющийся к принятию крещения.

плечо, продолжал поиски. Дом был невелик, так что он в короткое время сумел обойти все комнаты и даже подвал. Нигде не было ни души. Можно было не сомневаться, что Лигия, Лин и Урс вместе с прочими обитателями квартала, ища спасенья от пожара, бежали. «Надо их искать в толпе беглецов, за городскими воротами», – решил Виниций.

То, что он не встретил их на Портовой дороге, не слишком его удивило – они ведь могли выйти из Заречья с противоположной стороны, по направлению к Ватиканскому холму[345]. Во всяком случае, от огня они спаслись. У Виниция будто камень свалился с сердца. Хотя он видел, с какими страшными опасностями сопряжено бегство, мысль о сверхчеловеческой силе Урса придавала ему надежду. «Теперь мне надо, – говорил он себе, – бежать отсюда и через сады Домициев добраться до садов Агриппины. Там я их найду. Дым там не страшен, потому что ветер дует с Сабинских гор».

И действительно, было самое время подумать о собственном спасении – волна огня со стороны острова приближалась, и клубы дыма почти совершенно затопили улочку. Лампадка, светившая ему в доме, погасла от сильного ветра. Выйдя на улицу, Виниций что было сил побежал к Портовой дороге, то есть в ту сторону, откуда пришел, и пожар, казалось, подгонял его своим огненным дыханием, то окружая новыми тучами дыма, то осыпая искрами, падавшими на волосы, на шею, на одежду. Туника Виниция начала тлеть в нескольких местах, но он, не обращая внимания, бежал дальше, опасаясь, что может задохнуться от дыма. Во рту был противный привкус горелого и сажи, в горле и в легких будто огнем жгло. Кровь приливала к голове так сильно, что временами Винициюказалось все красным, даже дым. Тогда он говорил себе: «Огонь уже здесь! Тогда лучше мне упасть на землю и умереть». Бежать становилось все мучительней. Голова, шея, спина были облиты потом, и пот этот обжигал как кипяток. Если бы не имя Лигии, которое Виниций мысленно все время повторял, и не ее капитий, которым он замотал себе рот, он бы свалился. Вскоре он перестал узнавать улочку, по которой бежал, – сознание мутилось все сильнее, он помнил лишь, что должен бежать, потому что там, на открытом поле, его ждет Лигия, которую ему пообещал апостол Петр. И вдруг у него появилась странная, полубредовая уверенность, что он ее увидит, женится, а потом сразу же умрет.

Но теперь он бежал уже как пьяный, делая зигзаги от одной стороны улицы к другой. Между тем в чудовищном костре, полыхавшем над огромным городом, что-то изменилось. Очевидно, все, что до сих пор только тлело, вспыхнуло сплошным морем яркого пламени – ветер уже не пригонял клубы дыма, а дым, скопившийся в улочках, разогнали яростные шквалы раскаленного воздуха. Теперь они гнали сверкающие потоки искр, так что Виниций бежал как бы в огненном облаке. Зато он лучше видел дорогу и в тот миг, когда уже готов был повалиться наземь, он разглядел конец улицы. Это снова придало ему сил. Миновав угол, он очутился на улице, выходившей на Портовую дорогу и на Кодетанское поле[346]. Искры перестали гнаться за ним. Он понял, что если добежит до Портовой дороги, то уцелеет, даже если доведется упасть на ней без сознания.

В конце улицы он опять увидел что-то вроде тучи, закрывавшей проход. «Если это дым, – подумал он, – мне уже не пройти». Он бежал из последних сил. На бегу сбросил с себя тунику, которая, тлея от искр, жгла его, подобно плащу Несса[347], и теперь мчался голый, лишь на голове, прикрывая рот, был намотан капитий Лигии. Приблизившись, Виниций разглядел, что то, что он принял за дым, было тучей пыли, из которой вдобавок слышался гул голосов и выкрики.

– Чернь грабит дома, – сказал себе Виниций.

Все же он побежал в направлении голосов. Как-никак там были люди, которые могли оказать

[345] *Ватиканский холм* – за Тибром, к северо-западу от города.

[346] *Кодетанское поле* – за Тибром у Ватиканского холма.

[347] Согласно мифу, *кентавр Несс*, известный своим коварством, покусился на жену Геракла Деяниру и был им убит. Желая отомстить Гераклу, Несс перед смертью предложил Деянире свою кровь, которая якобы поможет ей сохранить любовь Геракла. Впоследствии Деянира воспользовалась советом Несса и пропитала его кровью хитон Геракла. Кровь Несса со временем превратилась в яд, и Геракл претерпел страшные мучения, приведшие его к смерти.

ему помощь. С этой надеждой он, даже еще не добежав, стал кричать во всю мочь, моля о помощи. Но то было его последнее усилие – в глазах все залило красным светом, легким не хватило воздуха, мышцам – сил, и он упал.

Однако его услышали, вернее, заметили, и двое работников поспешили на помощь с кувшинами воды. Виниций, свалившийся от изнеможения, но не потерявший сознания, обеими руками схватил сосуд и выпил сразу полкувшина.

– Благодарю, – сказал он, – поставьте меня на ноги, а потом я пойду сам.

Второй работник облил ему водою голову, затем оба не только поставили его на ноги, но подняли и понесли к толпе других людей, которые сразу его окружили и заботливо стали ощупывать, проверяя, не слишком ли он пострадал от огня. Эта заботливость удивила Виниция.

– Кто вы такие? Что тут делаете? – спросил он.

– Мы разрушаем дома, чтобы пожар не добрался до Портовой дороги, – отвечал один из работников.

– Вы мне помогли, когда я свалился без сил. Благодарствуйте.

– Мы не можем отказать человеку в помощи, – раздалось сразу несколько голосов.

Тут Виниций, который с утра насмотрелся на бесчинствующие толпы, на драки и грабежи, внимательным взором обвел окружавшие его лица.

– Да вознаградит вас… Христос! – сказал он.

– Слава имени его! – хором ответили ему.

– Лин?.. – начал Виниций.

Но продолжить ему не удалось, и ответа он не услышал, так как от волнения и чрезмерного напряжения лишился чувств. Очнулся он уже на Кодетанском поле, в саду. Вокруг него стояло несколько женщин и мужчин, и первыми словами, которые он сумел произнести, было:

– Где Лин?

Ответили ему не сразу, но вот чей-то знакомый голос вдруг сказал:

– Он за Номентанскими воротами, он ушел в Остриан… еще третьего дня… Мир тебе, персидский царь!

Увидев склонившегося над ним Хилона, Виниций приподнялся и сел.

– Твой дом, господин, – говорил грек, – наверняка сгорел, потому что Карины охвачены огнем, но ты все равно будешь всегда богат, как Мидас[348]. О, какое бедствие! Христиане, сыны Сераписа, давно предсказывали, что огонь уничтожит этот город. Но Лин вместе с дочерью Юпитера находится в Остриане. О, какое бедствие обрушилось на этот город!

Виниций снова почувствовал дурноту.

– Ты их видел? – спросил он.

– Видел, господин! Благодарение Христу и всем богам, что я могу отплатить тебе доброй вестью за твои благодеяния. Но я тебе, Осирис, еще иначе отплачу, клянусь этим пылающим Римом!

Наступил вечер, однако в саду было светло как днем, потому что пожар полыхал еще ярче. Казалось, горят уже не отдельные кварталы, но весь город во всю длину его и ширину. Небо было залито красным светом, и на землю спускалась багровая ночь.

Глава XLIV

Зарево пылающего города освещало небосвод по всей его окружности. Из-за холмов выкатилась большая полная луна, которая сразу же раскалилась докрасна и, приобретя цвет расплавленной меди, казалось, взирает с изумлением на гибнущий город, владыку мира. В алых безднах небес светились алые звезды, но в отличие от обычных ночей на земле было светлее, чем на небе. Подобно гигантскому костру, Рим освещал всю Кампанию.[349] При кровавом этом зареве были

[348] *Мидас*, мифический царь Фригии, получил от Диониса способность превращать в золото все, к чему ни прикоснется.

[349] Неточность. Пожар Рима мог быть хорошо виден в самом Лации, но не в Кампании, отстоявшей от Рима как ми-

видны дальние холмы, селения, виллы, храмы, памятники и акведуки, сбегающие со всех окрестных гор к городу, а на акведуках – скопления людей, забравшихся туда ради безопасности и чтобы наблюдать пожар.

Тем временем бушующая стихия захватывала все новые участки. Не могло быть сомнений, что чьи-то преступные руки поджигают город, так как новые очаги пожара вспыхивали в местах, расположенных далеко от главного его очага. С холмов, на которых располагался Рим, потоки пламени стекали, наподобие волн морских, в долины, густо застроенные пяти– и шестиэтажными домами, множеством сараев, лавок, деревянных передвижных амфитеатров, сооруженных наспех для различных зрелищ, и, наконец, складов с дровами, оливковым маслом, зерном, орехами, шишками пиний, семенами которых питался бедный люд, с одеждой, которую по велению милостивых императоров раздавали голытьбе, гнездившейся в закоулках города. Там было обилие горючих материалов, гулкие взрывы следовали один за другим, и пожар с невиданной быстротой охватывал целые улицы. Расположившиеся за городскою стеной и забравшиеся на акведуки горожане угадывали по цвету пламени, что горит. Неистовые порывы горячего ветра то и дело приносили из огненной пучины мириады раскаленных ореховых и миндальных скорлупок, взвивавшихся роями сверкающих бабочек, – с треском лопались они в воздухе или, гонимые ветром, сыпались вниз на новые, еще не загоревшиеся участки, на акведуки и окружавшие город поля. Казалось, о спасении нечего и думать – смятение все возрастало, так как жители города бежали из всех ворот за его пределы, а навстречу горожанам шли привлеченные пожаром тысячи людей из окрестностей, жители небольших селений, а также крестьяне и полудикие пастухи из Кампании, соблазняемые надеждой на безнаказанный грабеж.

Возглас «Рим гибнет» не смолкал в устах толпы – а гибель города представлялась в те времена также концом его господства и разрешением всех уз, связывавших доселе народ в единое целое. Скопища черни, в большинстве состоявшей из рабов и чужестранцев, для которых владычество Рима ничуть не было дорого, а переворот мог быть лишь освобождением от гнета, приобретали то тут, то там угрожающий вид. Насилие и грабежи распространялись безудержно. Можно было подумать, что единственно лишь зрелище гибнущего города, приковывая к себе внимание, сдерживает взрыв буйства, которое развернется во всю силу, как только город превратится в пепелище. Сотни тысяч рабов, позабыв о том, что Рим – это не только храмы и стены, но еще и десятки легионов во всех концах мира, казалось, ждали только клича и вождя. Поминали имя Спартака – но Спартака не было, зато римские граждане стали объединяться и вооружаться кто чем мог. Самые фантастические слухи кружили у городских ворот. Некоторые уверяли, что это Вулкан, по велению Юпитера, уничтожает город исходящим из земли огнем; другие – что это месть Весты за весталку Рубрию. Убежденные в этом люди даже не пытались что-либо спасать, но, осаждая храмы, возносили богам мольбы о милосердии. Впрочем, наиболее стойким был слух, что сжечь Рим приказал император, желая избавиться от зловония, доносящегося с Субуры, и построить новый город, назвав его Нерония. При этой мысли ярость обуревала людей, и если бы, как о том думал Виниций, нашелся вождь, желающий воспользоваться взрывом ненависти народной, час Нерона пробил бы на несколько лет ранее.

Говорили также, что император сошел с ума, что он приказал преторианцам и гладиаторам нападать на горожан и учинить повальную бойню. Иные клялись всеми богами, что по распоряжению Меднобородого из виварiев выпустили зверей. На улицах и впрямь видели львов с пылающими гривами, обезумевших слонов и туров, которые мчали целыми стадами, топча людей. В слухах этих была доля правды – кое-где слоны, чуя приближающийся огонь, разбили виварии и, очутившись на воле, в неистовом страхе кинулись прочь от надвигающегося пожара, сметая, подобно урагану, все на своем пути. Из уст в уста передавалась весть, что в огне уже погибли десятки тысяч человек. И действительно, число жертв было огромно. Некоторые, лишившись всего имущества или дорогих сердцу существ, в отчаянии сами бросались в огонь, другие задохлись от дыма. В центре города, между Капитолием с одной стороны и Квириналом, Виминалом и Эскви-

нимум на 140 км.

лином с другой, а также между Палатином и Целием, где пролегали наиболее густо застроенные улицы, пожар вспыхивал сразу в стольких местах, что толпы бегущих от огня неожиданно натыкались на другой огненный вал, двигавшийся им навстречу, и погибали мучительной смертью в пламенной пучине.

Ужас, смятение, безумие овладели людьми, не знавшими, куда бежать. Дороги были загромождены домашним скарбом, а где улицы были поуже, там вообще было невозможно пройти. Искавшие прибежища на рынке и площадях – там, где впоследствии был сооружен амфитеатр Флавиев[350], возле храма Земли, возле портика Ливии[351] и выше – у храмов Юноны и Луцины[352], а также меж склоном Вибрия и древними Эсквилинскими воротами – оказались окружены морем огня и погибли от жара. В тех местах, куда огонь не добрался, позже нашли сотни испекшихся, обуглившихся тел, хотя эти несчастные пытались защититься от огня, выламывая каменные плиты и зарываясь по пояс в землю. Вряд ли нашлась бы хоть одна семья из живших в центре города, все члены которой уцелели бы, поэтому у городских стен и ворот, на всех дорогах раздавались горестные вопли женщин, выкликавших дорогие имена погибших в давке или в огне.

И в то время как одни молили богов о милосердии, другие кощунственно проклинали их за ужасное бедствие. Можно было увидеть стариков, простиравших руки к храму Юпитера Избавителя с возгласами: «Ты же избавитель, так спаси свой алтарь и город!» Гневное отчаяние обращалось главным образом против древних римских богов, которые, по мнению римлян, были обязаны усерднее прочих охранять город. Очи оказались бессильными, и за это их упрекали. Зато когда на Ослиной дороге показалась процессия египетских жрецов, везших статую Исиды, спасенную из храма в окрестностях Целимонтанских ворот, толпа смешалась с шествием, люди впряглись в повозку, провезли ее до самых Аппиевых ворот и, завладев статуей, водрузили ее в храме Марса, оттеснив жрецов этого бога, посмевших сопротивляться. В других местах взывали к Серапису, Ваалу или Иегове[353], приверженцы которого, высыпав из закоулков Субуры и Заречья, оглашали воплями и мольбами прилегавшие к городским стенам пустыри. В их криках звучали, однако, нотки торжества, и, когда часть горожан присоединилась к хору голосов, славивших «Владыку мира», другая часть, возмущаясь этими проявлениями радости, пыталась силой заглушить их. Здесь и там слышались странные, торжественные песнопения – пели мужчины в расцвете сил, старики, женщины и дети, но смысл гимнов был непонятен, только повторялись то и дело слова: «Се грядет судия в день гнева и бедствия». Мятущиеся, не знающие сна волны людские окружали горящий город, подобно бушующему морю.

Но ничто не приносило спасения – ни отчаянье, ни кощунства, ни пенье гимнов. Гибель надвигалась упорно, беспощадно, неотвратимо, как рок. Возле театра Помпея загорелись склады пеньки и канатов, большие количества которых держались в запасе для цирков, арен и всевозможных употреблявшихся при играх машин; запылали и соседние строения, где хранились бочки со смолою для пропитывания канатов. Несколько часов кряду эта часть города, за которою лежало Марсово поле, озарялась таким ярким светло-желтым светом, что обезумевшим от ужаса горожанам некоторое время казалось, будто при вселенской этой катастрофе нарушилось также чередование дня и ночи и они видят свет солнца. Но затем сплошное кроваво-алое зарево вытеснило все другие краски. Из полыхающего моря вырывались к раскаленному небу гигантские огненные фонтаны и столбы, они распускались вверху пламенными кистями и султанами, которые развевались на ветру, превращаясь в золотые нити и космы искр, и уносились вдаль в сторону Кампании и Альбана. Становилось светло как днем – воздух, казалось, был насыщен не только светом, но и самим огнем. Вода в Тибре текла пламенеющим потоком. Злосчастный город являл собою под-

[350] *Амфитеатр Флавиев* – т.н. Колизей, закончен строительством в 80 г.; вмещал свыше 50 тыс. человек.

[351] *Ливия* – супруга императора Августа.

[352] *Луцина* – римская богиня деторождения; часто отождествлялась с Юноной.

[353] *Иегова* (собств. Яхве) – господь (древнеевр.), табуированное имя высшего божества в иудаизме.

линный ад. Пожар захватывал все новые кварталы, штурмом брал холмы, разливался по равнинам, затоплял долины, бушевал, гудел, громыхал.

Глава XLV

Ткач Макрин, в чей дом принесли Виниция, обмыл его, дал ему одежду и накормил, после чего молодой трибун совершенно оправился и заявил, что нынешней же ночью продолжит поиски Лина. Макрин – он был христианином – подтвердил слова Хилона о том, что Лин вместе со старшим священником Клементом отправились в Остриан, где Петру предстояло совершить крещение целой общины приверженцев нового учения. Соседи-христиане знали, что наблюдать за своим домом Лин еще третьего дня поручил некоему Гаю. Для Виниция это было доказательством того, что ни Лигия, ни Урс дома не остались, и, видимо, также отправились в Остриан.

Эта мысль принесла ему немалое утешение. Лин был стар, ему трудно было бы ежедневно ходить из-за Тибра к далеким Номентанским воротам и возвращаться оттуда домой за Тибр, и он, вероятно, на эти несколько дней поселился у кого-нибудь из единоверцев за городскою стеной, а с ним вместе и Лигия и Урс. Тогда они, скорее всего, не пострадали от пожара, который, кстати, на противоположный склон Эсквилина не перекинулся. Во всем этом Винициюю виделся перст провидения Христова – он почувствовал на себе его заботу и с сердцем, более чем когда-либо исполненным любви, поклялся отплатить ему всею жизнью за столь явные знаки милости.

Но тем более он торопился в Остриан. Он отыщет Лигию, отыщет Лина, Петра и увезет их куда-нибудь далеко, в одно из своих поместий, ну хотя бы на Сицилию. Рим горит, еще несколько дней, и от него останется лишь пепелище, так зачем же им оставаться здесь, среди бедствий и пришедших в неистовство людей? Да, он их увезет, там они будут окружены десятками вышколенных рабов, будут жить в тишине и покое под сенью Иисусовой, с благословением Петра. Только бы сейчас найти их.

Было это, однако, делом нелегким. Виниций помнил, с каким трудом он пробирался от Аппиевой дороги за Тибр, сколько пришлось ему кружить, чтобы выбраться на Портовую дорогу, и теперь он решил обогнуть город с противоположной стороны. Следуя по Триумфальной дороге[354] вдоль реки, можно было добраться до моста Эмилия, а оттуда, идя мимо Пинция, вдоль Марсова поля, мимо садов Помпея, Лукулла и Саллюстия[355], выйти на Номентанскую дорогу. Это был кратчайший путь, но и Макрин, и Хилон не советовали по нему идти. Правда, огонь ту часть города пока не захватил, но рынки и улицы могли оказаться совершенно забиты людьми и завалены домашними вещами. Хилон советовал идти через Ватиканское поле до Фламиниевых ворот, лишь там пересечь реку и дальше двигаться вдоль наружной стороны городских стен, за садами Ацилиев[356], к Соляным воротам. После недолгого колебания Виниций согласился последовать совету.

Макрину надо было остаться, чтобы охранять дом, но он раздобыл двух мулов, которые могли сгодиться для Лигии в дальнейшем пути. Хотел он еще дать в помощь раба, но Виниций отказался, полагая, что, как это уже с ним было, любой встреченный в пути отряд преторианцев подчинится его приказам.

Итак, вместе с Хилоном он, не мешкая, отправился через Яникульское поле к Триумфальной дороге. На открытых местах здесь также располагались биваки погорельцев, но пробираться среди них стоило меньше труда, так как большинство жителей бежало к морю по Портовой дороге. За Септимианскими воротами Виниций и Хилон поехали между рекою и великолепными садами До-

[354] Триумфальная дорога выходила из города в северо-западном направлении, в сторону Ватиканского холма. Пинций, или т.н. Садовый холм, расположен в северной части Рима; на склонах Пинция находились сады Помпея, Лукулла, Саллюстия, Ацилиев, Домициев и др.

[355] *Лукулл Луций Лициний* (117–57 до н.э.) – римский государственный деятель и полководец, баснословный богач. Гай Саллюстий Крисп (86–35 до н.э.) – римский политический деятель и историк.

[356] *Ацилии* – древний плебейский род.

мициев, могучие кипарисы которых стояли багрово-красные от пожара, будто в лучах заката. Дорога становилась свободней, лишь временами приходилось пробиваться сквозь поток валивших в город крестьян. Виниций нетерпеливо погонял своего мула, а ехавший следом Хилон без умолку разговаривал сам с собою:

– Вот, пожар уже остался позади, теперь он греет нам спины. Да, никогда еще не бывало на этой дороге ночью так светло. О Зевс! Если ты не прольешь ливня на этот пожар, значит, Рим тебе не дорог. Человеческими силами такой огонь не погасить. Вот он, город, которому покорялась Греция и весь мир! А нынче любой грек может печь себе бобы в его золе! Кто мог этого ожидать! И не будет уже ни Рима, ни римских владык. И если кому вздумается ходить по этому пожарищу, когда оно остынет, да посвистывать, он сможет посвистывать, никого не опасаясь. О боги! Посвистывать в городе-миродержителе! Какой грек иди даже варвар мог ожидать такого! А между тем свистеть можно будет сколько душе угодно, потому что куча золы – осталась ли она от пастушеского костра или от сожженного города – это только куча золы, которую рано или поздно развеет ветер.

Говоря это, Хилон время от времени оборачивался назад и глядел на волны огня со злобной и вместе с тем радостной миной.

– Гибнет! Гибнет! – продолжал он. – И больше не будет его на земле. Куда же теперь весь мир станет посылать свое зерно, свои оливки и свои деньги? Кто будет выжимать у всего мира слезы и золото? Мрамор не горит, но в огне он крошится. Капитолий обратится в руины, и Палатин станет руинами. О Зевс! Рим был вроде пастуха, а прочие народы – вроде овец. Когда пастух бывал голоден, он резал одну из овец, съедал мясо, а тебе, отец богов, приносил в жертву шкуру. Кто же, о Тучегонитель, будет теперь резать и в чьи руки вложишь ты отныне пастуший бич? Ибо Рим пылает, о Зевс, пылает так славно, будто ты сам поджег его своею молнией.

– Живее! – торопил его Виниций. – Что ты там бормочешь?

– Я оплакиваю Рим, господин, – отвечал Хилон. – Как-никак город Юпитера!

Некоторое время они ехали молча, прислушиваясь к гулу пожара и к шуму птичьих крыльев. Голуби, которые в большом количестве гнездились возле вилл и в селениях Кампании, а также всевозможные птицы с морского побережья и с окрестных гор, принимая, видимо, зарево пожара за солнечный свет, целыми стаями летели прямо в огонь.

Виниций первый нарушил молчание.

– Где ты был, когда начался пожар?

– А я направлялся к моему другу Эврицию, господин, у которого была лавка возле Большого Цирка, и размышлял как раз об учении Христовом, когда стали кричать: «Огонь!» Люди сбегались к Цирку, ища спасения и из любопытства, но, когда пламя охватило весь Цирк и огонь вдобавок стал вспыхивать в других местах, надо было подумать о своем спасении.

– И ты видел людей, бросавших факелы в дома?

– Чего я только не видел, о внук Энея! Видел людей, прокладывавших себе дорогу в толпе мечами, видел драки и растоптанные внутренности человеческие на мостовой. Ах, господин, если бы ты это видел, ты подумал бы, что варвары захватили город и учиняют резню. Вокруг меня люди кричали, что настал конец света. Некоторые вовсе потеряли голову, они уже не думали о бегстве, но бессмысленно стояли и ждали, пока их не охватит огонь. Другие лишились рассудка, третьи выли от отчаяния, но видел я и таких, что выли от радости, – есть ведь на свете, господин мой, немало дурных людей, которые неспособны оценить благотворность вашего милостивого господства и справедливых законов, на основании коих вы отымаете у всех их достояние и присваиваете его. Решительно, люди не умеют смиряться с волею богов!

Виниций был слишком поглощен своими мыслями, чтобы заметить иронию, звучавшую в речах Хилона. Он содрогался от ужаса при одном предположении, что Лигия могла оказаться среди этой сумятицы, на этих страшных улицах, на которых топтали человеческие внутренности. И хотя он уже раз десять спрашивал у Хилона обо всем, что тот мог знать, он снова обратился к нему с вопросом:

– А ты их видел в Остриане собственными глазами?

– Видел, сын Венеры, видел девушку, видел доблестного лигийца, святого Лина и апостола

Петра.

– До пожара?

– Да, о Митра, до пожара.

У Виниция, однако, появилось подозрение, что Хилон его обманывает; придержав мула, он грозно взглянул на старого грека и спросил:

– А ты что там делал?

Хилон смутился. Хотя ему, как и многим, казалось, что вместе с гибелью Рима приходит конец и римскому владычеству, но покамест он ведь был с Виницием один на один и он вспомнил, что Виниций под угрозой страшной кары запретил ему шпионить за христианами, особенно за Лином и Лигией.

– Господин мой, – сказал он, – почему ты мне не веришь, что я их люблю? Да, да! Я был в Остриане, потому что я уже наполовину христианин. Пиррон научил меня ставить добродетель выше философии, вот я и льну все больше к людям добродетельным. А вдобавок, о господин, я беден, и пока ты, о Юпитер, развлекался в Анции, я частенько голодал, сидя за книгами, – тогда я шел в Остриан и садился там у ограды, потому что христиане, хоть сами бедняки, подают больше милостыни, чем все прочие жители Рима вместе взятые.

Это объяснение показалось Виницию убедительным, и он спросил уже менее грозно:

– А не знаешь ты, где на это время поселился Лин?

– Однажды ты меня за любопытство наказал, господин, и прежестоко, – отвечал грек.

Виниций промолчал. Они продолжали погонять мулов.

– Господин, – отозвался немного погодя грек, – ведь если бы не я, ты не нашел бы девушку, но если мы ее отыщем теперь, ты не забудешь о бедном мудреце?

– Ты получишь дом с виноградником возле Америолы[357], – ответил Виниций.

– Благодарю тебя, Геркулес! С виноградником? О, благодарю тебя! О да, с виноградником!

Они миновали холмы Ватикана, алевшие в зареве пожара, но за Навмахией повернули направо, чтобы, пересекши Ватиканское поле, приблизиться к реке и, переправясь через нее, добраться до Фламиниевых ворот. Хилон внезапно остановил мула и сказал:

– Мне в голову пришла хорошая мысль, господин.

– Говори, – сказал Виниций.

– Между Яникульским холмом и Ватиканом, за садами Агриппины, есть подземелья, из которых добывали камень и песок для сооружения цирка Нерона. Послушай моего совета, господин! В последнее время иудеи, которых, как ты знаешь, за Тибром великое множество, стали жестоко преследовать христиан. Ты, конечно, помнишь, что еще при божественном Клавдии были из-за этого такие волнения, что императору пришлось изгнать иудеев из Рима. Теперь же, когда они возвратились и благодаря покровительству Августы чувствуют себя в безопасности, они с тем большею наглостью чинят вред христианам. Уж я-то знаю! Сам видел. Против христиан не было издано ни одного эдикта, но иудеи обвиняют их перед префектом города, будто они умерщвляют детей, чтят осла и проповедуют не признанное сенатом учение, а покамест сами избивают христиан и громят их молитвенные дома с таким ожесточением, что те вынуждены от них скрываться.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Виниций.

– А то, господин, что синагоги существуют за Тибром совершенно открыто, но христиане, дабы избежать гонений, вынуждены молиться тайно, и они собираются в заброшенных сараях за городом или в песчаных карьерах. Те, кто живет за Тибром, как раз избрали себе вот этот карьер, образовавшийся при сооружении цирка и домов вдоль Тибра. Теперь, когда город гибнет, приверженцы Христа наверняка молятся. Мы найдем их несметное множество здесь, в подземных убежищах, поэтому мой совет, господин, заглянуть туда по дороге.

– Но ты же говорил, что Лин ушел в Остриан! – с досадою вскричал Виниций.

– А ты мне пообещал дом с виноградником возле Америолы, – возразил Хилон, – и я намерен искать девушку повсюду, где есть надежда ее найти. После того как начался пожар, они могли

[357] *Америола* – город в Сабинской области (к северо-востоку от Рима).

вернуться за Тибр. Могли обогнуть город кругом, как огибаем мы его сейчас. У Лина есть дом, ему, возможно, захотелось быть поближе к дому, чтобы взглянуть, не захватил ли пожар и тот квартал. Если же они вернулись, тогда я клянусь тебе, господин, Персефоной[358], что мы застанем их на молитве в подземелье или на худой конец узнаем о них что-нибудь.

– Ты прав, веди туда! – сказал трибун.

Хилон, не раздумывая, свернул налево, к холму. На одну минуту склон холма заслонил их от пожара, и, хотя ближайшие выступы были освещены, сами они оказались в тени. Миновав Цирк, оба еще раз повернули налево и углубились в некое подобие ущелья, где было совершенно темно. Но в темноте Виниций заметил множество мерцавших огоньков.

– Это они! – сказал Хилон. – Их нынче будет там больше, чем когда-либо, потому что другие молитвенные дома сгорели или полны дыма, как и все Заречье.

– Да, я слышу пенье, – сказал Виниций.

Из темного отверстия в холме действительно доносились голоса поющих, и фонарики исчезали в нем один за другим. Однако из боковых лощин появлялись все новые фигуры, и вскоре Виниций и Хилон очутились в густой толпе.

Хилон сполз с мула и, кивнув шедшему рядом подростку, сказал ему:

– Я служитель Христа и епископ. Подержи наших мулов, мальчик, и ты получишь от меня благословение и отпущение грехов.

Не дожидаясь ответа, он сунул мальчику в руку поводья, и вместе с Виницием они присоединились к двигавшемуся в направлении холма людскому потоку.

Вскоре они оказались под землей и двигались дальше при слабом свете фонарей по темному коридору, пока не пришли в просторную пещеру, из которой, видимо, еще недавно брали камень, – на стенах виднелись свежие изломы.

Здесь было светлей, чем в коридоре, – кроме светильников и фонарей пещера освещалась факелами. При их огнях Виниций разглядел толпу коленопреклоненных, воздевавших руки кверху. Лигии, апостола Петра, Лина он тут не видел, но лица окружавших его людей исполнены были торжественности и глубокого волнения. На некоторых лицах можно было прочитать ожидание, тревогу, надежду. Мерцающий свет отражался в белках заведенных глаз, пот струился по бледным как полотно лбам; одни, стоя на коленях, пели, другие с жаром повторяли имя Христово, иные ударяли себя в грудь. Было заметно, что все ждут с минуты на минуту чего-то необычайного.

Но вот песнопения смолкли, и в нише, образовавшейся на месте отбитой огромной глыбы, появился знакомый Виницию Крисп – лицо его, светившееся экстатическим восторгом, было бледно, фанатично, сурово. Взгляды всех обратились к нему как бы в ожидании слов ободрения и надежды, а он, осенив крестом собравшихся, заговорил торопливо, временами чуть ли не сбиваясь на крик:

– Сокрушайтесь о грехах ваших, ибо настал час! На город злодеяний и разврата, на новый сей Вавилон обрушил господь огонь губительный. Пробил час суда, гнева и гибели! Предсказал господь пришествие свое, и скоро вы его узрите! Но придет он уже не в облике агнца, отдавшего свою кровь за грехи ваши, но как грозный судия, который в справедливости своей низринет в бездну грешников и неверующих… Горе миру сему и горе грешникам, ибо не станет уже для них милосердия. Я вижу тебя, Христос! Звезды градом сыплются на землю, солнце меркнет, земля разверзает бездны свои, и мертвые восстают, а ты грядешь средь звуков трубных и сонмов ангельских, средь громов и молний. Я вижу, я слышу тебя, Христос!

Тут он умолк, и, подняв лицо, как бы стал всматриваться во что-то далекое и ужасающее. В эту минуту послышались в пещере глухие раскаты грома – один, другой, третий. Это в пылающем городе с невероятным шумом рушились целые ряды сгоревших домов. Но большинство христиан сочло эти громовые раскаты явным знаком, что грозный час настал, ибо вера в близость второго пришествия Христа и в конец света всегда была среди них сильна, а теперь ее еще укрепил пожар

[358] *Персефона* – в греческой мифологии богиня подземного царства; дочь Деметры; тождественна римской Прозерпине.

города. И страх божий потряс сердца верующих. Многие стали повторять: «День суда!.. Се грядет!» Некоторые закрывали руками лицо, убежденные, что сейчас содрогнется земля в своих основах и из недр ее выйдут чудища адовы, чтобы терзать грешников. Другие кричали: «Смилуйся, Христос! Будь милосерд, избавитель наш!» Одни громко каялись в грехах, иные бросались друг другу в объятья, дабы в роковой миг чувствовать рядом дружеское сердце.

Были, однако, и такие, на чьих лицах не было ни тени тревоги, но блуждала блаженная улыбка, словно они уже вознесены в обитель райскую. В нескольких местах раздались громкие возгласы – это одержимые религиозным экстазом выкрикивали непонятные слова неведомых языков. Из темного угла пещеры кто-то завопил: «Пробудись, спящий!» Весь этот шум покрывал голос Криспа: «Бодрствуйте! Бодрствуйте!»

Временами, однако, наступала тишина, точно все, затаив дыхание, ждали, что произойдет дальше. И тогда слышался отдаленный грохот рассыпавшихся в прах зданий, после чего опять раздавались стоны, молитвы, выкрики и призывы: «Искупитель, смилуйся!» А Крисп увещевал собравшихся: «Отрекитесь от благ земных, ибо вскоре земля уйдет из-под ног ваших! Отрекитесь от земной любви, ибо господь уничтожит тех, кто жен и детей любил сильнее, нежели его! Горе тем, кто возлюбил творение больше, нежели творца! Горе богатым! Горе лихоимцам! Горе развратникам! Горе мужу, жене и детям!»

Внезапно страшный грохот, сильнее всех предыдущих, сотряс каменоломню. Все упали ничком, простерши руки в стороны, дабы тело, приняв форму креста, было защищено от злых духов. Воцарилась тишина, в которой слышались лишь учащенное дыханье да испуганный шепот: «Иисусе, Иисусе, Иисусе!» Кое-где плакали дети. Но тут над простершейся ниц толпою чей-то спокойный голос произнес:

– Мир вам!

То был голос апостола Петра, который только что вошел в пещеру. Его приветные слова вмиг рассеяли страх, как успокаивает перепуганное стадо само появление пастуха. Люди начали подниматься с земли, подвигаться поближе к коленам апостола, будто ища у него защиты, а он, простерши над ними руки, заговорил:

– Почто тревожитесь в сердцах ваших? Кому из вас ведомо, что может с ним статься, пока не пришел его час? Господь покарал огнем Вавилон, но над вами, которые омыты крещеньем и грехи которых искуплены кровью агнца, будет милосердие его, и вы умрете с именем его на устах ваших. Мир вам!

После грозных, беспощадных речей Криспа слова Петра были для собравшихся целительным бальзамом. Вместо страха божия души исполнились любовью к богу. Люди эти снова обрели того Христа, которого полюбили, слушая рассказы апостола, – не судию неумолимого, но кроткого и терпеливого агнца, чье милосердие во сто крат превосходит человеческие прегрешения. Чувство облегчения и покой вселились в сердца верующих вместе с благодарностью апостолу. С разных сторон послышались голоса: «Мы овцы твои, паси нас!» А те, кто был поближе к нему, просили: «Не покидай нас в день гибели!» – и припадали к его коленам. Видя это, Виниций подошел к апостолу, ухватился за край его плаща и, склонив голову, сказал:

– Спаси меня, святой старец! Я искал ее в дыме пожара и в толпе людской, но нигде не мог найти. Я верю, что ты можешь вернуть ее мне.

Петр положил руку ему на голову.

– Уповай, сын мой, – молвил он, – и иди за мною.

Глава XLVI

Город все еще горел. Большой Цирк обратился в руины, в кварталах, которые загорелись первыми, целые улицы лежали в развалинах. И каждый раз, когда обрушивалось какое-то здание, столбы огня взлетали до самого неба. Ветер переменился – теперь он с огромной силой дул от моря, неся на Целий, на Эсквилин и на Виминал волны огня, град головешек и углей. Но уже начались спасательные работы. По распоряжению Тигеллина, который третьего дня приехал из Анция, принялись сносить дома на Эсквилине, чтобы огонь, наткнувшись на пустое место, погас сам по

себе. Но это была жалкая попытка, предпринятая ради спасения еще не затронутой части города, – спасти же то, что уже горело, нечего было и думать. При этом надо было позаботиться и о мерах предотвращения последствий катастрофы. Вместе с Римом гибли несметные сокровища, гибло имущество его жителей – и вокруг его стен теперь бродили сотни тысяч совершенно нищих людей. На следующий же день толпа погорельцев ощутила терзания голода – ведь огромные запасы продовольствия, хранившиеся в городе, горели, как и все кругом, а среди всеобщего смятения и развала никто до тех пор не подумал о подвозе провианта. Лишь по приезде Тигеллина были посланы в Остию распоряжения, а тем временем скопища людские становились все более угрожающими.

Дом возле Аппиева акведука[359], где временно поселился Тигеллин, осаждали женщины, вопившие с утра до поздней ночи: «Хлеба и крова!» Тщетно преторианцы, приведенные из большого лагеря между Соляной и Номентанской дорогами, пытались поддержать хоть какой-то порядок. Во многих местах им оказывали вооруженное сопротивление, а иногда толпы безоружных людей, указывая на горящий город, кричали им: «Убивайте нас! Мало вам этого пожара?» Осыпали бранью императора, августиан, преторианских солдат, возмущение с каждым часом нарастало. Тигеллин, глядя ночью на тысячи горевших вокруг города костров, говорил себе, что это костры вражеского лагеря. По его приказу в город, кроме муки, подвезли как можно больше испеченных хлебов из Остии и из окрестных городов и селений, но, когда первые партии прибыли ночью на Торговую пристань, народ сломал ворота со стороны Авентина и в мгновение ока в страшной толчее и давке расхватал весь запас. При лунном свете люди дрались за хлебы, множество которых втаптывалось в землю. Мука из разорванных мешков словно бы снегом покрыла все пространство от складов до луга Друза и Германика, и беспорядки продолжались до тех пор, пока солдаты не заняли окружающие дома и не стали разгонять толпу стрелами и камнями.

Никогда еще со времен нашествия галлов под водительством Бренна не постигало Рим подобное бедствие. Многие с отчаянием сравнивали тот и этот пожары. Но тогда, по крайней мере, уцелел Капитолий. Ныне же и Капитолий был окружен зловещим огненным венцом. Мрамор в огне не горел, но по ночам, когда ветер на миг разгонял языки пламени, видно было, что ряды колонн стоящего наверху храма Юпитера раскалились и светятся красноватым светом, наподобие тлеющих углей. Кроме того, во времена Бренна население Рима было более нравственным, сплоченным, приверженным своему городу и его алтарям, а ныне вокруг пылающего города бродили разноязычные толпы, состоявшие в большей своей части из рабов и вольноотпущенников, разнузданные, бесшабашные, готовые под давлением нужды обратиться против властей и города.

Однако сами размеры бедствия, наполняя сердца ужасом, в известной мере расслабляли толпу. Вслед за пожаром могли прийти голод и болезни – к довершению несчастья стоял неимоверный июльский зной. Раскаленным от огня и солнца воздухом невозможно было дышать. Ночь не только не приносила облегчения, но была таким же кромешным адом. Днем взорам являлось зловещее, чудовищное зрелище. Гигантский город на холмах, превратившийся в грохочущий вулкан, и вокруг него, до самой Альбанской горы, сплошной необозримый лагерь кочевников – хибарки, шатры, шалаши, повозки, тачки, носилки, лотки, костры, все это затянуто пеленою дыма и пыли, освещено рыжими лучами солнца, пробивающимися сквозь огонь пожаров, кругом шум, гам, крики, проклятья, повсюду ненависть и страх. В этом небывалом скоплении мужчин, женщин и детей можно было среди квиритов увидеть множество греков, лохматых светловолосых людей севера, африканцев и азиатов, наряду с римскими гражданами – рабов, вольноотпущенников, гладиаторов, купцов, ремесленников, крестьян и солдат – поистине то было людское море, окружавшее остров огня.

Самые различные вести волновали это море, как ветер – воды морские. Слухи бывали ободряющие и наводящие страх. Толковали об огромных запасах зерна и одежды, которые должны прибыть на Торговую пристань и будут раздаваться бесплатно. Говорили также, что по приказу

[359] *Аппиев акведук* – древнейший римский водопровод, построенный в 312 г. до н.э. выдающимся государственным деятелем Аппием Клавдием; проходил в юго-восточной и южной части города.

императора из провинций Азии и Африки будут вывезены все их богатства и собранное таким образом добро разделят между жителями Рима, чтобы каждый мог себе построить собственный дом. Но одновременно распространялись и другие вести – вода в водопроводах отравлена, Нерон хочет уничтожить город и сгубить его жителей всех до единого, чтобы затем перебраться в Грецию или в Египет и оттуда править миром. Каждый слух распространялся с быстротой молнии, и каждый находил в толпе готовых ему поверить, возбуждая вспышки надежды или гнева, страха или ярости. В конце концов тысячами этих бездомных овладело лихорадочное безумие. Вера христиан, что конец света в огне близок, с каждым днем все больше ширилась и среди приверженцев языческих богов. Люди впадали в отупение или в ярость. Среди освещенных луною облаков им виделись боги, глядящие на гибель земли, – к ним простирали руки, моля о жалости либо проклиная.

Между тем солдаты с помощью горожан продолжали рушить дома на Эсквилине, на Целии, а также в Заречье, благодаря чему там уцелела значительная часть зданий. Но в центре города горели несметные сокровища, награбленные за века побед, горели произведения искусства, великолепные храмы и неоценимые памятники римской древности и римской славы. Предсказывали, что от всего города едва ли уцелеет несколько расположенных на окраинах кварталов и что сотни тысяч людей останутся без крова. Тигеллин слал письмо за письмом, умоляя императора приехать и присутствием своим успокоить отчаявшийся народ. Однако Нерон двинулся в путь лишь тогда, когда пламя охватило «Domus transitoria»[360]. Тут он уже поторопился, чтобы не упустить час, когда пожар будет в самом разгаре.

Глава XLVII

Тем временем огонь достиг Номентанской дороги, а от нее, вместе с переменою ветра, повернул к Широкой дороге и к Тибру, обогнул Капитолий, разлился по Бычьему рынку и, уничтожая то, что пощадил при первом порыве, снова приблизился к Палатину. Тигеллин собрал все отряды преторианцев и отправлял одного гонца за другим к подъезжавшему императору, извещая, что он застанет зрелище во всем великолепии, так как пожар еще усилился. Нерон, однако, хотел прибыть ночью, дабы лучше проникнуться трагической картиной гибнущего города. Поэтому в окрестностях Альбанского озера он задержался и, призвав в свой шатер трагика Алитура, репетировал с его помощью позу, выражение лица, взгляда и упражнялся в жестикуляции, яростно споря, нужно ли при словах: «О, город священный, что более прочным казался, чем Ида[361]», – воздеть вверх обе руки или же, держа в одной формингу, опустить ее вдоль тела, а поднять лишь одну руку. И этот вопрос представлялся ему в ту минуту важнее всего прочего. С наступлением сумерек он наконец выехал, но по дороге еще спрашивал совета у Петрония, не вставить ли в стихи, посвященные бедствию, несколько великолепных кощунственных выпадов против богов и не должны ли таковые слова – рассуждая с точки зрения искусства – сами невольно вырваться из уст у человека в подобном положении, теряющего родимый кров.

Около полуночи Нерон приблизился к городским стенам со своей многочисленной свитой, состоявшей из придворных, сенаторов, всадников, вольноотпущенников, рабов, женщин и детей. Шестнадцать тысяч преторианцев, построясь в боевые шеренги вдоль дороги, наблюдали за порядком и безопасностью въезда императора, удерживая на расстоянии волнующийся народ. Римляне осыпали проклятьями проезжавшую императорскую свиту, кричали и свистели, но напасть не решались. А во многих местах слышались рукоплескания – это радовалась голытьба, которая, ничего не имея, ничего при пожаре не потеряла и лишь надеялась на более щедрые, чем обычно, раздачи зерна, оливкового масла, одежды и денег. Но вот по данному Тигеллином знаку звуки труб и рогов заглушили и крики, и свист, и рукоплескания. Проехав через Остийские ворота, Нерон на миг остановился, чтобы произнести фразу: «Бездомный властелин бездомного народа,

[360] «Проходной дом» *(лат.)*

[361] *Ида* – горная цепь в М. Азии с пиком Гаргар, где, согласно мифу, состоялся священный брак Зевса и Геры.

где преклоню я на ночь злосчастную свою голову!» – после чего, спустившись по склону Дельфина, взошел по сооруженной для него лестнице на Аппиев акведук; вместе с ним поднялись и августианы, и хор певцов с кифарами, лютнями и другими музыкальными инструментами.

Собравшиеся на акведуке, затаив дыхание, ждали, не изречет ли император каких-нибудь великих слов, которые – ради собственной безопасности – необходимо будет запомнить. Однако Нерон, облаченный в пурпурную тогу, в золотом лавровом венке, стоял безмолвно и созерцал с торжественным видом бушующую стихию огня. Когда же Терпнос подал ему золотую лютню, он вознес глаза к залитому багровым заревом небу, словно бы ожидая вдохновения свыше.

Народ издали указывал на него, освещенного кровавым багрянцем. Над городом, клубясь, шипели огненные змеи, там пылали древние, священные памятники – пылал храм Геркулеса, сооруженный Эвандром[362], и храм Юпитера Статора, и храм Луны, построенный еще Сервием Туллием, и дом Нумы Помпилия[363], и святилище Весты с пенатами[364] римского народа; окруженный пламенными космами, время от времени являлся взорам Капитолий – то горело прошлое, горела душа Рима, а он, император, стоял с лютней в руке, с миной трагического актера и с мыслями не о гибнущей отчизне, но о своей позе и о патетических словах, которыми он искусно выразит величие бедствия, дабы возбудить всеобщее изумление и снискать бурные аплодисменты.

Он ненавидел этот город, ненавидел его обитателей, он любил только свое пенье и свои стихи – поэтому в душе был рад, что наконец-то видит трагедию, подобную той, которую описывал в своих стихах. Стихотворец был счастлив, декламатор испытывал вдохновение, искатель сильных ощущений упивался ужасающим зрелищем, с наслаждением думая, что даже гибель Трои была мелочью в сравнении с гибелью этого гигантского города. Чего еще было желать! Вот он Рим, мигородержавный Рим, пылает, а он, Нерон, стоит на аркадах акведука с золотою лютней в руке – у всех на виду, весь в пурпуре, великолепный, поэтичный, вызывая всеобщий восторг. Где-то там, внизу, во мраке, копошится и ропщет народ. Пусть себе ропщет! Пройдут века, минуют тысячелетья, а люди будут помнить и прославлять поэта, который в такую ночь воспевал падение и пожар Трои. Что против него Гомер? Что сам Аполлон со своею выдолбленною из дерева формингой?

Тут он воздел руки, затем ударил по струнам и произнес слова Приама:

Предков гнездо моих, о, колыбель дорогая!..

Голос его на открытом воздухе, при гуле пожара и отдаленном гомоне многотысячной толпы, звучал странно тихо, дрожал и прерывался, а вторившие струны лютни слабо дребезжали, напоминая жужжанье мухи. Но сенаторы, государственные мужи и августианы, столпившиеся на акведуке, слушали, опустив головы в немом восхищении. А Нерон пел долго и настраивался на все более горестный лад. В те минуты, когда он останавливался набрать дыхание, хор певцов повторял последний стих, после чего Нерон заимствованным у Алитура жестом сбрасывал с плеча трагическую сирму[365], ударял по струнам и продолжал пенье. Закончив песнь, сочиненную прежде, он стал импровизировать в надежде на то, что картина пожара подскажет ему вдохновенные сравнения. И постепенно лицо его стало преображаться. Не то чтобы его и вправду волновала гибель родного города, нет, он был упоен и растроган пафосом собственных стихов, и настолько, что вдруг со стуком уронил лютню к своим ногам и, укутавшись в сирму, застыл, будто окаменев, напоминая одну из статуй Ниобидов[366], украшавших Палатинское подворье.

---

[362] *Эвандр* – в римской мифологии герой, сын Меркурия; Эвандру приписывали введение в Италии культа Геракла.

[363] *Нума Помпилий* – по преданию, второй римский царь (конец VIII в. до н.э.).

[364] *Пенаты* – боги – хранители домашнего очага, покровители общества и государства.

[365] *Сирма* – длинная одежда со шлейфом, которую носили трагические актеры.

[366] *Ниобиды* – дети Ниобы.

После минутного безмолвия грянул гром рукоплесканий. Но вдали им ответил вой возмущенной толпы. Теперь никто уже не сомневался, что это император приказал сжечь город, чтобы любоваться зрелищем и петь на пожаре свои песни. Услышав вопль сотен тысяч голосов, Нерон обернулся к августианам и с грустной, полной смирения усмешкой несправедливо обиженного произнес:

– Вот так способны квириты оценить меня и поэзию!

– Негодяи! – отвечал Ватиний. – Прикажи, государь, преторианцам ударить по ним.

– Могу ли я полагаться на верность солдат? – спросил Нерон у Тигеллина.

– О да, божественный! – ответил префект.

Но Петроний, пожимая плечами, заметил:

– На их верность, но не на их число. А пока лучше оставайся здесь, где стоишь, – здесь безопаснее всего, а народ этот еще надо успокоить.

Таково же было мнение Сенеки и консула Лициния. Между тем возмущение в долине нарастало. Люди хватали камни, шесты от палаток, отрывали доски от повозок и тачек, вооружались всяческими железными предметами. Вскоре несколько командиров когорт явились с донесением, что теснимые толпою преторианцы с величайшим трудом удерживают боевой порядок и, не имея приказа наступать, не знают, что делать.

– О боги! – воскликнул Нерон. – Что за ночь! С одной стороны пожар, с другой – разбушевавшееся море людское.

И он стал подыскивать слова, которые наилучшим образом передавали бы опасность этой минуты, но, видя вокруг себя бледные лица и тревожные взгляды, также поддался страху.

– Дайте мне темный плащ с капюшоном! – воскликнул он. – Неужто и в самом деле придется сражаться?

– Государь, – неуверенным тоном ответил Тигеллин, – я сделал все, что мог, но опасность велика… Обратись с речью к народу и пообещай ему что-нибудь.

– Императору говорить с народом? Пусть это сделает кто-нибудь от моего имени. Кто возьмется?

– Я, – спокойно отозвался Петроний.

– Иди, друг! Ты мой самый верный друг в любой беде. Иди и не скупись на обещанья.

Со спокойным и насмешливым видом Петроний, обратясь к свите, промолвил:

– Со мною пойдут присутствующие тут сенаторы, а кроме них Пизон, Нерва и Сенецион.

После чего он не спеша спустился с акведука, и те, кого он назвал, сошли вслед за ним – не без колебаний, но несколько ободренные его спокойствием. Остановясь у подножья аркад, Петроний велел подать себе белого коня и, сев на него, поехал во главе небольшого этого шествия мимо преторианских шеренг к черной воющей толпе, совсем безоружный, лишь с тонкой тросточкой из слоновой кости, на которую обычно опирался при ходьбе.

Подъехав вплотную к толпе, он решительно погнал коня в самую гущу. Вкруг него виднелись при свете пожара поднятые кверху руки со всевозможным оружием, горящие гневом глаза, потные лица и кричащие, с пеной на губах, рты. Взбешенная толпа вмиг сомкнулась за ним и его спутниками, а далее, сколько хватал глаз, действительно темнело море голов, подвижное, бурлящее, грозное море.

Крики, все усиливаясь, перешли в какое-то нечеловеческое рычанье; колья, вилы, даже мечи мелькали над головою Петрония, однако он ехал вперед, все углубляясь в толпу, с холодным, равнодушным, презрительным видом. Иногда он ударял тростью по головам самых наглых, точно прокладывал себе дорогу в обычной уличной толпе, и его уверенность, его спокойствие внушали удивление беснующейся черни. Наконец его узнали, тогда раздались возгласы:

– Петроний! Арбитр изящества! Петроний!

– Петроний! – слышалось теперь со всех сторон.

И при звуках этого имени лица становились менее злобными, а вопли менее яростными – хотя этот утонченный патриций никогда перед народом не заискивал, народ его любил. Он слыл че-

ловеком милостивым и щедрым, и особенно возросла его популярность со времени суда по делу об убийстве Педания Секунда, где он выступал за смягчение жестокого приговора, осуждавшего на смерть всех рабов префекта. Тысячи римских рабов тогда прониклись таким пылким чувством к нему, какое лишь угнетенные и отверженные могут испытывать к тем, кто оказал им хоть немного сочувствия. Кроме того, в эту минуту ярость толпы сдерживало также любопытство – им хотелось знать, что скажет посланец императора, так как никто не сомневался, что Петроний послан императором.

А тот снял с себя белую с пурпурной каймой тогу, поднял ее над головой и стал ею махать в знак того, что хочет говорить.

– Тише! Тише! – закричали вокруг.

Довольно быстро шум стих. Тогда Петроний, выпрямившись в седле, заговорил звучным, спокойным голосом:

– Граждане! Пусть те, кто меня услышит, повторят мои слова дальше стоящим, но, прежде всего, ведите себя как люди, а не как звери на арене.

– Мы слушаем, слушаем!

– Итак, слушайте! Город будет отстроен заново. Сады Луккула, Мецената[367], Цезаря и Агриппины будут для вас открыты! Завтра начнутся раздачи хлеба, вина и масла, чтобы каждый мог досыта набить себе брюхо! Потом император устроит вам игры, каких еще свет не видал, и во время игр вам будут выданы угощение и подарки. После пожара вы станете богаче, чем были до пожара!

Ему ответил рокот толпы, который расходился от центра во все стороны, как расходятся круги на воде от брошенного камня, – это стоявшие ближе к нему повторяли его слова стоящим дальше. Затем раздались тут и там выкрики – гневные или одобрительные, – постепенно слившиеся в один оглушительный вопль, вырывавшийся из всех глоток:

– Хлеба и зрелищ!

Петроний запахнул тогу и какое-то время сидел неподвижно, походя в белой своей одежде на мраморную статую. Вопль все усиливался, заглушая грохот пожара, – он шел со всех сторон, из все более далеких рядов, но посланец, видимо, хотел сказать что-то еще и выжидал.

Наконец, подняв руку и этим жестом призвав к молчанию, Петроний крикнул:

– Я обещаю вам хлеба и зрелищ, возгласите же хвалу императору, который вас кормит и одевает, а затем ступай спать, голытьба, скоро уже начнет светать.

Промолвив это, он повернул коня и, слегка ударяя тростью по головам тех, кто стоял на его пути, медленно отъехал к шеренгам преторианцев.

Еще минута, и Петроний был у акведука. Наверху он застал изрядный переполох. Там не разобрали выкрика «Хлеба и зрелищ» и, приняв его за новый взрыв ярости, даже не надеялись, что Петронию удастся спастись. Поэтому Нерон, завидя его, подбежал к лестнице и с бледным от волнения лицом стал спрашивать:

– Ну что? Что там творится? Уже началась битва?

Спокойно набрав в легкие воздуха, Петроний глубоко вздохнул.

– Клянусь Поллуксом! – сказал он. – Они такие потные и вонючие! Подайте мне кто-нибудь эпилимму[368], не то я упаду в обморок.

Затем он обратился к императору:

– Я им обещал хлеб, масло, обещал, что им откроют сады и устроят игры. Они опять тебя обожают и запекшимися губами выкликают тебе хвалу. О боги, как этот плебс противно пахнет!

– У меня были наготове преторианцы, – вскричал Тигеллин, – и если б ты их не успокоил, эти крикуны смолкли бы навек. Жаль, государь, что ты не разрешил мне применить силу.

Петроний посмотрел на него и, пожав плечами, возразил:

---

[367] *Сады Мецената* – у западного склона Эсквилинского холма; названы по имени Гая Цильния Мецената (ум. 8 до н.э.), друга императора Августа и знаменитого покровителя поэтов.

[368] *Эпилимма* – род дешевого благовония с сильным запахом.

– Это еще не потеряно. Возможно, тебе придется применить ее завтра.

– Нет, нет! – молвил император. – Я прикажу открыть им сады и раздавать зерно. Благодарю тебя, Петроний! Игры я устрою, а эту песнь, которую пел вам сегодня, я пропою публично.

С этими словами он положил руку на плечо Петронию и с минуту помолчал, приходя в себя.

– Скажи мне откровенно, – спросил он наконец, – как я тебе показался, когда пел?

– Ты был достоин окружающего пейзажа, и пейзаж был достоин тебя, – отвечал Петроний. И, оборотясь в сторону пожара, прибавил: – Давайте-ка поглядим еще и простимся со старым Римом.

Глава XLVIII

Слова апостола ободрили христиан. По-прежнему веря в близкий конец света, они обрели надежду на то, что страшный суд произойдет еще не сейчас и что они, возможно, еще увидят конец владычества Неронова, которое они полагали владычеством антихриста, и кару господню за его вопиющие о возмездии злодейства. Итак, укрепясь духом и помолившись, они стали расходиться из подземелья, чтобы вернуться в свои временные убежища; кое-кто даже направился за Тибр, так как дошла весть, что огонь, вспыхнувший в нескольких десятках мест, повернул с переменою ветра опять к реке и, пожрав по пути все, что мог пожрать, перестал распространяться.

Апостол в сопровождении Виниция и плетущегося вслед за ними Хилона также покинул подземную молельню. Молодой трибун, не смея нарушать его безмолвную молитву, некоторое время шел молча, лишь взглядом прося о милосердии и трепеща от тревоги. Многие, однако, еще подходили к апостолу целовать ему руки и края одежды, матери протягивали к нему своих детей, некоторые опускались на колени в темном, длинном проходе и, подымая вверх фонарики, просили благословения, другие шли рядом и пели гимны, так что нельзя было улучить минуту ни для вопроса, ни для ответа. То же самое было и в овраге. Лишь когда они вышли на более открытое место, откуда был виден горящий город, апостол, трижды сотворив над верующими крестное знамение, обернулся к Винициюю.

– Не тревожься, – молвил он. – Невдалеке отсюда есть хижина землекопа, там мы найдем Лигию с Лином и с ее верным слугою. Христос, тебе ее предназначивший, сохранил ее для тебя.

Тут Виниций вдруг пошатнулся и вынужден был опереться рукою о скалу. Дорога из Анция, стычки у городских стен, поиски Лигии среди обжигающего дыма, бессонная ночь и неотступная тревога о любимой измучили его, и весть о том, что самое дорогое в мире существо находится уже близко и что через минуту он увидит Лигию, вовсе лишила его сил. На него нахлынула такая слабость, что он опустился к ногам апостола и, обняв колена старца, так и застыл, не в силах произнести слово.

Апостол же, пытаясь отклонить знаки благодарности и почтения, сказал:

– Не меня благодари, не меня, но Христа!

– Вот замечательный бог! – раздался позади голос Хилона. – А я тут не знаю, что делать с мулами, они же стоят, ждут нас.

– Встань и иди за мною, – сказал Петр, беря молодого трибуна за руку. При лунном свете были видны слезы, блестевшие на бледном от волнения лице Виниция. Губы его дрожали, казалось, он молится.

– Идем, – сказал Виниций.

Но Хилон опять вставил свое:

– Господин, я не знаю, что делать с мулами, они там ждут.

Виниций не знал, что ответить, но, вспомнив слова Петра, что хижина землекопа рядом, приказал:

– Отведи мулов к Макрину.

– Прости, господин, но я осмелюсь напомнить тебе про дом в Америоле. При столь ужасном пожаре немудрено запамятовать о такой мелочи.

– Ты его получишь.

– О внук Нумы Помпилия, я всегда в этом был уверен, а ныне, когда обещание твое услышал

и этот великодушный апостол, я даже не стану напоминать тебе о том, что ты обещал мне еще и виноградник. Pax vobiscum! Я найду тебя, господин. Pax vobiscum!

На что оба ответили:

– И с тобою мир!

Апостол и Виниций свернули направо, к холмам.

– Отец мой! – сказал трибун. – Омой меня водою крещения, чтобы я мог называться истинным приверженцем Христа, ибо я полюбил его всеми силами сердца моего. Омой меня поскорее, душа моя уже готова. И я сделаю все, что повелишь, но ты скажи мне, что еще я мог бы сделать сверх этого.

– Люби людей как братьев своих, – ответствовал апостол, – ибо только любовью ты можешь служить ему.

– О да, это я уже понимаю и чувствую. Будучи ребенком, я верил в римских богов, но я их не любил, а этого единого люблю так, что с радостью отдал бы за него жизнь.

И, глядя на небо, Виниций стал с восторгом повторять:

– Ибо он единственный! Ибо он один добр и милосерден! И погибни не только город, но весь мир, ему одному буду я служить, о нем одном буду свидетельствовать, его одного признавать!

– А он благословит тебя и дом твой, – заключил апостол.

Тем временем они свернули в следующую лощину, в конце которой светился слабый огонек. Петр указал на него рукою.

– Вот, – молвил он, – хижина землекопа, который дал нам приют, когда мы воротились с больным Лином из Остриана и не могли добраться домой за Тибр.

Вскоре они подошли к хижине, более похожей на пещеру, вырытую в склоне горы и закрытую снаружи стеною, слепленною из глины в смеси с камышом. Дверь была заперта, но в отверстие, заменявшее окно, было видно освещенное очагом убогое жилье.

Гигантская темная фигура, заслышав шаги, поднялась навстречу пришедшим.

– Кто там? – спросил великан.

– Слуги Христовы, – ответил Петр. – Мир тебе, Урс.

Урс склонился к ногам апостола, затем, узнав Виниция, схватил его руку у запястья и поднес ее к губам.

– И ты, господин? – сказал Урс. – Да будет благословенно имя агнца за радость, которую ты доставишь Каллине.

С этими словами он отворил пред ними дверь. Больной Лин лежал на охапке соломы, лицо его осунулось, лоб стал желтым, как слоновая кость. Возле очага сидела Лигия, держа в руке связку сушеных рыбок, нанизанных на шнурок и, видимо, предназначавшихся на ужин.

Она снимала рыбок со шнурка и, поглощенная этим занятием, полагая вдобавок, что вошел один Урс, даже не подняла глаз. Но Виниций в два шага оказался подле нее и, произнеся ее имя, протянул к ней руки. Тут она вскочила с места, изумление и радость молнией мелькнули по ее лицу, и она без слов, подобно дитяти, которое после многих дней тревоги и лишений находит вновь отца или мать, кинулась в его объятья.

Виниций нежно обнял ее и прижал к груди с таким же самозабвенным восторгом, точно спасенную чудом. А затем, разомкнув объятья, он взял обеими руками ее голову, стал целовать ей лоб, глаза, затем снова стал обнимать ее, повторять ее имя, припадая губами к ее коленям, к ее рукам, шепча слова привета, обожания, преклонения. Радости его не было границ, равно как любви и восхищению любимой.

Наконец он стал ей рассказывать, как примчался из Анция, как искал ее у городских стен, среди пожара и в доме Лина, как истерзался от горя и тревоги и уже изнемогал, когда апостол ему указал ее прибежище.

– Но теперь, – говорил Виниций, – когда я тебя отыскал, я не покину тебя здесь, среди огня и обезумевших толп. У городских стен люди убивают один другого, бесчинствуют, хватают женщин. Один бог знает, какие еще бедствия могут обрушиться на Рим. Но я спасу тебя и всех вас. О дорогая моя! Хотите поехать со мной в Анций? Там мы взойдем на корабль и поплывем на Сици-

лию. Мои земли – ваши земли, мои дома – ваши дома. Слушай, что я скажу! На Сицилии ты встретишь Плавтиев, я возвращу тебя Помпонии и потом возьму тебя в жены из ее рук. Ведь ты, дорогая, уже не боишься меня? Крещение меня еще не омыло, но ты спроси у Петра, не сказал ли я ему только что, идя к тебе, что хочу быть истинным приверженцем Христа, и не просил ли я окрестить меня, хотя бы в этой хижине землекопа. Верь мне, верьте мне все.

Лигия слушала его речи с прояснившимся лицом. Все они здесь – сперва из-за преследований со стороны иудеев, а теперь из-за пожара и вызванных этим бедствием беспорядков и впрямь жили в постоянной неуверенности и тревоге. Отъезд на мирную Сицилию положил бы конец всем тревогам и заодно стал бы началом новой, счастливой поры в их жизни. Если бы Виниций предложил увезти одну только Лигию, она наверняка устояла бы перед соблазном, не желая оставить апостола Петра и Лина, но ведь Виниций обращался и к ним: «Едемте со мной! Земли мои – ваши земли, дома мои – ваши дома!»

И, склонясь к его руке, чтобы поцеловать ее в знак покорности, она сказала:

– Твой очаг – мой очаг.

После чего, устыдясь, что вымолвила слова, которые, по римскому обычаю, повторяли невесты при венчании, она залилась румянцем и, стоя в свете очага, потупила голову, испугавшись, что слова ее могут быть дурно истолкованы.

Но во взгляде Виниция было только беспредельное обожание. Оборотясь к Петру, он снова заговорил:

– Рим горит по приказу императора. Он еще в Анции жаловался, что никогда не видел большого пожара. Но коль он не остановился перед таким преступлением, подумайте, что еще может произойти. Кто знает, вдруг он соберет свои войска и прикажет перебить всех жителей Рима? Кто знает, какие проскрипции могут начаться и не последуют ли за пожаром другие бедствия – гражданская война, резня, голод? Поэтому я прошу вас, укройтесь на Сицилии, укроем там Лигию. Вы в тишине переждете бурю, а когда она минует, снова вернетесь сеять ваши семена.

Снаружи, со стороны Ватиканского поля, как бы в подтверждение слов Виниция, послышались отдаленные крики ярости и ужаса. В эту минуту вошел в хижину ее хозяин, землекоп, и, поспешно затворив дверь, воскликнул:

– Возле цирка Нерона дерутся насмерть. Рабы и гладиаторы напали на граждан.

– Слышите? – сказал Виниций.

– Исполнилась мера, – промолвил апостол, – беды затопят все, как море бескрайнее.

И, обращаясь к Винициюю, он указал на Лигию со словами:

– Возьми эту девицу, предназначенную тебе богом, и спаси ее, пусть Лин, который болен, и Урс тоже едут с вами.

Однако Виниций, полюбивший апостола всем своим необузданным сердцем, воскликнул:

– Клянусь тебе, учитель, я не оставлю тебя здесь на погибель.

– И господь благословит тебя за твое желание, – возразил апостол, – но разве ты не слышал, что Христос трижды повторил мне у озера: «Паси овец моих!»

Виниций молчал.

– И если ты, которому никто не поручал опекать меня, говоришь, что не оставишь меня тут на погибель, как же ты хочешь, чтобы я покинул паству мою во дни бедствия? Когда поднялась буря на озере и тревога объяла наши души, он не покинул нас, так неужто я, слуга его, не последую примеру господина моего?

Тут Лин, обратя к ним изможденное свое лицо, тоже спросил:

– И неужто я, о наместник господа, не последую твоему примеру?

Виниций потер рукою лоб, точно борясь с собою, с какими-то своими мыслями, затем схватил Лигию за руку и голосом, в котором звенела решительность римского солдата, произнес:

– Слушайте меня, Петр, Лин и ты, Лигия! Я говорил то, что мне подсказывал человеческий мой разум, но ваш разум иной, он печется не о своей безопасности, но о том, чтобы исполнять веления спасителя. Да, я этого не понимал и я ошибся, ибо с глаз моих еще не снято бельмо, и во мне еще говорит прежняя натура. Но я уже полюбил Христа, я желаю быть его слугой, и, хотя дело тут идет о чем-то большем для меня, чем моя жизнь, я на коленях перед вами клянусь, что ис-

полню веление любви и не покину братьев моих в дни бедствия.

Молвив это, он упал на колени, и внезапный восторг овладел им: подняв глаза и воздевая руки, Виниций стал восклицать:

– Неужто я уже начал понимать тебя, Христос? Неужто я достоин?

Руки его дрожали, в глазах блестели слезы, все тело трепетало, волнуемое верой и любовью. Апостол Петр взял глиняную амфору с водою и, приблизясь к нему, торжественно произнес:

– Вот я крещу тебя во имя отца, сына и духа. Аминь!

И тут религиозный восторг объял всех, кто был в хижине. Почудилось им, будто убогое это жилье наполнилось неземным светом, будто слышат они неземную музыку, будто скала расступилась над их головами и с неба спускаются рои ангелов, а там, высоко-высоко, виден крест и благословляющие их, гвоздями пробитые руки.

А снаружи все еще раздавались вопли дерущихся да гуденье огня в пылающем городе.

Глава XLIX

Толпы погорельцев расположились биваками в великолепных садах Цезаря, старинных садах Домициев и Агриппины, на Марсовом поле, в садах Помпея, Саллюстия и Мецената. Временным пристанищем стали портики, здания для игры в мяч, роскошные летние виллы и хлевы. Павлины, фламинго, лебеди и страусы, газели и африканские антилопы, олени и серны, бывшие украшением садов, стали поживой для голодной черни. Из Остии навезли провизии в таком изобилии, что по плотам и всевозможным лодкам можно было перейти с одного берега Тибра на другой, как по мосту. Зерно раздавали по неслыханно низкой цене – в три сестерция, а наиболее бедным и вовсе даром. Отовсюду свезли огромные количества вина, оливкового масла и каштанов, с гор ежедневно пригоняли стада волов и овец. Бедноте, ютившейся до пожара в закоулках Субуры и в обычное время изрядно голодавшей, жилось теперь лучше прежнего. Угроза голода была решительно устранена, гораздо труднее оказалось бороться с насилием, грабежами и злоупотреблениями. Среди бесприютных, кочующих толп раздолье было ворам, они теперь не боялись кары, тем паче что они всегда были самыми ярыми почитателями императора и не скупились на рукоплескания, где бы он ни появился. Власти, пытавшиеся навести порядок, немногого достигли, к тому же не хватало вооруженных отрядов, которые могли бы сдержать буйство толпы, и в городе, населенном отбросами всего тогдашнего мира, творились ужасы, превосходившие воображение человеческое. Каждую ночь завязывались стычки, совершались убийства, похищения женщин и мальчиков. У Мугионских ворот, где находились загоны для прибывавших из Кампании стад, происходили настоящие сражения, в которых погибали сотни людей. Каждое утро у берегов Тибра скоплялись сотни утопленных трупов, которые никто не хоронил, и они, быстро разлагаясь от усиленного пожарами летнего зноя, наполняли воздух удушливым зловонием. Стали распространяться болезни, и люди опасливые предсказывали великий мор.

А город продолжал гореть. Только на шестой день огонь, наткнувшись на пустыри Эсквилина, где с этой целью снесли целые кварталы домов, начал ослабевать. Однако груды догоравших углей все еще ярко светились, и народу не верилось, что бедствие подходит к концу. На седьмую ночь пожар с новой силой вспыхнул в домах Тигеллина, но, не имея достаточной пищи, был недолог. Лишь время от времени то здесь, то там обрушивались догоравшие здания, выбрасывая вверх языки пламени и фонтаны искр. Но верхние слои тлевших пожарищ постепенно чернели. Небо после захода солнца уже не озарялось кровавым сиянием, и только ночью на огромном черном пустыре плясали голубые языки пламени, пробивавшиеся в грудах угля.

Из четырнадцати округов Рима уцелело едва ли четыре, считая и Заречье. Остальные уничтожил огонь. Когда кучи углей превратились наконец в золу, от Тибра и до Эсквилина взору открылась огромная, серая, унылая, мертвая пустыня, на которой торчали ряды печных труб, напоминая надгробные кладбищенские колонны. Среди этих колонн днем бродили люди со скорбными лицами, разыскивавшие дорогие сердцу предметы или кости родных. По ночам на пепелищах выли собаки.

Оказанная императором народу щедрая помощь не остановила злоречия и возмущения. До-

вольны были только толпы ворья да бездомных нищих, которые теперь могли вволю есть, пить и грабить. Но людей, утративших близких и имущество, не удалось подкупить ни тем, что были открыты сады, ни раздачами зерна, ни обещаниями устроить игры и раздачи подарков. Слишком огромно, слишком невероятно было бедствие. Кое-кого из сохранявших искру любви к городу-отчизне приводил в отчаяние слух, что древнее имя Рома должно исчезнуть с лица земли и что император намерен воздвигнуть на пепелище новый город под названием Нерополис. Волна враждебности росла и ширилась с каждым днем, и, несмотря на лесть августиан, на лживые донесения Тигеллина, Нерон, более всех прежних императоров чувствительный к настроениям толпы, с тревогою думал, что в глухой борьбе не на жизнь, а на смерть, которую он вел с патрициями и сенатом, он может оказаться без поддержки. Сами августианы жили в страхе – любой день мог принести им гибель. Тигеллин задумал призвать несколько легионов из Малой Азии, Ватиний, хохотавший даже тогда, когда ему давали пощечину, утратил хорошее настроение, Вителлий лишился аппетита.

Предводители августиан собирались и обсуждали, как предотвратить опасность – ни для кого не было тайной, что, случись какой-нибудь взрыв, который свергнет императора, тогда, за исключением, быть может, лишь Петрония, не останется в живых ни один августиан. Ведь безумства Нерона приписывали их влиянию, все свершенные им злодеяния – их наговорам. Их ненавидели, пожалуй, даже сильнее, чем императора.

Вот и ломали они себе головы, как бы очиститься от обвинений в поджоге города. Но для этого надлежало также обелить и императора, иначе никто не поверил бы, что не они были виновниками бедствия. Тигеллин советовался с Домицием Афром и даже с Сенекой, хотя его ненавидел. Поппея, также понимая, что гибель Нерона была бы смертным приговором и для нее, спрашивала мнения у своих доверенных и у иудейских священников – кругом говорили, что она вот уже несколько лет исповедует веру в Иегову. Нерон на свой лад придумывал всякие спасительные средства – иногда ужасные, иногда шутовские, и то поддавался страху, то веселился как ребенок, но прежде всего не переставал жаловаться.

Однажды в уцелевшем от пожара доме Тиберия шло долгое и бесплодное совещание. Петроний полагал, что надо махнуть рукой на все эти заботы и ехать в Грецию, а затем в Египет и Малую Азию. Ведь такое путешествие задумано давно, зачем же откладывать, когда в Риме и уныло и небезопасно.

Император горячо приветствовал его совет, но Сенека, подумав немного, сказал:

– Поехать-то легко, но вернуться потом было бы трудно.

– Клянусь Гераклом! Вернуться можно было бы во главе азиатских легионов, – возразил Петроний.

– Так я и сделаю! – вскричал Нерон.

Тигеллин был не согласен. Сам он ничего не мог придумать, и, если бы идея Петрония пришла в голову ему, он непременно провозгласил бы ее верным спасением, но для него было важно, чтобы Петроний вновь не оказался единственным нужным человеком, который в трудную минуту умеет спасти всех и вся.

– Выслушай меня, божественный! – сказал Тигеллин. – Этот совет гибельный! Ты не успеешь доехать до Остии, как начнется гражданская война. Ведь кто-нибудь из еще живых, пусть непрямых потомков божественного Августа может провозгласить себя императором, и тогда что мы будем делать, если легионы станут на его сторону?

– А мы сделаем вот что, – возразил Нерон. – Мы загодя постараемся, чтобы потомков Августа больше не осталось. Их уже немного, и избавиться от них нетрудно.

– Сделать это можно, но разве только в них дело? Мои люди не далее как вчера слышали разговоры в толпе, что императором должен быть такой муж, как Тразея.

Нерон прикусил губу. Но тут же поднял глаза кверху и сказал:

– Ненасытные и неблагодарные! У них вдоволь зерна и углей, на которых они могут печь лепешки, чего ж им еще надо?

На что Тигеллин ответил:

– Мести!

Наступило молчание. Внезапно Нерон встал и, подняв руку вверх, начал декламировать:

Сердца требуют мести, а месть требут жертв.

И, обо всем позабыв, воскликнул с прояснившимся лицом:

– Подать сюда таблицы и стиль, я должен записать этот стих. Лукану такого не сочинить. А вы заметили, что он возник у меня в одно мгновенье?

– О несравненный! – отозвалось несколько голосов сразу.

– Да, месть требует жертв, – записав стих, сказал Нерон и, обводя глазами окружающих, прибавил: – А что, если пустить слух, что это Ватиний приказал сжечь город, и принести его в жертву гневу народа?

– О божественный! Да ведь я – ничто! – воскликнул Ватиний.

– Ты прав! Надо бы кого-то покрупнее тебя… Вителлия?..

Вителлий побледнел, но все же захохотал.

– От моего жира, – сказал он, – пожар может вспыхнуть снова.

Но у Нерона было на уме другое, он мысленно подыскивал жертву, которая действительно могла бы унять гнев народа, и он ее нашел.

– Тигеллин, – молвил он, – это ты сжег Рим!

Присутствующие похолодели от страха. Им стало ясно, что на сей раз император не шутит и что наступил миг, чреватый важными событиями.

Лицо Тигеллина исказила гримаса, напоминавшая оскал готовящейся укусить собаки.

– Я сжег Рим по твоему приказу, – возразил он.

И оба вперили друг в друга злобные взгляды, подобно двум демонам. Воцарилась такая тишина, что слышно было жужжанье мух в атрии.

– Тигеллин, – спросил Нерон, – ты любишь меня?

– Ты сам знаешь это, государь.

– Так принеси себя в жертву ради меня!

– О божественный, – ответил Тигеллин, – зачем ты предлагаешь мне сладостное питье, которое я не могу поднести к устам? Народ ропщет и бунтует, не хочешь же ты, чтобы взбунтовались и преторианцы?

Ощущение нависшей опасности пронзило сердца окружающих. Тигеллин был префектом претория, и его слова означали прямую угрозу. Сам Нерон понял это, и лицо его заметно побледнело.

Но тут вошел Эпафродит, вольноотпущенник императора, с вестью, что божественной Августе угодно видеть Тигеллина, ибо у нее находятся люди, которых префект должен выслушать.

Тигеллин отвесил поклон императору и со спокойным и надменным видом удалился. Его хотели ударить, и он сумел показать зубы, он дал понять, кто он, и, зная трусость Нерона, был уверен, что этот владыка мира никогда не посмеет занести на него руку.

А Нерон некоторое время сидел молча, но, заметив, что окружающие ждут его слов, произнес:

– Я пригрел змею на своей груди.

Петроний пожал плечами, точно говоря, что такой змее нетрудно и голову оторвать.

– Ну, что ты скажешь? Говори, советуй! – вскричал Нерон, видя его презрительную мину. – Тебе одному я доверяю, потому что у тебя больше ума, чем у них всех, и ты меня любишь!

У Петрония едва не сорвалось с уст: «Назначь меня префектом претория, я выдам Тигеллина народу и в один день успокою город». Но природная лень взяла верх. Быть префектом означало взвалить на свои плечи заботу о персоне императора и тысячи публичных дел. На что ему это бремя? Не лучше ли читать в роскошной библиотеке стихи, разглядывать вазы и статуи или, держа в объятьях божественное тело Эвники, перебирать пальцами ее золотые локоны и лобзать ее коралловые уста.

И он сказал:

– Я советую ехать в Ахайю.

– Ах, – ответил Нерон, – я ожидал от тебя чего-то большего. Сенат меня ненавидит. Если я уеду, кто мне поручится, что они не восстанут против меня и не провозгласят императором кого-то другого? Народ раньше был мне предан, но теперь он последует за ними. Клянусь Гадесом, если бы у этого сената и этого народа была одна голова!..

– Дозволь, божественный, заметить тебе, что, если ты желаешь сохранить Рим, надо бы сохранить хоть нескольких римлян, – с усмешкой молвил Петроний.

– Что мне до Рима и римлян! – воскликнул Нерон. – Лишь бы меня слушали в Ахайе! Здесь вокруг меня сплошное предательство. Все меня покидают! И вы тоже готовы мне изменить! Я это знаю, знаю! Вы даже не думаете о том, что скажут о вас в грядущие века, коль вы покинете такого артиста, как я! – Тут он внезапно хлопнул себя по лбу. – О да! Среди всех этих забот я сам забываю, кто я! – После этих слов он обратился к Петронию, лицо его уже совершенно прояснилось: – Народ ропщет, но не полагаешь ли ты, Петроний, что, если бы я взял лютню и вышел с нею на Марсово поле да спел бы им ту песнь, которую пел вам во время пожара, я мог бы тронуть их своим пеньем, как некогда Орфей укрощал диких животных?

Туллий Сенецион, которому не терпелось поскорее вернуться к своим привезенным из Анция рабыням и который давно уже с досадой слушал эту беседу, сказал:

– Без сомнения, божественный, если бы только тебе разрешили начать.

– Едем в Элладу! – с раздражением воскликнул Нерон.

Но в этот миг вошла Поппея, а за нею Тигеллин. Глаза всех невольно обратились к нему, ибо никогда еще ни один триумфатор не взъезжал с таким горделивым видом на Капитолий, как он сейчас явился к императору. И вот он заговорил медленно и четко голосом, в котором звенел металл:

– Выслушай меня, государь, наконец я могу тебе сказать: я нашел! Народу нужна месть, нужна жертва, но не одна, а сотни и тысячи. Доводилось ли тебе слышать, государь, кто был Христос, распятый Понтием Пилатом[369]? И знаешь ли ты, кто такие христиане? Разве я тебе не говорил об их преступлениях и нечестивых обрядах, об их предсказаниях, что огонь принесет конец света? Народ их ненавидит и относится к ним с подозрением. В храмах наших никто их не видел, потому что наших богов они считают злыми духами, – не видать их и на Стадионе, они презирают ристания. Никогда ни один христианин не почтил тебя рукоплесканиями. Никогда ни один из них не признал тебя богом. Они враги рода человеческого, враги города и твои. Народ ропщет на тебя, но ведь не ты, о божественный, приказал сжечь Рим, и не я его сжег… Народ жаждет мести, так пусть же он ее получит. Народ жаждет крови и игр, так пусть же он их получит. Народ подозревает тебя, так пусть же его подозренья обратятся в другую сторону.

Сперва Нерон слушал с недоумением. Но чем дальше говорил Тигеллин, тем явственнее становилась смена выражений на его лице актера: гнев, скорбь, сочувствие, возмущение поочередно рисовались на нем. Внезапно Нерон встал и, сбросив с себя тогу, которая упала к его ногам, воздел обе руки кверху и с минуту так стоял безмолвно. Наконец он произнес голосом трагического актера:

– О Зевс, Аполлон, Гера, Афина, Персефона и все бессмертные боги, почему вы не пришли нам на помощь? Чем мешал несчастный город этим извергам, что они сожгли его так беспощадно?

– Они враги рода человеческого и твои враги, – сказала Поппея.

Тут раздались возгласы:

– Будь справедлив! Покарай поджигателей! Сами боги требуют мести!

Нерон сел, опустил голову на грудь и долго молчал, будто его ошеломила подлость, о которой он услышал. Затем он потряс кулаками и произнес:

– Какой кары, каких мук заслуживают такие злодеяния? Но боги вдохновят меня, и с помощью сил Тартара[370] я дам бедному моему народу такое зрелище, что еще многие века он будет ме-

[369] *Понтий Пилат* – прокуратор Иудеи в 26–36 гг.

[370] *Тартар* – в греческой мифологии наиболее темная и глубокая часть Аида.

ня вспоминать с благодарностью.

Лицо Петрония помрачнело. Он подумал об опасности, что нависла над Лигией, над Винициям, которого он любил, и над всеми этими людьми, чье учение он отвергал, но в чьей невиновности был убежден. Подумал он также, что теперь начнется одна из тех кровавых оргий, которых его глаза не выносили. Но прежде всего он сказал себе: «Я должен спасти Виниция, он сойдет с ума, если эта девушка погибнет». И эти соображения перевесили все прочие. Петроний понимал, что затевает игру чрезвычайно опасную, какой еще не вел никогда.

Начал он, однако, свою речь непринужденно и небрежно, как говорил обычно, высмеивая эстетическое убожество замыслов императора или августиан.

– Стало быть, вы нашли жертву? Превосходно! Можете их отправить на арену или нарядить в «туники скорби»[371]. Это тоже будет превосходно! Но выслушайте меня. У вас власть, у вас преторианцы, у вас сила, так будьте же искренни хотя бы тогда, когда вас никто не слышит. Обманывайте народ, но не самих себя. Можете выдать народу христиан, осудить на какие вам вздумается муки, но имейте все же мужество сказать себе, что не они сожгли Рим! Фи! Вы называете меня арбитром изящества, так вот, я заявляю вам, что я не выношу дрянных комедий. Ах, как все это напоминает мне театральные балаганы у Ослиных ворот, где актеры на потеху пригородной черни изображают богов и богинь, а после представления едят лук, запивают его кислым вином или получают порку. Будьте же в самом деле богами и царями, поверьте, вы можете себе это позволить. Что до тебя, государь, ты грозил нам судом грядущих веков, но подумай о том, что приговор они вынесут и тебе. Клянусь божественной Клио![372] Нерон, владыка мира, Нерон-бог сжег Рим, ибо был на земле столь же могуществен, как Зевс на Олимпе. Нерон-поэт так любил поэзию, что ради нее пожертвовал родным городом. С сотворения мира никто на подобное не решался. Заклинаю вас именем девяти Либетрийских[373] нимф, не отказывайтесь от такой славы – ведь тогда песни о тебе будут звучать до скончания веков. Кем будут в сравнении с тобою Приам, Агамемнон, Ахиллес, сами боги? Неважно, было ли сожжение Рима делом добрым, главное – это деяние великое, необычайное! И еще говорю тебе – народ не поднимет на тебя руку! Это неправда! Имей мужество! Берегись поступков, тебя недостойных, – тебе угрожает лишь то, что грядущие века могут сказать: «Нерон сжег Рим, но, как малодушный император и малодушный поэт, отрекся от великого деяния из страха и свалил вину на невинных!»

Слова Петрония обычно оказывали действие на Нерона, но на этот раз сам Петроний не обманывал себя – он понимал, что пускает в ход последнее средство, которое в случае удачи может, правда, спасти христиан, но еще вернее может погубить его самого. Впрочем, он не колебался – ведь дело шло о Виниции, которого он любил, и, кроме того, его привлекал азарт этой игры. «Кости брошены, – говорил он себе, – посмотрим, насколько страх за собственную шкуру перевесит жажду славы».

Но он не сомневался, что перевесит страх.

А тем временем после его слов наступила тишина. Поппея и все присутствующие впились взглядами в глаза Нерона, а он, выпятив губы, поднял их к ноздрям, как делал всегда, когда не знал, как поступить. Лицо его приняло выражение озабоченности и недовольства.

– Государь, – воскликнул, заметив это, Тигеллин, – разреши мне удалиться. Когда хотят подвергнуть смертельной угрозе твою особу и при этом называют тебя малодушным императором, малодушным поэтом, поджигателем и комедиантом, уши мои не могут стерпеть таких слов.

«Я проиграл», – подумал Петроний.

Но, оборотясь к Тигеллину, он смерил его взглядом, в котором было презрение знатного вельможи и утонченного человека к нищему, и молвил:

– Это тебя я назвал комедиантом, Тигеллин, и ты являешься им даже сейчас.

---

[371] Эти туники, пропитанные горючим составом (обычно – смолой), надевали на приговоренных к сожжению.

[372] *Клио* – муза истории.

[373] Город Либетры в Фессалии был знаменит источником, посвященным девяти музам.

– Не потому ли, что не желаю слушать твоих оскорблений?

– Потому что ты разыгрываешь безграничную любовь к императору, а сам только недавно грозил ему преторианцами, что поняли мы все, и он также.

Тигеллин, не ожидавший, что Петроний решится выбросить на стол такие кости, побледнел, смешался и утратил дар слова. Но то была последняя победа арбитра изящества над его соперником, ибо в эту же минуту Поппея сказала:

– Господин мой, как можешь ты позволять, чтобы такая мысль даже появилась у кого-то в голове, а тем более чтобы кто-то дерзнул высказать ее вслух перед тобою?

– Покарай наглеца! – завопил Вителлий.

Нерон опять приподнял выпяченные губы к носу и, устремив на Петрония свои стеклянные близорукие глаза, сказал:

– Так-то ты платишь мне за мои дружеские чувства?

– Если я ошибаюсь, докажи мне это, – возразил Петроний. – Но знай, я говорю то, что мне велит моя любовь к тебе.

– Покарай наглеца! – повторил Вителлий.

– Да, да, сделай это! – послышалось еще несколько голосов.

В атрии поднялся шум, началось движение – все стали отодвигаться от Петрония. Отодвинулся даже Туллий Сенецион, постоянный его товарищ при дворе, и молодой Нерва, до сих пор выказывавший ему самую горячую дружбу. Еще минута, и Петроний остался один на левой половине атрия – с улыбкой на губах, расправляя ладонью складки тоги, он еще ждал, что скажет или сделает император.

А император сказал:

– Вы хотите, чтобы я его покарал, но это мой товарищ и друг, и, хотя он ранил мое сердце, пусть знает, что для друзей в этом сердце живет лишь… прощение.

«Я проиграл и погиб», – подумал Петроний.

Император поднялся с места, совещание было окончено.

Глава L

Петроний отправился домой. А Нерон с Тигеллином перешли в атрий Поппеи, где их ждали люди, с которыми префект только что говорил.

Это были два раввина из Заречья, облаченные в длинные парадные одежды и с митрами на головах, их помощник – молодой писарь, а также Хилон. При виде императора священники побледнели от волнения и, приподняв сложенные ладони на уровень плеч, склонили к ним головы.

– Привет тебе, монарх монархов и царь царей, – молвил старший из двоих, – привет тебе, владыка земли, покровитель избранного народа и император, лев среди людей, чье величие подобно сиянию солнца, и кедру ливанскому, и источнику живительному, и пальме плодоносной, и бальзаму иерихонскому!..

– А богом вы меня не называете? – спросил император.

Священники еще пуще побледнели, и опять заговорил старший:

– Слова твои, повелитель, сладостны, как сок виноградной грозди и как зрелая смоква, ибо Иегова наполнил добротою сердце твое. Предшественник отца твоего, император Гай, был жесток[374], и все же послы наши не именовали его богом, предпочитая смерть нарушению закона.

– И Калигула велел бросить их львам?

– Нет, государь. Император Калигула убоялся гнева Иеговы.

И оба подняли головы, словно имя всемогущего Иеговы придало им мужества. Уповая на его силу, они уже смелее смотрели в глаза Нерону.

– Вы обвиняете христиан в сожжении Рима? – спросил император.

– Мы, государь, обвиняем их лишь в том, что они враги Закона, враги рода человеческого,

[374] Намек на преследования иудеев при Калигуле.

враги Рима и твои и что они уже давно грозили городу и миру огнем. Остальное поведает тебе этот человек, чьи уста не осквернит ложь, ибо в жилах его матери текла кровь избранного народа.

– Кто ты? – спросил император у Хилона.

– Твой почитатель, о Осирис, и при этом бедный стоик.

– Терпеть не могу стоиков, – сказал Нерон, – ненавижу Тразею, ненавижу Музония и Корнута. Мне противны их речи, их презрение к искусству, их добровольная бедность и неопрятность.

– Государь, у твоего наставника Сенеки тысяча столов из туевого дерева. Стоит тебе пожелать, и у меня будет их дважды столько. Я стоик по необходимости. Укрась, о Лучезарный, мой стоицизм венком из роз да поставь перед ним кувшин вина, и он будет петь стихи Анакреонта так усердно, что заглушит всех эпикурейцев.

Нерону пришелся по вкусу эпитет «Лучезарный» – и он с усмешкою сказал:

– Ты мне нравишься!

– Этот человек стоит столько золота, сколько в нем веса! – воскликнул Тигеллин.

– Дополни, господин, мой вес своею щедростью, – возразил Хилон, – иначе ветер унесет мои лохмотья.

– Как бы он и вправду не перевесил Вителлия, – пошутил император.

– Увы, Среброрукий, мое остроумие отнюдь не свинцовое.

– Я вижу, что твой Закон не запрещает тебе называть меня богом?

– О бессмертный! Мой Закон воплощен в тебе, христиане же кощунственно оскорбляли этот Закон, потому я их возненавидел.

– Что ты знаешь о христианах?

– Дозволишь ли мне заплакать, о божественный?

– Нет, – сказал Нерон, – это скучно.

– И ты трижды прав, ибо на глазах, увидевших тебя, слезы должны высохнуть раз навсегда. Государь, защити меня от моих врагов!

– Говори о христианах, – вмешалась Поппея с некоторым раздражением.

– Будет исполнено, о Исида, – отвечал Хилон. – Итак, я с юности посвятил себя философии и поискам истины. Искал я ее и у древних божественных мудрецов, и в афинской Академии, и в александрийском храме Сераписа. Прослышав о христианах, я подумал, что это какая-то новая школа, в которой я смогу обрести несколько зерен истины, и, на свою беду, познакомился с ними. Первым христианином, с которым свела меня судьба, был Главк, лекарь из Неаполиса. От него-то я и узнал со временем, что они почитают некоего Хрестоса, который им обещал истребить всех людей и уничтожить все города на земле, а их оставить, ежели они ему помогут в истреблении потомков Девкалиона. Потому-то, государь, они ненавидят людей, потому отравляют источники, потому на сборищах своих изрыгают проклятия Риму и всем храмам, в которых воздается честь нашим богам. Хрестос был распят, но он пообещал им, что, когда Рим будет уничтожен огнем, он во второй раз явится в мир – и передаст им власть над землею…

– Теперь народ поймет, почему был сожжен Рим, – перебил его Тигеллин.

– Многие уже понимают, господин, – отвечал Хилон, – ибо я хожу по садам, по Марсову полю и наставляю уму-разуму. Но если вы соизволите выслушать меня до конца, вы поймете, какие у меня есть причины для мести. Лекарь Главк сперва не открывал мне, что их учение велит ненавидеть людей. Напротив, он говорил мне, будто Хрестос – божество доброе и будто в основе его учения лежит любовь. Мое чувствительное сердце не могло противиться таким истинам, я полюбил Главка и поверил ему. Я делился с ним каждым куском хлеба, каждым грошом, и знаешь ли, государь, как он мне отплатил? По пути из Неаполиса в Рим он пырнул меня ножом, а мою жену, мою прелестную, юную Беренику, продал работорговцам. Если бы Софокл[375] знал мою историю! Но что я болтаю! Меня ведь слушает некто получше Софокла.

– Бедный человек! – сказала Поппея.

– Кто узрел лик Афродиты, тот не беден, госпожа, а я в этот миг вижу ее. Но тогда я искал

[375] *Софокл* (ок. 496–406 до н.э.) – великий греческий драматург.

утешения в философии. Прибыв в Рим, я постарался сблизиться со старейшинами христиан, чтобы добиться справедливой кары Главку. Я полагал, что они заставят его вернуть мне жену. Я познакомился с их первосвященником, и еще с другим, по имени Павел, который был тут в заточении, но потом его отпустили, я познакомился с сыном Зеведеевым, с Лином, Клитом и со многими другими. Я знаю, где они жили до пожара, знаю, где собираются, я могу указать одно подземелье в Ватиканском холме и одно кладбище за Номентанскими воротами, на котором они справляют свои нечестивые обряды. Я видел там апостола Петра, видел Главка, как тот резал детей, чтобы апостолу было чем кропить головы собравшихся, и видел Лигию, воспитанницу Помпонии Грецины, хвалившуюся тем, что она, хоть и не могла принести детской крови, приносит в дар смерть ребенка, ибо она сглазила маленькую Августу, твою дочь, о Осирис, и твою, о Исида.

– Слышишь, государь? – молвила Поппея.

– Возможно ли это? – воскликнул Нерон.

– Свои обиды я мог бы простить, – продолжал Хилон, – но, услыхав о той, что причинена вам, был готов заколоть ее кинжалом. К сожалению, мне помешал благородный Виниций, в нее влюбленный.

– Виниций? Но ведь она от него убежала!

– Она-то убежала, да он ее стал искать, потому что жить без нее не мог. За ничтожную мзду я помогал в поисках, и это я указал ему дом, где она жила у христиан за Тибром. Отправились мы туда с ним и еще с твоим борцом Кротоном, которого благородный Виниций нанял для безопасности. Но Урс, раб Лигии, задушил Кротона. Это человек силы неимоверной, он, государь, может свернуть голову быку так же легко, как другой свернет на стебле маковую головку. Авл и Помпония весьма его за это ценили.

– Клянусь Геркулесом! – воскликнул Нерон. – Смертный, задушивший Кротона, достоин памятника на Форуме. Но ты, старик, ошибаешься или лжешь, потому что Кротона заколол Виниций.

– Вот так люди клевещут на богов! О государь, я сам видел, как ребра Кротона ломались в руках Урса, который потом повалил и Виниция. Он и убил бы его, кабы не Лигия. Виниций потом долго хворал, но они ходили за ним, надеялись, что из-за любви он станет христианином. И он стал христианином.

– Виниций?

– Да, он.

– А может быть, и Петроний? – поспешно спросил Тигеллин.

Хилон стал ежиться, потирать руки и наконец сказал:

– Удивляюсь твоей проницательности, господин! О да, может быть! Очень может быть!

– Теперь мне понятно, почему он так защищал христиан!

Однако Нерон расхохотался.

– Петроний – христианин? Петроний – враг жизни и наслаждений? Не будьте глупцами и не пытайтесь заставить меня поверить этому, не то я готов ничему не верить.

– Но благородный Виниций все же стал христианином, государь. Клянусь сияньем, которое от тебя исходит, что я говорю правду и что для меня нет ничего более омерзительного, чем ложь. Помпония – христианка, маленький Авл – христианин, также и Лигия, и Виниций. Я ему верно служил, а он в награду велел, по требованию лекаря Главка, отстегать меня, хотя я стар, я тогда был еще болен и голоден. И я поклялся Гадесом, что припомню ему это. О государь, отомсти им за мои обиды, а я вам выдам апостола Петра и Лина, и Клита, и Главка, и Криспа, самых главных, и Лигию, и Урса, я укажу вам сотни, тысячи христиан, укажу молитвенные дома, кладбища, все ваши тюрьмы их не вместят! Без меня вам их не найти! Доныне я в горестях своих искал утешения только в философии. Да найду я его теперь в милостях, которые на меня прольются… Я стар, а жизни еще не изведал, я хочу отдохнуть!

– Хочешь быть стоиком перед полной миской! – сказал Нерон.

– Кто оказывает тебе услугу, тем самым наполняет ее.

– Ты не ошибаешься, философ.

Но Поппея не забывала о своих врагах. Правда, ее влечение к Виницию было скорее минут-

ной прихотью, родившейся под действием зависти, гнева и оскорбленного самолюбия. Но равнодушие молодого патриция больно ее задело и наполнило ее сердце жгучей обидой. Одно то, что он посмел предпочесть ей другую, казалось ей преступлением, вопиющим о мести. Что ж до Лигии, ее она возненавидела с первой минуты, когда красота этой северной лилии вселила в нее тревогу. Петроний, рассуждая о слишком узких бедрах девушки, мог убедить в чем угодно императора, но не Августу. Поппея с одного взгляда поняла, что во всем Риме только Лигия может соперничать с нею и даже ее превзойти. И с той минуты она поклялась ее погубить.

– Государь, – сказала она, – отомсти за наше дитя!

– Торопитесь! – вскричал Хилон. – Торопитесь! Иначе Виниций спрячет ее. Я укажу дом, куда они вернулись после пожара.

– Я дам тебе десять человек, ступай тотчас же! – сказал Тигеллин.

– О господин! Ты не видел Кротона в руках Урса – если дашь пятьдесят, я только издали укажу дом. Но если вы не заточите в тюрьму и Виниция, я погиб.

Тигеллин взглянул на Нерона.

– А почему бы нам, о божественный, не покончить разом с дядюшкой и с племянником?

Нерон немного подумал, затем ответил:

– Нет! Не теперь! Люди не поверят, если их станут убеждать, будто Петроний, Виниций или Помпония Грецина подожгли Рим. У них были слишком хорошие дома. Сейчас лучше избрать в жертву других, а этим черед придет попозже.

– Так дай же мне, государь, солдат, для охраны, – сказал Хилон.

– Об этом позаботится Тигеллин.

– А покамест ты поживешь у меня, – сказал префект.

Лицо Хилона засияло от радости.

– Я выдам всех! Только поторопитесь! Поторопитесь! – зачастил он хриплым голосом.

Глава LI

Расставшись с императором, Петроний приказал нести себя домой – его дом в Каринах, окруженный с трех сторон садом, а впереди отделенный небольшой площадью Цецилиев, уцелел, подобно островку, от пожара.

По этому поводу прочие августианы, лишившиеся своих домов и с ними многих богатств и произведений искусства, называли Петрония счастливцем. Впрочем, о нем уже давно говорили, что он поистине первородный сын Фортуны, и все более горячая дружба, которой в последнее время удостаивал его император, казалось, подтверждала такое мнение.

Однако теперь этот первородный сын Фортуны мог лишь сетовать на непостоянство своей матушки, а вернее, на ее сходство с пожирающим собственных детей Хроносом[376].

– Если бы сгорел мой дом, – говорил он себе, – а с ним вместе и мои геммы, мои этрусские вазы, и александрийское стекло, и коринфская бронза, тогда, возможно, Нерон и впрямь забыл бы про обиду. Клянусь Поллуксом! Подумать только, что от меня зависело, быть ли мне сейчас префектом преторианцев! Я бы тогда объявил Тигеллина поджигателем, каким он, впрочем, и является, нарядил бы его в «скорбную тунику», выдал бы народу, спас христиан и заново отстроил бы Рим. И как знать, не лучше ли стало бы жить порядочным людям? Я должен был это сделать, хотя бы ради Виниция. А если бы потребовалось слишком много трудиться, я уступил бы должность префекта ему – и Нерон даже не пытался бы противиться. Пусть бы Виниций потом окрестил всех преторианцев, да и самого императора – мне-то от этого какой вред! Благочестивый Нерон, добродетельный и милосердный Нерон – это, пожалуй, было бы занятное зрелище.

[376] *Хронос* (*греч.* «время») – один из смыслообразов, связанных в греческой мифологии с богом Кроносом, отцом Зевса. По преданию, Кроноса должен был лишить власти его собственный сын. Поэтому Кронос проглатывал своих детей сразу после их рождения (подобно тому, как время-вечность «проглатывает» дни, месяцы, годы). Этой участи избежал лишь Зевс, которого его мать Рея утаила и взрастила в пещере на Крите.

И такова была его беспечность, что он даже улыбнулся. Но вскоре мысли его обратились на другое. Ему почудилось, будто он в Анции и будто Павел из Тарса ему говорит:

«Вы называете нас врагами жизни, но ответь мне, Петроний: если бы император был христианином и поступал бы согласно нашему учению, не была бы тогда ваша жизнь более надежной и безопасной?»

И, вспомнив эти слова, Петроний задумался над ними.

– Клянусь Кастором! – сказал он себе. – Сколько тут перебьют христиан, столько же Павел найдет новых – ведь если мир не может стоять на подлости, значит, он прав… Но кто знает, может или не может, – стоит ведь! Я-то хоть научился многому, все же не научился быть в достаточной мере подлецом, и потому придется мне вскрыть себе вены… Но все равно этим должно было кончиться, а если бы даже кончилось не так, то кончилось бы иначе. Жаль мне Эвники и моей мурринской чаши, но Эвника свободна, а чаша уйдет со мной. Агенобарб ее ни в коем случае не получит! Жаль мне еще Виниция. Впрочем, хотя последнее время я скучал меньше, чем прежде, я готов. Некоторые вещи в мире прекрасны, но люди по большей части так ничтожны, что жалеть о жизни не стоит. Кто умел жить, должен уметь умереть. Хотя я принадлежу к августианам, а все же я был человек более свободный, чем они там предполагают. – Тут он пожал плечами. – Они там, возможно, думают, что в эту минуту у меня дрожат коленки и волосы на голове встали дыбом от страха, а я, воротясь домой, приму ванну из фиалковой воды, а потом моя Златоволосая сама меня умастит и после трапезы мы прикажем петь нам гимн Аполлону, сочиненный Антемием. Я же сам когда-то сказал: «О смерти не стоит думать, ибо она о нас думает без нашей помощи». Однако было бы и впрямь достойно удивления, если бы действительно существовали какие-то Елисейские поля и на них – тени… Пришла бы туда со временем ко мне Эвника, и мы вместе бродили бы по лугам, заросшим асфоделями. Там я нашел бы общество почище здешнего. О, какие шуты! Какие фигляры! Какое сборище ничтожеств без вкуса и без лоска! Десять арбитров изящества не переделали бы этих Тримальхионов в приличных людей! Клянусь Персефоной! Я ими сыт по горло!

И он с удивлением отметил, что его от этих людей уже что-то отделяет. Ведь он и раньше хорошо их знал и понимал, чего они стоят, но теперь они показались ему куда более чуждыми и достойными презрения, чем обычно. Да, он был ими сыт по горло.

Но затем Петроний стал размышлять над своим положением. Как человек проницательный, он понимал, что сейчас гибель ему не грозит. Нерон как-никак воспользовался удобной минутой, чтобы произнести несколько красивых, возвышенных слов о дружбе и о прощении и отчасти себя ими связал. Теперь ему придется искать повод, а пока он найдет, может пройти немало времени. «Вначале он устроит забаву с христианами, – говорил себе Петроний, – и только потом подумает обо мне, а если так, то не стоит тревожиться и менять образ жизни. Более близкая опасность угрожает Винициюю!»

И с этой минуты он уже думал только о Виниции, которого решил спасти.

Рабы быстро шли с носилками среди руин, пепелищ и торчащих печных труб, которыми еще были усеяны Карины, но Петроний, торопясь на свою виллу, приказал им бежать бегом. Виниций, чей особняк сгорел, жил у него и, к счастью, оказался дома.

– Ты сегодня видел Лигию? – сразу же спросил Петроний.

– Я только от нее.

– Слушай, что я скажу, и не трать времени на вопросы. Нынче у императора было решено свалить на христиан вину за сожжение Рима. Им грозят гонения и муки. Преследования могут начаться в любую минуту. Бери Лигию, и бегите тотчас же – хотя бы за Альпы или в Африку. И не мешкай – от Палатина за Тибр ближе, чем отсюда!

Виниций был по натуре слишком солдатом, чтобы терять время на излишние расспросы. Он слушал, нахмуря брови, с видом сосредоточенным и суровым, но без испуга. Видимо, первым чувством, пробуждавшимся в нем перед лицом опасности, было желание бороться и защищаться.

– Иду! – сказал он.

– Еще одно слово – захвати кошелек с золотом да оружие и несколько твоих друзей христиан. Если потребуется, отбей ее силой!

Виниций стоял уже в дверях атрия.

– Пришли мне весточку с рабом, – крикнул вслед уходящему Петроний.

И, оставшись один, принялся расхаживать вдоль украшавших атрий колонн, стараясь представить себе дальнейший ход событий. Он знал, что Лигия и Лин после пожара вернулись в прежний дом, который – как большинство домов за Тибром – уцелел, и это теперь выходило к худшему, ибо среди бездомных толп было бы труднее их найти. Он все же надеялся, что на Палатине никто не знает, где они живут, и что, во всяком случае, Виниций опередит преторианцев. Пришло ему также на ум, что Тигеллин захочет одним ударом выловить возможно большее число христиан и для этого должен будет растянуть свою сеть на весь Рим, то есть разбить преторианцев на малые отряды. Если за Лигией пошлют не более десятка солдат, думал он, то один великан лигиец переломает всем им кости, а если еще и Виниций придет в помощь!.. И мысль об этом придала ему бодрости. Правда, оказать вооруженное сопротивление преторианцам было почти равносильно тому, чтобы вступить в войну с самим императором. Также знал Петроний, что, если Виниций укроется от мести Нерона, месть может обрушиться на него, но об этом он не слишком печалился. Напротив, мысль о том, что он расстроит планы Нерона и Тигеллина, развеселила его. Он решил не жалеть на это ни денег, ни людей – Павел из Тарса еще в Анции обратил большинство его рабов, и он был уверен, что при защите христианки может рассчитывать на их готовность и преданность.

Его раздумья были прерваны появлением Эвники. При виде нее все его заботы и тревоги исчезли бесследно. Он забыл об императоре, о постигшей его немилости, об исподличавшихся августианах, о грозящих христианам гонениях, о Виниции и Лигии и только смотрел на Эвнику глазами эстета, восхищенного дивными формами, и любовника, для которого это дивное тело дышит любовью. Эвника, одетая в прозрачное фиолетовое платье, называвшееся coa vestis[377], сквозь которое просвечивало ее розовое тело, была и впрямь прекрасна, как богиня. Чувствуя, что ею восхищаются, и безгранично любя Петрония, всегда жаждая его ласк, она зарумянилась от радости, словно была не наложницей, а невинной девушкой.

– Что скажешь мне, моя Харита? – спросил Петроний, протягивая к ней руки.

А она, склонив перед ним свою златоволосую головку, ответила:

– Господин, пришел Антемий с певцами и спрашивает, желаешь ли ты сегодня его слушать.

– Пусть подождет. За обедом он споет для нас гимн Аполлону. Вокруг еще пожарища да пепел, а мы будем слушать гимн Аполлону! Клянусь пафийскими рощами! Когда я вижу тебя в этом косском платье, мне чудится, будто стоит предо мной сама Афродита, прикрывшаяся лоскутком неба.

– О господин! – молвила Эвника.

– Иди ко мне, Эвника, обними меня крепко и дай мне твои уста. Ты любишь меня?

– Самого Зевса я не любила бы сильнее!

С этими словами она прижалась губами к его губам, трепеща от счастья в его объятьях.

– А если бы нам пришлось расстаться? – спросил Петроний после поцелуя.

Эвника с ужасом посмотрела ему в глаза:

– Как это понять, господин?

– Не пугайся! Видишь ли, возможно, мне придется отправиться в далекое путешествие.

– Возьми меня с собой!

Но Петроний, внезапно меняя предмет разговора, спросил:

– Скажи мне, у нас в саду на полянах растут асфодели?

– Кипарисы и поляны в саду пожелтели от пожара, с миртов опали листья, весь сад стоит как мертвый.

– Весь Рим стоит как мертвый и вскоре будет доподлинным кладбищем. Знаешь, должен быть издан эдикт против христиан, начнутся гонения, при которых погибнут тысячи.

– За что ж их будут карать, господин? Они люди добрые, смирные.

---

[377] Coa vestis – «косская одежда» *(лат.)*; обыкновенно так назывались дорогие женские платья, изготовлявшиеся на о. Кос из вырабатывавшихся там же тканей (виссона и др.).

– Именно за это.

– Тогда поедем к морю. Твои божественные глаза не любят смотреть на кровь.

– Не возражаю, но пока что я хотел бы искупаться. Приходи в элеотезий умастить мне спину. Клянусь поясом Киприды! Никогда еще ты не казалась мне такой прекрасной. Я прикажу сделать тебе ванную в виде раковины, и ты в ней будешь как драгоценная жемчужина… Приходи, Златоволосая!

Он ушел, а часом позже оба они в венках из роз, с затуманенными страстью глазами, возлегли у стола, уставленного золотой посудой. Прислуживали им наряженные амурами мальчики, а они пили маленькими глотками вино из увитых плющом кубков и слушали гимн Аполлону, который под звуки арф пели певцы во главе с Антемием. Какое было им дело до того, что вокруг виллы торчали обгорелые трубы и что порывы ветра вздымали с пожарищ пепел сожженного Рима! Они чувствовали себя счастливыми и думали лишь о любви, которая превращала для них жизнь в божественный сон.

Но прежде чем певцы допели гимн, в залу вошел смотритель атрия.

– Господин, – обратился он к Петронию с тревогою в голосе, – у ворот стоит центурион с отрядом преторианцев и, по приказанию императора, желает тебя видеть.

Пенье и музыка арф стихли. Тревога передалась всем присутствовавшим – император в общении с друзьями обычно не прибегал к услугам преторианцев, и их появление по тем временам не сулило ничего хорошего. Один лишь Петроний не выказал и тени волнения – как человек, которому надоели частые приглашения, он со скучающим видом сказал:

– Могли бы дать мне спокойно доесть мой обед! – После чего приказал смотрителю атрия: – Впусти их.

Раб скрылся за завесой. Минуту спустя послышались тяжелые шаги, и в залу вошел знакомый Петронию сотник Аир в полном вооружении и с железным шлемом на голове.

– Благородный Петроний, – сказал он, – тебе письмо от императора.

Петроний лениво протянул белую свою руку, взял табличку и, бросив на нее взгляд, с невозмутимым спокойствием передал Эвнике.

– Вечером он будет читать новую песнь из «Троики», – сказал Петроний, – и зовет меня.

– Мне дан приказ только вручить письмо, – сказал сотник.

– Да, конечно. Ответа не будет. Но, может быть, ты, центурион, отдохнул бы немного вместе с нами и выпил кратер вина?

– Благодарствуй, благородный Петроний. Я охотно выпью кратер вина за твое здоровье, но отдыхать не могу, я на службе.

– А почему письмо дали тебе, а не прислали с рабом?

– Этого я не знаю, господин. Может быть, потому, что меня послали в эту сторону по другому делу.

– А, понимаю, – сказал Петроний, – облава на христиан?

– Именно так, господин.

– Давно начали облаву?

– Некоторые отряды были посланы за Тибр еще до полудня.

С этими словами сотник выплеснул из чаши немного вина в жертву Марсу, затем выпил ее.

– Да пошлют тебе боги, господин, все, чего ты пожелаешь! – сказал он.

– Возьми себе этот кратер, – сказал Петроний и дал знак Антемию продолжать гимн Аполлону.

– Меднобородый начинает играть со мною и с Виницием, – сказал он себе, когда снова зазвучали арфы. – Я угадал его замысел! Он хотел меня напугать, прислав приглашение с центурионом. Вечером они будут выпытывать у сотника, как я его принял. Нет, нет, я не доставлю тебе этой радости, злобное, жестокое чучело! Я знаю, обиду ты не простишь, знаю, гибели мне не миновать, но если ты думаешь, что я буду умоляюще глядеть тебе в глаза, что ты увидишь на моем лице страх и покорность, ты ошибаешься.

– Господин, император пишет: «Приходите, если будет желание», – сказала Эвника. – Ты пойдешь?

– Я в превосходном настроении и способен слушать даже его стихи, – ответил Петроний. – И я пойду, тем более что Виниций пойти не может.

После обеда и обычной прогулки он отдал себя в руки рабынь – чесальщиц волос, и рабынь, укладывающих складки тоги, и час спустя, прекрасный, как бог, велел нести себя на Палатин. Время было позднее, стоял тихий, теплый вечер, луна светила так ярко, что рабы-лампадарии, шедшие перед носилками, погасили факелы. Вдоль улиц и среди развалин бродили опьяненные вином ватаги гуляк в гирляндах из плюща и жимолости, с ветками мирта и лавра в руках, сорванными в садах императора. Обилие зерна и надежда на великолепные игры наполняли весельем сердца римлян. Кое-где распевали песни, славящие «божественную ночь» и любовь, в других местах плясали при лунном свете. Рабам неоднократно приходилось кричать, чтобы дали дорогу носилкам «благородного Петрония», и тогда толпа расступалась с приветственными возгласами в честь своего любимца.

А он в это время думал о Виниции, дивясь, что нет от него никаких вестей. Петроний был эпикуреец и эгоист, но, в общении с Павлом из Тарса и с Виницием ежедневно слыша о христианах, немного изменился, сам того не зная. Повеяло на него от них каким-то особым ветром, занесшим в его душу неведомые семена. Его начали занимать другие люди, кроме собственной особы; к Виницию, впрочем, он всегда был привязан, так как в детстве очень любил его мать, свою сестру. А ныне, приняв участие в его делах, следил за ними с таким увлечением, словно бы смотрел трагедию.

Он не терял надежды, что Виниций опередил преторианцев и сбежал с Лигией или же на худой конец отбил ее силой. Но ему хотелось быть уверенным в этом, он предвидел, что, возможно, придется отвечать на всяческие вопросы, к которым следовало бы подготовиться.

Велев рабам остановиться у дома Тиберия, Петроний вышел из носилок и минуту спустя был в атрии, уже заполненном августианами. Вчерашние друзья хотя и дивились, что он приглашен, все же сторонились его, а он шел среди них, выделяясь красотой, непринужденностью осанки и такой уверенностью в себе, словно бы сам раздавал милости. Некоторые, видя это, втайне обеспокоились – не слишком ли поспешили они выказать ему свою холодность.

Император, однако, притворился, будто его не замечает, и не ответил на поклон, делая вид, что поглощен беседой. Зато Тигеллин, подойдя к нему, сказал:

– Добрый вечер, арбитр изящества! И ты все еще утверждаешь, что Рим сожгли не христиане?

На что Петроний, пожав плечами и похлопав Тигеллина по спине, точно какого-нибудь вольноотпущенника, отвечал:

– Ты не хуже меня знаешь, что об этом думать.

– О, я не смею равнять себя с таким мудрецом.

– И отчасти ты прав, иначе, когда император прочитает нам новую песнь из «Троики», тебе пришлось бы не орать как павлин, а высказать какое-нибудь разумное мнение.

Тигеллин прикусил губу. Его не слишком радовало, что император вознамерился сегодня читать новую песнь, – ведь на этом поприще он с Петронием состязаться не мог. И действительно, читая стихи, Нерон невольно по давней привычке поглядывал на Петрония, следя за выражением его лица. А тот, слушая, то округлял брови, то одобрительно кивал, а временами изображал напряженное внимание, точно стараясь убедиться, что хорошо расслышал. После чтения Петроний кое-что похвалил, кое в чем нашел изъяны и предложил некоторые стихи изменить или отшлифовать. Сам Нерон чувствовал, что все прочие, не скупясь на преувеличенные восхваления, думают только о самих себе, один лишь Петроний занят поэзией ради самой поэзии, один он понимает ее, и если что-то похвалит, то уж наверняка эти стихи достойны похвалы. И мало-помалу император вступил с ним в беседу и в легкий спор, и, когда Петроний высказал сомнение относительно какого-то оборота, Нерон сказал:

– Вот увидишь в последней песне, почему я его употребил.

«Ах, – подумал Петроний, – стало быть, я дождусь последней песни».

Не один из присутствовавших, слыша это, говорил себе:

«Горе мне! Имея впереди столько времени, Петроний может снова войти в милость и сверг-

нуть даже Тигеллина».

И потихоньку они стали придвигаться к нему. Но конец вечера оказался менее счастливым – когда Петроний прощался с императором, тот, со злорадным выражением лица прищурив глаза, вдруг спросил:

– А почему Виниций не пришел?

Будь у Петрония уверенность, что Виниций с Лигией уже за городскими воротами, он бы ответил: «С твоего позволения он женился и уехал». Но, видя странную усмешку Нерона, Петроний сказал:

– Твое приглашение, божественный, не застало его дома.

– Передай ему, что я буду рад его видеть, – молвил Нерон, – и скажи от моего имени, чтобы он не пропустил игр, в которых выступят христиане.

Петрония слова эти встревожили, ему почудился в них прямой намек на Лигию. Усевшись в носилки, он приказал нести себя домой еще быстрее, чем утром. Однако это было нелегко. Перед домом Тиберия собралась большая, шумная толпа пьяных, только эти не пели и не плясали, и вид у них был возбужденный. Издали доносились какие-то крики – а что кричали, Петроний не сразу понял, – они становились все громче, все неистовей, пока не слились в один дикий вопль:

– Христиан ко львам!

Роскошные носилки придворных двигались среди воющей этой толпы. Из глубины черневших пожарищами улиц появлялись все новые пьяные ватаги, которые, услышав клич, подхватывали его. Из уст в уста передавали, что облава продолжается с полудня, что схвачено уже множество поджигателей, – и вскоре по новопроложенным и старым улицам, по загроможденным руинами закоулкам, вокруг Палатина, по всем холмам и во всех садах, во всем Риме от края и до края, гремел все более оглушительный клич:

– Христиан ко львам!

– Стадо! – с презрением повторял Петроний. – Народ, достойный своего императора!

И он задумался над тем, что этот мир, основанный на насилии и такой жестокости, на какую даже варвары не были способны, мир, погрязший в преступлениях и диком разврате, не может устоять. Рим был владыкой мира, но также язвой мира. От него несло трупным зловонием. На этой прогнившей жизни лежала тень смерти. Не раз толковали об этом между собою августианы, но никогда еще Петроний так остро не сознавал, что горделивая колесница с триумфатором Римом, влачащая за собою сонмы народов в цепях, катится в бездну. Жизнь мировластительного города явилась ему какой-то шутовской пляской, какой-то оргией, которой скоро придет конец.

Теперь он понимал, что только у христиан есть новые основы жизни, но ему казалось, что вскоре от христиан и следа не останется. И что тогда?

Шутовской хоровод будет нестись и дальше под предводительством Нерона, а коль Нерон сгинет, найдется второй такой же или еще худший, ибо при таком народе и таких патрициях нет никакой надежды, что найдется лучший. Будет новая оргия, и, наверно, еще более мерзкая и безобразная.

Но ведь оргия не может длиться вечно, после нее надо идти спать, ну хоть бы просто от усталости.

Думая об этом, Петроний вдруг почувствовал смертельную усталость. Стоит ли жить, да еще жить без уверенности в завтрашнем дне, лишь для того, чтобы глядеть на подобный миропорядок? Гений смерти не менее прекрасен, чем гений сна, у него тоже за плечами крылья.

Носилки остановились у дверей дома, которые чуткий привратник отворил в тот же миг.

– Благородный Виниций возвратился? – спросил Петроний.

– Минуту назад, господин, – ответил раб.

«Значит, не отбил ее», – подумал Петроний.

И, сбросив с себя тогу, он поспешил в атрий. Виниций сидел на табурете, склонясь головою чуть не до колен и обхватив голову руками, но при звуке шагов он поднял окаменевшее лицо, на котором только лихорадочно горели глаза.

– Опоздал? – спросил Петроний.

– Да. Ее схватили еще до полудня.

Наступило молчание.

– Ты ее видел?

– Да.

– Где она?

– В Мамертинской тюрьме.

Петроний вздрогнул и вопросительно посмотрел на Виниция.

Тот все понял.

– Нет! – воскликнул Виниций. – Ее бросили не в Туллианум[378], даже не в среднюю тюрьму. Я подкупил стражу, чтобы они ей уступили свою комнату. Урс лег на пороге и охраняет ее.

– Почему Урс ее не защитил?

– Прислали пятьдесят преторианцев. К тому же Лин ему запретил.

– А что Лин?

– Лин умирает. Поэтому его не взяли.

– Что ты намерен делать?

– Спасти ее или умереть с нею вместе. Я ведь тоже верю в Христа.

Внешне Виниций был спокоен, но в его голосе было что-то настолько волнующее, что сердце Петрония содрогнулось от искренней жалости.

– Я тебя понимаю, – сказал он, – но как же ты хочешь ее спасти?

– Я подкупил стражу, чтобы уберечь ее от издевательств, а главное, чтобы не помешали ей бежать.

– Когда это должно произойти?

– Они сказали, что не могут выдать ее мне сразу же, боятся, мол, ответить. А когда тюрьмы заполнятся множеством узников и счет им будет потерян, тогда мне ее отдадут. Но это крайний случай! Сперва ты попробуй спасти ее и меня! Ты друг императора. Он сам отдал ее мне. Иди к нему и спаси меня!

Петроний, ничего не ответив, кликнул раба и, приказав принести два темных плаща и два меча, обратился к Винициюю.

– Я отвечу тебе по дороге, – сказал он. – А пока бери плащ, бери оружие, и идем в тюрьму. Там дай стражам сто тысяч сестерциев, дай вдвое, впятеро больше, чтобы они отпустили Лигию сейчас же. Иначе будет поздно.

– Идем, – сказал Виниций.

Через минуту они были на улице.

– А теперь слушай меня, – сказал Петроний. – Я просто не хотел терять время. Знай, с нынешнего дня я в опале. Собственная моя жизнь висит на волоске, поэтому я у императора ничего не смогу добиться. Хуже того, я уверен, что если о чем-то попрошу, он поступит мне назло. Когда бы не это, разве советовал бы я тебе бежать с Лигией или ее отбивать? Ведь удайся тебе побег, гнев императора обрушился бы на меня. Но нынче он скорее сделает что-нибудь по твоей просьбе, чем по моей. Все же ты на это не рассчитывай. Вызволи ее из тюрьмы и беги! Ничего другого тебе не остается. Если это не получится, придется пробовать другие способы. А пока знай, что Лигию бросили в тюрьму не только за веру в Христа. И ее и тебя преследует гнев Поппеи. Ты помнишь, ты оскорбил Августу, отверг ее? А она знает, что ты отверг ее ради Лигии, которую она и без того возненавидела с первого взгляда. Она ведь и раньше пыталась ее погубить, приписав ее чарам смерть своего ребенка. В том, что случилось, есть рука Поппеи! Иначе как ты объяснишь, что Лигию схватили первой? Кто мог указать дом Лина? Говорю тебе, за ними шпионили уже давно! Знаю, я разбиваю тебе сердце, отнимаю последнюю надежду, но я говорю это тебе нарочно для того, чтобы ты знал, – если ты ее не освободишь, прежде чем они догадаются о твоих попытках, вы погибнете оба.

– Да, да! Я понял! – глухо ответил Виниций.

---

[378] Нижняя часть тюрьмы, находившаяся полностью под землей и имевшая лишь одно отверстие в потолке. *(Примеч. автора.)*

В этот поздний час улицы были пусты, и все же их беседу прервала встреча с пьяным гладиатором, который, покачнувшись, навалился на Петрония, – ухватясь рукою за плечо патриция и дыша ему в лицо винным перегаром, он заорал хриплым голосом:

– Христиан ко львам!

– Мирмиллон[379], – спокойно молвил Петроний, – послушайся хорошего совета, ступай своей дорогой.

Но пьяный схватил его другой рукой за другое плечо.

– Кричи вместе со мной, не то я сверну тебе шею: христиан ко львам!

Нервы Петрония уже не могли стерпеть этих криков. С той минуты, как он вышел из дворца, они душили его как кошмар, раздирали ему уши, и, когда вдобавок он увидел занесенный над собою кулак силача, мера его терпения переполнилась.

– Послушай, приятель, – сказал он, – от тебя воняет вином, и ты мне мешаешь.

С этими словами он по самую рукоять всадил гладиатору в грудь короткий меч, которым вооружился, выходя из дому. Затем, как ни в чем не бывало, взял Виниция под руку и продолжал:

– Нынче император сказал мне: «Передай от меня Виницию, чтобы он был на играх, на которых выступят христиане». Ты понимаешь, что это значит? Они хотят из твоих страданий устроить себе забаву. Здесь все продумано. Возможно, из-за этого до сих пор не бросили в тюрьму ни тебя, ни меня. Если ты сейчас не сумеешь вырвать ее оттуда, тогда… Я сам не знаю, что тогда! Может, Акта вступится за тебя, но добьется ли чего? Твои сицилийские поместья могли бы соблазнить Тигеллина… Попытайся.

– Я отдам им все, что имею, – ответил Виниций.

От Карин до Форума было не слишком далеко, они дошли быстро. Ночной мрак начал уже редеть, и стены крепости явственно чернели на фоне белесого неба.

Когда они повернули к Мамертинской тюрьме, Петроний внезапно остановился.

– Преторианцы! – сказал он. – Мы опоздали!

Тюрьма была окружена двойной шеренгой солдат. Отблески зари серебрили их железные шлемы и острия копий.

Лицо Виниция стало белее мрамора.

– Идем, – сказал он.

Через мгновенье они уже были возле шеренг. Петроний, обладая незаурядной памятью, знал не только командиров, но и почти всех солдат претория – он сразу заметил знакомого командира когорты и кивнул ему.

– А, это ты, Нигер? – сказал он. – Вам приказали охранять тюрьму?

– Да, благородный Петроний. Префект опасается, как бы не попытались отбить поджигателей.

– И вам приказано никого не впускать? – спросил Виниций.

– Напротив, узников могут посещать их знакомые, таким образом мы выловим больше христиан.

– Тогда впусти меня, – сказал Виниций. И, сжимая руку Петрония, шепнул ему: – Иди к Акте, а я потом приду узнать, что она ответит.

– Приходи, – сказал Петроний.

В этот миг под землей и за толстыми стенами послышалось пенье. Сперва неясное, приглушенное, оно становилось все громче. Мужские, женские, детские голоса сливались в единый, стройный хор. В утренней тишине вся тюрьма зазвучала, как могучая арфа. Но в голосах тех не было ни скорби, ни отчаяния. Напротив, в них звенели радость и торжество.

Солдаты удивленно переглядывались. На небе забрезжили первые золотистые и розовые проблески зари.

---

[379] *Мирмиллоны* («рыбки»), или секуторы («преследователи»), выступали на гладиаторских играх в тяжелом («галльском») вооружении; их противники – ретиарии («рыбаки») выступали налегке, вооруженные лишь трезубцем и сетью.

Глава LII

Клич «Христиан ко львам!» не смолкал во всех кварталах города. С самого начала никто не только не сомневался, что они подлинные виновники бедствия, но и не хотел в этом сомневаться, ибо их казнь должна была стать великолепным развлечением для народа. Распространился, однако, слух, что бедствие не приняло бы столь обширных размеров, если бы не гнев богов, – посему было приказано свершать в храмах пиакулы, или умилостивительные жертвоприношения. По совету Сивиллиных книг сенат распорядился о торжественных молебствиях Вулкану, Церере и Прозерпине. Матроны приносили жертвы Юноне – длинной процессией они направились к берегу моря, чтобы зачерпнуть там воды и окропить ею статую богини. Замужние женщины готовили трапезы богам[380] и устраивали ночные бдения. Весь Рим очищался от грехов, приносил жертвы и испрашивал милость бессмертных. А между тем среди пепелищ прокладывались новые широкие улицы. Здесь и там уже были заложены основания будущих роскошных домов, дворцов, храмов. Но в первую очередь с неслыханной поспешностью сооружались огромные деревянные амфитеатры, в которых предстояло погибнуть христианам. Сразу же после совета в доме Тиберия были посланы проконсулам распоряжения доставить диких зверей. Тигеллин опустошил виварии всех италийских городов, даже самых захолустных. В Африке по его приказу устраивались облавы, в которых должны были принимать участие все местные жители. Из Азии везли слонов и тигров, с Нила – крокодилов и гиппопотамов, с Атласских гор[381] – львов, с Пиренейских – волков и медведей, из Гибернии – яростных собак, из Эпира[382] – молосских псов, из Германии – буйволов и огромных, свирепых туров. По числу узников игры должны были превзойти все, что до сей поры видел Рим. Император желал утопить в крови воспоминание о пожаре и досыта напоить ею Рим – поэтому никогда еще не ожидалось столь великолепное кровопролитие.

С нетерпением ждавший его народ помогал городским стражам и преторианцам в охоте на христиан. Это, впрочем, было делом нетрудным, так как они, еще располагаясь на биваках в садах вместе с прочими римлянами, целыми толпами открыто признавались в своем исповедании. Когда их окружали, они падали на колени, пели гимны и разрешали брать себя без сопротивления. Но их покорность лишь усугубляла гнев народа – не понимая причины, ее приписывали ожесточению и закоснелости в злодействе. Гонителями овладевало бешенство. Случалось, что чернь выхватывала христиан у преторианцев и разрывала их на части голыми руками; женщин волокли за волосы в тюрьмы, детям разбивали головы о камни. Тысячи людей днем и ночью с воем бегали по улицам, ища жертв среди руин, в печных трубах, в подвалах. Возле тюрем жгли костры и вокруг бочек с вином устраивались вакхические пирушки и пляски. По вечерам народ с упоением слушал громоподобное рычанье, от которого весь город гудел. Тюрьмы были переполнены тысячами узников, но каждый день чернь и преторианцы пригоняли новых. Жалость исчезла. Люди, казалось, разучились говорить и, одержимые безумием, помнили только возглас: «Христиан ко львам!» Наступили неслыханно знойные дни и такие душные ночи, каких никогда еще не бывало, – чудилось, сам воздух насыщен безумием, кровью, насилием.

И этой безмерной жестокости ответом была столь же безмерная жажда мученичества. Приверженцы Христа добровольно шли на смерть, даже искали ее, пока их не остановили строгие приказы старейшин. По совету глав общин верующие начали собираться уже только за городом, в карьерах на Аппиевой дороге и в пригородных виноградниках, принадлежавших патрициям-христианам, из которых пока еще никого не заточили в тюрьму. На Палатине отлично знали, что к приверженцам Христа принадлежат и Флавий, и Домицилла, и Помпония Грецина, и Корнелий

[380] Селлистернии и лектистернии *(Примеч. автора.)*

[381] *Атласские горы* – горный хребет в Мавритании.

[382] *Эпир* – область в западной части северной Греции.

Пудент[383], и Виниций. Однако сам император опасался, что не удастся убедить чернь, будто такие люди подожгли Рим, а сейчас главное было убедить народ, поэтому кару и месть отложили на будущее. Кое-кто полагал, что этих патрициев спасло влияние Акты. Однако это мнение было ошибочным. Петроний, расставшись с Виницием, пошел к Акте просить помощи для Лигии, но она могла предложить только свои слезы – она теперь жила в печали, всеми забытая, и терпели ее лишь потому, что она таилась и от Поппеи, и от императора.

Акта все же навестила Лигию в тюрьме, принесла ей одежду и еду, но, главное, своим посещением побудила тюремных стражей, и так уже подкупленных, не обижать девушку.

А Петронию все не давала покоя мысль, что, кабы не он и не его затея забрать Лигию из дома Авла, она, скорее всего, теперь не находилась бы в тюрьме; кроме того, ему хотелось выиграть в игре с Тигеллином, и он не жалел ни времени, ни хлопот. В течение нескольких дней он повидал Сенеку, Домиция Афра, Криспиниллу, через которую надеялся попасть к Поппее, Терпноса, Диодора, красавца Пифагора и, наконец, Алитура и Париса, которым император обычно ни в чем не отказывал. С помощью Хрисотемиды – теперь она была любовницей Ватиния – Петроний старался обеспечить себе даже его поддержку, не скупясь на обещания и деньги как Ватинию, так и прочим.

Но все усилия были напрасны. Сенека, сам неуверенный в завтрашнем дне, стал ему толковать, что христиане, даже если они и не сожгли Рим, должны быть истреблены для блага города, – в общем, он обосновывал будущую резню государственным интересом. Терпнос и Диодор деньги взяли, но ничего взамен не сделали. Ватиний еще и донес императору, что его пытались подкупить. Один лишь Алитур, который сперва относился к христианам враждебно, а теперь их жалел, решился напомнить императору о заточенной в тюрьме девушке и просить за нее, но в ответ услышал только:

– Неужели ты полагаешь, что я слабее духом, чем Брут, который ради блага Рима не пощадил собственных сыновей?

Когда Алитур повторил этот ответ Петронию, тот сказал:

– Раз уж он придумал сравнение с Брутом, надежды нет.

И все же его мучила жалость к Виницию, он боялся, как бы молодой трибун не посягнул на собственную жизнь. «Теперь, – говорил он себе, – Виниция еще поддерживают хлопоты о ее спасении, ее вид и даже само страдание, но когда все средства окажутся тщетными и погаснет последняя искра надежды, – клянусь Кастором! – он ее не переживет, он бросится на меч». Петронию даже было понятнее, что можно так кончить жизнь, чем то, что можно так полюбить и так страдать. Виниций же между тем делал все, что мог придумать его ум ради спасения Лигии. Он ходил к августианам и, некогда такой горделивый, молил их о помощи. Через Вителлия он предложил Тигеллину свои сицилийские земли и все, чего тот пожелает. Но Тигеллин – вероятно, не желая разгневать Августу, – отказался. Идти к самому императору, припасть к его ногам и умолять было бессмысленно. Виниций, правда, хотел и это сделать, но Петроний, услышав о его намерении, спросил:

– А если он тебе откажет, если ответит шуткой или наглой угрозой, как ты поступишь?

Тут лицо Виниция исказила гримаса страдания и ярости, из стиснутых челюстей вырвался скрежет.

– Вот-вот! – сказал Петроний. – Потому-то я тебе не советую. Ты лишь отрежешь все пути к спасению!

Но Виниций овладел собою и, проведя рукой по лбу, на котором проступил холодный пот, сказал:

– Нет! Ведь я христианин!

– И ты забудешь об этом, как забыл только что. Ты вправе погубить себя, но не ее. Вспомни,

[383] Имеются в виду *Флавий Клемент*, консул 95 г., и его жена Домицилла, внучка Флавия Веспасиана; об их принадлежности к христианству сообщают древние историки церкви. Мевий (а не Корнелий) Пудент принадлежал к окружению Тигеллина.

через что прошла перед смертью дочь Сеяна.

Говоря так, он не был вполне искренен – его в действительности больше волновала судьба Виниция, чем Лигии. Но он знал, что ничем другим не сумеет надежнее удержать Виниция от опасного шага, чем объясняя ему, что может принести Лигии неотвратимую гибель. Впрочем, Петроний был прав – на Палатине предвидели возможность появления молодого трибуна и приняли надежные меры осторожности.

Но страдания Виниция уже превышали силы человеческие. С той минуты как Лигию заточили в тюрьму и ее озарило сияние будущего мученичества, он не только полюбил ее во сто крат сильнее, но почувствовал почти религиозное благоговение, как перед неземным существом. И теперь при мысли, что это любимое и святое существо придется утратить и что, кроме смерти, ее могут подвергнуть пыткам более страшным, чем сама смерть, кровь леденела у него в жилах, душа превращалась в один крик боли, мысли туманились. Минутами ему казалось, будто его череп наполняется пышущим огнем, от которого или мозг его сгорит, или череп лопнет. Он перестал понимать, что творится, перестал понимать, почему Христос, этот милосердный бог, не приходит на помощь своим приверженцам, почему закопченные стены Палатина не проваливаются под землю, а с ними вместе Нерон, августианы, лагерь преторианцев и весь этот город злодейств. Он думал, что иначе и не может и не должно быть и что все, на что глядят его глаза и от чего стонет сердце, – это сон. Но рычанье зверей говорило ему, что это явь; стук топоров, под ударами которых поднимались новые арены, говорил, что это явь, и в том же убеждали вой черни и переполненные тюрьмы. Тогда его вера в Христа меркла, и этот ее упадок был для него новою мукой, пожалуй, самой страшной из всех.

А Петроний все повторял ему:

– Помни, через что прошла перед смертью дочь Сеяна.

Глава LIII

Все было тщетно. Виниций дошел до того, что униженно искал поддержки у вольноотпущенников и рабынь императора и Поппеи, платя им за пустые обещания, пытаясь богатыми дарами снискать их расположение. Он разыскал первого мужа Августы, Руфрия Криспина, и выпросил у него письмо к ней, он подарил свою виллу в Анции ее сыну от первого брака, Руфию, но этим лишь разгневал императора, который ненавидел пасынка. С нарочным Виниций отправил письмо второму мужу Поппеи, Отону, в Испанию, предлагая ему все свое имущество и себя самого, но в конце концов он понял, что для этих людей он только забава и, притворись он, будто заточение Лигии его не волнует, он бы освободил ее скорее.

К тому же мнению пришел и Петроний. Между тем день за днем время шло. Амфитеатры были построены. Начали уже раздавать тессеры, то есть входные знаки на ludus matutinus[384]. Но на сей раз из-за невиданного количества жертв «утренним играм» предстояло растянуться на дни, недели, месяцы. Уже не знали, куда девать христиан. Тюрьмы были битком набиты, в них свирепствовала лихорадка. Путикулы, общие могилы, в которых хоронили рабов, стали переполняться. Возникло опасение, как бы зараза не распространилась на весь город, поэтому решили поторопиться.

И все эти вести доходили до слуха Виниция, гася последние проблески надежды. Пока было впереди время, он мог тешить себя мыслью, что успеет чего-то добиться, но теперь уже и времени не было. Зрелища должны были вот-вот начаться. В любой день Лигия могла очутиться в цирковом куникуле[385], выход откуда был только на арену. Не зная, куда забросят ее судьба и жестокость насильников, Виниций обходил все цирки, подкупал сторожей и бестиариев, прося их о том, чего они не могли исполнить. Временами он спохватывался, что хлопочет лишь о том, чтобы сделать

[384] утренние игры *(лат.)*

[385] *Куникул* – помещение под ареной.

ей менее страшной смерть, и тогда его с новой силой пронзало ощущение, будто в черепной коробке у него не мозг, но раскаленные уголья.

Впрочем, Виниций не собирался пережить Лигию, он решил умереть с нею вместе. Но он боялся, что душевные муки изведут его прежде, чем наступит роковая минута. Друзья его и Петроний также опасались, что не сегодня завтра пред ним могут открыться врата царства теней. Лицо Виниция почернело, стало походить на восковые маски, хранившиеся в лараріях. Изумление застыло в его чертах, словно Виниций не понимал, что происходит и что будет дальше. Когда к нему обращались, он машинально поднимал руки к голове и, сжимая виски, смотрел на говорившего удивленным, вопрошающим взором. Ночи он проводил вместе с Урсом в тюрьме у дверей Лигии, а если она приказывала ему пойти отдохнуть, он возвращался к Петронию и до утра расхаживал по атрию. Часто рабы заставали его на коленях с воздетыми кверху руками или простертым ниц. Он молился Христу, то была его последняя надежда. Да, все оказалось тщетным. Лигию могло спасти только чудо, и Виниций бился головою о каменные плиты, моля о чуде.

Однако разум еще не вполне его покинул, и он понимал, что молитва Петра более весома, чем его молитва. Петр ему обещал Лигию, Петр его крестил, Петр сам совершал чудеса, так пусть же поможет ему и спасет.

И однажды вечером Виниций отправился искать Петра. Христиане, которых уже немного осталось, тщательно прятали его теперь, таясь даже друг от друга, дабы кто-нибудь из малодушных не выдал его невольно или умышленно. Среди всеобщей сумятицы и разорения Виниций, поглощенный вдобавок хлопотами об освобождении Лигии, потерял апостола из виду – со времени своего крещения он лишь один раз встретил его, еще до начала гонений. Но, придя к тому землекопу, в чьей хижине его крестили, Виниций от него узнал, что в винограднике, расположенном за Соляными воротами и принадлежащем Корнелию Пуденту, состоится собрание христиан. Землекоп брался провести туда Виниция, уверяя, что там они увидят Петра. В тот же вечер они отправились, вышли за городскую стену и, пробравшись по заросшим травою оврагам, оказались в винограднике, лежавшем на отшибе, в пустынном месте. Собрание происходило в сарае, обычно служившем давильней. Еще у порога Виниций услышал неясный гул, а когда вошел, то при тусклом свете фонарей увидел несколько десятков коленопреклоненных, погруженных в молитву. Они совершали нечто вроде литании[386] – хор голосов, мужских и женских, то и дело повторял: «Христе, помилуй!» И в голосах этих звучала глубокая, душераздирающая печаль и сокрушение.

Петр был здесь. Он стоял на коленях впереди молящихся, лицом к висевшему на стене деревянному кресту, и молился. Виниций издали заметил его седые волосы и поднятые руки. Первой мыслью молодого патриция было пройти через толпу, броситься в ноги апостолу и крикнуть: «Спаси!» Но то ли от торжественности общей молитвы, то ли от внезапной слабости ноги у него подкосились, он опустился на колени тут же, у входа, и тоже стал повторять, со стоном заломивши руки: «Христе, помилуй!» Будь он поспокойнее, он бы понял, что не только в его мольбе звучало стенанье, не только он принес сюда свое горе, свою муку и тоску. Среди собравшихся не было ни одного, кто бы не потерял дорогих сердцу существ; самые ревностные и самые отважные из верующих были уже в заточении, каждый час приносил новые вести о поругании и муках, причиняемых им в узилищах, и размеры бедствия превзошли воображение человеческое. Осталась лишь эта горсточка, и вряд ли нашлась бы там хоть одна душа, не усомнившаяся в вере и с разочарованьем не вопрошавшая, где же Христос и почему он позволяет, чтобы зло становилось сильнее бога.

Все же они и в отчаянии молили его о милосердии, ибо у каждого еще теплилась искра надежды, что он придет, истребит зло, низвергнет Нерона в бездну и воцарится в мире. Они еще глядели на небо, еще прислушивались, еще с трепетом молились. И чем дольше Виниций повторял: «Христе, помилуй!», тем сильнее овладевал им восторг, такой же, как когда-то в хижине землекопа. Вот, они здесь взывают к нему из глубин скорби своей, из бездны, взывает к нему и Петр, и вдруг сейчас разверзнется небо, дрогнет в своих основаниях земля, и сойдет к ним он в ослепительном сиянии, ступая по звездам, – милосердный, но также грозный. Он возвысит верных своих

[386] *Литания* – молебен.

и повелит бездне пожрать гонителей.

Виниций закрыл лицо руками и припал к земле. Внезапно вокруг него все стихло, словно бы страх заморозил мольбы в устах верующих. И ему показалось, что непременно должно что-то произойти, что наступает мгновение чуда. Он был уверен – стоит ему подняться, открыть глаза, и он увидит свет, от которого слепнут зрачки смертных, и услышит голос, от которого замирает сердце.

Но тишину эту долго ничто не нарушало, пока наконец не раздалось рыданье одной из женщин. Виниций поднялся и с ошеломленным видом стал озираться.

Вместо неземного сиянья в сарае мерцали слабые огоньки фонарей и ложился серебристыми полосами проникавший сквозь щели в кровле лунный свет. Стоявшие на коленях рядом с Виницием молча возводили к кресту полные слез глаза, тут и там слышались рыданья, а снаружи доносился тихий свист стоявших на страже. Но вот Петр поднялся на ноги и, обращаясь к собранию, молвил:

– Дети, вознесите сердца к спасителю нашему и принесите ему на алтарь слезы ваши.

И он умолк.

Вдруг раздался женский голос, звеневший горькой жалобой и беспредельным страданьем:

– Я вдова, один был у меня сын, он кормил меня… Верни мне его, отче!

Снова наступила тишина. Петр стоял перед коленопреклоненными, старый, озабоченный человек, в эту минуту казавшийся воплощением дряхлости и немощи.

Затем послышался второй, также жалующийся голос:

– Палачи надругались над моими дочерями, и Христос это допустил!

Затем третий:

– Я осталась одна с детьми, и если меня заберут, кто даст им хлеба и воды?

Затем четвертый:

– Лина, которого сперва оставили, теперь взяли и отправили на муки, отче!

Затем пятый:

– Если мы вернемся домой, нас схватят преторианцы. Мы не знаем, где нам укрыться.

– Горе нам! Кто защитит нас?

Так в ночной тишине звучала одна жалоба за другой. Старый рыбак прикрыл глаза и покачивал белою своею головой, слыша эти слова скорби и тревоги. И опять воцарилось молчанье, лишь тихо посвистывали стоявшие у сарая на страже.

Виниций опять рванулся было вперед, чтобы подойти к апостолу и просить его о спасении, но вдруг в воображении своем словно увидел перед собою пропасть, и ноги его точно приросли к месту. Что, если апостол признается в своем бессилии, если он подтвердит, что римский император сильнее, чем назареянин Христос? И от этой ужасной мысли волосы у него на голове зашевелились – он почувствовал, что тогда рухнет в эту пропасть не только последняя его надежда, но и он сам, и его Лигия, и его любовь к Христу, и его вера, и все, чем он жил, и останется лишь смерть да беспредельный, как море, мрак.

А тем временем Петр заговорил, и голос его вначале был настолько тих, что с трудом можно было расслышать слова:

– Дети мои! Я видел на Голгофе[387], как бога пригвождали к кресту. Я слышал стук молотков и видел, как поставили крест стоймя, дабы толпы смотрели на смерть сына человеческого…

И видел я, как ему отворили бок и как он скончался. И тогда, идя прочь от креста, я, скорбя, взывал, как взываете вы: «Горе! Горе! Господи! Ты же бог! Почему ты это допустил, почему умер и почему омрачил сердца нам, веровавшим, что придет царство твое?»…

А он, господь бог наш, на третий день воскрес из мертвых и был среди нас, покуда в сиянии славы не вознесся в царство свое…

[387] *Голгофа* – место, на котором, согласно евангельскому повествованию, был распят Иисус Христос; холм за городской стеной Иерусалима.

И мы, познав малость веры нашей, укрепились сердцем, и с той поры сеем семена истины его…

После этих слов Петр обернулся в ту сторону, откуда прозвучала первая жалоба, и заговорил голосом уже более громким:

– Почто жалуетесь? Господь сам предал себя мукам и смерти, а вы хотите, чтобы он вас от нее охранил? О маловерные! Неужто вы не поняли его учение? Неужто он вам обещал одну эту жизнь? Вот он приходит к вам и говорит вам: «Идите моим путем!», вот он подымает вас к себе, а вы цепляетесь за землю и вопите: «Господи, спаси!» Я, который пред богом прах, но пред вами апостол божий и наместник, говорю вам именем Христовым: не смерть пред вами, но песнь, не рабство, но престол царский! Я, апостол господень, говорю тебе, вдовица, сын твой не умрет, но родится во славе для жизни вечной, и ты соединишься с ним! Тебе, отец, у кого невинных дочерей опозорили палачи, я обещаю, что ты найдешь их сияющими белизною, как лилии Хеврона! Вам, матери, которых отымут у сирот, вам, что лишатся отцов, вам, что сетуете, вам, что будете зреть гибель любимых, вам, опечаленные, страждущие, тревожащиеся, и вам, кому предстоит умереть, я обещаю именем Христовым, что вы пробудитесь, как ото сна, к блаженному бодрствованью и восстанете из тьмы к свету божьему. Во имя Христа, да спадут бельма с глаз ваших и отогреются сердца!

С этими словами апостол поднял руку повелительным жестом, и все почувствовали, что живее потекла кровь в их жилах, но также и дрожь пробежала по телу, ибо стоял перед ними уже не старец дряхлый и недужный, но властелин, который брал их души и, поднимая из праха, освобождал от тревоги.

– Аминь! – вскричали несколько голосов.

А из его глаз излучался все более яркий свет, и вся его фигура дышала силою, величием, святостью. Невольно склонились пред ним головы верующих, и, когда смолкли возгласы «аминь!», он продолжал:

– Сейте в слезах, дабы собирать в веселии. Почто страшитесь силы зла? Над землею, над Римом, над стенами городов есть господь, который поселился в душах ваших. Камни увлажнятся от слез, песок пропитается кровью, могилы заполнятся телами вашими, а я вам говорю: вы победители! Се грядет господь покорить город злодейств, гнета и гордыни, и вы – воинство его! И как сам он муками своими и кровью искупил грехи мира, так он хочет, чтобы вы искупили муками и кровью грехи этого гнезда нечестия! Так свидетельствую я вам устами своими!

И он распростер руки, устремив взор горе, а у них замерли сердца, ибо чувствовали они, что очи его видят нечто такое, что не дано узреть смертным их глазам.

Даже лицо апостола изменилось, озарилось каким-то необычным светом – некоторое время смотрел он так и молчал, словно бы онемев от восторга, но вот опять они услышали его голос:

– Да, ты существуешь, господи, и указываешь мне пути свои!.. Но что же это, Христе? Не в Иерусалиме, но в сем граде сатаны хочешь ты основать столицу твою? Здесь, из слез этих и крови, хочешь ты воздвигнуть церковь твою? Здесь, где ныне правит Нерон, должно возникнуть вечное царство твое? О господи, господи! И ты велишь скорбящим сим, дабы из костей своих они сложили основание для Сиона[388] вселенского, а духу моему велишь принять власть над ним и над народами земли? Ты проливаешь источник силы на слабых, дабы стали они сильными, и велишь мне пасти стадо агнцев твоих до скончания веков! Так будь же славен в велениях твоих, боже, наказывающий нам побеждать! Осанна! Осанна![389]

Кто был в тревоге, те воспрянули, в души усомнившихся влилась свежая струя веры. Одни дружно возгласили: «Осанна!», другие: «Во имя Христа!», после чего наступила тишина. Яркие летние сполохи освещали стены сарая и бледные от волнения лица.

[388] *Сион* – холм в юго-западной части Иерусалима, древнейшее место города; у библейских пророков название «Сион» распространяется на все Иудейское царство и часто означает царство божье.

[389] Осанна! (*древнеевр.* «спаси!») – молитвенный возглас, употреблявшийся во время празднеств и молений.

Вперив взор в свое видение, Петр еще долго молился, но вот наконец он очнулся и, обратив к собравшимся вдохновенное, озаренное духовным светом лицо, молвил:

– Вот так же, как господь победил в вас сомнения, так и вы идите побеждать во имя его!

И хотя он уже знал, что они победят, знал, что вырастет из их слез и крови, все же голос у него дрожал от волненья, когда, осеняя их знаком креста, он говорил:

– Ныне благословляю вас, дети мои, на муку, на смерть, на вечность!

Но они толпой окружили его, восклицая: «Мы готовы на все, но ты, святой отче, береги себя, ведь ты наместник, ты вершишь правленье Христово!» И, говоря это, хватались за его одежду, а он возлагал им руки на головы и прощался с каждым особо, как отец прощается с детьми, которых посылает в дальний путь.

Простясь, все поспешно выходили из сарая – теперь они торопились домой, чтобы оттуда попасть в тюрьмы и на арены. Помыслы их оторвались от земли, души устремили полет свой к вечности, и они шли, будто во сне или в экстазе, противопоставляя силу, которая была в них, силе и жестокости «зверя».

Апостола взял под руку Нерей, слуга Пудента, и повел по скрытой средь винограда дорожке к своему дому. Но за ними, ясно видя их при свете луны, следовал Виниций, и, когда они подошли к дому Нерея, он, не раздумывая, кинулся в ноги апостолу.

Петр, узнав его, спросил:

– Чего ты хочешь, сын мой?

Однако после того, что Виниций слышал в сарае, он уже не посмел о чем-то просить, но, обхватив обеими руками ноги апостола, лишь прижимался к ним лицом, вздыхая и безмолвно моля о сострадании.

– Знаю, знаю, – молвил апостол. – У тебя забрали девушку, которую ты полюбил. Молись за нее.

– Отче! – простонал Виниций, еще крепче обнимая ноги апостола. – Отче! Я жалкий червь, но ты знал Христа, ты попроси его, заступись за нее.

И от горя он весь дрожал и бился головою о землю – постигнув силу апостола, он знал, что только Петр может ее возвратить ему.

И скорбь тронула Петра. Он вспомнил, как когда-то Лигия, навлекши на себя брань Криспа, вот так же лежала у его ног, моля о жалости. Вспомнил, что он поднял ее и утешил, и теперь тоже он поднял Виниция.

– Сыне, – сказал апостол, – я буду молиться за нее, но ты помни, о чем говорил я тем усомнившимся: что сам бог прошел через муку крестную и что после этой жизни начинается другая, вечная.

– Я знаю! Я слышал! – ответил Виниций, ловя воздух бледными устами. – Но, видишь ли, отче, я не могу! Если надобна кровь, проси Христа, чтобы взял мою. Я солдат. Пусть удвоит, пусть утроит мне предназначенную для нее муку, я выдержу! Но ее пусть спасет! Она еще дитя, отче, а он могущественнее императора, да, я верю, могущественнее! Ты ведь сам ее любил. Ты нас благословил! Она еще невинное дитя!

И он опять склонился и, прижавшись лицом к коленам Петра, стал повторять:

– Ты же знал Христа, отче, ты знал! Он тебя выслушает! Заступись за нее!

Петр, закрыв глаза, горячо молился.

Летние сполохи снова заиграли в небе. При их свете Виниций неотрывно глядел на уста апостола Петра, ожидая приговора, – жизнь или смерть. В тишине слышался лишь крик перепелок в виноградниках да глухой, далекий стук копыт на Соляной дороге.

– Виниций, – спросил наконец апостол, – ты веруешь ли?

– Если бы не верил, отче, разве пришел бы я сюда? – ответил Виниций.

– Тогда верь до конца, ибо вера двигает горами. И хотя бы ты увидел эту девицу под мечом палача либо в пасти льва, все равно верь, что Христос может ее спасти. Верь и молись ему, и я буду молиться вместе с тобою.

И, подняв лицо к небу, он заговорил громко:

– Христос милосердный, воззри на это страждущее сердце и утешь его! Христос милосерд-

ный, повей тихим ветром на руно агнца сего! Христос милосердный, ты, который просил отца, дабы он пронес чашу горечи мимо уст твоих, пронеси ее ныне мимо уст этого раба твоего! Аминь!

И Виниций, простирая руки к звездам, со стоном повторял:

– О Христос! Я твой! Возьми меня вместо нее!

Небо на востоке начало светлеть.

Глава LIV

Покинув апостола, Виниций шел к тюрьме с возродившейся в сердце надеждой. Правда, где-то в глубине еще притаились отчаяние и ужас, но он старался приглушить их голоса. Казалось невозможным, чтобы заступничество божьего наместника и сила его молитвы не возымели действия. Он боялся утратить надежду, боялся усомниться. «Я буду верить в его милосердие, – говорил он себе, – даже если увижу ее в пасти льва!» И думая так – хотя душа в нем трепетала и холодный пот струился по вискам, – он верил. Каждое биение сердца было теперь молитвой. Он начинал постигать, что вера двигает горами, – он сам почувствовал в себе удивительную силу, которой раньше не было, чувствовал себя способным совершить нечто такое, что еще вчера было для него немыслимо. Минутами нисходил на него покой, словно все беды уже миновали. Когда ж отчаянье вдруг отзывалось стоном в душе его, он вспоминал ту ночь, ту святую, седую голову и лицо, обращенное к небу в молитве. «Нет, Христос не откажет первому своему ученику и пастырю стада своего! Христос ему не откажет, и я не усомнюсь».

И он чуть ли не бежал к тюрьме, точно вестник с доброй вестью.

Но там его ждала неприятная новость.

Стражи-преторианцы, сменявшие друг друга в Мамертинской тюрьме, все уже знали его и обычно не чинили препятствий, однако на сей раз цепь на двери не опустилась, и сотник, подойдя к Виницию, сказал:

– Прости, благородный трибун, нынче у нас есть приказ никого не пускать.

– Приказ? – бледнея, переспросил Виниций.

– Да, господин, – ответил воин, сочувственно глядя на него. – Приказ императора. В тюрьме много больных – возможно, опасаются, как бы посетители не разнесли заразу по городу.

– Но ты же сказал, что приказ только на сегодня.

– В полдень стража сменяется.

Виниций молча обнажил голову – ему казалось, что его пилеолус[390] стал свинцовым.

Воин подошел поближе и, понизив голос, сказал:

– Успокойся, благородный трибун. Стражи и Урс охраняют ее.

С этими словами он нагнулся и быстро начертил на каменной плите своим длинным галльским мечом рыбу.

Виниций быстро взглянул на него.

– И ты преторианец?

– Пока не окажусь там, – ответил солдат, указывая на тюрьму.

– Я тоже чту Христа.

– Да славится имя его! Я это знаю. В тюрьму пустить тебя я не могу, но ежели ты напишешь письмо, я передам его стражам.

– Благодарствуй, брат.

И, пожав преторианцу руку, Виниций ушел. Пилеолус перестал свинцово давить на голову. Утреннее солнце поднялось над стенами тюрьмы, и вместе с его светом в сердце Виниция вливался покой. Этот солдат-христианин был для него как бы новым свидетельством могущества Христа. Немного пройдя, он остановился и, устремив взор на плывущие над Капитолием и храмом Статора розовые облака, промолвил:

– Сегодня я ее не видел, господи, но я верю в твое милосердие.

[390] *Пилеолус* – круглая шапочка.

Дома его ждал Петроний, который, как обычно «превращая ночь в день», лишь недавно вернулся. Однако он успел уже принять ванну и умаститься благовониями перед сном.

– Есть для тебя новость, – сказал Петроний. – Сегодня я был у Туллия Сенециона, был там и император. Не знаю почему, но Августе пришло в голову привести с собою маленького Руфия. Возможно, чтобы он своей красотой смягчил сердце императора. К несчастью, мальчику захотелось спать, он уснул во время чтения, как когда-то Веспасиан. Заметив это, Агенобарб запустил в него кубком и тяжко его поранил. Поппея лишилась чувств, и все слышали, как император сказал: «Надоел мне этот выкормок!», а это, как ты понимаешь, означает смерть.

– Кара господня нависла над ней, – сказал Виниций. – Но зачем ты мне это говоришь?

– Затем, что гнев Поппеи преследовал тебя и Лигию, теперь же, поглощенная собственным несчастьем, она, возможно, забудет о мести и ее удастся уговорить. Нынче вечером я ее увижу и попытаюсь с ней побеседовать.

– Спасибо, ты сообщил мне хорошую новость.

– А тем временем ты искупайся и отдохни. Губы у тебя прямо синие, и сам стал как тень.

– А не было ли речи о том, когда состоится первая утренняя игра? – спросил Виниций.

– Через десять дней. Но начнут с других тюрем. Чем больше останется у нас времени, тем лучше. Еще не все потеряно.

Петроний говорил то, во что и сам не верил, – уж он-то знал, что если император в ответ на просьбу Алитура нашел красиво звучащую фразу, в которой он сравнивал себя с Брутом, то для Лигии спасенья нет. Из жалости он также утаил то, что слышал у Сенециона, – император и Тигеллин решили отобрать для себя и для своих друзей самых красивых христианских девушек и надругаться над ними перед казнью, а остальных отдать в день начала игр преторианцам и бестиариям.

Зная, что Виниций ни за что не захочет пережить Лигию, Петроний поддерживал в нем надежду – из сочувствия к нему, но также и потому, что для этого эстета немаловажно было, чтобы Виниций, коль придется ему умереть, умер бы красивым, а не с изможденным и почерневшим от тревоги и бессонницы лицом.

– Августе я сегодня скажу примерно так, – говорил Петроний. – «Спаси Лигию для Виниция, а я спасу для тебя Руфия». И я действительно намерен об этом подумать. С Агенобарбом одно слово, сказанное вовремя, может кого-то спасти или погубить. В самом худшем случае мы выиграем время.

– Благодарю тебя, – повторил Виниций.

– Будешь благодарить, когда подкрепишься и отдохнешь. Клянусь Афиной! Одиссей при величайших злоключениях думал о сне и еде. Ты, верно, всю ночь в тюрьме провел?

– Нет, – отвечал Виниций. – Я теперь ходил туда, но у них есть приказ никого не пускать. Узнай, Петроний, отдан ли этот приказ только на нынешний день или же до начала игр.

– Сегодня ночью я это узнаю и завтра утром скажу тебе, на какой срок и для чего отдан приказ. А теперь, даже если Гелиос с досады спустится в киммерийские края, я иду спать, и ты последуй моему примеру.

И они расстались, но Виниций пошел в библиотеку писать письмо Лигии.

Закончив письмо, Виниций сам отнес его и вручил сотнику-христианину, который тотчас пошел с ним в тюрьму. Вскоре он возвратился с приветом от Лигии и пообещал, что еще сегодня принесет ответ.

Но Винициюю не хотелось возвращаться – сев на камень, он стал ждать письма Лигии. Солнце уже высоко поднялось, и по Серебряному склону, как обычно, двигались на Форум людские толпы. Расхваливали товар уличные торговцы, гадальщики предлагали прохожим свои услуги, граждане степенным шагом направлялись к ростральной трибуне послушать случайных ораторов или обменяться последними новостями. Жара становилась все более гнетущей, и группы бездельников прятались в храмовых портиках, откуда ежеминутно с сильным шумом крыльев вылетали стаи голубей, сверкая белыми перьями в солнечном сиянии на фоне небесной лазури.

От слишком яркого света, неумолчного шума, жары и крайней усталости глаза Виниция начали слипаться. Однообразные выкрики парней, игравших рядом с ним в мору, и мерная по-

ступь солдат убаюкивали его. Несколько раз он еще поднимал рывками голову и окидывал взглядом тюрьму, но под конец откинул голову на выступ каменной стены, глубоко вздохнул, как засыпающий после долгого плача ребенок, и уснул.

И тотчас его роем обступили видения. Ему чудилось, будто он в темноте несет на руках Лигию по незнакомому винограднику, а впереди идет Помпония Грецина со светильником в руке и освещает им дорогу. Чей-то голос, похожий на голос Петрония, издалека кричал ему вслед: «Воротись!» Но он, не обращая внимания на зов, шел дальше за Помпонией, пока не подошли к хижине, на пороге которой стоял апостол Петр. Тогда Виниций, показывая ему Лигию, сказал: «Мы идем с арены, отче, но не можем ее разбудить, попробуй ты». Но Петр ответил: «Христос сам придет ее разбудить!»

Потом картины начали путаться. Он видел Нерона и Поппею, державшую на руках маленького Руфия с окровавленным лбом, который обмывал Петроний, видел Тигеллина, посыпающего пеплом столы с дорогими яствами, и Виттелия, пожирающего эти яства, и множество других августиан, участвующих в пиршестве. Он сам возлежал рядом с Лигией, но между столами бродили львы, у которых по палевым бородам стекала кровь. Лигия просила увести ее, но его одолела такая страшная слабость, что он не мог даже пошевелиться. Потом видения стали еще более беспорядочными, наконец все утонуло в непроглядном мраке.

От глубокого сна пробудили Виниция только несносная жара да крики рядом с местом, где он сидел. Виниций протер глаза – улица была запружена народом, но два скорохода в желтых туниках расталкивали толпу длинными тростниковыми шестами и громко кричали, требуя дать дорогу великолепным носилкам, которые несли четыре мускулистых раба-египтянина.

В носилках сидел человек в белой одежде, лицо его было трудно разглядеть, так как у самых глаз он держал свиток папируса и внимательно читал его.

– Дорогу благородному августианину! – кричали скороходы.

Однако улица была настолько забита, что носилкам пришлось на минуту остановиться. Тогда августиан нетерпеливо опустил свиток и, высунув голову наружу, крикнул:

– Разогнать этих бездельников! Живей!

Но вдруг, заметив Виниция, втянул голову в плечи и поспешно поднес свиток папируса к глазам.

Виниций же провел рукою по лбу, полагая, что еще грезит.

В носилках сидел Хилон.

Скороходы тем временем расчистили путь, и египтяне собрались было тронуться вперед, как вдруг молодой трибун, в одно мгновенье уразумев многое, чего не понимал прежде, – подошел к носилкам.

– Привет тебе, Хилон! – сказал он.

– Юноша, – с достоинством и надменностью отвечал грек, силясь придать своему лицу выражение спокойствия, которого не было в его душе, – приветствую тебя, но ты меня не задерживай, ибо я тороплюсь к моему другу, благородному Тигеллину.

Но Виниций, ухватясь за перекладину носилок, нагнулся к нему и, пристально глядя ему в глаза, тихо спросил:

– Это ты выдал Лигию?

– О колосс Мемиона! – испуганно воскликнул Хилон.

Заметив, однако, что в глазах Виниция нет угрозы, старый грек быстро успокоился. Как-никак он находился под покровительством Тигеллина и самого императора, то есть владык, пред которыми все дрожало, вдобавок его охраняли сильные рабы, а Виниций стоял перед ним безоружный, с осунувшимся лицом, сгорбившийся от страданий.

Эта мысль вернула ему прежнюю наглость. Вперив в Виниция глаза с воспаленными красными веками, он в ответ прошептал:

– А ты, когда я умирал с голоду, приказал меня высечь.

Минуту оба молчали, потом Виниций глухо сказал:

– Я обидел тебя, Хилон!

Тогда грек поднял голову и, щелкнув пальцами, что было в Риме знаком пренебрежения и

насмешки, ответил громко, чтобы все могли слышать:

– Если у тебя, приятель, есть просьба ко мне, приди в мой дом на Эсквилине в утреннее время, когда я после ванны принимаю гостей и клиентов.

И он махнул рукою. Повинуясь этому жесту, египтяне приподняли носилки, а рабы в желтых туниках, размахивая тростниковыми шестами, опять закричали:

– Дорогу носилкам благородного Хилона Хилонида! Дорогу! Дорогу!

Глава LV

В длинном, наскоро написанном письме Лигия прощалась с Виницием навсегда. Ей было известно, что в тюрьму уже запрещено приходить и что она сможет увидеть Виниция только с арены. И она просила его узнать, когда настанет их очередь, и еще просила его быть на играх, потому что она хочет его увидеть еще раз при жизни. Страха в ее письме не чувствовалось. Она писала, что и она сама, и остальные жаждут поскорее выйти на арену, на которой их ждет освобождение из темницы. Надеясь, что Помпония и Авл приедут в Рим, она просила, чтобы и они пришли на игры. Каждая строка дышала восторгом и той отрешенностью от земной жизни, которою были полны сердца всех узников, а также неколебимой верой в исполнение их чаяний за гробом. «Освободит ли меня Христос теперь, – писала она, – или после смерти, он обещал меня тебе устами апостола, стало быть, я твоя». И она заклинала Виниция не жалеть ее и не поддаваться горю. Смерть для нее не была расторжением обетов. С доверчивостью дитяти она уверяла Виниция, что тотчас после мучений на арене она расскажет Христу, что в Риме остался ее жених, Марк, который всем сердцем тоскует по ней. И Христос, быть может, разрешит на минутку ее душе побывать у него на земле, чтобы сказать, что она жива, о мученьях уже не помнит и счастлива. Все ее письмо было проникнуто счастьем и безграничной надеждой. Одна только была в нем просьба, связанная с земными делами: чтобы Виниций забрал из сполиария[391] ее тело и похоронил ее как свою жену в склепе, в котором ему самому предстоит опочить.

Он читал это письмо, сердце его разрывалось, но в то же время ему казалось немыслимым, чтобы Лигия погибла от клыков диких зверей и чтобы Христос над нею не сжалился. В этом была его надежда, в это он верил. Воротясь домой, он написал в ответ, что будет каждый день приходить к стенам Туллианума и ждать, пока Христос сокрушит эти стены и ему отдаст ее. Он просил ее верить, что Христос может ее вызволить даже из цирка, что сам великий апостол молит его об этом и что миг освобожденья близок. Центурион-христианин должен был передать ей это письмо утром.

Но когда на другой день Виниций подошел к тюрьме, сотник, отделившись от своего отряда, первый шагнул ему навстречу со словами:

– Выслушай новость, господин. Христос, испытав тебя, ныне оказал тебе свою милость. Приходили этой ночью вольноотпущенники императора и префекта отобрать для них девушек-христианок на поруганье – спросили они про твою возлюбленную, но господь ниспослал ей лихорадку, от которой умирают узники Туллианума, и ее оставили. Уже накануне вечером она лежала в беспамятстве – да будет благословенно имя спасителя, ведь недуг, уберегший ее от позора, может ее спасти и от смерти.

Виниций, чтобы не упасть, ухватился за наплечник солдата, а тот продолжал:

– Возблагодари милосердие господа. Лина схватили и потащили на муки, но, увидев, что он кончается, отдали его. Быть может, и ее отдадут тебе теперь, а Христос вернет ей здоровье.

Молодой трибун еще с минуту постоял, опустив голову, потом поднял ее и тихо молвил:

– Да, так и будет, сотник. Христос, спасший ее от позора, избавит ее от смерти.

И, просидев у стен тюрьмы до вечера, он возвратился домой, чтобы послать своих людей за Лином с приказаньем перенести старика на одну из своих загородных вилл.

Петроний, узнав о происшедшем, решил действовать. У Августы он уже был один раз, а те-

[391] *Сполиарий* – место, где добивали тяжелораненых и раздевали убитых гладиаторов.

перь пошел снова. Застал он ее подле ложа маленького Руфия. Ребенок, у которого была пробита голова, лежал в жару и бредил, а у матери, пытавшейся его спасти, сердце сжималось от отчаяния и страха, что, если и удастся мальчика выходить, так, возможно, лишь для того, чтобы его вскоре постигла смерть еще более страшная.

Поглощенная своим горем, она сперва даже слушать не хотела о Виниции и Лигии, но Петронию удалось ее припугнуть.

– Ты оскорбила, – сказал он ей, – новое неведомое божество. Ты, Августа, кажется, чтишь еврейского Иегову, но христиане утверждают, что Христос его сын, так подумай – не навлекла ли ты гнев его отца? Как знать, возможно, постигшая тебя беда – это их месть, и жизнь Руфия, возможно, зависит от того, как ты поступишь.

– Чего ты от меня хочешь? – со страхом спросила Поппея.

– Умилосерди разгневанного бога.

– Но как?

– Лигия больна. Повлияй на императора или на Тигеллина, чтобы ее отдали Виницию.

– Ты думаешь, я смогу? – спросила она с отчаянием.

– Ну, так ты можешь сделать другое. Если Лигия выздоровеет, ей придется пойти на казнь. Сходи в храм Весты и попроси, чтобы virgo magna[392] оказалась как бы случайно возле Туллианума в то время, когда узников поведут на смерть, и повелела освободить девушку. Старшая весталка тебе в этом не откажет.

– А если Лигия от лихорадки умрет?

– Христиане говорят, что Христос мстителен, но справедлив: возможно, ты умилосердишь его уже одним намерением.

– Пусть он пошлет мне какой-нибудь знак, что спасет Руфия.

Петроний пожал плечами.

– Я пришел не как его посланец, божественная. Я только говорю тебе – лучше тебе быть в ладу со всеми богами, и римскими, и чужими!

– Я пойду! – стонущим голосом произнесла Поппея.

Петроний вздохнул с облегчением.

«Наконец-то я чего-то добился!» – подумал он.

Возвратясь к Виницию, он сказал:

– Проси своего бога, чтобы Лигия не умерла от лихорадки, – если она не умрет, то верховная жрица Весты прикажет ее освободить. Сама Августа будет об этом просить.

Виниций пристально посмотрел на него – глаза трибуна горели лихорадочным огнем.

– Ее освободит Христос, – молвил он.

А Поппея, которая ради спасения Руфия готова была совершить гекатомбы всем богам, отправилась в тот же вечер на Форум к весталкам, поручив смотреть за больным мальчиком верной няне Сильвии, которая ее самое вынянчила.

Но на Палатине приговор ребенку уже был вынесен. Едва носилки супруги императора скрылись за Большими воротами, в комнату, где лежал маленький Руфий, вошли два вольноотпущенника – один бросился на старуху Сильвию и заткнул ей рот, а второй, схватив бронзовую статуэтку сфинкса, одним ударом оглушил ее.

Затем они подошли к постели Руфия. Измученный жаром, лежавший в полузабытьи ребенок не сознавал, что происходит, и улыбался им, щуря свои прелестные глазки, точно силясь их получше разглядеть. Но они, сняв с няньки пояс, называвшийся «цингулум», накинули ему на шею петлю и стали затягивать. Крикнув только раз «мама», ребенок быстро скончался. Тогда убийцы завернули его в простыню, сели на ожидавших их лошадей и поскакали в Остию, где бросили труп в море.

Поппея же не застала верховной жрицы, которая вместе с другими весталками была у Вати-

[392] Virgo magna (*лат.* «великая дева») – титул старшей весталки; весталки обладали правом помиловать осужденных, если встречали их на своем пути.

ния. Возвратясь на Палатин и увидев пустое ложе и уже остывшее тело Сильвии, она лишилась чувств, а когда ее привели в себя, начала кричать без умолку, и дикие ее вопли слышались всю ночь и весь следующий день.

Но на третий день император приказал ей присутствовать на пиру, и она, надев фиолетовую тогу, явилась на пир и сидела с каменным лицом, золотоволосая, безмолвная, дивно прекрасная и зловещая, как ангел смерти.

Глава LVI

До того как Флавии соорудили Колизей, амфитеатры в Риме строились по большей части из дерева, поэтому во время пожара почти все они сгорели. Но для обещанных игр Нерон приказал выстроить несколько новых амфитеатров, и среди них один огромный, для которого, едва погасли огни пожара, начали доставлять по морю и по Тибру могучие древесные стволы, срубленные на склонах Атласских гор. Так как игры эти великолепием и числом жертв должны были превзойти все прежние, строились сверх того обширные помещения для людей и зверей. Тысячи работников дни и ночи трудились на этих постройках. Работы по сооружению и украшению главного амфитеатра велись без передышки. Народ рассказывал чудеса о поручнях, выложенных бронзой, янтарем, слоновой костью, перламутром и панцирями заморских черепах. Проложенные вдоль рядов канавки с холодной водой, поступавшей с гор, должны были даже в самую знойную пору поддерживать приятную прохладу. Колоссальный пурпурный веларий защищал от солнечных лучей. Между рядами расставляли курильницы с аравийскими благовониями, а на потолке делались устройства, чтобы кропить зрителей шафраном и вербеной. Знаменитые зодчие Север и Целер употребили все свои познания, чтобы воздвигнуть этот несравненный по роскоши амфитеатр, который мог вместить такое число любопытных зрителей, как ни один из известных до той поры.

Потому-то в день первой из назначенных «утренних игр» толпы черни с рассвета ждали, когда откроются ворота, упоенно прислушиваясь к рычанию львов, хриплому реву пантер и вою собак. Зверей уже два дня не кормили, только дразнили их кровавыми кусками мяса, чтобы разжечь ярость и голод. Временами хор звериных голосов становился столь оглушительным, что стоявшие возле цирка люди не слышали друг друга, а те, кто потрусливей, бледнели от страха. С восходом солнца из цирка донеслось громкое, но спокойное пенье – чернь слушала его, изумляясь и повторяя: «Христиане! Христиане!» Еще ночью в амфитеатр привели множество будущих жертв, и не из одной тюрьмы, как первоначально намеревались, а из всех. Толпа знала, что зрелища будут длиться недели и месяцы, но тут же начались споры, управятся ли с намеченной на сегодня частью христиан за один день. Мужских, женских и детских голосов, певших утренний гимн, было столько, что, по мнению знатоков, даже если бы отправляли на арену по сто или двести штук сразу, звери вскоре устанут, насытятся и до вечера не успеют всех разорвать. Другие сетовали, что, когда на арене одновременно выступает слишком много народу, внимание рассеивается и невозможно как следует насладиться зрелищем. Чем ближе было к часу открытия ведущих во внутрь коридоров, называвшихся «вомитории», тем оживленнее и веселее шумела толпа, споря на различные, касающиеся игр темы. Начали образовываться партии, одни стояли за то, что львы искуснее разрывают людей, другие – что тигры. Тут и там бились об заклад. Многие также обсуждали гладиаторов, которым предстояло выступать на арене до христиан, и опять же возникали партии – кто за самнитов, кто за галлов, кто за мирмиллонов, кто за фракийцев, кто за ретиариев.

С раннего утра прибывали в амфитеатр группы гладиаторов во главе с их наставниками – ланистами. Не желая прежде времени утомлять себя, они шли без оружия, часто совершенно нагие, кое-кто с зеленой веткой в руке или в венке из цветов – молодые, полные жизни, блистающие красотой в утреннем свете. Их могучие, точно из мрамора изваянные тела, лоснившиеся от оливкового масла, возбуждали восхищение римлян, любителей красивых форм. Многих гладиаторов знали в лицо, то и дело раздавались крики: «Привет, Фурний! Привет, Лео! Привет, Максим! Привет, Диомед!» Девушки бросали на них влюбленные взгляды, а они, высматривая самых красивых, сыпали шутливыми словечками, как бы не испытывая и тени тревоги, да посылали воздушные поцелуи или кричали: «Обними меня, пока смерть не обняла!» Затем исчезали в воротах,

из которых многим суждено было не выйти. Но внимание толпы привлекали все новые группы участников. За гладиаторами шли мастигофоры, люди с бичами, чьей обязанностью было стегать, подбадривать дерущихся. Мулы тянули в сторону сполиария длинную вереницу повозок, на которых высились горы деревянных гробов. Их вид радовал толпу – по большому количеству судили о грандиозности игр. Дальше шли те, которые должны были добивать раненых, и наряжены они были кто Хароном[393], а кто Меркурием; за ними – те, кто наблюдал за порядком в цирке и раздавал табуреты; затем рабы, которые разносили еду и прохладительные напитки; и наконец преторианцы, которых каждый император держал в амфитеатре наготове.

Наконец вомитории отворились, и толпа устремилась в цирк. Однако число жаждущих было так велико, что они шли час за часом – даже не верилось, что амфитеатр может вместить такую пропасть народа. Рычанье зверей, учуявших человеческие запахи, стало еще громче. Рассаживаясь по местам, народ в цирке шумел, как волны морские в бурю.

Но вот появился префект города с отрядом стражей, а за ним непрерывною чередой потянулись носилки сенаторов, консулов, преторов, эдилов, государственных и дворцовых чиновников, преторианских начальников, патрициев и знатных дам. Перед некоторыми носилками шли ликторы[394], несшие топорик в связке розог, перед другими – толпы рабов. В солнечном свете сверкала позолота носилок, яркими красками переливались белые и цветные одежды, перья, серьги, драгоценные камни, сталь топоров. Из цирка доносились крики, которыми народ приветствовал виднейших сановников. Время от времени прибывали небольшие отряды преторианцев.

Однако жрецы различных храмов появились немного позже, и только после них понесли в носилках священных дев Весты, впереди которых шли ликторы. Чтобы начать игры, ждали только императора, который, не желая раздражать народ слишком долгим ожиданьем, вскоре прибыл в сопровождении Августы и августиан.

Петроний находился среди августиан, и в его носилках сидел Виниций. Молодой трибун знал, что Лигия больна, лежит в беспамятстве, но в последние дни доступ в тюрьму был полностью закрыт, прежнюю стражу заменили новой, которой не разрешалось входить в общение с тюремными надзирателями, а также передавать какие-либо сведения приходившим узнавать об узниках, – у Виниция поэтому не было уверенности, что Лигии нет в числе жертв, обреченных на смерть в первый день игр. Могли ведь отправить на растерзание львам и больную, даже в беспамятстве. Жертвы должны были появиться на арене зашитыми в звериные шкуры, причем большими партиями, поэтому никто из зрителей не смог бы проверить, было ли их одним человеком больше или меньше, а тем паче кого-то узнать. Стражи и все служители амфитеатра были подкуплены Винициом, и с бестиариями был уговор, что они спрячут Лигию в каком-нибудь темном закоулке амфитеатра и ночью передадут ее верному человеку, который тотчас ее увезет в Альбанские горы. Посвященный в тайну Петроний посоветовал Винициу явиться с ним в амфитеатр открыто и, лишь оказавшись внутри, потихоньку ускользнуть и спуститься в подвал, где во избежание ошибки он должен был указать стражам Лигию.

Стражи отворили перед ним невысокую дверь, через которую проходили сами. Один из них, звавшийся Сир, немедля повел его к христианам.

– Не знаю, господин, найдешь ли ты то, что ищешь. Мы расспрашивали про девушку по имени Лигия, но никто нам не дал ответа, а может быть, они нам не доверяют.

– Много их? – спросил Виниций.

– Еще на завтра много останется, господин.

– Есть больные?

– Таких, чтобы не могли на ногах стоять, нет.

С этими словами Сир открыл дверь, и они вошли в помещение, огромное, но низкое и темное, так как свет туда проникал только через зарешеченные отверстия, выходившие на арену. Вна-

[393] *Харон* – в греческой мифологии перевозчик умерших через реки Аида.

[394] *Ликторы* – почетная стража высших магистратов, носившая т.н. фасции (связка прутьев с топориком посередине) как знаки достоинства сопровождаемых ею лиц.

чале Виниций ничего не мог разглядеть, лишь слышал вокруг себя гул голосов да доносившиеся из амфитеатра крики. Но вскоре, когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что окружен странными существами, напоминавшими волков и медведей. То были христиане в звериных шкурах. Одни из них стояли, другие молились на коленях. По длинным волосам, падавшим на шкуры, можно было угадать, кто тут женщины. Ряженные волчицами матери держали на руках детей, тоже в косматых шкурах. Но из звериных шкур глядели сияющие лица, глаза сверкали лихорадочной радостью. Было видно, что всеми этими людьми владела одна-единственная мысль, страстное чаяние неземного, еще при жизни сделавшее их нечувствительными ко всему, что их окружало и что могло с ними случиться. Когда Виниций спрашивал про Лигию, некоторые смотрели на него, словно очнувшись ото сна, и не отвечали на вопрос, другие улыбались, прикладывая палец к губам или указывая на железные решетки, сквозь которые падали лучи света. Только дети кое-где плакали, напуганные рычаньем зверей, воем собак, криками людей и похожими на лесных зверей фигурами их собственных родителей. Идя рядом с Сиром, Виниций вглядывался в лица, искал, расспрашивал, натыкаясь подчас на тела тех, кто лишился чувств от толчеи, духоты и жары, и протискивался все дальше в темную глубину помещения, по-видимому, столь же огромного, как весь амфитеатр.

Вдруг Виниций остановился – ему показалось, что где-то у решетки прозвучал знакомый голос. С минуту он прислушивался, потом повернул обратно и, пробившись через толпу, подошел к тому месту. Сноп лучей падал на голову говорившего, и в этом свете Виниций узнал в обрамлении волчьей шкуры изможденное, неумолимо суровое лицо Криспа.

– Скорбите о грехах ваших, – говорил Крисп, – ибо наступает час возмездия. Но тот из вас, кто думает, что одной лишь смертью искупит вины свои, тот совершает новый грех и будет ввергнут в вечный огонь. Каждым вашим грехом, при жизни совершенным, вы обновляли муки господа, так как же смеете вы надеяться, что мука, вас ожидающая, искупит его муки? Одною смертью погибнут нынче праведные и грешные, но господь отличит своих. Горе вам! Клыки львов раздерут тела ваши, но не уничтожат ни вины вашей, ни вашего счета с богом. Да, господь оказал довольно милосердия, разрешив пригвоздить себя к кресту, но отныне он будет лишь судиею, который ни одну вину не оставит без наказания. Итак, вы, полагающие, будто муками загладите грехи ваши, вы кощунственно оскорбляете справедливость божию и тем глубже будете низвергнуты. Конец милосердию, настал час гнева божьего. Еще миг – и вы предстанете перед страшным судом, где и добродетельный едва спасется. Скорбите о грехах ваших, ибо разверзлась пасть адова, горе вам, мужи и жены, горе вам, родители и дети!

И, простерши костлявые руки, он потрясал ими над склоненными головами, бесстрашный, но также беспощадный, даже пред лицом смерти, на которую вскоре должны были пойти все эти обреченные. После его слов раздались возгласы: «Скорбим о грехах наших!», затем наступило молчание, слышался только плач детей да удары кулаками в грудь. У Виниция кровь застыла в жилах. Он, всю свою надежду полагавший на милосердие Христово, услышал теперь, что пришел день гнева и что милосердия не снискать даже гибелью на арене. В его уме молнией сверкнула мысль, что апостол Петр иное говорил бы этим идущим на смерть людям, однако грозные, исполненные фанатизма речи Криспа, темный подвал с решетками, за которыми простиралось поприще страданий, близость этих мук, толпа будущих жертв, облаченных в смертные одежды, – все это наполнило душу Виниция тревогою и ужасом. С содроганием он подумал, что это во сто крат страшнее, чем самые кровавые сражения, в которых он участвовал. От духоты и жары он начал задыхаться. На лбу проступил холодный пот. Виниций испугался, что может потерять сознание, подобно тем, о чьи тела он спотыкался, пытаясь проникнуть в глубь помещения, а когда сверх того он вспомнил, что в любую минуту могут открыть решетки, он стал громко выкрикивать имена Лигии и Урса, надеясь, что, если не они, так кто-нибудь их знающий ответит ему.

И действительно, почти сразу же какой-то человек, наряженный медведем, потянул его за тогу со словами:

– Они остались в тюрьме, господин. Меня вывели последнего, и я видел, что она лежит больная.

– Кто ты? – спросил Виниций.

– Я – землекоп, тот, в чьей хижине апостол окрестил тебя, господин. Меня схватили три дня тому назад, и нынче мне помирать.

Виниций вздохнул с облегчением. Входя сюда, он стремился найти Лигию, но теперь был готов благодарить Христа за то, что ее здесь нет, и усматривать в этом знак его милости.

Между тем землекоп снова потянул его за тогу.

– А помнишь, господин, что это я провел тебя на виноградник Корнелия, туда, где апостол проповедовал в сарае?

– Помню, – ответил Виниций.

– Я его видел еще раз, за день до того, как меня в тюрьму бросили. Благословил он меня и сказал, что придет в амфитеатр осенить погибающих крестным знамением. Хотелось бы мне взглянуть на него в смертный час и увидеть знак креста – тогда мне будет легче умирать; если ты знаешь, где он, скажи мне.

– Он среди людей Петрония, – понизив голос, ответил Виниций, – переодет рабом. Где они выбрали места, я не знаю, но, когда вернусь в цирк, я это увижу. Ты же, как выйдешь на арену, смотри на меня – я встану и поверну голову в их сторону. Тогда ты сможешь найти его глазами.

– Благодарю тебя, господин! Мир тебе!

– Да будет спаситель к тебе милостив!

– Аминь.

Выйдя из куникула, Виниций вернулся в амфитеатр – место его было рядом с Петронием, среди прочих августиан.

– Она там? – спросил Петроний.

– Нет, она осталась в тюрьме.

– Послушай, что мне еще пришло на ум. Только, слушая меня, смотри, например, на Нигидию, чтобы казалось, будто мы обсуждаем ее прическу. Тигеллин и Хилон в эту минуту глядят на нас. Так слушай: пусть Лигию ночью положат в гроб и вынесут из тюрьмы, как умершую, – о дальнейшем подумаешь сам.

– Да, пожалуй, – ответил Виниций.

Их беседу прервал Туллий Сенецион.

– А вы не знаете, христианам дадут оружие? – сказал он, наклонясь к ним.

– Нет, не знаем, – ответил Петроний.

– Я бы предпочел, чтобы дали, – иначе арена слишком быстро станет похожа на бойню. Но какой, однако, роскошный амфитеатр!

И в самом деле, зрелище было великолепное. Нижние ряды со зрителями в тогах белели как снег. На золоченом возвышении восседал император в алмазном ожерелье, с золотым венцом на голове, и рядом с ним сумрачная красавица Августа; по обе стороны от них сидели весталки, высокие сановники, сенаторы в тогах с каймою, военачальники в блестящих доспехах – словом, все, что было в Риме могущественного, знатного и богатого. Следующие ряды занимали всадники, а еще выше чернело море голов, над которыми висели прикрепленные к столбам гирлянды из роз, лилий, анемонов, плюща и винограда.

Зрители громко разговаривали, перекликались, пели, иногда разражались взрывами смеха по поводу острого словца, которое передавалось из ряда в ряд, а порою нетерпеливо топали, чтобы ускорить начало зрелища.

Топот наконец стал напоминать беспрерывные громовые раскаты. Тогда префект города, который со своей блестящей свитой уже успел объехать арену, подал знак платком, на что амфитеатр ответил оглушительным «А-а-а!», вырвавшимся из тысяч грудей.

Обычно зрелище открывалось ловлею дикого зверя, в которой состязались варвары с Севера и Юга, но на сей раз зверей был избыток, поэтому начали с андабатов, то есть бойцов в шлемах без отверстий для глаз, сражавшихся вслепую. На арену разом вышли десятка два андабатов и начали махать мечами в воздухе, а мастигофоры длинными вилами подталкивали их друг к другу, чтобы им удалось встретиться. Зрители познатнее смотрели на это зрелище с презрительным равнодушием, однако народ тешился неуклюжими движениями бойцов, а когда они, случалось, сталкивались спинами, раздавались хохот и крики: «Правее!», «Левее!», «Прямо!», которыми порою

нарочно сбивали с толку. Все же несколько пар сошлись, и бой становился кровавым. Более рьяные бойцы бросали щиты и схватившись левыми руками, чтобы уже не разъединиться, правыми сражались насмерть. Упавший подымал руку, умоляя этим жестом о пощаде, но в начале игр народ обычно требовал добивать раненых, особенно же когда речь шла об андабатах с закрытыми лицами, и потому никому не известных. Постепенно число сражавшихся уменьшалось, и когда их осталось только двое, их толкнули одного к другому так сильно, что оба, встретившись, упали на песок, и уже лежа, закололи друг друга. Под крик «Кончено!»[395] служители унесли трупы, а отроки с граблями закрыли песком следы крови на арене и присыпали их листьями шафрана.

Теперь предстоял бой более серьезный, вызывавший интерес не только черни, но и людей утонченных, – тут молодые патриции делали подчас огромные ставки и проигрывались в пух и прах. Сразу же из рук в руки стали передавать таблички с записанными на них именами любимцев и числом сестерциев, которое каждый ставил на своего избранника. У спектатов, то есть бойцов, уже выступавших на арене и одерживавших на ней победы, было больше приверженцев, однако среди бившихся об заклад находились и такие, которые ставили крупные суммы на новых, совершенно неизвестных гладиаторов, надеясь в случае их победы на крупный выигрыш. Бились об заклад сам император, и жрецы, и весталки, и сенаторы, и всадники, и народ. Сельские жители, когда у них не оставалось денег, нередко ставили на кон свою свободу. Поэтому все ждали выхода бойцов с сердцебиением, даже с тревогой, многие громко давали обеты богам, чтобы вымолить их покровительство своему любимцу.

Но вот амфитеатр огласили пронзительные звуки труб, и воцарилась полная ожидания тишина. Тысячи глаз обратились к большим воротам, к которым приблизился человек, наряженный Хароном, и при всеобщем молчании трижды стукнул в них молотом, как бы вызывая на смерть тех, кто был за ними. Ворота медленно отворились, и из зияющей черноты на ярко освещенную арену стали выходить гладиаторы. Они шли отрядами по двадцать пять человек – отдельно фракийцы, отдельно мирмиллоны, самниты, галлы, все в тяжелом вооружении; наконец, вышли ретиарии, в одной руке державшие сеть, а в другой – трезубец. При виде их по рядам раздались рукоплесканья, перешедшие вскоре в сплошной громоподобный шум. В глазах рябило от вида амфитеатра с разгоряченными лицами, открытыми в крике ртами и хлопающими руками. Гладиаторы ритмичным, пружинистым шагом сделали круг по арене, сверкая оружием и богатыми доспехами, и остановились перед возвышением с ложем императора – горделивые, спокойные красавцы. Резкий звук рога прекратил рукоплесканья, тогда бойцы выбросили вверх правые руки и, подняв головы и взоры к императору, начали выкрикивать, а точнее, повторять протяжно, нараспев:

Ave caesar imperator!
Morituri te salutant!
Привет тебе, цезарь, император!
Идущие на смерть приветствуют тебя! *(лат.)*

После чего они быстро рассыпались по арене, занимая каждый свое место. Им предстояло сражаться целыми отрядами, но сперва наиболее знаменитым бойцам было дозволено сразиться попарно – в таких поединках выявлялись сила, ловкость и отвага. И вот из рядов галлов выступил боец, хорошо известный любителям под именем Ланиона, то есть «Мясника», победитель во многих играх. В высоком шлеме и в панцире, прикрывавшем спереди и сзади его могучий торс, он в ярком свете на желтой арене походил на огромного блестящего жука. Ему навстречу вышел не менее известный ретиарий Календион.

Среди зрителей послышались возгласы:

– Пятьсот сестерциев на галла!

– Пятьсот на Календиона!

[395] Peractum est! *(Примеч. автора.)*

– Клянусь Геркулесом, тысяча!

– Две тысячи!

Галл между тем, дойдя до середины арены, стал пятиться, выставив меч острием вперед и с наклоненной головой напряженно наблюдая через отверстия в забрале за противником, а тот, легкий ретиарий, с изящной, достойной резца ваятеля фигурой, совершенно нагой, только в набедренной повязке, быстро кружил вокруг тяжеловесного соперника, ловко размахивая сетью, то опуская, то поднимая трезубец и распевая песенку сетеносцев:

Не тебя ищу, а рыбу,
Что ж ты убегаешь, галл?[396]

Но галл и не думал убегать, он, сделав несколько шагов, остановился и лишь слегка повертывался из стороны в сторону, чтобы противник все время был перед ним. В его фигуре и уродливо огромной голове было теперь что-то жуткое. Зрители понимали, что это тяжелое, закованное в медь тело готовится к внезапному броску, который может решить исход поединка. А сетеносец тем временем то подбегал к нему, то отскакивал, так быстро размахивая своими трезубыми вилами, что глаз с трудом мог уследить за ними. Несколько раз слышались удары трезубца о щит, но галл даже не покачнулся, что говорило о его огромной силе. Все его внимание, казалось, было сосредоточено не на трезубце, а на сети, непрестанно кружившей над его головою, как зловещая птица. Затаив дыхание, зрители следили за искусной игрой гладиаторов. Наконец, улучив момент, Ланион ринулся на противника, но тот с таким же проворством проскользнул под его мечом и поднятой рукой, затем выпрямился и закинул сеть.

Галл, сделав поворот на месте, щитом отбросил сеть, после чего оба отпрянули в стороны. В амфитеатре загремели возгласы: «Macte!», в нижних рядах заново стали делать ставки. Сам император, беседовавший с весталкой Рубрией и не слишком внимательно следивший за зрелищем, обратил лицо к арене.

Бойцы возобновили поединок, сражаясь так ловко, с такой точностью движений, что минутами чудилось, будто это не борьба на жизнь и на смерть, но игра с целью выказать свою ловкость. Ланион, еще два раза ускользнув от сети, снова начал пятиться к краю арены. Тогда те, кто ставили против него, не желая, чтобы он отдохнул, закричали: «Наступай!» Галл послушался и бросился на противника. Внезапно рука ретиария залилась кровью, и его сеть повисла. Ланион, пригнувшись, ринулся вперед с намерением нанести последний удар. Но в этот миг Календион, который лишь притворился, будто уже не может орудовать сетью, откинулся в сторону, чтобы избежать удара, и, сунув трезубец между колен противника, повалил его наземь.

Галл попытался встать, но в мгновение ока его обвили роковые веревки, в которых руки его и ноги с каждым движением запутывались все больше. А меж тем удары трезубца раз за разом валили его на песок. Вот он сделал еще одно усилие, оперся на руку и напрягся, чтобы встать, – напрасно! Подняв к голове слабеющую руку, уже неспособную удержать меч, Ланион упал навзничь. Календион своим трезубцем прижал его шею к земле и, обеими руками опершись на рукоять, обернулся лицом к императорской ложе.

Весь цирк дрожал от рукоплесканий и воплей. Для тех, кто ставил на Календиона, он в эту минуту был более велик, чем император, но именно поэтому в их сердцах исчезло и враждебное чувство к Ланиону, который ценою своей крови наполнил их карманы. И желания публики разделились надвое. Во всех рядах половина зрителей делала знак смерти, половина – пощады, но ретиарий глядел только на императора и весталок, выжидая, что решат они.

К несчастью, Нерон не любил Ланиона, потому что на последних играх, еще перед пожаром,

396

Non te peto, piscem peto.
Quid me fugis, Gallo? *(Примеч. автора.)*

поставив на него, проиграл крупную сумму Лицинию, и он, протянув руку вперед, обратил большой палец вниз.

Весталки тотчас повторили его жест. Тогда Календион, прижав коленом грудь галла, достал из-за набедренника короткий нож и, отведя край панциря у шеи противника, всадил ему в горло трехгранное лезвие по рукоять.

– Peractum est! – раздались голоса в амфитеатре.

Ланион недолго подергался, как зарезанный вол, роя ногами песок, – потом вытянулся и так застыл.

Меркурию даже не потребовалось проверять раскаленным железом, жив ли он. Тело Лациона вмиг унесли, и вышли другие пары, после чего только и начался бой целых отрядов. Народ участвовал в нем душою, сердцем, глазами: выл, рычал, свистел, хлопал, смеялся, подстрекал дерущихся, бесновался. Разделенные на две партии гладиаторы сражались на арене с яростью диких зверей: грудь ударяла о грудь, сплетались тела в смертельном объятье, трещали в суставах могучие конечности, мечи погружались в грудные клетки и в животы, из бледнеющих уст хлестала на песок кровь. С десяток новичков объял под конец такой ужас, что они, вырвавшись из сечи, попытались убежать, но мастигофоры загнали их обратно в гущу схватки бичами со свинчаткой на концах. На песке образовалось множество темных пятен, все больше нагих и одетых в доспехи тел валилось на арену, подобно снопам. Живые сражались, стоя на трупах, спотыкались об оружие, о щиты, ранили ноги в кровь обломками мечей и падали. Народ был вне себя от удовольствия, упивался смертью, дышал ею, насыщал зрение ее видом и с наслаждением втягивал в легкие ее запахи.

В конце концов почти все побежденные полегли. Лишь несколько раненых стояли на коленях посреди арены и, пошатываясь, простирали руки к зрителям с мольбою о пощаде. Победителям раздали награды, венки, оливковые ветви, и настала минута отдыха, которая по воле всемогущего императора была превращена в пиршество. В курильницах зажгли благовония. Из кропильных устройств народ орошали легким шафранным и фиалковым дождиком. Разносили прохладительные напитки, жареное мясо, сладости, вино, оливки и фрукты. Народ ел, болтал и выкрикивал здравицы императору, чтобы побудить его к еще большей щедрости. А когда голод и жажда были утолены, сотни рабов внесли в амфитеатр наполненные подарками корзины, из которых наряженные амурами мальчики стали вынимать различные предметы и обеими руками бросать их в ряды зрителей. Когда же начали раздавать лотерейные тессеры, разгорелась драка: люди теснились, валили друг друга с ног, топтали, звали на помощь, перепрыгивали через ряды и давили один другого в страшной толчее – ведь тот, кому доставалось счастливое число, мог выиграть даже дом с садом, раба, роскошное платье или редкостного зверя, которого потом мог продать в цирк. Потому и возникала часто такая давка, что преторианцам приходилось наводить порядок, и после каждой раздачи тессер из амфитеатра выносили людей со сломанными руками, ногами и даже затоптанных насмерть.

Но люди побогаче не участвовали в борьбе за тессеры. Августианы во время боя забавлялись видом Хилона и насмехались над его тщетными усилиями показать, что он может смотреть на драку и кровопролитие столь же спокойно, как любой другой. Однако напрасно несчастный грек хмурил брови, прикусывал губу и сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладони. И греческой его натуре, и лично ему присущей трусости подобные зрелища были непереносимы. Лицо его побледнело, на лбу густо заблестели капельки пота, губы посинели, глаза ввалились, зубы стучали, и все тело сотрясала дрожь. Когда бой был закончен, Хилон немного оправился, но тут окружающие подняли его на смех, и он, внезапно вспылив, стал отчаянно огрызаться.

– Ага, грек! Тебе нестерпим вид рваной человеческой кожи, – дернув его за бороду, сказал Ватиний.

Хилон, показывая в оскале два последних своих желтых зуба, отпарировал:

– Мой отец не был сапожником, поэтому я не умею латать ее.

– Macte! Habet! – раздались голоса.

Но насмешки продолжались.

– Он же не виноват, что у него в груди вместо сердца кусок сыра! – воскликнул Сенецион.

– Ты тоже не виноват, что вместо головы у тебя мочевой пузырь, – нашелся Хилон.

– А не стать ли тебе гладиатором? Вот бы превосходно выглядел ты с сетью на арене.

– Если б я поймал ею тебя, достался бы мне вонючий удод.

– А как бы ты поступил с христианами? – спросил Фест из Лигурии[397]. – Не хочешь ли стать собакой и кусать их?

– Нет, не хочу стать твоим братом.

– Ты, меотийская[398] проказа!

– Ты, лигурийский мул!

– Видать, шкура у тебя свербит, но просить меня, чтобы я тебя поскреб, не советую.

– Сам себя скреби! Коль соскребешь свои чирьи, лишишься лучшего, что есть в твоей персоне.

Так римляне издевались над Хилоном, а он отвечал им столь же язвительными выпадами, возбуждая всеобщий смех. Император хлопал в ладоши и повторял «Macte!», подзуживая спорящих. Но вот подошел к Хилону Петроний и, тронув хлыстом из слоновой кости его плечо, холодно произнес:

– Все это прекрасно, философ, лишь в одном ты сделал ошибку: боги создали тебя мелким воришкой, а ты лезешь в демоны, и этого тебе не выдержать!

Старик глянул на него своими воспаленными глазами, но на сей раз почему-то не нашел оскорбительного ответа.

– Выдержу! – немного помолчав, произнес он как бы через силу.

Тем временем трубы возвестили, что перерыв кончился и представление возобновляется. Люди стали освобождать проходы, в которых собрались, чтобы размять ноги и поговорить. В цирке началось движение и обычные споры за места, которые оказывались заняты. Сенаторы и патриции проходили в свои ряды. Постепенно шум затихал, в амфитеатре восстанавливался порядок. На арене появились служители и стали граблями разрыхлять оставшиеся кое-где комья песка, слипшиеся от загустевшей крови.

Теперь настал черед христиан. Подобное зрелище было для народа внове, никто не знал, как они будут себя вести, и их появления ожидали с известным любопытством. На лицах изображалось напряженное внимание, все ждали сцен необычных, но настроение публики было враждебное. Ведь эти люди, что сейчас появятся, сожгли Рим и его извечные сокровища. Они пили кровь младенцев, отравляли воду, проклинали весь род человеческий и совершали самые ужасные злодеяния. Пробужденную в народе ненависть не утолили бы и жесточайшие кары, и если какие-либо опасения волновали чернь, то были опасения, что муки окажутся недостаточным возмездием за преступления этих злобных изуверов.

Солнце меж тем поднялось высоко, и его лучи, сквозившие через пурпурный веларий, залили амфитеатр кровавым светом. Песок окрасился в огненные тона, и в этих багряных бликах, в лицах зрителей и в виде пустынной арены, на которой через мгновенье развернется картина человеческих мучений и ярости зверей, было что-то зловещее. Казалось, сам воздух насыщен предчувствием ужаса и смерти. Толпа, обычно веселая и беспечная, ныне, охваченная ненавистью, застыла в молчании. Мрачное ожесточение рисовалось на лицах.

Но вот префект подал знак: тотчас опять вышел старик, наряженный Хароном, тот самый, что вызывал гладиаторов на смерть, и, неторопливой поступью пройдя через всю арену, среди воцарившейся мертвой тишины опять трижды ударил молотом в двери.

В амфитеатре разнесся глухой ропот:

– Христиане! Христиане!

Заскрипели железные решетки, в зияющих темных проходах раздались обычные выкрики мастигофоров: «На арену!» – и в единый миг арену заполнила толпа фигур в косматых шкурах,

[397] *Лигурия* – область в западной части Северной Италии.

[398] Окрестности *Меотиды* (Азовского моря) считались в древности нездоровым местом.

напоминавших фавнов. Выбегая с лихорадочной поспешностью, они устремлялись к середине круга и там падали на колени один подле другого, воздевая руки кверху. Зрители решили, что они просят пощады, и, возмущенные подобной трусостью, принялись топать, свистеть, швырять порожние сосуды из-под вина, обглоданные кости и вопить: «Зверей! Зверей!» Но вдруг произошло нечто неожиданное. Из груды этих косматых тел послышалось пенье, зазвучал гимн, который впервые услышали в стенах римского цирка:

Christus regnat!…[399]

Изумление охватило зрителей. Обреченные на смерть пели, подняв глаза к веларию. Лица их были бледны, но светились вдохновеньем. Тут все поняли, что люди эти не просят милосердия, что они как бы не видят ни цирка, ни публики, ни сената, ни императора. «Christus regnat!» звучало все громче и громче, и на скамьях, с нижних рядов и до самых верхних, не один из зрителей спрашивал себя: что ж это творится, кто такой этот Христос, царствующий в песне обреченных на смерть. Но в это время отворились другие решетчатые ворота, и на арену с дикой стремительностью и неистовым лаем вырвалась стая собак: светло-серых гигантских молосских собак с Пелопоннеса, полосатых пиренейских и волкоподобных лохматых псов из Иберии[400], нарочно выдержанных на голоде, с запавшими боками и налитыми кровью глазами. Вой и рычанье огласили амфитеатр. Закончив песнь, христиане стояли на коленях неподвижно, будто окаменев, лишь со стенаниями повторяя хором: «Pro Christo! Pro Christo!»[401] Учуяв под звериными шкурами людей и озадаченные их неподвижностью, собаки сперва не посмели напасть. Одни лезли на ограду лож, словно пытаясь добраться до зрителей, другие с яростным лаем бегали по кругу, как бы гоняясь за каким-то невидимым зверем. Народ стал сердиться. Цирк загудел тысячами голосов: одни подражали звериному рычанью, другие лаяли по-собачьи, третьи науськивали собак на всех языках мира. Стены амфитеатра сотрясались от воплей. Раздразненные зрителями собаки то подскакивали к стоявшим на коленях, то опасливо пятились, щелкая зубами, пока наконец один из молосских псов не вонзил зубы в затылок женщины, стоявшей на коленях впереди всех, и не подмял ее под себя.

Тогда десятки собак ринулись на коленопреклоненных, словно прорвались в брешь. Чернь перестала бесноваться, теперь ее внимание было приковано к арене. Среди воя и хрипения еще раздавались жалобные мужские и женские голоса: «Pro Christo! Pro Christo!», но разглядеть что-нибудь в образовавшихся клубках из тел собак и людей было трудно. Кровь лилась ручьями. Собаки вырывали одна у другой окровавленные куски человеческого мяса. Запах крови и разодранных внутренностей заглушил аравийские благовония и распространился по всему цирку. Вскоре лишь кое-где еще были видны одинокие стоящие на коленях фигуры, но их быстро заслоняли от глаз движущиеся, воющие своры.

В эту минуту начали выталкивать на арену новые группы зашитых в шкуры жертв.

Эти, подобно первым, тоже сразу падали на колени, но притомившиеся собаки не желали их терзать. Лишь несколько псов бросилось на тех, кто стоял поближе, а прочие улеглись и, задирая вверх окровавленные морды, поводили боками и отчаянно зевали.

Тогда пьяный от крови, разъяренный народ встревожился и раздались пронзительные вопли:

– Львов! Львов! Выпустить львов!

Львов намеревались приберечь для следующего дня, но в амфитеатрах желаниям народа подчинялись все, даже сам император. Один лишь Калигула, изменчивый в своих прихотях и ничего не боявшийся, отваживался противиться, а иногда даже приказывал колотить толпу палками, но обычно и он уступал. Нерон же, для которого рукоплескания были дороже всего в мире, никогда не противился черни и тем более не стал противиться теперь, когда надо было успокоить обо-

[399] Христос царит! *(лат.)*

[400] *Иберия* – Испания.

[401] «За Христа! За Христа!» *(лат.)*

зленную пожаром толпу и когда речь шла о христианах, на которых он хотел свалить вину за бедствие.

Посему Нерон подал знак открыть куникул, и народ тотчас угомонился. Послышался скрип решеток, за которыми находились львы. При виде их собаки, тихонько повизгивая, сбились в кучу на противоположной стороне круга, а тем временем львы, один за другим, стали выходить на арену, огромные, рыжие, с большими косматыми головами. Сам император обратил к ним свое скучающее лицо и приложил к глазу изумруд, чтобы лучше видеть. Августианы приветствовали львов хлопками, народ считал их на пальцах, жадно следя, какое впечатление производит их вид на коленопреклоненных христиан, которые опять стали повторять непонятные для большинства, но раздражающие всех слова: «Pro Christo! Pro Christo!»

Виниций, который встал, когда христиане выбежали на арену, и, выполняя данное землекопу обещание, повернулся в ту сторону, где среди челяди Петрония находился апостол, теперь снова сел и, с застывшим лицом мертвеца, остекленевшими глазами смотрел на ужасное зрелище. Вначале опасение, что землекоп ошибся и что Лигия, возможно, находится среди обреченных на смерть, повергло его в совершенное оцепенение, но, слыша возгласы «Pro Christo!» и видя муки такого множества людей, которые, умирая, свидетельствовали о своей истине и о своем боге, он проникся другим чувством, жгучим, как мучительная боль, но неодолимым, проникся сознанием того, что, если Христос сам скончался в муках и если сейчас за него гибнут тысячи и проливается море крови, то еще одна лишняя капля не имеет никакого значения, и молить о милосердии даже грешно. Эта мысль шла к нему от тех, на арене, она проникала в него вместе со стонами гибнущих, вместе с запахом их крови. И все же он молился и запекшимися губами повторял: «Христос, Христос, твой апостол молится за нее!» Потом он вдруг впал в забытье, перестал понимать, где находится, – только мерещилось ему, что кровь на арене все прибывает и прибывает, что она заливает все вокруг и сейчас хлынет из цирка наружу и затопит Рим. Он уже ничего не слышал – ни воя собак, ни воплей черни, ни голосов августиан, которые вдруг закричали:

– Хилон в обмороке!

– Хилон в обмороке! – повторил Петроний, оборачиваясь в его сторону.

А греку и впрямь стало дурно – он сидел белый как полотно, с откинутой назад головою и широко раскрытым ртом – ну, точно мертвец.

Однако львы, хотя были голодны, нападать не спешили. Красноватый свет на арене пугал их, они щурили глаза, будто им ослепленные; некоторые лениво потягивались, изгибая золотистые туловища, иные разевали пасти, точно желали показать зрителям страшные свои клыки. Но постепенно запах крови и множество растерзанных тел, лежавших на арене, оказывали свое действие. Движения львов становились все более беспокойными, гривы топорщились, ноздри с храпом втягивали воздух. Один из львов вдруг припал к трупу женщины с разодранным лицом и, положив на тело передние лапы, принялся слизывать змеистым языком присохшую кровь, другой приблизился к христианину, державшему на руках дитя, зашитое в шкуру олененка.

Ребенок весь трясся от крика и плача, судорожно цеплялся за шею отца, а тот, пытаясь хоть на миг продлить его жизнь, силился оторвать его от себя и передать стоявшим подальше. Однако крики и движение раздразнили льва. Издав короткое, отрывистое рычанье, он пришиб ребенка одним ударом лапы и, захватив в пасть голову отца, в одно мгновенье разгрыз ее.

Тут и остальные львы накинулись на группу христиан. Несколько женщин не смогли сдержать криков ужаса, но их заглушили рукоплесканья, которые, однако, быстро стихли, – желание смотреть было сильней всего. Страшные картины представали взорам: головы людей целиком скрывались в огромных пастях, грудные клетки разбивались одним ударом когтей, мелькали вырванные сердца и легкие, слышался хруст костей в зубах хищников. Некоторые львы, схватив свою жертву за бок или за поясницу, бешеными прыжками метались по арене, словно искали укромное место, где бы сожрать добычу; другие, затеяв драку, поднимались на задних лапах, схватившись передними, подобно борцам, и оглашали амфитеатр своим ревом. Зрители вставали с мест. Многие спускались по проходам вниз, чтобы лучше видеть, и в толчее кое-кого задавили насмерть. Казалось, увлеченная зрелищем толпа в конце концов сама хлынет на арену и вместе со львами примется терзать людей. Временами слышался нечеловеческий визг, и гремели рукоплес-

канья, раздавались рычанье, вой, стук когтей, скулеж собак, а временами – только стоны.

Император, приставив к глазу изумруд, теперь смотрел со вниманием. На лице Петрония застыло выражение неудовольствия и презрения. Хилона уже успели вынести из цирка.

А из куникула выталкивали на арену все новые жертвы.

Из самого верхнего ряда амфитеатра глядел на них апостол Петр. На него никто не смотрел, все лица были обращены к арене – он встал на ноги и, как некогда в винограднике Корнелия благословлял на смерть и на вечную жизнь тех, кого должны были схватить, так и теперь он осенял крестом гибнущих под звериными клыками, и кровь их, и их муки, и мертвые их тела, обратившиеся в бесформенные комья, и души их, отлетавшие прочь от кровавого песка. Некоторые подымали к нему глаза, и тогда лица их светлели, они улыбались, видя там, вверху, осеняющий их знак креста. А у апостола сердце разрывалось, и он говорил: «О господи, да будет воля твоя, ибо во славу твою, во свидетельство истины погибают овцы мои! Ты повелел мне пасти их, ныне же я передаю их тебе, и ты, господи, сосчитай их, возьми их, исцели их раны, избавь от недуга и дай им столько счастья, чтобы оно с лихвой вознаградило их за испытанные тут муки».

И он творил над ними крестное знамение, прощаясь по очереди с каждым, с каждою общиной, и чувствуя такую безмерную любовь, как будто они были его детьми, которых он отдает прямо в руки Христовы. Но тут император – то ли по рассеянности, то ли из желания, чтобы эти игры превзошли все, что до тех пор видел Рим, – шепнул несколько слов префекту города, и тот, сойдя с возвышения, поспешно направился к куникулу. Даже народ был удивлен, когда увидел, что решетки опять отворяются. Теперь уже выпустили самых разных зверей – тигров с берегов Евфрата, нумидийских пантер, медведей, волков, гиен и шакалов. Всю арену покрыл волнующийся ковер звериных шкур – полосатых, желтых, серых, бурых, пятнистых. В хаотической этой круговерти ничего нельзя было разглядеть, кроме бешеного движения и кувырканья звериных тел. Зрелище превратилось в нечто непостижимое уму, то была кровавая оргия, страшный сон, чудовищное видение помешанного. Мера была перейдена. Среди рычанья, воя и визга то здесь, то там в рядах зрителей раздавался пронзительный судорожный хохот женщин, которые уже не могли вынести этого зрелища. Людям становилось страшно. Лица помрачнели. Послышались голоса: «Довольно! Довольно!»

Однако впустить зверей на арену оказалось легче, чем прогнать. Император все же нашел средство очистить ее, да еще доставить народу новое развлечение. Во всех проходах цирка появились группы черных, украшенных перьями и серьгами нумидийцев с луками наготове. Народ догадался, зачем они тут, и приветствовал их радостными криками, а нумидийцы, приблизясь к барьеру и наложив стрелы на тетивы, стали стрелять по скоплениям зверей. Это и впрямь было зрелищем еще не виданлым. Стройные, черные торсы ритмично откидывались назад, натягивая тугие луки и отправляя стрелу за стрелой. Пенье тетив и свист длинных оперенных стрел смешивались с воем зверей и возгласами изумления. Волки, медведи, пантеры и люди, еще оставшиеся в живых, падали друг подле друга. Иной лев, почувствовав в своем боку стрелу, резко оборачивал искаженную яростью пасть, чтобы ухватить древко зубами и разгрызть его. Другие выли от боли. Мелкое зверье металось в перепуге по арене или билось головами о решетки, а между тем стрелы свистели и свистели, пока все живое на арене не полегло, дергаясь в смертных конвульсиях.

Тогда на арену высыпали сотни цирковых рабов с заступами, граблями, метлами, тачками, корзинами для внутренностей и мешками с песком. Одна партия сменяла другую, работа закипела. Быстро очистили арену от трупов, крови и кала, перекопали, заровняли и посыпали толстым слоем свежего песка. После чего выбежали амурчики и стали рассыпать лепестки роз, лилий и других цветов. Снова зажгли курильницы и убрали веларий, так как солнце уже стояло довольно низко.

Зрители, удивленно переглядываясь, спрашивали один у другого, какое еще зрелище предстоит им нынче.

А зрелище предстояло такое, какого никто не ожидал. Император, который загодя покинул свою ложу, вдруг появился на усыпанной цветами арене – был он в пурпурной мантии, с золотым венцом на голове. Двенадцать музыкантов с кифарами в руках следовали за ним, а он, держа серебряную лютню, торжественной поступью вышел на середину арены, несколько раз поклонился зрителям и, возведя глаза к небу, постоял так, словно бы ожидая вдохновения свыше.

Затем он ударил по струнам и запел:

О, лучезарный сын Латоны,
Ты, царь Тенеды, Киллы, Хризы[402],
Что охраняешь дланью крепкой
Священный Илион!

Как отдал ты его ахейцам.
Чтоб на алтарь святого храма
С вечным огнем, тебе возжженным,
Лилась троянцев кровь?

Руки с мольбою простирали,
О, Сребролучный, старцы в горе,
Скорбные матерей стенанья
К тебе, великий, неслись,

Чтобы хоть деток уберег ты!
Камень и тот бы умягчился,
Ты ж оказался тверже камня,
Сминтей[403], к людской беде!

Песнь постепенно переходила в скорбную, трогательную элегию. Цирк притих. Император, сам расчувствовавшись, сделал паузу, затем продолжил пенье:

Мог ведь форминги глас небесный
Стоны и пени заглушить.
Слезы в глазах стоят и ныне,
Как на цветах роса,

Лишь зазвучит та песнь печали
И воскресит из пепла въяве
Ужас, пожар и гибель града,
Сминтей, где ты был тогда?

Тут голос его дрогнул, глаза увлажнились. На ресницах весталок блеснули слезы, народ сидел тихо, потом загремела буря рукоплесканий.

А снаружи через открытые для проветриванья двери вомиториев доносился скрип повозок, на которые складывали окровавленные останки христиан – мужчин, женщин и детей, – чтобы вывезти их и кинуть в страшные ямы, называвшиеся «путикулы».

Апостол Петр, обхватив руками свою белую, трясущуюся голову, безмолвно взывал:

«Господи! Господи! Кому отдал ты власть над миром? И ты еще хочешь основать в этом городе свою столицу!»

Глава LVII

[402] Эпитеты Аполлона, встречающиеся у Гомера. *Тенедо* с – небольшой остров близ Троады, на котором укрылись ахейцы, притворно отплыв от Трои и оставив засаду в деревянном коне. *Килла* – остров или город близ Трои. Хриза – мифический остров, посвященный Аполлону.

[403] *Сминтей* – культовый эпитет Аполлона как повелителя мышей.

Между тем солнце опустилось к западу и словно бы плавилось в закатном зареве. Зрелище окончилось. Народ расходился из амфитеатра и через коридоры, вомитории, многими потоками выплескивался в город. Только августианы не спешили, выжидая, пока схлынет волна. Встав со своих мест, они столпились возле подиума, на который Нерон взошел опять, чтобы выслушать похвалы. Хотя зрители не поскупились на рукоплескания, для него этого было недостаточно, он ожидал восторга неистового, безумного. Напрасно звучали теперь славословия, напрасно весталки целовали его «божественные» руки, а Рубрия склонилась перед ним так низко, что ее рыжеватая голова коснулась его груди. Нерон был недоволен и не мог этого скрыть. Его также удивляло и тревожило, что Петроний хранит молчание. Хвалебное словечко из уст Петрония, метко выделяющее удачные места в стихах, было бы для него в эту минуту большим утешением. Наконец, не в силах ждать, он кивнул Петронию и, когда тот поднялся на подиум, приказал:

– Говори же…

Но Петроний холодно ответил:

– Я молчу, ибо не нахожу слов. Ты превзошел самого себя.

– Так казалось и мне, но что же тогда народ…

– Можно ли требовать от этой толпы, чтобы она понимала поэзию?

– Стало быть, ты тоже заметил, что они не поблагодарили меня так, как я заслужил?

– Ты выбрал неудачное время.

– Почему?

– Потому что мозги, одурманенные запахом крови, неспособны слушать со вниманием.

– О, эти христиане, – сказал Нерон, сжимая кулаки. – Они сожгли Рим, а теперь и мне еще вредят. Какую кару придумать для них?

Петроний понял, что идет по неверному пути, что его слова производят действие, обратное тому, какого он хотел бы добиться, и, дабы отвлечь мысли императора в другую сторону, наклонился к нему и шепнул:

– Песнь твоя великолепна, но я должен сделать тебе одно замечание: в четвертом стихе третьей строфы метр оставляет желать лучшего.

Нерон покраснел от стыда, будто его уличили в позорном поступке, и, встревоженно взглянув на Петрония, так же тихо ответил:

– Ты все замечаешь! Да, знаю! Я переделаю! Но ведь больше никто не заметил? Правда? А ты, всеми богами заклинаю тебя, никому не говори, если… если жизнь тебе дорога.

Петроний нахмурился и с выражением внезапной скуки и досады возразил:

– Ты можешь, божественный, осудить меня на смерть, если я тебе мешаю, но не пугай меня ею – богам лучше известно, боюсь ли я ее.

Говоря это, он смотрел императору прямо в глаза.

– Не сердись, – ответил Нерон, немного помолчав. – Ты же знаешь, что я тебя люблю…

«Дурной знак!» – подумал Петроний.

– Я хотел пригласить вас нынче на пир, – продолжал Нерон, – но лучше мне уединиться и отшлифовать этот проклятый стих третьей строфы. Кроме тебя, ошибку мог заметить еще Сенека, а возможно, и Секунд Карин, но от них я сейчас избавлюсь.

И тут же он подозвал Сенеку и сообщил ему, что посылает его вместе с Акратом и Секундом Карином[404] в Италию и во все провинции за деньгами, которые они должны собрать с городов, деревень, знаменитых храмов – словом, отовсюду, где только можно будет их найти или выжать. Но Сенека, поняв, что его понуждают быть грабителем, святотатцем и разбойником, решительно отказался.

– Мне надо уехать в деревню, государь, – сказал он, – и там ждать смерти, – я стар, и нервы у меня не в порядке.

[404] Вольноотпущенник Нерона Акрат и Секунд Карринат (а не Карин), о которых Тацит отзывается самым нелестным образом, были посланы Нероном для изъятия храмовых ценностей в провинции Ахайя и Азия.

Иберийские нервы Сенеки[405] были покрепче, чем у Хилона, и не так уж расстроены, однако со здоровьем все же дело обстояло неважно – он походил на тень, и голова его в последнее время совершенно побелела.

Глянув на него, Нерон подумал, что, может быть, и впрямь его смерти придется ждать недолго.

– Ну что ж, – ответил он, – коли ты болен, я не хочу подвергать тебя опасностям путешествия, но так как я тебя люблю и желаю иметь тебя поблизости, в деревню ты не поедешь, а уединишься в своем доме и не будешь его покидать.

И, рассмеявшись, добавил:

– Послать Акрата и Карина одних – все равно что послать волков за овцами. Кого же дать им в начальники?

– Меня, государь! – сказал Домиций Афр.

– О нет! Я не хочу навлечь на Рим гнев Меркурия, которого вы устыдили бы, превзойдя его в искусстве воровства. Мне нужен какой-нибудь стоик вроде Сенеки или вроде моего нового друга философа Хилона.

Произнеся это, он стал озираться.

– Что сталось с Хилоном? – спросил он.

Хилон, на свежем воздухе придя в себя, вернулся в амфитеатр, еще когда император пел. Услыхав свое имя, он подошел поближе.

– Я здесь, сияющий сын солнца и луны. Я занемог, но твоя песнь исцелила меня.

– Я пошлю тебя в Ахайю, – сказал Нерон. – Ты наверняка до гроша знаешь, сколько там денег в каждом храме.

– Сделай это, о Зевс, и боги доставят тебе такую дань, какой никогда никому не доставляли.

– Я сделал бы это, но не хочу лишать тебя удовольствия видеть игры.

– О Ваал!.. – начал Хилон.

Но августианы, обрадовавшись, что настроение императора улучшилось, стали смеяться и кричать:

– Нет, нет, государь! Не лишай грека возможности видеть игры.

– Зато прошу тебя, лиши меня возможности видеть этих крикливых капитолийских гусят, чьи мозги, собранные вместе, не заполнят и желудевой скорлупки, – возразил Хилон. – О первородный сын Аполлона, я сейчас пишу гимн по-гречески в твою честь и потому хотел бы провести несколько дней в храме муз, дабы молить их о вдохновенье.

– Нет, нет! – вскричал Нерон. – Ты хочешь уклониться от следующих игр. Не выйдет!

– Клянусь тебе, государь, что я сочиняю гимн.

– Так будешь сочинять его ночью. Моли о вдохновении Диану, она ведь сестра Аполлона.

Хилон опустил голову, злобно косясь на окружавших его августиан, которые опять принялись смеяться. Император же обратился к Сенециону и Суилию Нерулину.

– Представьте себе, – сказал он, – из назначенных на сегодня христиан нам удалось управиться едва ли с половиной.

Старик Аквил Регул, большой знаток всего, что касалось цирка, немного подумав, заметил:

– Зрелища, в которых выступают люди sine armis et sine arte[406], длятся примерно столько же, но куда менее занимательны.

– Я прикажу давать им оружие, – сказал Нерон.

Тут суеверный Вестин, внезапно очнувшийся от задумчивости, спросил, таинственно понизив голос:

– А вы заметили, что они, умирая, что-то видят? Они глядят куда-то вверх и умирают, вроде бы не страдая. Я уверен, что они что-то видят.

---

[405] *Сенека* был родом из г. Кордубы (ныне Кордова).

[406] без оружия и без уменья *(лат.)*

С этими словами он поднял глаза к отверстию в кровле амфитеатра, над которым ночь уже расстилала свой усыпанный звездами веларий. Но остальные августианы ответили на его замечание смехом да шутливыми догадками о том, что могут видеть христиане в минуту смерти. Император между тем дал знак рабам-факелоносцам и покинул цирк, а следом за ним двинулись весталки, сенаторы, сановники и августианы.

Ночь была ясная, теплая. Возле цирка еще толпились люди, желавшие поглядеть на отбытие императора, но люди эти были почему-то угрюмы, безмолвны. Кое-где, правда, слышались хлопки, но сразу же затихали. Скрипящие повозки все еще вывозили из сполиария кровавые останки христиан.

Петроний и Виниций сидели на носилках молча. Лишь когда они приблизились к дому, Петроний спросил:

– Ты подумал о том, что я тебе говорил?

– Да, подумал, – ответил Виниций.

– И веришь, что теперь это и для меня дело первейшей важности? Я должен ее освободить назло императору и Тигеллину. Это борьба, в которой я стремлюсь победить, некая игра, в которой я хочу выиграть, пусть ценою собственной жизни. Нынешний день еще больше укрепил меня в этом намерении.

– Да вознаградит тебя Христос!

– Вот увидишь!

Пока они беседовали, их поднесли ко входу в дом. Оба вышли из носилок. В эту минуту к ним в темноте приблизился кто-то и спросил:

– Ты – благородный Виниций?

– Да, – отвечал трибун. – Чего тебе надо?

– Я Назарий, сын Мириам, я пришел из тюрьмы и принес тебе вести о Лигии.

Виниций положил руку ему на плечо и при свете факелов заглянул ему в глаза, не в силах слово вымолвить, но Назарий, угадав замерший на его устах вопрос, ответил:

– Пока она жива. Урс послал меня к тебе, господин, сказать, что она лежит в горячке, молится и повторяет твое имя.

– Слава Христу, – сказал Виниций, – который может возвратить мне ее!

Взяв Назария за руку, он повел юношу в библиотеку. Вскоре туда пришел и Петроний, чтобы услышать их беседу.

– Болезнь спасла ее от позора, изверги эти боятся заразы, – говорил юноша. – Урс и лекарь Главк не отходят от ее ложа ни днем, ни ночью.

– А стражи остались те же?

– Да, господин, и она лежит в их комнате. Узники, которые были в нижнем помещении, все перемерли от лихорадки или задохнулись от жары.

– Кто ты? – спросил Петроний.

– Благородный Виниций знает меня. Я сын вдовы, у которой жила Лигия.

– И ты христианин?

Юноша вопросительно посмотрел на Виниция, но, увидев, что тот поглощен молитвой, поднял голову и смело сказал:

– Да, христианин.

– Каким образом тебе удается свободно проходить в тюрьму?

– А я нанялся выносить тела умерших и сделал это для того, чтобы помогать братьям моим и приносить им вести из города.

Петроний более внимательно взглянул на красивое лицо юноши, на его голубые глаза и густые черные волосы.

– Из какого ты края, мальчик?

– Я галилеянин, господин.

– Ты хотел бы, чтобы Лигия была свободна?

Юноша поднял глаза к небу.

– Хоть бы мне самому пришлось потом умереть! – ответил он.

Виниций перестал молиться.

– Скажи стражам, – сказал он, – чтобы они положили ее в гроб, будто мертвую. Подбери себе помощников, которые ночью вместе с тобою вынесут ее. Поблизости от Смрадных Ям вы найдете ожидающих вас людей с носилками и отдадите им гроб. Стражам пообещай от моего имени, что я дам им столько золота, сколько каждый сумеет унести в своем плаще.

И пока он говорил, с лица его постепенно сходило обычное мертвенное выражение, в нем просыпался солдат, которому надежда возвратила прежнюю энергию.

Щеки Назария вспыхнули от радости. Подымая руки, он воскликнул:

– Да исцелит ее Христос, ведь теперь она будет свободна!

– Ты полагаешь, стражи согласятся? – спросил Петроний.

– Они-то? Им бы только знать, что за это их не ждут ни наказания, ни муки!

– Он прав! – сказал Виниций. – Стражи были готовы даже помочь ей бежать, тем более они позволят вынести ее как мертвую.

– Есть, правда, человек, – сказал Назарий, – который проверяет раскаленным железом, действительно ли мертвы тела, которые мы выносим. Но этот берет всего несколько сестерциев за то, чтобы не трогать железом лицо покойника. За один ауреус он притронется к гробу, а не к телу.

– Скажи ему, что он получит полный кошелек ауреусов, – сказал Петроний. – А сумеешь ты подобрать надежных помощников?

– Подберу таких, что за деньги продадут собственных жен и детей.

– Где же ты их найдешь?

– В самой тюрьме или в городе. А стражи, если им заплатить, впустят кого захочу.

– В таком случае проведешь туда меня как носильщика, – сказал Виниций.

Но Петроний стал горячо отговаривать его не делать этого. Преторианцы могут его узнать даже переодетого, и тогда все пропало.

– Ни в тюрьму, ни к Смрадным Ямам! – говорил он. – Надо, чтобы все, и император, и Тигеллин, думали, что она умерла, иначе тотчас снарядят погоню. Усыпить подозрения мы можем только одним способом – когда ее увезут в Альбан или дальше, на Сицилию, мы останемся в Риме. Через неделю или две ты заболеешь и вызовешь Неронова врача, который посоветует тебе ехать в горы. Тогда вы соединитесь, а затем…

Тут Петроний на миг задумался, потом, махнув рукою, закончил:

– Потом, быть может, наступят иные времена.

– Да смилуется над нею Христос! – сказал Виниций. – Ты вот говоришь о Сицилии, а ведь она больна и может умереть…

– А мы пока поместим ее поближе. Сам воздух подлечит ее, только бы из тюрьмы вырвать. Нет ли у тебя в горах какого-нибудь арендатора, которому ты можешь доверять?

– Есть! Да, конечно, есть! – поспешно отвечал Виниций. – Есть близ Кориол[407] один надежный человек, он меня на руках носил, когда я был ребенком, и до сих пор меня любит.

Петроний подал ему таблички.

– Напиши, чтобы он приехал сюда завтра же. Я тотчас пошлю гонца.

Он призвал смотрителя дома и отдал распоряжение отправить нарочного. Еще через несколько минут раб мчался верхом на коне среди ночной тьмы в Кориолы.

– Я хотел бы, – сказал Виниций, – чтобы в пути ее сопровождал Урс. Мне было бы спокойнее.

– Да, господин, – сказал Назарий, – сила у этого человека богатырская, он выломает решетку и пойдет за Лигией. В верхней части высокой отвесной стены есть одно окно, под которым не стоит страж. Я принесу Урсу веревку, остальное он сделает сам.

– Клянусь Геркулесом! – сказал Петроний. – Пусть выбирается, как ему взбредет на ум, только не вместе с нею и не через два или три дня после нее, иначе следом за ним пойдут и обнаружат ее убежище. Клянусь Геркулесом! Вы что, хотите погубить и себя, и ее? Я запрещаю вам

[407] *Кориолы* – древний город в Лации к юго-востоку от Рима.

упоминать при нем о Кориолах, или я умываю руки.

Оба признали справедливость его слов и умолкли. Вскоре Назарий стал прощаться, обещая прийти завтра на заре.

Со стражей он надеялся договориться еще этой ночью, но прежде хотел забежать к матери, которая в это смутное, страшное время жила в непрестанной тревоге о нем. Поразмыслив, Назарий решил помощника себе искать не в городе, а подкупить кого-нибудь из тех, что вместе с ним выносили трупы из тюрьмы.

Перед тем как уйти, он еще задержался, и, отведя Виниция в сторону, стал ему шептать:

– Я никому не обмолвлюсь о нашем замысле, господин, даже матери, но апостол Петр обещал из амфитеатра прийти к нам, и ему я расскажу все.

– В этом доме ты можешь говорить громко, – ответил Виниций. – Апостол Петр был в амфитеатре вместе с людьми Петрония. Впрочем, я сам пойду с тобою.

И он велел подать себе плащ раба, после чего оба ушли.

Петроний глубоко вздохнул.

«Прежде я хотел, – подумал он, – чтобы она от этой лихорадки умерла, потому что для Виниция это было бы еще не самым страшным. Но теперь я готов пожертвовать Эскулапу золотой треножник ради ее выздоровления. Ах ты, Агенобарб, ты хочешь устроить себе забаву, поглядеть на страдания влюбленного! Ты, Августа, сперва завидовала красоте этой девушки, а ныне живьем бы ее съела из-за того, что погиб твой Руфий! Ты, Тигеллин, хочешь ее погубить назло мне! Посмотрим! Говорю вам, глаза ваши не увидят ее на арене – если только я не умру, я вырву ее у вас, как из собачьей пасти! И вырву так, что вы даже знать не будете, а потом, всякий раз, как на вас гляну, буду думать: вот дураки, которых Петроний надул».

И, довольный собою, он направился в триклиний, где вместе с Эвникой принялся за ужин. Лектор читал им в это время идиллии Феокрита[408]. Снаружи ветер нагнал туч со стороны Сораkта, и внезапная гроза нарушила тишину теплой летней ночи. Раскаты грома то и дело грохотали над семью холмами, а Петроний с Эвникой на своих ложах у стола слушали идиллического поэта, который напевным дорическим слогом[409] живописал пастушескую любовь, и, умиротворенные, готовились к безмятежному отдыху.

Однако еще до их отхода ко сну возвратился Виниций. Узнав о его приходе, Петроний вышел к нему.

– Ну как? – спросил Петроний. – Не придумали чего-нибудь нового? А Назарий уже пошел в тюрьму?

– Да, пошел, – отвечал молодой трибун, приглаживая мокрые от дождя волосы. – Назарий пошел договариваться со стражами, а я видел Петра, и он велел мне молиться и надеяться.

– Ну и превосходно. Если все пойдет гладко, следующей ночью можно будет ее вынести.

– Арендатор со своими людьми должен прибыть на рассвете.

– Да, дорога не дальняя. Теперь ты отдохни.

Но Виниций в своем кубикуле опустился на колени и начал молиться.

На заре приехал из-под Кориол арендатор Нигер, который, по распоряжению Виниция, доставил мулов, носилки и четырех надежных молодцов, отобранных из британских рабов, – правда, рабов он предусмотрительно оставил на постоялом дворе в Субуре.

Бодрствовавший всю ночь Виниций вышел ему навстречу. Арендатор при виде своего молодого господина растрогался и, целуя его руки и глаза, сказал:

– Дорогой мой мальчик, ты болен или же это огорченья согнали румянец с твоего лица? Я с первого взгляда едва тебя узнал!

---

[408] *Феокрит* из Сиракуз (1-я пол. III в. до н.э.) – основатель жанра буколической поэзии. Идиллия у Феокрита – небольшое стихотворение, преимущественно на пастушескую (буколическую) тему.

[409] Язык произведений Феокрита подражает распространенному в Южной Италии и Сицилии дорическому диалекту греческого языка. По одной из версий мифа, Геркулес, чтобы избавиться от страданий, причиняемых ему отравленным хитоном, отправился на гору.

Виниций повел его во внутреннюю колоннаду, называвшуюся «ксист», и там посвятил в тайну. Нигер слушал внимательно, сосредоточенно, и на его суровом, загорелом лице отражалось волненье, которое он даже не пытался скрыть.

– Стало быть, она христианка? – воскликнул он.

И Нигер испытующе поглядел в лицо Виницию, а тот, очевидно догадавшись, какой вопрос таился во взгляде поселянина, ответил:

– И я христианин…

Тогда на глазах Нигера блеснули слезы. С минуту он молчал, затем, воздев руки, молвил:

– О, благодарю тебя, Христос, за то, что снял бельмо с глаз, которые мне дороже всего на свете!

Он обнял голову Виниция и, плача от счастья, покрыл поцелуями его лоб.

Несколько минут спустя явился Петроний, ведя Назария.

– Хорошие вести! – воскликнул он еще на пороге.

Вести действительно были хорошие. Прежде всего лекарь Главк ручался за жизнь Лигии, хотя у нее была та же тюремная лихорадка, от которой в Туллиануме и других тюрьмах люди ежедневно умирали сотнями. Что ж до стражей и человека, проверявшего трупы раскаленным железом, тут не было никаких трудностей. С помощником по имени Аттис также договорились.

– Мы сделали в гробу отверстия, чтобы больная могла дышать, – рассказывал Назарий. – Главная забота теперь, чтобы она не застонала или не позвала в ту минуту, когда мы будем проходить мимо преторианцев. Но она очень ослабела, с самого утра лежит, не открывая глаз. К тому же Главк даст ей снотворное снадобье, он сам приготовил его из зелий, которые я ему принес. Крышка гроба будет не прибита. Вы без труда снимете ее и перенесете больную в носилки, а мы положим в гроб длинный мешок с песком, вы только приготовьте его.

Виниций слушал его бледный как полотно, однако слушал внимательно, словно бы наперед угадывая, что скажет Назарий.

– А из тюрьмы не будут выносить другие тела? – спросил Петроний.

– Этой ночью умерло человек двадцать, а до вечера умрет еще десятка полтора, – ответил юноша. – Мы должны идти все вместе, вереницей, но мы постараемся замедлить шаг, чтобы остаться позади. На первом же повороте мой помощник притворно захромает. Таким образом, мы сильно отстанем. Вы ждите нас возле храма Либитины. Только бы бог послал ночь потемнее!

– Бог пошлет, – сказал Нигер. – Вчера вечер был ясный, а потом вдруг разразилась гроза. Нынче небо опять чистое, но с утра парит. Теперь каждую ночь будут дожди и грозы.

– Вы ходите без огней? – спросил Виниций.

– Только впереди несут факелы. На всякий случай вы, как стемнеет, будьте у храма Либитины, хотя обычно мы выносим трупы лишь около полуночи.

Он умолк. В тишине было слышно, как учащенно дышит Виниций.

– Вчера я говорил, – обратился к нему Петроний, – что лучше было бы нам обоим остаться дома. Но теперь вижу, что и сам не смогу усидеть. Конечно, если бы речь шла о бегстве, надо было бы больше соблюдать осторожность, но раз ее выносят как умершую, полагаю, что ни у кого не появится и малейшего подозрения.

– Да, да! – согласился Виниций. – Я должен быть там. Я сам выну ее из гроба.

– Когда она будет уже в моем доме под Кориолами, я за нее отвечаю, – сказал Нигер.

Разговор на этом закончился. Нигер пошел на постоялый двор, к своим людям. Назарий, сунув под тунику кошель с золотом, направился обратно в тюрьму. Для Виниция начинался день, полный тревоги и лихорадочного ожидания.

– Дело должно пойти успешно, потому что хорошо задумано, – говорил ему Петроний. – Уж лучше, кажется, невозможно. Ты должен притвориться опечаленным и ходить в темной тоге. Однако в цирке надо бывать. Пусть тебя видят. Все обдумано так, что неудачи быть не должно. Да, кстати, ты вполне уверен в своем арендаторе?

– Он христианин, – ответил Виниций.

Петроний с удивлением взглянул на него, затем, недоуменно пожимая плечами, заговорил как бы сам с собою:

– Клянусь Поллуксом! Как это, однако, распространяется! И как укореняется в душах людей! При такой опасности иные вмиг отреклись бы от всех богов римских, греческих и египетских! Все же странно это! Клянусь Поллуксом! Верь я, что на свете что-нибудь еще зависит от наших богов, я теперь посулил бы каждому по шестеро белых быков, а Юпитеру Капитолийскому и всю дюжину. Но ты тоже не скупись на обещания своему Христу!

– Я отдал ему душу, – возразил Виниций.

И они разошлись. Петроний вернулся в кубикул, а Виниций ушел в город, чтобы издали посмотреть на тюрьму. Оттуда он отправился к склону Ватиканского холма, к хижине землекопа, где он был окрещен рукою апостола. Казалось ему, что в этой хижине Христос услышит его лучше, чем где-нибудь в другом месте, и он, отыскав ее и павши ниц, напряг все силы исстрадавшейся души своей в жаркой молитве о милосердии и настолько в нее погрузился, что забыл, где он и что с ним происходит.

После полудня его вывели из забытья звуки труб, доносившиеся со стороны Неронова цирка. Тогда он вышел из хижины и стал озираться вокруг, словно только пробудился ото сна. Стоял знойный день, тишину время от времени нарушали лишь трубы, да неумолчно трещали в траве кузнечики. В воздухе парило, небо над городом было еще голубым, но в стороне Сабинских гор низко, у самого горизонта, собирались темные тучи.

Виниций вернулся домой. В атрии его ждал Петроний.

– Я был на Палатине, – сказал Петроний. – Я нарочно показался там и даже сел играть в кости. У Аниция вечером пир, я обещал, что мы придем, но лишь после полуночи, надо же мне выспаться. Во всяком случае, я там буду, и было бы хорошо, чтобы и ты пошел.

– Не было каких-нибудь вестей от Нигера или от Назария? – спросил Виниций.

– Нет, не было. Мы их увидим только в полночь. А ты заметил, что надвигается гроза?

– Да.

– Завтра нам устроят зрелище, распиная христиан, но, может быть, дождь помешает.

Петроний подошел к Виницию поближе и, коснувшись его плеча, сказал:

– Но ее ты на кресте не увидишь, только в Кориолах. Клянусь Кастором! Минуту, в которую мы ее освободим, я не променяю на все геммы Рима! Уж скоро вечер…

Действительно, спускались сумерки, и темнеть в городе начало раньше обычного из-за туч, которые покрыли весь небосвод. С наступлением вечера полил сильный дождь, влага, испаряясь на раскаленных дневным зноем камнях, заполнила улицы туманом. Дождь то стихал, то снова налетал короткими порывами.

– Пойдем! – сказал наконец Виниций. – Из-за грозы могут начать раньше выносить тела из тюрьмы.

– Да, пора! – отвечал Петроний.

И, накинув галльские плащи с капюшонами, они через садовую калитку вышли на улицу. Петроний захватил короткий римский кинжал, сику, который брал всегда, выходя ночью.

Из-за грозы улицы были пустынны. Время от времени молния рассекала тучи, озаряя ярким светом новые стены недавно построенных или еще строящихся домов и мокрые каменные плиты, которыми были вымощены улицы. После довольно долгого пути они при свете молний увидели наконец холм, на котором стоял маленький храм Либитины, а у подножья холма – группу людей с мулами и лошадьми.

– Нигер! – тихо позвал Виниций.

– Это я, господин! – отозвался голос средь шума дождя.

– Все готово?

– Да, дорогой мой. Как только стемнело, мы были здесь. Но вы спрячьтесь под обрывом, а то промокнете насквозь. Какая гроза! Я думаю, будет град.

И в самом деле, опасения Нигера подтвердились – вскоре посыпался град, вначале мелкий, а затем все более крупный и частый. Сразу похолодало.

Стоя под обрывом, укрытые от ветра и ледяного града, Петроний, Виниций и Нигер тихо переговаривались.

– Если нас кто-нибудь и увидит, – говорил Нигер, – он ничего не заподозрит, ведь у нас вид

людей, пережидающих грозу. Но я боюсь, как бы не отложили вынос трупов до завтра.

– Град скоро перестанет, – сказал Петроний. – Мы должны ждать хоть до самого рассвета.

И они ждали, прислушиваясь, не донесется ли до них шум движущихся с гробами людей. Град и впрямь перестал, но сразу же снова зашумел ливень. Минутами поднимался сильный ветер и приносил со стороны Смрадных Ям ужасный запах разлагающихся трупов, которые зарывали неглубоко и небрежно.

Вдруг Нигер сказал:

– Я вижу в тумане огонек… Один, второй, третий! Это факелы!

И он обернулся к своим людям:

– Следите, чтобы мулы не фыркали!

– Идут! – сказал Петроний.

Огни становились вся ярче. Вскоре можно уже было разглядеть колеблющееся от ветра пламя факелов.

Нигер начал креститься и шептать молитву. Тем временем мрачное шествие приблизилось и наконец, поравнявшись с храмом Либитины, остановилось. Петроний, Виниций и Нигер молча прижались к обрыву, не понимая, что это означает. Однако носильщики остановились лишь затем, чтобы обвязать себе лица и рты тряпками для защиты от удушливого смрада, который близ самых путикул был просто нестерпим. Сделав это, они подняли носилки с гробами и пошли дальше.

Лишь один гроб остался на месте, тут же напротив храма.

Виниций поспешил к нему, а вслед за ним Петроний, Нигер и два раба-бритта с носилками.

Но прежде чем они добежали, до них донесся из тьмы удрученный голос Назария:

– Господин, ее вместе с Урсом перевели в Эсквилинскую тюрьму. Мы несем другое тело. А ее забрали еще до полуночи!

Петроний, воротясь домой, ходил мрачнее тучи и даже не пытался утешать Виниция. Он понимал, что об освобождении Лигии из эсквилинских подземелий нечего и мечтать. Он догадывался, что из Туллианума ее перевели, вероятно, для того, чтобы она не умерла от лихорадки и не избежала предназначенного ей амфитеатра. Но это же было доказательством, что за нею наблюдали и что ее стерегли усерднее, чем прочих. Петронию было до глубины души жаль и ее, и Виниция, но, кроме того, его мучила мысль, что впервые в жизни что-то ему не удалось и впервые он оказался побежденным в борьбе.

– Похоже, Фортуна меня покидает, – говорил он себе. – Но боги ошибаются, если думают, что я соглашусь на такую, к примеру, жизнь, как у него.

Тут он посмотрел на Виниция, который тоже смотрел на него расширившимися зрачками.

– Что с тобой? У тебя лихорадка? – спросил Петроний.

И тот ответил странным, надтреснутым голосом, протяжно, словно больной ребенок:

– А я верю, что он может мне ее вернуть.

Над городом затихали последние грозовые раскаты.

Глава LVIII

Три дождливых дня подряд, явление летом для Рима необычное, да еще град, выпадавший вопреки естественному порядку не только днем и по вечерам, но даже среди ночи, заставили прервать зрелища. Народ заволновался. Предсказывали неурожай на виноград, а когда в один из этих дней молния расплавила бронзовую статую Цереры на Капитолии, было велено приносить жертвы в храм Юпитера Избавителя. Жрецы Цереры распустили слух, будто гнев богов обрушился на город за то, что медлят с казнью христиан, и чернь стала требовать, чтобы игры продолжались, несмотря на ненастную погоду. Радость охватила Рим, когда наконец было объявлено, что после трехдневного перерыва зрелища возобновятся.

Тем временем и погода установилась. Амфитеатр уже с рассвета заполнили тысячи зрителей, император также прибыл рано вместе с весталками и двором. Зрелище должно было начаться с борьбы христиан между собой – для этого их одели как гладиаторов и дали им всевозможное ору-

жие, которым пользовались профессиональные бойцы для боя наступательного и оборонительного. Но тут публику постигло разочарование. Христиане побросали на песок сети, вилы, копья и мечи и сразу же кинулись обниматься и ободрять друг друга, чтобы стойко встретить муки и смерть. Тогда глубокая обида и негодование охватили зрителей. Одни упрекали христиан в малодушии и трусости, другие говорили, что они, мол, назло не желают драться из ненависти к народу, чтобы не доставить ему удовольствия, которое обычно приносит зрелище мужественной борьбы. В конце концов против них по приказу императора выпустили настоящих гладиаторов, которые в мгновение ока перебили этих коленопреклоненных и безоружных людей.

И когда трупы убрали, публике представили уже не борьбу, а ряд мифологических картин, задуманных самим императором. Зрители увидели Геркулеса, заживо горящего на горе Эта[410]. Виниций вздрогнул при мысли, что на роль Геркулеса могли назначить Урса, но, очевидно, для верного слуги Лигии еще не пришел черед, и на костре сгорел какой-то другой, Винициюсовершенно не известный христианин. Зато в следующей картине Хилон, которому император не разрешил уклониться от посещения цирка, увидел своих знакомых. Была представлена гибель Дедала и Икара.[411] В роли Дедала выступал Эвриций, тот самый старик, который некогда открыл Хилону смысл знака рыбы, а в роли Икара – его сын Кварт. Обоих с помощью хитроумных машин подняли в воздух, а затем с огромной высоты внезапно сбросили на арену, причем юный Кварт упал так близко от императорского подиума, что обрызгал кровью не только наружную резьбу, но и обитые пурпуром перила. Хилон падения не видел, он в этот миг закрыл глаза и слышал лишь глухой стук упавшего тела, а когда, открыв глаза, увидел кровь рядом с собою, то едва не лишился чувств во второй раз. Но картины быстро менялись. Мучения девственниц, которых перед смертью бесстыдно подвергли насилию гладиаторы, переодетые зверями, развеселили толпу. Ей показали жриц Кибелы и Цереры, показали Данаид, Дирку и Пасифаю[412], наконец, показали девочек, которых разрывали пополам дикие кони. Народ хлопал все новым и новым выдумкам императора, а тот, гордясь своей изобретательностью и упоенный рукоплесканьями, ни на минуту не отставлял теперь от глаза свой изумруд, разглядывая терзаемые железом белые тела и конвульсии жертв. Были, впрочем, представлены и картины из истории города. После дев показали Муция Сцеволу[413], рука которого, привязанная к треножнику с огнем, наполнила запахом горелого мяса весь амфитеатр, но который, как настоящий Сцевола, стоял без единого стона, возведя глаза к небу и шепча молитву почерневшими губами. Когда его добили и тело выволокли в сполиарий, наступил, как обычно, перерыв. Император с весталками и августианами вышел из амфитеатра и направился в нарочно сооруженный огромный пурпурный шатер, где для него и гостей был приготовлен роскошный прандиум[414]. Большинство зрителей, последовав его примеру, вышли из цирка на воздух

[410] Эта и взошел там на костер; когда пламя охватило Геркулеса, с неба спустилась туча и унесла его на Олимп. Хотя по другим версиям мифа, Дедалу удалось с Крита долететь до Сицилии, в римских амфитеатрах его представляли гибнущим той же смертью, что Икар. *(Примеч. автора.)*

[411] В греческой мифологии *Дедал* – внук афинского царя Эрехтея, искусный мастер, архитектор и скульптор. Чтобы спастись от царя Миноса, Дедал изготовил крылья из скрепленных воском перьев и вместе с сыном Икаром улетел с Крита. Во время полета Икар поднялся слишком высоко; солнце растопило воск, и Икар упал в море. Дедалу же (по наиболее распространенной версии мифа) удалось долететь до Сицилии.

[412] *Дирка* – в греческой мифологии жена фиванского царя Лика, много лет притеснявшая возлюбленную Зевса Антиопу. Когда сыновья Зевса и Антиопы Зет и Амфион выросли и захватили Фивы, они казнили Дирку, привязав ее к рогам дикого быка. *Пасифая* – дочь бога Гелиоса, супруга критского царя Миноса. За то, что Минос нарушил свое обещание принести в жертву Посейдону огромного быка, Посейдон внушил Пасифае страсть к животному; от этой связи родился чудовищный человеко-бык Минотавр.

[413] *Муций Сцевола* – легендарный римский герой. По преданию, вызвался убить враждебного Риму этрусского царя Порсенну (нач. V в. до н.э.), но был схвачен. На допросе Муций сам положил свою правую руку на горящие угли жертвенника. Пораженный его мужеством, Порсенна поспешил заключить с Римом мирный договор.

[414] *Прандиум* – второй завтрак, подававшийся около полудня.

и, усеяв прилегающую площадь, расположились вокруг шатра живописными группами, чтобы дать отдых уставшим от долгого сидения конечностям и подкрепиться пищей, которую по милости императора в изобилии разносили рабы. Только самые любопытные, сойдя со своих мест, прошли на арену и, трогая руками липкий от крови песок, рассуждали как знатоки и любители о том, что видели, и о том, что еще предстояло увидеть. Вскоре, однако, и знатоки ушли, чтобы не опоздать к угощению, остались лишь несколько человек, которых удержало здесь не любопытство, но сострадание к обреченным.

Эти притаились в проходах или в нижних рядах, а между тем арену разровняли и начали копать на ней ямы, одну подле другой, кругами, по всей ее площади, так что последний ряд оказался всего в каком-нибудь десятке шагов от императорского подиума. Снаружи доносился шум толпы, крики и рукоплесканья, а здесь с лихорадочной поспешностью делались приготовления к новым пыткам. Внезапно раскрылись двери куникулов, и из всех ведущих на арену коридоров стали выгонять христиан – они были наги и несли на спинах кресты. Вскоре они заполнили всю арену. Бежали старики, согнувшись под тяжестью деревянных крестов, рядом с ними мужчины в расцвете лет, женщины с распущенными волосами, которыми они пытались прикрыть свою наготу, мальчики-подростки и малые дети. Большинство крестов, так же, как и будущих мучеников, было увенчано цветами. Цирковые служители хлестали несчастных бичами, заставляя класть кресты возле наготовленных ям и становиться рядом – каждый возле своего креста. Так предстояло погибнуть тем, кого в первый день игр не успели бросить на растерзание собакам и диким зверям. Теперь черные рабы хватали их и укладывали навзничь на кресте, затем прибивали их руки к перекладинам, работая быстро и усердно, чтобы к возвращению зрителей после перерыва все кресты уже были поставлены. В стенах амфитеатра гулко звучали удары молотков, эхо доносило их и в верхние ряды, и даже на площадь вокруг амфитеатра, и в шатер, где император потчевал весталок и придворных. Там пили вино, подшучивали над Хилоном и заигрывали с жрицами Весты. А тем временем на арене кипела работа, гвозди вонзались в ладони и ступни христиан, шуршала земля под лопатами, засыпая ямы, в которые были поставлены кресты.

Среди жертв, чья очередь еще не подошла, находился Крисп. Львы не успели его растерзать, и ему назначили крест, а он, всегда готовый к смерти, только радовался мысли, что настал его час. Вид у него теперь был необычный – иссохшее тело было совершенно обнажено, лишь пояс из плюща прикрывал бедра, а на голове был венок из роз. В глазах его, однако, сверкала все та же неиссякаемая энергия, и все то же суровое, фанатичное лицо глядело из-под венка. Не изменилось и сердце его – как некогда в куникуле он грозил гневом господним своим зашитым в шкуры собратьям, так и теперь он не утешал их, но грозно наставлял.

– Благодарите спасителя, – говорил он, – за то, что он дозволяет вам умереть такой же смертью, какою сам умер. Быть может, за это отпустится вам часть грехов ваших, но все равно – дрожите, ибо справедливость должна быть соблюдена и не может быть одинаковой награды злым и добрым.

И словам его вторил стук молотков, которыми прибивали руки и ноги жертв. Все больше крестов вздымалось на арене, а Крисп, обращаясь к тем, что еще стояли каждый у своего креста, продолжал:

– Я вижу небо разверстое, но также и разверстую бездну. Я сам не знаю, сумею ли дать господу отчет о жизни моей, хотя я верил, и ненавидел зло, и боюсь я не смерти, но воскресения, не мук, но суда, ибо настает день гнева.

И тут из ближних рядов отозвался голос спокойный и торжественный:

– Нет, не день гнева, но день милосердия, день спасения и блаженства! Я говорю вам: Христос вас обнимет, утешит и посадит одесную. Уповайте, чада мои, пред вами отворяется небо!

При этих словах взоры всех обратились к скамьям, даже те, кто уже был распят, приподняли бледные, измученные лица и повернули их в сторону говорившего.

А он приблизился к окружавшей арену ограде и начал творить над ними крестное знамение.

Крисп грозно протянул руку, как бы намереваясь его ударить, но, увидав лицо, опустил руку – колена его подломились, уста прошептали:

– Апостол Павел!

К великому изумлению цирковых служителей, все, кого еще не успели распять, стали на колени, а Павел из Тарса, обратясь к Криспу, молвил:

– Не грози им, Крисп, ибо еще сегодня они будут с тобою в раю. Ты полагаешь, что они могут быть осуждены? Но кто же их осудит? Неужто сие чинит бог, который отдал за них сына своего? Или Христос, который умер ради их спасения, как они умирают во славу имени его? И как может осудить тот, который полон любви? Кто будет обвинять избранников божьих? Кто скажет про эту кровь: «Проклята»?

– Я ненавидел зло, отче, – ответил старый священник.

– Христос велел любить людей сильнее, нежели ненавидеть зло, ибо учение его есть любовь, а не ненависть.

– О, горе, я согрешил в смертный свой час! – воскликнул Крисп.

И он стал бить себя кулаком в грудь.

Тут распорядитель приблизился к апостолу.

– Кто ты? – спросил он. – Как ты смеешь говорить с осужденными?

– Я римский гражданин, – спокойно ответил Павел и, обернувшись к Криспу, сказал: – Надейся, ибо сей есть день милости, и умри спокойно, раб божий.

В эту минуту к Криспу подошли два негра, чтобы положить его на крест, но он еще раз оглянулся вокруг и вскричал:

– Братья мои, молитесь за меня!

И резкие, словно в камне высеченные, черты его обрели выражение покоя и тихой радости. Он сам раскинул руки вдоль поперечины креста, чтобы облегчить труд прибивавшим, и, устремив глаза к небу, начал горячо молиться. Казалось, он ничего не ощущает – когда гвозди вонзались в его ладони, тело ни разу не дрогнуло и на лице не отразилось и тени страдания. Он молился, когда прибивали ноги, молился, когда подымали крест и утаптывали вокруг него землю. Лишь когда амфитеатр с криками и смехом начала заполнять толпа, брови старика чуть сдвинулись, как бы от гнева, что эти язычники нарушают тишину и покой блаженной его смерти.

К этому времени все остальные кресты уже были поставлены, так что на арене вырос как бы лес с висящими на деревьях людьми. На поперечины крестов и на головы мучеников падали лучи солнца, а на арену широкими полосами ложились тени, образуя темную неправильную решетку, в отверстиях которой желтел освещенный песок. В этом зрелище главным удовольствием народа было наблюдать медленное умирание жертв. Но еще никогда не видали в Риме такой чащи крестов. Арена была уставлена ими так густо, что служители с трудом меж ними пробирались. С краю висели главным образом женщины, однако Криспа как главу общины поместили прямо против императорского подиума на огромном кресте, увитом внизу жимолостью. Никто из распятых пока еще не скончался, но некоторые из тех, кого прибили к крестам раньше, впали в забытье. Никто не стонал, никто не просил пощады. У одних голова покоилась на плече, у других была опущена на грудь, точно они спали, некоторые словно погрузились в размышления, другие еще глядели на небо и тихо шевелили губами. В этом странном лесу крестов, в этих распятых телах, в молчании жертв было все же нечто зловещее. Народ, который после угощенья, сытый и веселый, входил в цирк с криком и шумом, приумолкнул, не зная, на ком из висящих остановить взгляд и что об этом думать. Нагота распластанных на крестах женских тел уже не дразнила чувства зрителей. Почему-то даже об заклад не бились, кто раньше умрет, как обычно делали, когда на арене бывало меньше распятых. Похоже было, что император заскучал, – он, ворочая головой, ленивым движением поправлял свое ожерелье, и лицо у него было вялое, сонное.

Внезапно висевший напротив него Крисп, у которого глаза были закрыты, как у человека, потерявшего сознание или умирающего, открыл их и вперил взгляд в императора.

Лицо его снова приняло грозное выражение, а глаза засверкали таким огнем, что августианы стали перешептываться, указывая на него пальцами, и наконец сам император обратил внимание на него и неторопливо поднес к глазу изумруд.

Воцарилась мертвая тишина. Взоры зрителей были прикованы к Криспу, который попытался шевельнуть правой рукой, как бы желая оторвать ее от поперечины.

Еще минута, и грудь его вздулась так, что проступили ребра, и он закричал:

– Матереубийца! Горе тебе!

Услыхав это страшное оскорбление, брошенное владыке мира при многотысячной толпе, августианы затаили дыхание. Хилон обмер. Император, вздрогнув, выпустил из пальцев изумруд.

Народ также притих в страхе. А голос Криспа звучал все громче, разносился по всему амфитеатру:

– Горе тебе, убийца жены и брата, горе тебе, антихрист! Разверзлась пред тобою бездна, смерть простирает к тебе руки, и могила ждет тебя! Горе тебе, живой труп, ты умрешь в ужасе и будешь проклят навеки!

И не в силах оторвать прибитую к кресту руку, вытягиваясь в мучительном напряжении, страшный, еще при жизни похожий на скелет, он тряс седою бородой над Нероновым возвышением, рассыпая при этом лепестки роз из своего венка.

– Горе тебе, убийца! Переполнилась твоя мера, и час твой близок!

Тут он напрягся еще раз – казалось, вот сейчас оторвет он от креста руку и грозно протянет ее над императором, но вдруг костлявые его руки вытянулись еще сильнее, тело обвисло, голова поникла на грудь, и он испустил дух.

В лесу крестов более слабые из распятых также стали один за другим засыпать вечным сном.

Глава LIX

– Государь, – говорил Хилон, – море теперь, как оливковое масло, волны точно уснули… Поедем в Ахайю. Там тебя ждет слава Аполлона, ждут венки, триумфы, народ тамошний тебя боготворит, и боги примут как равного себе гостя, а здесь, государь…

Тут он запнулся, потому что вдруг затряслась у него нижняя губа и вместо слов стали вылетать какие-то невнятные звуки.

– Поедем, как только закончатся игры, – отвечал Нерон. – Я знаю, что и так кое-кто называет христиан innoxia corpora[415]. Если бы я уехал, это стали бы повторять все. А ты-то чего боишься, гнилой пень?

И он, нахмурив брови, уставился испытующим взглядом на Хилона, будто ожидая объяснений. В действительности же он сам только притворялся спокойным, слова Криспа на последнем представлении сильно напугали его – возвратясь домой, он не мог уснуть от ярости и стыда, но также от страха. А суеверный Вестин, молча слушавший этот разговор, вдруг сказал, озираясь и таинственно понизив голос:

– Послушайся, государь, этого старика, в христианах и впрямь есть что-то необычное. Их божество дарует им легкую смерть, но оно может оказаться мстительным.

Нерон поспешно возразил:

– Это не я устраиваю игры. Это Тигеллин.

– Конечно, конечно, это я! – подхватил Тигеллин, услыхав ответ императора. – Да, я, и плевать мне на всех христианских богов. Вестин – просто набитый суевериями бычий пузырь, а этот отважный грек готов помереть со страху при виде наседки, защищающей своих цыплят.

– Все это прекрасно, – молвил Нерон, – но отныне прикажи отрезать христианам языки или затыкать рот кляпом.

– Им заткнет его огонь, о божественный!

– Горе мне! – простонал Хилон.

Но император, которому наглая самоуверенность Тигеллина придала духу, рассмеялся и, указывая на старого грека, сказал:

– Глядите, какой вид у этого потомка Ахиллеса!

Вид у Хилона действительно был ужасный. Остатки волос на голове совершенно побелели, с лица не сходило выражение крайней тревоги и угнетенности. Временами он был как одурманенный или полупомешанный – то не отвечает на вопросы, то вдруг рассердится, начнет дерзить –

[415] Невинные тела *(лат.)*

тогда августианы предпочитали его не задевать.

Подобное возбуждение овладело им и сейчас.

– Делайте со мною, что хотите, а на игры я больше не пойду! – воскликнул он с задором отчаяния, прищелкнув пальцами.

Нерон поглядел на него, потом, обращаясь к Тигеллину, сказал:

– Последи, чтобы в садах этот стоик был возле меня. Хочу посмотреть, какое впечатление произведут на него наши факелы.

Хилону стало страшно от звучавшей в голосе императора угрозы.

– Государь, – взмолился он, – я ничего не разгляжу, я не вижу в темноте.

На что император со зловещим смехом ответил:

– Ночь будет светлая, как день.

Затем, обернувшись к прочим августианам, Нерон завел с ними беседу о состязаниях, которые намеревался устроить в заключение игр.

К Хилону подошел Петроний и, тронув его за плечо, сказал:

– Разве не говорил я тебе? Ты не выдержишь.

– Я хочу напиться, – отвечал грек и протянул руку к кратеру с вином, но донести вино до рта ему не пришлось – Вестин отнял у него сосуд, придвинулся поближе и с любопытством и испугом на лице спросил:

– А фурии тебя не преследуют?

Старик поглядел на него, открыв рот, будто не понимая вопроса, и часто заморгал.

– Преследуют тебя фурии? – повторил Вестин.

– Нет, – ответил Хилон, – но предо мною тьма.

– Как это тьма? Да смилуются над тобою боги! Как это тьма?

– Тьма ужасная, непроглядная, и в ней что-то движется, что-то идет на меня. А что – я не знаю и боюсь.

– Я всегда был уверен, что они колдуны. А не снится тебе что-нибудь особенное?

– Нет, потому что я не сплю. Я же не думал, что их так будут казнить.

– Тебе их жаль?

– Зачем вы проливаете столько крови? Ты слышал, что говорил тот, на кресте? Горе нам!

– Слышал, – тихо ответил Вестин. – Но они же поджигатели.

– Неправда!

– И враги рода человеческого.

– Неправда!

– И отравители вод.

– Неправда!

– И убийцы детей.

– Неправда!

– Как же так? – с удивлением спросил Вестин. – Ты же сам говорил это и предал их в руки Тигеллина!

– Потому и объяла меня тьма, и смерть идет ко мне! Иногда мне кажется, что я уже умер и вы тоже.

– Э нет, это они умирают, а мы живы. Но скажи мне: что они видят, когда умирают?

– Христа…

– Это их бог? А он бог могущественный?

Хилон ответил вопросом:

– Какие факелы будут гореть в садах? Ты слышал, что сказал император?

– Да, слышал и знаю. Их называют «сарментиции» и «семиаксии»[416]. Надевают на них траурные туники, пропитанные смолою, привязывают к столбам и поджигают. Только бы их бог не

[416] *Семиаксии* – буквально «наполовину колесованные», презрительно-ироническое название ранних христиан, которых сжигали на столбах, обложенных хворостом.

наслал на город каких-нибудь бед! Семиаксии! О, это страшная казнь!

– По мне, лучше уж это, хоть крови не будет, – сказал Хилон. – Прикажи рабу поднести мне кратер ко рту. Выпить хочется, а я разливаю вино, рука дрожит от старости.

Остальные в это время также говорили о христианах. Старик Домиций Афр над ними насмехался.

– Их так много, – говорил он, – что они могли бы разжечь гражданскую войну. Вы же помните – были опасения, как бы они не вздумали защищаться. А они погибают как овцы.

– Пусть бы только попробовали! – сказал Тигеллин.

– Ошибаетесь! – заметил Петроний. – Они защищаются.

– Каким образом?

– Терпением.

– Новый способ!

– Без сомнения. Но можете ли вы утверждать, что они умирают как обычные преступники? О нет, они умирают так, как если бы преступниками были те, кто их осуждает на смерть, – то есть мы и весь римский народ.

– Какой вздор! – вскричал Тигеллин.

– Hic abdera![417] – ответил ему Петроний.

Окружающие, пораженные меткостью его наблюдения, удивленно переглядывались и повторяли:

– А ведь верно! В их смерти есть что-то необычное, удивительное.

– Говорю вам, они видят своего бога! – вскричал Вестин.

Тогда несколько августиан обратилось к Хилону:

– Эй ты, старик, ты их хорошо знаешь, скажи нам, что они видят?

Грек, сплюнув вино себе на тунику, ответил:

– Воскресение!

И затрясся так, что сидевшие ближе к нему разразились громким хохотом.

Глава LX

Уже несколько ночей подряд Виниций проводил вне дома. Петроний предполагал, что у него, возможно, возник какой-то новый план и он пытается освободить Лигию из Эсквилинской тюрьмы, однако расспрашивать не хотел, чтобы не принести неудачу его замыслу. Этот утонченный скептик тоже стал до известной степени суеверным – точнее, с того времени, как ему не удалось вызволить девушку из мамертинского подземелья, он утратил веру в свою звезду.

Впрочем, теперь он не надеялся и на успех усилий Виниция. Эсквилинская тюрьма, которую наскоро устроили из подвалов нескольких домов, разрушенных с целью остановить пожар, была, правда, не такая страшная, как старый Туллианум возле Капитолия, зато стерегли ее гораздо строже. Петроний прекрасно понимал, что Лигию перевели туда лишь для того, чтобы она не умерла и не избежала амфитеатра, – и нетрудно было ему догадаться, что именно по этой причине ее должны охранять как зеницу ока.

– Видимо, император с Тигеллином, – говорил он себе, – предназначает ее для какого-то особенного зрелища, страшнее всех прочих, и Виниций скорее сам погибнет, чем сумеет ее освободить.

Да и Виниций утратил надежду на то, что ему удастся ее вызволить. Один Христос мог теперь это сделать. Молодой трибун уже хлопотал лишь о том, чтобы хоть повидать ее в тюрьме.

С некоторых пор ему не давала покоя мысль, что вот Назарий все же сумел проникнуть в Мамертинскую тюрьму, нанявшись выносить трупы, и он решил испробовать этот путь.

[417] Hic abdera! – Поговорочное выражение со значением: «Ну и дурак!», намекавшее на жителей фракийских Абдер, которые считались людьми недалекими. Поговорочное выражение, означающее: вот глупейший из глупцов. *(Примеч. автора.)*

Подкупленный огромною взяткой смотритель Смрадных Ям согласился принять его в число своих людей, которых он каждую ночь посылал в тюрьму за трупами. Большой опасности быть узнанным для Виниция не было. Этому препятствовала темнота, одежда раба и плохое освещение в тюрьмах. Да и кому пришло бы в голову, что патриций, внук и сын консулов, может оказаться в числе могильщиков, вдыхающих заразные испарения тюрем и Смрадных Ям, что он взялся за труд, на который вынуждает только неволя либо крайняя нищета.

И когда настал долгожданный вечер, Виниций радостно опоясал себе бедра, обмотал голову пропитанною скипидаром тряпкой и с бьющимся сердцем пошел вслед за другими могильщиками на Эсквилин.

Стражи-преторианцы пропустили их без задержки, так как у всех были надлежащие тессеры, которые центурион проверял при свете фонаря. Минуту спустя перед ними открылись железные двери, и они вошли в тюрьму.

Виниций увидел обширный сводчатый подвал, из которого был выход в ряд других таких же. Тусклые плошки освещали битком набитое людьми помещение. Некоторые лежали у стен, не то погруженные в сон, не то мертвые. Другие толпились вокруг большого сосуда с водою, стоявшего посреди подвала, и пили из него с жадностью мучимых лихорадкой, иные сидели на земле, облокотясь на колена и обхватив голову руками, кое-где, прижавшись к матерям, спали дети. Вокруг слышались то учащенное, шумное дыханье больных, то плач, то произносимая шепотом молитва, то напеваемый вполголоса гимн, то проклятья стражей. В душном воздухе чувствовался трупный запах. В темных углах подвала шевелились какие-то фигуры, а поближе можно было при мерцающих огоньках плошек разглядеть бледные, испуганные лица, от голода изможденные, осунувшиеся, с угасшими или горящими от лихорадки глазами, с посиневшими губами, с мокрыми от пота лбами в обрамлении слипшихся прядей. Где-то в глубине громко бредили больные, другие просили воды или умоляли, чтобы их поскорее вели на смерть. И хотя это была тюрьма менее страшная, чем старый Туллианум, у Виниция при виде этого подвала подкосились ноги и перехватило дыхание. От мысли, что Лигия находится в этой скорбной юдоли слез, волосы зашевелились у него на голове, и на устах замер крик отчаяния. Амфитеатр, клыки диких зверей, кресты – все было лучше, нежели эти ужасные, пропитанные трупным зловонием подземелья, где из всех углов доносилась мольба:

– Ведите нас на смерть!

Виниций вонзил ногти в ладони, он чувствовал, что силы покидают его, что он вот-вот потеряет сознание. Все пережитое до сих пор, страстную любовь и боль за любимую, сменила жажда смерти.

Вдруг раздался рядом с ним голос смотрителя Смрадных Ям:

– Сколько у вас нынче трупов?

– С дюжину будет, – отвечал тюремный надзиратель, – но до утра наберется еще, там, у стен, некоторые уже подыхают.

И он стал жаловаться на женщин, которые прячут мертвых детей, чтобы подольше держать их при себе и не отдавать, покуда возможно, в Смрадные Ямы. Приходится выискивать трупы по запаху, из-за них воздух, и так ужасный, еще пуще портится.

– Лучше был бы я, – говорил он, – рабом в деревенском эргастуле, чем охранять этих гниющих при жизни собак.

Смотритель Смрадных Ям утешал его, уверяя, что и его, смотрителя, служба не легче. Пока они беседовали, Виниций несколько пришел в себя и начал осматривать подземелье, тщетно пытаясь найти Лигию и ужасаясь при мысли о том, что может вообще не увидеть ее, пока она жива. Подвалов таких было больше десятка, они соединялись недавно выкопанными коридорами, и могильщики входили только в те помещения, откуда надо было забрать тела умерших, так что страх Виниция, что все его усилия окажутся напрасны, имел основание.

К счастью, на помощь пришел его патрон.

– Надо поскорее выносить трупы, – сказал смотритель своему собеседнику, – от них больше всего заразы. Если не поспешить, помрете и вы, и узники.

– Нас на все подвалы всего десять человек, – возразил надзиратель тюрьмы, – а спать-то нам

тоже ведь надо.

– Так я могу тебе оставить четырех моих парней, они будут ночью ходить по подвалам и смотреть, не помер ли кто.

– Если это сделаешь, завтра мы с тобой выпьем. Только пусть приносят каждый труп на проверку, потому как пришел приказ сперва протыкать умершим шею перед отправкой в Смрадные Ямы!

– Ладно, да смотри же про выпивку не забудь! – ответил смотритель.

Он назначил четырех человек, в их числе и Виниция, а с остальными принялся укладывать трупы на носилки.

Виниций облегченно вздохнул. Теперь он был уверен хотя бы в том, что разыщет Лигию.

Прежде всего он стал тщательно осматривать первый подвал. Заглянул во все темные углы, куда почти не доходил свет, осмотрел фигуры спавших у стен, под тряпьем, пощупал самых тяжелых больных, которых стащили в отдельный угол, но Лигии найти не мог. Во втором и третьем подвалах его поиски также были безуспешны.

Между тем время шло, была поздняя ночь, трупы уже вынесли. Стражи, улегшись в проходах между подвалами, заснули, дети, устав плакать, замолкли, только тяжелое дыхание измученных легких да кое-где произносимые шепотом молитвы слышались в подвалах.

Со светильником в руке Виниций вошел в четвертый по порядку подвал, значительно меньший по размерам, и, приподняв светильник, стал присматриваться.

Внезапно он вздрогнул – ему показалось, что под зарешеченным отверстием в стене он видит гигантскую фигуру Урса.

Мгновенно задув огонек, он подошел к этой фигуре и спросил:

– Урс, это ты?

Великан повернул к нему лицо.

– Кто ты такой?

– Не узнаешь меня? – спросил молодой трибун.

– Ты погасил светильник, как же я могу тебя узнать?

Но в эту минуту Виниций увидел Лигию, лежавшую на плаще у стены, и, больше не говоря ни слова, опустился подле нее на колени.

Теперь Урс узнал его.

– Слава Христу! – сказал лигиец. – Только не буди ее, господин.

Стоя на коленях, Виниций сквозь слезы глядел на любимую. В темноте он все же мог различить ее лицо, показавшееся ему белее алебастра, и исхудалые руки. От этого зрелища любовь в его сердце превратилась в пронзительное чувство скорби, потрясшее все его естество, скорби, смешанной с жалостью, почтением и преклонением, и он, упав ниц, стал лобзать край плаща, на котором покоилось самое дорогое для него в мире создание.

Урс долго смотрел на него, не произнося ни слова, но в конце концов потянул его за тунику.

– Господин, – сказал он, – как ты проник сюда? Ты пришел ее спасти?

Виниций встал, но еще с минуту не мог подавить свое волнение.

– Скажи мне, как это сделать! – сказал он.

– Я думал, ты сам найдешь способ, господин. Мне в голову приходило только одно…

Тут он повернулся к зарешеченному отверстию и, как бы сам себе отвечая, сказал:

– Да, конечно, можно бы… Но ведь там солдаты.

– Сотня преторианцев, – подтвердил Виниций.

– Значит, нам не пробраться!

– Нет, не пробраться.

Лигиец потер ладонью лоб и повторил прежний вопрос:

– Как же ты сюда вошел?

– У меня тессера от смотрителя Смрадных Ям.

Виниций вдруг умолк, точно пораженный какой-то новой мыслью.

– Клянусь муками спасителя! – поспешно заговорил он опять. – Я останусь тут, а она пусть возьмет мою тессеру, обмотает голову тряпкой, накинет на плечи плащ и выйдет. Среди рабов-

носильщиков есть несколько подростков, преторианцы ничего не заметят, и если она доберется до дома Петрония, он ее спасет!

Но лигиец, опустив голову, грустно сказал:

– Она на это не согласится, ведь она тебя любит, вдобавок она больна, даже подняться на ноги сама не может. – И, немного помолчав, прибавил: – Если ты, господин, и благородный Петроний не могли ее вызволить из тюрьмы, так кто же сумеет ее спасти?

– Один Христос.

Оба умолкли. Лигиец простодушным своим умом прикидывал так: «Он-то, наверно, мог бы всех спасти, а коль не делает этого, стало быть, настал час мучений и смерти». Для себя он был на нее согласен, но было ему до глубины души жаль дитя, которое выросло у него на руках и которое он любил сильнее жизни.

Виниций опять опустился на колени подле Лигии. Через решетчатое отверстие проникли в темницу лучи луны и осветили ее лучше крохотной плошки, которая еще мерцала на дверном косяке.

Лигия внезапно раскрыла глаза, положила горячие свои руки на руки Виниция.

– Я вижу тебя, – сказала она, – и я знала, что ты придешь.

Он припал к ее рукам, торопливо стал прижимать их ко лбу и сердцу, затем слегка приподнял ее, поддерживая в своих объятиях.

– Да, я пришел, дорогая, – сказал он. – Пусть Христос охранит тебя и исцелит, о любимая моя Лигия!

Продолжать он не мог, сердце мучительно заныло от скорби и любви, а свою скорбь он не хотел обнаружить перед нею.

– Я больна, Марк, – возразила Лигия, – на арене или здесь, в тюрьме, я скоро умру. Но я молилась о том, чтоб увидеть тебя перед смертью, и ты пришел: Христос услышал меня!

Виниций все еще был не в силах говорить, только прижимал ее к груди, а она продолжала:

– Я видела тебя через окошко в Туллиануме, я знала, что ты хотел прийти. А теперь спаситель даровал мне на минуту ясность ума, чтобы мы могли проститься. Я уже иду к нему, Марк, но я тебя люблю и буду любить вечно.

Овладев собою, Виниций преодолел душевную боль и заговорил голосом, которому старался придать спокойствие:

– Нет, дорогая, ты не умрешь. Апостол велел надеяться и обещал молиться за тебя, а ведь он знал Христа, Христос его любил и ни в чем ему не откажет. Если бы тебе суждено было умереть, Петр не приказывал бы надеяться, а он мне сказал: «Надейся!» Нет, Лигия! Христос смилуется надо мною. Он не хочет твоей смерти. Он ее не допустит. Клянусь тебе именем спасителя, Петр молится за тебя!

Наступила тишина. Единственная плошка, висевшая над дверью, погасла, зато через окошко потоком лился лунный свет. В противоположном углу подвала захныкал ребенок, но быстро умолк. Извне доносились только голоса преторианцев, которые, отбыв свой черед в охране, играли у тюремной стены в «двенадцать линий».

– О Марк! – отвечала Лигия. – Христос сам взывал к отцу: «Избавь меня от этой чаши страданий», а все ж испил ее до дна. Христос сам умер на кресте, и теперь за него погибают тысячи, так почему же стал бы он щадить одну меня? Кто я такая, Марк? Я слышала, Петр говорил, что и он умрет мучеником, а что я против него? Когда пришли к нам преторианцы, я боялась смерти и мук, но теперь уже ничего не боюсь. Гляди, какая страшная эта тюрьма, а я ведь иду на небо. Подумай сам, здесь император, а там спаситель, добрый, милосердный. И там нет смерти. Ты меня любишь, вот и думай о том, как буду я счастлива. О Марк, дорогой мой, думай о том, что ты придешь туда ко мне!

Тут она умолкла, чтобы перевести дыхание, потом поднесла к устам его руку.

– Марк!

– Что, дорогая?

– Не плачь обо мне и помни, что там ты придешь ко мне. Жила я недолго, но бог подарил мне твою душу. И я хочу сказать Христу, что, хоть я умерла и ты видел мою смерть и остался в

скорби, ты все же не возроптал на его волю и любишь его неизменно. Ведь ты будешь любить его и снесешь терпеливо мою смерть? Тогда он нас соединит, а я тебя люблю и хочу быть с тобою…

Ей опять не хватило дыхания, и еле слышным голосом она закончила:

– Обещай мне это, Марк!

Виниций, дрожащими руками обняв ее, ответил:

– Клянусь святой твоей головой, обещаю!

Тогда лицо ее, освещенное тусклым лунным светом, прояснилось. Еще раз поднесла она к устам его руку и прошептала:

– Я – твоя жена!

За стеною игравшие в «двенадцать линий» преторианцы завели о чем-то громкий спор, но влюбленные, позабыв о тюрьме, о страже, обо всем в мире и уже видя друг друга преображенными в ангелов, начали молиться.

Глава LXI

Три дня, вернее три ночи, ничто не нарушало их блаженства. Когда обычная тюремная работа, состоявшая в том, чтобы отделять умерших от живых, а тяжело больных от здоровых, заканчивалась и утомленные стражи укладывались спать в подземных коридорах, Виниций входил в подвал, где лежала Лигия, и оставался там, пока за оконною решеткой не занимался рассвет. Она клала голову ему на грудь, и они вели тихую беседу о любви и смерти. В мыслях и речах, даже в желаниях своих и надеждах оба невольно все более отдалялись от жизни и утрачивали чувство действительности. Оба походили на людей, которые, отчалив на судне от суши, теряют из вида берег и медленно погружаются в бесконечность. Оба постепенно как бы превращались в духов – грустных, исполненных любви один к другому и к Христу и готовых улететь прочь. Лишь порой в сердце Виниция врывалась вдруг, как вихрь, пронзительная боль, а иногда молнией сверкала надежда, порожденная любовью и верою в милосердие распятого бога, но и он с каждым днем все больше отдалялся от земных чаяний и предавался во власть смерти. Выходя по утрам из тюрьмы, он смотрел на мир, на город, на знакомых людей и на все дела земные будто сквозь сон. Все казалось ему чуждым, далеким, бессмысленным и ничтожным. Даже грозящие муки не слишком устрашали, он стал на них смотреть как на что-то такое, что можно пережить, словно в забытьи, устремив духовный свой взор в нечто иное. Обоим влюбленным чудилось, что ими завладевает вечность. Они говорили о любви, о том, как будут друг друга любить и вместе жить, но только будет это там, по ту сторону могилы, и если порою мысли их еще обращались к земным вещам, то лишь как мысли людей, которые, собираясь в дальний путь, обсуждают дорожные приготовления. Вокруг них, казалось им, стояла тишина нерушимая, как вокруг двух высящихся в пустыне и всеми забытых колонн. Теперь для них важно было одно: чтобы Христос их не разлучил, и так как каждое мгновенье укрепляло их уверенность в этом, сердца их полнились любовью к нему, как к светлой обители, где они соединятся в бесконечном блаженстве и бесконечном покое. Уже здесь, на земле, они отрясали прах земной. Души их становились чисты как слеза. Под угрозой смерти, среди лишений и страданий, в тюремной яме, они чувствовали себя уже на небесах – она брала его за руку и как душа, обретшая спасение и святость, вела к вечному источнику жизни.

Петроний диву давался, видя на лице Виниция все более спокойное выражение и какое-то странное сияние, которого прежде не замечал. Минутами у него даже возникала догадка, что Виницию удалось найти спасительный выход, и он огорчался, что молодой трибун не посвящает его в свои тайны.

– А у тебя, смотрю я, теперь совсем другой вид, – не выдержал он наконец и как-то сказал Виницию: – Так что не таись от меня, ведь я хочу и могу быть тебе полезен. Ты что-то придумал?

– Придумал, – отвечал Виниций, – но ты уже не можешь быть мне полезен. После ее смерти я признаюсь, что я христианин, и последую за нею.

– Значит, надежды у тебя нет?

– Почему же? Есть. Христос отдаст ее мне, и мы с нею уже никогда не разлучимся.

Петроний стал прохаживаться по атрию с выражением разочарования и досады.

– Для этого вовсе не нужен ваш Христос, – сказал он. – Такую же услугу может оказать тебе и наш Танатос[418].

– Нет, дорогой мой, – грустно улыбнувшись, возразил Виниций, – но ты этого не хочешь понять.

– Не хочу и не могу, – согласился Петроний. – Разумеется, теперь не время спорить, но помнишь, что ты говорил, когда нам не удалось вырвать ее из Туллианума? Тогда я потерял всякую надежду, ты же, когда мы пришли домой, сказал: «А я верю, что Христос может мне ее вернуть». Так пусть вернет. Если я брошу драгоценный кубок в море, ни один из наших богов не сумеет мне его вернуть, но раз и ваш бог не лучше, с чего бы мне почитать его больше, чем прежних?

– Так ведь он отдаст ее мне, – возразил Виниций.

– Знаешь ли ты, – сказал Петроний, пожав плечами, – что завтра собираются осветить сады императора христианами?

– Завтра? – переспросил Виниций.

И от близости страшного испытания сердце его все же дрогнуло. С ужасом и скорбью он подумал, что, возможно, это будет последняя ночь, которую он сможет провести с Лигией. Наскоро простясь с Петронием, он поспешил к смотрителю Ям за своей тессерой.

Но тут его ждало разочарование – смотритель отказался дать ему тессеру.

– Извини, господин, – сказал он. – Я сделал для тебя все, что мог, но жизнью рисковать не хочу. Нынешней ночью христиан должны отправить в сады императора. В тюрьме будет полным-полно солдат и чиновников. Если тебя узнают, пропал и я, и дети мои.

Виниций понял, что настаивать бесполезно. У него, однако, мелькнула надежда, что солдаты, уже не раз видевшие его, пропустят его без тессеры. С наступлением сумерек, одевшись как обычно в груботканую тунику и повязав голову тряпицей, он отправился к тюремным воротам.

Но в этот день тессеры проверяли еще тщательнее, чем всегда, а главное, сотник Сцевин, суровый воин, душою и телом преданный императору, узнал Виниция.

И все же в этой одетой железом груди, видимо, теплились искорки жалости к человеческому горю – вместо того чтобы ударить копьем о щит и поднять тревогу, сотник отвел Виниция в сторону и сказал:

– Возвращайся домой, господин. Я тебя узнал, но буду молчать, я не хочу тебя губить. Впустить тебя не могу, но ты иди домой, и да пошлют тебе боги исцеление.

– Не можешь впустить, – сказал Виниций, – так позволь хоть остаться здесь и посмотреть на тех, кого будут выводить.

– Это в данном мне приказе не запрещено, – отвечал Сцевин.

Виниций стал у ворот, ожидая, когда начнут выводить обреченных на смерть. Наконец около полуночи ворота открылись настежь и показалась колонна узников – мужчины, женщины и дети, сопровождаемые вооруженными преторианцами. Ночь была светлая, стояло полнолуние, и можно было различить не только фигуры, но даже лица несчастных. Они шли попарно длинной, угрюмой вереницей в тишине, нарушаемой лишь бряцаньем оружия в руках солдат. И столько было их, что казалось, все подвалы опустеют.

В конце шествия Виниций отчетливо разглядел лекаря Главка, однако ни Лигии, ни Урса в колонне обреченных не было.

Глава LXII

Еще не вполне стемнело, когда первые толпы римлян хлынули в сады императора. В праздничных одеждах, в венках, со смехом и песнями, а многие и пьяные, они шли смотреть новое, великолепное зрелище. Крики: «Семиаксии! Семиаксии!» – раздавались на Крытой улице, на мосту Эмилия и по ту сторону Тибра, на Триумфальной дороге, возле цирка Нерона и дальше – на Ватиканском холме. В Риме и прежде видали горящих на столбах людей, но такого количества обре-

[418] *Танатос* – в греческой мифологии олицетворение смерти. Гений смерти. *(Примеч. автора.)*

ченных еще не бывало. Император и Тигеллин, желая покончить с христианами, а заодно пресечь эпидемию, все больше распространявшуюся из тюрем по городу, приказали освободить все темницы, так что в них едва осталось несколько десятков человек, предназначенных для завершения игр. И толпы черни, пройдя через ворота садов, останавливались в немом изумлении. Все главные аллеи, а также боковые, пролегавшие среди густых чащ вдоль лугов, рощиц, прудов, садков и усеянных цветами клумб, были уставлены просмоленными столбами с привязанными к ним христианами. С более высоких мест, где не заслоняли деревья, можно было видеть целые длинные ряды столбов и тел, увитых цветами, гирляндами мирта и плюща, – ряды эти тянулись в глубь садов, шли по холмам и низинам, уходили так далеко, что, если более близкие казались корабельными мачтами, то те, вдали, были подобны пестрым, воткнутым в землю тростинкам или копьям. Их число превзошло все ожидания. Можно было подумать, что здесь взяли да привязали к столбам целый народ на потеху Риму и императору. Толпы зрителей останавливались перед некоторыми столбами, где их любопытство привлечено было фигурой или полом жертвы, разглядывали лица, венки, гирлянды плюща, после чего шли дальше, задаваясь недоуменным вопросом: «Неужто могло быть столько виновных? И как могли поджигать Рим дети, которые едва умеют ходить?» Недоумение это мало-помалу превращалось в какое-то тревожное чувство.

Тем временем совсем стемнело, и в небе заблестели первые звезды. Тогда возле столбов стали рабы с горящими факелами и, как только во всех концах садов раздались трубные звуки, возвещая начало зрелища, каждый из рабов поднес факел к подножью столба.

Прикрытая цветами и облитая смолою солома занялась ярким пламенем, который, разгораясь с каждой минутой, пожирал гирлянды, устремлялся вверх и охватывал ноги жертв. Народ притих, и сады огласились страшным, оглушительным воплем, криками боли. Однако некоторые из жертв, подняв голову к звездному небу, запели гимн Христу. Народ прислушивался. Но даже самые черствые сердца объял ужас, когда от более коротких столбов понеслись душераздирающие детские голоса. «Мама! Мама!» – кричали дети, и дрожь пробрала даже пьяных при виде этих головок и невинных детских лиц, искаженных болью, задыхающихся в дыму. А огонь забирался все выше и сжигал все новые венки из роз и плюща. Пылали столбы на главных и боковых аллеях, пылали купы деревьев, и луга, и цветочные поляны, багрово отсвечивала вода в озерах и прудах, алела трепещущая листва деревьев – стало светло как днем. Смрадный запах горящих тел наполнил сады, но тут рабы принялись сыпать в загодя поставленные меж столбами курильницы мирру и алоэ. В толпе здесь и там слышались выкрики – то ли сострадания, то ли восторга и радости, – они становились все громче, чем больше огонь охватывал столбы, подымаясь к груди жертв, жгучим своим дыханием курчавя волосы на их головах, застилая их почерневшие лица и наконец взвиваясь еще выше, как бы во славу той победительной, торжествующей силы, которая велела его разжечь.

Еще в самом начале зрелища среди народа появился император на великолепной цирковой квадриге, запряженной четырьмя белыми аргамаками, – он был в одежде цвета партии Зеленых, к которой принадлежали он и его двор. За ним двигались повозки с придворными в роскошных нарядах, с сенаторами, жрецами и обнаженными вакханками в венках и с кувшинами вина в руках, уже частью пьяными и издававшими дикие крики. С вакханками ехали музыканты, наряженные фавнами и сатирами, игравшие на кифарах, формингах, дудевшие в свирели и рога. На других повозках восседали римские матроны и девицы, также пьяные и полуобнаженные. Рядом с квадригами прыгали плясуны, потрясая тирсами в лентах, другие били в бубны, третьи рассыпали цветы. Вся эта великолепная процессия двигалась под возгласы «Эвоэ!» по самой широкой аллее сада, среди дыма и людей-факелов. Император, сопровождаемый Тигеллином и Хилоном, чьим испугом он хотел позабавиться, сам правил лошадьми и, ведя повозку очень медленно, разглядывал горящие тела, а заодно прислушивался к крикам народа. Стоя на высокой позолоченной квадриге, окруженный волнами людскими, припадавшими к его стопам, в отблесках пламени, в золотом венке циркового победителя, он возвышался над придворными и толпой, казался великаном. Уродливо толстые руки, вытянутые вперед и державшие вожжи, как будто благословляли народ. На лице и в прищуренных глазах светилась усмешка, он сиял над людьми как солнце или как некое божество, хотя страшное, но великолепное и могущественное.

Временами он останавливал лошадей, чтобы получше присмотреться к какой-нибудь девушке, чья грудь начинала шипеть под языками огня, либо к искаженному смертною судорогой лицу ребенка, потом опять ехал дальше, возглавляя разнузданную, беснующуюся процессию. Порой он кланялся народу, а порой откидывался назад, натянув вожжи, и переговаривался с Тигеллином. Подъехав наконец к большому фонтану на перекрестке двух аллей, он сошел с квадриги и, кивнув обоим своим спутникам, смешался с толпой.

Его приветствовали криками и рукоплесканьями. Вакханки, нимфы, сенаторы, августианы, жрецы, фавны, сатиры и солдаты вмиг окружили его бешеным хороводом, а он, идя между Тигеллином и Хилоном, огибал фонтан, вкруг которого пылало несколько десятков факелов, и перед каждым останавливался, делая замечания по поводу пылающих жертв или издеваясь над старым греком, на чьем лице изображалось безмерное отчаяние.

Но вот они задержались перед высоким столбом, украшенным миртом и увитым вьюнками. Красные языки огня достигали уже колен обреченного, но лицо сперва нельзя было разглядеть, так как дым от сырых веток заслонял его. Вдруг легкий ночной ветерок отогнал дым и открыл голову старика с седою, падающей на грудь бородою.

При виде ее Хилон весь скорчился, извиваясь, как раненая змея, и издал вопль, скорее похожий на карканье вороны, чем на голос человеческий.

– Главк! Главк!

И в самом деле, с горящего столба на него смотрел лекарь Главк.

Несчастный был еще жив. Страдальческое лицо глядело вниз, будто он хотел в последний раз посмотреть на своего губителя, который его предал, отнял жену, детей, подослал к нему убийцу, а когда все это было во имя Христа прощено, еще раз предал его в руки палачей. Никогда человек не причинял другому столько зла, да еще с такой жестокостью и злобой. И вот жертва горела теперь на просмоленном столбе, а палач стоял у ее ног. Глаза Главка неотрывно глядели на лицо грека. Минутами их заслонял дым, но, стоило повеять ветерку, и Хилон опять видел эти вперившиеся в него зрачки. Он распрямился, хотел бежать, но не смог. Ему вдруг почудилось, что ноги у него свинцовые и что какая-то невидимая рука с неодолимою силой удерживает его у этого столба. И он оцепенел. Только чувствовал: что-то переполняет душу его, что-то рвется на волю, он сыт по горло этими муками и кровью, видно, пришел конец жизни его, и вот все вокруг исчезло – и император, и свита, и толпа; бездонная, страшная, непроглядная пустота вдруг объяла его со всех сторон, и горят в ней лишь эти очи мученика, зовущие его на суд. А тот, все ниже опуская голову, смотрел и смотрел. Окружающие догадались, что меж двумя этими людьми что-то происходит, но смех замер на устах – в лице Хилона было что-то пугающее, оно было искажено такой тревогой, таким страданьем, как будто огненные языки жгли его собственное тело. Внезапно он зашатался и, простирая руки, вскричал страшным, режущим слух голосом:

– Главк! Во имя Христа! Прости!

Воцарилась тишина, дрожь пробежала по телам всех, и взоры невольно обратились вверх.

А голова мученика слегка качнулась, и оттуда, с верхушки столба, послышался голос, похожий на стон:

– Прощаю!

Взвыв как дикий зверь, Хилон бросился ничком наземь, зачерпнул обеими руками пыль, посыпал себе голову. Пламя меж тем взвилось вверх, охватило грудь и лицо Главка, миртовый венок на его голове расплелся, вспыхнули ленты на верхушке столба, и весь он озарился ослепительным светом.

Тут Хилон поднялся с земли. Лицо его так сильно изменилось, что августианам почудилось, будто они видят другого человека. Глаза сверкали необычным огнем, от изборожденного морщинами лба словно исходило сияние; этот жалкий, тщедушный грек походил теперь на вдохновленного богом жреца, готовящегося открыть людям тайны неведомые.

– Что с ним? Рехнулся, наверно! – послышались голоса.

А Хилон, оборотясь к толпе и вскинув вверх правую руку, закричал во всю мочь, чтобы не только августианы, но и толпящаяся дальше чернь могла его слышать:

– Народ римский! Клянусь смертью своею, что здесь погибают невинные, а поджигатель –

вот он!

И он пальцем указал на Нерона.

Воцарилась мертвая тишина. Придворные окаменели. Хилон все стоял, вытянув дрожащую руку с указующим на императора перстом. И вдруг поднялся шум. Подобно волнам, гонимым нежданно подувшим ветром, толпа надвинулась на старика, стремясь разглядеть его. То там, то здесь раздались выкрики: «Держи его!», «Горе нам!» Толпа засвистела, заверещала: «Агенобарб! Матереубийца! Поджигатель!» С каждою минутой суматоха нарастала. Вакханки, пронзительно визжа, прыгали на повозки, чтобы спрятаться. Несколько обгоревших столбов вдруг опрокинулось, рассыпая вокруг искры и еще усилив смятение. Неудержимо, слепо движущаяся людская лавина захватила Хилона и увлекла его в глубь сада.

К этому времени столбы уже везде стали перегорать и валиться наземь, наполняя аллеи дымом, искрами, чадом горящего дерева и горелого человеческого мяса. Один за другим угасали факелы вдали и вблизи. В садах становилось темно. Встревоженные, угрюмые толпы устремлялись к воротам. Весть о происшедшем распространялась из уст в уста с изменениями и добавлениями. Одни говорили, будто император упал в обморок, другие – будто он сам признался, что приказал поджечь Рим, третьи – будто он тяжело заболел, и наконец – будто его увезли на повозке как мертвого. Раздавались сочувствующие христианам голоса: «Не они сожгли Рим! Зачем же столько крови, мук и несправедливости? А не станут ли боги мстить за невинных, и тогда какими жертвоприношеньями удастся умилостивить их опять?» Все чаще повторялись слова «innoxia corpora». Женщины громко горевали по детям, которых столько побросали диким зверям, распяли на крестах или сожгли в этих проклятых садах! И в конце концов сострадание к казненным превращалось в проклятья императору и Тигеллину. Но были и такие, которые задавали себе или другим вопрос: «Что же это за бог, который дает такую силу переносить муки и саму смерть?» И они возвращались домой, глубоко задумавшись.

Хилон еще долго блуждал по садам, не зная, куда идти, не разбирая дороги. Теперь он опять почувствовал себя немощным, хворым, жалким стариком. Он спотыкался о недогоревшие тела, наступая на головешки, которые выстреливали ему вслед снопами искр, а не то усаживался и смотрел вокруг бессмысленным взглядом. В садах стало почти совсем темно – лишь плыла меж деревьями бледная луна, озаряя смутным светом аллеи да обуглившиеся, поваленные столбы и черневшие бесформенными бугорками трупы. Старому греку мерещилось, будто на луне он видит лицо Главка, будто очи Главка все глядят на него, и он старался прятаться от лунного света. Наконец он все же вышел из тени и невольно, подгоняемый какою-то тайною силой, устремился по направлению к фонтану, у которого испустил дух Главк.

Внезапно чья-то рука тронула его плечо.

Старик обернулся и, увидав незнакомого человека, с испугом вскричал:

– Кто там? Кто ты такой?

– Апостол Павел из Тарса.

– Я проклят! Чего ты хочешь?

И апостол ответил:

– Хочу тебя спасти.

Хилон оперся о дерево.

Ноги под ним подгибались, руки повисли вдоль тела.

– Для меня нет спасенья! – глухо произнес он.

– Ты ведь слышал, что бог простил раскаявшегося разбойника на кресте? – спросил Павел.

– А ты знаешь, что совершил я?

– Я видел сокрушение твое и слышал, как ты свидетельствовал истину.

– О господин мой!

– И ежели раб Христов простил тебя в минуту мучений и смерти, ужели Христос тебя не простит?

– Прощенье? Для меня – прощенье? – И Хилон, точно теряя рассудок, схватился руками за голову.

– Наш бог – бог милосердия, – отвечал апостол.

– Для меня? – повторил Хилон.

И он застонал как человек, уже не имеющий сил подавить свою боль и страданье. Но Павел заговорил снова:

– Обопрись на меня и идем со мною.

И, взяв Хилона за руку, пошел с ним по пересекающимся аллеям, прислушиваясь к шуму фонтана, который, мнилось, плакал в ночной тиши над телами замученных.

– Наш бог – бог милосердия, – повторил апостол. – Если бы ты стал на берегу и бросал бы в море камни, мог бы ты ими заполнить пучину морскую? И я говорю тебе, что милосердие Христово подобно морю, и все грехи и злодеяния человеческие потонут в нем, как камень в пучине. Я говорю тебе, что оно подобно небу, покрывающему горы, долины и моря, ибо оно вездесуще и нет ему ни пределов, ни конца. Ты страдал у столба Главка, и Христос видел твое страданье. Не заботясь о том, что ждет тебя завтра, ты сказал: «Это он – поджигатель!» – и Христос запомнил слова твои. Ибо злоба твоя и ложь ушли из твоего сердца, и осталась в нем одна лишь скорбь великая. Идем со мною и слушай, что я тебе скажу: ведь я тоже ненавидел его и преследовал его избранников. Я не признавал его, не верил в него, пока он сам не явился мне и не призвал меня. И с той поры в нем вся любовь моя. А ныне он посетил тебя угрызениями совести, тревогой и сокрушением, дабы призвать тебя к себе. Ты его ненавидел, а он тебя любил. Ты предавал на муки его приверженцев, а он хочет тебя простить и спасти.

Грудь несчастного грека сотрясли бурные рыданья, душа его разрывалась от скорби, а Павел, обнимая его плечи, все более завладевал им и вел, как солдат ведет пленника.

Немного помолчав, Павел снова заговорил:

– Иди за мною, и я поведу тебя к нему. Для чего иного приходил бы я к тебе? Но он велел мне собирать души человеков во имя любви, и я исполняю его веленье. Ты полагаешь, что ты проклят, а я говорю тебе: уверуй в него, и тебя ждет спасенье. Ты думаешь, что ему ненавистен, а я повторяю тебе, что он тебя любит. Взгляни на меня! Не будь у меня его, у меня не было бы ничего, кроме злобы, жившей в моем сердце, а ныне любовь его заменяет мне отца и мать, заменяет богатство и власть. В нем одном – наше прибежище, один он зачтет тебе твою скорбь, воззрит на нищету твою, снимет с тебя бремя тревоги и подымет тебя до себя.

С этими словами Павел привел грека к фонтану, серебряная струя которого мерцала издали в лунном свете. Вокруг было тихо и пустынно, рабы-уборщики уже унесли и обгорелые столбы, и тела мучеников.

Хилон со стоном пал на колени и, прикрывая лицо руками, замер в неподвижности. А Павел, подняв лицо к звездам, начал молиться:

– Господи, воззри на этого несчастного, на его сокрушение, слезы и муку сердечную! Боже милосердный, ты, что пролил свою кровь за грехи наши, ради мук твоих, ради смерти твоей и воскресения, отпусти ему вину!

Он умолк и долго еще глядел на звезды, беззвучно шепча молитву.

Вдруг у ног его послышался похожий на стенанье возглас:

– Христос! Христос! Отпусти мне грехи мои!

Тогда Павел подошел к фонтану, зачерпнул в пригоршню воды и вернулся к стоявшему на коленях грешнику:

– Хилон, крещу тебя во имя отца, и сына, и святого духа! Аминь!

Хилон поднял голову, раскинул руки в стороны и так замер. Свет полной луны падал прямо на его побелевшие волосы и такое же белое, неподвижное, как бы мертвое или из мрамора высеченное лицо. Одна за другою шли минуты, из больших птичников в садах Домициев донеслось пенье петухов, а он все стоял на коленях, схожий с надгробной статуей.

Наконец Хилон очнулся, встал и обратился к апостолу:

– Что я должен сделать перед смертью, отче?

Павел, также пробудясь от размышлений о беспредельном могуществе, которому не могут противиться души даже таких людей, как этот грек, отвечал:

– Надейся и свидетельствуй истину!

После чего оба направились к выходу из сада. У ворот апостол еще раз благословил старика,

и они расстались – об этом попросил сам Хилон, предвидя, что после происшедшего император и Тигеллин прикажут его схватить.

И он не ошибся. Воротясь к себе, он застал свой дом окруженным преторианцами под началом Сцевина. Его схватили и повели на Палатин.

Император уже отправился на покой, но Тигеллин ждал их прихода и, завидев несчастного грека, встретил его с лицом спокойным, но не сулящим ничего доброго.

– Ты совершил преступление оскорбления величия, – молвил Тигеллин, – и кара не минует тебя. Однако если завтра в амфитеатре ты объявишь, что был пьян и безумен и что виновники пожара – христиане, кара будет ограничена поркой и изгнанием.

– Не могу, господин! – тихо отвечал Хилон.

Тигеллин медленно приблизился к нему и также приглушенным, но грозным голосом спросил:

– Как это не можешь, греческая собака? Неужто ты не был пьян и неужто не понимаешь, что тебя ждет? Взгляни туда!

И он указал на угол атрия, где возле деревянной скамьи неподвижно стояли в полумраке четыре раба-фракийца с веревками и клещами в руках.

– Не могу, господин! – повторил Хилон.

Тигеллина начала разбирать ярость, но он еще сдерживал себя.

– Ты видел, как умирают христиане? – спросил он. – Хочешь так умереть?

Старик поднял изможденное лицо, с минуту губы его беззвучно шевелились, затем он твердо сказал:

– И я верую в Христа!

Тигеллин с изумлением посмотрел на него.

– Да ты и впрямь рехнулся, собака!

И копившаяся в нем ярость вдруг прорвалась. Подскочив к Хилону, он схватил грека обеими руками за бороду, повалил на пол и принялся топтать, с пеною на губах повторяя:

– Отречешься? Отречешься?

– Не могу! – отвечал с полу Хилон.

– Пытать его!

Услыхав приказ, фракийцы схватили старика, уложили на скамью и, привязав к ней веревками, стали сжимать клещами его тощие голени. Но он, еще когда его привязывали, лишь смиренно целовал им руки, а потом закрыл глаза и лежал, словно мертвый.

Однако он был жив. Когда Тигеллин нагнулся над ним и еще раз спросил: «Отречешься?», побелевшие губы Хилона зашевелились и издали едва слышный шепот:

– Не… могу!..

Тигеллин приказал прекратить пытку и зашагал взад-вперед по атрию – лицо его было искажено гримасою гнева и вместе с тем растерянности. Наконец ему на ум, видимо, пришла новая мысль – обращаясь к фракийцам, он приказал:

– Вырвать ему язык!

Глава LXIII

Пьесу «Лавреол»[419] ставили прежде в театрах или амфитеатрах, оборудованных таким образом, чтобы сцена могла разделяться и получались как бы две отдельные сцены. Однако после зрелища в императорских садах от этого приема отказались – теперь думали лишь о том, чтобы возможно большее число зрителей видело смерть распятого раба, которого по ходу действия пожирал

[419] *«Лавреол»* – пьеса некоего Катулла, по ходу действия которой главный герой, разбойник Лавреол (казненный во времена Калигулы), будучи распят, отдается на съедение диким зверям; нижеследующий эпизод основан на реальном случае: император Домициан (81–96), младший сын Веспасиана, однажды казнил преступника, заставив его на деле сыграть роль Лавреола.

медведь. Обычно роль медведя играл зашитый в медвежью шкуру актер, но на сей раз представление должно было быть «правдивым». Это была новая выдумка Тигеллина. Император сперва сказал, что не придет, но фавориту удалось его уговорить. Тигеллин объяснил ему, что после происшествия в садах Нерон тем более должен показаться народу, и уверил, что распятый раб не сможет его оскорбить, как то сделал Крисп. Народ был уже несколько пресыщен и утомлен кровопролитием, поэтому обещали новую раздачу лотерейных тессер и подарков, а также вечернее угощение – представление должно было состояться вечером в щедро освещенном амфитеатре.

С наступлением сумерек здание амфитеатра заполнилось народом. Явились и все августианы во главе с Тигеллином – не столько ради спектакля, сколько ради того, чтобы после недавнего происшествия выказать императору свою преданность, да кстати посудачить о Хилоне, о котором говорил весь Рим.

Люди сообщали друг другу на ухо, что император, возвратясь из садов, был в бешенстве и не мог уснуть, что его терзали страхи и ужасные видения, – из-за этого он, мол, назавтра же объявил, что вскоре отправится в Ахайю. Другие решительно возражали, уверяя, что теперь-то он будет еще более беспощаден к христианам. Не было недостатка и в трусах, предрекавших, что обвинение, брошенное Хилоном императору в лицо при всем народе, может иметь самые тяжелые последствия. Нашлись все же и такие, что из человечности просили Тигеллина прекратить гонения.

– Смотрите, куда вы идете, – говорил Барея Соран. – Вы хотели успокоить народную жажду мести и внушить уверенность, что кара постигла виновных, а получилось все наоборот.

– Верно! – подхватил Антистий Ветер[420]. – Теперь люди шепчутся, что христиане не виноваты. Если разрешите сострить, то, ей-ей, Хилон был прав, сказав, что ваши мозги не заполнили бы и желудевой скорлупки.

Тигеллин, обратясь к говорившим, сказал:

– Кстати, люди шепчутся также о том, что твоя, Барея Соран, дочка Сервилия и твоя, Антистий, жена скрыли своих рабов-христиан от справедливого императорского суда.

– Это неправда! – с беспокойством воскликнул Барея.

– Мою жену хотят погубить ваши разведенные жены, они завидуют ее добродетели! – с не меньшею тревогой возразил Антистий Ветер.

Но другие толковали о Хилоне.

– Что с ним стряслось? – говорил Эприй Марцелл. – То сам предавал их в руки Тигеллина, стал из нищего богачом, мог спокойно дожить свои дни, иметь почетные похороны и красивое надгробие, так нет же! Предпочел, видите ли, все потерять и себя погубить. И впрямь, он, наверно, рехнулся.

– Не рехнулся, а стал христианином, – сказал Тигеллин.

– Да нет, это невозможно! – заметил Вителлий.

– А я-то разве не говорил? – вмешался Вестин. – Можете убивать христиан, но, послушайтесь меня, не воюйте с их божеством. Здесь шутки плохи! Глядите, что творится! Я-то Рима не жег, но, если бы император мне дозволил, я совершил бы гекатомбу их божеству. И всем бы надо сделать то же самое, потому что, повторяю, с ним шутки плохи! Запомните, что это вам говорил я.

– А я говорил другое, – сказал Петроний. – Тигеллин смеялся, когда я уверял, что они защищаются, а теперь я скажу больше: они побеждают!

– Как так? Почему? – спросили несколько голосов.

– Клянусь Поллуксом! Ведь если вот такой Хилон не устоял перед ними, так кто же устоит? Если вы полагаете, что после каждого зрелища не прибавляется христиан, тогда вам с вашим знанием Рима лучше стать лудильщиками или пойти в брадобреи – это поможет вам лучше узнать, что думает народ и что делается в городе.

– Он говорит чистую правду, клянусь священным пеплумом Дианы! – воскликнул Вестин.

– К чему ты клонишь? – с сомнением спросил Петрония Барея.

– И закончу я тем, с чего вы начали: довольно уже крови!

---

[420] *Антистий Ветер Луций* – консул 55 г.; покончил с собой в 65 г.

Тигеллин с издевкой взглянул на него.

– Э нет! Еще немножко!

– Если твоей головы тебе недостаточно, тебе может ее заменить набалдашник моего хлыста, – ответил Петроний.

Беседу прервало появление императора, который занял свое место, – при нем был Пифагор. Сразу же началось представление, но придворные мало обращали внимания на сцену, у всех на уме был Хилон. Народ, привыкший к виду мук и крови, тоже скучал, шикал, отпускал нелестные для придворных словечки и требовал поскорее давать сцену с медведем, который один лишь интересовал публику. Если бы не надежда увидеть казнь старика и получить подарки, сама пьеса не могла бы удержать толпу в театре.

Наконец долгожданная минута наступила. Цирковые служители внесли сперва деревянный крест, не слишком высокий, чтобы медведь, став на задние лапы, мог достать до груди мученика: затем два человека ввели, точнее, втащили Хилона – с раздробленными костями ног он идти самостоятельно был не в силах. Его положили на крест и прибили так быстро, что любопытствовавшие августианы даже не успели его разглядеть толком, и лишь когда крест был водружен в заранее приготовленной яме, глаза всех уставились на него. Однако мало кто узнал бы в этом нагом старике прежнего Хилона. После пыток, которым его подвергли по приказу Тигеллина, в лице его не осталось и кровинки, лишь на белой бороде алел кровавый след от вырванного языка. Кожа на теле так истончилась, что видны были все кости скелета. И выглядел он гораздо более старым, даже дряхлым. Но если прежде глаза его беспрерывно метали тревожные, злобные взгляды, а подвижное лицо выражало постоянную тревогу и неуверенность, нынче черты его хотя и были скорбны, но вместе с тем была в них разлита такая кротость и умиротворенность, какие бывают у спящих или у покойников. Возможно, ему придавала уверенность мысль о распятом разбойнике, которого Христос простил, а может, он в душе говорил милосердному богу: «Господи, я кусался, как ядовитый червь, но ведь я всю жизнь был бедняком, умирал с голоду, люди попирали меня, били, издевались надо мною. Был я, господи, беден и очень несчастлив, а теперь вот подвергли меня пыткам и прибили к кресту, и ты, милосердный, не оттолкнешь же меня в час смерти!» И, видимо, покой снизошел в его сокрушенное сердце. Никто не смеялся – в этом распятом мученике было такое смирение, он выглядел таким старым, беззащитным, слабым и побуждал кротостью своею к состраданию; каждый невольно спрашивал себя, как можно мучить и распинать людей, которые и так уже при смерти. Толпа молчала. В рядах августиан Вестин, оборачиваясь то вправо, то влево, испуганно шептал: «Смотрите, как они умирают!» Другие ждали медведя, в душе желая, чтобы зрелище поскорее закончилось.

Наконец вбежал на сцену медведь. Мотая низко опущенною головой, он исподлобья оглядывался, точно что-то задумав или что-то разыскивая. Заметив крест, а на нем обнаженное тело, он приблизился, даже немного привстал на задних лапах, но тут же опять опустился на передние, уселся возле креста и заворчал, как если бы и в его зверином сердце проснулась жалость к этому полумертвому человеку.

Цирковые служители стали подбадривать его выкриками, но публика молчала. Хилон между тем медленно приподнял голову и некоторое время обводил глазами амфитеатр. Наконец взор его остановился где-то на верхних рядах, грудь заколебалась живее, и тут произошло нечто, поразившее зрителей. Лицо его осветила улыбка, вокруг головы словно бы воссиял свет, глаза перед смертью обратились к небу, и две крупные слезы медленно покатились по щекам.

Он испустил дух.

Внезапно вверху, под самым веларием, звучный мужской голос вскричал:

– Мир мученикам!

В амфитеатре наступила мертвая тишина.

Глава LXIV

Тюрьмы заметно опустели после зрелища в императорских садах. Правда, кое-где еще хватали людей, подозреваемых в приверженности восточному суеверию, но облавы доставляли все

меньшее число жертв, только чтоб хватило на дальнейшие зрелища, которые уже подходили к концу. Пресыщенный кровью народ смотрел все более равнодушно, но с тайною тревогой из-за никогда еще не виданного поведения казнимых. Страхи суеверного Вестина завладели тысячами римлян. Ширились удивительные слухи о мстительности христианского божества. Тюремный тиф, распространившийся в городе, усиливал тревожные настроения. То и дело шли по улицам похоронные процессии, и люди шептались, что надо бы принести новые пиакулы, дабы умилосердить неведомого бога. В храмах совершали жертвоприношения Юпитеру и Либитине. Наконец, вопреки стараниям Тигеллина и его подручных, все упорнее становился слух, что город сожжен по приказу императора и что христиане страдают невинно.

Но именно поэтому Нерон и Тигеллин не прекращали гонений. Чтобы успокоить народ, издавались распоряжения о новых раздачах зерна, вина и оливкового масла, объявлялись указы, поощрявшие восстановление домов со всяческими льготами для домовладельцев, а также другие, определявшие ширину улиц и материалы, из которых надлежало строить, чтобы в будущем избежать пожаров. Сам император посещал заседания сената и вместе с «отцами» обсуждал меры ко благу народа и города, однако для жертв гонений не находилось и капли милосердия. Владыка мира стремился внушить народу убеждение, что столь беспощадные кары могут постигнуть только людей виновных. Также и в сенате не раздался ни один голос в защиту христиан – никто не желал гневить императора, а кроме того, люди более дальновидные утверждали, что перед новой верой не смогли бы устоять основания римского государства.

Семьям отдавали только умирающих или мертвых, ибо римские законы мертвым не мстили. Для Виниция некоторым утешением была мысль, что, если Лигия умрет, он похоронит ее в фамильном склепе и сам упокоится рядом с нею. Спасти ее от смерти он не надеялся и, сам почти ушедший из жизни, погруженный в духовное созерцание Христа, не мечтал уже ни о каком ином соединении с любимой, кроме как в вечности. Вера его становилась безграничной, и благодаря ей вечность казалась чем-то гораздо более реальным и истинным, чем бренное его существование на земле. Глубоким восторгом полнилось его сердце. Уже при жизни Виниций преображался в некое бесплотное существо, которое, томясь по окончательному освобождению для себя, жаждало его и для другой возлюбленной души. Он представлял себе, как они оба, рука в руку, вознесутся на небеса, где Христос их благословит и дозволит им пребывать в сиянии райском, таком ненарушимом и бесконечном, как свет звезд. Он лишь молил Христа, чтобы Лигия была избавлена от мук в цирке и могла мирно уснуть вечным сном в тюрьме, – ведь он знал наверняка, что вместе с нею и сам умрет. Раз такое море крови пролито, думал он, нечего надеяться, что она одна будет спасена. От Петра и Павла он слышал, что и они готовятся умереть мучениками. Вид Хилона на кресте убедил его в том, что смерть, даже мученическая, может быть сладостной, и он мечтал, чтобы она пришла к ним обоим одновременно как желанная перемена горестной, тяжкой участи на лучшую.

Иногда его посещало предвкушение загробной жизни. Печаль, владевшая душами обоих, очищалась от прежней жгучей скорби и постепенно переходила в некую неземную, безмятежную покорность воле божьей. Прежде Виниций, не щадя сил, плыл против течения, боролся и терзался, а ныне отдал себя на волю волн, веря, что они несут его к вечному покою. Он догадывался, что Лигия также готовится к смерти и что, разделенные тюремной стеной, они уже идут вместе – он улыбался этой мысли как счастью.

И действительно, согласие меж ними было такое, будто они уже давно делятся каждый день своими мыслями. У Лигии тоже не осталось никаких желаний или надежд, кроме надежды на загробную жизнь. Смерть представлялась ей не только избавлением от страшного тюремного застенка, от власти императора, Тигеллина, не только спасением, но и соединением в браке с Виницием. Рядом с этой неколебимой уверенностью все прочее не имело значения. После смерти для нее было уготовано блаженство даже и земное, и она ждала его, как невеста – свадебного венца.

Могучий поток новой веры, отрывавший от земной жизни и уносивший к жизни посмертной тысячи первых христиан, увлек также Урса. Он тоже долго не хотел примириться с мыслью о возможной смерти Лигии, но, когда через тюремные стены стали ежедневно доходить вести о том, что творится в амфитеатрах и в садах, когда смерть стала казаться общим, неизбежным жребием всех христиан и вместе с тем благом, превосходящим все земные понятия о счастье, Урс в конце

концов уже не смел молить Христа, чтобы он избавил Лигию от этого счастья или отсрочил его на долгие годы. С простодушием варвара он полагал, что дочери вождя лигийцев положена лучшая доля и что ей перепадет больше небесных наслаждений, нежели толпам простолюдинов, к которым и сам он принадлежал, и что восседать в вечной славе будет она ближе к агнцу, нежели прочие. Правда, слыхал он, что перед богом все люди равны, но где-то в глубине души был убежден, что дочь вождя, да еще вождя всех лигийцев – это не какая-нибудь там рабыня. Надеялся он и на то, что Христос ему разрешит и дальше ей служить. Что ж до себя самого, было у него лишь одно тайное желание – умереть, как агнец, на кресте. Но это мнилось ему счастьем немыслимым, и, хотя знал он, что в Риме распинают даже последних преступников, он даже молиться не смел о такой кончине. Он думал, что ему, верно, придется погибнуть от клыков диких зверей, и это его тревожило. Ведь он рос с детства в непроходимой пуще, постоянно занимаясь охотой, в которой он со своею сверхчеловеческой силой, не став еще взрослым, прославился среди лигийцев. Вдобавок охота была его любимым занятием, и когда позже, в бытность в Риме, пришлось от нее отказаться, он ходил в виварии и в амфитеатры, чтобы хоть поглядеть на известных ему и незнакомых зверей. Их вид пробуждал в нем неодолимое желание бороться, убивать, и теперь он втайне опасался, что, когда дойдет до встречи с ними в амфитеатре, им овладеют чувства, недостойные христианина, который должен умирать благочестиво и смиренно. Но и в этом он препоручал себя Христу, утешаясь иными, более приятными мыслями. Он слышал, что агнец объявил войну силам адовым и злым духам, к которым христианская вера причисляла всех языческих богов, и он думал, что в этой войне он все же пригодится агнцу и сумеет послужить ему лучше других, – в его голове никак не укладывалось, что душа его не будет сильнее, чем души прочих мучеников. А покамест он целыми днями молился, услуживал узникам, помогал стражам и утешал свою царевну, которая иногда сокрушалась, что за короткую свою жизнь не сумела совершить столько добрых дел, сколько достославная Тавифа, о которой ей когда-то рассказывал апостол Петр. Стражи, даже в тюрьме относившиеся с опаской к невероятной силе гиганта, для которого не существовало ни цепей, ни решеток, в конце концов полюбили его за кротость. Не раз, дивясь его спокойствию, они пытались выведать причину, и Урс с такой убежденностью рассказывал им, какая жизнь ждет его после смерти, что они слушали и дивились – впервые видели они, что в недоступное солнцу подземелье может проникнуть счастье. И когда он призывал их уверовать в агнца, не один начинал задумываться над тем, что его служба – служба раба, а жизнь его – жизнь бедняка, и пределом жалкого этого прозябания будет только смерть.

Но смерть опять-таки внушала страх, и после нее они не видели для себя ничего, а этот гигант лигиец и эта девушка, этот брошенный на тюремную солому цветок, шли к ней с радостью, будто к вратам счастья.

Глава LXV

Как-то вечером Петрония навестил сенатор Сцевин[421] и завел с ним долгую беседу о тяжких временах, выпавших им на долю, и об императоре. Говорил он так откровенно, что Петроний, хоть и был с ним в дружеских отношениях, насторожился. Сенатор сетовал, что все в мире идет вкривь и вкось, повсюду царит безумие и, как ни погляди, все это наверняка закончится катастрофой более страшной, чем пожар Рима. Еще говорил он, что даже августианы ропщут, что Фений Руф[422], второй префект претория, с трудом терпит власть негодяя Тигеллина, а весь род Сенеки до крайности возмущен тем, как обходится император со старым своим наставником и с Луканом. Наконец он упомянул о недовольстве народа и даже преторианцев, большинство которых Фений Руф привлек на свою сторону.

[421] *Сцевин Флавий* – сенатор, участник заговора Пизона. Как сообщает Тацит («Анналы», XVI, 18), Петронию была инкриминирована дружба со Сцевином.

[422] *Фений Руф* – второй префект претория (совместно с Тигеллином), участник заговора Пизона; казнен в 65 г.

– Зачем ты это говоришь? – спросил Петроний.

– Из опасений за императора, – отвечал Сцевин. – У меня среди преторианцев есть дальний родственник, как и я, именем Сцевин, от него-то я знаю, что делается в лагере. Недовольство ширится и там. Видишь ли, Калигула тоже был безумным, и ты знаешь, чем это кончилось! Нашелся такой Кассий Херея… Да, это было ужасно, и, разумеется, среди нас не найдется человека, который бы его одобрил, а все же Херея избавил мир от чудовища.

– Иначе говоря, – возразил Петроний, – ты хочешь сказать: «Я Херею не одобряю, но он был замечательный человек, и да пошлют нам боги побольше таких, как он».

Тут Сцевин переменил тему и вдруг стал расхваливать Пизона. Превозносил весь его род, его привязанность к жене и, наконец, его ум, спокойствие, редкий дар привлекать людей.

– Император бездетен, – сказал он, – и все прочат ему в преемники Пизона. Не сомневаюсь, что каждый римлянин с великой охотой помог бы ему прийти к власти. Его любит Фений Руф, ему беззаветно предан род Аннеев. Плавтий Латеран[423] и Туллий Сепецион ради него готовы в огонь и в воду. Также и Натал[424], и Субрий Флав[425], и Сульпиций Аспер[426], и Афраний Квинциан, и даже Вестин.

– От этого последнего Пизону будет мало проку, – возразил Петроний. – Вестин собственной тени боится.

– Вестин боится снов и духов, – сказал Сцевин, – но человек он дельный, и его по праву собираются избрать консулом. А если в душе он против гонений на христиан, ты его не должен за это осуждать – ведь и ты хотел бы, чтобы эти чудовищные казни прекратились.

– Не я, а Виниций, – ответил Петроний. – Только ради Виниция мне хотелось бы спасти одну девушку, но я не могу этого сделать, потому что лишился благосклонности императора.

– Неужели? Разве ты не заметил, что император снова приближает тебя, заговаривает с тобою? И я объясню тебе причину. Ведь он снова собирается в Ахайю, чтобы там петь на греческом языке песни собственного сочинения. Он рвется в это путешествие, но вместе с тем дрожит при мысли о насмешливом нраве греков. Как он полагает, его там ждет либо величайший триумф, либо величайший провал. Он нуждается в дельных советах, и он знает, что лучше тебя никто ему не посоветует. Вот почему ты опять в милости.

– Меня мог бы заменить Лукан.

– Меднобородый его ненавидит и в душе осудил на смерть. Ищет только предлога, ведь он всегда ищет предлогов. Лукан понимает, что надо спешить.

– Клянусь Кастором! – сказал Петроний. – Возможно, это так. Но я мог бы испробовать и другое средство мгновенно войти снова в милость.

– Какое?

– Да повторить Меднобородому все, что ты говорил сейчас.

– Я ничего не говорил! – с тревогой воскликнул Сцевин.

Петроний положил ему руку на плечо.

– Ты назвал императора безумным, сулил ему в преемники Пизона и сказал: «Лукан понимает, что надо спешить». С чем это вы хотите спешить, carissime?

Сцевин побледнел. С минуту они смотрели другу другу в глаза.

– Ты не повторишь этого!

– Клянусь бедрами Киприды! Ты и впрямь хорошо меня знаешь! Да, я не повторю. Я ничего

---

[423] *Плавтий Латеран* – племянник завоевателя Британии Авла Плавтия; Латерану отводилась ключевая роль в заговоре – убийство Нерона.

[424] *Натал Антоний* – римский всадник, участник заговора; был схвачен одним из первых и выдал своих соучастников, за что получил помилование.

[425] *Субрий Флав* – трибун преторианской когорты; поначалу преданный Нерону, стал одним из самых активных заговорщиков. Казнен в 65 г.

[426] *Сульпиций Аспер* – центурион преторианской когорты, казнен в 65 г.

не слышал, но также не хочу ничего слышать более. Ты понял? Жизнь слишком коротка, чтобы стоило что-то предпринимать. Прошу тебя только посетить сегодня Тигеллина и побеседовать с ним так же долго, как со мною, о чем захочешь.

– Зачем это?

– А затем, чтобы, если Тигеллин когда-нибудь скажет мне: «Сцевин был у тебя», я мог бы ему ответить: «В тот же день он был и у тебя».

Слушая его, Сцевин переломил тросточку из слоновой кости, которую держал в руке.

– Пусть злосчастье падет на этот хлыст. Нынче же буду у Тигеллина, а потом на пиру у Нервы. Ведь ты тоже придешь? В любом случае, до встречи послезавтра в амфитеатре, там будут выступать уже остатки христиан! До встречи!

– Послезавтра, – повторил Петроний, оставшись один. – Стало быть, времени терять нельзя. Я действительно понадоблюсь Агенобарбу в Ахайе, так что он, возможно, уважит мою просьбу.

И он решил испробовать последнее средство.

На пиру у Нервы император пожелал, чтобы Петроний возлежал за его столом, ибо намеревался поговорить с ним об Ахайе и о других городах, где он мог бы выступить с надеждой на наибольший успех. Особенно опасался он мнения афинян. Прочие августианы прислушивались к их беседе, чтобы, подобрав крохи метких фраз Петрония, выдавать их потом за свои.

– Мне кажется, что я до сих пор еще не жил, – сказал Нерон, – и только в Греции появлюсь на свет.

– Да, там ты родишься для новой славы и бессмертия, – ответствовал Петроний.

– Надеюсь, что так будет и что Аполлон не возревнует ко мне. Если я возвращусь с триумфом, совершу ему гекатомбу, какой доныне не получал ни один бог.

Сцевин процитировал строки Горация:

Sic te diva Cypri,
Sic fratres Helenae, lucida sidera,
Ventorumque regat pater…[427]

– Корабль уже стоит в Неаполисе, – сказал император. – Я хотел бы выехать завтра.

Тогда Петроний, встав с ложа и глядя прямо в глаза императору, сказал:

– Дозволь мне, о божественный, сперва устроить свадебный пир, на который я прежде всего хочу пригласить тебя.

– Свадебный пир? Какой? – спросил Нерон.

– Свадьбу Виниция с дочерью царя лигийцев и твоей заложницей. Она, правда, теперь в тюрьме: но, во-первых, как заложница она не может быть заточена в темницу, а во-вторых, ты сам соизволил разрешить Виницию жениться на ней, а твои приговоры, подобно приговорам Зевса, непреложны – посему прикажи выпустить ее из тюрьмы, и я ее вручу жениху.

Хладнокровие и спокойная уверенность, с какою говорил Петроний, смутили Нерона – он всегда несколько терялся, когда с ним говорили в такой манере.

– Да, знаю, – сказал император, опуская глаза. – Я вспоминал о ней и о том великане, который задушил Кротона.

– В таком случае оба они спасены, – спокойно сказал Петроний.

Но Тигеллин пришел на помощь своему владыке.

– Она находится в тюрьме по воле императора, а ведь ты, Петроний, сам сказал, что его приговоры непреложны.

427

Пусть же правят тобой, корабль,
Мать-Киприда, лучи братьев Елены-звезд,
Ветров царь и отец – Эол…

(Гораций. Оды, 1, 3. Перевод Н.С. Гинцбурга.)

Все присутствующие, знавшие историю Виниция и Лигии, прекрасно понимали, о чем речь, и молча прислушивались, чем кончится разговор.

– Она находится в тюрьме по твоей оплошности и из-за твоего незнания «права народов», находится там против воли императора, – резко возразил Петроний. – Ты, Тигеллин, малый недалекий, но ведь и ты не станешь утверждать, что она подожгла Рим, а если бы даже и стал это утверждать, император тебе бы не поверил.

Однако Нерон уже оправился от смущения и, щуря близорукие свои глаза, с неописуемо злобной гримасой произнес:

– Петроний прав.

Тигеллин удивленно взглянул на него.

– Петроний прав, – повторил Нерон. – Завтра перед нею откроются ворота тюрьмы, а о свадебном пире мы потолкуем в амфитеатре.

«Я опять проиграл!» – подумал Петроний.

И, воротясь домой, он был настолько уверен, что жизни Лигии пришел конец, что утром следующего дня послал в амфитеатр преданного ему вольноотпущенника договориться со смотрителем сполиария, чтобы выдали ее тело, – он намеревался передать его Виницию.

Глава LXVI

Во времена Нерона вошли в обычай прежде дававшиеся редко и лишь в исключительных случаях вечерние представления в цирке и в амфитеатрах. Августианам это нравилось, потому что после таких зрелищ часто устраивались пиры и попойки до самого утра. Хотя народ был пресыщен пролитою кровью, но, когда распространилась весть, что подходит конец игр и что на вечернем представлении погибнут последние христиане, бесчисленные толпы хлынули в амфитеатр. Августианы явились все как один – они догадывались, что представление будет необычным, что император намерен развлечь себя зрелищем страданий Виниция. Тигеллин держал в тайне, какого рода казнь уготована нареченной молодого трибуна, но это лишь подстегивало всеобщее любопытство. Те, кто когда-то видел Лигию у Плавтиев, рассказывали теперь чудеса о ее красоте. Других больше всего интересовало, увидят ли они ее сегодня на арене, – многие, слышавшие ответ императора Петронию на пиру у Нервы, усматривали в нем двусмысленность. Иные даже допускали, что Нерон отдаст или уже отдал девушку Виницию, – они вспоминали, что она заложница, которой дозволено почитать любые божества, какие ей вздумается, и которую «право народов» не разрешает подвергать каре.

Неуверенность, ожидание, любопытство возбуждали сердца зрителей. Император явился раньше обычного, и с его появлением народ зашумел – видимо, и впрямь должно было произойти нечто необыкновенное, так как Нерона, кроме Тигеллина и Витиния, сопровождал Кассий, центурион гигантского роста и богатырской силы, которого император брал с собою лишь в тех случаях, когда хотел иметь рядом защитника, например, когда отправлялся на ночные прогулки по Субуре, где он устраивал себе забаву, называвшуюся «сагатио», – на солдатском плаще подбрасывали в воздух встретившихся по дороге девушек. Было отмечено, что в самом амфитеатре приняты меры предосторожности. Преторианской стражи прибавилось, и командовал ею не центурион, но трибун Субрий Флав, известный своею слепою преданностью Нерону. Очевидно, император хотел обезопасить себя на тот случай, если на Виниция вдруг найдет приступ отчаяния, – это еще усиливало напряженность ожидания.

Взгляды всех были прикованы к тому ряду, где сидел несчастный жених. Он был очень бледен, капли пота усеяли лоб – подобно прочим зрителям, его обуревали сомнения, а вдобавок мучительная тревога. Петроний, сам не зная, что должно произойти, ничего ему не сказал, только, возвратясь от Нервы, спросил, готов ли он на все, и еще – будет ли он в амфитеатре. На оба вопроса Виниций ответил: «Да!», но при этом мороз пробежал у него по коже – он догадался, что Петроний спрашивает не зря. Сам он в последнее время жил какою-то полужизнью, погруженный в думы о смерти и примирившийся с мыслью о смерти Лигии, – ведь для них обоих это было бы и освобождением, и бракосочетанием, но теперь он понял, что одно дело думать о предстоящей ко-

гда-нибудь последней минуте как о спокойном отходе ко сну и совсем иное – идти смотреть на муки существа, которое тебе дороже жизни. Все перенесенные страдания ожили в нем с новою силой. Приутихшее было отчаяние опять жгло душу, и Виницием овладело прежнее желание спасти Лигию любой ценой. Утром он попытался проникнуть в куникул, чтобы удостовериться, находится ли там Лигия, но преторианцы охраняли все входы, и приказы были им даны такие строгие, что даже знавших его солдат не смягчили ни мольбы, ни золото. Винициюказалось, что тревога прикончит его прежде, чем он увидит страшное зрелище. Где-то в глубине души еще теплилась надежда, что, быть может, Лигии нет в амфитеатре и что опасения напрасны. Минутами он отчаянно цеплялся за эту надежду. Он говорил себе, что Христос, конечно, мог забрать ее из тюрьмы, но не допустит ее мучений в цирке. Прежде Виниций как будто уже согласился на все, на что будет его воля, но теперь, когда его оттолкнули от дверей куникула и он, возвратясь на свое место в амфитеатре, по любопытным взглядам, на него обращенным, понял, что самые ужасные предположения могут осуществиться, он взмолился к богу о спасении со страстью, в которой был оттенок угрозы. «Ты можешь! – повторял он, судорожно сжимая кулаки. – Ты можешь!» А раньше он и не подозревал, что эта минута, когда она станет действительностью, будет так мучительна. Сам не понимая, что с ним происходит, он чувствовал теперь, что, если увидит муки Лигии, его любовь обернется ненавистью, а его вера – отчаянием. И чувство это пугало его, он боялся оскорбить Христа, которого молил о милосердии и о чуде. О ее жизни он уже не просил, он только хотел, чтобы она умерла прежде, чем ее выведут на арену, и из бездонной пучины скорби молча взывал: «Хоть в этом не откажи мне, и я полюблю тебя еще сильнее, чем любил до сих пор». В конце концов его мысли закружились в бешеном хороводе, как гонимые ураганом волны. В нем пробуждалась жажда мести и крови. Он готов был кинуться на Нерона и задушить его при всем народе, хотя понимал, что этим желанием оскорбляет Христа и нарушает его заповеди. Молнией мелькнула у него в мозгу надежда, что все, пред чем содрогается его душа, еще может отвратить всемогущая и милосердная рука, но эти искры надежды тут же гасли и безмерная скорбь омрачала душу – да, тот, который единым словом своим мог разрушить этот цирк и спасти Лигию, оставил ее, хотя она ему верила и любила его всеми силами своего чистого сердца. И еще он думал, что она лежит там, в темном куникуле, слабая, беззащитная, всеми покинутая, отданная на произвол озверелым стражам, быть может, доживающая уже последние мгновенья, а он должен в бездействии ждать в этом страшном амфитеатре, не зная, какую для нее придумали муку и что он увидит через минуту. Наконец, подобно падающему в пропасть и хватающемуся за любое растение, торчащее на ее краю, он страстно ухватился за мысль, что все же спасти ее может только вера. Да, оставалось только это! Ведь Петр говорил, что верою можно сдвинуть землю с ее оснований!

Усилием воли он подавил свои сомнения, всем своим существом сосредоточась в одном слове: «Верую!» – и стал ждать чуда.

Но как слишком натянутая струна должна лопнуть, так и Виниция сломило чрезмерное напряжение. Смертная бледность разлилась по лицу его, и тело стало цепенеть. Он подумал, что, видно, мольба его услышана – и он умирает. И тут же он решил, что Лигия, без сомненья, тоже умерла и что это Христос забирает их обоих к себе. Арена, белые тоги зрителей, огни тысяч ламп и факелов – все вдруг исчезло из его глаз.

Но дурнота быстро прошла. Виниций очнулся, вернее, его привел в себя нетерпеливый топот зрителей.

– Ты болен, – сказал ему Петроний. – Вели отнести себя домой!

И, не заботясь о том, как посмотрит на это император, он встал, чтобы поддержать Виниция и выйти с ним вместе. Жалость переполняла его сердце, вдобавок его невыносимо раздражало то, что император глядит сквозь изумруд на Виниция, с удовольствием наблюдая его страдания, – возможно, для того, чтобы потом описать их в патетических строфах и снискать рукоплескания слушателей.

Виниций отрицательно качнул головой. Он мог в этом амфитеатре умереть, но уйти не мог. С минуты на минуту представление должно было начаться.

И вот почти в тот же миг префект города взмахнул красным платком – по этому знаку ворота напротив императорского подиума заскрипели, и из темной их пасти вышел на ярко освещенную

арену Урс.

Великан немного постоял, часто мигая, – видно, ослепленный светом, – затем вышел на середину арены, озираясь вокруг, как бы пытаясь узнать, с чем ему предстоит встретиться. Всем августианам и большинству прочих зрителей было известно, что это человек, который задушил Кротона, и при его появлении амфитеатр зашумел. В Риме не было недостатка в гладиаторах, намного превосходивших ростом и силою среднего человека, но ничего подобного глаза квиритов еще не видывали. Стоявший на подиуме за спиною императора Кассий казался по сравнению с этим лигийцем прямо-таки заморышем. Сенаторы, весталки, император, августианы и народ с восхищением знатоков и любителей смотрели на могучие, подобные древесным стволам бедра, на грудь, напоминавшую два составленных вместе щита, и на геркулесовы руки. Шум с каждой минутой усиливался. Для этой толпы не было большего наслаждения, чем смотреть на игру таких мышц в напряжении, в борьбе. Смутный шум перешел в выкрики, люди спрашивали друг друга, где живет племя, порождающее подобных великанов, а он стоял посреди амфитеатра обнаженный, похожий скорее на каменного колосса, чем на человека, его лицо с чертами варвара было сосредоточенно и печально, и, видя, что арена пуста, он изумленно поводил своими голубыми детскими глазами то на зрителей, то на императора, то на решетки куникула, откуда ждал появления палачей.

В тот миг, когда он выходил на арену, сердце его учащенно забилось в последней надежде, что, быть может, его ждет крест, но, не обнаружив ни креста, ни приготовленной ямы, он подумал, что он, знать, недостоин такой милости и что придется ему умереть иначе, скорее всего, от звериных клыков. Был он без оружия и решил погибнуть, как подобает приверженцу агнца, спокойно и терпеливо. Но ему хотелось еще раз помолиться спасителю, и, став на колени, он сложил руки и поднял глаза к звездам, мерцавшим над отверстием в кровле цирка.

Такое поведение его не понравилось зрителям. Христиане, умирающие как овцы, им уже надоели. Если этот великан, думали они, не захочет защищаться, зрелище будет испорчено. Тут и там послышался свист. Некоторые стали вызывать мастигофоров, чьей обязанностью было хлестать бичом борцов, не желающих драться. Однако крики и свист быстро стихли, так как никто не знал, что ждет этого великана и не захочет ли он все-таки обороняться, когда встретится со смертью лицом к лицу.

Долго ждать не пришлось. Внезапно раздались оглушительные звуки медных труб, решетка напротив императорского подиума открылась, и на арену под улюлюканье бестиариев выбежал чудовищно огромный германский тур, с привязанной к его голове обнаженной женщиной.

– Лигия! Лигия! – вскричал Виниций.

Он схватил пряди волос у себя на висках, скорчился весь, как человек, ощутивший в своем теле острие копья, и стал хриплым, нечеловеческим голосом повторять:

– Верую! Верую! Христос! Чуда!

Он даже не почувствовал, что в этот миг Петроний набросил ему на голову край тоги. Вероятно, подумал он, это смерть или же чрезмерная боль закрыли от него мир пеленою мрака. Он не смотрел, он ничего не видел. Ощущение страшной пустоты охватило его. В голове не осталось ни единой мысли, только губы шептали, как в припадке безумия:

– Верую! Верую! Верую!

Амфитеатр притих. Августианы, все как один, поднялись с мест – на арене происходило нечто необычное. Этот смиренный, готовый на смерть лигиец, увидав свою царевну на рогах у дикого животного, вскочил, будто ошпаренный, и, пригнувшись, побежал навстречу разъяренному туру.

Из всех грудей вырвался вопль изумления, после чего воцарилась тишина. Лигиец, в мгновение ока очутившись подле беснующегося животного, схватил его за рога.

– Смотри! – крикнул Петроний, срывая тогу с головы Виниция.

Тот встал, откинул назад голову и, бледный как полотно, уставился на арену остекленевшими, полубезумными глазами.

Зрители затаили дыхание. Тишина была такая, что слышно было, как пролетает муха. Люди не верили своим глазам. С тех пор как Рим стоит, не видано было ничего подобного.

Лигиец держал дикого быка за рога. Ноги великана по щиколотку погрузились в песок, спи-

на выгнулась как натянутый лук, голова ушла в плечи, мышцы на руках вздулись так, что кожа едва не лопалась от их напора, но бык не мог сдвинуться с места. Человек и животное застыли недвижимы – это напоминало картину, изображавшую подвиги Геркулеса или Тесея, или изваянную из камня группу. Но в мнимом их покое чувствовалось страшное напряжение двух борющихся сил. Тур, как и человек, врылся ногами в песок, косматое его туловище изогнулось так, что он стал похож на огромный шар. Кто первый обессилеет, кто первый упадет – вот вопрос, который в ту минуту был для этих страстных любителей борьбы важнее, чем их собственная участь, чем весь Рим и его господство над миром. Лигиец теперь для них был полубогом, достойным поклонения и статуй. Сам император встал. Они с Тигеллином, зная о силе этого человека, нарочно подготовили такое зрелище и с издевкой говорили: «Пусть-ка этот кротоноубийца одолеет тура, которого мы ему выберем», а теперь в изумлении глядели на представшую их взорам сцену, не веря своим глазам. В амфитеатре было немало людей, которые, подняв руки, так и замерли в этой позе. У других лбы заливал пот, точно они сами боролись с быком. В цирке слышалось лишь шипенье огня в лампах да шорох сыплющихся с факелов угольков. Зрители онемели, не могли издать ни звука, зато бешено колотились сердца, готовые выскочить из груди. Казалось, борьба длится уже целую вечность.

А человек и животное, сцепившись в чудовищном напряжении, все стояли, будто вкопанные в землю.

Внезапно на арене раздалось глухое, схожее со стоном мычанье, и в ответ ему из уст зрителей вырвался единодушный вопль. Потом опять стало тихо. Людям казалось, что они видят сон; но вот уродливая голова тура в железных руках варвара стала сворачиваться набок.

Лицо лигийца, его шея и плечи побагровели, спина еще круче изогнулась. Видно было, что его сверхчеловеческая сила иссякает и ее ненадолго хватит.

Все более глухое, хриплое и стонущее мычанье тура смешивалось со свистящим дыханием легких великана. Голова животного все больше клонилась в сторону, из пасти вывалился длинный, весь в пене язык.

Еще минута, и до слуха сидевших поближе донесся хруст ломающихся костей, после чего тур замертво повалился наземь со свернутой шеей.

Тогда великан в мгновенье ока сорвал веревки с его рогов и, взяв девушку на руки, часто задышал, переводя дух.

Лицо его побледнело, волосы от пота слиплись, плечи и руки будто были облиты водою. С минуту стоял он так, словно в забытьи, затем поднял глаза и оглядел зрителей.

Амфитеатр неистовствовал.

Стены здания дрожали от крика десятков тысяч людей. С самого начала игр никто еще не вызывал такого восторга. Сидевшие в верхних рядах оставили свои места и стали спускаться вниз, толпясь в проходах между скамьями, чтобы увидеть силача вблизи. Во всех концах цирка раздавались выкрики с требованием пощады, выкрики страстные, настойчивые, слившиеся вскоре в сплошной, оглушительный вопль. Великан стал любимцем толпы, чтившей физическую силу, и первой в Риме персоной.

Он понял, что народ требует даровать ему жизнь и вернуть свободу, но, видимо, его тревожила не только собственная участь. Некоторое время он стоял, озираясь, потом приблизился к императорскому подиуму и, покачивая на вытянутых руках тело девушки, поднял глаза с умоляющим выражением, как бы говоря: «Смилуйтесь над ней! Ее спасите! Я для нее это сделал!»

Зрители отлично поняли, чего он хочет. Вид лежавшей в обмороке девушки, которая рядом с огромным лигийцем казалась ребенком, тронул толпу, всадников и сенаторов. Ее маленькая фигурка, такая белая, словно высеченная из алебастра, ее обморок, страшная опасность, от которой ее спас великан, и, наконец, ее красота и его преданность потрясли всех. Некоторые думали, что это отец умоляет пощадить его дитя. Жалость вдруг вспыхнула, как огонь, в сердцах зрителей. Довольно крови, довольно смертей, довольно мук! Голоса, в которых слышались слезы, требовали помилования для обоих.

Урс между тем обходил арену по кругу и, все так же покачивая девушку на руках, жестом этим и взором молил сохранить ей жизнь. Внезапно Виниций сорвался со своего места, перепрыг-

нул через барьер, отделявший первый ряд от арены, и, подбежав к Лигии, набросил тогу на ее обнаженное тело.

Затем он разодрал свою тунику на груди, открывая шрамы от ран, полученных в армянской войне, и протянул руки к народу.

Исступление толпы превзошло все, что доныне видели в амфитеатрах. Раздались топот, вой, в требующих пощады голосах слышалась угроза. Народ заступался уже не только за атлета, он защищал девушку, воина и их любовь. Тысячи зрителей обратили лица к императору, глаза их сверкали гневом, кулаки сжимались. Но император медлил, колебался. К Виницию он, правда, ненависти не питал и вовсе не жаждал смерти Лигии, но все же он предпочел бы увидеть, как девичье тело будут раздирать рога тура или терзать клыки хищников. Его жестокость, равно как порочное воображение и извращенные наклонности находили особое наслаждение в подобных зрелищах. А тут народ хотел его лишить удовольствия. Эта мысль привела Нерона в гнев, исказивший его обрюзглое лицо. Вдобавок самолюбие не позволяло ему уступить воле толпы, но в то же время из-за врожденной трусости он не смел противиться.

Нерон оглянулся вокруг – не увидит ли хотя бы в рядах августиан обращенных вниз пальцев, знака смерти. Но Петроний держал руку поднятой вверх, да при этом еще смотрел ему в лицо чуть ли не вызывающе. Суеверный, но увлекающийся Вестин, который боялся духов и не боялся людей, делал знак пощады. Также и сенатор Сцевин, и Нерва, и Туллий Сенецион, и старый, знаменитый полководец Осторий Скапула[428], и Антистий, и Пизон, и Венет[429], и Криспин, и Минуций Терм[430], и Понтий Телезин, и почтеннейший, уважаемый всем народом Тразея. Видя это, император отставил от глаза изумруд с выражением презрения и обиды, и тут Тигеллин, которому было важно досадить Петронию, наклонился к нему и сказал:

– Не уступай, божественный, у нас есть преторианцы.

Тогда Нерон обернулся в сторону преторианцев, начальником которых был суровый, всегда преданный ему душою и телом Субрий Флав, и увидел нечто необычное. Грозное лицо старого трибуна было залито слезами, и руку он держал поднятой вверх в знак милосердия.

А толпа между тем бесновалась. От топающих ног поднялась пыль по всему амфитеатру. Слышались выкрики: «Агенобарб! Матереубийца! Поджигатель!»

Нерон струсил. В цирке народ был всевластным господином. Прежние императоры, особенно Калигула, позволяли себе порой противиться его воле, что, впрочем, всегда приводило к беспорядкам и даже к кровопролитию. Однако Нерон был в ином положении. Прежде всего, как комедиант и певец он нуждался в хвалах толпы, во-вторых, он хотел привлечь народ на свою сторону против сената и патрициев, и, наконец, после пожара Рима он всячески старался задобрить народ и обратить его гнев на христиан. Нерон понял, что противиться долее просто опасно. Если в цирке начнется волненье, оно может охватить весь город и иметь самые непредвиденные последствия.

Итак, он еще раз взглянул на Субрия Флава, на центуриона Сцевина, состоявшего в родстве с сенатором, на преторианцев и, видя повсюду нахмуренные брови, растроганные лица и обращенные к нему взоры, подал знак пощады.

Гром рукоплесканий прокатился по амфитеатру снизу доверху. Народ теперь был уверен, что осужденные будут жить, – с этой минуты они поступали под его покровительство, и даже император не посмел бы преследовать их впредь своею местью.

Глава LXVII

Четверо вифинцев осторожно несли Лигию к дому Петрония, Виниций и Урс шли рядом, озабоченные тем, чтобы поскорее поручить ее лекарю-греку. Шли они молча – после всего пере-

[428] *Осторий Скапула Публий* – наместник Британии с 47 по 52 г. Покончил с собой в 66 г.

[429] *Венет Павел* – центурион преторианцев, участник заговора Пизона.

[430] *Минуций Терм* – претор; казнен в 66 г.

житого в этот день трудно было вести беседу. Виниций и сейчас был в полузабытьи. Он твердил себе, что Лигия спасена, что ей уже не грозят ни тюрьма, ни смерть в цирке, что бедам раз навсегда пришел конец и что он берет ее домой, чтобы больше уже не разлучаться. И чудилось ему, что это не явь, но начало какой-то иной жизни. То и дело он наклонялся к открытым носилкам, чтобы смотреть на любимое лицо, – при свете луны казалось, будто Лигия спит, – и мысленно повторял: «Это она! Христос ее спас!» Он также вспоминал, что в сполиарий, куда они вдвоем с Урсом сперва отнесли Лигию, пришел незнакомый ему врач и уверил, что девушка жива и будет жить. Эта мысль наполняла его грудь таким безмерным счастьем, что он минутами даже слабел, едва мог идти и вынужден был опираться на плечо Урса. А тот все смотрел в усеянное звездами небо и молился.

Они быстро шли по улицам, на которых ярко белели в лунном свете недавно возведенные дома. Вокруг было пустынно. Лишь кое-где группы людей, увенчанных гирляндами плюща, пели и плясали перед портиками под звуки флейт, радуясь дивной ночи и празднику, который длился с открытия игр. Лишь когда они уже приближались к дому, Урс перестал молиться и тихо, словно опасаясь разбудить Лигию, заговорил:

– Это спаситель избавил ее от смерти. Когда я увидел ее на рогах тура, в моей душе раздался голос: «Защищай ее!» Ясное дело, это был голос агнца. Тюрьма высосала мою силу, но он вернул ее мне для той минуты, и он вдохновил этот жестокий народ заступиться за нее. Да будет его воля!

– Да будет прославлено его имя! – отозвался Виниций.

Больше говорить он не мог, почувствовав вдруг, что рыданья рвутся из его груди. Его охватило безумное желание пасть ниц и благодарить спасителя за чудо и милосердие.

Тем временем они подошли к дому. Челядь, предупрежденная гонцом, которого послали вперед, уже стояла толпою, встречая их. Павел из Тарса еще в Анции обратил большинство слуг Петрония. Злоключения Виниция были им известны, и радость при виде вызволенных из злобных лап Нерона не имела границ. Она еще возросла, когда лекарь Теокл, осмотрев Лигию, заявил, что никаких тяжких повреждений не находит и, когда слабость после перенесенной в тюрьме лихорадки пройдет, она будет здорова.

Сознание вернулось к Лигии этой же ночью. Очнувшись в роскошном кубикуле, освещенном коринфскими лампами, среди благоуханья вербены, она не понимала, где она и что с нею происходит. Она помнила минуту, когда ее привязывали к рогам спутанного цепями быка, и теперь, видя в мягком розоватом свете склоненное над нею лицо Виниция, она подумала, что, наверно, они уже не на земле. В измученной ее головке мысли путались – ей показалось вполне естественным, что где-то на полпути к небу они на время остановились из-за ее усталости и бессилия. Не ощущая никакой боли, она улыбнулась и хотела его спросить, где они находятся, но уста ее издали только еле слышный шепот, в котором Виниций с трудом различил свое имя.

Став рядом на колени и легко положив руку на ее лоб, он сказал:

– Христос тебя спас и возвратил тебя мне!

Ее губы опять зашевелились, шепча что-то непонятное, но тут же веки опустились, грудь от легкого вздоха приподнялась, и Лигия погрузилась в глубокий сон, которого ждал лекарь Теокл и после которого он предсказывал ей возвращение к жизни.

А Виниций так и остался подле нее на коленях, поглощенный молитвою. Душа его преображалась в огне любви столь великой, что он забыл обо всем на свете. Несколько раз в кубикул входил Теокл, из-за откинутой завесы то и дело показывалась золотоволосая голова Эвники, и, наконец, журавли, которых разводили в садах, закурлыкали, возвещая наступление дня, а он все еще мысленно припадал к стопам Христа, не видя и не слыша, что творится вокруг, а сердце его пылало жертвенным огнем благодарности – объятый восторгом, он еще при жизни как бы возносился в обитель райскую.

Глава LXVIII

После освобожденья Лигии Петроний, не желая раздражать императора, отправился вместе с прочими августианами вслед за ним на Палатин. Кстати, он хотел послушать, о чем там будут го-

ворить, а главное, убедиться, не придумает ли Тигеллин чего-нибудь еще, чтобы погубить девушку. Конечно, и она, и Урс теперь перешли под покровительство народа, и никто не мог поднять на них руку, не вызвав народного возмущения, но Петроний, зная, какую ненависть питал к нему всемогущий префект претория, допускал, что Тигеллин, не имея сил ударить прямо по нему, постарается утолить жажду мести за счет его племянника.

Нерон был раздражен, гневен – представление закончилось совсем не так, как он желал бы. На Петрония он вначале и смотреть не хотел, но тот с обычным своим хладнокровием подошел к императору и непринужденно, как истый арбитр изящества, сказал:

– Знаешь ли, божественный, что пришло мне на ум? Напиши песнь о девушке, которую воля владыки мира избавляет от рогов дикого тура и отдает возлюбленному. У греков чувствительные сердца, я уверен, что такая песнь их очарует.

Нерону, несмотря на его досаду, эта мысль понравилась по двум причинам: прежде всего как тема для песни и еще потому, что он мог прославить в ней самого себя как великодушного владыку мира. С минуту поглядев на Петрония, он сказал:

– Да, верно! Возможно, ты прав! Но подобает ли мне воспевать собственную доброту?

– Тебе вовсе не надо себя называть. В Риме и так всякий догадается, о чем речь, а из Рима вести распространяются по всему миру.

– И ты уверен, что в Ахайе это понравится?

– Клянусь Поллуксом! – воскликнул Петроний.

И он ушел удовлетворенный – теперь-то он был уверен, что Нерон, чья жизнь вся проходила в прилаживании действительности к литературным вымыслам, не пожелает испортить сюжет и тем свяжет руки Тигеллину. Это, однако, не повлияло на его намерение выпроводить Виниция из Рима, как только здоровье Лигии не будет тому помехой. На следующий день при встрече с Виницием он сказал:

– Отвези ее на Сицилию. После случившегося вам со стороны императора ничто не грозит, но Тигеллин готов пустить в ход даже яд из ненависти если не к вам, так ко мне.

– Она была на рогах дикого тура, и все же Христос ее спас, – с усмешкой возразил Виниций.

– Так ты почти его гекатомбой, – с легким раздражением ответил Петроний, – но не проси спасти ее во второй раз. Ты помнишь, как Эол принял Одиссея, когда тот во второй раз пришел просить его о попутном ветре? Боги не любят повторяться.[431]

– Когда к ней вернется здоровье, – сказал Виниций, – я отвезу ее к Помпонии Грецине.

– И это будет тем более разумно, что Помпония больна. Мне сказал об этом Антистий, родственник Плавтиев. Здесь же произойдут тем временем такие события, что люди о вас забудут, – а в нынешние дни счастливейшие из людей те, о ком забыли. Да будет вам Фортуна солнцем зимою и тенью летом!

С этими словами он оставил Виниция упиваться своим счастьем, а сам пошел расспросить Теокла о здоровье Лигии.

Жизни ее опасность уже не грозила. Конечно, останься она в тюремном подвале, ее, страшно исхудавшую после лихорадки, прикончили бы гнилой воздух и лишения, но теперь она была окружена заботливым уходом и не просто достатком, но роскошью. По предписанию Теокла ее через два дня начали выносить в окружавшие виллу сады, где она проводила целые часы. Виниций украшал ее носилки анемонами и, главное, ирисами, чтобы напомнить ей об атрии в доме Авла. Под сенью высоких деревьев они, держась за руки, часто беседовали о минувших страданьях и тревогах. Лигия говорила, что Христос с умыслом провел его через мученья, чтобы изменить его душу и поднять ее до себя, и он чувствовал, что это правда и что не осталось в нем ничего от прежнего патриция, не признававшего иного закона, кроме своих желаний. Но в воспоминаниях

[431] Согласно Гомеру («Одиссея», X, 1–75), бог ветров Эол царствовал на острове Эолия, к которому прибило корабль Одиссея. Эол благосклонно принял странников и дал им мех с заключенными в нем ветрами. Однако спутники Одиссея развязали мех, и корабль снова принесло к Эолии. На этот раз Эол отказался помогать Одиссею и изгнал его.

этих не было никакой горечи. Обоим чудилось, будто годы пролетели над ними и мучительное прошлое уже где-то далеко позади. И нисходил на них покой, какого они доселе не знали. Им навстречу шла какая-то новая жизнь, полная блаженства, и завладевала ими. Пусть в Риме император безумствует и сеет тревогу во всем мире, они, чувствуя покровительство силы безмерно более могущественной, уже не страшились ни его злобы, ни его безумств, как если бы он перестал быть владыкой их жизни и смерти. Однажды в час заката они услышали доносившееся из виварием рычанье львов и других диких зверей. Когда-то эти звуки пронзили Виниция тревогой, как зловещий знак. Теперь же оба они лишь с улыбкой переглянулись и подняли глаза к вечерним звездам. Лигия была еще очень слаба и не могла самостоятельно ходить, порою она засыпала в тишине сада, а он сидел рядом и, всматриваясь в ее лицо, невольно думал, что это уже не та Лигия, которую он встретил у Плавтиев. Да, из-за тюрьмы и болезни ее красота несколько поблекла. Тогда, у Авла, и позже, когда он пришел ее похитить из дома Мириам, она была прекрасна, как статуя, как цветок, ныне же лицо ее стало прозрачным, руки исхудали, тело иссушил недуг, уста побледнели, и даже глаза казались не такими голубыми, как прежде. Золотоволосая Эвника, приносившая ей цветы и драгоценные ткани, чтобы укрывать ноги, глядела кипрскою богиней рядом с нею. Эстет Петроний тщетно пытался увидеть в Лигии ее былую прелесть и, пожимая плечами, думал, что эта тень с Елисейских полей, пожалуй, не стоила тех усилий, страданий и тревог, которые едва не свели Виниция в могилу. Но Виниций, любивший теперь ее душу, тем пуще любил ее и, оберегая ее сон, чувствовал себя так, будто оберегает целый мир.

Глава LXIX

Весть о чудесном избавлении Лигии быстро разошлась среди оставшихся в живых христиан. Приверженцы нового учения приходили на виллу, чтобы увидеть ту, которой была явлена милость Христова. Первыми пришли молодой Назарий с Мириам, у которых до сих пор скрывался апостол Петр, а за ними стали приходить и другие. Собираясь вместе, они с Виницием, Лигией и Петрониевыми рабами-христианами благоговейно слушали рассказ Урса о голосе, прозвучавшем в его душе и повелевшем ему бороться с диким зверем, после чего расходились утешенные и обнадеженные, что Христос все же не допустит, чтобы его приверженцев истребили всех до единого на земле, пока сам он не явится вершить страшный суд. И эта надежда укрепляла их сердца среди непрекращавшихся гонений. Стоило указать на кого-нибудь как на христианина, и городская стража тотчас бросала его в тюрьму. Жертв, правда, было уже не так много – большинство христиан погибли в тюрьме или были замучены, а уцелевшие покинули Рим, чтобы в дальних провинциях переждать бурю, или же скрывались, боясь собираться на общую молитву, кроме как в находившихся за городом каменоломнях. Но их еще выслеживали, хватали и хотя игры завершились, держали для следующих игр или же судили на месте. Римский народ уже не верил, что виновниками пожара были христиане, но все равно их объявляли врагами рода человеческого, и эдикт, против них изданный, сохранял силу.

Апостол Петр долго не решался появляться в доме Петрония, но вот однажды вечером Назарий известил о его приходе. Лигия, уже начавшая ходить, и Виниций оба поспешили его встретить и кинулись обнимать его ноги, а он приветствовал их с глубочайшим волненьем – так мало осталось уже овец в стаде, которое препоручил ему Христос и над участью которого плакало ныне его любящее сердце. И когда Виниций сказал ему: «Отче! Это ради тебя спаситель возвратил ее мне!», апостол ответил: «Он возвратил ее ради веры твоей и ради того, чтобы не все уста, прославляющие имя его, умолкли». И в этот миг он, видимо, думал о тысячах чад своих, растерзанных дикими зверями, о крестах, густою чащей высившихся на аренах, и об огненных тех столбах в садах Зверя, ибо в голосе его звучала великая скорбь. Виниций и Лигия заметили также, что волосы его стали совершенно белыми, спина согнулась, а в лице было столько печали и боли, словно он сам прошел через все терзания и муки, которым подверглись жертвы свирепости и безумия Нерона. Но оба уже понимали: коль Христос сам отдал себя на муки и смерть, никто не должен от нее уклоняться. И все же сердца их сжимались при виде апостола, согбенного под бременем лет, трудов и горя. Виниций, собиравшийся через несколько дней отвезти Лигию в Неаполис, где они должны были

встретить Помпонию и с нею отплыть на Сицилию, стал умолять старца покинуть вместе с ними Рим.

Но апостол, возложив руку на его голову, ответствовал:

– Я слышу в душе моей голос господа, как на море Тивериадском он сказал мне: «Когда ты был молод, ты препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки свои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Посему надлежит мне идти вслед за стадом моим.

Они слушали молча, не разумея его слов. Тогда он продолжил:

– Подходит к концу труд мой, но гостеприимство и отдых я найду единственно в доме господа. – И, обращаясь к ним обоим, прибавил: – Помните меня, ибо я вас любил, как отец любит детей своих, и все, что будете в жизни делать, делайте во славу божию.

Молвив это, он поднял свои старые трясущиеся руки и благословил их, а они прильнули к нему, чувствуя, что, быть может, получают последнее благословение из его рук.

Им, однако, было суждено увидеть его еще раз. Несколько дней спустя Петроний принес с Палатина грозную весть. Там обнаружили, что один из вольноотпущенников императора был христианином, и нашли у него послания апостолов Петра и Павла из Тарса, а также послания Иакова, Иуды и Иоанна. О пребывании Петра в Риме Тигеллин знал и раньше, но он полагал, что апостол погиб с тысячами других последователей Христа. Теперь оказалось, что два главных проповедника новой веры до сих пор живы и находятся в столице, и было велено разыскать их и схватить любой ценой – с их смертью, надеялись, будут вырваны последние корни ненавистной секты. Как слышал Петроний от Вестина, сам император приказал, чтобы через три дня Петр и Павел из Тарса были в Мамертинской тюрьме, и целые отряды преторианцев посланы обыскивать все дома в Заречье.

Узнав об этом, Виниций решил предупредить апостола. Вечером он и Урс, надев галльские плащи, закрывающие лицо, отправились к дому Мириам, у которой жил Петр, – дом этот стоял на самой окраине Заречья, у подножья Яникульского холма. По пути они видели дома, окруженные солдатами, которыми командовали незнакомые люди. В квартале было беспокойно, там и сям толпились любопытные, центурионы допрашивали схваченных, допытываясь о Петре Симоне и о Павле из Тарса.

Урс и Виниций, опередив солдат, беспрепятственно дошли до жилища Мириам и застали там Петра в окружении горсточки верующих. Подле апостола находились также помощник Павла из Тарса Тимофей и Лин.

При вести о близкой опасности Назарий вывел всех по крытому переходу к садовой калитке, а затем – к заброшенным каменоломням, расположенным в нескольких сотнях шагов от Яникульских ворот. Урсу пришлось нести Лина, кости которого, переломанные во время пыток, еще не срослись. Очутившись в подземных коридорах, все почувствовали себя в безопасности и при свете зажженного Назарием светильника начали вполголоса совещаться, как спасти драгоценную для них жизнь апостола.

– Отче, – сказал ему Виниций, – пусть завтра на рассвете Назарий выведет тебя из города к Альбанской горе. Там мы тебя встретим и заберем в Анций, где нас двоих ждет корабль, чтобы повезти в Неаполис и на Сицилию. Счастливым будет тот день и час, когда ты войдешь в мой дом и благословишь мой очаг.

Его выслушали с радостью и стали уговаривать апостола:

– Скройся, пастырь наш, ведь в Риме тебе не уцелеть. Сохрани живое слово истины, дабы не исчезла она вместе с нами и с тобою. Послушайся нас, просим тебя как отца.

– Сделай это во имя Христа! – призывали другие, хватаясь за край его одежды.

– Дети мои! – ответствовал он. – Кто может знать, когда назначил господь предел жизни его?

Однако он не говорил, что не покинет Рима, и сам колебался, потому что уже давно в его душе поселилось сомнение, даже тревога. Паства рассеяна, дело погибло, церковь, которая до пожара возросла могучим древом, обращена в прах властью Зверя. Не осталось ничего, кроме слез, кроме воспоминаний, мук и смерти. Семена дали обильные всходы, но сатана втоптал их в землю. Силы ангельские не пришли на помощь погибавшим, и вот Нерон восседает в славе, попирая весь

мир, страшный, более могущественный, чем когда-либо, владыка всех морей и всей суши. Уже не раз рыбарь господень воздевал в одиночестве руки к небу и вопрошал: «Господи! Что мне делать? Как мне здесь остаться? И как мне, немощному старику, бороться с несметной ратью злого духа, которому ты разрешил владеть и побеждать?»

Взывая из глубин безграничного горя, он мысленно повторял: «Нет уже тех овец, которых ты приказал мне пасти, нет твоей церкви, пустыня и скорбь в столице твоей, так что ж ты ныне прикажешь мне? Оставаться ли здесь или увести остатки стада, дабы где-нибудь за морями мы славили имя твое тайно?»

И он колебался. Он верил, что живая правда не погибнет и должна взять верх, но иногда думалось ему, что еще не настал ее час и что настанет он лишь тогда, когда на землю в день суда сойдет господь и воссядет в славе и силе, во сто крат более могущественный, чем Нерон.

Часто ему мечталось, что вот покинет он Рим, верующие пойдут за ним, и он уведет их далеко-далеко, в тенистые рощи Галилеи, к тихим заливам Тивериадского моря, к пастухам мирным, как голуби или как овцы, которые там пасутся среди чабреца и нарда. И все сильнее жаждало сердце рыбака тишины и отдыха, все больше тосковало по озеру и по Галилее, все чаще заливали слезы старческие глаза.

Но стоило ему на миг сделать этот выбор, как его обуревали страх и беспокойство. Как? Ему оставить этот город, где земля пропиталась мученической кровью и где столько уст в смертный час засвидетельствовали истину? Неужто ему одному уклониться от этого? И что ответит он господу, если услышит: «Вот, они умерли за веру свою, а ты убежал?»

Ночи и дни проходили в сомнениях и терзаниях. Те, кого разорвали львы, кого распяли на крестах, кого сожгли в императорских садах, все те, претерпев муки, почили в господе, а он не мог обрести покоя и испытывал муку страшнее всех мук, изобретенных палачами для их жертв. Нередко заря уже освещала кровли домов, а он все взывал в смятении душевном:

– Господи, как же ты велел мне прийти сюда и в сем гнезде Зверя основать столицу твою?

За тридцать четыре года, минувшие со дня гибели его господа, он не ведал отдыха. С посохом в руках странствовал по свету и разносил «благую весть». В странствиях и трудах иссякли его силы, и вот наконец, когда в этом городе, главе мира, он утвердил дело учителя, злоба испепелила все огненным своим дыханием, и он видел, что надобно снова начинать борьбу. Да какую борьбу! На одной стороне император, сенат, народ, легионы, железным обручем сковавшие весь мир, бессчетные крепости, необъятные земли, могущество, какого глаза человеческие не видывали, а на другой стороне он, согбенный годами и трудом, настолько дряхлый, что трясущиеся руки уже едва удерживали дорожный посох.

И порою он говорил себе, что не ему меряться с императором Рима и что дело это может совершить лишь сам Христос.

Все эти мысли мелькали теперь в озабоченном его мозгу, когда он слушал просьбы последней горсточки верующих, а они, все более тесным кольцом окружая его, умоляли:

– Спрячься, рабби, и уведи и нас из-под власти Зверя.

Наконец Лин склонил перед ним свою измученную голову.

– Отче, – сказал он, – спаситель повелел тебе пасти овец своих, но их уже здесь нет и завтра совсем не будет, и ты иди туда, где сможешь их еще найти. Живо еще слово божье и в Иерусалиме, и в Антиохии, и в Эфесе, и в других городах. Чего ты достигнешь, оставшись в Риме? Гибелью своей лишь умножишь торжество Зверя. Иоанну господь не определил срока жизни его. Павел – римский гражданин, и без суда его пока казнить не могут, но если над тобою, учитель, разразится ярость сил адовых, тогда те, кто уже пал духом, будут спрашивать: «Кто же одолеет Нерона?» Ты – камень, на котором воздвигнута церковь господня. Позволь нам умереть, но не дай антихристу победить наместника божия и не возвращайся сюда, пока господь не сокрушит пролившего невинную кровь.

– Взгляни на наши слезы! – повторяли остальные.

Слезы текли и по лицу Петра. Через некоторое время он все же поднялся и, простирая руки над коленопреклоненными, молвил:

– Да будет прославлено имя господне и да свершится воля его!

Глава LXX

На другой день в предрассветных сумерках два странника шли по Аппиевой дороге к равнине Кампании.

Одним из них был Назарий, другим – апостол Петр, который покидал Рим и гонимых единоверцев.

Небо на востоке уже окрашивалось в зеленоватые тона, которые постепенно и всё более явственно переходили у горизонта в шафранный цвет. Серебристая листва деревьев, белый мрамор вилл и арки акведуков, тянувшихся по равнине в город, выступали из темноты. Зеленоватое небо все больше светлело, становилось золотистым. Но вот восток порозовел, и заря осветила Альбанские горы – их дивные сиреневые тона, казалось, сами излучали свет.

Искорками мерцали на трепетных листьях деревьев капли росы. Мгла рассеивалась, открывая все более обширную часть равнины с разбросанными на ней домами, кладбищами, селеньями и купами деревьев, средь которых белели колонны храмов.

Дорога была пустынна. Крестьяне, возившие в город зелень, еще, видимо, не успели запрячь мулов в свои тележки. На каменных плитах, которыми вплоть до самых гор была вымощена дорога, стучали деревянные сандалии двух путников.

Наконец над седловиной между горами показалось солнце, и странное явление поразило апостола. Ему почудилось, будто золотой диск, вместо того чтобы подыматься все выше по небу, спускается с гор и катится по дороге.

– Видишь это сияние – вон оно, приближается к нам? – молвил Петр, остановясь.

– Я ничего не вижу, – отвечал Назарий.

Минуту спустя Петр, приставив к глазам ладонь, сказал:

– К нам идет кто-то, весь в солнечном сиянии.

Однако никакого шума шагов они не слышали. Вокруг было совершенно тихо. Назарий видел только, что деревья вдали колышутся, словно кто-то их тряхнул, и все шире разливается по равнине свет.

Он с удивлением поглядел на апостола.

– Рабби, что с тобою? – тревожно спросил юноша.

Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал наземь, глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг.

Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас:

– Христос! Христос!

И он приник головою к земле, будто целовал чьи-то ноги.

Наступило долгое молчанье, потом в тишине послышался прерываемый рыданьями голос старика:

– Quo vadis, Domine?[432]

Не услышал Назарий ответа, но до ушей Петра донесся грустный, ласковый голос:

– Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на новое распятие.

Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим и нем. Назарий испугался, что он в обмороке или умер, но вот наконец Петр встал, дрожащими руками поднял страннический посох и, ни слова не говоря, повернул к семи холмам города.

Видя это, юноша повторил как эхо:

– Quo vadis, Domine?

– В Рим, – тихо отвечал апостол.

И он возвратился.

Павел, Иоанн, Лин и все верующие встретили апостола с изумлением и тревогой – на рассвете, сразу же после его ухода, преторианцы окружили дом Мириам и искали там Петра. Но на все

[432] Куда идешь, господи? *(лат.)*

вопросы он отвечал радостно и спокойно:

– Я видел господа!

И вечером того же дня направился на кладбище в Остриан, чтобы поучать и крестить тех, кто хотел омыться в живой воде.

С тех пор он приходил туда ежедневно, и за ним следовала все более многочисленная толпа. Казалось, из каждой слезы мучеников рождаются все новые уверовавшие и каждый стон на арене отзывается эхом в тысячах грудей. Император купался в крови, Рим и весь языческий мир безумствовал. Но те, кому стало невмоготу от злодейств и безумия, кого унижали, чья жизнь была сплошным горем и рабством, все угнетенные, все опечаленные, все страждущие шли слушать дивную весть о боге, из любви к людям отдавшем себя на распятие, чтобы искупить их грехи.

Найдя бога, которого они могли любить, люди находили то, чего никому доселе не мог дать тогдашний мир, – счастье любви.

И Петр понял, что ни императору, ни всем его легионам не одолеть живой истины, что ни слезы, ни кровь не зальют, не погасят ее и что лишь теперь начинается ее победное шествие. Понял он также, зачем господь повернул его на пути, – да, град гордыни, злодеяний, разврата и насилия превращался в его, Петров, град и дважды его столицу, откуда ширилась по свету его власть над телами и душами людей.

Глава LXXI

Но вот исполнился срок для обоих апостолов. И словно в завершение труда дано было божьему рыбарю уловить еще две души даже в тюрьме. Воины Процесс и Мартиниан, его стражи в Мамертинской тюрьме, приняли крещение. Потом настал час мученической смерти. Нерона тогда в Риме не было. Приговор вынесли Гелий и Поликлит, два вольноотпущенника, которым император на время своего отсутствия поручил править Римом. Дряхлого апостола подвергли сперва предписанной законом порке, а на другой день повезли за городскую стену, на Ватиканский холм, где предстояла ему казнь на кресте. Солдаты дивились собравшейся перед тюрьмой толпе – по их понятиям, смерть простолюдина, вдобавок чужеземца, не должна была вызывать такого интереса, и невдомек им было, что толпятся у тюремных ворот не любопытные, но единоверцы, желающие проводить великого апостола на место казни. После полудня ворота тюрьмы наконец раскрылись, и появился Петр, сопровождаемый отрядом преторианцев. Солнце уже клонилось к Остии, день был тихий, погожий. Ради преклонных лет Петру разрешили не нести крест, понимая, что ему креста не поднять, и не надели на шею рогатку, чтобы не затруднять при ходьбе. Он шел свободно, и верующие хорошо его видели. В тот миг, когда среди железных солдатских шлемов забелела его седая голова, в толпе раздался плач, но почти сразу же стих, ибо лицо старца было таким светлым, сияло такою радостью, что все поняли: то не жертва идет на казнь, то совершает триумфальное шествие победитель.

Так оно и было. Этот рыбак, обычно смиренный и согбенный, шел теперь прямой, горделивый, возвышаясь над солдатами. Никогда еще не видели столько величия в его осанке. Мнилось, то выступает монарх, окруженный народом и воинами. Вокруг слышались возгласы: «Глядите, Петр идет к господу!» Все точно забыли, что его ждут муки и смерть. Люди шли в торжественной сосредоточенности, но спокойно, чувствуя, что со времен смерти на Голгофе не было до сих пор ничего равного по величию и как та смерть искупила грехи целого мира, так эта искупит грехи Рима.

Встречные с удивлением останавливались при виде старца, и верующие, кладя им руку на плечо, говорили спокойными голосами: «Смотрите, как умирает праведник, который знал Христа и проповедовал миру любовь». И те задумывались и, идя дальше, говорили себе: «Да, верно, такой не мог быть неправедным!»

На их пути смолкали уличные крики и шум. Шествие двигалось среди недавно сооруженных домов, среди белоколонных храмов, над карнизами которых простиралось бездонное, безмятежное голубое небо. Шли в тишине, лишь временами звенело оружие солдат или раздавался шепот молитв. Петр слушал слова молитв, и лицо его все больше светилось радостью – ведь он едва мог об-

нять взором тысячную толпу верующих. И чувствовал он, что исполнил свое дело, и знал уже, что истина, которую он всю жизнь проповедовал, зальет все, подобно как волны морские, и ничто уже ее не остановит. С этою мыслью поднял он глаза к небу и молвил: «Господи, ты велел мне покорить этот город, владыку мира, и вот я его покорил. Ты велел основать в нем твою столицу, и вот я ее основал. Ныне это твой город, господи, и я иду к тебе, потому что устал от трудов».

Проходя мимо храмов, он говорил им: «Быть вам храмами Христовыми!» Глядя на движущиеся перед его глазами толпы, говорил им: «Быть детям вашим рабами Христовыми!» И шел дальше с чувством одержанной победы, сознавая свою заслугу, свою силу, умиротворенный, величавый. Солдаты, как бы отдавая невольно дань его торжеству, повели его по Триумфальному мосту[433] и дальше – к Навмахии и цирку. Верующие из Заречья присоединились к шествию, густая толпа все росла и росла – командовавший преторианцами центурион догадался наконец, что ведет, наверно, какого-то верховного жреца, которого сопровождают приверженцы, и встревожился, что его отряд невелик. Но в толпе не раздавалось ни единого крика возмущения или ярости. На всех лицах изображалось сознание значительности этой минуты, ее величия, но также ожидание – некоторые из верующих, вспоминая, что при смерти Христа земля разверзлась от скорби и мертвые восстали из могил, думали, что, может, и теперь будут явлены какие-то видимые знаки, чтобы прославить смерть апостола в веках. Иные даже говорили себе: «А вдруг господь изберет час гибели Петра, чтобы, как обещал, сойти с небес и вершить суд над миром». С этой мыслью они препоручали себя милосердию спасителя.

Но вокруг все было спокойно. Холмы словно выгревались и отдыхали на солнце. Наконец шествие остановилось между цирком и Ватиканским холмом. Солдаты принялись копать яму, другие положили на землю крест, молотки и гвозди, ожидая, когда будут закончены приготовления, а толпа, все такая же притихшая и сосредоточенная, стояла на коленях.

Голову апостола озаряли золотистые лучи, в последний раз обернулся он к городу. Вдали, чуть пониже, серебрились воды Тибра, на другом берегу было видно Марсово поле, повыше – мавзолей Августа, ниже – огромные термы, которые начал сооружать Нерон, еще ниже – театр Помпея, а за ними, частью заслоненные другими зданиями, – Септа Юлия[434], множество портиков, храмов, колоннад, многоэтажных зданий и, наконец, совсем далеко облепленные домами холмы, гигантский человеческий муравейник, границы которого тонули в голубом тумане, гнездо преступлений, но также могущества, очаг безумия, но также порядка, город, ставший главою мира, его угнетателем, но также его законодателем и замирителем, всесильный, непобедимый, вечный город.

Окруженный солдатами Петр смотрел на него, как царственный властелин смотрел бы на свою вотчину, и говорил ему: «Ты искуплен, ты мой!» И никто – не только среди копавших яму солдат, но даже среди верующих – не догадывался, что средь них стоит истинный владыка этого города и что императоры уйдут, что волны варваров схлынут, что минуют века, а этот старец будет здесь царить постоянно.

Солнце еще ниже опустилось к Остии, стало большим, багровым. Вся западная половина неба воссияла ослепительным светом. Солдаты подошли к Петру, чтобы раздеть его.

Однако он, шепча молитву, вдруг распрямился и поднял высоко правую руку. Палачи остановились, точно оробев перед ним, – верующие, затаив дыхание, тоже ждали, что он что-то скажет, и наступила полная тишина.

А он, стоя на возвышении, вытянутою рукой начал творить крестное знамение, благословляя в смертный свой час:

– Urbi et orbi![435]

И в тот же дивный вечер другой отряд солдат вел по Остийской дороге Павла из Тарса к ме-

[433] Pons Triumphalis *(Примеч. автора.)*

[434] *Септа Юлия* – помещение для голосования на северном склоне Капитолия.

[435] Городу и миру! *(лат.)*

сту, где находился источник Сальвия. И за ним также шла толпа верующих, им обращенных, среди которых он узнавал более близких ему людей, и останавливался, и говорил с ними – к нему как к римскому гражданину стража относилась более почтительно. Еще за Тригеминскими воротами им повстречалась Плавтилла, дочь префекта Флавия Сабина[436]; видя ее молодое лицо все в слезах, Павел молвил: «Плавтилла, дочь спасения вечного, ступай с миром. Дай мне только платок, которым мне завяжут глаза, когда буду отходить к господу». И, взяв платок, пошел дальше с лицом радостным, как у работника, что, славно потрудившись целый день, возвращается домой. Мысли его, как и у Петра, были спокойны и ясны, подобно вечернему небу. Глаза задумчиво смотрели на простиравшуюся перед ним равнину и на Альбанские горы, утопающие в лучах. Он вспоминал свои странствия, свои труды и деяния, битвы, в которых побеждал, церкви, которые во всех краях и за всеми морями основал, и думал, что честно заслужил отдых. Он также исполнил свой урок, и посеянное им, думал он, уже не развеет вихрь злобы. Он уходил с уверенностью, что в войне, объявленной миру его истиной, она победит, и безграничный покой нисходил на его душу.

Путь до места казни был дальний, стало темнеть. Вершины гор окрасились пурпуром, а их подножья медленно застилала тень. Возвращались домой стада. Шли ватаги рабов с земледельческими орудиями на плечах. Перед домами играли на дороге дети, они с любопытством глядели на проходивших солдат. В этом вечере, в прозрачном, золотистом воздухе были не просто покой и умиротворенность, но казалось, звучит некая гармония, плывущая от земли к небу. И Павел слышал ее, и сердце его переполнялось радостью при мысли, что в эту музыку вселенной он внес свой звук, какого еще не бывало и без которого земля была как «медь звенящая или кимвал звучащий».

И он вспоминал о том, как учил людей любви, как говорил им, что, хоть и раздали бы они все имущество бедным, хоть овладели бы всеми языками, и всеми тайнами, и всеми науками, они ничто без любви милосердной, долготерпеливой, которая не мыслит зла, не ищет своего, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит.

Так и прошла его жизнь в том, чтобы учить людей этой истине. И ныне он говорил себе: «Какая сила ее опровергнет, что может ее победить? Неужто сумеет заглушить ее император, даже будь у него вдвое больше легионов, вдвое больше городов и морей, земель и народов?»

И он шел за наградой как победитель.

Процессия наконец свернула с широкой дороги на узкую тропинку, ведшую на восток, к источнику Сальвия. Багряное солнце румянило вересковые луга. У источника центурион остановил солдат – час настал!

Но Павел, перекинув через плечо платок Плавтиллы, не спешил повязать им глаза – в последний раз возвел он излучавший безграничное спокойствие взор к вечному вечернему свету и начал молиться. Да, час настал! Однако пред собою видел он длинную звездную дорогу, восходившую к небесам, и все повторял мысленно те же слова, которые, с сознанием исполненной службы и близкой кончины, написал ранее: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды».

Глава LXXII

А Рим по-прежнему безумствовал – казалось, город, покоривший весь мир, ныне, не имея надлежащего правления, начинает разрушаться от внутренних раздоров. Еще до того, как для апостолов пробил последний час, был обнаружен заговор Пизона, и пошла столь беспощадная жатва, полетело столько знатнейших голов Рима, что даже тем, кто видел в Нероне бога, он стал представляться богом смерти. Скорбь воцарилась в городе, страх поселился в домах и в сердцах, но все так же были украшены портики плющом и цветами, и горевать по погибшим было запрещено. Просыпаясь по утрам, люди спрашивали себя, чья нынче очередь. Тени убиенных тянулись призрачной свитой за императором, и свита эта с каждым днем умножалась.

Пизон поплатился за заговор своею головой, за ним последовали Сенека и Лукан, Фений Руф

[436] *Флавий Сабин Тит* – старший сын Веспасиана.

и Плавтий Латеран, и Флавий Сцевин, и Афраний Квинциан, и распутный товарищ императоровых бесчинств Туллий Сенецион, и Прокул, и Арарик, и Авгурин, и Грат, и Силан, и Проксум[437], и Субрий Флав, когда-то всею душою преданный Нерону, и Сульпиций Аспер. Одних сгубило собственное ничтожество, других – трусость, некоторых – богатство, иных – смелость. Напуганный числом заговорщиков, император оцепил городские стены солдатами и держал город словно бы в осаде, каждый день посылая центурионов со смертными приговорами в дома подозреваемых. Приговоренные еще унижались в раболепных письмах, благодарили императора за приговор и завещали ему часть своего имущества, чтобы остальное сохранить для детей. Можно было подумать, что Нерон умышленно переходит все границы, желая убедиться, до какой степени дошло падение и как долго люди будут выносить его кровавое владычество. Вслед за заговорщиками казнили их родных, друзей и даже просто знакомых. Обитатели великолепных, после пожара сооруженных домов, выходя на улицу, могли быть уверены, что увидят череду похоронных процессий. Помпей, Корнелий Марциал, Флавий Непот и Стаций Домиций[438] погибли, обвиненные в недостаточной любви к императору; Новий Приск – из-за того, что был другом Сенеки; Руфрия Криспина лишили права на огонь и воду за то, что он был когда-то мужем Поппеи. Великого Тразею сгубила его добродетель, многие поплатились жизнью за благородное происхождение, даже Поппея стала жертвой минутной вспышки Неронова гнева.

А сенат пресмыкался перед свирепым владыкой, воздвигал в честь его храмы, давал обеты за его голос, увенчивал его статуи и, как богу, назначал ему жрецов. С трепетом в душе отправлялись сенаторы на Палатин восхвалять пенье «Периодоникия» и вместе с ним безумствовать на оргиях среди обнаженных тел, вина и цветов.

А между тем где-то внизу, из почвы, пропитанной кровью и слезами, тихо, но неуклонно подымались всходы посеянных Петром семян.

Глава LXXIII

Виниций – Петронию:

«Мы и здесь, carissime, знаем, что творится в Риме, а чего не знаем, о том сообщают нам твои письма. Когда бросаешь камень в воду, волны расходятся кругами все дальше и дальше, подобная волна безумия и злобы дошла с Палатина даже до нас. По пути в Грецию тут побывал посланный императором Карринат, который ограбил города и храмы, чтобы пополнить опустевшую казну. Ценою пота и слез людских в Риме сооружается Золотой дворец. Возможно, что мир еще не видывал такого дома, но не видывал он и подобных бесчинств. Ведь ты Карринata знаешь. Вроде него был и Хилон, пока не искупил свою жизнь смертью. Однако до ближайших к нам селений люди Карринata не добрались – быть может, потому, что здесь нет ни храмов, ни сокровищ. Ты спрашиваешь, чувствуем ли мы себя в безопасности. Скажу одно: о нас забыли, и пусть это будет тебе ответом. В эту минуту из портика, в котором я пишу тебе, я вижу наш тихий залив, а на нем – Урса в челне, опускающего невод в светлую воду. Моя жена рядом со мною прядет красную шерсть, а в садах, под сенью миндальных деревьев, поют песни наши рабы. О, carissime, какой тут покой, какое полное забвение былых тревог и горестей! Но не Парки, как пишешь ты, прядут сладостную нить жизни нашей, это Христос благословляет нас, возлюбленный наш бог и спаситель. Скорбь и слезы нам не чужды, ибо учение наше велит оплакивать горе ближних, но даже в слезах этих таится вам неведомое утешение – мы уповаем, что, когда истечет срок жизни нашей, мы встретим вновь всех дорогих нам погибших и тех, кому за истину божью еще предстоит погибнуть. Петр и Павел для нас не умерли, но родились в славе. Души наши видят их, и, когда глаза плачут, сердца наши веселятся их веселием. О да, дорогой мой, мы счастливы таким счастьем, над

[437] Имеются в виду участники заговора Пизона, всадники Церварий Прокул, Вулкаций Арарик, Юлий Авгурин, Мунаций Грат и преторианский трибун Стаций Проксум.

[438] Преторианские трибуны.

которым ничто не властно, ибо смерть, для вас конец всего, будет для нас лишь переходом к еще более безмятежному покою, более великой любви и блаженству.

Так и текут наши дни и месяцы в сердечном согласии. Наши слуги и рабы, подобно нам, веруют в Христа, он же заповедал любовь, вот мы все и любим друг друга. Нередко при заходе солнца или в час, когда луна уже серебрит воды, мы говорим с Лигией о прежних временах, которые нам теперь кажутся сном, и, когда я думаю, что эта любимая головка, которую я каждый день баюкаю на своей груди, была так близка к мукам и гибели, я всею душой восхваляю моего господа, ибо он один мог ее вырвать из тех лап, спасти на самой арене и возвратить мне навсегда. О Петроний, ты же видел, сколько утешения и стойкости в бедах дает наше учение, сколько терпения и мужества перед лицом смерти, так приезжай, погляди теперь, сколько дает оно счастья в обычном, будничном течении жизни. Видишь ли, люди доселе не знали бога, которого можно любить, потому и сами друг друга не любили, отчего были несчастливы, ибо как свет исходит от солнца, так и счастье исходит из любви. Этой истине не научили ни законодатели, ни философы, ее не было ни в Греции, ни в Риме, а если я говорю «в Риме», это значит – на всей земле. Сухое, холодное учение стоиков, к которому влекутся люди добродетельные, закаляет сердца, как стальные мечи, но скорее делает их равнодушными, чем улучшает. Однако зачем я говорю это тебе, который больше меня учился и больше понимает? Ведь ты также знал Павла из Тарса и не раз подолгу беседовал с ним. Как же тебе не знать, что рядом с истиной, которую он проповедовал, все учения ваших философов и риторов – мыльные пузыри, пустые, ничего не значащие слова. Помнишь, как он задал тебе вопрос: «А если бы император был христианином, разве не чувствовали бы вы себя в большей безопасности, более уверенными во владении тем, чем владеете, чуждыми тревог и спокойными за завтрашний день?» Ты возражал ему, говоря, что наше учение – враг жизни, я же теперь отвечу тебе, что, если бы я с начала моего письма только повторял два слова: «Я счастлив!», я и то не сумел бы выразить тебе полноту моего счастья. Ты на это скажешь, что мое счастье – Лигия! Да, дорогой мой! И это потому, что я люблю ее бессмертную душу и что оба мы любим друг друга во Христе, а в такой любви нет ни разлук, ни измен, ни перемен, ни старости, ни смерти. Когда уйдут молодость и красота, когда тела наши увянут и придет смерть, любовь останется, ибо останутся теми же души. До того как глаза мои открылись для света, я ради Лигии готов был поджечь собственный дом, а теперь я говорю тебе: нет, я ее не любил, любить научил меня только Христос. В нем – источник счастья и покоя. И это говорю не я, но сама жизнь. Сравни ваши пронизанные тревогой наслажденья, ваши восторги, таящие неуверенность в завтрашнем дне, ваши оргии, подобные поминальным пиршествам, сравни их с жизнью христиан, и ты получишь готовый ответ. Но чтобы сравнивать более основательно, приезжай в наши благоухающие чабрецом горы, в наши тенистые оливковые рощи, на наши увитые плющом берега. Тебя ждет тут покой, какого ты давно не ведал, и искренне любящие сердца. Душа у тебя благородная, добрая, ты должен быть счастлив. Быстрый твой ум сумеет распознать истину, и, распознав, ты ее полюбишь – можно быть ее врагом, как император или Тигеллин, но быть равнодушным к ней никто не сумеет. О мой Петроний, мы с Лигией тешим себя надеждой увидеть тебя вскорости. Будь здоров, счастлив и приезжай к нам».

Петроний получил письмо Виниция в Кумах, куда приехал вместе с прочими августианами, сопровождавшими императора. Его долголетняя борьба с Тигеллином подходила к концу. Петроний уже знал наверняка, что проиграет, и причина была ему понятна. Император с каждым днем все чаще опускался до роли комедианта, шута и возницы, все глубже погрязал в болезненном, гнусном, скотском разврате, и утонченный арбитр изящества становился для него только бременем. Даже когда Петроний молчал, Нерон видел в его молчании укор; даже когда он хвалил, чувствовал издевку. Блестящий патриций раздражал самолюбие Нерона и пробуждал зависть. Богатства Петрония, принадлежавшие ему великолепные произведения искусства разжигали алчность и властелина, и всесильного фаворита. Петрония покамест щадили ввиду предстоявшей поездки в Ахайю, где его вкус, его понимание греческой жизни могли пригодиться. Но Тигеллин исподволь внушал императору, что Карринат превосходит Петрония вкусом и знаниями и сумеет лучше устроить в Ахайе игры, приемы и триумфы. С этой минуты Петроний был обречен. Однако по-

слать ему приговор здесь, в Риме, не решались. И император, и Тигеллин помнили, что этот изнеженный эстет, «делающий из ночи день», поглощенный наслажденьями, искусством и пирами, будучи проконсулом в Вифинии, а затем консулом в столице, выказал поразительную деловитость и энергию. Его считали способным на все и знали, что в Риме он пользуется любовью не только народа, но даже преторианцев. Никто из приближенных императора не брался предсказать, как поступит Петроний в таких обстоятельствах, – посему сочли более разумным выманить его из города и нанести удар, когда он будет в провинции.

С этой целью было ему послано приглашение явиться вместе с другими августианами в Кумы, и Петроний, хоть и догадывался о подвохе, поехал – возможно, не желая оказывать явного сопротивления, а может, и для того, чтобы еще раз показать императору и августианам свое веселое, чуждое забот и тревог лицо и одержать над Тигеллином последнюю, предсмертную победу.

Тогда Тигеллин, не теряя времени, сразу же обвинил его в дружбе с сенатором Сцевином, который был душою заговора Пизона. Остававшихся в Риме слуг Петрония бросили в тюрьму, дом был оцеплен преторианцами. Узнав об этом, он, однако, не обнаружил и тени тревоги или беспокойства и с усмешкою сказал августианам, которых потчевал на своей роскошной вилле в Кумах:

– Агенобарбу не по нраву прямые вопросы, вот увидите, как он смутится, когда я у него спрошу, он ли приказал заточить в тюрьму мою фамилию в столице.

После чего пообещал устроить пир «перед далеким путешествием». Во время приготовлений к пиру и прибыло письмо Виниция.

Прочитав его, Петроний задумался, но вскоре лицо его вновь осветилось обычным выражением спокойствия, и вечером того же дня он написал следующий ответ:

«Рад вашему счастью и удивляюсь вашей сердечности, carissime, я не предполагал, что двое влюбленных могут помнить о ком-то третьем, тем паче находящемся далеко. А вы не только не забыли меня, но уговариваете приехать на Сицилию, готовые поделиться вашим хлебом и вашим Христом, который, как ты пишешь, так щедро одаряет вас счастьем.

Если это так, чтите его. Я-то полагаю, дорогой мой, что Лигию тебе возвратил также отчасти Урс, а отчасти римский народ. Будь император другим человеком, я бы даже подумал, что причина отказа от дальнейших преследований – твое родство с ним через внучку Тиберия, которую тот некогда отдал в жены одному из Виниciев. Но если ты считаешь, что все это сделал Христос, спорить с тобою не стану. Да, да, не скупитесь на жертвоприношения ему. Прометей тоже посвятил себя людям, но увы! Прометей скорее всего лишь вымысел поэтов, меж тем как достойные доверия люди говорили мне, что видели Христа собственными глазами. Вместе с вами я думаю, что это самый порядочный из богов.

Вопрос Павла из Тарса я помню и согласен, что, если бы, к примеру, Агенобарб жил согласно учению Христа, у меня, возможно, нашлось бы время съездить к вам на Сицилию. Тогда под сенью деревьев, сидя у источников, мы смогли бы вести беседы о всех богах и всех истинах, как вели их в древности греческие философы. А пока я вынужден ответить тебе вкратце.

Я признаю только двух философов: одного зовут Пиррон, второго – Анакреонт. Остальных всех отдам тебе задешево вместе со всею школой греческих и наших стоиков. Истина обитает на горных высотах, так высоко, что самим богам не удается ее узреть с вершины Олимпа. Тебе, carissime, кажется, что ваш Олимп еще выше, и, стоя на нем, ты мне кричишь: «Взойди, и ты увидишь такие пейзажи, каких до сих пор не видывал!» Возможно. Но я отвечаю тебе: «Друг мой, у меня нет ног!» И когда дочитаешь это письмо до конца, я надеюсь, ты признаешь, что я прав.

Нет, счастливый супруг царевны-зари! Ваше учение не для меня. Мне любить вифинцев, которые носят мои носилки, египтян, отапливающих мои бани, Агенобарба и Тигеллина? Клянусь белыми коленами Харит, что, даже если бы я хотел, все равно не сумею. В Риме найдется не менее ста тысяч человек, у которых либо торчащие лопатки, либо толстые колени, либо иссохшие икры, либо круглые глаза, либо чересчур большие головы. Прикажешь мне также и их любить? Где же мне взять эту любовь, если я не чувствую ее в сердце? А если ваш бог хочет, чтобы я их всех любил, почему ж он, будучи всемогущим, не дал им форм таких, как у Ниобидов, которых ты видел на Палатине? Кто любит красоту, по одной этой причине неспособен любить безобразие. Другое

дело – не верить в наших богов, но их можно любить, как любили Фидий, и Пракситель, и Мирон, и Скопас, и Лисипп.

И если бы я даже захотел идти туда, куда ты меня зовешь, я не могу. А так как я и не хочу, то дважды не могу. Ты, как Павел из Тарса, веришь, что когда-нибудь по ту сторону Стикса, на полях Елисейских, вы увидите вашего Христа. Превосходно! Пусть тогда он сам тебе скажет, принял бы он меня с моими геммами, с моей мурринской чашей, и с изданиями Сосиев, и с моей Златоволосой. При мысли об этом, дорогой мой, меня разбирает смех – ведь даже и Павел из Тарса говорил мне, что ради Христа надо отказаться от венков из роз, от пиров и наслаждений. Правда, взамен он сулил мне другое счастье, но я ему возразил, что для этого другого я слишком стар и что глаза мои всегда будут любоваться розами и запах фиалок также будет мне всегда приятней, нежели вонь грязного «ближнего» из Субуры.

Вот причины, по которым ваше счастье не для меня. Но, кроме этого, есть еще одна, которую я приберег для тебя напоследок. Меня призывает Танатос. Для вас начинается рассвет жизни, а для меня солнце уже зашло, и мрак сгущается над моей головой. Иными словами, я должен умереть.

Не стоит об этом долго говорить. Так должно было кончиться. Зная Агенобарба, ты легко это поймешь. Тигеллин меня победил. Нет, не так! Просто моим победам пришел конец. Я жил, как хотел, и умру, как мне нравится.

Не принимай этого близко к сердцу. Ни один бог не обещал мне бессмертия, стало быть, ничего неожиданного не случится. И ты, Виниций, ошибаешься, утверждая, что только ваше божество учит умирать спокойно. Нет! Наш мир знал и до вас, что, когда выпита последняя чаша, пришло время уйти, отдохнуть, и он еще умеет это делать спокойно. Платон говорит, что добродетель – это музыка, а жизнь мудреца – гармония. Если так, я умру, как жил, – добродетельно.

Еще хотел бы я проститься с твоей божественной супругой словами, которыми я приветствовал ее в доме Авла: «Разные, очень разные видел я народы, но равной тебе не знаю».

И если душа есть нечто большее, чем полагает Пиррон, то моя душа, летя к пределам Океаноса, заглянет к вам и присядет у вашего дома в образе мотылька или, как верят египтяне, ястреба.

В другом виде прибыть я не могу.

А тем временем пусть обратится Сицилия для вас в сад Гесперид, пусть полевые, лесные и речные нимфы усыпают вам дорогу цветами и во всех акантах колонн вашего дома пусть гнездятся белые голуби».

Глава LXXIV

Петроний не ошибся. Два дня спустя молодой Нерва, всегда его любивший и преданный ему, прислал в Кумы своего отпущенника с известием обо всем, что творилось при дворе императора.

Гибель Петрония была предрешена. Собирались завтра же послать к нему центуриона с приказом оставаться в Кумах и ждать там дальнейших распоряжений. Следующий гонец, которого пошлют через несколько дней, доставит смертный приговор.

С невозмутимым спокойствием выслушал Петроний вольноотпущенника, затем сказал:

– Отнесешь своему господину одну из моих ваз, я дам ее тебе перед твоим отъездом. Также передай ему, что я от всей души его благодарю за эту весть – теперь я смогу опередить приговор.

И он вдруг рассмеялся, как человек, которого осенила замечательная мысль и который заранее радуется ее осуществлению.

В тот же вечер его рабы были разосланы во все концы Кум с приглашениями всем августианам и августианкам принять участие в пире на роскошной вилле арбитра изящества.

Сам хозяин в пополуденные часы что-то писал в библиотеке, затем принял ванну, после чего велел вестипликам себя одеть и, великолепный, нарядный, подобный божеству, зашел в триклиний, чтобы взглядом знатока проверить, все ли сделано как надо, а затем направился в сад, где отроки и юные гречанки с островов плели к ужину венки из роз.

Лицо его не омрачала даже тень тревоги. О том, что пир будет необычный, слуги узнали

лишь по его распоряжению выдать особенные награды тем, кем он был доволен, и слегка выпороть тех, чья работа ему не понравилась, либо тех, кто еще прежде заслужил выговор и наказанье. Кифаристам и певцам он обещал щедрую плату, и наконец, усевшись в саду под буком, сквозь листву которого падали на землю солнечные лучи, испещряя ее светлыми пятнами, он призвал к себе Эвнику.

Она явилась в белых одеждах с веткою мирта в волосах, прелестная, как Грация, и Петроний, усадив ее подле себя и слегка коснувшись пальцами ее виска, стал разглядывать ее с таким упоеньем, с каким знаток смотрит на божественно прекрасную статую, созданную резцом мастера.

– Эвника, – молвил он, – знаешь ли ты, что ты уже давно не рабыня?

А она, подняв на него свои спокойные голубые глаза, отрицательно покачала головой.

– Нет, господин, я навсегда твоя рабыня, – возразила она.

– Но ты, возможно, не знаешь, – продолжал Петроний, – что эта вилла и эти рабы, которые там плетут венки, и все, что в ней есть, и поля, и стада, отныне принадлежит тебе.

Слыша такие речи, Эвника вдруг отодвинулась от него и спросила голосом, в котором звучала тревога:

– Зачем ты говоришь мне это, господин?

Потом опять придвинулась и пристально поглядела на него, часто мигая от напряжения. Еще минута, и лицо ее стало белее полотна, а он все улыбался и наконец произнес всего одно слово:

– Да!

Наступило молчание, лишь шелестели от легкого ветра листья бука.

Петроний теперь мог и впрямь подумать, что перед ним статуя белого мрамора.

– Эвника! – молвил он. – Я хочу умереть спокойно.

И девушка, поглядев на него с душераздирающей улыбкой, прошептала:

– Я слушаю тебя, господин.

Вечером гости, уже не раз бывавшие на пирах у Петрония и знавшие, что рядом с ними даже пиры императора кажутся скучными и варварскими, толпою стали сходиться на виллу – ни у кого и в мыслях не было, что это последнее пиршество. Многие, правда, знали, что над утонченным арбитром нависли тучи императорской немилости, но это уже столько раз случалось и столько раз Петроний умело разгонял тучи находчивым шагом или одним смелым словом – никто не допускал, что ему может грозить серьезная опасность. Веселое лицо Петрония и обычная легкая улыбка только укрепили эту уверенность. В божественных чертах прелестной Эвники, которой он сказал, что хочет умереть спокойно, и для которой каждое его слово было священным оракулом, светилось безмятежное спокойствие, а в глазах мерцали странные огоньки, которые можно было приписать радости. Стоявшие в дверях триклиния отроки с убранными под золотые сетки волосами надевали на головы прибывавшим гостям венки из роз, предупреждая их, по обычаю, чтобы переступали порог правою ногой. Нежный запах фиалок плыл по залу, в лампах разноцветного александрийского стекла горели огни. У лож стояли девочки-гречанки, чтобы увлажнять благовониями ноги гостей. Вдоль стен кифаристы и афинские певцы ждали мановения повелителя хора.

Столы были накрыты с изумительной роскошью, но роскошь эта была не кричащей, не подавляющей, она казалась естественным цветеньем богатства. Дух веселья и свободы царил в зале и вместе с запахом фиалок радовал сердца. Входившие в зал гости чувствовали, что их здесь не ждет ни принуждение, ни опасность, как то бывало у императора, где за недостаточно горячую или не вполне удачно выраженную похвалу пенью или стихам можно было поплатиться жизнью. При виде огней и увитых плющом кувшинов, при виде вин, охлаждающихся в сосудах со снегом, и изысканных яств гостями овладевала веселая беспечность. Вскоре весь зал гудел от оживленных голосов, как гудит рой пчел над цветущей яблоней. Порою среди этого шума раздавался взрыв веселого смеха, порою – хвалебные возгласы, а порою – неумеренно звучный поцелуй, дань восхищения белой ручке.

Прежде чем пригубить чашу, гости проливали несколько капель в жертву бессмертным богам, дабы снискать их покровительство и милость для хозяина дома. Что за беда, что многие не верили в богов! Так велели обычай и суеверие. Возлежа рядом с Эвникой, Петроний говорил о римских новостях, о последних разводах, о любви, о любовных интрижках, о состязаниях, о Спи-

куле, прославившемся в последнее время на арене, и о новых книгах, появившихся у Атракта и Сосиев. Совершая жертвенное возлияние, он говорил, что льет вино только в честь Владычицы Кипра, ибо она древнее и могущественнее всех богов, одна она бессмертна, извечна, всевластна.

Беседа его была подобна солнечному лучу, освещающему то один, то другой предмет, либо летнему ветерку, колеблющему цветы в саду. Наконец он кивнул предводителю хора, и по этому знаку раздались нежные звуки кифар и вторящие им молодые голоса. Затем танцовщицы с Коса, землячки Эвники, в развевающихся прозрачных одеждах прельщали взоры розовыми своими телами. В заключение египетский гадатель предсказывал гостям их будущее по цветным камушкам-оракулам в стеклянном сосуде.

А когда гости пресытились этими развлечениями, Петроний слегка приподнялся на сирийской подушке и, как бы между прочим, сказал:

– Друзья мои! Простите, что я на пиру обращаюсь к вам с просьбой: пусть каждый возьмет от меня в дар тот кубок, из которого пролил вино в честь богов и за мое благополучие.

Кубки Петрония сверкали золотом и самоцветами, поражали мастерскою резьбой, и, хотя раздача подарков была в Риме делом обычным, ликование охватило гостей. Одни стали благодарить и громко восхвалять хозяина, другие говорили, что сам Юпитер не баловал богов на Олимпе подобными дарами, но были и такие, что колебались, взять ли подарок, – слишком уж превышала его ценность привычные мерки.

Петроний же, высоко подняв мурринскую чашу, походившую на сияющую радугу и поистине бесценную, молвил:

– Вот чаша, из которой я совершил возлияние в честь Владычицы Кипра. Пусть же отныне не коснутся ее ничьи уста и ничьи руки не прольют из нее вино в честь другой богини!

И он бросил драгоценный сосуд на пол, усыпанный фиолетовыми цветами шафрана. Брызнули осколки, и тогда, видя изумленные взгляды гостей, Петроний сказал:

– Не удивляйтесь, дорогие друзья, и продолжайте веселиться. Старость и недуги – печальные спутники последних лет жизни. Но я подам вам хороший пример и хороший совет: видите ли, друзья, можно их не дожидаться и, прежде чем они придут, уйти добровольно, как ухожу я.

– Что ты хочешь сделать? – с тревогою спросили его несколько голосов.

– Я хочу веселиться, пить вино, слушать музыку, смотреть на эти божественные формы, которые вы видите рядом со мною, а потом уснуть в венке из роз. С императором я уже простился. Не хотите ли послушать, что я написал ему на прощанье?

С этими словами он достал из-под пурпурного изголовья табличку и начал читать:

«Я знаю, о государь, что ты с нетерпеньем ждешь моего приезда и что твое преданное дружеское сердце днем и ночью тоскует по мне. Я знаю, что ты осыпал бы меня дарами, доверил бы мне префектуру претория, а Тигеллина назначил бы тем, для чего он создан богами: сторожем мулов в твоих землях, которые ты получил в наследство, отравив Домицию. Уж ты меня прости, но клянусь тебе Гадесом и пребывающими там тенями твоей матери, жены, брата и Сенеки, что не могу приехать к тебе. Жизнь, дорогой мой, – это огромная сокровищница, и из этой сокровищницы я умел выбирать самые чудесные драгоценности. Но есть в жизни и такие вещи, которых я долее сносить не в силах. О, прошу тебя, не подумай, будто мне мерзит то, что ты убил мать, и жену, и брата, что ты сжег Рим и отправил в Эреб всех порядочных людей в твоем государстве. Нет, любезный правнук Хроноса! Смерть – удел человеческого стада, а от тебя ничего иного и ожидать нельзя было. Но еще долгие, долгие годы терзать себе уши твоим пеньем, видеть твои домициевские тонкие ноги, дергающиеся в пиррейской пляске, слушать твою игру, твою декламацию и твои вирши, о жалкий провинциальный поэт, – вот что стало мне невмоготу и пробудило желание умереть. Рим, слушая тебя, затыкает уши, мир над тобою смеется, и краснеть за тебя я больше не хочу, не могу. Вой Цербера, милый мой, хоть и будет смахивать на твое пенье, меньше расстроит меня, потому что я никогда не был его другом и не обязан стыдиться за его голос. Будь здоров, но не пой, убивай, но не пиши стихов, отравляй, но не пляши, поджигай, но не играй на кифаре – такие пожелания и такой последний дружеский совет шлет тебе Арбитр Изящества».

Гости струхнули – они знали, что для Нерона утрата престола была бы менее жестоким ударом. Им также было ясно, что человек, написавший такое письмо, должен погибнуть, и смертель-

ный страх обуял их, что они подобное письмо выслушали.

Однако Петроний рассмеялся так искренне и весело, словно речь шла о невиннейшей шутке, и, обведя взором присутствующих, сказал:

– Веселитесь и гоните прочь все тревоги. Никто не обязан хвалиться тем, что слышал это письмо, а я похвалюсь им разве что Харону, когда он будет меня перевозить.

И, кивнув врачу, он протянул ему руку. Искусный врач-грек в одно мгновенье обкрутил ее златотканой повязкой и вскрыл жилу на сгибе. Кровь брызнула на изголовье и залила Эвнику, которая, поддержав голову Петрония, склонилась над ним.

– Господин мой, неужели ты думал, что я тебя покину? Если бы боги пожелали даровать мне бессмертие, а император – власть над миром, я и то последовала бы за тобою.

Петроний улыбнулся, приподнял голову и, легко коснувшись устами ее уст, отвечал:

– Идем со мною. – Потом прибавил: – Ты поистине меня любила, божественная моя!

А она протянула врачу свою нежно розовеющую руку, и минуту спустя кровь ее полилась, смешиваясь с его кровью.

Но тут Петроний дал знак предводителю хора, и опять зазвучали кифары и голоса певцов. Сперва пели «Гармодия», а затем – песню Анакреонта, в которой поэт жалуется, что однажды, найдя у своих дверей озябшего и заплаканного сыночка Афродиты, взял его в дом, обогрел, осушил его крылышки, а тот, неблагодарный, в награду своею стрелой пронзил ему сердце, и с тех пор он утратил покой…

Петроний и Эвника, прислонясь друг к другу, прекрасные как боги, слушали, улыбаясь и постепенно бледнея. Когда песня закончилась, Петроний распорядился, чтобы продолжали разносить вино и яства, потом завел разговор с сидевшими ближе о пустячных, но приятных предметах, о которых обычно говорят на пирах. Потом позвал грека и попросил на минуту перевязать жилы – его, сказал он, клонит ко сну, и он хотел бы еще разок препоручить себя Гиппосу, пока Танатос не усыпит его навсегда.

И он уснул. Когда ж проснулся, голова девушки, схожая с белым цветком, уже лежала на его груди. Он бережно опустил ее на изголовье, чтобы еще раз полюбоваться ею. После чего велел снять повязку с руки.

По его знаку певцы затянули другую песнь Анакреонта, и кифары тихо сопровождали пенье, чтобы не заглушать слова. Петроний становился все бледнее и, когда умолкли последние звуки песни, еще раз обратился к своим гостям:

– Друзья, признайтесь, что вместе с нами погибает…

Закончить он не смог – рука последним движением обняла Эвнику, потом голова откинулась на изголовье, и он скончался.

Однако гости, глядя на эти два мраморно-белых тела, подобных дивным статуям, поняли его мысль – да, с ними погибало то единственное, что еще оставалось у их мира: поэзия и красота.

Эпилог

Вначале мятеж галльских легионов под водительством Виндекса казался не слишком опасным. Императору шел только тридцать первый год, никто и надеяться не смел, что мир может вскоре избавиться от душившего его кошмара. Вспоминали, что уже не раз в правление прежних императоров бывали среди легионов беспорядки, которые, однако, подавлялись, не приводя к смене власти. Так, при Тиберии Друз усмирил мятеж паннонских легионеров, а Германик – рейнских. «Да и кто бы мог, – говорили люди, – прийти к власти после Нерона, когда почти все потомки божественного Августа погублены в его правление?» Другие, глядя на колоссальные статуи Нерона, изображающие его в виде Геркулеса, невольно думали, что никакой силе не одолеть этакой громады. А кое-кто после его отъезда в Ахайю даже тосковал по нему, ибо Гелий и Поликлит, которым он поручил править Римом и Италией, проливали еще больше крови.

Никто не был спокоен за свою жизнь и достояние. Закон перестал охранять. Исчезли человеческое достоинство и добродетель, ослабли родственные узы, и исподличавшиеся сердца даже надеяться не решались. Из Греции доходили отголоски неслыханных триумфов императора, вести

о тысячах завоеванных им венков и тысячах побежденных соперников. Весь мир представал сплошной кровавой и шутовской оргией, а заодно крепло ощущение, что пришел конец доблести и чести, что настало время плясок, музыки, разврата, крови, и впредь жизнь так и пойдет. Сам император, которому восстание открывало путь для новых грабежей, не слишком тревожился по поводу бунтующих легионов и Виндекса, даже частенько давал понять, что рад этому. Уезжать из Ахайи ему не хотелось, и лишь когда Гелий сообщил, что откладывать нельзя, что он может лишиться власти, Нерон выехал в Неаполис.

Там он опять-таки играл и пел, пропуская мимо ушей сообщения о все более угрожающем ходе событий. Тщетно объяснял ему Тигеллин, что прежние бунты легионов происходили без вождей, теперь же во главе мятежа стоит муж из древнего рода аквитанских королей, вдобавок славный и опытный воин.

– Меня здесь, – отвечал Нерон, – слушают греки, а они единственные, кто умеет слушать и кто достоин моего пенья.

Он говорил, что первый его долг – служить искусству и славе. Но когда наконец до него дошла весть, что Виндекс назвал его дрянным актером, Нерон возмутился и выехал в Рим. Нанесенные ему Петронием раны, зажившие во время пребывания в Греции, снова открылись в его душе, и он намеревался искать справедливости у сената и требовать мести за столь неслыханное оскорбление.

Увидев в пути бронзовую группу, изображавшую галльского воина, поверженного римским всадником, он счел это добрым предзнаменованием, и с той поры если вспоминал о восставшем легионе и о Виндексе, то лишь затем, чтобы над ним поиздеваться. Его въезд в город затмил все виданное до тех пор. Ехал он на той же колеснице, на которой некогда справлял свой триумф Август. Чтобы освободить проход для шествия, разрушили одну арку цирка. Встречать императора вышли все сенаторы, всадники и необозримые толпы народа. Стены дрожали от выкриков: «Привет тебе, Август, привет, Геркулес! Привет, божественный, единственный, олимпиец, пифиец, бессмертный!» За колесницей несли завоеванные им венки, таблицы с названьями городов, где он одерживал триумфы, и с именами побежденных им мастеров. Нерон упивался своим торжеством и взволнованно спрашивал у окружавших его августиан, мог ли триумф Цезаря сравниться с его триумфом. Мысль, что у кого-нибудь из смертных может подняться рука на подобного полного совершенств полубога, даже не появлялась у него. Он чувствовал себя истинным олимпийцем, а потому – защищенным от всякой опасности. Восторги и безумное ликование толпы лишь разжигали собственное его безумие. В день этого триумфа можно было подумать, что не только император и город, но весь мир сошел с ума.

Под горами цветов и венков никто не видел пропасти. Однако вечером того же дня колонны и стены храмов покрылись надписями, в которых перечисляли злодеяния императора, угрожали ему скорой местью и высмеивали его как артиста. Из уст в уста передавали фразу: «До тех пор пел, пока петухов не разбудил».[439] По городу кружили тревожные, чудовищно преувеличенные слухи. Августиан охватило беспокойство. С сомнением глядя в будущее, люди не смели произнести слово надежды, не смели чувствовать, не смели думать.

А Нерон продолжал жить только театром да музыкой. Его интересовали недавно изобретенные музыкальные инструменты и новый водяной орган, который испытывали на Палатине. Его ребячливому и неспособному к твердости ни в замыслах, ни в действиях уму мнилось, что, назначив на далекое будущее представления и всяческие зрелища, он тем самым предотвращает опасность. Приближенные, видя, что он ничуть не заботится о казне и о войске, а думает лишь о метких словах для описания бедствий, совершенно растерялись. Другие предполагали, что Нерон только оглушает себя и окружающих поэтическими цитатами, чтобы самому отвлечься от тайной тревоги. Поведение его стало болезненным, лихорадочным. Всякий день в его мозгу появлялись тысячи новых планов. Порой он срывался с места, спешил выйти навстречу опасности, приказывал грузить на повозки кифары и лютни, вооружать молодых рабынь как амазонок и стягивать в

[439] Т.е. галлов (от лат. gallus – «петух»).

Рим легионы с Востока. А порой ему казалось, что он сумеет усмирить бунт галльских легионов не силою, но пеньем. И душа его заранее тешилась картиной того, как он будет песней смягчать сердца воинов. Легионеры со слезами на глазах окружат его, а он пропоет им эпиникий, после чего начнется для него и для Рима «золотой век». Порой он снова требовал крови, а иногда говорил, что удовлетворится владычеством над Египтом; вспоминал гадателей, пророчивших ему престол в Иерусалиме; иногда же, сам себя разжалобив, мечтал, что станет бродячим певцом, будет зарабатывать себе пеньем на хлеб насущный, и города и страны будут чтить в нем уже не императора, не властелина земли, но певца, какого доселе не создавал род людской.

Так он метался, безумствовал, играл, пел, менял намерения, сыпал цитатами, превращал свою жизнь и жизнь всех вокруг в нелепый, фантастический и вместе страшный сон, в шумный фарс, состоявший из напыщенных фраз, плохих стихов, воплей, слез и крови, а между тем туча на Западе с каждым днем все росла и набирала сил. Мера исполнилась, шутовская комедия явно приближалась к концу.

Когда до слуха Нерона дошли вести о Гальбе и о присоединении Испании к бунту, он впал в исступление – стал разбивать кубки, опрокинул пиршественный стол и начал давать приказы, которых ни Гелий, ни сам Тигеллин не решались исполнить. Перебить всех галлов, живущих в Риме, затем еще раз поджечь город, выпустить из виварiев зверей, а столицу перенести в Александрию – все это казалось ему деяниями великими, поразительными и нетрудными. Но дни его всемогущества миновали, и даже соучастники прежних его преступлений уже смотрели на него как на безумца.

Однако смерть Виндекса и раздоры в рядах мятежных легионов на какое-то время словно бы перевесили чашу весов в его пользу. Опять были обещаны в Риме новые пиры, новые триумфы и новые приговоры, но вот однажды ночью из лагеря преторианцев прискакал на взмыленном коне гонец с донесеньем, что солдаты подняли знамя мятежа в самом городе и провозгласили Гальбу императором.

Когда прибыл гонец, император спал, а пробудясь, тщетно стал звать телохранителей, которые ночью должны были бодрствовать у его дверей. Дворец опустел. Только в отдаленных его уголках рабы грабили, что попадет под руку. Вид императора нагнал на них страх, они разбежались, а он в одиночестве бродил по дворцу, издавая возгласы тревоги и отчаяния.

Наконец явились спасать его вольноотпущенники Фаон, Спир и Эпафродит. Они убеждали Нерона бежать, не теряя ни минуты, но он еще тешил себя какими-то надеждами. А что, если ему, в траурном платье, произнести речь перед сенатом? Неужели сенат устоит перед его слезами и красноречием? Да если он пустит в ход все свое искусство оратора, весь свой артистический пафос и талант, разве кто в мире сможет ему сопротивляться? Разве не дадут ему хотя бы префектуру в Египте?

Привыкшие к раболепию вольноотпущенники еще не смели возразить прямо, они лишь предупредили, что, прежде чем он успеет дойти до Форума, народ разорвет его на части, и пригрозили, что, если он тотчас не сядет на коня, они также его покинут.

Фаон предложил ему убежище на своей вилле за Номентанскими воротами. Они сели на лошадей и, окутав головы плащами, помчались к городским окраинам. Ночной мрак редел. На улицах было необычно людно, чувствовалось тревожное настроение. По городу, в одиночку и группами, бродили солдаты. Невдалеке от лагеря конь императора внезапно шарахнулся, испугавшись лежавшего на дороге трупа. С головы всадника слетел плащ, и солдат, оказавшийся в эту минуту рядом, узнал императора, но, пораженный неожиданной встречей, лишь отдал ему честь. Проезжая мимо лагеря преторианцев, они слышали громкие крики в честь Гальбы. Нерон наконец понял, что час гибели близок. Им овладел страх, пробудились угрызения совести. Он говорил, что видит перед собою темноту, черную тучу, а из этой тучи глядят на него лица, в которых он узнает мать, жену и брата. От ужаса он стучал зубами, и все же его душа комедианта, казалось, находила какое-то наслаждение в этих грозных событиях. Быть всесильным властелином мира и утратить все – это представлялось ему великолепной трагедией. И, верный себе, он до конца играл в ней первую роль. На него нашла страсть цитировать, и ему хотелось, чтобы присутствующие запомнили эти цитаты для потомства. Он говорил, что хочет умереть, и звал Спикула, умевшего убивать

искуснее, чем все прочие гладиаторы. А то декламировал: «Жена, отец и мать мне умереть велят!» Время от времени у него все же мелькали проблески надежды – тщетной, ребячливой. Он знал, что идет на смерть, но вместе с тем в нее не верил.

Номентанские ворота были открыты. Дальше они проехали мимо Остриана, где когда-то поучал и крестил Петр. К рассвету они были на вилле Фаона.

Там вольноотпущенники уже не стали от него скрывать, что пришло время умереть. Он приказал выкопать могилу и лег на землю, чтобы с него могли снять точную мерку. Но, увидев, как выбрасывают наверх землю из ямы, струсил. Жирное его лицо побледнело, на лбу, подобно каплям утренней росы, проступили капли пота. Он попытался оттянуть время. Дрожащим и вместе с тем актерски деланным голосом он заявил, что нет, его час еще не пришел, затем опять принялся цитировать стихи. Под конец попросил, чтобы его сожгли. «Какой артист погибает!» – повторял он как бы с удивлением.

Между тем прискакал гонец Фаона с известием, что сенат уже вынес приговор и что матереубийца должен быть казнен по древнему обычаю.

– Какой это обычай? – побелевшими губами спросил Нерон.

– Твою шею зажмут колодкой и забьют тебя насмерть розгами, а тело бросят в Тибр! – жестко ответил Эпафродит.

Тогда Нерон распахнул плащ на груди.

– Стало быть, пришел час! – молвил он, глядя на небо.

И повторил еще раз:

– Какой артист погибает!

В эту минуту раздался топот копыт. Это центурион с отрядом солдат примчался за головою Агенобарба.

– Торопись! – воскликнули вольноотпущенники.

Нерон приставил к шее нож, но дрожащей своей рукой он мог лишь слегка уколоть, и было очевидно, что вонзить острие он не решится. Тут Эпафродит вдруг толкнул его руку, и нож погрузился по рукоятку, – глаза Нерона вмиг выкатились из орбит, огромные, страшные, полные ужаса.

– Я несу тебе жизнь! – вскричал, входя, центурион.

– Слишком поздно, – хриплым голосом ответил Нерон.

Потом прибавил:

– Вот она, верность!

В одно мгновенье лицо его застыло. Кровь из толстой шеи лилась черной струей на садовые цветы. Ноги, дергаясь, несколько раз ударили по земле – и он скончался.

Верная Акта поутру обернула его тело дорогими тканями и сожгла на костре, обильно посыпанном благовониями.

И вот ушел в прошлое Нерон, как проходят ветер, гроза, пожар, война или мор, а базилика Петра[440] на Ватиканском холме доныне царит над Римом и миром.

А вблизи древних Капенских ворот стоит небольшая часовня с полустертой надписью: «Quo vadis, Domine?»

Послесловие

Роман «Камо грядеши» («Quo vadis») наряду с трилогией («Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский») и «Крестоносцами» по праву считается одним из лучших исторических романов Сенкевича. Писатель начал работать над книгой весной 1894 года; по мере написания отдельные ее главы публиковались в периодической печати. Роман, завершенный в феврале 1896 года, очень скоро был переведен на все основные европейские языки. Первое русское издание вышло в Петербурге в 1896 году под названием «Quo vadis». В последующие годы роман выходил на русском

[440] *Базилика Петра* – собор св. Петра, строившийся при участии Микеланджело.

языке около 20 раз под названием «Quo vadis» или «Камо грядеши». В кратчайшее время он приобрел славу выдающегося образца исторической романистики и доставил Сенкевичу мировую известность.

Действие романа развивается на протяжении последних четырех лет правления Нерона (64–68 гг. н.э.), открывая перед читателем драматичную страницу римской и мировой истории. События, которые образуют исторический фон романа и в которые так или иначе вовлечены главные его персонажи, тесно связаны с предшествующими десятилетиями истории императорского Рима. Не имея о ней хотя бы самого общего представления, трудно сразу войти в сложную ткань повествования.

Гражданская война середины I века до н.э. и установление диктатуры Цезаря свидетельствовали о неспособности республиканского государственного устройства обеспечить социальную стабильность и порядок в громадной мировой державе, которой стал Рим к этому времени. Убийство Цезаря в 44 году до н.э. заговорщиками-республиканцами уже ничего не могло изменить. Новая форма правления – принципат – при Августе (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.) утвердилась окончательно. Печальный пример Цезаря показал, что открытый переход к неограниченной монархии был нежелателен. Однако, хотя Август официально именовался только «принцепсом» («первым из сенаторов»), его власть на деле не отличалась от монархической. Высшая республиканская магистратура – консулат – продолжала функционировать, но с течением времени все больше превращалась в почетную синекуру. Сенат, считавшийся высшим государственным органом, фактически лишь выполнял указания принцепса. Параллельно создавался новый бюрократический аппарат, главную роль в котором играли зависевшие лично от императора люди (вплоть до вольноотпущенников). Со времен Августа императоры окружают себя личной гвардией (преторианцами), командир которой (префект претория) подчиняется только приказам императора.

Укрепление единоличной власти не могло, конечно, проходить беспрепятственно. Императорам приходилось постоянно опасаться выступлений со стороны оппозиции или своих собственных приближенных. Тиберий (14–37 гг.), построивший на окраине Рима специальный лагерь для преторианцев, чуть было не стал жертвой козней своего префекта претория – Элия Сеяпа. Внучатый племянник Тиберия, Гай Калигула (37–41 гг.), еще более жестокий и подозрительный, позволил рабам доносить на своих господ. Это предрешило его судьбу: среди сенатской аристократии и командиров преторианской гвардии возник заговор. В январе 41 года Калигула был убит преторианским трибуном (старшим командиром) Кассием Хереей. Дядя Калигулы, Клавдий (41–54 гг.) поначалу стремился учесть промахи племянника, но впоследствии вернулся к политике репрессий. Клавдий еще более упрочил позиции императорской власти: делами государства управляли его баснословно богатые вольноотпущенники – Нарцисс и Паллант. Дворцовые интриги и заговоры оказывали все большее влияние на состояние государственных дел. Свою третью жену, Валерию Мессалину (от нее Клавдий имел двоих детей – Октавию и Британника), отличавшуюся непредставимо развратным поведением, император приказал убить и женился на родной племяннице, сестре Калигулы, Агриппине Младшей. По настоянию Агриппины Клавдий усыновил ее сына, Луция Домиция Агенобарба, который принял имя Нерона Клавдия Друза. Отныне и судьба Клавдия была решена: Агриппина отравила своего мужа, а преторианцы провозгласили императором семнадцатилетнего Нерона. Тут мы уже непосредственно подходим к эпохе, изображенной в романе Сенкевича.

В юности Нерон почти ничем не проявлял своих дурных задатков. Наставниками молодого принцепса были выдающийся писатель и философ-стоик Луций Анней Сенека и префект претория Секст Афраний Бурр, поначалу поддерживавшие мир между сенатом и императором. Но Нерон сразу же оказался втянут в придворные интриги. Его мать, Агриппина, пыталась любым способом занять ведущее положение в государстве, однако встретила противодействие со стороны Сенеки и Бурра. Задумав противопоставить Нерону родного сына Клавдия, Британника, Агриппина добилась обратного: Британник был отравлен (в 55 г.), а она сама убита с ведома Нерона (в 59 г.). Так Нерон вступил на путь преступлений, который привел к гибели династии Юлиев-Клавдиев и способствовал возникновению новой гражданской войны.

В 62 году умер Афраний Бурр, а потерявший всякое влияние Сенека удалился в изгнание,

откупившись от Нерона частью своего огромного состояния. В том же году Нерон женился на Поппее Сабине; свою первую жену, Октавию, любимицу римлян, он приказал сослать и умертвить. Место Бурра занял Софоний Тигеллин, человек низкого нрава, во всем подчинявшийся влиянию Поппеи. Бесчинства императора, изумившие даже привычных ко всему римлян, вызвали заговор среди сенаторов и преторианских командиров. Заговорщики группировались вокруг известного оратора Гая Кальпурния Пизона (которого они прочили в императоры). С заговором связывали свои надежды вожди так называемой стоической оппозиции (модный в то время стоицизм в кадкой-то мере служил идейным знаменем оппозиции) – Публий Клодий Тразея Пет, Сервилий Барея Соран, примыкавший к ним Сенека и др. В апреле 65 года заговор был раскрыт: в течение года погибли Пизон, Сенека, его племянник, талантливый поэт Марк Анней Лукан, Тразея Пет, десятки известных людей, в том числе Петроний, предполагаемый автор романа «Сатирикон».

Репрессии Нерона достигли небывалых размеров. В 66 году он умертвил неугодную ему Поппею и женился на Статилии Мессалине, супруге своего бывшего приближенного Вестина. В желании преуспеть на сцене император также нарушил в глазах римлян все приличия. Оставив дела на своего вольноотпущенника Эпафродита, Нерон больше года выступал в Греции. Когда он вернулся в Рим весной 68 года, выяснилось, что контролировать ситуацию невозможно: еще с 66 года шла война в Иудее, а в марте 68 года в Галлии восстал легат Гай Юлий Виндекс. Конечно, репрессиями и конфискациями Нерон лишь приблизил новую гражданскую войну. Главной ее причиной было стремление широких кругов провинциальной знати, влияние которой далеко не отвечало ее истинной силе, получить доступ к управлению государственными делами. Поэтому междоусобная борьба вылилась в соперничество различных провинциальных армий, командиры которых объявляли себя императорами.

Виндекс был разбит, но в Риме взбунтовались преторианцы, и в начале июня 68 года Нерон покончил с собой. Испанские легионы провозгласили императором Сервия Сульпиция Гальбу, но и он через полгода был убит. В 69 году на троне побывали два абсолютно бездарных человека – бывшие приближенные Нерона Марк Сальвий Отон и Авл Вителлий. Между тем еще летом 69 года действовавшие в Сирии и Иудее легионы объявили императором Флавия Веспасиана, который после нелегкой борьбы утвердился в Риме. И лишь при первых Флавиях – Веспасиане (69–79 гг.) и его сыне Тите (79–81 гг.) – империя обрела относительный покой.

Однако не только политическими катаклизмами знаменательна эпоха Нерона. В Риме ходили слухи, что грандиозный пожар в июле 64 года, длившийся почти девять дней, был устроен по приказу императора. Чтобы отвести от себя подозрения, Нерон «предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время, это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме…» (Тацит. Анналы, XV, 44). Эти слова Тацита (порой безосновательно принимавшиеся за позднейшую вставку) – первое историческое свидетельство о распространении в Риме христианства. Конечно, Тацит разделял все предрассудки своего времени относительно нового учения. Образ жизни первых христианских общин в Риме известен очень плохо. Во всяком случае, он был чрезвычайно замкнутым, что давало повод для самых нелепых и чудовищных подозрений. Равным образом, несомненно, что первые христианские общины объединяли преимущественно людей из низших социальных слоев, а также рабов и «…все они были оппозиционными по отношению к господствующему строю, к „властям предержащим“ (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 8). В силу этого по своей организации, по имущественному положению и влиянию в обществе христианские общины 2-й половины I века даже отдаленно не напоминали католическую церковь более поздних времен, которая во времена средневековья достигла небывалого богатства и могущества.

С этим же временем христианская традиция связывает пребывание в Риме и мученическую смерть апостолов Петра и Павла. Павел, происходивший из малоазийского города Тарса, был наследственным римским гражданином. Согласно преданию, в молодости он боролся против нового учения, но позднее стал его ревностным проповедником. Современная наука считает Павла

реальным историческим лицом, с которым впоследствии стали связываться различные легенды. Павлу традиционно приписывают четырнадцать посланий, изъясняющих основы христианской духовности и адресованных христианским общинам различных городов. Несомненно, более легендарна личность апостола Петра. Его деятельность в качестве главы христианской общины Рима католическая традиция считает основанием для признания главенствующего авторитета римских епископов (пап) как преемников апостола. Позднейшее апокрифическое предание связывает с пребыванием Петра в Риме следующую легенду. Спасаясь от Нероновых гонений, Петр ночью покидает Рим. За городскими воротами он встречает Христа и спрашивает его: «Quo vadis, Domine?» (Камо грядеши? – церковнослав.) Христос отвечает: «В Рим, чтобы снова принять распятие». После этого Христос возносится на небо, а Петр, видя в словах Христа провозвестие своей мученической смерти, возвращается в Рим, где его распинают вниз головой.

Итак, очевидно, что эпоха Нерона давала Сенкевичу богатый материал для воплощения его замысла. Рождению этого замысла во многом способствовало чтение античных авторов. Писатель особенно ценил «Анналы» (Летопись) Корнелия Тацита, одного из талантливейших историков античности. «Вчитываясь в „Анналы“, – писал Сенкевич, – я не раз чувствовал, что во мне зреет мысль дать художественное противопоставление этих двух миров, один из которых являл собою всемогущую правящую силу административной машины, а другой представлял исключительно духовную силу». В 1893 году писатель, по его собственным словам, осматривал Рим с Тацитом в руках. Уже тогда замысел большого романа приобрел вполне ясные очертания. Дело было лишь за непосредственным отправным пунктом. Часовня под названием «Quo vadis» на Виз Аппиа в Риме (поставленная, по преданию, на том месте, где Петр встретил Христа) и оказалась искомым недостающим звеном. Вернувшись в Польшу, Сенкевич с весны 1894 года углубился в изучение исторических документов и литературы.

Как же раскрывает писатель свою идею? В романе мы видим картину двух миров – мир внешней красоты и духовной смерти противостоит миру красоты и жизни духовной. Сенкевич не удовлетворяется внешней колористикой живописания римского мира: он предлагает читателю глубокие догадки о сути мироощущения языческой римской античности. Мы видим нарисованный с поразительной яркостью и достоверностью императорский двор, внешнее великолепие которого лишь оттеняет внутреннее ничтожество Нерона и его окружения. Как вереница жутких призраков, проходят перед нами Ватиний, это, по словам Тацита, «одно из наиболее чудовищных порождений императорского дворца», бывшая жена Руфрия Криспина и Отона Поппея Сабина, у которой «было все, кроме честной души», развратный Отон, обжора Вителлий, бессердечный Тигеллин и поправший в себе все человеческое Нерон. Кровавые расправы, бесконечные пиры и невероятные оргии – все это, по мысли Сенкевича, не более как попытка старого мира забыться и заглушить неистребимое предчувствие своей обреченности, и в то же время явное доказательство того, что конец уже наступает.

Издревле Рим считал своим главным предназначением власть над миром. Охотно уступая грекам приоритет в сфере наук и искусств, римляне превыше всего ставили умение властвовать.

> Ты же народами править властительно, римлянин, помни!
> Се – твои будут искусства: условья накладывать мира,
> Ниспроверженных щадить и ниспровергать горделивых![441]

Однако стремление к господству изначально несло в себе зерно гибели. Мир внешней красоты, прекрасных тел, статуй, портиков, изящных складок на тоге, мир, научившийся во всем находить изящное и поднимать исполнение любой прихоти на уровень искусства, этот мир, подчинив себе все, утратил цель. Внешне могучий и прекрасный, он исчерпал себя внутренне. Отсутствие ясной жизненной перспективы порождало всеобъемлющий скепсис, следствием которого было неверие в богов, торжество эстетизма и крушение всяких нравственных идеалов. Если Рим стал

[441] Вергилий. Энеида, VI, 851–853. Перев. В. Я. Брюсова.

миром, а мир – Римом, что же еще остается? Остается лишь насладиться всем, чем можно, и уйти из жизни, когда в ней не останется ничего неизведанного. В силу этого смерть становится искусством, прекрасным жестом, завершающим счеты с призрачной действительностью.

Подобную философию безнадежности Сенкевич вкладывает в уста Петрония – крупной трагической фигуры романа. Трагедия Петрония, этого типичного римского «интеллигента» эпохи всеобщего упадка, как раз и состоит в сознании своей обреченности и в то же время невозможности избрать другой путь. Трагична не только судьба Петрония, но и всего языческого Рима. Достаточно вспомнить кульминационную сцену романа – грандиозный пожар (быть может, лучшие в художественном отношении страницы книги), который символически осмысляется Сенкевичем как провозвестие грядущей гибели мирового города.

Мы можем, конечно, упрекнуть писателя в необъективности. Античное мироощущение вовсе не сводилось к одной телесности и голому эстетизму. Античность (в том числе и римская) дала прекрасные образцы гражданского мужества, государственной мудрости, религиозной терпимости (гонения предпринимались обычно по причинам политического характера); наконец, античности не было чуждо теплое и гуманное отношение к человеку (о чем свидетельствуют, например, сочинения Сенеки). Но писатель вовсе не обязан отождествлять себя с ученым-историком. Он волен отобрать те факты, которые в наибольшей мере отвечают его замыслу. Поэтому Сенкевич намеренно избирает эпоху смуты и упадка, намеренно сгущает краски и отвлекается от того факта, что союз двух врагов – империи и христианства – станет возможным лишь через два с половиной века после описываемых событий. Писатель хочет внушить читателю следующую мысль: при всех своих достижениях языческая античность все же не поднялась до глубокого убеждения в том, что человеческая личность есть высшая и неповторимая ценность. Языческий Рим видится писателю как прообраз грядущей цивилизации. Однако он – лишь ее материальный субстрат, прекрасное, но бездушное тело, которое нуждается в одухотворении, чтобы продолжить в веках новую жизнь.

Польская и иностранная критика встретила роман Сенкевича благосклонно. К числу неоспоримых достоинств произведения относили прекрасное знание писателем античных авторов (Сенеки, Тацита, Светония, Плутарха, Диона Кассия и др.). Достаточно сказать, что во многих эпизодах Сенкевич почти дословно следует за ними. Такова, например, заимствованная у Тацита характеристика Петрония в начале романа. Отмечались также прекрасное знание исторических реалий, необычайная достоверность изложения (такая, например, художественно выразительная деталь, как шлифованный драгоценный камень, которым Нерон пользовался наподобие монокля, была взята писателем из «Естественной истории» Плиния Старшего). Русская критика (Ф. Мищенко и Л. Шепелевич) отмечала, что роман Сенкевича является лучшим из существующих литературным изображением Рима эпохи Нерона.

Но главное внимание привлекали, разумеется, идеи романа, литературные достоинства которого сделали его одним из самых популярных произведений в мире. Поначалу симпатии католических кругов Польши и Европы целиком были на стороне Сенкевича. В 1900 году папа римский прислал писателю поздравление по случаю 25-летнего юбилея его литературной деятельности. Этими обстоятельствами не в последнюю очередь объясняется присуждение Сенкевичу в 1905 году Нобелевской премии по литературе. Напротив, русская критика выражала недовольство католической тенденциозностью автора. С течением времени, однако, католический лагерь охладел к роману. Сенкевича стали обвинять в чересчур ярком и привлекательном описании языческого мира и в якобы плоско-банальном изображении христиан. Находились критики, упрекавшие писателя даже в антиклерикализме. Крайности в оценках открывали тем не менее новую возможность для понимания смысла романа. В кругах прогрессивной польской интеллигенции роман пытались толковать как призыв к борьбе с тиранией.

Конечно же, Сенкевич в первую очередь заботился не о превознесении авторитета католической церкви. Любая попытка найти в романе прежде всего католические тенденции приведет к недопустимому искажению авторского замысла. Писателя волновало возрождение тех духовно-нравственных принципов, которые, по его мнению, составляют необходимую основу здоровой жизни общества. Идеалы раннего христианства, отражавшие чаяния наиболее угнетенных слоев Римского государства, были для Сенкевича в этом смысле тождественны идеалам широчайше по-

нятого гуманизма, идеалам любви как принципа отношения человека к человеку. В этих идеалах писатель видел спасительное противоядие от декадентских умонастроений, набиравших силу в культурной жизни тогдашней Европы, от проповеди безнравственности и вседозволенности. Эстетизму и себялюбию, неограниченному произволу, внутренне готовому на любые злодеяния, писатель противопоставляет жизнь, стремящуюся к гуманным духовным целям. Смысл этого противопоставления далеко выходит за рамки сюжетной канвы романа, который не просто напоминает о прошлом, но обращен к настоящему и будущему. Именно здесь кроется главная причина его неизменной притягательности для читателя…

А. Столяров